

Н. НЕКРАСОВ



Алек. Некрасов

5

И. А. НЕКРАСОВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

5

НЕКРАСОВ

*Печатается по постановлению
Совета Министров Союза ССР
от 23 ноября 1946 г.*

Н. А. НЕКРАСОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

Под общей редакцией

В. Е. ЕВГЕНЬЕВА-МАКСИМОВА, А. М. ЕГОЛИНА и К. И. ЧУКОВСКОГО

*Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1949*

Н. А. НЕКРАСОВ

ТОМ V

**ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ
И ФЕЛЬЕТНЫ**

*Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1949*

Редакция тома и комментарии

Б. Я. БУХШТАБА



Н. А. НЕКРАСОВ
С акварели М. Захарова
1847 г.

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

(1840 — 1850)

МАКАР ОСИПОВИЧ СЛУЧАЙНЫЙ

Повесть

I

— Милостивый государь! Как вы смели наступить мне на ногу и не извиниться?! Вы забываетесь! Из этого может выйги история!

— А по мне хоть география!

Разговор на бале.

Бал. Комнаты набиты самым пестрым народом. Много различных пехотинцев; кавалеристов, кажется, ни одного. Это бал, как бы сказать? среднего круга. Именно среднего, хотя вы и встретите тут двух-трех аристократок с мужьями; но они здесь как доказательство того, что общество тянется непрерывною цепью чрез все ступени гражданской жизни — они, сказать точнее, переходные звенья от высшего круга к среднему. У подъезда три-четыре четверни, а последние экипажи — извозчичьи, кареты парами да дрожки. Эти балы бывают довольно скучны, потому что большинство гостей стеснено аристократией, которая обращает на себя общее внимание, зевает сама от скуки, дует губы и губки, танцует из милости. Здесь нечто вроде вавилонского столпотворения, где одни не понимают языка других. Балы этого рода бывают обыкновенно у людей случайных, ставших, по заслугам или иначе, на видную степень и необходимо имеющих, вследствие того, частые сношения с знатью, наряду с которою поместила их табель о рангах, а не порода. На таких балах всегда бывает ужасно много суматохи: все что-то невпопад и как-то ненатурально связано.

Дело подходило к ужину; готовились танцевать мазурку. Молодой человек лет двадцати пяти выбрал поудобнее место, в простенке между окнами, и ожидал, задумавшись, начала мазурки. Но музыканты только шумели, настра-

ивали скрипки, перебирали ноты. Струны лопались, натягивались новые, а между тем суетливая молодежь осаждала музыкантов вопросами: играете ли из Фенеллы, из Цампы, из Роберта или Нормы?... а какой-то франт, украшенный реденькими рыжеватыми усиками и лысиной, в синем фраке, с *virtuti militari* в петличке, кричал громче всех, прыгал и требовал Хлопицкого. Он торжественно объявлял всякому за новость, что это прекрасная мазурка.

— С кем ты танцуешь? — спросил какой-то офицер задумчивого молодого человека, — не с этой ли провинциалкой, вот, что сидит направо?

Зорин молчал; между тем дама, о которой говорил офицер, скрылась в амфиладе комнат с улыбающимся светлолицым господином *при звезде*.

Нашего молодого человека звали Зориным, он недавно из Москвы; любовь привела его в Петербург; он в чине 9 класса. Родители его милой люди достаточные, но у них большое семейство и они не могут дать ей многого. Они также не более полугода приехали в Петербург. Зорин приехал не более месяца. Лёленька любит его, но он не может надеяться обладать ею скоро: он знает старика. Человек, что называется, положительный этот старик в жизни своей ни на что не решался, не сообразив предварительно на счетах, выгодно или невыгодно? И вот наш Зорин решил во что бы ни стало добиться порядочного места, которое бы могло обеспечить его семейную жизнь. Он имеет рекомендательное письмо к какому-то действительному статскому советнику Случайному, но не знает об успехе рекомендации, потому что был уже несколько раз и не заставал его дома; в последний раз он оставил письмо. Все к лучшему: на днях он узнал, что у этого Случайного открылась ваканция в канцелярии. Вероятно, он не приискал еще никого. «И как кстати я теперь явлюсь к нему, когда он уже предупрежден письмом! — думал Зорин, — потом мои убеждения подкрепят письмо, и дело в шляпе, и Лёленька, или говоря, как принято, Елена Александровна — моя!» Лёленька обещала быть на бале. Один приятель его, знакомый в этом доме, имевший поручение привезти четырех кавалеров, с радостью вызвался привезти его в числе прочих и отрекомендовать. Зорин ждал бала с большим нетерпением; он думал, что это будет рай наслаждения. Лёленька обещала танцевать с ним две кадрили и мазурку;

но вот уже скоро двенадцать, а ее нет! — досадно, нестерпимо. А он, в ожидании ее, не танцевал ни одной кадрили, тогда как здесь есть дамочка, право, премиленькая; конечно, — это не она, однакож лучше б поболтать с ней, чем стоять у окна обрубком и увертываться от хозяина, бегающего из угла в угол, от одного гостя к другому, с вечным вопросом: «что же вы не танцуете? вот возьмите хоть мою дочку, она, кажется, без кавалера».

Тут еще подбежал и приятель его и говорит: — Пожалуйста, танцуй! хозяин несколько раз спрашивал меня: что ваш товарищ не танцует?

— Да, право, дам нет.

В это время подбежал хозяин и, услышав его слова, схватил его за руку, потащил через комнату к даме в голубом платье и шепнул, поставив его перед нею: «просите ее превосходительство на мазурку!»

— На мазурку! — сказал он почти машинально.

Кажется, дама согласилась, — едва слышно пролепетала она что-то и опустила глазки.

«Она довольно мила», — подумал Зорин; поклонился и отошел, чтоб приготовить место. Дама, которую он ангажировал, была в самом деле недурна: двадцать с небольшим лет, русые локоны, голубые глаза, черты лица довольно приятные, но с отпечатком деревенской простоты; вообще в ее движениях была видна неловкость провинциалки; ей было неловко на шумном бале, она мало танцевала, потому что почти не имела знакомых и к тому же старалась держаться в стороне, чувствуя какое-то неудобство, когда сидела на виду, подверженная очкам, лорнетам и просто глазам бальных франтов.

Зорин ожидал начала мазурки, отчаявшись уже увидеть тут Лёленьку. И вот смычки ударили, пары разместились вокруг залы, и первая пара открыла мазурку. Зорин натянул перчатку и побежал отыскивать свою даму... туда — сюда: нет! и след простыл.

— Не видали ли вы дамы в голубом платье и токе с перьями? — спросил он какого-то старика в виц-мундире. Тот посмотрел на него и ничего не ответил.

Зорин побежал дальше, спрашивая о даме с кавалером со звездой: нет! Он воротился и вдруг в дверях встретил отца Лёленьки и мать, а за ними и самую Лёленьку.

— Что это ты бежишь?

— Ах! я ищу дамы! — сказал Зорин, едва опомнившись и чрезвычайно обрадованный неожиданною встречей.

— Ну, вот тебе и дама! — сказал старик, указывая на дочь.

— Я и то дала им слово, — сказала Лёленька и протянула Зорину руку; Зорин схватил ее и пошел с Лёленькой к своему месту; но только он дошел, как его дама с своим светлоликим спутником идет прямо на него, запылавшись...

— Извините, пожалуйста, мою жену; она опоздала, она была в уборной.

— Да, извините меня! — сказала дама и протянула руку, покраснев и опустив глазки. Но Зорин отступил и начал в свою очередь извиняться: наговорил извинений кучу и кончил тем, что уже ангажировал другую. Он не мог отказаться от Лёленьки; ну, а это, — думал он, — как-нибудь обойдется.

Но господин со звездой огорчился; дамочка смешалась и не знала, что отвечать, так что самому Зорину стало жаль ее. Все смотрели на них. Зорину делать было нечего; он поклонился и пошел к своему месту.

Дама с мужем уехала.

Хозяин, проводив их, после напрасных упрасиваний остаться, подбежал к Зорину с упреками.

— Ну как же это можно, такая рассеянность; а они уехали... это не вежливо... на что это похоже? — и пошел.

Зорин выдержал эгот залп; выдержал еще несколько косых взглядов и улыбок, выдержал довольно длинный выговор от товарища, — делать нечего: это для Лёленьки. И в самом деле, она стояла такого пожертвования; она с таким милым участием начала его расспрашивать: в чем дело? Он рассказал по порядку, как он не танцевал, ожидая ее, как ему навязали эту даму, как она скрылась, как он был счастлив, встретив Лёленьку, и как потом был несчастлив, и как теперь опять тысячекратно счастлив.

— Будто вы меня не знаете, не могли сказать, что имеете даму, а я не большая охотница до танцев, вы знаете, я бы могла и не танцевать, — сказала Лёленька и повернула голову к дверям, где стоял стройный офицер с черными усиками и красными отворотами. Издавна существует

и со времен Грибоедова известно и ведомо всякому сочувствие московских барышень с гвардейским мундиром; к тому же офицер не танцевал и пристально рассматривал Лёленьку. Мне показалось, что Лёленька сказала своим взглядом: вы бы не были без дамы. Может быть, я и ошибаюсь. Впрочем, я уверен, что она, несмотря на слова свои, рассердилась бы на Зорина и из мщенья танцевала бы с гвардейцем... мщенье извиняет все.

— Но отчего вы так поздно приехали?

— Ах, это совсем нечаянно: сегодня поутру генеральша Лоскуткина прислала папеньке билет на бенефис какого-то молодого актера, и вот мы поехали. Семь или восемь водевилей было выставлено в афишке; я просидела целый вечер и не могла ничего разобрать: весь спектакль казался мне одним попури в 15-ти действиях. Я решительно не могла разобрать, где оканчивалась одна пьеса и начиналась другая; впрочем, кажется, многие были довольны; шум был ужасный, вызывали актеров, хлопали, кричали. Мусье Щипцов говорил, что кричат четырнадцатые классы, прапорщики и студенты, папенька говорил, что это неправда — кричит раек, а мне кажется — кричали все... такой шум! у меня голова до сих пор кружится.

— Так вот отчего вы так поздно.

— Да, начали разъезжаться в первом.

— Ужасно!

«Вам танцевать, вам танцевать!» — закричали несколько голосов, и Зорин с Лёленькой пошли. Лёленька чрезвычайно мило скользила по паркету, выказывая атласный носик своей хорошенькой ножки. Зорин ловко провел ее вокруг залы; три раза повернулись; по закону фигуры он должен был выбирать даму, она — кавалера. Он выбрал первую, попавшуюся под руку, она... она выбрала гвардейца, вследствие известного вам сочувствия с мундиром. Гвардеец перегибаясь повёл Лёленьку, не сводя с нее глаз, она опустила глазки и, тихо улыбаясь, полетела быстро... они сделали три круга. Гвардеец что-то говорил, она ничего не отвечала, но ее улыбка была умнее всякого ответа... ее улыбки имели странное свойство говорить чрезвычайно выразительно и еще так, что их понимал только тот, к кому они относились. Зорин не понял ее улыбки, сделанной гвардейцу, хотя подсмотрел ее, пробежав с выбранною дамою полтура вскороспелку.

Когда Лёленька села, она долго не могла ничего говорить от волнения.

— Вы устали? — спросил Зорин.

— Да, — сказала она, тяжело дыша.

— Кто этот офицер?

Она не отвечала и только махнула веером в знак усталости.

Бал продолжался часов до шести. Лёленька была чрезвычайно мила, но Зорину не нравилось, что офицер беспрестанно втирался между им и ею. Все это испортило для него совершенно первый петербургский бал. Он был недоволен. Посадив в карету Мирятевых, он взял извозчика и отправился домой. Долго он ехал от Шестилавочного переулкa до Обухова моста, где занимал квартиру. В октябре месяце, вы знаете, как хороши петербургские улицы: только по Невскому можно ездить, и то, если не было заморозков.

Зорин, избитый трясучей мостовою, недовольный собою и всем миром, приехал и лег. Часов в двенадцать он встал, с головною болью, и собрался к Случайному; хорошо, что было недалеко. Случайный принимал в два часа. День был порядочный, мостовая обсохла, и Зорин благополучно, без приключений, добрал до дому. Позвонил. Человек, во фраке, переделанном из господского виц-мундира, встретил его и провел в залу. В зале никого; только по-пугай кричит: «барину сала! барину сала!» да из дальних комнат слышится стук ножей и смешанный говор нескольких голосов; у пробежавшего через залу лакея он спросил: скоро ли выйдет генерал?

— Извольте пообождать четверть часа, е<го> п<ре-восходительство> закусывает.

Пока он ждет, я расскажу вам, что за человек генерал Случайный.

Французы бы сказали, что он съел бешеную корову, т. е. по-русски прошел огонь и воду. Сын бедного священника в Малороссии, он сначала служил в каком-то армейском полку. Тому лет двадцать наша армия не слишком была богата грамотными офицерами, были лихие ребята, славные служакИ, молодцы под огнем неприятельским, молодцы везде, даже в залихватской мазурке, но не с пером в руке. А наш Случайный хоть и на медные деньги выучился, а бойко строчил,

когда случалась оказия. Справедливо кто-то сказал, что прямой талант везде найдет защитников. И Случайный не засиделся. Он попал в полковые адъютанты, оттуда в бригадные и так далее. Лет через 10 он был уже где-то полицмейстером, в чине подполковника. Славно распорядился он на пожарах и в особых поручениях. Теперь он, не в пример прочим, действительный статский советник и уж исключительно состоит по особым поручениям у кого-то. Это его, так сказать, послужной список; но и в домашних делах он был не менее счастлив. Теперь он женат во второй раз и, как говорит сам, женат по любви. Но до этого его сердечная история довольно разнообразна. До густых эполет у него были различные любовишки; он открыл гораздо прежде барона Брамбеуса, что любовь не одна, а много *любвей*. Бывши штаб-офицером, он сделал чрезвычайно выгодную спекуляцию женитьбой на купчихе; когда он женился, у ней было сто тысяч, через несколько времени оборотливый ум Случайного сделал из них огромный дом и несколько сот тысяч. Злые люди говорили, что это было дело не совсем чистое. Не может быть! Случайный — честнейшая душа. Впрочем,

Пусть бранят,
Говорят
Злые люди, что хотят!

А Случайный жил себе да поживал по добру, по здорю. Богатая жена умерла, оставив после себя несколько человек детей; теперь у него, как отца, в руках все имение. Года два с половиной ему стукнуло 45; он поехал к себе в Малороссию и женился в другой раз, как я и упоминал, по любви. Говорят, что и она вышла за него по любви; ей было 19 лет. Да, исчисляя качества и принадлежности Случайного, я забыл, что у него есть звезда, которая чрезвычайно блестит на темном виц-мундире, и лысина, впрочем прикрытая превосходной накладкой. Ей, т. е. жене, 19 лет; впрочем, я сказал уже это, извините за повторение. Теперь несколько слов о его наружности... но слышны шаги из другой комнаты. Зорин встал, обтянул фрак и ожидал с трепетом появления его превосходительства.

Вот шаги ближе и ближе, — вот за дверью затихли, и Зорин выслушал длинный разговор о ценах на овес и сено.

Между тем он приготовлялся, как начать приветствие; тысячи различных вступлений вертелись в голове Зорина, и он не знал, на котором остановиться. Между тем два голоса слышались за дверью, и один казался ему как-то знакомым; и ему слышалось, будто ему тут же шептал кто-то на ухо: «извините мою жену!», и Зорин опять начал обдумывать свое приветствие. Тут вошел высокий мужчина с обычной фразой: «что вам угодно?»

Зорин пристально взглянул на него и смутился. Перед ним стоял тот самый генерал со звездой, который с своей супругой раньше всех уехал с бала Ж., по известной причине.

— Если не ошибаюсь, то я уже имел счастье несколько ознакомиться с в<ашим> п<ревосходительством> вчера вечером, — сказал Зорин.

— Очень помню; помню и то, что там был какой-то грубиян, который делал разные мещанские выходы и стыдил своими поступками тех, кому приводилось иметь с ним дело.

Зорин ясно понял, к кому относились эти слова; грубый, решительный тон Случайного придавал им еще более выразительности; однакож Зорин выдержал это довольно хладнокровно.

— Извините; я не знал, что это вы... ваша супруга... я был рассеян... я почти не знал, что делал вчера...

— Не понимаю, зачем вы после такого поступка пожаловали в мой дом; разве затем, чтоб объявить, что были вчера не в своем уме?... я это и сам видел.

Зорин вспыхнул, краска покрыла лицо его; он готов был наговорить Случайному колкостей, сделать еще более, но одна мысль удержала его: «что же я скажу отцу Лёленьки?» — спросил он себя, — и вмиг лицо его приняло вид смиренный, даже, можно сказать, умоляющий.

Он напомнил о письме и начал объяснять Случайному свое дело.

— В мою канцелярию — грубияна, человека дурных правил! — покорно благодарю; променять мою жену на какую-то субретку... — шептал Случайный.

Зорин слышал большую часть этих слов, но не понял, в чем дело.

— Место занято! — сказал Случайный холодно и насмешливо.

«Извините мою жену!» — зазвенело в ушах Зорина, и, как звук страшной трубы, эти слова, проникая до мозга костей, раздирали, говоря à la Марлинский, тимпан его слуха.

Случайный обнаруживал нетерпение.

— Еще вчера говорили мне, что вы ищете способного человека...

— Я нашел его; я не могу принять вас.

— Но А. М. обнадежил меня...

— Скажите А. М., что я вполне уважаю его рекомендацию, но не могу исполнить на этот раз его желания... Что делать?.. обстоятельства!.. — При этих словах Случайный кивнул головой с невнимательностью вельможи и обернулся спиной к Зорину.

— В<аше> п<ревосходительство>! — вскричал Зорин, усиливаясь не обнаружить гнева и презрения, которые кипели в душе его, — место не занято... я в этом уверен... будьте снисходительны, забудьте эту мелочную обиду самолюбия, которая мешает вам сделать доброе дело, не решайте так опрометчиво; в ваших руках моя будущность... я имею невесту... отказом вы расстроите счастье целого семейства.

Случайный, не дослушав его, вышел из комнаты; через минуту карета его проехала мимо окон.

Опершись одной рукой на стол, другой поддерживая голову, Зорин стоял неподвижно и, казалось, забыл, что ему нужно идти. Самые мрачные идеи мелькали в голове его; в этот час он, в лице Случайного, ненавидел все человечество; Случайный казался ему злым гением его жизни, которого назначение состояло в том, чтоб разрушать малейшую надежду, малейшую его попытку уловить счастье. Сначала Зорин не мог ни об чем думать, кроме Случайного: этот человек представлялся ему в самых отвратительных, ужасных образах, ниже, гнуснее и коварнее всех подлунных тварей; наконец волнение его несколько утихло; но это был новый удар для бедного кандидата в чиновники: ему пришла на мысль Лёленька, обворожительная, грациозная, легкая, — до того легкая, что ему показалось очень естественным, что она может упорхнуть от него, как бабочка, перелететь на другой цветок, т. е. попросту, выйти за другого... «Нет, нет! это невозможно: она меня любит! а гвардеец? а улыбка, которой я не понял?..»

Тут он опять впадал в неописанное беспокойство; душа его испытывала мучения пытки; все неудачи, все последствия их, даже непонятные улыбки Лёленьки приписывал он коварству злого гения — Случайного; жену его он обвинял еще более.

Дверь скрипнула. Из противоположной комнаты вышла жена Случайного. Зорин сейчас узнал эту роковую даму, на которой проиграл место, а может быть, и самую невесту.

По обдуманному ли предварительно плану, или так, просто, без всякой причины, он придал мрачно-печальному лицу своему выражение беззаботно веселое и приветствовал Случайную льстивым комплиментом.

Случайная изумилась, увидя молодого незнакомого человека наедине с собою, и ничего не отвечала.

Он объяснил ей, каким образом попал к ним в дом, не сказав однакож ни слова о грубостях ее мужа и о свей невесте.

Провинциалка не старалась поддержать разговора, от неумения или от гордости — бог знает, впрочем, вероятнее, от первой причины. Но Зорин не унывал, он и не думал уйти. После многих тщетных попыток он навел разговор на вчерашний бал; тут, наконец, ему посчастливилось.

Случайная жеманно надула губки, которые у нее в самом деле были прелестны, и сказала несколько незначительных фраз.

Зорин принялся рассыпаться в комплиментах и проклинал, между прочим, рассеянность свою, которая всегда мешала ему танцевать с теми, к кому влекло его сердце; при этом он беспрестанно озадачивал Случайную огненными взглядами, от которых неопытную провинциалку бросало в краску, но которые, как казалось, не были ей противны. Впрочем, может быть, она в душе негодовала на его дерзость; но в таком случае что мешало ей одною какой-нибудь сухой фразой умерить смелость Зорина?

Сердце девы—кладезь мрачный!..

Еще несколько времени продолжался разговор, который Зорин искусно обращал к своей тайной цели. Небольшого труда стоило ему понять Случайную; он скоро удостоверился, что в сердце ее нет никакой глубокой привязанности, нет также и правил жизни, основанных на

здравом убеждении, что она, так сказать, еще ошупью идет по пути ее. Из всего этого он сделал вывод в пользу своего плана. Он тонко льстил ее самолюбию, умел придать словам своим живую поэтическую возвышенность и чистоту идеальную, которые так нравятся женщинам, не лишенным или не задушившим еще в душе своей приемлемости впечатлений.

Большую часть говорил Зорин; Случайная слушала и, как показалось Зорину, не без удовольствия; впрочем, может быть, она и сердилась, но не находила средства остановить болтовню человека, который просто — изъяснялся в любви.

Уходя, Зорин изъяснил сожаление, что не может видаться с ней в их доме и коротко объяснил причину.

Случайная приметно огорчилась... нет, позвольте, кажется, обрадовалась... право, не помню.

— Впрочем, — сказал Зорин, — где б я ни был, всегда с наслаждением буду вспоминать счастливые минуты, проведенные сегодня в вашем милом обществе... везде, где только будете вы, — и меня приведет сердце...

Случайная улыбнулась весело... не то — вздохнула!..

Часу в осьмом вечера Зорин отправился к Мирятевым. Лёленька отчего-то сердилась и так мило дула губки, что в этот раз ему еще сильнее захотелось расцеловать их; сердце его сжималось от одной мысли не достигнуть такого блаженства. Он несколько раз покушался казаться веселым, но злодейка-грусть, как змея, выползая на чело его, беспрестанно разливала по нем яд мрачного уныния. Зорин не знал, как приступить к роковому объяснению своей неудачи; наконец, вооружась мужеством, в коротких словах рассказал Мирятевым свое настоящее горе и грядущие надежды. Старик пожимал плечьями, хмурил брови и то водил пальцем по голове от затылка до носа, то понюхивал березинский. Мать хотела упасть в обморок, но, вспомнив, что послала единственную свою служанку в магазин, сочла его излишним.

Лёленька советовала Зорину определиться в гвардию.

Расстроенный, не получа утешения, на которое надеялся, Зорин простился с Мирятевыми. Выходя из прихожей, столкнулся он с гвардейцем, тем самым, которому на вчерашнем бале Лёленька улыбнулась непонятною для него улыбкою. Это обстоятельство еще более встревожило бедного

искателя счастья, пробудив в душе новую страсть — ревность; оно набросило глубокий траур на его безвестную будущность. Кто бы, взглянув на его бледное, помертвелое лицо, всклоченные волосы, глаза, готовые разрешиться кровавыми слезами, губы, дрожащие и посинелые, не угадал роковой повести его несчастья? Положение его было ужасно. От горя он даже лишился способности размышлять здраво.

Приписывая, как я уже сказал, причину всех своих бед Случайному, он не переставал проклинать его. Случайный казался ему самой замаранной черной корректурой... тьфу!.. карикатурой на все человечество, и он, из уважения к человечеству, изыскивал в голове своей средство уничтожить эту корректуру, — опять ошибся; в этих иностранно-русских словах я всегда мешаюсь! — уничтожить эту карикатуру со всеми ее оттисками.

II

Человек есть усовершенствованная обезьяна.

Из записной книжки Ф.

Прошло три месяца. Случайный сидел в своем кабинете, заваленный делами. Он брал то одно, то другое, то третье дело и с неудовольствием клал их опять на место.

— И это нужно! и это не ждет! и об этом напоминал мне уже несколько раз его сиятельство! проклятая работа! вся моя канцелярия никуда не годится! нет головы — нет Силова! кто может занять место правителя канцелярии? Когда б был теперь Силлов, мигом обработали бы мы все дела, — ревизуй хоть завтра! Чиновники запустили, а я отвечай! не разорвешься! дел пропасть; за которое возьмется? — говорил скороговоркою Случайный.

В кабинет вошла жена его.

— Я не мешаю *вам*?

— Я ничего не делаю.

— Слава богу! наконец вы кончили свои дела?

— Кончил! ох, нет! не кончил! дела, дела! их все прибывает и все срочные!

— Не огорчайтесь, друг мой! что делать! велите попристальной работать своей канцелярии.

— Канцелярии! с тех пор, как умер Силов, у меня нет канцелярии, у меня есть только люди, которые умеют писать.

— Для чего же вы не приищете человека, который бы заменил вам Силова?

— Ах, душенька! я тебе уж говорил, что таких людей нынче нет.

— Что ж вы думаете теперь делать? право, вы меня пугаете.

— Я искал три месяца; многие сами набивались в правители моей канцелярии, да что в этих людях!

— Отчего ж вы кого-нибудь не приняли? может быть, и был бы хорош.

— Помнишь ли ты того грубияна, что осрамил нас на бале у Ж.?

— Того, что отказался от мазурки со мной; да ведь я сама виновата: я ушла, а он ангажировал другую, так нельзя ж ему было танцевать в одно время с обеими.

— Я знаю — он человек дурных правил. Ну вот, например, он просился ко мне на место Силова, неужели я должен был принять такого невежу?

— Но, может быть, он хорошо знает свое дело.

— Какое дело? ты *почем* знаешь?

— Я говорю, может быть, он хорошо управлял бы канцелярией.

— Но каково бы было видеть у нас в доме человека, который на первом шагу оскорбил тебя!

— Для общей нашей пользы я бы забыла это оскорбление.

Случайный с чувством поцеловал жену.

— Что же вы, друг мой, думаете теперь делать? отчего вы так печалитесь?

— Вот видишь, душенька, я жалел тебя и не хотел прежде всего рассказывать, но теперь, так и быть, все расскажу, потому что ты еще больше грустишь, видя меня невеселым и не зная тому причины.

— Так вы не на меня сердитесь?

— На тебя! ха, ха, ха! какая ты милая!.. да разве есть за что на тебя сердиться? смотри у меня, плутовочка! Где видано, чтоб муж так долго сердился на такую хорошенькую жену? это накладно.

Тут они опять поцеловались; я бы сказал, как голубки, если б благопристойность не запрещала этого.

— Видишь, душенька, — начал опять Случайный, — в чем дело. После смерти Силова дела беспрестанно прибывали в канцелярию, а подвигались плохо; это бы ничего, и прежде так случалось, да, на беду, у нас залежалось несколько дел, о скорейшем исполнении которых лично просили графа. Его сиятельство изволил рассердиться, призвал меня и так пугнул, такой дал выговор, что у меня так и заскребло сердце. Я думал, чего доброго, как бы всердцах он не отставил меня; да, слава богу! все почти тем и кончилось.

— Ну и прекрасно! значит, не о чем и беспокоиться.

— Оно так. Да я еще не сказал тебе, что его сиятельство, выговаривая мне за неисправность, изволил прибавить, что на-днях будет сам ревизовать канцелярию. Ну как он завтра же нагрянет! чтоб привести дела в порядок, нужно по крайней мере месяц.

— Ну так скажите, что вы больны.

— Нельзя. Тогда он поневоле должен будет наведываться сам в канцелярию и все откроет. Хорошо, кабы он забыл! есть, матушка, делишки, с которыми нарочно надо повыходить; пусть-ка походят да попросят! Есть теперь у нас делишко, оно и пустяшное, да лапу в него можно запустить поглубже... будет и тебе на платье и мне на шубу, да и много останется. Удалось бы только поладить с графом, я придумал одно средство.

— Какое?

— После узнаешь. Поедем сегодня в маскарад.

— Вот вздумали! иногда, бывало, зову, зову, никак не соглашается, а теперь сами напрашивается.

— Эх, душенька! мне там нужно переговорить с одним человеком об этом именно деле; откладывать нельзя.

— Ну так поезжайте!

— А ты?

— Я не еду.

— Как не едешь? да ведь ты еще недавно приставала ко мне: поедем, да поедем.

— Тогда мне хотелось; а теперь у меня голова болит.

— И полно, душенька! головная боль — пустое. Едем!

— Так для вас моя болезнь ничего не значит?

— Ах, душенька! ты уж и разгневалась! не хочешь ехать, так оставайся, только я для тебя же хотел; право, будет весело: поедем, теперь только смеркается, может быть, к тому времени тебе будет легче.

У подъезда Большого театра беспрестанно прибывают экипажи; в зале Большого театра беспрестанно прибывают люди; непрерывное хождение взад и вперед множества народу, пестрота, портящая глаза и возмущающая душу, говор более или менее громкий, более или менее приличный месту, более или менее...

Как разнообразна, как пестра эта масса! люди большие и маленькие во всевозможных значениях этих слов, люди чиновные и люди неслужащие, люди везде встречаемые и люди, существования которых и не подозревали, люди старые и молодые — все они теснятся, шумят, хлопчут всякий по-своему и невольно поражают взор этим, повидимому невозможным, столкновением...

Не одинаковые причины привели их в маскарад, и как неодинаково действуют они в нем! Посмотрите, например, на этого худощавого, невысокого старичка, беззаботно стоящего у колонны: чем он занят? зачем он здесь?.. Многочисленная толпа, всегда рассеянная, всегда невнимательная, не щадит его от разных поклонов и приветствий: они тревожат беспрестанно это беспечное положение, этот отдых старика. Он иногда в ответ только улыбается, только протягивает руку, а иногда и совсем отделяется от колонны. Блестящая суматоха маскарада, великолепное разнообразие костюмов, женская красота — ничто не отвлекает его внимания от одного предмета, от особенной забавы. Он не вслушивается в пискливые, искаженные голоса, не ловит дивных заманчивых слов, брошенных на воздух, прошептанных на ухо, не разгаданных никем, но зароненных в чье-нибудь сердце. Он наслаждается по-своему. Я беру его теперь в любопытную минуту вечера и, может быть, в самую счастливую минуту старости. Разжалованный временем из актеров в зрители, без участия в резвой деятельности маскарада, без сочувствия к мелочным восторгам, к мелочному отчаянию, к множеству взглядов и надежд,

которые сверкали пред ним в глазах юношей и красавиц, он, верно, вспомнил бы невозвратимые годы, пожалел бы, что нет у него более сердца для всех впечатлений и головы для всякого замысла, если б не нашел тут пищи, необходимой для старческой жизни, утешения единственного в некоторые лета, если б не знал, куда поместить ему усмешку разочарования и язвительное слово опыта. Старик должен же употребить в дело невольное равнодушие, благоприобретенную бесчувственность, должен при случае похвастать своим несчастным преимуществом, и вот он рад-радехонек, если может кольнуть вас за ошибку, подшутить над опрометчивостью, предсказать неудачу, даже просто смотреть на огненные заблуждения молодости. Кто ничего уже не ждет, тот любит доказывать себе, что всякое ожидание — суета, вздор; наш старик лелеет эту благосклонную мысль. Ему весело!

Посмотрите теперь в другую сторону: вот очаровательная семнадцатилетняя девушка. Она, драгоценный камень в роскошной оправе фантастического наряда, блистает и привлекает всех. Тут центр маскарадного мира, тут вечерний гений, который мечет в толпу цветы псаэзии. Около нее теснятся маски: то, как история, надоедают правдой, то, как повесть, смешивают быль с вымыслом, то, как псаэзия, стараются лгать обольстительно. Маски рассыпают свое беглое красноречие, селятся перебить, затереть, перешуметь друг друга, но, странно: никому не удастся подстрекнуть истинного любопытства молодой девушки. Никто не может найти этого верного звука, который манит за собою изображение женщины, от которого встрепенется она и вдруг увидит только вас и пойдет, мечтая, за вашим привлекательным звуком; спрячется за колонной, присядет на незаметный стул, отдаст вам свой слух, свое зрение, свою душу и, спросив: кто вы?.. — весело потеряется в лабиринте вашего маскарадного вымысла. И вот эта очаровательная девушка недовольна собой, недовольна толпой, ее окружающею. Ей скучно!

Вот еще третье лицо маскарада. Посмотрите на эту высокую пожилую деву, стоящую подле генерала с двумя звездами. Никто не старается обратить на себя ее внимание, никого нет около нее, никто даже не смотрит на нее; редко, редко, скорей из милости или из уважения к ее спутнику, кто-нибудь подойдет к ней, скажет несколько

незначительных фраз. Ей двадцать седьмой год; она давно уже пережила положенный термин девичества!.. Бог знает, кто положил его, вероятно мужчины — и это дурно рекомендует их; впрочем, может быть, таков уж закон природы. Во всяком случае, если даже предположить, что это в самом деле зло, то искоренить его нельзя. Нужно переменить весь порядок в мире. Попробуйте, госпожа Дюдеван! вы представляли пропасть примеров невыгоды и несправедливости нынешнего порядка вещей. Составьте теперь проект и смету на исправления; я думаю, недостатка капиталов — сил человеческих, да и сам архитектор, т. е. вы, верно, спасуете. Что ж касается до меня, то я даже отказываюсь порицать это. Как бы то ни было, положение пожилой девушки было достойно сожаления. Маскерад был для нее пыткой.

Но — к делу!

Случайный уже в осьмнадцатый раз проходил залу Большого театра из конца в конец, под руку с каким-то господином в рыжем парике и коричневом фраке, толкуя с ним очень горячо и серьезно. На девятнадцатом повороте он остановился: стройная дама в испанском костюме привлекла его внимание, он пристально смотрел ей под ноги и, казалось, старался узнать ее по походке.

— Если б я не знал, что жена моя больна и что она никуда не решится выехать без меня, то готов бы побиться об заклад, что это она, — сказал он своему спутнику.

— Не имею чести знать вашей супруги.

— Ее стан, ее походка, ее любимый костюм... ее голос! — почти закричал Случайный, услышав несколько слов, которые проговорила подозреваемая им дама, проходя мимо его.

Случайный побежал за дамой. Забежав вперед, он заглянул в лицо идущему с ней молодому человеку.

Лицо что-то знакомое; где, бишь, я видел этого господина? да, да, да! кажется, это тот самый, который просился ко мне в канцелярию. Как бишь его? Зу... Со... Зо... ну, да все равно, это он; ну, а эта дама, должно быть, его жена, помнится, он говорил мне тогда, что имеет невесту. Вот что! А я уж было подумал и бог знает какое чудо! все женщины похожи одна на другую...

В это время дама с молодым человеком опять прошла

мимо Случайного, и до ушей его долетело опять несколько ее слов.

— Что за демонское навождение! точно ее голос, да и костюм-то, кажется, тот самый, в котором она прошлый год почти в это же время была со мной в маскараде... нет ли тут шашней! — Подумав, Случайный пустился догонять даму; он беспрестанно втирался между ею и молодым человеком, подслушивал ее слова, вымеривал ее рост глазами; подозрение его более и более усиливалось. Наконец он решился что-то сказать ей, но боялся ее спутника.

Молодой человек с дамой и преследующий их Случайный встретились в это время с старым генералом и пожилой его дочерью; молодой человек поклонился и хотел итти далее, но генерал заговорил с ним, и он поневоле должен был на минуту оставить свою даму; тут, наконец, Случайному представился удобный случай. На цыпочках подкрался он к даме и дрожащим голосом тихо сказал:

— Сударыня! ради бога, скажите мне, кто вы?

— Я? Донна Элеонора, — сказала дама голосом, который на этот раз не показался Случайному похожим на голос его супруги; это, однакож, несколько не уменьшило его подозрений.

— Я не шутя вас спрашиваю, ради бога, скажите правду.

Дама с нетерпением смотрела на прежнего своего спутника и с неудовольствием видела, что он и не думал еще к ней возвратиться.

— Не мучьте меня, сударыня, скажите!

— Я уже сказала, — ответила дама и пошла. Случайный последовал за ней...

— Мне кажется, что вы моя жена, — сказал с усилием Случайный, — я ведь вот почему прошу вас об этом.

Дама засмеялась, несколько молодых людей, которым удалось подслушать последние слова Случайного, перемигнулись меж собой и пошли следом за ними...

Случайный ничего не замечал. Увлекаясь своим подозрением, которое в глазах его принимало все более и более вероятия, он почти забыл, где находится...

— Танюшка, душенька! полно меня обманывать-то, ведь я вижу, что это ты; скажись. Или и ты уж научилась

этим маскарадным *обманам* и не хочешь узнать своего мужа... Посмотри — это я, твой Макарушка, Макар Осипович. — В лице Случайного было что-то чрезвычайное, когда он ронял с языка эти слова; мне кажется, что в другой раз увидеть его в таком положении можно только тогда, когда б ему пришлось отдать все свои деньги.

Смех нескольких человек последовал за этими словами. «Вот новый род мистификации! прекрасно, прекрасно!» — шептали между собою молодые люди. Дама, к которой относились слова Случайного, ничего не отвечала и только удвоила шаги, желая соединиться с прежним своим спутником, который, окончив разговор с генералом, шел к ней навстречу.

Намереваясь сказать еще несколько слов, Случайный побежал за этой непостижимой дамой; второпях наткнулся он на господина в рыжем парике и коричневом фраке, оба пошатнулись и упали.

— Ничего этого не будет, что я давеча обещал вам, я нарочно предложу графу завтра же ревизовать вашу канцелярию! — сказал оскорбленный господин в коричневом фраке, поднимаясь с полу. Рыжие волосы, прикрывавшие его голову, были только на волос от перемены своего обыкновенного жилища, выражение лица было смешно и трогательно; после угрожающих слов, понятных только Случайному и возымевших свое действие, он прежде всего схватился за левый карман и с ужасом увидел часы свои совершенно разбитыми. Большого усилия над собою стоило ему не обнаружить словесно сожаления и гнева. Все, кто был в этой стороне залы, с наслаждением глядели на эту сцену.

Случайный, как громом пораженный словами господина в рыжем парике, безмолвствовал. Он поспешно удалился от места рокового столкновения и спрятался в уединенном углу. Приводя в порядок свои мысли, он не понимал, каким образом мог надеть таких глупостей. «Какая глупая мысль залезла мне в голову! моя жена! чорт знает с чего я взял это! ее голос? да разве в маскараде говорит кто своим голосом! ее любимый костюм? да разве не могла и другая дама надеть такого костюма!.. Вообразил ни с того, ни с другого, да и попал впросак. Чорт помог мне толкнуть этого Конона Филатьича — человек-то нуж-

ный! что теперь станешь делать! хоть в петлю полезай... ох, мне эта канцелярия!..»

Так думал Случайный и отправился в буфет, решившись с горя выпить шампанского...

Совершив это важное предприятие с надлежащей аккуратностью, Случайный сел в карету и отправился домой. Ночь была самая ненастная. Она принадлежала к числу тех ночей, которых такой большой запас у петербургской природы, которые посылаются на грешных столичных жителей, как гении насморков и коклюшей. Ветер, срывая, как хромоногий бес, крыши старых домов или шапки прохожих, бегал по улицам и пел заунывную песню, сопровождаемую стуком частого, мелкого дождя в железные кровли и прерывчатым шумом воды в трубах и водостоках. Фонари горели тускло, как будто вылив половину света на тротуары, которые казались около них покрытыми густым слоем лака. Иногда дождь утихал и ветер не так сильно шумел, но это для того, чтоб, притаившись где-нибудь за углом, подстеречь запоздалого прохожего, броситься на него с большею яростию, оглушить своим воем, завертеть около него одежду, как пеленки, ошеломить его совершенно и повалить, если можно. Дождь между тем немилосердно стучал в лицо бедного прохожего, и он сгибался униженно пред неумолимыми проказниками, хватал полы своей одежды и прижимал ее к груди. Снося с стоической твердостью подобные оскорбления, он подвигался вперед, беспрестанно ниже и ниже сгибаясь, чтоб представлять меньшую плоскость действию врагов своих, походивших на избалованных детей, которым мучения бедного животного доставляют злосе удовольствие, а его сопротивления только более раздражают шалунов. Иногда ветер забежал в тыл прохожему; тогда не нужно было бороться с ним, он сам помогал ему идти, толкал его, дул в одежду, как в паруса. Но это состояние было безотраднее всякого другого, потому что ходьба по скользким тротуарам становилась тогда еще опаснее; нужно было много сноровки и ловкости, чтоб не запнуться о тумбу, не поскользнуться на покатосях против ворот, не попасть в винный погреб, в мелочную лавку, с опасностью сломить шею, вывихнуть ногу или руку и вообще потерпеть какое-нибудь неприятное физическое повреждение. В эту ужасную ночь скучно было даже сидеть дома: эгоис-

тическое удовольствие находиться в теплой сухой комнате, даже перед затопленным камином, с трубкою или сигарой в зубах за стаканом чаю, когда другие мокнут и мерзнут под небом, закрытым тучами, в темной сфере, где больше воды, чем воздуха, эгоистическое удовольствие это не было так сильно, чтоб увернуться от влияния погоды. Самый самовар, казалось, шумел и визжал печально, подлаживаясь под песню ветра, под бой капель дождя и под шум воды, сталкивавшейся в жолобах и падавшей на мостовую... Плохо было и под потолком и под небом; но все-таки лучше сидеть в сухой комнате, потому что тут еще есть отрада, которая придет, если совесть у вас чиста, — это сон; правда, песня бури напсет невольню грустные думы, а они приведут печальные грезы, но все-таки это не тоска, а грусть, которая всегда благороднее и сноснее...

Погода не обнаруживала на Случайного ни малейшего дурного влияния; сидя в карете, он важно размышлял о том, как человек с истинным гением всегда может найти себе дорогу к богатству и величию; с ужасом вспоминал как, бывало, в подобную бурю, таскался пешком; потом мысленно пробежал все три ступени, по которым вбежал, наконец, в дверцы великолепной кареты, вспоминал, как гнул, чтоб попасть в них, как ему, наконец, *повезло*, и с гордостью остановился на том, как поехал в первый раз в собственной карете. Выпитое шампанское помогло ему позабыть угрозы господина в рыжем парике и все неудачи этого несчастного дня; мысль о неисправности его канцелярии и могущих последовать от того бедствиях также не смущала на этот раз его веселья, о даме и о своих подозрениях он забыл совершенно. Все это помогло ему наслаждаться совершенным спокойствием. Приписывая счастье устройству своего карьера единственно свсему уму и проницательности, он был очень доволен собою; вино более и более горячило его воображение и, наконец, он утонул в честолюбивых мечтах. Вот он уже министр, человек, нужный государству, известный Европе; все те, пред которыми он принужден еще смиренно сгибаться, толпятся у него в прихожей, ожидая с подобострастием выхода его высокопревосходительства. Он сам сидит в великолепном кабинете, обложенный делами, и ничего не делает; маленький сын его Коко гримасничает или, подходя к нему, восклицает: «какой ты, папа, умный!» Он нежно

целует сына или дает ему щелчок по лбу и посылает его в другую комнату к матери; между тем входит она, в утреннем неглиже; походка ее величественна, движения грациозны; он не знает, с кем сравнить ее из дам высшего круга, ему известных; она всех превосходит своею красотою, любезностью, утонченною непринужденностию в обращении. Тут воображение будущего министра разыгралось до *pes plus ultra*¹: жена его показалась ему такою очаровательною, какую не казалась и в первую неделю брака; почувствовав в себе особенный прилив нежности, он дернул за шнурок и приказал ехать скорее. Через несколько минут карета остановилась у подъезда, он пробежал по лестнице и прямо отправился в спальню своей супруги.

Как только Случайный отворил двери и заглянул во внутренность спальни, свечка выпала из рук его, лихорадочный огонь пробежал по жилам; судорожное потрясение было так сильно, что он едва не упал; эта величественная министерская важность, эта веселая улыбка, это довольство самим собой — все вмиг исчезло; лицо его представляло самую смешную карикатуру на его собственную особу; губы посинели, глаза *посоловели*, нос, к величайшему подрыву всех теорий о цвете носа у человека в *пьяном виде*, побледнел, вообще все лицо вытянулось до невероятности; только парик, коварный парик, один оставался хладнокровным и совершенно чуждым каких-либо изменений... Вот выгода носить парики!

Причина изумления, испуга и остолбенения Случайного была следующая. Войдя в спальню, он увидел ту самую даму, которую в маскараде сначала принял за свою жену, потом за жену Зорина, потом опять за свою жену и, наконец, опять за жену Зорина. Она стояла перед зеркалом и снимала с себя маску; от изумления ли или от какой другой причины, руки ее, при входе Случайного, опустились и маска осталась не снятою.

Случайный хотел что-то сказать, но язык плохо повиновался ему; тщетно доискивался он в голове своей причины этого, повидимому очень обыкновенного, явления. Суевер, никогда не размышлявший о том, во что верить и что отвергать, чуждый собственного разумного убеждения

¹ До последнего предела. (Ред.)

во всем, что не касалось чинов и денег, он не на шутку струсил. Подумав, что пред ним привидение, он сперва начал креститься, потом схватился обеими руками за голову и закрыл глаза.

Незнакомка, в первые минуты появления Случайного, была в большом замешательстве и, казалось, не знала, на что решиться. Увидев, что Случайный закрыл глаза, она быстро подошла к кровати, тихонько раздвинула осеняющий ее белый занавес и скрылась за ним...

— У меня в канцелярии нет ни одной вакансии; богом божусь! я бы с радостью принял вашего мужа, — шептал Случайный, немного опомнившийся, но все еще дрожащий от страха и не смеющий ни раскрыть глаз, ни пошевелиться.

Наконец, совершенно проснувшись от нравственного онемения, которое мешало ему размышлять здраво, он сделал несколько шагов вперед с твердой решимостью спросить даму, кто она и зачем пожаловала; но каково было его изумление, когда, открывши глаза, он не нашел никого. Это повергло его почти в такое же положение, в каком он был за минуту; он снова убедился, что имеет дело с нечистою силою. Когда он опять получил употребление рассудка, первым движением его было обыскать комнату; осмотрев все углы и подозрительные места, он, наконец, отдернул занавес кровати и увидел жену свою, спящую крепким сном, небрежно раскинувшись в самом поэтическом беспорядке...

III

Прошло еще три месяца.

Войдите в этот двухэтажный когда-то беленый дом на конце улицы. Если вы видели его за 20 лет, то теперь с трудом узнаете, так он переменялся от неприсмотра! Штукатурка и лепные украшения во многих местах обвалились и нагло обнаружили кирпичные стены. А видите ли наверху еще третий этаж или что-то вроде третьего этажа, эту деревянную надстройку с большим полукруглым окном? Когда дом был в цветущем состоянии, эта надстройка была тут чрезвычайно не у места. Она производила на проходящих такое же впечатление, какое производит большое родимое пятно на лице красавицы. Теперь она как-то

идет к его неопрятной наружности, даже гармонирует с ней. Так на дурном лице какая-нибудь резкая черта иногда поправляет неприятное впечатление целого; чем больше морщин на лице старухи, тем она почтеннее.

Странно, но правда. «Правда всегда странна, страннее выдумки», — говорит Байрон.

Но зачем я веду вас туда? Непременно нужно, иначе мы потеряем из виду героя повести, без которого и конца повести не будет. Итак, несколько ступенек вверх по этой лестнице, и мы на месте. Однако ж берегитесь, чтоб не упасть: лестница хуже наружности дома; недаром говорится, что внешность есть вывеска внутренности. Да мало ли что говорится недаром; вот, например, я указал вам надстройку дома тоже недаром; там живут... Раз, два, три... вот и последняя ступенька, вздохните свободнее. Мы войдем в эту комнату без церемоний.

Комната не велика. Прямо против двери единственное окно, направо кровать, налево стол с письменным прибором, там и сям несколько стульев; в углу, подле двери, самовар, сальная переломанная свеча в изогнутом медном подсвечнике, щипцы, сапожная щетка и старые сапоги. Вот все ее принадлежности. Близ письменного столика сидит пожилой человек. Лицо его расстроено, щеки бледны и впалы, лоб сморщен, брови нахмурены. У окна, с чулком в руке, сидит молодая женщина; она тоже печальна, глаза ее не совсем еще обсохли от слез, черные локоны, распущенные в беспорядке, придают лицу ее, оттененному бледностью, мрачное выражение. Ни он, ни она не говорят ни слова уже более часа.

Наконец пожилой человек потянулся, зевнул, положил ногу на ногу и сказал:

— А которое, бишь, сегодня число, душенька?

— Кажется, 21, — отвечала женщина.

— Значит, скоро срок платить за квартиру, душенька.

— Да, скоро...

— Что за немилость божия на нас! — сказал мужчина, помолчав несколько минут. — Как пошло, как пошло сорить беды одну за другою — так и не успеваешь опомниться! так и душит! Помнится, вскоре после того проклятого бала, на который мне так не хотелось ехать, начались наши несчастья. Вот не прошло еще пяти месяцев,

а приходит жутко. Неужели наши несчастья еще продолжаются...

— Бог милостив, авось все опять поправится.

— Поправится, да не воротится. Ох! дети, дети! я вас воспитывал, за вами ухаживал, вас любил, да за вас же мне и досталось. И как все вдруг собралось на мою голову. Недаром с той самой минуты, как граф сделал мне выговор, сердце у меня было не на месте; помнишь ли ты, душенька, когда это было?

— Вы мне это рассказывали.

— Да, да; в этот же день, кажется, я был в маскераде. Ужасный маскерад! ты, точно знала, не поехала; ах! кабы и я сделал то же! Да нет! грех попутал, чорт сунул — думал, лучше будет. Тут ни с того, ни с другого показалось мне, что и ты в маскераде.

— Как! неужели? вы мне прежде не говорили; странно, я не вставала в тот вечер с постели.

— Знаю, душенька; видел. Да ведь если чорт захочет кого попутать, так на своем поставит. Ну так и шепчет: твоя жена! твоя жена! Я ну бежать за тобой как сумасшедший.

— Как за мной?

— Да, что я? за той-то дамой, бежал, бежал, долго говорил с ней...

— Долго говорили? она хороша собой?

— Ах, душенька, ты уж и вот что подумала; просто так говорил, потому что хотел узнать, кто она.

— Потом что?

— Вдруг, ох, этот несчастный случай! я столкнулся на повороте с Кононом Филатьичем, чуть не уронил его, расшиб у него часы; он рассердился, да так, что не принял тысячи рублей, которые я послал ему на другой день за разбитые часы, да, как часы тысячи не стоили, то частичку, знаешь, так, авось, думал, гнев-то и поуходится. Как узнал я об отказе, сердце у меня так и съежилось; вот уж тут я вправду струсил... да и было чего. Хожу по комнате часов в десять утра, а дрожь меня так и пробирает; ты еще спишь, я пожалел будить тебя, ты же накануне была больна, пусть, думаю, еще понежится. Оделся, поехал к канцелярию. Вхожу, а граф уже там вместе с Кононом Филатьичем; я так и обмер. «Господи помилуй, конец мой пришел!» — думал я... А Конон Филатьич злобно

поглядывает на меня, да посмеивается. Эка bestия! Граф начал ревизовать дела, рассердился ужасно, не сказал со мной ни слова и уехал... Я чуть жив приехал домой.

— Ах, какие вы приехали тогда бледные и сердитые...

— Побледнеешь, матушка, как того гляди под суд упекут! Уголовная-то не свой брат! спасибо, что еще велели только подать в отставку, — кабы притянули к суду, да ко взысканию — вот тут бы так, уж хоть *матушку репку пой*, не справиться. Потеря места хоть кого озадачит, помнишь, как мы с тобой плакали. Вдруг в тот же почти день новое горе... Эти дрянные купчишки наклеветали на меня, что я растрачиваю имение их покойной сестры, ненавижу детей, прижитых в браке с ней; отняли у меня опеку над детьми, отняли детей, отняли их имение, взыскали штраф... о, это всего ужаснее! несправедливость явная; я буду протестовать... дай только мне поопериться, опять найти место!

— А что вам сказал сегодня этот князь, к которому вы ходили хлопотать о месте?

— Да, душенька, я и забыл. Вели-ка Степановне почистить мой фрак, да сапоги высветлить получше. Мне сегодня нужно на бал...

— К кому, по какому случаю?

— К князю, я зван. Давича я у них был; самого князя не видел; он очень занят и поручил на время принимать всех просителей своему родственнику. Прекрасный молодой человек, такой вежливый, принял меня очень ласково, сказал, что похлопочет сам и просил быть уже у них на бале. Только что полтора месяца женился, еще на уме все праздники!

— А как его фамилия?

— Зорин.

Дама крепко ухватилась за спинку стула, потом встала, закрыла лицо платком и пошла в прихожую отдавать приказания служанке.

— Вот как иногда можно ошибаться, — сказал Случайный, когда она возвратилась, — после того, что он сделал с нами на бале, я думал, что он самый дурной человек. Увидя его сегодня, я полагал, что он по крайней мере покосится на меня — ничего не бывало. Он так хо-

рошо обошелся со мной, как нельзя лучше. Я надеюсь, что место, о котором я его просил, останется за нами.

— Ну, дай бог.

— А вот, что уж будет; на балу он обещал мне что-то решительное.

Бал. Свет и благовоние разлиты в приемных комнатах князя Н. Комнаты убраны великолепно. Множество восхитительных ножек, легких и маленьких, как мизинец Амура, мелькают по паркету, который, кажется, горит стыдливым румянцем, блещет светлой улыбкой удовольствия, созерцая дивные формы красавиц. Ничто не может победить владычества этих очаровательниц; самый стеарин меркнет и бледнеет пред блистательною их красотой. Только пожилые их спутницы мешают вообразить их существами нездешнего мира.

Я люблю видеть на могиле розу, но не люблю видеть старухи подле молодой девушки; это не дает мне увлечься ее красотой, переселить ее на седьмое небо, сделать волшебною, вечно цветущею феей и унести за ней далеко, далеко, в очаровательную область мечты, залететь туда, где *с безумием граничит разумье*. Иногда засмотришься на красавицу: душа под волшебным смычком мечты настроится к возвышенным впечатлениям; воображение возьмет на ней несколько мощных аккордов, в них, кажется, откликается само небо; вот оно раскрыло свои объятия; вот мы летим в его дивные чертоги: вдруг взор мой нечаянно падает на спутницу моей феи; очарование исчезает, я опять на земле, я снова прах, мечта моя переносит меня в будущее — я вижу *двух* старух, двух земных женщин и почти готов открыть табакерку и попотчевать мою красавицу.

Бал князя Н. был такой, какими обыкновенно должны быть балы знатных бар. Хозяин, настоящий русский вельможа, не жалел денег. Все шло как нельзя лучше, видно было, что в этом доме бал — дело очень обыкновенное. Лакеи не суетились без толку, не роняли друг друга, не обливали гостей чаем или оршадом, не подходили беспрестанно к хозяйке или хозяину для того, чтоб, с таинственным видом нагнувшись к их уху, спросить шопотом о каком-нибудь вздоре; сам хозяин не выбегал ни разу отдавать приказания. Гостей было множество. Молодые

люди танцевали, пожилые играли в карты или смотрели на танцующих, между последними был и наш Случайный.

Он с нетерпением ждал конца кадрили, в которой участвовал Зорин. Ему хотелось переговорить с ним о деле, узнать что-нибудь *решительное*.

Кадриль кончилась. Зорин прошел с своей дамой мимо Случайного, отвел ее на место и подошел к нему.

— Весело ли вашему превосходительству? — сказал он насмешливо.

Случайный не заметил насмешки и был восхищен вежливостью Зорина.

— Я за честь себе поставляю быть на таком прекрасном бале.

— Помнится, мы только один раз встретились на бале, вы, верно, балов не любите?

— Мне, старику, признаться, уж и не до балов.

К Зорину подошел какой-то молодой человек в прическе ионического ордена и насильно оттащил его от Случайного.

— Пойдем, mon cher¹, я покажу тебе чудо!

— Здравствуйте, почтеннейший! Скажите, пожалуйста, давно ли вы знакомы с Зориным, — сказал Случайному маленький человечек на высоких каблуках, подойдя к нему и схватив его за руку.

— Несколько месяцев тому назад я встретился с ним на одном бале, потом он был у меня по одному делу, потом я был у него...

— И так вы познакомились? Как он с вами ласков! вы — счастливцев; теперь этот человек в ходу, он может многое сделать для нашего брата; он правая рука князя, а князь, вы знаете?..

— Скажите, пожалуйста, как он *подбил* к князю; как ему удалось жениться на его родственнице? он человек бедный, несколько времени тому назад он искал моей протекции, просился в мою канцелярию, когда я служил у графа.

— Эх, почтеннейший! вы еще всего не знаете, дело щекотливое. Между нами будь сказано, родственница-то князя, говорят, его родная дочь, грех его холостой жизни... понимаете?.. притом же она и не красавица... а товар, поговорка говорит, лицом продают! Зорин, говорят, при-

¹ Мой дорогой (*Ред.*)

шел просить у князя места; слово за слово — они и по-сблизились. Ну, а остальное через экзекутора. Понимаете? Зорин дворянин, кончил курс в университете, был уже шесть лет на службе в Москве, малый не то чтобы глупый — чего ж больше. Не богат! да с таким родственником не надо и иметь четырехэтажного дома в Петербурге. Станет служить, пойдут чины, награды, повышения — для князя все сделают!..

Маленький человек взял Случайного под руку и начал водить его по комнате, толкуя о всемогуществе протекции. «Да, да, протекция вещь важная, я только на нее надеюсь теперь!» — думал Случайный...

С трудом отделавшись от молодого человека в прическе ионического ордена, Зорин подошел к одной молодой даме и занял подле нее место...

У них завязался самый пустой разговор о погоде, о бале, о нарядах и так далее... Они как-то странно поглядывали друг на друга в промежутках этого разговора. Какое-то беспокойство тревожило их. Видно было, что у них много слов, которые просятся из сердца. Взоры их как будто спрашивали один другого: скоро ли ты начнешь, или мне начать?

Наконец Зорин преодолел робость и сказал вполголоса:

— Итак, вы замужем.

— А вы женаты.

Молчание последовало за этими словами. Глаза их встретились. Взор его, казалось, укорял и вместе говорил: прости! во взоре ее, кроме смущения, ничего не было; желая ли скрыть свое замешательство или по другой причине, она вмиг озарила глаза свои восхитительной улыбкой и навела их прямо на Зорина. В эту только минуту Зорин разгадал ту непонятную улыбку, которую невеста его некогда сделала гвардейцу.

— Вы любите своего мужа, вы счастливы, — сказал Зорин после долгого молчания.

— Ах, нет! муж мой еще вчера поссорился со мной. Он никак не хотел взять ложи в бенефис Тальони, но, наконец, я на своем поставила. Ах, как она танцует!

У Зорина навернулись на глаза слезы. Он все еще лю-

бил свою Лёленьку (вы, верно, узнали уже, кто эта дама). Ему тяжело было видеть ее ветренность. Казалось, это бы должно его утешить в потере ее, но с ним случилось противное. «Она еще ребенок, и это ее оправдывает, — думал он. — Когда б она была моею, моя любовь научила бы ее любить истинно, предпочитать тихую семейную жизнь удовольствиям шумного света». Во время этих размышлений он нечаянно увидел Случайного, и прежний гнев на этого злого гения его жизни снова вспыхнул в душе его...

— Сюда идет ваш муж, верно — он уже окончил свой вист, — сказал Зорин, увидя стройного гвардейского офицера, приближающегося к ним. Скрыв свое замешательство, Зорин, с бессмысленным выражением лица, обратился к Елене Александровне и заговорил о Тальони.

— Тальони, Тальони! я не знаю, что может быть лучше ее танцев, — сказала она.

— Не о той ли плясунье в белом платье говорите вы, что вчера прыгала, как козленок? — сказал офицер, не слыхавший начала речи и садясь в кресло.

— Ах, друг мой, как можно так говорить об ней, как можно ее чудные ножки сравнивать бог знает с чем! — сказала дама.

— Право, я мало знаю толку в ногах, исключая ножек... — офицер умильно взглянул на свою жену.

Она покраснела от негодования и бросила на своего мужа быстрый как молния взгляд, который невольно выражал досаду.

Зорин жалел ее и вместе чувствовал какую-то радость.

Он начал подбегать к кавалерам и просил танцевать мазурку. Все пришло в движение, мужчины ангажировали дам, любопытные опять выстроились около стен, Случайный также шел занять удобное место, откуда бы мог свободно смотреть на танцующих. На половине пути к свей цели встретился он с Зориным и не мог более удержать нетерпения узнать о последствиях свей просьбы касательно места.

— Извините; через час я буду свободен, и тогда мы с вами потолкуем, — сказал Зорин и побежал дальше.

Музыканты заиграли, пары выстроились, ноги и ножки пришли в движение.

— А вы, Елена Александровна, отчего не танцуете? — сказал Зорин, найдя ее одну на том самом месте, где за минуту с ней разговаривал...

— У меня нет кавалера; не хотите ли вы быть моим кавалером?

— Нет, я уж давно не танцую. Хотите ли, я вам найду кавалера?

— Пожалуй, но отчего же вы сами не танцуете?

Зорин не слышал этих последних слов. Как будто озабоченный какой-нибудь гениальной мыслию, он спешил привести ее в исполнение. Бегом добежал он на другой конец залы, отыскал Случайного, схватил его за руку и, не говоря ни слова, повел через залу.

— Куда вы меня ведете?

— Вы, верно, не откажетесь сделать мне небольшое одолжение?

— Какое?

— Протанцевать мазурку.

— Помилуйте, я старик; я уже 20 лет не танцевал...

— Ну как хотите, а мне показалось, что такая мелочная услуга ничто пред тем, об чем вы меня просите. Если так, то и я...

— Ах, что вы? могу ли я этого для вас не сделать... но, видите, в мои лета... много народу.

— Что ж! если вам не угодно, я принуждать не смею...

— Извольте, извольте: я только так сказал... надеюсь, что место...

— Хорошо, хорошо! об этом после... ангажируйте эту даму! — сказал торжествующий Зорин, поставив Случайного пред Еленой Александровной.

Но этого мало, он должен был еще подсказать ему, что говорить, потому что озадаченный старик был сам не свой.

Елена Александровна изумилась, услыша приглашение Случайного, в нерешительности, с вопрошающим взором обратилась она к Зорину, но в это самое время несколько пар пронесли мимо; Зорин толкнул Случайного, старик бессознательно схватил руку своей дамы и поспешно присоединился к танцующим. Очередь скоро дошла до них, и они пошли. В минуту все глаза, очки и лорнетки были наведены на эту интересную пару. И было чем любоваться! Случайный прыгал, аккомпанировал плечами

своим ногам, то забегал вперед, то отставал и тяжкими вздохами как бы вымаливался пощады, жалобно озираясь кругом. Лицо его было красно, со лба градом катился пот; ничего нельзя вообразить себе смешнее его физиономии в эту минуту. Несмотря на это, какая-то веселая улыбка появлялась на лице его, когда глаза его случайно встречали Зорина; они, казалось, говорили тогда: вот что я для вас делаю! верно, после этого вы мне не откажете в месте. И, одушевляясь этою великою надеждою, он собирал последние силы ног и плеч и превосходил самого себя быстрыми движениями! Беспреданно меняясь в лице, то бледнея, то краснея от стыда и негодования, дама его, казалось, отдала себя на волю судьбы; она машинально двигалась, поминутно сбивалась, сбивала старика, старик, в свою очередь, сбивал других, и не было конца несчастным последствиям. Дама теряла последние силы и готова была упасть в обморок. До нее беспреданно долетали насмешливые слова ее приятельниц, которые, радуясь, что встретили случай над ней подсмеяться, не жалели острот и колких замечаний. Они этим мстили ей за вред, который делала ее красота их собственной. Мщение извинительное!..

Зорин с видимым наслаждением смотрел на невыгодное положение этой пары. Он первый не старался скрыть насмешливой улыбки, возбужденной в нем странными кривляньями Случайного и отчаянным состоянием его дамы. «Мазурка, мазурка! когда-то и я потерпел от тебя много, пускай же и другие узнают, как иногда ты неприятна!» — думал Зорин, не спуская глаз с Случайного и прежней своей невесты.

Наконец эта ужасная мазурка, которую по справедливости можно назвать для двух ее действователей пыткой, для остальных самым занимательным зрелищем в комическом роде, к счастью первых и к сожалению последних, кончилась.

Елена Александровна с укором посмотрела на Зорина, отыскала своего мужа и сейчас же уехала, несмотря ни на какие упрашивания Зорина и супруги его.

Случайный с радостной улыбкой подбежал к Зорину и схватил его за руку.

— Ну что? не правда ли, что я много сделал для вас? Заметили ли вы, как я танцевал?

- Видел, видел! благодарю вас!
- Скажите же, ради бога, могу ли я надеяться?..
- Чего?
- Получить место?
- Завтра, завтра! вы у меня будете, и там переговорим, — сказал Зорин, освободив свою руку из руки Случайного, и удалился...

Бал продолжался долго. Благовестили к заутрени, когда начали разъезжаться.

IV

Что такое сон? Сон уравнивает жребии людей; люди в физической жизни составляют части огромной машины — человечества и оттого необходимо занимают разностепенные места. Богачи, бедняки, вельможи, простолюдины и всякий совершает свое назначение лучше или хуже: было бы несправедливо, если б бедняк, трудясь целый век, не имел никаких наслаждений, или богач, живя в довольстве, не терпел ни малейших неудовольствий. Сон в некоторых случаях есть также, по мнению одного умного человека, нечто вроде репетиции того, что должно случиться в действительности. «Иногда (говорит он) я захожу в дом, вижу людей, говорю с ними, и все, что я вижу, что говорю, что мне говорят, кажется мне верным, до малейшей подробности, повторением минувшего, кажется, будто я был когда-то на репетиции всего этого».

Случайному виделся дурной сон. Целую ночь, как Нева во время наводнения, он метался на своей постеле, из стороны в сторону. Какие-то бессвязные звуки, вылетавшие из уст его, нередко возмущали тишину ночи и будили жену. Она вслушивалась в них, старалась что-нибудь понять, но, видя бесполезность своих стараний, крестилась и опять засыпала.

Часу в одиннадцатом утра Случайный повернулся, пробормотал несколько непонятных слов и с словами: «мне танцевать, мне танцевать? помилуйте!» — проснулся.

Жена, которая давно уже вязала чулок, с беспокойством подошла к нему и начала спрашивать о причине его странного бреда.

— Не больны ли вы, друг мой? вы так беспокойно по-
чивали...

— Ничего, душенька, это так.

— Вы были так страшны во сне; говорили про какие-то
танцы, про место, и все это перемешивалось у вас с словами:
помилуйте, я надеюсь!..

— Это потому, что я вчерась *вытанцовал* себе протек-
цию и все об этом думал; ты еще всего не знаешь. Вот как-
ков я нынче: танцевал, да еще с какой дамочкой... чудо!
мы протанцовали целую мазурку, она бы и еще пошла со
мною, да мне не захотелось.

— Хорошо, хорошо! а дом, жена, дела — вы об этом
и не подумали. Видно, что эта дама вскружила вам голову.

— Да, я едва стоял на ногах, когда мазурка кончилась...
ты не поверишь, душенька, как я устал...

— По делам вам! пустились в танцы... а со мною так
не хотите пройтись даже по Невскому... я уж стар, ду-
шенька, до гулянья ли мне, насилу ноги таскаю! вот как
вы меня отделяете...

— И полно! ты уж и ревновать. Ну, велика беда, что
я танцевал с хорошенькой... ведь танцевать не значит...

— А вы бы еще больше хотели... Вы не сказали мне,
когда меня сватали, что будете так поступать.

— Но ведь я же ничего и не сделал. Не сердись, ду-
шенька, это в первый и последний раз.

— В первый! Правду вы говорите! Точно я не знаю,
что вы раз как-то целый маскарад пробегали, как
сумасшедший, за какой-то дамой... Не та ли опять?..

— Нет, ты сама знаешь... я тебе говорил, по какому
случаю... это совсем другое, вчерась я танцевал для про-
текции.

— Для протекции! стыдитесь, сами не знаете, что вы
говорите...

— Опять свое. Я же тебе толком говорю, душенька,
что ты ошибаешься... Да хоть бы и поволочился — что
делать! ущипнула за сердце, не вытерпел... извини! впе-
ред не буду.

— Вот так-то! А что вы за минуту говорили. Верь вам
после этого. Вы меня забыли, вы влюбились в другую,
а я... — при этих словах Случайная заплакала...

Случайный, встревоженный, начал целовать ее руки.

— Виноват, душенька, прости! чорт знает с чего мне эта

дурь влезла в голову; клянусь тебе, что не буду вперед танцевать! так *пораженжился*, вспомнил молодость...

— Хороши утешения! стыдились бы говорить, видно, вы хорошо вели себя и прежде.

Случайный никак не мог уверить жену в истинной причине, по которой танцевал на вчерашнем бале. Чтоб утешить ее, он принужден был рассказать вымышленную повесть о том, как месяца четыре тому назад влюбился в одну даму, как страдал, как потерял ее из виду, как целый вечер гонялся за ней в маскераде, как готов был изъясниться ей в любви на вчерашнем бале, как, заметив, танцующую с ней, что и она равнодушна к нему, блаженствовал. После этого он поклялся никогда больше не видаться с ней и не искать ее взаимности. Тогда только Случайная успокоилась.

— Верь не верь, душенька, а я вытанцевал себе протекцию, — сказал с самодовольствием Случайный, когда мир между супругами восстановился.

— Да о чем вы толкуете?

— О том, что Зорин обещал представить меня князю с выгодной стороны.

— И вы уже решили с ним: вы уверены?

— Ну, не так, чтобы очень. Решительного он мне ничего не сказал, а велел прийти сегодня. Да, впрочем, нет никакого сомнения. Заживем лихо! ты, душенька, опять попрежнему будешь ездить в карете, и я иногда; найдем хорошую квартиру, станем принимать гостей. Жалованья достанет; будут и доходишки, — прибавил Случайный шопотом. — А тут и именье авось воротится; подам жалобу на деверей, заведу процесс; перевес на моей стороне; я буду тогда опять человеком значительным, для меня скорей всякий что-нибудь сделает, да и прав-то я. Не кормил, что ли, не учил я детей? Ели за одним столом с нами, учить их нанимал *двух* семинаристов; правда, один ходил всегда на уроки *выпивши*, а другого за леность выгнали из училища, но зато как он строчил четко, когда мне случалась надобность переписать что-нибудь наскоро, да и брал-то за все только два целковых в месяц. Они говорят, что я растратил имение их племянников? А разве мало издерживал я на их воспитание, одежду, игрушки и прочие потребности жизни. Пусть-ка сочтут всё; дело-то, матушка, чистое — мы опять получим имение в наши руки. Тогда уж

будем знать, как распорядиться; не так ли, душенька?

В обаянии этих сладостных надежд Случайный совершенно забыл сон нынешней ночи, который предсказывал ему несчастье.

Пробило час. Он оделся, поцеловал жену свою и отправился в дом князя Н.

Было около половины второго, когда Случайный пришел туда. Его ввели в великолепно меблированную комнату и просили подождать немного. Стены приемной были увешаны портретами знаменитых лиц всех эпох и всех историй. Нужно было только не быть Случайным, чтоб засмотреться, задуматься над этими свидетелями земного ничтожества; только для его бесчувственной души, утонувшей в расчетах, взятках и мечтах самолюбия, не было тут ничего достойного внимания. Эти лица, полные или воинственной отваги, или ученого добродушия, или поэтической задумчивости, не могли, хоть на минуту, не тронуть чувствительной струны в человеческом сердце.

Я люблю, когда в уединенной комнате, где я свободно могу предаваться думам, висят по стенам портреты, особенно если это портреты отживших. Когда я вхожу в такую комнату, мне кажется, что я не один, и их серьезные лица иногда заставляют меня остановить улыбку, которая готова вырваться на уста от какой-нибудь веселой мысли. Иногда я стою, склоня голову, грусть меня одолевает, тяжелые думы приходят одна за другою и дружно сжимают сердце; вдруг в такую минуту я поднимаю голову, встречаю на их лицах холодную улыбку, и мне становится стыдно своих детских печалей. Так чудно действие этих лиц на душу, то бьющуюся наслаждением, то замирающую от холода!

Случайный с нетерпением ждал Зорина. Сердце билось в левой стороне его груди так быстро, что знаки отличия, кресты и медали, полученные им во время долговременной *беспорочной* службы военной и статской, отделялись от мундира, сталкивались между собой и производили шум. Чуть зашумит что в другой комнате, он вскакивал, прислушивался, выпрямлялся, обтягивал фрак, и приготовленное приветствие готово было слететь с языка его. Обманувшись несколько раз в своих ожиданиях, он, наконец, стал дожидаться хладнокровнее. Звон ножей и вилок, который слышал он в начале своего ожидания,

начал утихать. «Завтрак кончен, — подумал Случайный, — теперь он, верно, сейчас пожалует».

При этой мысли знаки отличия еще сильнее заплясали на его груди от усиленного биения сердца; душа его сжалась, лицо вытянулось в вопросительный крючок (?), и все приветствия, все красноречивые изъявления благодарности, долженствовавшие последовать в случае совершения его желаний, смешались в голове его или вовсе исчезли. В таком положении застал его Зорин.

Случайный чуть было не заговорил: «всепокорнейше благодарю вас за милостивое содействие в доставлении желаемого мне места; смею питать себя вождеденною мечтою, что его сиятельство не будет раскаиваться в принятии меня на сие место». Он опомнился на третьем слове этого хитросплетения, понял, какой делает промах, закусил губы и замолчал; наконец он кой-как оправился.

— Осмелюсь напомнить вам о всенижайшей моей просьбе и милостивом желании вашем видеть меня сего числа в сем доме, для решительных переговоров о известном вам деле. — Говоря это, Случайный жался, мялся, кланялся беспрестанно, облизывался как кошка.

— Понимаю. Вы говорите о месте.

— Проницательность вашего высокого ума предупредила мои слова. Согласны ли его сиятельство определить меня на просимое мною место?

— Место занято! — сказал Зорин хладнокровно.

Нужно ли говорить, что почувствовал Случайный, услыша эти роковые слова? Этот человек, который за час мечтал о счастье, о карете, о просителях, на которых надеялся воротить все *проести и волокиты, проторы и убытки*, понесенные во время жизни без должности, снова увидел себя отдаленным надолго, может быть, навсегда от осуществления вождеденной мечты своей. Его дергало, корчило, ежило, трясло как в лихорадке; сердце его, или, точнее, кусок карельской березы, обточенный наподобие сердца, готово было выпрыгнуть из груди и отравить черной злостью и желчью своей треть человечества, корыстлюбивая душа, съезжившись в гривенник, *ушла*, как говорится, *в пятки*, физиономия обнажилась во всем своем безобразии. В патетических местах трагедий талантливый актер, забывая себя, усваивает себе характер и действия представляемого лица: в минуты душевных потря-

сений человек забывает притворство и является таким, каков в самом деле. Потому-то весь запас трусости, бесхарактерности и душевной низости ясно отразился на лице Случайного. Не нужно быть Лафатером, чтоб, взглянув на него, понять в эту минуту его душевные качества.

Сначала он принял за шутку слова Зорина и смело посмотрел ему в глаза, но когда встретил равнодушный, серьезный взгляд, смелость его оставила. В этом взгляде он прочитал себе приговор страшный, неумолимый; он многое, многое напомнил ему. Ему показалось, что когда-то он уже встречал подобный взгляд; несколько минут Случайный был в отчаянном положении, близком к сумасшествию.

Не дожидаясь ухода Случайного, Зорин небрежно кивнул головой и повернулся к нему спиною, с намерением удалиться.

— Будьте великодушны, заставьте за себя вечно бога молить, не дайте умереть мне и жене моей с голоду! — закричал Случайный истушпленным голосом, схватив Зорина за руку.

— Я ничем не могу быть вам полезным.

— Еще вчера вы меня обнадежили; я танцевал — я для вас это делал.

Зорин улыбнулся. — Его сиятельство сказал мне, что хотя ему бы очень приятно исполнить мою просьбу, но он уж отдал место другому, а потому не может сделать на этот раз по моему желанию; что делать! обстоятельства! — сказал он.

— Но вы меня обнадежили, я слышал, что место не занято; войдите в мое положение... — При этих словах Случайный почти до земли поклонился Зорину.

Зорин, не дослушав его слов, вышел из комнаты...

— Батюшки! отпустите душу на покаяние! — шептал Случайный.

В эту минуту карета, в которой сидел Зорин, проехала мимо окон. Это напомнило Случайному что-то давно минувшее. Он вспомнил, как когда-то точно так же увидел из дверец своей кареты в приемной своей огорченного просителя. Все ему объяснилось!..

Р. С. Жена Случайного подарила его, чрез несколько времени, прекрасным мальчиком, который очень похож — на отца...

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ ПИИТА

Рассказ

- Что это за такое бессловесное животное?
— То, которое словесности не обучалось.

Хотя я иностранным языкам еще не обучался, но все-таки до личности своей коснуться не позволю.

Некие.

Это было в 182* году...

Плотно завернувшись в шинель, дрожащий от холода, я лежал на ковре, разостланном посредине моей квартиры, и размышлял о средствах достать чернил. Мне нужно было непременно написать одну статейку, на которой основывались все надежды моего бедного желудка, в продолжение трех дней голодного. Год был урожайный; за статьи платили мало или ничего вовсе, а есть любил я много; ни родового, ни благоприобретенного я не имел, следовательно нечему дивиться, что мебель моя состояла из одного трехногого стула, а вся квартира простиралась не более как на шесть квадратных шагов, половина которых была отгорожена ширмою, за которою жительствовал мой слуга. Я находился в тесных обстоятельствах, во всевозможных смыслах этого выражения; денег у меня не было ни гроша; вещей удобопродаваемых тоже... Как тут быть?

— Милостивый государь! — закричал я громко, как бы опасаясь быть неслышанным.

— Сю секунду, — отвечал из-за ширмы голос моего человека, которого я имел обыкновение называть милостивым государем.

— Как бы нам достать чернил? Ведь этак мы, пожалуй, умрем с голоду...

— Да, сударь.

— Вот, если бы были чернила, я бы написал что-нибудь и достал бы денег. Нельзя ли взять у хозяина: вбеги впопыхах с чернильницей: очень, мол, нужно поскорей; куплю, так отдам.

— Да я уж так несколько раз делал; пожалуй, догадается.

— Ты прав. Не сделать бы хуже; он уж и то поговаривал, что нашу квартиру у него нанимают. Сходи лучше к лавочнику: мелких, мол, не случилось, хоть на грошик пожалуйте; да говори с ним поласковой.

— Куда! Этот жид и то не дает мне покоя. Все долгу просит. «В полицию, говорит, явку подам, надзирателю пожалуюсь... Этак честные люди не делают... Вишь, твой барин подъехал с лясами: поверь, да поверь земляку — вот я и влопался». И ну костить, да так, что инда злость берет; при всей компании по имени вас называет...

— Ах, он мошенник!.. Да ты бы его хорошенько...

— Нету, сударь, уж как хотите сами, а я не берусь. Пожалуй, и в самом деле...

— Точно, точно... Лучше к нему и не ходи... Тьфу! чорт возьми! да нет ли у нас гроша-то где, что и в самом деле!.. — При этих словах я обшарил все свои карманы — и засвистал протяжно: — Пусто!

— Пусто! — повторил мой милостивый государь еще плачевнее, выворачивая свои карманы.

Слезы навернулись у меня на глазах; злость закипела в душе...

— Вот до чего мы дожили... Сидим по два дни без хлеба, без дров, без чернил, — прибавил я страдальческим голосом. — Живем в гадкой каморке.

— Ничего, сударь.

— Как ничего! Глупец! Этак, если б меня посадили на кол, ты бы тоже сказал: ничего!

— Не место человека красит, а человек место, — говорит пословица. А пословицы, сударь, вещь прекрасная, сколько я мог заметить; что вы, сударь, об них ничего не напишете?

Я готов был заплакать, и, по обыкновению, пуститься в проклятия стихами и прозой; но философия моего милостивого государя меня обезоружила. Этот человек, который сносил равную моей участи гораздо терпеливее меня, не раз отстранял совершенное мое отчаяние. Несмотря

на простоту его, я замечал в нем гораздо больше твердости характера, и потому невольно уважал его, иногда даже прибегал к его советам.

— За что же мы теперь примемся, милостивый государь? — спросил я.

— Да что, сударь, бросили бы свое писанье, коли не везет; испробовать бы другой карьеры...

— Ты опять за свое. Этого не будет, я уж сказал. Вот, ты бы лучше подумал, как достать чернил.

— Терпит ли время до завтра? — спросил милостивый государь скороговоркою, с каким-то нечаянным самодовольствием...

— А кто поручится, что до завтра я не умру с голоду? Да и статью надо бы скорее.

— Батюшка-барин, — сказал милостивый государь дрожащим голосом: — потерпите до вечера... не сердитесь, что я вам скажу... У меня, вон, есть кусочки ситника, что намедни карандаш вытирали: вы съешьте их; оно все на животе-то поздоровее... а я покуда добуду денег...

— Что ты, Иван? — закричал я, забыв обыкновенный тон шутки. — Где ты достанешь денег так скоро?..

— Да вот в соседние дома поношу водицы, так и заработаю что-нибудь.

— Добрый Иван! — сказал я и почти готов был обнять его.

— Оно, вот видите, барин, кабы вы так не транжирничали, и было бы хорошо; ведь еще третеводни были у вас деньги: вы враз упекли! Хоть бы вы послушались моей просьбы да отпустили меня, так я бы нашел местечко, а деньги-то бы приносил вам... все бы сподручнее...

— Опять за свое. Пожалуйста, не говори мне никогда об этом, — сказал я с чувством обиженной гордости и сел на стул... Изломанная ножка, кой-как подставленная, подломилась, и я упал.

— Эх, барин! говорил, не садитесь, ножка худа, я-де подставил ее только для приличия, кто взойдет, чтоб не переконфузиться: надо же ведь и тону задать!.. Виноват, батюшка... не ушиблись ли вы? — говорил милостивый государь.

Но мне было не до него. Сердце мое сильно забилося радостью; в этом падении я увидел начало своего возвышения. Да! я увидел сапоги милостивого государя; ка-

жется, тут и нет ничего необыкновенного... Точно, точно, милостивые государи, для вас так, но для меня... увидел сапоги моего Ивана — и нашел, что бы вы думали?.. Философский камень?.. Ничуть не бывало... меня только поразила светлая, гениальная идея: видно, что в этот день на небе было что-нибудь особенное, или, может, ум мой... но я оставляю исследовать это до другого времени...

— Давай сюда поскорей мои сапоги! — закричал я милостивому государю, и сам схватился за голову, опасаясь, чтоб не исчезла идея: неожиданное счастье иногда заставляет нас прибегать к излишним предосторожностям, из опасения потерять его.

— Итти со двора, что ли, сударь, хотите? Ведь ваши-то сапоги очень худы... наденьте лучше мои...

— Не то! идея, братец, идея! — закричал я, держась попрежнему за голову.

— Да ведь я вам говорю, что худы, вылетит.

— Что ты тут толкуешь! С ума, что ли, ты спятил? Давай скорей.

— Да вы посадить, что ли, в них хотите ее?..

Я вышел из терпения; надобно же случиться такой оказии, что милостивый государь вздумал рассуждать. Чтоб не терять попустому времени, я побежал сам за перегородку, отыскал сапоги и с торжествующей физиономией поцеловал один из них. Милостивый государь стоял, вытаращив глаза. Я потер пальцем по мокрому месту сапога... Физиономия моя еще более прояснилась. Иван пожал плечами.

— Иван, друг мой! — закричал я: — давай скорей тарелку, да нет ли какой тряпочки?.. Мы не умрем с голоду! Тебе не надобно итти носить воду... Что ж ты стоишь!

Иван, поставленный мною в тупическое положение, насилу опомнился и побежал исполнить приказание. Сердце мое шибко билось от полноты сильных сладостных ощущений; может быть, еще первый раз в жизни оно было озадачено таким полным, мощным приливом счастья. Я готов был выбежать на улицу и расцеловать первого встречного, хоть будочника, который диким, беспрестанным восклицанием: «кто идет?» не дает мне спать. Таких минут немного бывает в жизни!

Милостивый государь, наконец, достал требуемых мною вещей и явился. Я выхватил у него из рук тарелку и поставил ее на окно; набрал в рот воды, взял тряпку и таким об-

разом остановился у окошка, держа сапог прямо над тарелкою.

— Осмелюсь вам доложить, не понимаю, что изволите делать; дельное что или просто так, шутственное?

Я взглянул на Ивана: лицо его представляло странную смесь любопытства, недоумения и какого-то глупого испуга. Мне стало смешно, а смех такая вещь, которая производится только рот разиня. Я фыркнул, брызги воды полетели в лицо Ивана. Он обиделся.

— Не плакать бы нам, барин; после веселья всегда бывают слезы; пословица...

— Ты опять с пословицами; довольно и давишной, — сказал я и снова набрал в рот воды.

Не обращая более внимания на Ивана, я стал выпускать изо рта воду на сапог и тряпочкой смывать с него ваксу. Физиономия моя прояснилась до прозрачности, когда я увидел черные крупные капли, падающие с сапога на тарелку.

— Вот что! — произнес милостивый государь и вздохнул свободно.

— Да, вот что, милостивый государь.

— Не густы ли? — спросил Иван.

Молча указал я на ковш с водою.

— То-то, а то у вас всегда так: вдруг густо, а вдруг пусто.

Через минуту чернильница моя была наполнена драгоценным составом; я приставил стул к своему ковру, положил на него бумагу, поджал под себя ноги, и пошла писать.

— Умудрил же господи раба своего! — набожно произнес милостивый государь и пошел за ширмы спать, или отдать визит *пану Храповицкому*, как сам он выражался.

Я уписывал уже второй лист, стараясь писать как можно разборчивее, потому что изобретенные мною чернила были не очень благонадежны; из-за ширмы слышалось уже полное, совершенно развившееся храпение милостивого государя, как вдруг в дверь мою послышался тихий стук... Я не мог растолковать себе, кто б это мог ко мне пожаловать; хозяин мой стучит сильно и смело, а больше ко мне ни собаки *не ходит*. Теряясь в догадках, я разбудил Ивана и велел отпереть ему, для большей важности.

— Наум Авраамович дома? — спросил робкий, дрожащий голос

— У себя-с, — отвечал милостивый государь. — А как об вас доложить?

— Я приезжий из Чебахсар; они знают моего родителя; я Иван Иванович Грибовников.

Я выскочил за ширмы и увидел молодого человека, с множеством различных тетрадей подмышкой и с письмом в руке. Я оглядел его с ног до головы; черты лица его были резки и неправильны, в глазах выражалась необычайная робость, происходившая как бы вследствие сознания собственной ничтожности, нижняя губа была чрезвычайно толста, несколько отвисла и потрескалась; нос был довольно большой и несколько вздернутый кверху; волосы его, сухие, немытые, неровно остриженные, не показывали ничего общего ни с одной из европейских причесок; зачесанные ни вверх, ни вниз, они щетиной торчали над головой, в виде тангенса к окружности; руки его были почти грязны и имели на себе несколько бородавок, расположенных почти в том же порядке, как горы на земной поверхности; ноги были кривы и двигались неровно и медленно; когда он говорил, то обыкновенно одну ногу выдвигал вперед, а другой изредка сзади в нее постукивал; кланялся он низко, очень низко, но совершенно не по тем законам, каких держится большая часть поклонников; на нем был долгополый сюртук из синего сукна, двубортный, с тальей на два вершка ниже обыкновенной, с фалдами, усаженными пуговицами, которых пара приходилась почти против пяток; желтые нанковые брюки, необыкновенно узкие, довершали безобразие ног; оранжевая с белыми полосками жилетка, загнутая доверху, пестрый ситцевый платок с китайскими мандаринами на узоре, из-за которого едва виднелась черная коленкоровая манишка, порыжевшая от времени и непредвиденных обстоятельств, и смазные немецкие сапоги на ранту — дополняли его наряд.

— Пожалуйста, пожалуйста, очень приятно... — говорил я, вводя его в дверь и путаясь в полах моей шинели.

Грибовников смотрел на меня с каким-то благоговением, а на мою квартиру еще с большим...

— Что привело вас сюда? — спросил я после обыкновенных приветствий.

— Судьба, — отвечал он трагически.

— Прошу садиться, — сказал я и, спохватившись, прибавил: — кто как любит, а я, знаете, просто, по-турецки, на полу, оно как-то удобнее. Вы извините меня, у меня такой уж характер; не люблю этой мишурной пышности.

— Всеконечно. Суета мира сего — ничто пред всеобъемлющей, громадною, бесконечною вечностию.

— То есть вы хотите сказать: все вздор против вечности?

— Действительно, сударь, я вам должен доложить, что я хотел сказать сие самое.

— Надолго в Петербурге, или опять на родину? Вы, верно, там служите?

— Да, я хотел было поступить в земский суд, да наш уездный учитель, умнейший человек на свете, посоветовал мне поступить лучше в пииты; оно, говорит, и доходно и почетно... Я же уж давно пописываю... право, вот вам, прочтите... затем я и к вам, Наум Авраамович; как бы это определиться? вот и батюшка-то к вам письмецо пишет, — сказал он умоляющим голосом и вручил мне письмо.

Все еще недоумевая, о чем идет дело, я развернул письмо и нашел следующее:

«Милостивый государь,

Наум Авраамович!

Примите под свое высокое покровительство сего юного питомца муз, дабы он мог, под вашим крылом, вознестись до превыспренних высей Парнаса и на сладко бряцающей лире восхвалить ваши ему благодеяния; ибо с давних пор, я вам скажу, замечено мною в сыне моем, Иване Ивановиче, необычайное стремление к пиитике; долг родителя есть поощрять сие столько же, сколько довлеет изгонять из единокровных чад своих, коих господь бог послал ему яко утешение и подпору на старости лет, семя греховное, и потому к вам, Наум Авраамович, как гению, прославившему наш град писанием, адресую моего сына; он у меня один, как порох в глазе, и вы за него богу ответите, если допустите погибнуть, аки оглашенному, кой, буде я не ошибаюсь, имеет безошибочные таланты и вышлет аки медом кормит, ибо в чтении оно так же сладко. Писание его вельми различно и обширно. Он также сочиняет для Российского Феатра, что в особности прошу

заприметить, ибо и покойный Сумароков писал в различном духе и складе. Жена моя, Анфисочка...»

— Уф! — вскричал я, не имея терпения дочитать. Прошу покорно, просит моего покровительства! Да я-то что такое? А! видно, что-нибудь... И в самом деле! Ведь пишет же он, что я прославил их город. Вот оно!.. — Эта мысль примирила меня с моим гостем, которого я хотел протурить без церемонии. — Милостивый государь! сколько могу, буду содействовать вам; но позвольте сперва обратиться к вам с одним вопросом: почему вы непременно хотите быть писателем?

— Мы все живем на земле, родители и сродственники наши помещаются также на оной, — но никто из смертных не проникал в будущую судьбу свою... Всеобъемлющий гений Шекспира и сугубая злодейственность Малюты Скуратова равно велики и поразительны в своем роде...

— Но, любезнейший мой Иван Иванович, из этого еще ничего не следует...

— Позвольте мне говорить с вами откровенно, — сказал доверчиво Иван Иванович.

— Говорите, говорите, — сказал я и пожал его руку... Он положил руку на сердце, тяжело вздохнул и сказал: — Мы удивляемся шекспирову гению, но знал ли сей великий мясник...

— Но вы хотели мне что-то сообщить о себе?

— Да; я буду с вами откровенен: вы пиит, я тож, вы поймете меня, не так ли?

Я вежливо поклонился. Иван Иванович продолжал:

— Что касается до меня, то в душе моей признал нечто пиитическое еще в младости цветущей... Сие изложено мною в дактилохореическом стихотворении, титулованном мною двояко: *Зарождение плеснети в стоячем болоте* или *Пиит в юности*; прикажете прочесть?

— После, после, — сказал я поспешно: — мы их все рассмотрим. Теперь, что дальше?..

— Я пиит, решительно пиит! собственное сознание убеждает меня в сем предположении, — сказал Иван Иванович, положи одну руку на сердце, а другой пожимая мою. — Постыдно быть врагом самому себе и зарывать в землю свои таланты, кои, будучи очищены, аки злато в горниле, затмят камни самоцветные...

— Но вы не знакомы с положительной стороной того, за что хотите взяться... Тут много такого...

— Треволнения вселенной, коловратность мира сего — ничто! Неужели то, что я пожертвовал местом в земском суде, при коем *окромя* прочих продуктов квартира, дрова, и свечи, для пиитики, не может служить *хоша* малым доказательством моей к оной наклонности?.. Конечно, от доходов, буде оные случатся, я не отказываюсь, ибо состояние мое того не дозволяет. Но сие не важно суть, ибо всем известно, что Вальтер-Скотт миллионы нажил писанием... Предположим, что не столь великое счастье мне поблагоприятствует, но пиит и половиною сего будет удовольствован...

— Но кто вам сказал, что это так легко? — спросил я, поглядывая на свое жилище.

— Вы, Наум Авраамович! Вы! — воскликнул он, и лицо его просияло. — Весть о богатстве вашем достигла до нашего града и, мгновенно разлетясь по стогнам оного, произвела всеобщее шумление. Сие-то и есть главную причину, что родитель мой не воспрепятствовал моему желанию... Поезжай в Питер! — молвил сей добродетельный старец: — трудись для российского Парнаса, а нам высылай наличными; пииту там хорошо... Наш друг Наум Авраамович...

— Да, конечно, я не могу жаловаться на судьбу свою: денег у меня довольно, — сказал я, вспомнив, что писал еще недавно к одному из земляков, что наживаюсь от литературы, имею своих лошадей, огромное знакомство и таковую же славу. Чего я не писал тогда? Впрочем, меня извиняют обстоятельства: там жила — царица души мсей!.. Я не желал, чтоб Иван Иванович обличил меня во лжи перед целым городом, и решился, во что бы ни стало, опровергнуть невыгодное мнение о моем кошельке, которое, вероятно, внушил ему вид моей квартиры.

— Вам странным должен показаться образ моей жизни; в этом признались уже все мои приятели, но нарочно для этого-то и живу я так. Что-ж? я мог бы иметь хорошую квартиру, мебель, прислугу, пару лошадей, дюжину поваров, кучера, дворецкого; но, знаете, все это так обыкновенно... Нынче этим не удивишь. Да и для меня это полезнее; при виде окружающей меня бедности я прилежней работаю, как будто у меня и не лежит ничего в лом-

барде... А чуть вспомню: — вот и беда: мы, писатели, люди такие неумеренные.

— Заблуждаться свойственно человеку, — не извиняйтесь, Наум Авраамович... Я сам непrouch от сего... *эт-то*, в страстную пятницу, перед отъездом сюда... мерзко вспомнить... Благороднейшие пииты нашего града уподобились скоту бессловесному... у всех на другой день фонари под глазами были.

— Но вы не так меня поняли.

— Все равно, — произнес он с жаром, — мы пойдем друг друга... Скажите мне, что я могу на первый раз получить в год от пиитики?

— Вот видите, времена нынче странные: люди предпочитают поэзии прозу.

— О, грубые души, во тьме бродящие, бедных разящие, ложно мудрящие, низко творящие, вечно кутящие, пьющие, спящие, света не зрящие... — и пошел, и пошел... да так, что, я вам скажу, наговорил он их штук сорок... Ну, голова!

Я взглянул на него; лицо его было бледно и сияло каким-то неземным вдохновением; глаза страшно блистали, весь он слегка дрожал.

— Что с вами? — спросил я в испуге.

— Недуг пожирающий, тьму разверзающий, музу питающий, в радость ввергающий, плоть убивающий, дух возвышающий... — и опять пошел...

Страшно было смотреть на него; глаза его бегали, как у белки; нижняя губа как-то судорожно качалась; он уже едва держался на ногах.

— Сядьте! — сказал я и подвинул к нему стул, опять забывши о его недостатке.

Поэт не успел сесть, как уже был на полу...

— Землю пленяющий, небо вмещающий, огонь возжигающий... — шептал он, подымаясь с полу.

— Извините! — сказал я и поспешил подать ему помощь, но вдруг отскочил в ужасе...

— Чорт вас возьми с вашим вдохновением! Вы пролили у меня чернила и залили мою статью! — закричал я с негодованием.

Поэт ничего не слышал. Он продолжал свою импровизацию. Между тем гнев мой несколько утих, и я очень радовался, что обидное мое восклицание не было им услышано.

— Успокойтесь, успокойтесь, любезный Иван Иванович!

— Ох! — сказал он: — это вы, Наум Авраамович, а мне показалось, что сам бог пиитики, Аполлон, предстал пред очи ничтожнейшего из пиитов.

Я вежливо поклонился.

— Извините, что я вас так много утруждаю присутствием моей малой особы, которая в присутствии вашем...

— Ничего. Лучше поговорим о деле. Вы бедны?

— Я нищ!

— Что ж вы намерены предпринять для своего содержания?

— Наум Авраамович! Вы сами гласите, что уж и в ломбардном заведении ваши денежки водятся. А чем вы их нажили... мне бы то есть хотелось идти по следам вашим... Выпустите меня в литературу! Не корысть, не соблазны мира сего... поверьте... Мне бы так тысячи три-четыре на первый раз...

— Ого! — подумал я и поднял свой изувеченный стул.

— Только бы иметь средство прилично содержать себя и не быть в крайности; доставьте мне сию возможность.

— Право, не знаю как; задача трудная. По крайней мере знаете ли вы хоть один иностранный язык?

— Как же! еврейский, греческий, латинский, славянский...

— А немецкий, французский?

— Нет, Наум Авраамович.

— Плохо... на перевод, значит, нечего и надеяться. Не пробовали ли вы писать прозой? На прозу цена выше...

— *Fiunt oratores, nascuntur poetae*¹, изрек Гораций; следственно, несомненно, что родшийся пиитом легко может сделаться оратором... Небезызвестно вам, что у нас еще с риторики задают рассуждения, хрии и прочая; я писал их по приказанию местного начальства, но душа моя...

— Оставьте-ка лучше вовсе свое намерение.

— Ни за что! Я не изменю своему призванию: Аполлон и девять сестер, именуемых музами, что на греческом наречии значит...

— Знаю, знаю. А я бы лучше советовал приняться за что-нибудь другое...

¹ Ораторам делают, поэтами рождаются. (Ред.)

— Нет; лучше соглашусь довольствоваться тысячью рублями годового продукта для поддержания бременной жизни сей, — произнес он с усилием, как будто бы делая величайшее пожертвование.

— Право, лучше поступите в статскую службу.

— Но неизвестно вам, Наум Авраамович, что на первый раз жалованье слишком недостаточно. 300 рублей с копейками...

Я внутренне усмехнулся.

— Но уверяю вас, что и поэзия не больше принесет вам.

— Как! И вы это говорите! Вы, о богатстве которого весть гремит повсюду, которого наш град прозвал своим Крезом, — Крез, извольте видеть, был богаче всех, — которому весь наш град завидует...

— Да с чего вы это взяли, что я богат? я, право...

— Не скрывайтесь, Наум Авраамович! Вы хотите этим отвлечь меня от поприща, на которое влечет меня сердце, но пусть я буду терпеть глад и холод, скуку и муку, насмешки человечества, изгнание из отечества и прочие увечества, — но никогда ни за что не откажусь от пиитики. Вот они, вот плоды светлых вдохновений, сильных ощущений, тайных упоений, бледных привидений, адских треволнений, диких приключений, тягостных мучений, сладостных кучений, бед и огорчений...

— Чудо, чудо! — закричал я. — Да вы собаку съели, Иван Иваныч!

Поэт мой ничего не слышал; торжественно схватил он с пола кипу своих тетрадей, развернул первую попавшуюся и начал:

Федотыч, трагедия в 5 действиях, в 16 картинах, заимствованная из прозаической пиимы Василия Кирилловича Тредиаковского *Езда на Остров Любви*, и написанная размером *Виргилиевой Энеиды*, в стихах, с присовокуплением некоторых новооткрытых идей самого автора *Ивана Ивановича Грибовникова*, с принадлежащим к ней прологом и интермедиею. В числе 8783 стихов сочинил *Иван Иванович Грибовников*. Действие частью в деревне Прохоровке, Симбирской губернии, Самарского уезда, частью в волчьей яме и земском суде.

ДЕЙСТВИЕ I

Явление I

Театр представляет полати. Федотыч спит. Работник Кузьма подходит будить его.

Кузьма

Вставай, владыка мой, Федотыч, солнце красно
Взошло и на сей мир ослабилось ясно.

Федотыч *(просыпаясь)*

Всю ночь мне не спалось, и некий злой шакал,
Мне мнилось, на меня хулу из уст рыгал.

Кузьма

Что зрелось во сне, на то ты не смотри,
А лучше лик себе платенцем сим утри!
(Снимает с гвоздя полотенце и подает ему.)
Дремоту обуяв, взгляни на ясность неба;
Умойся, помолись — и съешь краюшку хлеба.

Федотыч

Советодатель мой и мой наперсник! внемлю
Тебе и нисхожу — сполатей я на землю.
(Федотыч встает, умывается, садится есть.)

Кузьма

Реши, владыка мой, сомненье днесь одно:
Итти ли нам косить, иль вытти на гумно.

Федотыч

О юность! сколько ты неопытна, быстра!
Ведь прежде, нежель мы изыдем со двора,
Должно нам порешить с тобой, о сын мой, вкупе,
Владыке в чем итти, в чемерке иль в тулупе?

Кузьма

Едва лишь ночи мрак преторгнул свет Авроры,
На улице жара, ну так, что ломит взоры.

Федотыч

Итак надену я армяк и стару шляпу,
Не сторгся б с небеси дождь яростный внезапно.

Кузьма

Надень под низ тулуп: здоровьем ты ведь слаб.

Федотыч *(едва удерживаясь от слез)*

В объятия мои, ко мне, мой верный раб!
(Заключает его в объятия, потом одсваются и уходят.)

— Превосходно, превосходно! — закричал я: — да не махайте так руками и не декламируйте так громко; разумеется, это придает много силы вашему сочинению, но знаете, если у вас немножко грудь слаба...

Он подал знак, чтоб я молчал, и хотел продолжать.

— Отдохните немного, у вас сделаются конвульсии, у вас пламенная, благородная кровь, и потому вы очень увлекаетесь, а это...

— Если вы не хотите слушать, то я перестану, — воскликнул он обиженным голосом, прерывая мои слова. — Я, сударь, читал свои сочинения в торжественном собрании нашего града. Сам городничий был, смотритель училища на другой день зачем-то прислал мне лаврового листу и писал, что меня должно венчать, как какого-то Тасса, да я ответил ему, что жениться мне еще рано... Впрочем, и дочка у него скверная такая, рябая, с веснушками.

— Не сердитесь, мой любезный Иван Иванович, я вас же любя сказал. Да притом сегодня мы всех ваших сочинений прочесть не успеем, то я просил бы вас оставить их на недельку у меня, а теперь прочесть только отрывки. — Я взял из кипы тетрадей другую, развернул и прочел заглавие: *Иоани и Стефанида*. — А, это что-то духовное... новый род... должно быть хорошо.

— Да, это пиима, сказочного содержания, так, в овидиевом роде. Мне хотелось испытать себя во всем. Но это вы прочтете после. Знаете, как неудобно для сочинителя, когда внимание читателя двойится; лучше кончить трагедию.

— Но вы уже дали мне понятие о стихах её, они прекрасны; а чтение всей трагедии отнимет у нас много времени, мне некогда... вы извините меня.

— Но дослушайте хоть сюжет; я вам говорю, я сам удивляюсь, как я написал это: о, тут будет еще не то! Я вам скажу, у меня для некоторых лиц язык даже особенный, а сюжет просто диковина... Все, все новое... нигде еще не было напечатано. Вот извольте видеть, они пошли теперь на работу, тут придут домой, будут есть, пить; начнется кричанье, плясанье, стучанье, — такие деянья, что даже названья им трудно прибрать... Но это еще все ничто... Федотыч, подгулявши, это уже в третьем действии, идет, извольте видеть, в лес; вот тут штука... дело было под вечер... он не разглядел, да и бух в волчью яму, а там волк уж по-

пался, голубчик, вот у них и начинается потеха. А! какво! Вот тут, я вам скажу, так уж пиитика! Меня самого слезы пронимают, как вспомню; как взял волк Федотыча, да как принялся ломать, так ажно самому страшно. (Становится в позицию и начинает декламировать.)

Как ось несмазанна вознягы Аполлона
Вдруг кости треснули: фэдотычева стона
Раздался велий глас, и гладную вельми
К нему летящу зрит орлицу он с детьми...
Кто ужас выражал на свете сем достойно?
Кому, блаженну, сил дано премного столь,
Исчерпать сей предмет, изобразить пристойно?
Где, где счастливец сей: обнять его дозвольт!

Иван Иванович простер ко мне свои объятия и искал моей шеи. Я уже хотел спросить: за кого вы меня принимаете? — но увлечение моего поэта было так сильно и естественно, что я не желал разбудить его.

Крепко, пламенно обнял меня поэт и заплакал. Долго слезы мешали ему говорить; наконец он снова начал. Не ужасайтесь: вы думаете, Федотыч погиб? никак нет-с.

Подобно праотцу всех праотцев, Адаму,
Лишился он ребра, попавши в волчью яму.

Вдохновение Ивана Ивановича сообщилось отчасти и мне. Я возразил ему стихами:

Но, видно, этот волк был очень глуп и добр,
Когда не изломал Федотычу всех ребр.

Он посмотрел на меня с приметным самодовольствием и отвечал:

Вещайте, с драмой сей возможно ль мне чрез вас
Введенну быть, с толпой подобных, на Парнас?

Я возразил с усмешкой:

Но можно ли волков вводить в литературу?

Иван Иванович торжественно посмотрел на меня и воскликнул:

Но се не волк, — баран, одетый в волчью шкуру.

Я захохотал во все горло. Иван Иванович, который был вправе ждать от меня одобрения, изумился.

— Самое патетичное место в трагедии... поразительная нечаянность, неожиданный переворот во всей пьесе... сильный, гигантский шаг к заключению... — шептал он с неудовольствием, пока я смеялся. — Разве тут есть что-нибудь смешное, Наум Авраамович?

— Ха, ха, ха! сам себе смеюсь, любезнейший, сам себе, извините; как это я не мог с первого раза догадаться! Да вы так хитро придумали... Чудо, чудо! уж я на этих вещах взрос, а тут, нечего сказать, — ума не приложил. Да как же это, уж не обманываете ли вы, Иван Иванович?

— Нет, поверьте. На том завязка; Федотычу со страха показалось, что это волк; а сказано это у меня в начале так, знаете, просто для интереса. Тут теперь чудеса пойдут. Прибегают поселяне на крик Федотыча. Благородные сердца их поражены состраданием и изумлением. Федотыча вытаскивают, он видит барана и в гневе бросается на сие невинное животное, ставшее, по обстоятельствам, игралищем страстей человеческих. Надобно видеть ярость Федотыча: он клянется погубить врага *тлетворным ядом — иль мечом!* Все для него равно, лишь бы достигнуть своей цели! Все средства позволительны: буря страстей завела его слишком далеко, чтоб уже благоразумно остановиться.

— О детища мои! о верная жена! —
Федотыч в ярости взывает: —
Заутро, может быть, мне плаха суждена,
Уж смерть мне взоры ослабляет!
Из посрамленных ребр ручьем текуща кровь
В утробе сердца месть рождает.
О пусть она вовек, как репа и морковь,
Мне в душу корни запускает!

После сего Федотыч начинает разыскивать, кто посадил в яму барана в волчьей шкуре. Открывается, что один юный парень, желая подшутить над своим другом, который вырыл сию яму, ради взывания волков, сыграл эту шутку. Федотыч, познав сие, говорит много и сильно и, наконец, восклицает, почти в безумии:

Мне холодно, — я в ад хочу!

— И уходит в ад? — спросил я.

— Нет, он хватает «юного парня» и отправляется с ним в земскую полицию для принесения жалобы. Этим кончается четвертое действие. Но я должен сделать невели-

кое отступление. Что вы скажете насчет последнего стиха, произнесенного героем трагедии! А? не напоминает ли он вам чего-нибудь эдакого великого, колоссального? Подумайте, подумайте!

Я был в совершенном замешательстве и не знал, что отвечать; по счастью, Иван Иванович сам помог мне.

— Что, забыли! Помните ли вы сей стих из *ямбической* поэмы *Разбойники*:

Мне душно здесь, — я в лес хочу!

— Что, как он вам кажется?

— Удивителен!

— Повторите теперь мой; мне холодно, — я в ад хочу! Что, не та же сила, гармония, звучность, меланхолия? Это просто пандан-с.

— Правда, правда; таланты равносильны... Но докончите скорей рассказ сюжета.

— Вы этого требуете? — спросил он с какою-то величественной важностью.

— Да, я вас прошу.

— Так нет же вам, — сказал он решительным тоном, весело улыбаясь: — моя трагедия вас заинтересовала, подожмите же, подстрекнутое любопытство придаст ей еще более интереса.

— Но это безбожно!

— Ха, ха, ха! Сами писатель, а не знаете своих выгод. Помучьтесь-ка. Перейдем к другому. — Он взял огромную тетрадь и подал мне. *Дактило-амфибрахо-хореи-ямбо-спондеические стихотворения* — стояло в заглавии. Я посмотрел на поэта: он как-то странно переминался, лицо его блистало самодовольствием, которое он тщетно старался скрыть.

— Вы, вероятно, поражены новостью заглавия: а это так, пришло мне в часы златого досуга; оно, знаете, как-то... благопристойнее — произнес, наконец, он и скромно потупил глаза.

Я перевернул страницу: *Ямбические стихотворения* было написано вверху страницы...

— Нужно вам сказать, что сия тетрадь заключает в себе двадцать восемь отделов, кои все носят заглавия по названию того размера, коим трактованы. Мне показалось это удобнее, — прибавил он скромно.

— Конечно, конечно, — подхватил я: — если б все наши поэты...

— Впрочем, сие стихотворение вы можете прочесть в одной книге, см. *Отдел четвертый, страница 1439*, стихотворение, титулованное: *Одного поля ягодам*, — сказал поэт, заметив, что я его не слушаю, а гляжу в книгу... Между тем я отыскал в ней стихи, которые с первых строк меня заинтересовали; для полноты наслаждения я просил самого поэта прочесть их.

— Это так, безделушка, — сказал он и, прокашлявшись, начал: *Величие души и ничтожность тела*, стихотворение Ивана Ивановича Грибовникова, *посвящается товарищам по семинарии*.

Сколь вечна в нас душа, столь бrenно наше тело.
Судьбы решили так: чтоб плоть в трудах потела,
А дух дерзал в Парнас, минуты не теряв,
Подобно как летал во время оно голубь.
Всему есть свой закон: зимой лишь рубят пролубь,
И летом лишь пасут на поле тучных крав!..
У вечности нельзя отжилить мига жизни,
Хоть быстро прокричи, хотя протяжно свисси,
Ее не испугать: придут, придут часы,
Преврутся жизни сей обманчивые верви,
Зияя проблеснет вдруг лезвие косы,
И смертный! зри: тобой — уж завтракают черви!
Невольно изречешь: о tempoга, о mores! ¹
Когда поразглядишь, какая в жизни горесть.
До смертных сих времен, от деда Авраама
Людей я наблюдал и семо, и овамо,
Дикующих племен я правы созерцал
И что ж? едину лишь в них суетность встречал!
Нещадно все они фальшивят и дикуют
И божьего раба, того гляди, падают.
То все бы ничего: но ежели их души
Вдруг гордость обует, средь моря и средь суши,
Забудут, что они есть прах, средь жизни чар
Постигнет их твоя судьба, о Валтасар!

Он умолк. Я все еще слушал, так я был поражен. Молча подал он мне руку, также молча я пожал ее; но мы понимали друг друга без слов, да и что нам было говорить?

*Что бедный наш язык? Печальный отголосок
Горжественного грома, что в душе
Гремит каким-то мощным, непрерывным звуком.*

(К у к о л ь н и к.)

¹ О времена, о правы! (Ред.)

— Вы поэт, — сказал я, — поэт оригинальный, самостоятельный, каких еще не являлось у нас; вы бы могли произвести переворот в литературе; но, послушайте меня... не печатайте того, что написано, не пишите больше.

— Как! — вскричал поэт: — вы сознаете во мне дарование, и советуете мне в самом цвете, в самой силе схоронить его в могиле?

— Ограничьтесь тесным кругом служебной деятельности, живите для счастья своего и нескольких избранных друзей: жизнь ваша потечет тихо и спокойно; благословляя судьбу, довольные миром и людьми, вы, наконец, перейдете в жизнь лучшую, так же безмятежно, и примете достойную награду неба. Поверьте, это есть именно то, к чему мы должны стремиться. Труден и неблагодарен жребий литератора... На каждом шагу, во всяком ничтожном деле, — он терпит и, такова его участь, — должен сносить и не жаловаться. Предположим, что вы издали книгу: она хороша, прекрасна, вы сами, как самый строгий и беспристрастный судья своего таланта, первый заметили достоинства ее, так же, как и недостатки. Но не так поступят с ней критики, враги рождающегося дарования: они найдут в ней небывалые недостатки, постараются унижить, затереть, совершенно уничтожить ее, если можно. Мало, — они докопаются до вас самих; какое-нибудь гнусное, бездарное творение, ничтожнейшее возможной ничтожности, низостью души кой-чего добившееся, творение, с которым нельзя встретиться на улице, чтоб не пожалеть в нем человека, стыдно быть в одном обществе, — посягнет на ваше доброе имя, превратит вас в нуль, — и все это для того только, чтоб наполнить страницу ничтожной газеты. О самой книге и говорить нечего, подобные ценители закидают ее сором, втопчут в грязь, и в доказательство беспристрастия своего приговора скажут только: ведь и мы можем написать так же!

— Но есть же люди, которые достигли известности на поприще пиитов, еще недавно. Ужели я столь несчастлив? К тому я драматический автор, тут судит сама публика. Я покуда ограничусь театром. К театру я чувствую в себе призвание. Я пишу во всех родах: трагедии, оперы, драмы, водевили. Да, вы еще не читали моего водевиля. Вот он, послушайте! (он взял одну из тетрадей) *Святополк Ока-*

янный, водевиль в одном действии, с куплетами, *действие на Арбате, в Москве.*

— Но Москвы тогда еще не было?

— *Doctoribus atque poetis omnia licent*¹, — отвечал он и продолжал читать:

— Явление первое. Театр представляет померанцевую рощу...

— Но какие же померанцевые рощи в Москве?

— *Doctoribus atque poetis omnia licent*, — снова произнес он с некоторой досадой и продолжал:

— Святополк ходит в задумчивости и напевает известную песню: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...», потом садится и начинает писать, потом читать: «С ног до головы целую тебя, любезная Элеонора...»

— Погодите немного, Иван Иванович, это мы прочтем после, я теперь не расположен смеяться, — сказал я, чувствуя особенное желание пофилософствовать, что у меня обыкновенно случалось на тощий желудок...

— Хорошо! — сказал он.

Я взял его за руку и продолжал:

— Положим даже, что журналисты, по какому-либо особенному случаю, вас расхвалят; но это еще не все. Найдутся другие неприятности. Вы — мечтатель в поэзии, но положительный в жизни; разумеется, вам не захочется всегда брать сюжеты из мира фантазии; вы возьмете их из природы, живьем перенесете на бумагу типические свойства человека, подмеченные вами; вы довольны своим трудом; вдруг, чрез несколько дней, доходят до вас слухи, что вы поступили неблагородно, бессовестно, низко... Как? Что? — восклицаете вы. — Еще запираетесь, говорит ваш приятель: поздно, брат, мы узнали... Стыдно, стыдно: а еще человек с талантом, — списывать портреты с известных людей и разглашать печатно их семейные тайны; да и что он тебе сделал, за что ты его так выставил? он человек прекрасный! — Вы в недоумении, сердитесь, не знаете: что подумать. Приятель ваш подсмеивается над вами, и, наконец, дело кончается так: вы узнаете, что в вашем последнем сочинении выведены известные лица, которых сходство изумительно; одним словом, вас обвиняют во всем том, что мы разумеем

¹ Ученым и поэтам все позволено. (*Ред.*)

под словом *личности*. Не виноватый в этом ни душой, ни телом и, может быть, по благородству своего характера неспособный на такой поступок даже против человека вами ненавидимого, вы становитесь подозрительным в глазах людей благомыслящих и наживаете себе тайных недоброжелателей.

— Но, может быть, на театре...

— Еще хуже, одно случайное сходство фамилий, и вы неправы.

— Уж четвертый час, сударь; не прикажете ли сварить кофею? — слышался в дверях голос милостивого государя.

Я изумился, желудок мой обрадовался... «Но откуда взялся этот кофе?» — подумал я и повернул голову к Ивану. Только я увидел его, надежды моего бедного желудка вмиг разрушились: я сейчас догадался, что Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось *задавать тону*.

— Болван! — сказал я с притворным гневом: — ты прежде этого мне не напомнил, а теперь уже время обедать.

Иван был очень доволен моим ответом и с самодовольствием возвратился за ширмы.

— Ну, любезный Иван Иванович, на что вы решаетесь?

— Но призвание, я вам скажу, оно-то меня волнует.

— Вы можете писать и не печатать.

— Но, вселюбезнейший Наум Авраамович, неужели слава, выгоды, которые представляет звание сочинителя, не выкупают с лихвою неудобств, вами представляемых?

— Ах, нет! Иван Иванович! тот ошибается, жестоко ошибается, кто так думает. Слава? Но знаете ли, что только тысячный из среды этих жалких *сочинительствующих* тружеников достигает ее. Деньги! о, это еще труднее! Славу можно прикормить, припоить, купить. Но деньги! деньги, — повторил я со вздохом: — нет, о деньгах лучше не говорить; извините, я — не люблю денег! — произнес я в свою очередь трагически.

— Но ради чего вам кажется, что их приобретать трудно? Издал сочинение, рздал по лавкам — пошло, ходи только да обирай денежки по субботам.

— Ха, ха, ха! И вы так думаете, — закричал я почти неистово: — по субботам! Ха, ха, ха! Нет, я думаю, полы

перетрешь у книгопродавцев в лавках, ходя за получкой; знаю я эту получку; она мне вот где сидит! — вскричал я, указывая на сердце.

— Как! и вы еще жалуетесь, Наум Авраамович! Слава богу, известно, что вы и тысячками ворочаете; откуда же они у вас?

— Вы ошибаетесь, друг мой, — сказал я с жаром. Воспоминание о получках по субботам затронуло чувствительную струну моего сердца; положение мое живо представилось моему воображению; мне стало стыдно, что я морочу этого бедного ребенка из пустого каприза казаться не тем, что я в самом деле. Я решился, во что бы то ни стало, снять повязку с глаз Ивана Ивановича и отвратить его всеми возможными силами от попрница, на котором он легко может испытать участь, подобную моей.

— Откажитесь, — вскричал я, — ради бога, откажитесь от своего намерения. Да или нет?

— Нет! — произнес Иван Иванович решительно: — призвание...

— Вам мало убеждений, которые я привел; так знайте же, я вам скажу последнее: вы можете умереть с голоду, если не откажетесь!

— Помилуйте!

— Я вам скажу примеры: Артур Б., Мальфиатре во Франции; Генрих Виц в Германии; Камознс в Португалии; Ричард Саваж в Англии... Я сам — в России!.. — вскричал я в исступлении.

— Помилуйте, вы, кажись, живехоньки.

— Жив! Но знаете ли, что чрез несколько часов меня не станет?

— Но вы, кажется, здоровы?

— Я умру, умру с голоду! — с усилием произнес я и упал на свой ковер от изнеможения.

— Но ваше состояние?

— Состояние! У меня нет его. Я бедняк, о, я ужасный бедняк! Я во сто раз беднее этих жалких существ, которые выпрашивают милостыню с простертой рукой, там, на Невском проспекте, у Аничкина моста. О, зачем вы заставили меня вспомнить мое положение...

— Верите ли вы мне? — спросил я, несколько успокоившись, смущенного поэта. — Видите ли теперь, как выгодно писать из денег! Оставьте ли свое намерение?

— Призвание, призвание! — повторил поэт, судорожно пожимая мою руку.

— Верите ли вы моей бедности? — спросил я и пристально взглянул ему в глаза. Он потупил их и покраснел. — Не верите! Ха, ха, ха! Видно, вас крепко уверили в моем богатстве. Смотрите! — сказал я и раскрыл мой маленький чемодан, в котором лежал мой фрак и несколько худаго белья: — вот все мое богатство! Любуйтесь, любуйтесь! Это я приобрел от литературы в продолжение пяти лет; неусыпным рвением, трудами, благородным желанием принести пользу. Оставьте ли теперь свое намерение?

Поэт молчал, но меня уже и то радовало, что он забыл о призвании.

— Мало этого, — сказал я: — вот вам письмо, надеюсь, что оно убедит вас.

— Пошла вон, пошла! У барина гости, как ты смеешь лезть к нему! — послышался из-за ширмы голос моего Ивана.

— Не пойду, не пойду, не пойду! — отвечал резкий старушечий голос. — Что я, крепостная какая, что ли, вам досталась, помыкать мной; мыла, мыла белье — да мало того, что не платят, еще и не войди!

— Замолчишь ли ты, яга!

— Не замолчу, не замолчу, не замолчу! Отдайте деньги за мытье; что вы с вашим барином-то вздумали озорничать — видно, и он гол-соколик.

— А чтоб тебе, старая чертовка, ежа против шерсти родить! Типун бы тебе на язык. Еще смеет барина порочить. Пошла вон! — закричал Иван и силой протолкал старуху.

Это меня развеселило. Я имею чрезвычайно счастливый характер. В каких бы обстоятельствах я ни находился, я только свистну, пройду по комнате, закурю трубку, буде таковая есть, а не то просто плюну — и все как рукой снимет. Так случилось и нынче; несмотря на мой тощий желудок, мне вдруг сделалось чрезвычайно весело.

— Милостивый государь! — закричал я: — что там за шум происходит?

— Да вот, сударь, прачка пристала: подай да подай долгу, а и следует только два двугривенных; стану я из-за этакой мелочи беспокоить барина; да еще при чужих людях,

оборони меня бог! — Последние две фразы прибавил Иван затем, что мой гость вслушивался в его слова.

— Ну, что, Иван Иванович, убедились теперь, что я говорю правду? Прочли письмо?

— Но, может, сие было писано на случай смерти от других обстоятельств.

— Что вы? Прочтите хорошенько: там просто сказано: на-днях я должен умереть с голоду; когда меня не станет, завещаю тому, кто примет труд меня погребсти, написать на моей могиле...

— Точно, точно; сказано.

— Что ж вы?

Иван Иванович молчал. Двукратное противоречие Ивана собственным моим уверениям подействовало на ум поэта сильнее письма. С грустию в сердце увидел я почти разрушившуюся надежду свою спасти хоть одну жертву от хищных когтей чудовища, именуемого литературою; вдруг, в то самое время, как поэт, снова увлеченный своим вдохновением, декламировал мне послание свое к *жестокодушной*, которое начиналось так:

В сфере высших проявлений
Проявляется она:
То как будто чудный гений,
То как будто сатана...

дверь с шумом отворилась и грубый, решительный голос спросил: здесь ли живет г. П.?

— Здесь, здесь, батюшка, я уж знаю; я ходил довольно за долгом к их милости, — подхватил другой голос.

— Да и я сейчас была, прогнали, просто прогнали! По-миру пустить хотят, защитите, батюшка, — послышался визгливый голос женщины, недавно прогнанной Ивановом.

Между тем человек в темнозеленом виц-мундире с красным воротником вошел в мою комнату и с величественною важностью начал обозревать ее.

— Что вам угодно, милостивый государь? — спросил я.

— На вас есть просьбица, дельце казусное. Вы т. е. не платите крестьянину Григорию Герасимову, содержанию здешней мелочной лавочки, денег за продукты, у него забранные.

— Но могу ли я заплатить, когда сам их не имею?

— Нам невозможно входить в разбирательство таких мелочей. Довольно, что жалоба имеет законное основание, и потому я бы попросил вас выплатить без отлагательства.

— Но этот бездельник слишком важничает, вишь, велика персона: пятидесяти рублей подождать не может.

— Ждал, необлыжно говорю: ждал долго! — вскричал оскорбленный лавочник, высунувшись из-за ширмы: — да еще ругается! А сам прежде писал: вот, посмотрите, ваше благородие! — И он подал ему какие-то записки.

Чиновник прочел: «Милостивый государь, любезнейший друг и земляк! Вы своим великодушием и покровительством, какое оказываете всем в одном месте родшимся с вами, заставляете меня надеяться, что и ныне не откажете снабдить меня двумя золотниками чаю и таковою же пропорцією березинского табака, за что деньги получите на-днях. Примите уверение в искренности чувств, и пр.». В заключение чиновник прочел мое имя и фамилию.

Я взглянул на моего поэта, все лицо его было слух и удивление.

— Что, верите ли теперь?

— Но ваши ломбардные билеты?

Не успел я ничего отвечать, как дверь снова растворилась и в комнату вошел хозяин. Как я ни был бесстрашен, но это поколебало мое хладнокровие... Хозяин!.. Знаете ли, что предвещает приход хозяина тому, кто не платит за квартиру?

— А! здравствуйте, Семен Семенович! Вы здесь; вот кстати, как нельзя больше, — сказал хозяин и подал руку чиновнику.

— Батюшка, уж и обо мне-то замолвите, — сказала прачка, кланяясь квартальному...

Хозяин мой отвел его в сторону и пошептал ему что-то на ухо.

— Еще на вас, м<илостивый> г<осударь>, жалоба! Вы не платите за квартиру.

— Прошу вас очистить ее, сегодня же, сегодня... У меня нанимают, деньги верные, да и больше дают; где это видано, жить даром в чужом доме! — кричал хозяин.

— Забирать даром мелочные припасы, — подхватил лавочник.

— Заставлять мыть на себя белье и не платить денег. Да еще называть честную женщину — и нивесть как. Вишь, лакеишко-то споваранку видно наизволил! — прибавила прачка.

Это дивное трио продолжалось с четверть часа, разнообразясь до бесконечности... Вопросающим взором взглянул я на поэта.

— Но ваши ломбардные билеты? — повторил он.

— Они существуют только в моем воображении!

— Если вы честно не разделаетесь, то, извините меня, я поступлю по всей строгости закона, — сказал квартальный.

— И хоть еще строже! Чорт вас возьми всех! Убирайтесь вон! Вы мешаєте мне заниматься! — закричал я, стараясь перекричать их...

— Вон! из моего собственного дома? Ха, ха, ха! посмотрим. Убирайтесь сами, куда целы... Не то ведь... держал же вас в доме даром, так видно и покормить придется. Кормовых денег не пожалею, вы же не служите; так — как раз!

— Окажите милость, остановите хоть вот эту шинель да сюртук, что на них надет, может быть, хоть половину за них выручу, — сказал лавочник квартальному, рассматривая мою шинель.

— А мне, батюшка, хоть белье-то предоставьте, я и тем буду довольна; пускай уж мое пронападает, — говорила прачка.

— Убирайтесь вон! — заревел хозяин.

Я обратился к тому месту, где стоял поэт, с вопросом: «Верите ли мне? Отказываетесь ли от своего намерения?» Никто не отвечал мне; я обвел глазами комнату, но его уже не было. Я взглянул на пол: все до одной рукописи Ивана Ивановича лежали на прежнем месте. Лицо мое просияло.

— Стыдно, стыдно! — кричал, между тем, хозяин: — молодой человек, где бы трудиться, наживать деньги, а он вдался, прости господи, в какую-то ахинею, пишет и пишет, а что толку? Грех, господи прости, этаким людям и добро-то делать, поблажать их порокам.

— Да ведь кто ж знал, батюшка: думаешь и честный человек, еще земляком называется.

— Я и сама прежде думала, — начала прачка.

— Цыц! старая ведьма! измело в порошок и вынюхало! — закричал мой Иван, который все это время провел в немом созерцании.

— Убирайтесь же поскорей! вам ли говорят, — повторял хозяин.

— Хоть бы шинель-то мне отдали, — сказал лавочник и надел ее на себя.

— Посмотреть, не спустил ли уж и бельишко-то, — сказала прачка и начала шарить в моем чемодане.

— Цыц! нишни! старая карга! Изобью в ножовые черенья, только тронь! — закричал Иван и оттолкнул ее от чемодана.

— Нет, это выше сил моих! — вскричал я, схватившись за голову. — Мучители, кровопийцы! Чего вы от меня требуете? Вы хотите меня с ума свести, хотите вымучить из меня душу, растерзать тело, вцепиться в мою печень. О, если б вы это могли! Что гоеорю? Я сам это сделаю! Только позеолте мне отхлестать вас по щекам моими внутренностями. Я их сам вытяну. О, я убежден, что вы не проживете после того ни минуты!

Очевидно было, что я завирался; я всегда завираюсь в патетические минуты жизни; да и когда ж бы завираться, не будучи в опасности показаться дураком, если не пользоваться такими минутами?

— Вы пачинаете бесчинствовать, — сказал квартальный: — вспомните, что я облечен властью...

— Поступать со мной, как законы повелевают? Знаю, знаю!

— Но вы можете все это кончить гораздо для себя выгоднее.

— Как это? — спросил я.

— Немедленно оставить квартиру, предоставив принадлежащие вам вещи в пользу кредиторов.

Я крепко задумался. Но для вас это не интересно: охота ли читать, что происходило в душе человека, когда у него в желудке пусто, в кошельке пусто и когда ему предстоит через минуту величайшее наслаждение воскликнуть:

*Мне покров небесный свод —
А земля постелью!*

В этом нет ничего комического!..

— Но позвольте мне, по крайней мере, переменить белье и надеть мой белый галстух! — воскликнул я, по тщательном соображении решив, что если мне суждено умереть, так уж все лучше умереть в чистом белье и белом галстухе.

На галстух имел виды лавочник, на белье прачка: они вопрошающим взором взглянули друг на друга.

— Извольте! — сказал великодушный лавочник.

— Извольте! — нехотя повторила за ним прачка и ушла за ширмы.

Я наклонился к человеку, чтоб достать белье, и увидел лежащую подле него на полу залитую ваксой статью, начатую мной поутру. Луч надежды блеснул в моем сердце. Как утопающий, схватился я за эту последнюю надежду и с подобострастием сказал хозяину:

— Еще до вас просьба. Позвольте мне остаться на несколько часов в вашем доме, чтоб дописать вот эту статью, я надеюсь получить наличными.

— Ни за что! — сказал хозяин решительно. — Помните, сударь, что вы давеча говорили: вы оскорбили мою личность.

— Личность! — сказал я в испуге и бросился к дверям... Это слово всегда имело на меня такое действие...

— Иван! — закричал я из дверей: — заberi все бумаги и иди за мной, все прочее я оставляю моим кредиторам. Иван пошел исполнять приказание, я растворил дверь с твердой решимостью *оставить дом коварства и крамолы*, но вдруг все изменилось.

— Друг мой! ты ли это? — закричал человек, всходивший на лестницу в то самое время, как я с нее спускался.

— Дядюшка! Мелентий Мелентьевич! — воскликнул я, и мы бросились друг другу в объятия. Славный человек Мелентий Мелентьевич: он заплатил мои долги, накормил меня, нанял мне квартиру... Но я оставляю до другого времени познакомить с ним читателя, а теперь обращаюсь к моему герою, которого совершенно забыл, заболтавшись о себе.

Но что я скажу о нем?

Все мои поиски отыскать Ивана Ивановича Грибовникова были тщетны: я справлялся во всех кварталах о его квартире, писал в Чебахсары к его родным, ничто не помогло: Иван Иванович пропал. В продолжение нескольких лет

я не пропускал ни одной новой книжки, ни одного номера журнала, чтоб не посмотреть, не явилось ли что-нибудь под его именем или хоть написанное в его роде, совершенно новым, который обещал в нем со временем литератора самобытного и замечательного. Несколько раз проклинал я свою настойчивость в первое наше свидание, думая, что поэт стал жертвою предубеждения, посеянного мною в юной душе Ивана Ивановича. С ужасом видел я, что мой коварный умысел, внушенный мне самим адом, похитить у литературы деятеля, у славы чело, достойное быть ею увенчанным, удался как нельзя лучше. Желая загладить свою ошибку, я всеми мерами решился отыскать Ивана Ивановича, благословить его на литературное поприще, и вот уже четырнадцать лет не проходит дня, в который бы я не искал его, не вспоминал о нем и не укорял себя за необдуманый поступок. Мысль, что я, может быть, погубил в самом цвете, в самой силе его дарование, тяготит меня. В эти ужасные минуты мне остается одно только утешение: я переносусь в прошедшее, вижу перед собой пылкого, благородного юношу Ивана Ивановича, слушаю его стихи, наблюдаю течение его мыслей. Таким образом я начинаю припоминать его слова, вспоминаю, с каким жаром говорил он о призвании. Но отчего же он изменил ему? рождается при этом вопрос в голове моей. Уж не потому ли, что он увидел, как оно мало приносит? Точно, точно, ведь он убежал от меня в ту минуту, как увидел крайнюю степень моей бедности, да и говорил-то о призвании только сначала. Но в таком случае он не мог чувствовать призвания? Впрочем, читатель сам может решить, был ли талант у Ивана Ивановича, или он просто был обыкновенный смертный... Если отрывки, приведенные здесь из различных сочинений Ивана Ивановича, будут признаны не лишенными достоинства, то я за долг поставлю себе короче познакомить публику с талантом Ивана Ивановича и по временам стану печатать в журналах плоды светлых вдохновений, тайных упоений, диких приключений, бед и огорчений и проч. Ивана Ивановича: их у меня достаточно на девять томов!

ПЕВИЦА

Повесть

I

ПИСЬМО

Молодая дама, прекрасной наружности, сидела на роскошной кушетке в грустной задумчивости. По временам лицо ее оживлялось и она с радостной улыбкой быстро поворачивала голову к окну и готова была сойти на пол, но потом опять, как бы обманутая в надежде, склоняла на ладонь голову и предавалась еще большей задумчивости. В лице ее происходили беспрестанные изменения, которые ясно доказывали расстройство ее мыслей. То надежду, то отчаянье выражали эти смуглые, неправильные черты, чудные по своей оригинальной красоте и величию, едва возможному в женском лице. По всему заметно было, что она мучится ожиданием.

На дворе послышался стук въезжающего экипажа.

— Это он! — воскликнула дама и побежала к окошку; покуда она успела разглядеть что-нибудь, приезжий был уже в сенях и звонил в колокольчик.

— Барон Р**, — сказал вошедший слуга.

— Проси! — с неудовольствием сказала дама и грустно повесила голову.

Вошел мужчина лет тридцати, мужественной, красивой наружности, и ловко расшаркался.

— Ваш муж и мой друг, граф Виктор, должен сегодня приехать. Это без сомнения будет одним из лучших дней вашей жизни, — сказал он.

— Да, барон, надеюсь.

— Вы так его любите! Жаль, что он не стоит и половины вашей любви; невежда! Он не умеет ценить того, чем владеет...

— Вспомните, барон, что вы называете его своим другом.

— Другом! Он мне друг потому, что он ваш муж. потому, что в его руках сокровище, за которое я готов пожертвовать жизнью, готов вытерпеть мучения пытки, умереть сто раз!

— Оставьте, барон, ваши шутки!

— Я шучу? О боже мой! Нет, графиня, клянусь вам, слова мои от сердца, которое носит в себе ваш несравненный образ.

— Барон, вы забыли условие, на котором я согласилась принимать вас в отсутствие мужа: не говорить ничего о своих чувствах ко мне...

— Графиня! я решился все кончить... Приезд вашего мужа помог моей решимости; я смел, я дерзок, но — простите меня — я влюблен!

— И вот как вы оправдываете доверенность моего мужа, цените его дружбу!..

— Любовь — сильнее дружбы... Я готов, я изменю сто раз дружбе, только бы один раз остаться верным любви... О, скажите же мне ответ на последний наш разговор, или я... не знаю, что со мной будет!.. — Барон взял ее руку...

— Барон, я уйду...

— Я застрелюсь!

— Можете, если с вами есть пистолет...

Графиня хотела казаться равнодушною, но голос ее невольно дрожал. Барон это заметил и сказал твердым голосом:

— Итак, вы решились пожертвовать вечной любовью пламенного любовника притворным ласкам неверного мужа.

— Неверного? Барон, вы клеветаете на человека, которого называете другом?..

— Он мой враг! Враг потому, что изменил вам...

— Барон! Вы говорите неправду! Сознайтесь! Ради бога, не мучьте меня...

— Клянусь моей любовью к вам — он не достоин вас, он изменник!

— Изменник? Барон, умоляю вас, откажитесь от своих слов... Вы меня испытываете...

— Я имею доказательства...

— О, боже мой! Но, может быть, вы шутите! Барон, не мучьте меня... За что вы хотите растерзать мое бедное сердце... отнять у него покой, счастье, любовь, для которой я всем пожертвовала: матерью, отцом, родиной, моей благословенной Италией!

— Вы все опять найдете, если согласитесь пожертвовать изменником.

— Отказаться от него! Позволить другой жечь поцелуями его черные южные глаза, высасывать негу страсти из его уст, играть его каштановыми кудрями!

— А если все это уже давно делает другая?

— Вы клеветник!

— Если б это сказал мужчина, — не язык, а шпага моя была б ему ответом... Но я берусь доказать вам, графиня, истину моих слов.

— Не докажете!

— А если докажу, что ваш муж изменник, будет ли хоть искра вашей любви ко мне наградою?..

— Я вас задушу в моих объятиях!..

— Я согласен.

— Оставьте меня.

— Но, графиня, того, кому так много обещают в будущем, не отпускают так холодно.

Графиня подошла и поцеловала барона.

— Итак, вы меня любите?

— Я вас ненавижу! — При этих словах графиня пошла в другую комнату и в изнеможении, в расстройстве моральном и физическом, почти без чувств упала на диван.

«Чудная женщина! — думал барон, оставшись один. — Настоящая итальянка! Любовь ее беспредельна как небо и пламенна как солнце. Ревность легковерна как дитя и бешена как дикое животное! Ненависть... о, ненависть ее чрезвычайно странна... Она сказала, что ненавидит меня, а поцеловала так, что еще теперь кровь моя не успокоилась». И довольный барон отправился домой...

Страшные, возмутительные мысли мелькали в уме графини. В каком-то полубезумном состоянии она то вскрикивала отчаянно, то заливалась слезами. Глаза ее блистали каким-то диким огнем, холод леденил чело, от груди, как от раскаленного металла, веяло пламенем. В беспорядочном бреде она беспрестанно упоминала имя мужа, сопровождая его укорами. Страшно и жалко было смотреть

на эту юную, чудную красавицу, обезображенную приливом нечистой страсти, буйным бушеванием сердца, которое забило тревогу: измена! Пылкая, восторженная, до безумия влюбленная в мужа, она только и жила вгой любовью, только для него и жила... Какова же была ей роковая весть барона?

Когда волнение ее несколько утихло, мысли пришли в порядок — она заплакала. Слезы облегчили несколько душевную муку ее... Наконец на дворе снова послышался стук въезжавшего экипажа.

— Это он, это он! — воскликнула она, в минуту позабыв и ревность, и гнев, и увлекаемая одной любовью...

Дверь отворилась, и она бросилась в объятия графа.

Граф Виктор Торский года два тому назад отправился в чужие края для окончательного образования. Пространствовав с полгода, он, наконец, поселился на несколько времени в Риме, был там радушно принят в лучших домах и разыгрывал не последнюю роль. В то время на одном из итальянских театров блистала славная примадонна Ангелика. Талант этой знаменитой артистки и необыкновенная красота привлекали множество поклонников, но все их старания оставались безуспешны. Явился граф, и неприступная певица покорилась могуществу его красоты и любезности. Он тоже влюбился в нее. Страстная, увлекаемая любовью и необузданными желаниями, неопытная и легкомысленная, Ангелика отдалась совершенно графу. Через несколько дней граф уже скакал с нею в Россию. Как по любви, так и по великодушию, граф не желал воспользоваться доверенностью молодой девушки и тотчас по приезде в Россию женился на ней. Жизнь их была настоящим раем, когда вдруг граф получил известие, что один из близких родственников его при смерти. Поручив охранение супруги другу своему, барону Р**, он с грустью в сердце отправился в путь... Окончив дела, он поспешно возвращался к супруге и прислал ей с дороги письмо о скором своем прибытии.

Сильным, почти неистовым восторгом встретила Ангелика мужа.

Сердце его сдавилось от блаженства. С какой-то высокой гордостью он целовал эту дивную женщину, которая просто и увлекательно высказывала ему, как она мучилась во время разлуки и как теперь счастлива.

«Ты ангел!» — шептал он, глядясь в ее очи. Она была прекрасна, чудно-прекрасна! Но красота ее, детски-невинное выражение лица, отененного негою и счастьем, улыбка уст — все носило на себе что-то особенное. Никто бы не сказал, что это та же женщина, которая за час шептала угрозы и проклятия!..

«Ты ангел!» — повторил граф.

В прихожей послышались шаги, дверь отворилась, и перед смущенными супругами явился барон Р**.

Лицо Ангелики изменилось. Из ангельского оно сделалось чем-то ужасным, почти отталкивающим. Краска гнева и злости выступила на щеках. Она вспомнила, что говорил ей барон, и жалела, и досадовала на себя за то, что расточала так много ласк мужу, может быть, их неостаящему, неверному...

Барон и граф дружески поцеловались и разменялись приветствиями...

Увлекаемая порывами своей живости и каким-то неопределенным чувством, она победила первое впечатление, бросилась к мужу и хотела оттолкнуть от него барона, но одного взгляда его довольно было остановить ее стремление...

— Ну что твое путешествие?

— Дядя мой, который долго не прощал меня за мою жеманность, перед смертью умилостивился и оставил мне именье.

— Ты все богатеешь, а я напротив. Не случилось ли с тобой чего интересного, не одержал ли ты каких побед?

— Вот вздор!

— Оставьте нас одних, — шепнул барон, проходя мимо Ангелики.

Она вышла.

— Послушай, брат, я к тебе для первого свидания с просьбой; я затеял маленький проект, а знаешь, для этого нужны деньги.

— Изволь! Сколько тебе?

— Пять тысяч. Отдам скоро.

— Что за счет между друзьями.

Граф вынул из кармана бумажник и подал барону.

— Здесь ровно столько, сколько ты требуешь.

Барон вынул деньги, свертел несколько минут бумаж-

ник в руках и потом отдал графу, который спрятал его в боковой карман.

Ангелика, подстрекаемая нетерпением, возвратилась в залу. Барон выразительно, с торжеством посмотрел на нее, и в минуту в лице ее сделалась страшная перемена: не сомнение, не ожидание чего-то печального, — роковая уверенность и ярость тигрицы отразились на нем... Судорожно вскочила она, как бы желая кинуться на графа, но повелительный, укоряющий взор барона остановил ее...

Барон скоро раскланялся, отговариваясь тем, что графу, уставшему с дороги, нужен сон. Уходя, он шепнул что-то Ангелике и вложил в ее руку записку. Злая радость, смешанная с беспредельной, мертвящей грустью, оттенила лицо ее каким-то неопределенным выражением.

Было около полуночи. Все спали в доме графа. Тускло теплилась лампада в спальне супругов. Граф крепко спал, обняв одной рукой нежную шею Ангелики. Она не спала. Сердце ее сильно билось, грудь колыхалась как волны моря, возмущенного бурей; она трепетала всем телом. Тихо притаив дыхание, нагнулась она к лицу графа. «Он спит!» — прошептала она, и с осторожностью отняла руку мужа от своей шеи. Тихо стала она приподниматься, все еще прислушиваясь, не доверяя себе. Наконец она приподнялась и прыгнула с кровати. Накинув легкий капот, трепещущая, едва касаясь пола, она подошла к лампаде, зажгла свечу и вышла из спальни.

Она вошла в кабинет мужа и подошла к письменному столу, на котором в беспорядке разбросаны были бумаги. С сильным волнением Ангелика начала их пересматривать. Откинув несколько листов, она увидела бумажник, лежавший под ними. С жадной радостью схватила она этот бумажник и развернула его. В нем лежало несколько страниц записной книжки и распечатанное письмо.

«Письмо женщины; не моя рука! Письмо женщины в бумажнике моего мужа!» — с ужасом воскликнула она, развернув письмо...

Глаза прильнули к словам. Чудные, страшные перемены происходили в лице ее, когда она читала письмо...

«Она клянется любить его, так как он ее любит! А! он

изменник! Сердце мое разрывается! сердце мое, сердце мое! Он не любит меня, не любит! Он изменник».

Так стенала несчастная Ангелика. В это время часы, стоявшие в кабинете графа, пробили двенадцать. «Час, в который я должна была или увериться в измене, или забыть сомнения — наступил! Поздно, поздно! я все узнала! Как счастлив этот час! Счастлив потому, что он еще не существовал, когда открылось ужасное преступление!.. Но он будет свидетелем моей мести!.. Там... в саду... он дожидается...»

Ангелика быстро пошла в другую комнату, оттуда в третью, миновала потом лестницу и вошла в сад. Свежая, летняя ночь веяла прохладой и благоуханием; ни одно облако не туманило неба; соловей сладко пел над засыпающей подругой...

Большими, неровными шагами шла Ангелика по саду...

Недалеко от павильона стоял человек, закутанный в черный плащ. Она удвоила шаги.

— Правду ли я сказал? — спросил он.

— Барон, я ваша! — сказала Ангелика и бросилась в его объятия.

Барон увлек ее в павильон...

— На что ж вы решились? — спросил барон после долгого молчания...

— Убейте меня, барон! если вы меня любите, если вы хоть сколько-нибудь уважаете женщин!

— Что за странная мысль, прекрасная Ангелика; успокойтесь!

— Я не хочу, не могу его видеть, потому что в его глазах, в которых я находила только себя, я встречу образ моей соперницы... потому что звук его голоса, который напоминал мне верного друга, теперь будет напоминать изменника...

— Вспомните, графиня, что есть сердце, которое бьется только для вас...

— Да, вы мой любовник, я для вас изменила мужу, которого ненавижу... О, как я счастлива, что сжимаю вас в моих объятиях. Я не потому отдалась вам, что он изменил, — я люблю вас!

— Вы не хотите его видеть, вы его не любите? Что ж

мешает вам наказать изменника, для того, чтоб принадлежать человеку, истинно к вам привязанному... Свет велик; два сердца, связанные любовью, везде будут счастливы. Уедем отсюда и поселимся в каком-нибудь отдаленном уголке мира, где люди не помешают нам жить друг для друга...

— Делайте со мной что хотите, мне все равно; он меня не любит, — я больше не хочу быть счастлива.

— Куда же мы поедем?

— Куда хотите.

— Надобно выбрать удобншее время для отъезда.

— Оно наступило!

— Как? Вы хотите сейчас же ехать! О, это еще лучше! В пяти шагах от вашего дома моя коляска; мы доедем до первой станции, возьмем почтовых лошадей и чрез два дня мы за границей.

Ангелика машинально подала барону руку, холодную как лёд. Не помня себя от счастья, барон почти донес утомленную Ангелику до кареты, завернул ее в свой плащ, осторожно посадил, сел сам, и колеса быстро мчащейся кареты застучали по мостовой Петербурга.

Поздно проснулся граф. Думая, что Ангелика уже встала, он пошел в ее комнату. Скоро он обошел весь дом, но нигде ее не было. С мрачным предчувствием вошел он в сад, — и там все пусто... Страшные подозрения мучили душу графа. «Ангелика! Ангелика!» — восклицал он, но ответа не было. Он терялся в догадках, старался приискать отсутствию Ангелики извинительную причину. Он еще не вполне верил себе, не понимал своего несчастья. Он думал, что разум его в расстройстве, и оттого он не с той точки зрения смотрел на это обстоятельство, может быть, в сущности маловажное. Мрачный бродил он по комнатам; малейший шорох приводил его в радостное содрогание, легкий стук двери заставлял поворачивать голову. Считая попрежнему барона своим другом, он пошел к нему, не застал его дома и вошел к нему в кабинет. На столе лежало незапечатанное письмо руки барона. Он прочел его и удивился. Теряясь в предположениях, он взял его и возвратился домой. Все еще неуверенный в роковой потере, он надеялся, не предавался совершенному отчаянию.

Когда, наконец, пришла страшная уверенность и он вполне понял свое несчастье — силы его оставили, он не мог владеть собою... Страшно изменилось лицо его, он невнятно вскрикнул, заскрежетал зубами и без чувств повалился на пол. Во время падения он наткнулся головой на острый угол кресла, и кровь ручьем брызнула из раны... Камердинер в страшном испуге прибежал на крик барина. Его отнесли на постель; послали за доктором, который объявил, что жизнь больного в опасности. Граф метался, вскакивал и произносил бессмысленные слова... Чаще всего вылетали из уст его проклятия и жалобы на барона и неверную жену... «Друг, друг! что ты так мало отблагодарил меня за мою приязнь, — соблазнил жену, лишил меня чести! Ты бы оклеветал меня, запятнал клеймом преступника!.. О, мщение! мщение! Клянусь небом, мщение!..» И он вскакивал и искал кинжал.

Две недели прошло в бесполезных усилиях помочь больному... ему не было легче.

II

РИМ

Многочисленные толпы зрителей стекались в один из оперных театров Рима. Маленькая площадка перед театром была вся наполнена народом, жаждущим ворваться в двери. За нею тянулся ряд экипажей, которого конец едва усматривал взор. В театре было необыкновенное волнение. Зрители с нетерпением посматривали на опущенный занавес. Разговор почти всех был обращен на предстоящий спектакль. Давали новую оперу любимого Доницетти. Но не одно это до такой степени интересовало зрителей. Незадолго до настоящего дня дебютировала в первый раз новая певица Франческа, и слух о необыкновенном ее пении и чудной красоте быстро разлетелся по городу. Успех ее был заслуженный и совершенный: взволнованная толпа, увлеченная приливом восторга, провозгласила ее гениальной певицей, осыпала венками и золотом и почти на себе довезла домой ее карету. Ныне она готовилась во второй раз явиться на сцене, и все те, кому еще не удалось видеть ее, оглушенные общими похвалами, увлекаемые любопытством, жадно бросались в театр.

Занавес взвился. Почти не касаясь пола, выпорхнула она, легкая, грациозная. Оглушительные рукоплескания потрясли своды театра; потом все смолкло... Все, что дышало, имело глаза, уши, — притаило дыхание, напрягло слух, лучи всех глаз встретились на невыразимо-прекрасном лице певицы. И вот полились дивные, плени-тельные звуки, разнообразясь до бесконечности; они льются — и, наконец, истаивают в воздухе. Но они не исчезли. Светлой строкой эстетического восторга напечатлелись они в сердцах слушателей!.. И лицо певицы было не менее замечательно в эту минуту. Она совершенно предалась своей роли, и страсти лепили из него, как из воску, все формы, какие только могло принимать оно... «Браво» оглушало театр; венки летели под ноги певицы...

— Чудно, чудно! — повторяла восторженная толпа... — Мы не слышали ничего подобного!

— Она заменила нам незабвенную Ангелику.

— О, нет! она выше ее!

— Она даже несколько похожа на эту превосходную артистку лицом, а в голосе почти нет разницы...

— Голос ее гибче и выработан лучше!

— Если б я был уверен, что это она! Или только случайное сходство? — Так говорил сам себе синьор Джулио, теряясь в каких-то догадках...

После представления Франческа села в кабриолет, и восторженная толпа проводила ее до самого палаццо...

Она подошла к зеркалу и пристально на себя посмотрела.

— О, как я рада, что красота моя вянет, глаза теряют прежний блеск! Плачь, мое сердце, плачь; грызи мою грудь, червь горя: это поможет действию времени! Они восхищаются мной! Слава моя растет! Но я знаю, что большую часть ее приобрела мне красота. Слепые, они и не замечают, что я дурною, что свежесть лица моего — поддельная свежесть... О, исчезай скорей, последний отблеск красоты, мне не нужна она; я хочу славы, славы, которая бы наполнила пустоту души моей... вознаградила бы за страдания, за жизнь без любви... я хочу славы, какой никто еще не имел, потому что я хочу приобрести ее одним искусством... Гибни, моя красота! Покуда я буду нравиться, мне все будет казаться, что я обязана тебе славою!

И между тем она еще пристальней смотрелась в зеркало, и самодовольная улыбка невольно прокрадывалась на молодое, прекрасное лицо ее...

В комнату вошел молодой человек. Молча приблизился он к Франческе и поцеловал ее в лоб; она как бы нехотя ответила на его ласку.

— Что ты так задумчива, так грустна, моя синьора? Неужели и твоя слава тебя не радует?

— Моя слава не так еще велика, чтобы выкупить мое горе, которому нет пределов...

— И которое ты сама себе придумала...

— Может быть. Но где же мое счастье? Сердце мое холодно как лед; грудь моя волгуется только вздохами горя. У меня нет желаний, нет любви...

— И ты говоришь это мне, тому, кто всем для тебя пожертвовал? кто столько страдал от любви к тебе, столько счастлив ею... ты несправедлива!

— Я не люблю тебя!

— Непонятная женщина! Несколько лет постоянной верности, мольбы, клятвы, страдания — и вот награда!.. Ты не любишь меня? но для чего ты не отвергаешь меня?..

— Ты не поймешь меня!

— Для чего ты так ревниво следишь за мной, когда я в обществе женщин?..

— Для того, чтоб показать, что я люблю тебя.

— Значит это справедливо?..

— Нет. Я то же бы и с другим делала... Оставим этот разговор...

— Тебе скучно?

— Да, я охотно бы умерла!

— Брось эти печальные мысли. Я точно не понимаю тебя, но понимаю то, что я несчастен, что надежда обманула меня...

— Чем недоволен ты? Или ласки мои принужденны, поцелуи не горячи, объятия закрыты для тебя?.. Какая любовница может дать тебе более!

— Да, я счастлив... Но будь веселей; не напоминай мне своей горькой улыбкой, что ты несчастна... пойдём в залу; там собралось несколько почитателей твоего таланта. Нужен один твой взгляд, чтоб лица их просветлели, рот раскрылся для комплиментов, сердце для любви...

Они вошли в залу. Несколько молодых людей, между которыми был и Джулио, вскочили с своих мест...

— Синьора, — вскричал Джулио, — вы делали сегодня чудеса на сцене!

— Клянусь небом, свет не слышал ничего лучше арии, которую вы спели во втором акте!

— Ставлю свое благородное имя против имени обещанного лазарони, если не все, что в Риме есть живого и разумного, занято разговорами об вас, очаровательная Франческа!

— Ваш голос, ваша красота доставили вам славу первой певички в мире!

— Моя красота! — повторила с досадою Франческа, — моя красота так же ничтожна, как голос. Вы льстите мне, благородные синьоры!

— Я льщу! — произнес с жаром Джулио; — порази меня небо, если я не тщетно приискивал слово, которым бы можно выразить вполне ваши достоинства! — Так превозносила восхищенная молодежь певичку. Молодой человек, которого считали некоторые за мужа, другие за брата, а третьи за любовника Франчески, с видимым удовольствием вслушивался в их похвалы; сама она почти не обращала на них внимания... Джулио восторженней всех говорил о таланте и красоте певички; Джулио робко взглядывал на нее, тяжело вздыхал...

— Мне кажется, я умер бы, — говорил он, — если бы лишился возможности слушать ваш пленительный голос. Это становится потребностью моей жизни...

Между тем некоторые из гостей перешепнулись между собою и приступили к Франческе с просьбой спеть что-нибудь. Робкий Джулио, который давно желал этого, умоляющим голосом повторил просьбу... Вопросающим взором взглянула Франческа на своего любовника...

— Синьор Отто, походатайствуйте за нас!

— Запой, Франческа; ты эгим меня обяжешь, — сказал он. Франческа запела.

Театр дрожал... восхищена,
Толпа, дивясь, рукоплескала;
Певичка, гордости полна,
Чуть головой толпе кивала;
Краса тускнела перед ней,
Заметней было безобразье;
Вздыхали юноши сильней,

И в старцах таяло бесстрашие...
 Летят хвалы со всех сторон,
 Шумнеет гул рукоплесканий,
 Сбирает, — понят, оценен, —
 Талант торжественные дани!
 И на нее венец кладет
 Ареопаг искусства строгий,
 И на себе толпа везет
 Ее в роскошные чертоги!..
 Промчался месяц... Злой недуг
 Ее сковал; она в постели,
 Краса лица исчезла вдруг,
 Живые очи потускнели...
 Она поправилась: и вот
 Летит опять на помост сцены,
 Запела арию — и ждет,
 Как задрожат театра стены.
 Но тихо все... Давно толпой
 Уже другая овладела...
 Толпа лишь шепчет меж собой: .
 «Как Вероника подурнела!»

Она пела прекрасно. Каждое слово нашло приличный звук, каждая страсть заговорила родным ей языком, полным гармонии поэтической... Чудно-новой, бесконечно разнообразной показалась слушателям песня Франчески... От восторга они даже не смели хвалить ее, слушали с каким-то безмолвным благоговением... Перед ними раскрылось все, до чего только искусство достигнуть может; но и самое искусство не было бы так сильно, если бы ему не содействовала душа.

Щеки ее горели, слеза дрожала на реснице. Невыразимо-унылым голосом, проникающим до глубины сердца, в котором смешаны были и язвительная насмешка, и болезненное сострадание, и презрение, пропела она последние стихи и, утомленная, облокотилась на диван, наклонила голову, закрыла руками горящее лицо...

«Превосходно, превосходно!» — воскликнули слушатели в один голос после долгого молчания.

Больше всех песня Франчески подействовала на Джулио. Он плакал, не мог сам себе дать отчета в своих чувствах. Сладкой струей лились в душу его обворожительные звуки, и ему казалось, что они не совсем чужды ему, что он когда-то слышал их.

Когда Франческа открыла лицо, он обратил на нее взор свой и долго пристально рассматривал ее...

— Что с вами, Джулио? — спросил Отто, подойдя к нему.

— Ах, эта песня пробудила в душе моей тяжелое, мучительное воспоминание, — сказал Джулио, не сводя глаз с Франчески... Отто сделал гримасу и сел на диван подле певицы...

— Два года назад я видел на сцене очаровательное существо, ангела на земле, и слышал из уст его звуки, столько же сладкие, пленительные... Они глубоко запали в мое сердце, на которое с тех пор права принадлежали очаровательной певице. Я полюбил ее, и теперь еще люблю, и теперь сердце мое горит страстью, которая дарит меня одними страданиями. Простите мне, синьора, что я так засмотрелся на вас; вы так похожи на нее... Смотря на вас, мне кажется, что я вижу прекрасную Ангелику...

— Ангелику! — повторил с беспокойством Отто и испытующим взором взглянул на Джулио и свою любовницу...

— Да; она овладела моим сердцем. Ее дивная красота свела меня с ума. Я страдал ужасно... День, в который я не видел ее, был для меня мукою... Зато, когда я видел ее, когда она случайно дарила меня приветной улыбкой...

— Она дарила вас приветной улыбкой? — воскликнул Отто встревоженным голосом и гневно взглянул на Джулио...

Между тем, Джулио смотрел на Франческу и как бы старался понять что-то из ее взора. Отто это заметил, и краска досады покрыла его щеки.

— О, как я был тогда счастлив! Мир казался мне прекраснее, люди добрее... Сколько раз намеревался я упасть к ногам ее, высказать ей любовь мою...

— И вы это сделали! — быстро прервал Отто. Что-то похожее на ревность или сильную злость сверкало в глазах его; с жадностью ждал он ответа...

— Нет, каждый раз непреодолимая робость меня останавливала. Я даже не был знаком с ней, хотя имел к тому случай. Я видел ее только на сцене... Может быть, моя робость повредила мне...

Тут Джулио украдкой вопросительно взглянул на певицу. Это опять заметил Отто; быстро повернул он голову к Франческе. Но оба они напрасно надеялись прочесть что-нибудь на лице ее: оно было спокойно и задумчиво и

не носило на себе ни малейшего отпечатка какого-нибудь господствующего ощущения...

— Не происходила ли робость ваша от другой причины?.. У красоты так много поклонников, — насмешливо сказал Отто.

— Что вы хотите этим сказать, синьор?..

— То, что соперники иногда бывают слишком вспыльчивы и раздражительны...

— Я не понимаю вас, синьор... Но вы ошибаетесь, если думаете, что я боялся моих соперников, тем более, что она меня предпочитала им...

— Вас?!

— Что она, казалось, любила меня...

— Она вас любила! — в бешенстве закричал Отто, и вопрошающий взор его встретился на лице Франчески с страстным взором Джулио...

— Да, мне казалось, что она любила меня!

— Тем более непростительна ваша трусость!

— Моя трусость! — вскричал с яростью оскорбленный Джулио. — После таких слов знаете чем дело кончается между благородными людьми?

— Вы и тут, кажется, медлить хотите...

Джулио обнажил шпагу; Отто сделал то же...

— Клянусь, я не оставлю этой шпаги, пока не паду сам или не смою кровью обиды! — сказал Джулио.

Напрасно Франческа и гости старались потушить спор. Дело зашло слишком далеко, и поправить его не было уже возможности... Озлобленные противники с яростью бросились друг на друга. Никто из гостей не дерзнул остановить их, потому что тогда мог бы произойти общий разрыв. Теперь они надеялись, что все кончится одной или много двумя легкими ранами.

Франческе предлагали выйти в другую комнату, но она осталась на прежнем месте и с удивительным мужеством, даже бесчувствием смотрела на сражающихся...

Шпага Джулио вонзилась прямо в сердце Отто...

— Прости, Ангелика! Я умираю! — воскликнул он и полумертвый упал на пол...

— Ангелика! — вскричал изумленный и обрадованный Джулио.

— Ангелика! — повторили гости...

— Я убил графа Торского? — спросил с ужасом Джулио.

— Барона Отто Р** — отвечала Ангелика...

Раненый страшно прохрипел и испустил последний вздох.

Оглянемся назад. Ангелика и барон долго ехали без цели, для того, чтобы быть безопасными от преследований, которых, впрочем, они напрасно страшились. Наконец отчаяние певицы начало несколько утихать и уступать место тихой грусти. Тогда она вспомнила свое настоящее положение. Без уважения, без любви отдавшись человеку, которого она почти ненавидела, она не могла быть с ним счастлива и жизнь «в каком-нибудь безвестном углу мира», как выражался барон, показалась бы с ним пыткой. Барон сам признался, что это слишком необдуманно и никуда не годится. Ангелика решила снова вступить на сцену, думая тем хоть несколько закрыть раны своего сердца. С радостью ухватился барон за эту мысль, тем более, что он видел в ней легчайший способ иметь деньги, в которых у них мог случиться недостаток. Не желая появлением своим напомнить истории своего бегства, которое наделало в Риме тогда много шума, она дебютировала под именем Франчески и заключила контракт с директором театра, по которому за условную плату обязалась петь на сцене... Барон свел знакомство с блестящей молодежью Рима, которое легко доставила ему близость к Франческе, для многих подозрительная и непонятная, и вел веселую жизнь. Джулио, мечтательный, влюбленный, по тайному предведению сердца догадывавшийся, кто была Франческа, прежде всех нашел случай сблизиться с бароном. Отто был ревнив, и уже несколько раз непопаятное обращение Джулио с Франческой, его загадочные слова и намеки заставляли его остерегаться этого опасного соперничества. До самого того дня, в который случилась кровавая сцена убийства, он наблюдал за поведением Джулио и искал повода к ссоре, которая заградила бы Джулио вход в его дом. Но не так кончилась, как мы видели, эта ссора.

— Так, сердце мое не обманывало меня, — говорил страстный Джулио, — сердце мое меня не обманывало! Но что я сделал, безумный! Кого я убил? — И отчаянным взором смотрел он на Ангелику.

Гости тоже пристально смотрели на нее... Им казалась странною, непостижимою бесчувственная холодность Ан-

гелики. Все они были уверены, что барон ее любовник... Отчего же она не тронута его смертью, не поражена гневом на убийцу? Отчего ни малейшего вопля горя, ни малейшего сострадания, на которое имеет право всякий несчастный, не показывала она... Или она так глубоко поражена, что чувства ее оцепенели от ужаса? Или она его не любила?

— О, простите меня! простите! — говорил плачущий Джулио... — Я готов наказать сам себя, охотно бы выкупил свою смертью жизнь барона!

— Джулио! — сказал один из молодых людей, — синьоре нужен цокой; оставим ее. Вероятно, вид твой неприятен для нее. Уйдем... Твоя неосторожность наделала столько бед... Ты всех нас лишил счастья проводить вечера у прекрасной Ангелики... уйдем.

— О, нет! благородные синьоры, я буду очень рада, если вы попрежнему будете навещать меня, только позвольте попросить вас сохранить в тайне мое настоящее имя.

— Клянемся, что вы попрежнему будете для нас — синьора Франческа! — воскликнули молодые люди.

— Что же ты молчишь, Джулио? — Джулио был бледен как смерть и ничего не слышал. «Я убил его; теперь она будет меня ненавидеть!» — шептал он...

— Синьора требует, чтоб ты обещал сохранить ее тайну!

— О, я это сделаю! Она умрет вместе со мною! — сказал Джулио и поспешно оставил комнату...

— Он страшен, поспешите за ним, благородные синьоры! — сказала Ангелика...

— Мы еще должны сделать одно дело. Помогите мне, — сказал один из гостей, подымая труп барона. — Синьоре, верно, не будет приятен такой товарищ, если мы его здесь оставим.

— Рана сделана в самое сердце; мы бросим тело в каком-нибудь переулке, и, верно, завтра никто не будет сомневаться, что это дело бандита.

— Прекрасная мысль!

Молодые люди простились и вышли, неся на руках труп барона.

Пройдя несколько шагов, они увидели труп. Подойдя ближе, они узнали Джулио, плавающего в крови, без малейшего признака жизни.

— Он убил себя!

— Несчастный!

— Сумасшедший!

— Глупец!

Так провожали они в небо душу нового покойника...

— Я всегда думал, что эта горячая голова тем кончит, — сказал один.

— Глупость, тем более непростительная, что уж нельзя и поправить ее, — заметил другой...

— Мне руки оттянул этот молчаливый барон; бросим его подле Джулио, вместе им будет веселей, — сказал третий... Они бросили труп и удалились.

Ангелика скоро утешилась, или, лучше сказать, она и не жалела о потере барона. Другое сильное горе мучило ее неотступно. Чтоб утешить, развлечь себя, смешать настоящее горе хоть с поддельной радостью и тем ослабить его влияние, с жадностью привязалась она ко всем наслаждениям жизни. Душа ее не просила любви, не могла уже чувствовать ее, но она бросилась не задумываясь на грудь первого обожателя. Если б заглянуть в грудь Ангелики, то можно бы увидеть, что скорей с отвращением, чем по влечению страсти она это делала. Цель ее состояла только в том, чтоб изменять тому, кто так коварно обманул ее. Между тем слава ее росла и доставляла ей все средства блистать и жить роскошно. Сначала по слабому побуждению — сделать несколько споснее свое положение, потом по привычке, предаваясь всем удовольствиям света, она, наконец, столько привязалась к нему, что такой образ жизни сделался для нее необходимостью. Расположив свое время так, чтоб ни одной минуты не оставалось для уединенного размышления, углубления в себе, она начала забывать прошедшее, и редко что-нибудь пробуждало в ней старую грусть, вызывало на ресницу слезу... Так прошло около года.

III СЛЕПОЙ

На расстоянии полумили от Рима, в прекрасной долине, пересекаемой большой дорогой, Ангелика ехала верхом на красивом вороном коне. Впереди скакал мужчина, ловко помахивая хлыстом. Ангелика то поворачивала с

дороги и ехала полем, любуясь живописным местоположением, то въезжала на дорогу. Проезжие и прохожие с любопытством глядывались в лицо ее, пораженные необыкновенной ее красотой, но она ни на кого не обращала внимания и была занята грустным размышлением. На душе ее не было совсем спокойно. Воспоминания, то грустные, то радостные, проходили перед нею в смутном беспорядке, с трудом отыскиваемые в архиве памяти, вполнину уцелевшие. Но вот она тяжело вздохнула и подняла голову.

По дороге шел мужчина, поддерживаемый молодой девушкой; впереди ехал экипаж, из которого они, повидимому, недавно вышли. Ангелика увидела, что мужчина слеп; благородное страдальческое лицо его пробудило в ней участие; она стала в него всматриваться. Лицо слепца было бледно и истомлено душевною мукою, но нельзя было не заметить красоты его. Одежда его была проста, но не бедна. Чем более дама всматривалась в слепца, тем более чувствовала к нему сострадания.

— Куда ты идешь с ним? — спросила Ангелика проводницу по-немецки.

— В Рим.

— Вы несчастны, вы бедны? — сказала она слепцу.

— Что? — спросил он с живостию.

— Говорите громче, синьора: он не совсем хорошо слышит.

Ангелика повторила вопрос.

— Да, трудно найти человека меня несчастнее. Но я не беден, синьора: не предлагайте мне подаяния, — сказал он довольно чисто по-итальянски.

— Откуда вы? — быстро спросила дама.

Слепец молчал.

— Он не слышит, синьора; да и не спрашивайте его опять, он всегда неохотно отвечает на такие вопросы.

— Кто он? — спросила Ангелика проводницу.

— Я сама не знаю. Больного, почти лишённого зрения, нашла я его. Положение его меня тронуло. Какой-то братской любовью привязалась я к нему и решила облегчить судьбу несчастного. Он плакал и громко жаловался, что лишен возможности отправиться в Рим, куда его призывает судьба; что в неизвестном городе не может найти человека, которому бы мог довериться. У меня недавно умер брат, с которым вместе я жила служанкой в гости-

нице, где остановился слепой, а в Риме у меня дядя, который содержит свой трактир: вот я и решила к нему отправиться и довести слепца вместе. В восторге прижал он меня к груди своей и благодарил бога. С тех пор я неравнодушна с ним. Если б вы знали, синьора, как он несчастен, как страдает! О, я благословляю бога, что он дал мне случай быть полезно такому праведнику.

— И ты ничего не знаешь об нем; не знаешь, зачем он идет в Рим?

— Нет; я боялась спрашивать. Несчастные обыкновенно не любят, когда их спрашивают об их несчастиях, а мне так дорог покой его... Однакож я догадываюсь, что значительная причина заставляет его торопиться. «Близко ли Рим?» — спрашивает он меня почти каждый день, с самого начала нашего путешествия.

— И ты не знаешь даже, как зовут его?

— Нет. «На что тебе знать имя, при звуке которого счастливец содрогнется за их счастье? Зови меня именем, которое дорого твоему сердцу», — сказал он, и я назвала его Фрицем, потому что так звали моего покойного брата, больше которого я никого не любила.

— Чем же вы живете?

— Он получил накануне отъезда в Рим довольно значительную сумму денег; еще у него было несколько дорогих вещей; платье его было тоже богато и нарядно. Он велел мне продать все, и я купила ему скромную одежду, в которой он теперь.

— Фанни! Что ты так долго говоришь? Я слышу вечерний благовест. Рим недалеко; я узнал колокол церкви св. Петра; пойдём; мне хочется застать вечерню, чтоб принести благодарение богу за благополучное окончание нашего путешествия.

— Разве он был уже в Риме? — спросила Ангелика.

— Видно, что был, если слышал уже этот колокол; но он мне об этом ничего не говорил... Прощайте, синьора; он торопит меня.

— Ах, милая Фанни, мне так жалко его. Погоди немного, мне хочется еще порасспросить тебя: может быть, я могу вам быть полезна...

— Сейчас, Фриц! Еще одну минуту...

— Ради бога, — сказала Ангелика; — не говорил ли он тебе, зачем ему нужно быть в Риме?

— Нет, синьора. Вы так добры, что я не посмела бы скрыть от вас. Должно предполагать, что он кого-то ищет. Когда мы стали подходить к Риму, он сказал мне: «Фанни! я дам тебе два портрета, когда мы приедем! в Риме живут два человека, с которых списаны эти портреты; когда ты увидишь мужчину и женщину, на них похожих, то скажи мне...»

В это время подъехал к ним молодой человек. Ангелика поспешила скрыть свое волнение и обратилась к своему спутнику.

— Я ожидал, что вы догоните меня, и проскучал целый час...

— Я засмотрелась на природу. Посмотрите, какие прекрасные виды!

— Да, правда; местоположение здесь очень хорошее. Однакож пора кончить нашу прогулку.

— Приходите ко мне, когда будете в Риме: я постараюсь быть полезною несчастному слепцу. Спросите, где живет синьора Франческа, и вам всякий покажет, — сказала дама, поровнявшись с уходящей Фанни.

На другой день Фанни привела слепца в великолепные чертоги первой певицы Рима. Она уже ожидала его с каким-то тайным страхом и волнением.

Она употребляла все старания, чтоб расположить в свою пользу недоверчивый ум слепца. Кроме сострадания, какое-то тайное чувство влекло ее к нему и побуждало сблизиться с ним, узнать его сердечные тайны.

— Не знаю, — сказал слепец, — чем я заслужил вашу благосклонность, но я не посмел пренебречь приглашения дамы и смело пришел к вам, потому что моя милая Фанни сказала мне, что вы ангел доброты...

— Не могу ли я быть чем полезна вам? Ваша судьба трогает мое сердце. Я сама несчастна, сама перенесла много горя...

— Благодарю судьбу, что я нашел сердце, которое может понять меня.

— Отчего лицо ваше так бледно и встревоженно, брови мрачно нахмурены, лоб сморщен прежде времени?

— Ах, синьора, долго бы было рассказывать мои несчастья, и я не затем пришел, чтоб мучить ими сердце ваше,— я уверен, что сотая часть их может тронуть его; но если вы так добры, что вызываетесь помочь мне, то окажите услугу страдальцу, от которой, может быть, зависит последняя радость, которую вкусить дозволила ему судьба в этом мире...

— Что такое? Говорите, я пойму вас, я умею понимать несчастных...

— Вы бываете в лучшем обществе Рима, участвуете во всех его празднествах и потому имеете много знакомства. В одном с вами кругу, если не ошибаюсь, находятся два человека, которых я ищу и которых найти мне необходимо.

— Но как узнать их?

— Вот два портрета, которые вам помогут, благородная синьора. Взгляните, вы, верно, уже знакомы с теми, чьи они?

— Где вы взяли эти портреты? О, говорите, говорите!— воскликнула она с изумлением.

— Они — моя собственность.

— Знаете ли вы тех, с кого они списаны?

— О, как не знать: один из них — портрет моей жены, другой — портрет моего прежнего друга.

Ангелика пронзительно вскрикнула и едва не упала. Потом она пристально взглянула на слепца.

— Говорите громче, синьора: я не слышу.

— Ступайте, ступайте скорее отсюда! Благодарите судьбу за ваше несчастное состояние, которое обезоруживает меня! Ступайте вон, или я прикажу вас вывести!

— Что вы говорите? Мне послышалось, что и вы переменили сострадание на гнев к человеку, которого все невинно преследуют...

— Невинно?

— Друг предал меня, жена, которую я любил больше жизни моей, оплатила мне изменой за самую постоянную верность.

— Верность?

— Что с вами? — спросил слепец, начинавший замечать ее беспокойство.

— Боже мой, что открывается глазам моим! Но я должна все узнать!.. Продолжайте; ваш рассказ испугал ме-

ня: я не могу равнодушно слушать несчастных; но я буду хладнокровнее, — прибавила она громче и с нетерпением ожидала ответа.

— Горе научило меня быть осторожным, но ваше участие побеждает мою опытность. Слушайте, я вам все скажу, и сознайтесь потом, что я говорил правду, когда называл себя обиженным судьбой и людьми.

— О, говорите, говорите!

— И я был счастлив; и я имел право на радость жизни и внимание света; и, не утаю, я пользовался ими. На двадцать пятом году, богатый, всеми уважаемый, я остался совершенно свободен в своих действиях и вскоре женился на молодой, прекрасной женщине, с которой наслаждался совершенным счастьем. Через несколько времени одно обстоятельство разлучило меня с женой. В это время человек, которого я с детства называл своим другом, в котором был уверен, как в самом себе, влюбился в мою жену, и она, которая, казалось, так любила меня, забыла клятвы, — сделалась любовницею его и скрылась с ним из моего дома.

— Но не подали ли ей к тому повода ваши собственные поступки?

— Мои поступки! О, клянусь, что кроме ее я не любил никого!

— Боже мой! Но не было ли каких подозрений?

— Подозрений! Но какие подозрения могли падать на того, кто невинен?

— Вы не имели ни с кем связи, переписки? — воскликнула Ангелика с сильным волнением.

— Нет. Единственное, ничтожное подозрение, которое могло несколько вооружить против меня жену, было любовное письмо, от женщины вовсе мне неизвестной, подкинутое ко мне коварным другом...

Судорожно пошатнулась Ангелика и почти без памяти упала на диван. Несколько минут была она в таком положении...

— Я думаю, что она его видела, и это несколько ускорило ее решимость, — продолжал слепец. Но Ангелика ничего не слышала.

— Чем вы докажете, что письмо было подложное? — спросила она после долгого молчания, все еще сомневаясь в страшной истине и стараясь отдалить совершенную уверенность...

— В день бегства жены, не зная ничего о вероломстве друга, я пошел в дом его оплакать с ним вместе мою потерю. Не застав его, я вошел отдохнуть в кабинет и увидел на столе незапечатанное письмо, наскоро писанное его рукою. Так как между нами не было тайн, то я решился прочесть его. Это была черновая того самого женского письма, которое я нашел после на моем письменном столе... Я взял ее и до сей поры храню как доказательство вероломства друга...

— Где, где она? — воскликнула Ангелика, вскакивая и подбегая к слепцу.

Слепец достал из бумажника письмо и подал его Ангелике...

— Это оно! это рука барона! — с ужасом воскликнула Ангелика, пробегая письмо. И вдруг глаза ее помутились, голова страшно потряслась, из груди вылетел пронзительный крик, и она без чувств упала на кресла...

Несколько раз дрожащий голос и необыкновенная живость, с какою слушала Ангелика рассказ, изумляли слепца; но он приписывал это излишней чувствительности ее сердца. Теперь это несколько его встревожило...

— Он невинен, — говорила в беспамятстве Ангелика, — я изменила ему для человека, которого ненавидела... Я изменила ему! Жизнь моя с ним была так прекрасна, счастье так прочно, любовь моя так беспредельна, — и я изменила ему! О, боже мой! для чего не поразил меня гром твой в ту самую минуту, когда я изменила ему!

— Он невинен! О, как я счастлива! Что ж я медлю? Передо мной он — невинный, верный мне — и я не брошусь ему на шею!

И она готова была кинуться ему в объятия...

— Прочь, прочь от него! — воскликнула она, отскакивая. — он не примет моих ласк... Он верен, он невинный страдалец, а я — развратная женщина, преступница!

Страшно прозвучали в ушах Ангелики эти роковые слова... Она снова впала в беспамятство...

Слепец ничего не понимал, потому что она говорила слабым голосом, а он слышал только слова, сказанные громче обыкновенного; только по странным телодвижениям его можно было заключить, что он изумлен.

— Расскажите мне, расскажите все! — сказала она несколько спокойнее, взяв его за руку. — Вы были прежде богаты, знатны? Как же вы лишились всего?

Слепец молчал. На лице его она прочла недоверчивость.

— Я должна все узнать! Не относится ли и это к моему преступлению?.. Буду спокойнее и постараюсь не казаться больше подозрительной, — сказала она про себя и повторила вопрос, стараясь придать своему голосу тон спокойствия.

— Да, синьора, я был не тем, что теперь. Как я потерял все? Очень просто. Лишив меня чести, счастья, уже нетрудно было лишить меня знатности, богатства...

«О, неужели все несчастья этого человека должны обрушиться на мою голову!» — с ужасом думала Ангелика.

— Гнев, ревность, отчаянье овладели мной, когда я узнал о бегстве жены; в сильном обмороке я упал и был перенесен в постель. Я поправился через несколько недель, но в это же время другой ужасный недуг начал овладевать мною. Рана, которую я получил, в беспамятстве наткнувшись головой на ручку кресла, долго меня мучила и, наконец, закрылась; но зрение мое после того начало постепенно слабеть... Доктора советовали мне ехать лечиться в чужие края, но не одни советы их побудили меня к тому: я горел нетерпением скакать за изменниками. Я заложил имение, собрал деньги, какие только у меня были, и пустился в путь полубольной, едва различая предметы... «Скорей, скорей! — говорил я самому себе. — Мне достанет еще этого зрения, чтоб узнать изменников!» Но напрасно я утешал себя: зрение мое не возвращалось, а исчезало; наконец, в дороге я получил простуду; болезнь, от которой я еще не совсем излечился, возвратилась, и я принужден был остановиться. В это время человек, которого я взял с собою из России, скрылся и унес все мои деньги... Положение мое сделалось ужасно. Дожидаясь денег, о присылке которых я написал в Россию, я лежал в темной, грязной комнате гостиницы, больной, без помощи, почти без хлеба. Фанни, единственное существо, сжалившееся надо мною, была спасителем моей жизни. Я поправился, но простуда не вовсе прошла и слух мой стал несколько грубее... «Фанни, — сказал я, — выведи меня из этого мрачного жилища; мне хочется взглянуть на свет божий, полюбоваться природой!» Фанни провела меня несколько шагов и остановилась. «Что же ты остановилась в этом темном коридоре? Выведи меня на зеленый луг, под ясное небо!» —

«Помилуй, Фриц, — ответила она, — мы и то на улице! Посмотри, как хорошо светит солнце!» Я прижал голову к ее груди и сказал: «Не для меня!» Она поняла, и мы заплакали. Я ужаснулся, удостоверившись в моем несчастье... «Как я теперь узнаю их!» — восклицал я в совершенном отчаянии. Фанни, добрая Фанни согласилась быть моей проводницей, и луч надежды мелькнул в уме моем. Я получил деньги и поехал в Рим, имея достаточную причину думать, что найду там изменников...

Невозможно описать, что происходило с Ангеликой во время этого рассказа; она узнала мужа, уверилась в его невинности и вместе в своем преступлении и мучилась, страшно мучилась... Только гениальная актриса могла бы дать некоторое понятие о том состоянии, в котором находилась тогда душа ее...

— Для чего же вы хотите найти этого друга, предавшего вас, эту несчастную женщину, вас недостойную? — сказала она, пораженная страшной мыслью...

— Как для чего? Для того, чтоб грозным судьей предстать пред ней и напомнить этой женщине, что она делает! Для чего? О, боже мой! для того, чтоб вырвать ее из преступных объятий любовника и сказать: ты прельстилась графским титулом, богатством, красотой и отдала мне свою руку; не забывай же этого! Я теперь слеп, несчастен, ничтожен, но я отрекаюсь от тебя! Для того, чтоб мстить ей, повторить при ней проклятия, которыми я уже давно обременил ее голову.

— О, боже мой!

— Для того, чтоб вонзить кинжал мести в сердце предателя и заставить ее любоваться позором своего любовника, страдать и плакать от преступной любви к нему...

— Но если она не любила его?

— Не любила? Но для кого же покинула она мужа, забыла честь и стыд женщины?.. О, проклятие, проклятие низкой изменнице!..

— Остановись, остановись! не проклинай! — воскликнула Ангелика отчаянным голосом, — она преступна, но она невинна в душе, ее обманули!

— Что вы говорите? Разве вы ее знаете, синьора?

Страшный голос слепца возвратил рассудок Ангелике.

— Может быть, я говорю, она увлеклась подозрениями, недоверчивостью...

— Нет! я ее хорошо понял! Синьора, если вы чувствуете сострадание к слепцу, умоляю вас, найдите эту женщину, чтоб я мог при ней повторить мои проклятия!

— Граф! эта женщина — я! — сказала Ангелика задышающимся голосом.

— Что? — спросил он не вслушавшись, — умоляю вас, приведите меня к этой женщине.

Ангелика опомнилась. — Он не слышал! — с радостью воскликнула она. — О, благодарение богу! Он спас меня! Я преступна, я изменила мужу, сделалась виновницей ужасных страданий его, а сама утопала в разврате, — теперь я знаю, что делать. Он хочет найти жену для того, чтоб оторвать ее от груди любовника, заставить слушать его проклятия... ужасно, ужасно! Но я должна искупить мое преступление.

Так думала Ангелика, озаренная вдруг светлой мыслью свыше. Бездна, в которую она пала, в страшном виде представилась ей, и совесть, долго дремавшая, проснувшись в душе ее... Она почувствовала твердую решимость обратиться к добру в надежде на провидение. Волнение Ангелики прошло, лицо приняло спокойное выражение; в чертах блистала чудная, неуловимая улыбка кающегося грешника...

— Граф! — сказала она, — ваше положение трогает меня до глубины души, и я решаюсь облегчить его. Не удивляйтесь тому, что я предложу вам. Помните, что я также несчастна и ничего уже не жду от здешней жизни. Позвольте мне всюду за вами следовать, быть спутницей вашей жизни, вашим другом, утешителем. О, не отвергайте моей просьбы!

— Вы шутите, синьора?

— Нет. Не отвергайте меня, я решилась; сходство судьбы нашей привязывает меня к вам... После вы узнаете больше. Теперь скажу только, что делаю это по собственной воле и, клянусь вам! буду во сто раз несчастнее, если вы отвергнете мое предложение... Я чувствую, что сам бог внушил мне эту мысль!..

Напрасны были все убеждения. Намерение ее казалось графу странным тем более, что он не понимал причины его. Ангелика сама догадалась, что поступила необдуманно, не приготовив его к этому, и решилась действовать осмотрительнее. В следующее свидание она рассказала

ему вымышленную повесть своего несчастья и таким образом в продолжение нескольких свиданий успела причудить его к этой мысли и заставила полюбить себя. Тогда она снова напомнила ему о своем намерении.

— Не должно противиться воле божией! — наконец сказал граф после долгих опровержений, и лицо Ангелики просияло чистой радостью...

— Приди, обними меня, милая сестра моя, позволь мне так называть тебя! — и он простирал к ней свои объятия.

С минуту Ангелика стояла в нерешимости; наконец, бледная, дрожащая, подошла она к слепцу, и он напечатлел поцелуй на устах ее...

Этот поцелуй был для Ангелики задатком того чистого, высокого счастья, которым дарит раскаяние.

IV ОН И ОНА

Раскаяние Ангелики было глубоко и искренно. Обстоятельства, способствовавшие ее падению, не были следствием расположения к пороку, но происходили единственно от излишней раздражительности обманутой любви и оскорбленной гордости, и потому она не могла остаться вечной рабой порока. Когда она узнала невинность мужа, как ужаснулась она себя! Как велик, как благороден казался ей несчастный слепец, с своей непрерывной печалью, с своей неистовой, благородной жаждой мщения. Как она, завидовала правам его на это чувство!.. Любовь к мужу, которая ни на минуту не засыпала в душе ее, получила необыкновенную силу, когда она узнала, что он невинен. Часто по целым часам очами, полными слез, смотрела она на тихое, безнадежное лицо его с грустной, возмутительной думой, с укором самой себе. Сердце ее разрывалось от грусти. В эти минуты немых бесед с собою, с воспоминанием прошедшего и предвидением будущего, она была страдальцей, какие редки. Она не терпела от преследований рока, от несправедливости людей — нет! страдания свои она сама себе уготовила, и некому пожаловаться, некого упрекнуть. «Как я несчастна!» — говорила она сама себе, стараясь унять слезы. Вдруг из груди

молчаливого слепца вылетал глубокий вздох, и горькие жалобы и сожаления срывались с уст его. До слуха Ангелики долетало собственное имя ее, сопровождаемое проклятиями, и сердце ее замирало, свет темнел в глазах... Слезы вмиг высыхали, и гробовым камнем ложилась на душу тоска глубокая, убивающая...

Но она не роптала. У нее была одна цель, — загладить, сколько можно, вину свою, посвятить жизнь страдальцу. Она радовалась, что судьба поставила ее в такое положение, в котором она беспрестанно должна видеть ужасные следствия своего поступка; она мучилась и благословляла свои мучения... И чем ужасней были они, тем больше она привязывалась к ним, потому что они возвышали ее жертву.

— Если б ты знала, милая Франческа, — говорил страдалец, — как я любил ее, как мы были счастливы; и вдруг... о, как ужасно она поступила со мной!..

Он вскакивал в сильном волнении, черты его выражали гнев.

Ангелика содрогалась; в подобные минуты ей нередко приходило на мысль, что он узнал ее и хочет на нее кинуться...

— О, пойдем, пойдем! — говорил он. — Води меня по улицам Рима; я узнаю ее по одному шороху платья... Смотри внимательно на мужчин, — и если увидишь между ними человека средних лет, высокого роста, с *благородной* наружностью, смуглого, с черными волосами, — скажи мне! Я знаю, что мне делать!.. Если будешь сомневаться, произнеси тихо: барон Отто Р**, если это он, — он откликнется, я узнаю его по голосу, и тогда...

Ангелика не смела ему противиться, не смела сказать о смерти барона, потому что это привело бы в отчаяние графа, который только и дышал надеждою мести...

Все мысли его сосредоточились в этом чувстве. Опамятовавшись от болезни, он не хотел жить, проклинал людей, которые возвратили ему здоровье; вдруг мысль о мести мелькнула в голове его, и он обрадовался тому, что есть еще для него хоть одна цель в жизни. Тогда он дал безумную клятву не оставлять страннической жизни, не возвращаться в отечество, отказывать себе во всем, до тех пор, пока не отыщет и не накажет изменников.

Ангелика, в угождение графу, принуждена была пока-

зывать, что ищет преследуемых им людей. Наконец она объявила ему, что достоверно узнала, что ни барона, ни женщины, которая ушла с ним, в Риме нет. Рим, в котором она так много заблуждалась и страдала, в котором часто попадались ей знакомые лица, сделался для нее несносен, ей хотелось оставить его...

«Но мы должны найти их, — говорил граф, — мы объедем весь свет, но найдем их, не правда ли?.. Ты не оставишь меня! Ты укажешь мне их...» Жажда мести до того ослепляла его, что он даже не видел всей трудности отыскать виновников ее, иначе это бы убило его!

Ангелика в тот же день, когда решила быть спутницей графа, отказалась от театра, отпустила прислугу, не принимала никого и вскоре переменяла свой великолепный палаццо на две простые комнатки в отдаленной части города.

К дороге не было никаких особенных приготовлений, только Ангелика сделала себе простую странническую одежду. Накануне отправления в путь пришла к ним добрая Фанни, которая нашла уже своего дядю и жила вместе с ним. Граф плакал, прощаясь с нею, а великодушная девушка удивлялась, за что он так любит и благодарит ее. Ангелика отвела ее в сторону и с заботливостью расспрашивала о том, чем она занимала графа во время дороги и чем можно хоть на минуту разогнать его скуку? «Старайся не напоминать ему о прошедшем; осуждай вместе с ним людей, сделавших ему зло, рассказывай о чужих несчастиях и пой ему иногда песенки, если ты петь умеешь! Он не совсем слышит их, но они услаждают ему слух, и я замечала, что ему было легче, когда я пела», — сказала Фанни. Потом они простились.

Граф, предполагая, что жена его вступила опять на сцену которого-нибудь из европейских театров, не терял надежды найти ее и барона, который, по догадкам его, был вместе с нею. Для этого он вознамерился побывать в главных городах Европы. Ангелика всюду за ним следовала с рабской покорностью. Страдания ее были почти невыносимы. Если б не вера и твердая решимость — она бы их не вынесла! Она бы пала еще глубже, ужаснее, потому что тогда бы ею управляло одно отчаяние! Теперь она кротко и терпеливо все сносила; она была даже спокойнее того бурного времени, когда, волнуемая бешеной ревностью, бросилась в объятия порока. Только неутихающий ни на

час гнев ее мужа и его глубокое презрение к ней, которое он высказывал, ничего не подозревая, ужасали ее. Не было в душе ее надежды заслужить его прощение. Но иногда, когда граф начинал свои обыкновенные жалобы, она старалась смягчить вину свою, представить ее в другом виде... Больше всего старалась она сделать сноснее положение несчастного своего супруга. Она помнила много романсов и баллад из своих ролей и, уверившись, что граф не может узнать ее по голосу, нередко их пела. Вот одна из них.

Клятвою верности с милою связанный,
Ею любимый душой,
В латы закован, мечом препоясанный,
Рыцарь собирается в бой.
Вот уж и сел на коня крутогрудого,
Вот и пропал вдалеке.
Годы промчался... нет ниоткуда
Вести о милом дружке.
Слезы красавица льет одинокая,
Тайно грустит в тишине...
Пылью клубится дорога широкая:
Скачет ездок на коне.
Вот он приблизился, в замок торопится,
Входит и ей говорит:
Идешь понапрасну ты — он не воротится:
Храбрый жених твой убит!
Плакать — не плакала, только лишь кинула
Пламенный взор в небеса;
С тех пор без горести часа не минуло:
Гасла в ней жизнь и краса!..
Мужа избрать себе, рыцарь воинственный,
Грозный велел ей отец;
Дева покорна судьбине таинственной,
Плача, идет под венец.
Вот обвенчались... пир начинается,
Вот, наконец, призатих.
Дверь отворяется... мрачный является
К девице прежний жених!
Вздрыгнула, вскрикнула... Он ей с укорами
Кажет золотое кольцо...
Встретил соперника страшными взорами,
Бросил перчатку в лицо!..
Оба нашли себе в битве отчаянной
К мраку могильному путь;
Дева, сраженная смертью печальной,
К *прежнему* пала на грудь!

Так проходило время. Жизнь графа была в полном смысле — страдальческая; состояние Ангелики было еще

ужаснее. Редко, редко, только когда ей удавалось на несколько минут утишить скорбь и роптания графа, заставить его согласиться, что и преступная жена может заслуживать сожаление, сердцу ее делалось несколько легче. Путешествие их было однообразно и утомительно. Они не осматривали древностей и замечательностей проезжаемых мест; не наблюдали нравов и обычаев, не собирали путевых впечатлений — нет! у них была своя цель, — цель, которую человек, не знающий их взаимных отношений и сердечных дел, назвал бы сумасбродною. Первым делом графа по приезде в какой-нибудь город было наводить справки об актрисах, что многим казалось странным и подозрительным. Ангелика посещала монастыри и усердно молилась богу. В продолжение года они объехали несколько известнейших городов Европы и остановились в Берлине, в гостинице под вывескою: *Баранья лопатка*. Они уже несколько дней жили тут в своих обыкновенных занятиях.

Наступило утро. Граф еще спал, по временам беспокойно вскрикивая. Бледная, трепещущая, сидела Ангелика у его изголовья. Мысли перенесли ее в прошедшее; она вспомнила первые впечатления своей жизни, первые радости, первые слезы. Начав с самой верхней ступеньки лестницы воспоминаний, она, наконец, спустилась до нижней — до настоящего. Сначала оно предстало нагое и угрожающее, но потом мало-помалу надежда на будущее расцветила его своими радужными красками, и Ангелика весело замечталась. «Бог сжалилсЯ надо мной, — думала она, — муж мой стал несколько спокойнее; справедливый гнев его на меня стал тише; быть может, если б он знал причину моего поступка, мое раскаяние, — он снял бы с головы моей свои ужасные проклятия».

Вдруг граф быстро приподнялся с постели и с ужасом воскликнул: «Она здесь! прочь, изменница!» Привыкнув к таким явлениям, Ангелика не испугалась, но отрадные надежды ее вмиг рассеялись и на душе ее снова сделалось так тяжело, так мутно... Она отскочила от постели и пала на колени перед образом. Долго, пламенно молилась она, долго плакала, но луч отрадного спокойствия не озарял души ее; какое-то ужасное предчувствие гробовым камнем давило грудь ее. Ей стало страшно; мрачные мысли в смутном беспорядке теснились в голове; лихорадочный жар пробегал по членам.

Она подошла и разбудила графа.

День начался по обыкновению бесполезными поисками. Вечером Ангелика взяла газету, которую услужливый трактирщик принес еще поутру, и стала читать ее.

Вдруг она остановилась. Глаза ее упали на последние строки страницы; она быстро пробежала их, и в глазах ее заблестала необыкновенная радость.

— Продолжай, — сказал граф, — это очень любопытно. — Но она оставила начатую статью и прочла вслух объявление.

«Известный глазной врач Иоганн А** с успехом продолжает лечение глазных болезней. Недавно с удивительным искусством возвратил он зрение человеку, у которого был на глазах катаракт уже более десяти лет. Желающие могут пользоваться его помощью: бедных он лечит бесплатно; квартира его...» и проч.

— Пойдем, — воскликнула Ангелика в сильном восторге, — пойдем к нему: ты еще можешь надеяться увидеть мир божий, прекрасное небо, друзей, родину...

— И тебя, тебя, ангел-утешитель мой! — с восторгом прибавил слепец.

Ангелика, как бы пораженная печальным ужасом, страшно побледнела и пошатнулась.

— Пойдем! — повторил граф, но потом печально прибавил; — на что я надеюсь? Все лучшие доктора объявили мне, что зрение мое невозвратимо... Но все равно, пойдем; может быть, они ошибались... О, как бы я хотел снова иметь глаза... для того, чтоб найти людей, которые позорят мое имя; увидеть ее — и осыпать проклятиями; увидеть тебя — и призвать на тебя благословение неба!

Ангелика совершенно потерялась. Она поняла, как ошибалась, думая прежде, что судьба обрушила уже на главу ее все возможные бедствия... Новое ужасное открытие поразило ум ее, и она не знала, что с ней делалось, не помнила себя. Нет, голова человеческая неспособна выносить подобных открытий! Ангелика вовсе не думала противиться новому удару судьбы, напротив, она чувствовала некоторую радость, которая, однакож, не могла победить ее душевного волнения. В душе ее не могло не происходить борьбы между страхом за себя — и радостью за другого!..

Через несколько дней графу сделана была операция, которая возвратила ему зрение. На глаза его в ту же минуту была надета повязка, которой доктор не велел снимать раньше недели, опасаясь, чтоб слишком скорый переход не повредил восстановлению зрения. Страдания Ангелики возрастали до высочайшей степени. Ей нужна была вся сила души, весь навык переносить бедствия, чтоб устоять против совершенного отчаянья и безумия. Презрение и ненависть к ней, которые граф так часто высказывал, отнимали у нее малейшую надежду. Ей беспрестанно слышались его укоры... проклятия... Он то плакал, то рвал на себе волосы. Она не плакала от избытка горести, а он называл это бесчувствием... видал во всем притворство... подготовленную сцену... ужасно! Она просила у бога смерти... хотела бежать, прибегнуть к самоубийству. Луч веры, таившийся в душе ее, спас ее от этой последней мысли; она стала молиться. Тогда в душе ее снова утвердилось покорность судьбе.

Но чем ближе подходила минута роковой развязки, тем положение ее было мучительней. Она не хотела, не могла допустить ни малейшей утешительной мысли. Наступил день, в двенадцать часов которого должно было все решиться. Сторы в комнате были полуопущены; граф молча сидел подле бледной, трепещущей Ангелики. Чтоб приготовить его к ужасному открытию, она рассказывала происшествие, похожее на собственную судьбу свою, под видом истинного случая; от этого граф, по обыкновению, перешел к воспоминаниям о жене своей, и тогда она стала невидимо сама за себя ходатайствовать.

— Но точно ли ты уверен, — говорила Ангелика, — что она изменила тебе для другого? Может быть, ревность, в которой женщина забывает все и предается единственному чувству — мщению, побудила ее к измене...

— Все равно: она нарушила долг любви и чести!

— Но в таком случае она меньше виновата: вина ее произошла от любви к тебе. Если б она не так пламенно любила, не столько дорожила тобой, она бы хладнокровно перенесла не только подозрение — самую измену.

— Ты любила, была любима, Франческа?

— Да, — отвечала она, глубоко вздыхая.

— Гм! странно же ты рассуждаешь! Она мало виновата! Я лишен навсегда покоя; принужден скитаться из-

гнанником; я обещен, убит горем, которому предел — гроб, — и она не преступница?

Ангелика тихо плакала.

— Преступница, но она достойна сожаления.

— Все преступники его достойны.

— Что бы ты сделал, если б знал, что она во всю жизнь не переставала любить тебя, что она страдает больше тебя — и больше тебя несчастна? — И, как преступница, ожидающая неизвестного ей приговора, она дрожала всем телом. Граф молчал.

— Если б она умирала у ног твоих, а один взгляд твой, одно слово могли возвратить ее к жизни и к радости, которой она не знала с самой разлуки с тобой, — скажи, произнес ли бы ты это слово?

Ангелика говорила с необыкновенным жаром и волнением; упорное молчание графа обдавало ее смертельным холодом: оно не обещало ничего доброго; но она не могла уже воротиться назад; настал час, когда душа ее должна была вылиться в звуках, освободиться от своего гнетущего ярма, которого нести не было уже в ней сил...

— И ты бы проклял ее, преследовал бы ее своим неумолимым мщением? — продолжала она отчаянным голосом.

— Что за странное волнение в твоем голосе, милая Франческа? Какой непонятный вопрос!

— О, говори, говори: что бы ты с ней сделал? — повторила она, не слушая его...

— Но можно ли иметь хоть искру сострадания к той, которая повергла меня в положение ужаснейшее самой смерти?

— Итак, ты бы проклял меня... ее... убил бы своим презрением... о, боже мой!.. но я... она достойна того!

— Что с тобой, Франческа? Опомнись! — воскликнул граф в недоумении.

— Итак, ты проклянешь... но все равно! пусть будет, что хочет судьба... проклинай...

Часы начали бить двенадцать. Голос замер на устах Ангелики; страшное чувство потрясло ей душу; с необыкновенной быстротою она закрыла лицо руками и отскочила от графа.

— Что с тобой? — повторял изумленный граф. — Ты, кажется, особенно встревожена, огорчена. Но мы должны

теперь радоваться: настал час, когда я могу, наконец, увидеть тебя...

Душа Ангелики была в каком-то оцепенении. В этот день она столько напрягала себя, чтоб выдерживать испытания, что на последний ужасный кризис у нее неостало сил. Она стояла как безумная, и только по животному инстинкту, в страхе, как тень кралась по стене в темный угол комнаты, с силой прижимаясь к стене, как бы желая продавить ее, для того, чтоб скрыться в отверстии...

— Порадуйся со мною, — говорил граф, вскрывая повязку, — я, наконец, у цели желаний своих... клятва моя не останется неисполненною... — Он снял повязку и искал глазами Ангелики; она чуть не упала, силы ее оставили, и безжизненные руки опустились...

Граф подошел к ней. С минуту длилось молчание, в котором еще яснее слышалась Ангелике буря души ее.

— Неужели лицо твое всегда так бледно и мертво? Что же ты так бесчувственно на меня смотришь... Или ты не рада моему счастью? О, дай же мне насмотреться на тебя...

Граф взял ее за руку; машинально последовала она за ним на средину комнаты.

Образ супруги ни на минуту не оставлял графа. Он носился пред ним и в ту минуту, когда свет вдруг исчез из глаз его; он же первый поразил его возвращенное зрение, потому что сколько ни переменялось страданиями и временем лицо Ангелики, он сейчас же почти узнал ее, но в то же время рассудок поспешил доказать ему, что он обманывается своим слабым еще зрением. Его только поразило необыкновенное положение Ангелики. «Что с тобой, добрый друг мой? рука твоя холодна, лицо мрачно... Посмотри же на меня с улыбкой... Ты всегда говорила, что мое счастье для тебя дороже своего; я теперь счастлив... что ж ты так бесчувственна?.. Улыбнись... скажи, что ты довольна...»

Ласковый голос графа, — голос, который она когда-то уже слышала, начал пробуждать душу графини от онемения... Но она все еще не знала, на что решиться.

— Я теперь счастлив, — повторил граф, — и чувствую, что буду еще счастливее, потому что клятва моя теперь будет исполнена... Я найду коварного друга, найду ее...

— Она пред тобой! — воскликнула Ангелика и упала на колена.

Граф остолбенел, онемел. Долго он был нравственно уничтожен. Он походил на человека, который еще жив, но с которым совершился уже весь процесс смерти. Довольно было одного взгляда на Ангелику, чтоб удостовериться в истине ее слов.

— Да, это я, — Ангелика, преступная жена, которую муж предал проклятию, которая сама прокляла себя... Что ж ты медлишь? произноси последний суд твой. Но нет... постой, выслушай меня! Я была невинна... я всегда любила тебя... демон замешался между нами и увлек меня в бездну... ревность и жажда мести довели меня до преступления... Барон Р**, которого я никогда не любила, воспользовался моим легковерием и обманул меня подложным письмом... ты знаешь письмо... могла ли я сомневаться.

— Барон Р**, — глухо произнес граф, которого последние слова Ангелики несколько пробудили, — барон Р**, — повторил он, — месть моя будет ужасна!

— Барона Р** нет на свете!

— Он умер... умер! — произнес граф в отчаянии.

— Да, — сказала Ангелика, — теперь месть твоя должна обратиться на одну меня. Делай со мной что хочешь...

Граф снова впал в беспамятство.

Печальные, убивающие мысли произвело в нем открытие страшной тайны. Несчастье его сделалось еще ужаснее в глазах его, потому что он увидел, от каких гнусных, мелких причин произошло оно, как легко можно было его избегнуть...

Ангелика, как приговоренная к смерти, стояла, не смея взглянуть в глаза графа. Он боялся поднять на нее свои. Он видел себя жестоко уничтоженным судьбою, обманутым ею со всем бесстыдством, со всею наглостию насмешливого демона.

Наконец мысли его начали несколько приходить в порядок, и он с изумлением начал анализировать поведение Ангелики. Как высока, как благородна показалась ему эта женщина, которая так глубоко искупила свое невольное преступление!

— Я не буду проклинать тебя, не буду мстить... не будем плакать и жаловаться на судьбу; наше несчастье

выше слез и жалоб. Ни ты, ни я — не виноваты. Виноват предатель, который все так устроил... Я прощаю тебя, прощаю от души, и еще удивляюсь тебе, как женщине необыкновенной...

Душа Ангелики наполнилась неизъяснимым счастьем. Она так привыкла слушать из уст мужа одни проклятия, что долго не доверяла себе...

— Но мы должны расстаться; верно, и ты не будешь противиться...

— О, да! Еще во время путешествия нашего по Италии я случайно была в одном монастыре, и мне понравилась его тихая, богомольная жизнь. Я тогда же сказала настоятельнице, чтоб она ждала меня... Теперь наступило время исполнить обет...

— Прощай, милая Ангелика! Мы расстаемся как друзья, которым судьба не позволяет оставаться вместе... Прощай, молись за себя — и за меня!

Они расстались навсегда, — до свидания в лучшем мире, оба равно несчастные, оба одинаково страдающие друг за друга.

Ангелика вступила в монастырь и там в тишине и молитве провела остаток бурной жизни своей, исполненной страшных волнений и страданий поучительных.

Граф возвратился в Россию, поступил в военную службу, участвовал в одном из последних русских походов и получил крест, доставшийся ему, как говорят, вместо смерти, которой он искал, безрассудно кидаясь в самый пыл битвы.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ

Рассказ

В начале нынешнего столетия случилось важное событие: у надворного советника Ивана Мироновича Заедина родился сын. Когда первые порывы родительских восторгов прошли и силы матери несколько восстановились, что случилось очень скоро, Иван Миронович спросил жену:

— А что, душка, как вы думаете, молодчик-то, должно быть, будет вылитый — я?

— Уж как не так! Да и не дай того бог!

— А что, разве того... я не хорош, Софья Марковна?

— Хороши — да несчастны! Всё врознь идете; нет у вас заботы никакой: семь аршин сукна на фрак идет!

— Вот уж и прибавили. Что вам жаль сукна, что ли? Эх, Софья Марковна! Не вы бы говорили, не я бы слушал!

— Хотела из своей казавейки жилетку скроить: куда! и половины не выходит... Эка благодать божия! Хоть бы вы побольше ходили, Иван Миронович: ведь с вами скоро — срам в люди показаться!

— Что ж тут предосудительного, Софья Марковна? Вот я каждый день в департамент хожу и никакого вреда-таки себе не вижу: все смотрят на меня с уважением.

— Смеются над вами, а у вас и понять-то ума нет! А еще хотите, чтоб на вас другие похожи были!

— Право, душка, вы премудренная: что ж тут удивительного, если сын похож на отца будет?

— Не будет!

— Будет, душка. Теперь уж карапузик такой... Опять и нос, возьмите... можно сказать, в человеке главное.

— Что вы тут с носом суетесь! Он мое рождение.

— И мое тоже; вот увидите.

Тут начались взаимные доводы и опровержения, которые кончились ссорой. Иван Миронович говорил с таким жаром, что верхняя часть его огромного живота закачалась подобно стоячему болоту, нечаянно потрясенному. Так как на лице новорожденного еще нельзя было ничего разобрать, то, несколько успокоившись, родители решились ждать удобнейшего времени для разрешения спора и заключили на сей конец следующее пари: если сын, которого предполагалось назвать Дмитрием, будет похож на отца, то отец имеет право воспитывать его единственно по своему усмотрению, а жена не вправе иметь в то дело ни малейшего вмешательства, и наоборот, если выигрыш будет на стороне матери...

— Вы сконфузитесь, душка, наперед знаю, что сконфузитесь; откажитесь лучше... возьмите нос, — говорил надворный советник, — а я так уверен, что хоть, пожалуй, на гербовой бумаге напишу наше условие да в палате заявлю; право.

— Вот еще выдумали на что деньги тратить; эх, Иван Миронович, не дал вам бог здравого рассуждения, а еще «Северную пчелу» читаете.

— На вас не угодишь, Софья Марковна. Вот посмотрим, что вы скажете, как я Митеньку буду воспитывать.

— Не будете!

— Буду!

— А вот увидим!

— Увидите!

Через несколько дней Митеньке был сделан формальный осмотр в присутствии нескольких родственников и друзей дома.

— Он на вас не похож ни иоты, душка!

— Он от вас как от земли небо, Иван Миронович!

Оба восклицания вылетели в одно время из уст супругов и подтверждены присутствующими. В самом деле, Митенька нисколько не походил ни на отца, ни на мать.

Юность Дмитрия Ивановича была самая незавидная. Вследствие неожиданной развязки пари ни отец, ни мать не стали его воспитывать. За каждую шалость, свойственную ребяческому возрасту, его строго наказывали. Отец не любил его, да и мать охладела к нему, с того дня, как он спросил ее однажды при Иване Мироновиче: «Мамуся, кто это у вас был давеча, вот тот, что поцеловал меня?»

Образец кротости и послушания, угнетаемый, никем не любимый, Дмитрий Иванович достиг, наконец, пятнадцатилетнего возраста. Отец, искавший случая сбыть его с рук, отдал его в гимназию. Здесь начинается длинный ряд приключений Дмитрия Ивановича. Бог знает за что восстала на него судьба, люди, обстоятельства. Не балованный от юности, он вступал в жизнь вполне достойным счастья. Наружность его была прекрасна: новогреческий нос, санскритский подбородок, испанская смуглость, сенегамбийская важность и множество других приятностей делали личность его чрезвычайно интересною. Одного недоставало ему. Глаза у него были чудесные, голубые, на выкате: кажется, вот так и увидят за версту... ничуть не бывало! Дмитрий Иванович был чрезвычайно близорук и не видел дальше своего носу. Зато какой богатый, отрадный рудник представляла неиспорченная душа его. Утвердительно можно сказать, что если б разработать этот рудник, из него вышел бы целый четверик добродетели, без примеси зависти, вражды, честолюбия, самохвальства, нахальства, сплетничества, корыстолюбия и других анбарных принадлежностей человека. А сколько аршин у него терпения, смиренномудрия и кротости! Терпения в особенности. Он, как свеклосахарные заводчики, твердо верил, что терпение такая добродетель, которая, рано ли, поздно ли, даст плоды сладкие и многочисленные. Нельзя, однакож, сказать, что Дмитрий Иванович был ангел. Есть в мире, особенно в Петербурге, прекрасные дома, в прекрасных комнатах которых живут прекрасные люди, но в тех же самых домах есть грязные отделения, где гнездятся разврат и бедность. Так и сердце человеческое. Оно разделяется на множество квартир: в лучших жительство имеют добродетели, в худшие нагло втерлись честолюбие, корыстолюбие, ненависть, зависть, лень и т. д. Как они попали туда? Трудно решить. Известно только, что подобные господа никогда не платят за квартиру, живут на счет своих соседей, которых иногда обкрадывают, стесняют или выживают совсем. Самих же их выжить нельзя, хотя бы рассудок, занимающий тут должность квартального надзирателя, употребил все свои полицейские меры: они вечно заняты, вечно стерегут своих соседей, вечно дома. Но об этом после. Таков был Дмитрий Иванович при на-

чале своего жизненного поприща. В гимназии он учился хорошо и вел себя исправно. Курса, однакож, он не кончил, потому что однажды второпях наткнулся на директора в коридоре, сбил его с ног, за что и был выключен. Первая неудача не испугала Дмитрия Ивановича. Он начал готовиться в университет. Через год явился на экзамен, отвечал довольно хорошо, но получил единицу из древних языков или из математики, не помню, и его не приняли. Он вступил вольным слушателем и начал снова готовиться. Перед экзаменом сделалась у него лихорадка, потом горячка, и он пролежал полгода в постели; Дмитрий Иванович и тут не упал духом.

— Видно, мне не суждено быть ученым, — сказал он и, решась поступить в военную службу, пошел просить у отца денег на содержание. «Что ты, Митюша, что ты, с ума сошел? — сказал отец, разгневанный его неудачами. — В такие годы я уж получал тридцать рублей в месяц жалованья, кормил бедную мать... возьми... сообрази...»

Вследствие того отец не дал ему ни гроша. Дмитрий Иванович, с стесненным сердцем и пустым кошельком, вступил юнкером в армейский полк. «Наконец-то я попал на настоящую дорогу: меня скоро представят в прапорщики!» — писал Дмитрий Иванович к своему дражайшему родителю спустя несколько лет. Обрадованный отец прислал ему двести рублей. Дмитрий Иванович пришел в восторг: у него еще никогда не было столько денег; он не знал, что с ними делать, и на радостях задал пирушку своим приятелям. Они принудили его выпить несколько стаканов пуншу. Кровь закипела в жилах Дмитрия Ивановича. Он почувствовал в сердце своем суматоху вроде той, какая бывает при перемене квартиры. Действительно, там происходил этот процесс: некоторые жильцы грязных отделений захотели занять квартиру получше. Добродетель жаловалась надзирателю, обещала прибавить цены... тщетно! Дмитрий Иванович пил, пел, плясал, сам себя не помня. Ночь была темная и грязная, все были навеселе. Дмитрий Иванович в особенности. Ноги его едва двигались, он беспрестанно отставал, приятели смеялись. Не желая показаться слабым, он принялся бегом догонять их. Вдруг он упал и болезненно вскрикнул. «Что, брат, шлепнулся, растянулся, ха, ха, ха!» Дмитрий

Иванович продолжал стонать. Хмель выскочил из головы приятелей. Они стали его поднимать и с ужасом увидели, что левая нога Дмитрия Ивановича переломлена. Они спесли его домой; с помощью скорых медицинских пособий он остался калекой на всю жизнь, и... прощай военная служба! Он поневоле вышел в отставку чем-то поменьше коллежского регистратора и побольше недоросля... Из окрестностей Новгорода, где стоял полк Дмитрия Ивановича, он прибыл опять в Петербург, с намерением определиться «к статским делам». Но куда поступишь ты, бедный смертный, когда судьба тебе не дает ступить шагу? Где ты укроешься, дитя горя, от самого себя, от рока? В земском суде или в уездном? Там тебя доедут работой, обдадут чернилами и все-таки не поставят тебя на ноги; там скрип перьев и шипенье мелких страстей, там... чернила... там отделение, которого нет в твоём сердце! Беги, беги, добродетельный Дмитрий Иванович! Вывихни другую ногу, вырви соблазняющий глаз... вырви оба! Тебя тогда не ослепит ложный блеск! Беги! Куда? В гражданскую палату? Бедный смертный, ты погиб! Ты копиист! Ты увлекся жалованьем и квартирными деньгами... Хорошо... Дай же теперь квартирные деньги и твоей добродетели, потому что она уже не хочет жить в твоём сердце! Что ты сделал! Боже, боже!

Как гнусны, бесполезны, как ничтожны
Деянья человека на земле!

(Шекспир.)

Вот ты уж год на службе. За болезнь столоначальника ты управляешь столом... Ты еще невинен... сердце твое чисто... добродетель дома... порок притаился в дурной половине окнами на двор... Что ты задумался? В руках твоих запрос губернского правления: «Не состоит ли запрещения на имени помещика Чудова, желающего заложить оное?» Что ж ты не отвечаешь? Есть оно или нет? Ты краснеешь... запинаешься... ты поспешно прячешь какие-то бумаги под спуд... Дмитрий Иванович, берегись! Порок незаметно въедается, но он колет только, когда гладишь его по шерсти, погладь против — он убежит... Вот ты пришел домой. Квартира у тебя в неопределенном этаже, грязна, мала, без мебели. Ты недоволен, ропщешь, тебе есть нечего, денег только двугривенный: мало! Полно,

вздор! Сходи в лавочку, купи трески — поешь и останься добродетелен! Не думай о стерляди, которую взял да съел твой начальник! — Ты в какой-то борьбе... ты страшен... Что с тобой? Зачем ты так часто посматриваешь на дверь? Вот она отворилась; вошел человек, богато одетый. Ты и обрадовался и испугался... Он говорит: «Решились ли вы? право, дело пустое, а вы боитесь... и кому нужна справляться... а откроется, можно сказать: по непривычке к делу упустил из виду... вот и всё... Подумайте: вы получите...»

Дмитрий Иванович, что с тобой? Или ты не слышишь, как порок дал пощечину твоей добродетели? Дмитрий Иванович, пробудись! Он гонит ее из квартиры, один хочет поселиться в твоём сердце. Вот добродетель собрала подмышку свои пожитки и ждёт у порога; порок отворил дверь и дразнит ее языком... Одно твоё слово — и квартира за ней; другое — за ним! Что ж ты медлишь? Реши! Слышишь ли? В сердце твоём началась драка! Скорей за надзирателем! Где он, где твой рассудок? Он угорел в квартире порока, он пьян... спит! Горе, горе тебе! Беги! Запой романс, который ты и так петь любишь:

Я в пустыню удаляюсь
От прекрасных здешних мест!

Но ты недвижим... Ты, наконец, протянул руку...

О вы, души чувствительные, поплачьте вместе со мной за Дмитрия Ивановича... Он пал, пал, как может падать неподдельная китайская добродетель... Кредит сердца его упал, квартиры подешевели, в них может селиться всякий сброд... он гибнет и, преступный, на краю бездны, благословляет судьбу свою. Три тысячи не шутка. Он сделал себе щегольское платье, нанял квартиру в четвертом этаже, стал поигрывать в вист, волочиться за хорошенькими. Квартира в сердце его очистилась, и любовь поспешила занять ее. Он жил в Ямской, откуда ежедневно в девять часов утра маршировал по Невскому проспекту до места своего служения и тем же путем возвращался назад в половине четвертого. Он, грешный человек, любил поглазеть по окошkam, и вот однажды у Казанского моста глядит он в окно второго этажа, видит даму, которая пристально на него смотрит; он остановился: дама не отходит, он делает глазки: дама

не сердится... И вот рой мечтаний, сладких, упоительных, нахлынул на его душу. Он всматривается в чудные формы красавицы, которая до половины открыта его взору. Лицо ее живо и правильно, глаза блестят удивительно, волосы чудно зачесаны, и по плечам вьются локоны. «Что за локоны, что за прическа! Она должна быть из знатных! И она обратила на меня внимание!» И он чувствовал, что сердце его стесняется: в нем прибыл жилец, — чувство собственного достоинства и гордости! Неизвестно, сколько тысячелетий простоял бы Дмитрий Иванович перед окном второго этажа, если бы не вспомнил о службе. Он не мог ничего делать; зарождающаяся любовь охватила все его способности. Пробыло три часа, и он опрометью бросился на улицу. Вот он у Казанского моста... о радость! Она опять тут... Он опять смотрит на нее... улыбается ей... Нет, душа Дмитрия Ивановича не так глупа, чтоб остаться бесчувственной; она загорается самою чистою, безумною любовью!

С того дня Дмитрий Иванович постоянно, во время следования в должность и возвращения, останавливался у восхитительного окошка и всегда находил в нем таинственную красавицу. Такая внимательность не могла не пробудить надежды в душе его. Она ждет его поутру, ждет в три пополудни... видно, ей дорог один взгляд, одна улыбка... Гордость его росла. Он стал подсмеиваться над приятелями, рассказывавшими ему мелкие интрижки свои, и, значительно улыбаясь, говорил: «вы больше знаете, вам и книги в руки; где нам, дуракам, со сливками чай пить».

Так прошло несколько недель; Дмитрию Ивановичу стало невтерпех. «Что ж ты медлишь, Дмитрий Иванович? — говорил он сам себе; — если она девица — женись, если дама — упади на колени... А всего вернее и всего лучше, что она вдова... тут и ждать нечего... Судя по платью, она не бедна. Прекрасно!» И Дмитрий Иванович побежал к Казанскому мосту. Любовь кутила в сердце его: все пошло там вверх дном, как в доме, куда попал пьяный постоялец; но он не замечал того: он был упоен надеждою, упитан мечтами, разгорячен желаньями... Вот он у окна: она тут, смотрит, улыбается... О, Дмитрий Иванович! не помешайся от счастья! Гордо и надменно смотришь ты на мир божий, на прохожих...

ты выше их... Теперь никто не скажет, как бывало, что ты несчастен в женщинах! Счастье долго изменяло тебе — теперь оно тебе улыбается!.. И Дмитрий Иванович, почти не помня себя, бежит на двор, отыскал дворника, спросил у него, где вход в квартиру, в которой обожаемое окно, и летит вверх.

Сердце его полно, признание дрожит на языке, он отворяет дверь, сталкивается с кем-то, бежит дальше, к окну...

— Что прикажете: остричь или завить? — спрашивает человек с добротной физиономией и полотенцем в руке.

Ба! что за вопрос? Куда ты попал? Ты, должно быть, ошибся, Дмитрий Иванович, не в ту дверь зашел... Посмотри: здесь только мужчины с ножницами и гребенками; здесь везде признаки *парикмахерского производства*. Вот ящик с стеклянной крышкой, наполненный париками, пуклями и пр., вот другой с банками духов и помады; на окошках расставлены фигуры, накрытые париками и увешанные пуклями.

Но ты неподвижен... Что ж ты себе думаешь? Что ты так пристально смотришь на эту бездушную фигуру, стоящую на окошке, столь румяную и столь тщательно убранную?.. Ты не можешь отвести очей от нее, слезы навернулись на них, ты так укорительно, так дико смотришь на нее... ты зарыдал громко...

Ха, ха, ха! Теперь все ясно. Несчастный! Что ты любил? Бездушную вывеску парикмахера, хладный кусок картонной бумаги, болвана, на котором мосье Гелио расправляет свои произведения! Опомнись, действуй!.. Что ж ты не исполняешь своих замыслов? Составь же счастье этого ангела; утопи душу свою в ее *хрустальных* очах! Впейся поцелуем в ее алебастро-бумажные плечи!

— Прикажете завить или выстричь? — повторил парикмахер.

— Стричь, стричь! — закричал Дмитрий Иванович.

Парикмахер подставил к окну стул; наш герой в беспомощности сел на него, и его начали стричь. В сердце его происходила ужасная суматоха. Квартиры были все заняты, а какой-то нахал въехал со всеми пожитками и нагло требовал, чтоб ему отвели комнату. То было страшное отчаянье, недоверчивость к самому себе, к судьбе, к лю-

дам. «Нет, видно, ничто не удастся мне в жизни; видно, мне назначена самая несчастная доля!»

Расстроенный, полуубитый, гладко остриженный, пришел он домой. Там его ожидал столоначальник, выздоровевший несколько дней тому назад и вступивший в свою должность.

— Вы написали, что запрещения на имение помещика Чудова в нашем столе нет, а я нашел его, по делу купца... — начал столоначальник.

— Я не видел этого дела, клянусь честью! — перебил Дмитрий Иванович, изменившись в лице.

— Честные люди так не делают... Смотрите, вам худо будет, мы за себя постоим.

Пожар, пожар! Все постояльцы сердца Дмитрия Ивановича переполошились. Воют, визжат, скрежещут зубами, сталкиваются между собой... Спасите, спасите! Воды, воды! Га! Как там жарко! Какой страшный ад! Тут хнычет самолюбие, разорванное на части пламенем; там обожженное терпение испускает последний вздох; тут целомудрие стыдливо прикрывает члены свои обгоревшими лохмотьями; там совесть, с выжженными глазами, с закопченным лицом, худая, чуть живая, читает молитвенник; тут шевелится обгорелый, безобразный кусок чести, раздавленный подлостью, которую столкнули с антресолей сердца... ужасно! И посреди этого хаоса, этих полуживых уродов, бегают они... страшное, гробовое отчаянье... главный член рокового пира... Оно не горит, не боится пламени; его стихия огонь, оно тут как дома... А вот еще лицо... оно невзрачно, фрак на нем поношенный... А, это ум... ум бегают, как безумный, роется в чужих пожитках и, уткнув палец в лоб, беспрестанно повторяет: «Как бы помочь делу?»

Напрасный труд!

Дмитрия Ивановича отставили от службы, с прежним чином и аттестатом: «а впредь не принимать».

— Опять неудача! Когда же, наконец, мне что-нибудь удастся? Уж не нарочно ли судьба так искушает мое терпение? Нет, не поддамся же ей! Часто человеку бывает сначала несчастье, а потом вдруг — смотришь, всё ему удается!

Так думал Дмитрий Иванович, и в сердце его сделалось тише. Отчаянье должно было удалиться и искать

квартиры в другом месте. Он сидел молча, поникнув головой, отягченной думами. Вдруг в комнату вбежала женщина...

— Дмитрий Иванович, батюшка, кормилец, пожалуйста скорей... батюшка...

— Что?

— Батюшка... — повторила старуха, заливаясь слезами.

— Да говори же, Прокофьевна, какая ты, право, странная... что ты плачешь?

— Да как же не плакать — батюшка, кормилец наш... Иван Миронович...

— Что, что, что?

— Кончается, батюшка... пожалуйста...

Дмитрий Иванович схватил шапку и побежал к отцу.

На одре смерти отец, наконец, простил его за то, что он не похож на него, и вручил ему несколько ломбардных билетов. Дмитрий Иванович поплакал, счел билеты и, по количеству их, заказал гроб покойнику. Мать его давно уже умерла, и таким образом он сделался наследником полутора ста тысяч, накопленных отцом его в продолжение сорокалетней беспорочной службы.

Дмитрий Иванович разбогател. Как бы то ни было, а деньги вещь не последняя в жизни. Он нанял великолепную квартиру, прилично меблировал ее, завел вечера и начал жить припеваючи. Но бездействие его мучило. Это была душа глубокая, как озеро волшебниц, виртуозная, как пальцы Тальберга, как носок Тальони, как голос Пасты; ей нужна была деятельность непрерывная, полезная и приятная — и он начал размышлять о средствах увеличить свой капитал. Другой на его месте непременно сделался бы ростовщиком. Но с того дня, как Дмитрий Иванович разбогател, добродетель опять заняла прежнюю квартиру в его сердце, и он никак не хотел расстаться с ней, потому-то и не пошел в ростовщики. За что же приняться?

Дмитрий Иванович в один день получил записку от своего старого товарища такого содержания: «Сегодня именины моей жены; у меня вечер, приезжай, пожалуйста, без церемонии. Зрелов». В восемь часов он оделся и от-

правился. Хозяин был женат на богатой купчихе, и потому в зале толпилось множество купцов всякого рода. На этом вечере внимание Дмитрия Ивановича обратил на себя иностранный банкир. Он спросил об нем одного гостя.

— Прекрасный человек, — отвечал тот, — и богат, очень богат, миллионами ворочает. Неизвестно какого он происхождения: одни говорят грек, другие немец, а некоторые жид, впрочем, какое кому до того дело; я знаю, что он честнейшая душа, и все так говорят. А какие у него обороты — удивительно! И все очень удачны. Если он что затеет — можно наперед ручаться за прибыль. Вот и теперь он что-то начал... говорят, вернейшая выгода... ищет товарища с небольшим капиталом, тяжело одному... делами забрался очень.

— Познакомьте нас, если вы его знаете.

— С удовольствием. — И услужливый гость подвел Заедина к банкиру. Это был человек лет сорока, с лукавыми серыми глазами и остроконечным подбородком, невысокого роста, в черном фраке, застегнутом до верху. Дмитрию Ивановичу он понравился, и под конец вечера они очень сблизились. Он пригласил его к себе. Скоро они подружились. Дмитрий Иванович пошел к нему в половину по одному предприятию, от которого банкир предсказывал золотые горы. Заедин отдал ему свой капитал на выгодных условиях, так, что получал с него десять процентов, кроме половины, которая ему следовала из барыша. Дела шли очень хорошо, и он в первый год получил до пятидесяти тысяч чистой прибыли. Однако виртуозная душа его тем не удовольствовалась. «Счастье мне в первый раз в жизни благоприятствует, — думал он, — надо торопиться им пользоваться». Он взял часть денег у банкира, прибавил сбереженные и затеял литературное предприятие. Вскоре появилось великолепное объявление, аршинными буквами, о подписке на некоторую книгу, с политическими рисунками и пр. и пр., которая будет выходить выпусками. Дмитрий Иванович заплатил за перевод оригинала, купил за сорок тысяч политипажи парижского издания и приступил к делу. Один журналист, который часто с семейством обедал у него, предсказывал изданию успех невероятный, писал наперед похвалы и попросил взаймы пятьсот рублей. Между тем он свел

знакомство с литераторами и сам искутился в их ремесле: он напечатал поэму и с трепетом ждал отзыва журналистов. В это же время Дмитрий Иванович встретил где-то молодую девушку, которая привлекла его внимание. Глазки у этой девушки были чрезвычайно живые и выразительные, губки манили к поцелую, ручки к пожатию и т. д., а грудь смело можно было принять:

За чашу благ, в которой слито —
Все, что небесного забыто
В юдоли плача и сует!

Я решительно опровергаю мнение некоторых журналистов, что любовь бывает только однажды. Доказательство тому Дмитрий Иванович. Уж он ли не любил, нежно, пламенно! И что ж? Он вторично влюбился. Душа его наполнилась этим ликующим пламенем, которое жжет и мертвит, бьет и гладит, а всего ужаснее — занимает такую большую квартиру в сердце и так бессовестно в нем хозяйничает. И вот он запел:

Стеариновые плечи,
Беломраморная грудь,
Бриллиантовые речи —
Обольстительны вы суть!

И так далее, сорок строк, каждая из двух слов: существительного и прилагательного. Он начал осведомляться о царице души своей. Оказалось, что она, по имени Марья Ивановна, бедна, живет с матерью на Васильевском острове и кормится рукодельем. Сколько тут поэзии! «Она сама будет штопать мне носки... о, поэт! сколько ты высок над толпою и как завидна твоя участь!» Так говорил сам себе Дмитрий Иванович. Здесь кстати заметить, что с того дня, как он выдал поэму, он иначе не звал себя, как поэт, и приказал слуге на вопрос: «кто твой барин?» отвечать: «поэт». Вскоре Дмитрий Иванович познакомился с матерью своей любезной и ей признался в пламенной любви; она не отвергла его, и счастливый Дмитрий Иванович написал стихотворение под заглавием: «Первая любовь». Была и прежде любовь, ну, да ту — не в счет: не поднести же любезной вторую любовь!

Однажды они сидели на диване рука с рукой. Матери не было дома. Марья Ивановна делала ему отчаянные

глазки, какого-то особенного рода: зрачки у ней закатывались под лоб, а сиял один белок, во всей неподдельной красоте своей. «Чудная женщина! — думал Заедин, — все в ней особенное!» Мало-помалу они сблизились: рука его обхватила стан ее, уста их встретились.

Вдруг в комнату вбежали две старухи. — Боже мой! какой срам, какой позор! Вы, сударь, целуете, обнимаете мою дочь. Я этого никому не позволю, кроме ее жениха. Вон, срамница, вон! прочь от моего дома! Вы, сударь, мараете честь бедного семейства... обольщаете...

— Клянусь, что я виноват только в том, что поцеловал вашу дочь! — воскликнул Заедин.

— Поцеловал... знаем мы вас... обольщать невинных девушек. Стыдно, сударь... стыдно... Вон, негодное детище! — Старуха зарыдала и стала выталкивать свою дочь.

Марья Ивановна бросилась к ногам Дмитрия Ивановича.

— Батюшки, страхи какие! По-нашему, честный человек должен был бы жениться после того, — произнесла товарка матери.

— Да, есть в них честь, дожидайся! Что же ты ждешь, негодница, пошла вон!

Девушка рыдала и обнимала колени Заедина. — Успокойтесь, — сказал Дмитрий Иванович, — я давно люблю вашу дочь, и я прошу руки ее. Она невинна, клянусь вам!

И Дмитрия Ивановича помолвили с Марьей Ивановной. Две недели он утопал в мятежном счастье жениха, день сидел с своей любезной, жал ей ручку, целовал щечку и т. д.; ночью писал к ней стихи; наконец их обвенчали; бал продолжался долго... все усердно пили, ели и хвалили бескорыстный выбор Дмитрия Ивановича. Наконец все разъехались, и поэт, переполненный счастьем, отправился на брачное ложе.

Дик и страшен выбежал поутру Дмитрий Иванович из спальни. Скорыми шагами ходил он по комнате, бил себя в грудь, топал ногами, хватался за волосы и рвал их, и произносил страшные проклятия, и метался как больной. В сердце его пустота мертвящая: все жильцы съехали, как будто чума испугала их. Но вот из бездны этой пустоты, беспредельной как океан, ужасной как мо-

гила, мрачной как развалины Колизея, вырастает какой-то призрак, сперва незаметный как атом, потом больше и больше... и, наконец, охватывает всю глубину, ширину и толстоту сердца, бросается в голову, щекотит мозг, наливает глаза кровью злости и отчаянья и покрывает чело краской стыда, вечного, неизгладимого. Кто он? Откуда взялся? Как ты пустил его, Дмитрий Иванович, и как можно пускать таких буянов?..

— Я не знал, что она преступна.. Она показалась мне ангелом кротости и целомудрия... и когда позор постучался в дверь моего сердца, я еще долго не верил... о, зачем я, с моим несчастьем, затеял жениться!.. Зачем я до сей поры жив, зачем мост не обрушился подо мной, когда я проходил Мойку, зачем не утонул я в Лиговском канале? Что я делал, что делать буду? Нет, видно, мне ничто не удастся!.. — Так горевал поэт, и отчаяние овладевало им. Утешительная вера в судьбу, в будущность начала слабеть в его сердце. Он проклинал самого себя, осуждал, называл глупыми все свои поступки. Бедный смертный! Не кляни себя, не осмеивай сам своих предприятий: если б они удались — ты бы первый похвалил их... Не виноват ты, твой ум, твоя душа — виновата судьба. Она вздумала выбесить из тебя надежду, свить веревку из твоего мозга, чувств, мыслей, желаний — и ею отхлестать тебя же досыта... Что делать? На то она судьба, чтоб тешиться над человечеством. На то у тебя воля, чтоб уклоняться от ее ударов, на то в море щука, чтобы карась не дремал. Есть сила — борись, мужайся, нет — упади на колена, скажи: виноват, сударыня, вперед не буду... Но не отчаивайся — этим ты только поощришь ее дерзость: она из того только и бьется, чтоб бесить нашего брата, смиренного чиновника, а главное — держи ухо востро — имей наушников, подслушивай ее и предупреждай...

Дмитрий Иванович заперся в своем кабинете. Отчаяние не позволяло ему ни думать, ни плакать. Лучшая страница его жизни залита чернилами: бескорыстною любовью купил он право на ненависть; благородным поступком — позор; излишней пылкостью сердца — раскаянье. Может ли быть что ужаснее? К вечеру он, не то чтобы успокоившись, а так, с отчаянья, взялся за только что вышедшие журналы.

Сердце вздрогнуло, стеснилось, литературный трепет

прошел по жилам, авторское самолюбие вытянулось во весь рост и в оба глаза начало читать литературную летопись.

Судьба — удивительная дама. Она постоянна... Перед одним она лисит, перед другим крокодильствует, но кажется, будто она одинаково любит того и другого, потому что с равным постоянством и радушием снабжает одного бедами, другого радостями... Для одного она устроит любовное свидание, достанет свежих устриц, сбавит цену акций на бирже, для другого приготовит нечаянную отставку, распустил клевету, забежит к журналисту, попросит, поклоняется, продиктует ему статью для того, чтобы любимец ее не нуждался в несчастьи, не забыл роли, которую она ему назначила.

Дмитрий Иванович бросил журнал под стол и взялся за другой. И в том не щадили его поэмы... В третьем то же. В газете — то же. В другой — то же! Разругали, разругали и разругали!

Несчастный, пиши антикритику... Нет, лучше схвати аршин антикритика, с костяным набалдашником, и беги... нанеси твоим врагам удар сильный, решительный... Боисься! Так узнай их семейные тайны, их отношения в свете, их дурные поступки. Представь их людоедами, кровопийцами, людьми без орфографии, самозванцами... Скажи, что они глотают таланты как устриц, убивают их как мух, или выдумай и еще что-нибудь ужаснее... Советую тебе для вящего уразумения исковеркать их фамилии, а имена оставить настоящие; если знаешь, напиши улицу, где они живут, да не забудь в конце статьи расхвалить самого себя, из скромности. Так делают же — и хвалят и ругают самих себя, — ты знаешь, люди не без имени!

Перед вечером пришел к мятежному Дмитрию Ивановичу конторщик, заведывавший его изданием с политическими рисунками.

— Что, как идет подписка? — спросил он.

— Плохо-с. Только семь подписчиков... И то пятеро без денег по вашей записке, а вот за двоих деньги; десять экземпляров журналистам послано...

Опять неудача, пощечина судьбы в самое чувствительное место сердца, в карман, в разбереженную рану. Нет, и не Дмитрию Ивановичу этого бы не вынести!

— Нужно, сударь, денег. Переводчик просит, типография не выпускает последнего листа, бумаги нет, директор отказывается, разносчики ушли.

— Хорошо, я уже пришлю. — Дмитрий Иванович взял шляпу и вышел... Он был почти в помешательстве. Чувства его оступели. Только память сохранила последние слова конторщика, и он бессознательно побрел к банкиру, чтоб взять денег. Подходит к его квартире, звонит, — выходит неизвестный лакей и отвечает, что банкир давно съехал... Он к дворнику: тот объявил, что банкир восемь дней назад укатил за границу.

Заедин опрометью бросился в контору пароходства... оказалось, что дворник прав. До газет ли было Дмитрию Ивановичу, когда он утопал в любви, был женихом и готовился быть мужем, а между тем в этих газетах было объявлено об отъезде банкира несколько раз. О, любовь! Как ты вредишь человечеству!

Дмитрий Иванович бегал, справлялся, не оставил ли где банкир его суммы, не перевел ли на кого... увы! нет!

Страшно сжалось сердце Дмитрия Ивановича; он понял все, понял, к чему судьба вела его, охватил в одну минуту все прошедшее, все будущее, и в уме его нарисовалась страшная, бесконечная таблица в две графы: в одной были вписаны по номерам в последовательном порядке все его предприятия, в другой аршинными буквами поперек написано роковое слово: *неудача*, — длинное, как Невский проспект. И все, что он доселе думал, что видел, на что надеялся — слилось для него в это слово, в эти роковые звуки, которые раздирали слух его, как музыка Роберта Дьявола, перемешанная с нестройным хором настоящего ада. Буквы этого слова скакали перед ним, плясали качучу, делали ему гримасы. О, как страшно они его дразнили, неумолимые, бессовестные! Он убит, уничтожен. Он гордо смотрит, оттого что безумен, бодро идет, оттого что не знает, куда идет; но загляните ему в душу, спросите его о здоровьи ее... Что он думает даже?

— Жизнь, жизнь! За что ты так обманула меня! Жизнь — на что ты дана мне? Что ты дала мне? Когда, скажи, приласкала ты меня, отогрела у сердца? Когда ты послала мне улыбку неба без того, чтоб не помрачить ее горем? Детство мое было несчастно. В гимназии я пробыл шесть лет — и вышел ни с чем; в университет гото-

вился два — и напрасно! В армии служил пять — и свихнулся! В палате пробыл два. Любил и испытал разочарование! Издал стихи, плоды вдохновения, порывы к небу, — и меня столкнули в грязь! Женился... ха, ха, ха! и потерял веру в самое святое, благородное чувство! Нашел друга — и друг ограбил меня! О, как горько ты посмеялась надо мной.

Вот что думал вслух Дмитрий Иванович, в беспамятстве бегая по улицам Петербурга. Душа его, постоянно расцелагаемая обстоятельствами к сомнению и отчаянию, наконец, вполне покорилась им. Это был уже не тот Дмитрий Иванович, который, бывало, после какой-нибудь неудачи гордо поднимал голову и говорил: «не вечно же так будет!» Нет, он теперь уверился, что иначе быть не может, что ему вечно суждено испытывать неудачи и разочарования. Он чувствовал на челе своем горячее клеймо позора, пустоту в кармане, во взорах людей презрение, в руках судьбы чашу, наполненную несчастьями, которые все приходились на его долю... и он решился... На что?

Бегая по улицам, он, наконец, остановился, оглядываясь — и дикой радостью засверкали глаза его: он был на Исакиевском мосту. Нева в вечернем тумане весело плескала своими волнами, лоно ее было тихо и величаво. Как завидно ее спокойствие! Как сладострастно-приманичивы ее волны!

— Прощай, жизнь, с своими глупыми шутками! обманывай других, расставляй другим свои сети... а я... прощай, будь здорова!

И Дмитрий Иванович бросился с Исакиевского моста в Неву. Он глотал воду полным ртом, утопал в блаженстве особенного рода, понятном только несчастливцам, которым в жизни взять уже нечего; вдруг он почувствовал, что его кто-то схватил за волосы. «А! это, видно, какая-нибудь большая рыба. Тем лучше... Приятней попасть на зубы рыбе, чем быть слугою этой коварной индейки, судьбы!» Думая это, Дмитрий Иванович приготовился целиком вскочить в желудок воображаемой рыбы. Но он ошибся: чья-то сильная рука вытащила его вверх и плыла с ним к берегу.

— Опять неудача! — закричал Дмитрий Иванович, задыхаясь от злости и почти со слезами, когда какой-то незнакомец вытащил его на берег. Незнакомец сейчас

скрылся, а к Заедину подошел будочник с толпою народа. Видя порядочную одежду его, он не посмел пригласить его в полицию, а сказал только: «вот как опасно неосторожно ходить по мосту!»

Злость душила поэта. Он крокодилствовал сам против себя. Женатая физиономия его изумительно оживилась; он побежал опять. Везде свет, шум экипажей, бесчувственная толпа, и все так богато, так чинно — досадно смотреть! Никому нет и дела до того, что Дмитрию Ивановичу душно на свете, что судьба даже в смерти отказала ему! Бог знает, с каким намерением прибежал он домой, пробежал мимо лакея, которого не мог разбудить шум его мокрого платья, и прямо вошел в свой кабинет. Он схватил со стены пистолет, всыпал пороху и, вероятно намереваясь застрелиться по новооткрытому способу, вставил дуло его в рот и спустил курок...

Пистолет три раза осекся. В соседней комнате послышался шум. Рассудок на минуту возвратился к Дмитрию Ивановичу: он понял, как удивился бы тот, кто бы увидел его одежду, испугался сам своего положения; притом во всю жизнь он любил аккуратность. Итак, он с отчаянием спрятал пистолет, запер дверь и начал переодеваться. В кабинете, кроме парадного костюма, ничего не было, и он оделся франтовски... Когда вдали шаги смолкли, поэт опять схватился за пистолет. Он опять осекся!

— Опять неудача! Что ж это! Где я найду смерть? Душно, душно! — и Дмитрий Иванович опять выбежал на улицу, бегал, бегал, думал... Все так велико, так торжественно... Только жизнь нехороша, глупа, опротивела. А другим она так нравится. Есть разные чины и отличия, есть горы, в которых золото, моря, в которых перлы, женщины, через которых можно сделаться сиятельным; есть люди, которые всем пользуются, люди, которые точат горы, пишут ябеды, режут врагов, любят для протекции, вырывают клады, берут взятки... Да, им все удается, им все с рук сходит, пусть же они живут, хлопчут, обирают друг друга... пусть их режут и режутся, получают чины и отличия, издают стихотворения... пусть их живут себе... а кому ничто не удается, кто всем обманут, над кем смеется судьба... ему нужна смерть, ему нечего жить, нечего небо коптить. Правда, Дмитрий Иванович, правда. Но успокой свои мысли, приведи их в порядок, —

ты так растерялся... грешно искать смерти. Ты спохватился, что грешно умирать в мокром платии, а не догадаться, что грешней умирать в дурном, бессознательном расположении духа.

Не прежде, как обегав все закоулки Петербурга, успокоился Дмитрий Иванович, но попрежнему не переставал желать смерти. Однакож он перестал искать ее. Уверенность, что ничто в жизни не удастся ему, остановила его покушения. Он решился жить, потому что видел невозможность умереть. Теперь он надеялся, что жизнь его будет сноснее, потому что, зная наперед результат своих действий, он уже не мог подвергнуться этим нечаянным ударам судьбы, которые так губительно действуют на человека. Решимость его была разумна и глубоко обдуманна, он принял ее, взвесив все обстоятельства своей жизни, важные и мелкие, которые ясно говорили: ничто тебе не удастся, а потому лучше не предпринимай ничего.

Было около одиннадцати часов; Дмитрий Иванович шел по Литейной; внимание его обратил дом, второй этаж которого был освещен великолепно. Он вздохнул и задумался. То был дом его школьного товарища Зрелова, того самого, у которого он в первый раз встретил банкира. Зрелов некогда был беднее его, ходил в оборванном вицмундире, кланялся в пояс понытчикам; вдруг счастье приласкало его, отличило в толпе, причесало, умыло и вывело в люди. Он теперь статский советник, имеет Анну на шее, занимает выгодное место, купил дом и женился на купчихе с миллионом приданого. И вот он живет себе припеваючи и не думает бросаться в Неву, не приставляет пистолета ко лбу... а ты все такой же бесчинный бедняк, Дмитрий Иванович, тебе никто не поклонится. Однакож Зрелов добр и любит старых товарищей; зайди к нему... у него бал... отведи душу роскошью бала, мелодией музыки. Там ничто не напомнит тебе твоего положения: там радость, там улыбка весны, аромат неба, очарование рая магометова. Войди... вмешайся в резвую толпу женщин... ударься в вальс; ты можешь с помощью хромой ноги свихнуть в нем голову, которой тебе так носить не хочется, можешь вывихнуть из души хоть на минуту думу о страшном завтра... Войди... там еще не знают, что ты вытерпел бурю...

Дмитрий Иванович вошел. Зрелов принял его с радущием. Бал был великолепен и разнообразен. Купцы, по

обыкновенно, занимали в нем главную роль, но было много птиц и высшего полета. Во всем замечалась необыкновенная роскошь и *особенный* вкус. В двух комнатах танцевали; в третьей играли в вист; в четвертой, на огромном столе, любители, большею частью купцы и богатые чиновники, в числе которых был и сам хозяин, играли в ланскнехт. Груды золота лежали на столе и переходили от одного к другому. Дмитрий Иванович раскланялся, поговорил с знакомыми дамами и хозяйкой и подошел к большому столу.

— Не хочешь ли присоединиться к нам? — сказал хозяин.

— Помилуй, разве ты не знаешь моего счастья? — отвечал Дмитрий Иванович.

— И, полно, вечно на счастье жалуешься; боишься проиграть.

— Не боюсь, а уверен.

— Поставь хоть карточку, братец; что за упрямство!

— Не хочу даром отдавать.

— Э, какой чудной! Ведь не много требуют; ну поставь что-нибудь... ну, дай хоть пятьдесят рублей...

— Ах, братец, да если б тебе сказали: брось пятьдесят рублей в реку! бросил ли бы ты?

— Нет, разумеется. Да не об этом дело. Мне хочется, чтоб ты поставил. Ну, дай что-нибудь... хоть двадцать пять... я за тебя промечу на твое счастье.

Дмитрий Иванович сусмешкой подал Зрелову 25 рублей.

— Я наперед знаю, что с ними будет, хочется только тебя потешить, — сказал он и пошел в соседнюю комнату к дамам.

— Что вы сделали в карты? — спросила одна.

— Проиграл. Отдал двадцать пять рублей. Со мной всегда так. Я во всем проигрываю, оттого и привык. И он пустился жаловаться на судьбу, довольный случаем вылить из души хоть часть желчи, накопившейся в продолжение дня.

— Дмитрий Иванович, у тебя уж шесть тысяч: забастовать или продолжать? Лучше продолжать советую, — тебе везет! — закричал через несколько минут хозяин.

— И, полно, братец, что тебе шутить вздумалось! Я уж знаю, в чем другом, а тут меня не обманешь, — отвечал Дмитрий Иванович и продолжал разговор с дамой.

— Не написали ли вы чего новенького?—спросила она.

— Нет, почти ничего целого. Да в наше время совсем писать нельзя, особенно стихами. Критики ставят их ниже всех других родов литературы. Пристрастие, личности, страх за себя, зависть, мелочные интриги врагов руководят их суждениями, а публика смотрит их глазами. Что же после того остается делать человеку, не имеющему и не желающему иметь с ними связей?

— Вы так хорошо владеете пером; что вам смотреть на них!

— Конечно, их бояться не стоит. Но не стоит также и давать пищу их мелкой злости... их...

— Дмитрий Иванович, у тебя уж пятнадцать тысяч; идет дальше? — закричал из соседней комнаты хозяин.

— Полно шутить, делай свое и не мешай мне.

— Да я не шучу, братец, право, не шучу!

— Не шутишь? Вот еще! В чем другом, а в этом меня не обманешь... Не стоит давать пищу их пристрастью, — продолжал он, обращаясь к даме; — а начни писать наперекор им, продолжай издавать книги — они замучат бранью, насмешками и совершенно уничтожат человека в нравственном отношении...

— Дмитрий Иванович, — сказал хозяин, подходя к нему, — у тебя уж двадцать пять тысяч... советую тебе не идти дальше: счастье может перемениться... возьми, вот деньги... пригодятся... куш хоть куда... Счастье удивительное!.. У нас еще никогда не было такой большой игры... тут из любопытства мой тесть с Кадушкиным держали все, — продолжал он, обращаясь к дамам. — Что ж ты не берешь, Дмитрий Иванович?

Он посмотрел на Дмитрия Ивановича, и деньги выпали из его рук. В глазах поэта изображалось чрезвычайное изумление и какой-то беспредельный испуг; лицо было бледно и безжизненно. Он пошатнулся назад, потом вперед — и упал.

Хозяин кинулся к нему, растегнул ему жилет, взял его за руку, приложил руку к губам... ничто не обличало и признака жизни. Послали за доктором... терли виски спиртом... делали то, другое... ничто не помогло... Дмитрий Иванович был мертв.

— Удар, удар! — закричали гости. — Какой странный случай!

РОСТОВЩИК

Рассказ

I

Было около семи часов утра. Петербург просыпался. По одной из улиц Васильевского острова скорыми, неровными шагами шла молодая женщина. Боязливые взгляды ее и желание скрыть в меховой воротник салопя лица показывали, что она не привыкла к таким ранним прогулкам и что только необходимость заставила ее выйти в такое время. Черты лица ее выражали страшное волнение; одежда была в беспорядке, волосы беспрестанно выбивались из-под шляпки и играли с ветром, что придавало ей какой-то странный и вместе привлекательный вид. Несмотря на беспокойство и тревогу душевную, проглядывавшие из каждой черты незнакомки, нельзя было не обратить внимания на красоту ее... Пройдя несколько улиц, она, наконец, вошла в ворота огромного пятиэтажного дома и быстро взбежала по крутой лестнице на самый верх.

— Боже! подкрепи меня, помоги мне! — прошептала она, и дрожащей рукой прикоснулась к колокольчику.

— Ах, кого я вижу! Я никак не думал... так рано... — сказал седенький старичок, отворяя дверь и низко кланяясь.

Из довольно неприятной прихожей, которая, повидимому, служила и кухней, незнакомка вошла за хозяином в другую комнату, в которой с первого взгляда поражала необычайная бедность. Треть комнаты была отгорожена плохими ширмами, склеенными из прошлогодних номеров газет, за которыми была постель хозяина. По стенам стояло несколько стульев, кожаные подушки которых были во многих местах прорваны, на стене висели

закопченные часы с железными гирями. На единственном столике первое место занимали счеты, далее книга о переложении ассигнаций на серебро и две копеечные сигары. На одном из стульев лежало парадное одеяние хозяина, прикрытое шинелью горохового цвета, с множеством маленьких воротничков.

Войдя в свою приемную, седенький человечек снова раскланялся. Он был в худом халате и медных очках; лицо его было желто и морщинисто, в глазах решительно не было никакого выражения, нижняя губа качалась, как старая ставня, полусорванная ветром с крючков. Что-то низкое, что-то невыразимо отвратительное было в его лице, так что, взглянув на него однажды, трудно, кажется, решиться взглянуть в другой раз. На ногах старика были старые медвежьи галоши, на которые падала верхняя часть грязных носков и которые застучали каким-то странным образом, когда он подошел к незнакомке.

— Какому счастливому случаю обязан я вашим посещением? — сказал он, стараясь улыбнуться как можно приятнее.

— Ах, г. Корчинский! не счастливому, а несчастному... Мужу моему все хуже и хуже... Дела наши в расстройстве... работы нет... да и работники ушли... Мы напрасно содержим такую большую квартиру...

— Перемените.

— Денег у нас нет. Мне не хотелось бы, чтоб больной муж догадался о нашем горестном положении... Помощи просить не у кого... На вас я могла надеяться, вы прежде так много для нас делали. Но вы что-то охладели к нам, как муж захворал...

— Но позвольте вам заметить, прекрасная Амалия, что я и теперь для вас много, очень много делаю. Конечно, я прежде давал вам деньги по векселю, потом даже без векселя, но потом, прошу не прогневаться... хоть мы и короткие знакомые, а когда я увидел, что дела ваши в расстройстве, я счел нужным не давать вам денег иначе, как под верный залог. У меня такое правило, да и для вас лучше.

— Я переносила к вам во время болезни мужа все вещи, какие только были лишние...

— И, верно, помните, что я за всякую давал вам деньги?

— Но теперь, наконец, мне нечего дать вам под заклад...

— Очень жаль.

— И я пришла попросить у вас несколько денег на честное слово...

— Не могу-с.

— Муж мой при смерти; ему нужны скорые пособия; дети плачут и просят хлеба, а у нас нет его... Боже мой! Что если их вопли дойдут до слуха моего бедного Франца... о, это убьет его!

— Ничего-с. Не убьет.

— Дайте же, ради бога, мне хоть немного денег, чтоб я могла купить лекарства мужу и накормить детей... Ваше не пропадет: вещи, которые я у вас заложила, стоят гораздо больше.

— Но они и без того принадлежат мне. Осмелюсь напомнить вам, сударыня, что срок выкупа давно прошел...

— Итак, вы решительно отказываете?

— Как можно! Принесите заклад — и возьмите сколько угодно...

— Можно ли поступать так безжалостно! А мы еще считали вас своим благодетелем.

— Гм! благодетелем! Да разве я дурак какой... последний, кровный грош отдавать. Я сам бедный человек, сударыня... чуть с голоду не умираю... Ох, деньги, деньги! Кто их выдумал? Если б бог сжалился над моим нищенским положением да послал мне наследство... А то откуда мне взять? Того и гляди с квартиры сгонят, а вы еще денег просите, сударыня, да без залога... Я теперь сам в бедственном положении, и, извините меня, сударыня, осмелюсь вам напомнить, что срок векселя, тово... прошел... а мне ждать нельзя.

Телодвижения и выражение лица Корчинского, во время этого монолога, были в высшей степени занимательны. Он то вздыхал, то взглядывал на небо, то потирал руки и улыбался; наконец, произнося последние слова, он с каким-то торжественным смирением, из которого проглядывала тайная злость, взглянул на переплетчицу.

— Денег я вам не дам; мало того, я сделаю с вами то, чего вы не ожидаете... векселя срок кончился... понимаете?

Последние слова его сильно поразили бедную женщину, и она воскликнула с изумлением: — Что это значит, г. Корчинский?.. По крайней мере, этого я не могла ожидать от вас. За что же вы вдруг сделались из нашего друга злейшим врагом нашим?

— Пора вам все объяснить, сударыня. Я никогда не был вашим другом; я не такой дурак, чтоб рисковать деньгами для дружбы... я всегда желал вам зла, я даже старался и... успел сделать вам зло.

— За что же, за что?

— А вот за что. Помните ли вы тот вечер, когда в первый раз я зашел в ваш дом и сделал вам предложение...

— Но вы сами после сказали, что это была шутка.

— Нет, то была не шутка. Я вас любил, очень любил, сударыня. Я вам скажу, я тогда ночей не спал... хлеба в экономии по фунту в день оставалось, а однажды... о, этого я никогда вам не прощу, сударыня... я обчелся в процентах... может быть, я бы теперь не принужден был один хлеб есть...

— Полноте, у вас много денег.

— Много денег? Кто вам это сказал? — воскликнул Корчинский, изменившись в лице. — Много денег! Господи боже мой! Вот живи, мучься, трудись, а другие еще говорят, что ты богатый человек... Богатый! Да кабы я был богатый человек, сударыня, я бы нанял себе квартиру в четвертом этаже... я бы взял служанку, а не стал бы сам ходить в лавочку за корюшкой... она бы мне принесла... Богатый! Кто вам это сказал? Скажите тому, что он лжет, выдумывает! Кабы я был богат, может быть, и вы бы не отказали, сударыня...

— Ошибаетесь...

— А то вы, сказать просто, переплетчица, больше ничего... а что вы со мной сделали?

— Но вы тогда всё простили и сделались нашим другом...

— Нет, я не простил; я только спрятал мою обиду, как залог мести, для того, чтобы после получить с процентами! Меня обидеть — не кого другого; пришло время теперь... и я, во-первых, начну с того, что подам ко взъисканию вексель, имущество ваше продадут в мою пользу с аукциона, а вашего мужа засадят в тюрьму... уж я по-стараюсь.

— Боже мой! какую змею грели мы у сердца! Жестокый, бесчеловечный злодей!

— Не бранитесь, сударыня, я еще вам понадоблюсь...

— О, что мне делать? Как я покажусь домой... Какое ужасное положение!..

— Не отчаивайтесь, сударыня, все может поправиться... Согласитесь только... вы знаете, я еще люблю вас; я разорву вексель, возвращу вещи, дам денег, последнее имущество продам...

— Никогда, никогда! — воскликнула женщина и побежала к двери.

— Ждите, я скоро буду! скоро придут описывать ваше имение, а муженька поведут в тюрьму... радуйтесь там на него! — говорил старик вслед уходящей женщине. — «Какой глухой народ! — думал он про себя, — я и так для нее делаю то, чего бы ни для кого не сделал... Шутка ли разорвать вексель в тысячу рублей, отдать вещи... дать денег... и она смеет упрячиться!..» Тут снова послышался звонок. Вошел человек со свертком подмышкой.

— Что вам угодно?

— Вы изволите давать деньги под ручные залогов?

— Ох, времена нынче круты. Все дорого, денег ни у кого нет. Ох, куда их доставать трудно!

— Потрудитесь сказать, сколько вы можете дать под залог этих вещей?

Корчинский стал рассматривать вещи, подносил их к свету, взвешивал на руке, осматривал со всех сторон и мысленно делал им оценку.

— Вещи стоят не более трехсот рублей... Сто рублей можно дать. Вам на сколько времени?

— На три месяца.

— На три... по двадцати процентов в месяц... со ста — шестьдесят рублей... проценты вперед, а сорок рублей чистыми деньгами получите. Угодно?

— Помилуйте, как можно!

— Ну так прибавьте еще что-нибудь, если вам больше денег требуется. За деньгами дело не станет; я сейчас добуду, а вы мне дадите записочку, что если в продолжение срока вещей не выкупите, то они делаются моею собственностью. Понимаете?

И у них начался продолжительный разговор. Послы-

шался снова звонок, вошел другой посетитель за такой же нуждой, потом третий, и в несколько минут комната наполнилась посетителями. Корчинский давал деньги, принимал заклады и был совершенно в своей сфере. Пока он занят такими важными делами, я расскажу вам, что он за человек.

В молодости он служил в статской службе и дошел силою своего гения до чина титулярного советника. Дальше он не ходил и вышел в отставку, потому что не был честолюбив. Силы души его сосредоточивались на другой точке, на стремлении к благоприобретению. Весь свой век он кланялся и пресмыкался перед этим обманчивым кумиром, который люди, неизвестно почему, называют *золотом*. Рано понял он цену денег и то, как без них плохо на земле человеку. Зная очень хорошо пословицу, что перед смертью *не наживешься*, он смолоду начал копить денежку всеми возможными средствами. Средства были часто низкие и непозволительные, но Иосифу Казимировичу как-то все удачно с рук сходило. Только однажды он ужасно ошибся в расчете. Чтоб разом разбогатеть, он считал женитьбу самой выгодной спекуляцией. Долго искал он себе невесты, но богатых за него не отдавали. Наконец он вздумал подняться на самую отчаянную штуку. В губернском городе, где он служил, был богатый помещик с хорошенькой племянницей. Приняв в соображение то, что у помещика, кроме племянницы, родственников близких нет и что, следовательно, все его имение должно достаться ей, Корчинский стал тайно ухаживать за племянницей и разыгрывать роль тайного обожателя. План его был такой: «дядя не согласится отдать ее за меня, так его согласишься мне и не нужно: я увезу ее и обвенчаюсь тайно. Дядя посердится, но делать будет нечего, он простит и тогда — я сам себе пан!» Все так и случилось. Корчинский ошибся только в последнем пункте: дядя не пустил к себе и на глаза новобрачных. Корчинский уехал в Петербург от огласки, все еще надеясь на прощение дяди. Тут он беспрестанно заставлял жену писать письма к дяде, но на них не было никакого ответа. Грустно было бедной жене видеть, как много ее муж хлопочет о ее наследстве, но пока положение ее было все еще сносно. Вдруг она получила от управляющего известие, что дядя ее умер, не простив ее, и отказал все имение своим дальним родствен-

никам. Корчинского это известие привело почти в безумие; сначала он плакал, потом, в пылу отчаяния, бросился изливать гнев свой на несчастную жену. С того дня жизнь ее стала мучительною. Не проходило часа, в который бы обманутое корыстолюбие мужа не поражало бедной жертвы. Он попрекал ее каждым куском хлеба; он говорил, что если б не она, он был бы теперь богатым человеком. Наконец он просто стал ее гнать из дому. Мучения бедной женщины час от часу возрастали. Она бы охотно ушла от мужа, но ее связывал сын, которого она любила, как первенца, всею силою души. С христианским смирением решилась она сносить все оскорбления корыстолюбца, но их сносить не было возможности. Неистовство его дошло до последней крайности: он уже не довольствовался упреками и бранью, он не раз заносил свою нечистую руку на бедную страдальцу. Она предложила ему добровольно оставить его дом, если он отдаст ей сына или по крайней мере изредка позволит навещать его. Но злодей отказал и только удвоил мучения, какими терзал бедную жертву... Тогда, полубольная, убитая горем и отчаянием, в одну ночь она взяла на руки бедного малютку и с молитвою на устах тихонько ушла из дому злодея. Ее бегству Корчинский был рад, но ему жаль стало сына, на котором основывал он много надежд в будущем. Однакож он скоро утешился и только изредка с горестью вспоминал о сыне. Страсть к деньгам беспрестанно в нем возрастала, по мере того как уничтожались последние остатки благородства душевного. Скоро душа его совершенно зачерствела; ни одного человеческого чувства не осталось в ней: ее можно было смело назвать прихода-расходной книгой, так ясно, четко и отчетисто хранила она то, что составляло беспрестанную мечту ее хозяина. Корчинский вскоре приобрел известность человека, у которого можно во всякое время достать денег, а где такие люди не нужны? Вот уж тридцать лет пользуется он этою известностию, но доставляет ли она ему выгоду — то один он знает. Бедная жизнь его, беспрестанные жалобы на нищету, жадность, с которой он смотрит на золото, — все это располагает более к мысли, что он несчастлив на своем поприще, которое проходит со славою. Что касается до внутренней его жизни, то тут встречается та же картина. Темно, черно, холодно. Душа закалилась, замерзла, за-

черствела, ничем невозможно было разбудить ее. Она спала себе, сердечная, сном мертвых... Страсти тоже спали, но, наконец, случилось что-то похожее на их пробуждение. Не с большим за год до начала нашего рассказа случайно встретил он переплетчицу Амалию Гинде, которую мы видели в первой сцене, и любовь, которой он не чувствовал ни к чему, кроме золота, вдруг ущипнула сердце почтенного старца. Он, может быть, в первый раз в жизни решился чем-нибудь пожертвовать для своей прихоти и с самоуверенностью богатого человека, избрав благоприятное время, отправился к Амалии. Каково было его удивление, какова была его злость, когда, вместо ответа на его учтивые и откровенные предложения, он увидел, что переплетчица замахнулась и готова была дать ему пощечину. Первым делом его было отвести удар, вторым — обратить все в шутку. Душа у него, несмотря на ее ничтожность, была мстительная и злая в высшей степени, кроме того, ему не хотелось отказаться от мысли когда-нибудь владеть переплетчицей, и потому он сейчас составил план, которым надеялся всего достигнуть. Он свел знакомство с ее мужем, был к нему и к его семейству чрезвычайно ласков и заставил их совершенно себе довериться. Франц жил бедно; рабочая его была очень мала и в отдаленной части города, отчего работы было мало. Корчинский, под видом истинного участия, предложил ему тысячу рублей на год без процентов, для того, чтоб он мог хорошенько устроить свои дела. Переплетчик принял деньги с благодарностию, нанял обширную мастерскую, набрал учеников и работников, но дела его шли попрежнему плохо, работы почти не прибавилось; ростовщик втайне этому радовался. К концу года Франц довольно опасно захворал, и тогда положение дел его становилось час от часу затруднительней. Мастерские разошлись за недостатком работы, Францу все было хуже и хуже. Амалия, которая всей душой любила мужа, старалась предупреждать все его желания, скрывала от него их возрастающую бедность. Ночи не спала она за работой, чтобы прокормить себя, мужа и двух детей. Сначала Корчинский помогал ей деньгами, без всякого обеспечения. Потом, руководствуясь первоначальным тайным планом, стал требовать залога. Он хотел довести бедное семейство до крайней степени нищеты и тогда уже начать

действовать. Он успел в этом; мы видели, как он обошелся в последний раз с несчастной Амалней и каково ее положение.

Окончив дела с посетителями, Корчинский надел фрак, положил в карман какие-то бумаги, взял трость и шляпу и вышел на улицу. «Надо предъявить вексель переплетчика, — думал он про себя, — пора всё кончить чем-нибудь; если она не... так, по крайней мере, я получу обратно деньги, пока она не распродала еще всего своего заведения».

II

Спустя два дня после сцены, описанной в начале рассказа, Амалия с глазами красными от слез и притворно веселой улыбкой сидела у постели своего мужа. Франц был бледен как полотно и худ как скелет. По временам он бросал на жену дикие взгляды, выражающие болезненное состояние тела и расстройство сил души.

— Что же так редко ездит доктор, вот уж пять дней он не был. Ты бы послала ему денег, Амалия.

— Послала, мой друг, уже будет.

— Ах, боже мой! как мне вдруг душно сделалось; расстегни воротник, Амалия.

— Он расстегнут, мой друг...

— Ах, это медальон меня давит, он как-то неловко лежит.

— Да ты бы снял его покуда; он довольно велик; тебе неловко...

— Нет, не сниму; он дорог моему сердцу, пусть же всегда хранится у сердца. — Франц дрожащей рукой взял бывший у него на груди золотой медальон, поднес его к губам и снова положил на грудь...

— Что это дети там плачут, ты бы купила им чего полакомиться, — продолжал он, прислушиваясь к шуму в соседней комнате.

— Ах, как меня вдруг сдавило; душно, душно... пошли за лекарем, Амалия.

— Сейчас, мой друг. — Амалия отвернулась и отерла слезы. Тут муж, больной, умирающий, которому нечем помочь, который живет еще только потому, что не знает всей глубины своего несчастья, там дети, которые ждут

хлеба... Кроме того, ужасные слова Корчинского: «ждите, я скоро буду!» не выходят из головы ее...

— Мама, мама! что ж ты обещала мне беленького хлебца... я очень есть хочу, — сказала маленькая девочка, вбегая в комнату...

— Тише, тише, — отвечала мать, — пойдем, я дам.— Она взглянула на мужа, который несколько забылся, и вышла.

— Погоди, душенька, ради бога; скоро будет, погоди, милочка...

— Ах, мама, да долго ли ждать?

Тут вошел мальчик немного постарше с той же просьбой...

— Я пойду к папе просить хлеба, ты, мама, нынче такая скупая, — сказал он.

— И я с тобой.

— Не ходите, молчать! Если вы это сделаете, я вас за книгу на целый день... я вам еще два дни ничего не дам!— быстро произнесла несчастная мать в испуге...

— Маменька, милочка, ведь нам еще сегодня ничего есть не давали, а мы хорошо знаем уроки, хоть сейчас спросите, — говорили дети со слезами. Амалия горько зарыдала.

— Побудьте здесь, дети, сидите смирно и не шалите, я зато дам вам уже обедать, — сказала Амалия и пошла к мужу.

Она удивилась спокойному выражению его лица. Казалось, сон, которым он теперь наслаждался, укрепляет его. Амалия вздохнула свободнее и мысленно просила бога сжалиться над их положением. Прошло около часа. Больной спал. Амалия задумчиво смотрела на его лицо и тихо плакала.

— Мама, мама! к нам пришли какие-то двое, такие сердитые, спрашивают папу, — сказал вбежавший мальчик.

Амалия изменилась в лице. С отчаянием взглянула она на спящего мужа и вышла.

Люди, о которых говорил мальчик, были исполнители закона. Они объявили, что так как переплетчик Гинде не платит по векселю долга, то им поручено описать и запечатать все имущество, которое назначено к продаже с публичного торга.

— Делайте, что хотите, — сказала Амалия, — только,

ради бога, не слишком шумите и не говорите ничего моему мужу: он при смерти... Вот вам ключи от всего; вот ход в мастерскую, там все инструменты.

Исполнители закона принялись за дело.

Вскоре пришел и Корчинский.

— Что, каково? не говорил я, что это будет, а? — сказал он с злобной усмешкой, громким голосом.

— Ради бога, не кричите; муж мой заснул... Он не спал больше недели...

— Ничего, ничего, что он за неженка... Что, господа, много вещей оказывается?

— Немного.

— Тем лучше. Дольше ему не выйти из-под моей опеки... я буду платить кормовые деньги. И вы, сударыня, если хотите, последуйте за своим мужем, я и за вас, так и быть, заплачу... Вы же его так любите... что же, не мешает, последуйте.

— Куда?

— В тюрьму, сударыня. Я бедный человек, но для вас последней копейки не пожалею.

— Ужасный человек! Вы поступили низко, вы выбрали ужасное время для своей мести...

— Что ж, господа, вы остановились?

— Опись кончена.

— Эге! что вы, господа? кончена!.. Были ли вы в той комнате? — сказал старик, показывая на спальню Франца.

— Нет.

— Клянусь богом, — сказала Амалия в сильном волнении, — там ничего нет, кроме необходимых вещей больного, которых вы не имеете права отнимать.

— Господа, я требую, чтоб спальня была осмотрена; иначе я не признаю верною описи.

— Ради бога, не ходите туда. Вы разбудите Франца, вы убьете его: он ничего не ожидает, он и не подозревает, что мы в таком ужасном положении...

— Тем лучше, тем лучше... Он услышит приятную нечаянность. — Старик дьявольски весело произнес эти слова, так что Амалия лишилась последнего присутствия духа.

— Господа, исполняйте свою должность.

Исполнители сделали несколько шагов вперед.

— Жестокий человек... сжался! Что ты делаешь? Ты хочешь убить его...

— Что его убивать, когда он и так на ладан дышит...

— Но ему стало лучше. Он заснул... О, сжался, ради бога.

И Амалия готова была упасть на колена перед подлым стариком, который потирал руки от удовольствия.

— Что ж вы, господа, остановились? — сказал он. Исполнители сделали еще несколько шагов. Амалия в отчаянии ломала руки и умоляла старика.

— Ха, ха, ха! вот забавно! Как будто я по своему распоряжению. Заплатите по векселю... не заставляйте бедного человека потерять его достояния. Что я за богач такой, чтоб дарить по тысяче... И за что, смею спросить? Разве за то... помните, г-жа переплетчица? Тогда вы и смотреть не хотели, куда как расходилась в вас добродетель... А теперь, ну, теперь моя очередь... Не вечно коту масляница... Ха! ха! ха! Право, очень приятно получать свое с процентами.

— Сжался! — повторила Амалия...

— Право, уж теперь почти поздно, сударыня, однакож, так и быть, в последний раз... Послушайте. Муж ваш не сегодня, завтра умрет, теперь, видите, дело другое... послушайте...

Он отвел Амалию в сторону и шопотом сказал ей несколько слов.

— Никогда, никогда! — воскликнула Амалия, с ужасом отскакивая от старика. Глаза ее пылали гневом и презрением.

— Господа, исполняйте же свою должность! — сказал с досадой старик и пошел вперед исполнителей к спальне Франца.

— Я не пущу вас! — воскликнула Амалия отчаянно и стала неподвижно у дверей спальни.

— Вот еще какие штуки! Предписание налицо: за неплатеж по векселю описать и опечатать все вещи, находящиеся у переплетного мастера Гинде... Пустите, сударыня.

— Господа, вы не должны его слушать, он зол на нас. Придите в другой раз. Теперь вы можете нарушить сон больного, можете повредить его исцелению.

— Ха, ха! Какая важная причина откладывать формальные предписания! Ха, ха!

— Амалия, что там за шум? Поди сюда, Амалия! — послышался слабый голос из спальни.

— Ради бога, замолчите! — сказала Амалия и пошла к мужу.

— Что же так долго нет доктора? Вот мне теперь легче. Может быть, с его помощью я скоро бы оправился...

— Скоро будет, мой друг.

Тут показалась в дверях седая голова ростовщика и за ним вошли исполнители. Крайний ужас и гнев обезобразил лицо Амалии. Она не знала, что делать; то она готова была броситься и растерзать их, то хотела упасть перед ними на колена...

— Здравствуйте, Иосиф Казимирович! Вы в первый раз посетили меня больного; благодарю вас.

— Посетил, и надеюсь, посещение мое доставит вам крайнее удовольствие.

— Я всегда думал так, потому что считал вас моим другом...

— Дудки, г. *переплетчик*! с чего вы взяли, что я ваш друг... Вы думаете, что я пришел кинуть у вашей постели и охать вместе с вами; нет, я бедный человек, мне некогда заниматься таким пустодействием. Я пришел за делом, г. *переплетчик*...

— Что значит такая перемена, Иосиф Казимирович?

— Ничего, так, спросите вашу жену. Знаете ли вы...

Амалия умоляющим взором взглянула на старика.

— Знаете ли вы, почтенный, — хладнокровно продолжал старик, — что я пришел присутствовать при описи вашего имения...

— Как так? — спросил больной с сильным беспокойством.

— Готовьтесь в тюрьму, г. Гинде, — продолжал ростовщик тем же убийственным тоном, насмешливо поглядывая на Амалию.

— Что вы говорите?

— Я представил ваш вексель ко взысканию.

— Но разве вы забыли, что обещали отсрочить...

— То на словах, а не на бумаге. Мне только того и нужно было, чтоб заставить вас платить, когда у вас денег

нет... Ведь *нет*, любезная Амалия? — прибавил старик насмешливо.

— Но я надеюсь, что я еще в состоянии собрать такую сумму, если вы не шутите...

— Я шучу! Собрать сумму в тысячу рублей! Так вы богатый человек, г. переплетчик!.. отчего же ваши дети умирают с голоду, а вы, прекрасная Амалия, с позволения сказать, до света бегаετε к бедным людям за деньгами... О, да вы притворщица, сударыня!

И старик опять навел на нее свой злобно-насмешливый взгляд. Амалия отвернулась: в эту минуту старик показался ей гнусен до отвращения...

— Амалия! правду ли он говорит? Дети мне говорили, что они по дню голодают, что ты ночи просиживаешь за работой... Правда ли? говори! — сказал Франц слабым, дрожащим голосом...

— Нет, мой друг, будь спокоен, — сказала Амалия, стараясь придать своему голосу как можно более твердости.

— Не верьте. Послушайте меня, я лучше вас знаю, что делается у вас в доме. Я вам все расскажу; а вы, господа, — прибавил старик, обращаясь к исполнителям, — занимайтесь своим делом. Слушайте.

Старик с мучительными подробностями, с отвратительной откровенностью начал рассказывать, как его взбесила глупая добродетель Амалии, как он обманул Франца ложной доверенностью; как его жена унижалась перед ним, выпрашивая денег, как он все открыл ей и как теперь он, наконец, поставил Франца в такое положение, что кроме петли или тюрьмы ему не на что надеяться, а его семейству нужно или умереть с голоду, или итти по-миру. Корчинский говорил по обыкновению своим насмешливым тоном: ему весело было мучить Амалию, которая слушала в каком-то бесчувственном положении и только иногда с отчаянием взглядывала на мужа. Франц по мере рассказа старика становился мрачнее. Ужасную пытку переносила душа его. Он беспредельно любил Амалию и свое семейство, готов был всем жертвовать для их счастья. И вдруг перед ним самыми черными красками нарисовалась картина страданий, нужд и лишений любимцев сердца его. Страшно возмутила эта картина его большое воображение. Мысль, что он своими требованиями увели-

чивал их бедствия, заставляя отказывать себе во всем для него, ужасала его душу.

Старик, окончив свой рассказ, громко засмеялся и прибавил: — Отец в тюрьму, семейство по-миру, славный карьер! Благодарите вашу жену, г. Гинде...

— Так, так... все правда, — произнес Франц отчаянно, — мучь меня, старик. Нет ли у тебя еще чего? Добей меня одним разом... я стою того. Но за что они страдают? о, Амалия! Я недостойн тебя! Я забыл, что не приготовил ничего, что был бесполезен семейству и отнимал у него последний кусок хлеба, как будто я ему дал его... Да, я достоин всего... ужасно!.. Амалия, поддержи мою голову... мне дурно, душно.

И больной упал на подушки. Лицо его было страшно, голова горела, глаза сверкали диким огнем. С минуту был он безмолвен, потом скороговоркою начал произносить невнятные слова.

— Что вы сделали! Вы убили его! — тихо сказала Амалия.

— Ничего. Рано ли, поздно ли, надо всем умирать...

— Надо умирать! — повторил больной. Лицо старика побледнело: так страшно были сказаны эти слова. Однакож он скоро опомнился.

— Что, господа, совсем?

— Давно кончили, — отвечали исполнители.

— Пора домой, обедать... скоро четыре... Прощайте, г. переплетчик, желаю вам поскорей перейти на новую квартиру.

— В тюрьму, в тюрьму! — вскричал больной, в ужасе подымаясь с постели.

— Успокойся, Франц, ляг, — сказала Амалия.

Час от часу больному становилось хуже.

Амалия молилась жарко, пламенно. Страдания ее были ужасны: она видела постепенно разрушающуюся жизнь мужа и не имела средств помочь ему. Дни и ночи проводила она у постели больного, без сна, без пищи, не откликаясь даже на плач детей, которые умирали от голода. Наступил пятый день после сцены со стариком. Больному сделалось еще хуже. Амалия целый день провела в какой-то борьбе с собою у постели мужа.

Грустны были ее мысли. Может быть, это последний его день, думала она. Может быть, только скорые пособия

могут возвратить его к жизни. Пройдет день и тогда уже — сзови всех врачей, употреби все средства, истрать миллион золота, — всё будет напрасно! — Дорог день, дорог час, дорога минута! — почти вскричала Амалия и с какой-то отчаянной решимостью раскрыла грудь мужа, который был в совершенном беспамятстве... Она отвязала от его шеи золотой медальон... «Боже! прости меня, помоги мне!» — сказала она и быстро выбежала на улицу.

III

Было уже около восьми часов вечера, а у скупого ростовщика в обыкновенной его приемной не было еще огня. Комната была пуста, хотя по лежавшей на столе шляпе и палке можно было заключить, что хозяин дома. Из-за ширмы узким лучом проглядывал свет, но за ширмой огня не было. Послышался звонок. Вдали раздался шум; за ширмою что-то скрипнуло, раздался звук, похожий на звук запираемого замка, и в комнату явилась испуганная фигура Корчинского, со свечой в руке. Он оправился, отпер дверь и впустил Амалию, бледную и едва стоящую на ногах от усталости и душевного волнения. Случайно или неслучайно свеча в руке его пошатнулась и погасла.

— Вот, я принесла вам заклад; ради бога, дайте денег; муж при смерти — я побегу сейчас к доктору... Скорее, г. Корчинский! — сказала переплетчица скороговоркою.

— Не торопитесь, любезная гостья... Муж ваш не умрет, покуда мы с вами... Побеседуем. Ну, что, не говорил ли я, что вы еще придете ко мне?

— Мне некогда, говорю вам, некогда. Скажите, дадите вы денег или нет?..

— Ха, ха! разумеется, дам. Я бедный человек: мне бы нельзя жить было, если б я отказывал... Сколько угодно, если вещь хорошая и мы сойдемся в условиях.

— Говорите же их, говорите!

Старик взял руку Амалии и крепко пожал ее.

— Пора нам помириться, сударыня. — И он снова пожал руку Амалии. Она вырвала ее и отскочила. В глазах старика засверкало пламя.

— Низкий человек! Только отчаяние привело меня к вам. Если б я знала, где скоро достать денег, я бы скорее

согласилась на коленях вымаливать их, чем унижаться перед бездушным злодеем.

— Я не злодей, сударыня, — перебил Корчицкий, обидясь, — я не топлю по ночам людей в проруби, не вытаскиваю платков из кармана, не делаю фальшивых депозитных билетов; я в штрафах и под судом не бывал... Если б тут был свидетель, вы бы дорого заплатились за оскорбление моей личности...

— Я пришла к вам за делом; мне дорога минута... Скажите решительно: дадите ли вы мне денег? Окончим скорее, или я уйду.

И бедная Амалия в мучительной борьбе, ломая руки, пошла к двери. Медленность старика терзала ее душу.

— Пойдите, сударыня. Да, я забыл, на что вам деньги.

— Да боже мой! Разве я не сказала, что мой муж умирает без помощи...

— Признаюсь, после ваших обидных слов, мне бы не хотелось давать вам деньги. Но у меня правило: никому под верный залог не отказывать... Позвольте посмотреть вещицу... что за сокровище такое.

Старик засветил свечу. Амалия дрожащей рукою подала ему медальон...

— Ну, он того... не очень тяжел... однакож, вещь изрядная... можно под нее дать рубликов сто, если золотое настоящее, — сказал ростовщик, взвешивая медальон на руке...

— Посмотрим, — повторил он и поднес медальон к свече... Несколько минут он внимательно рассматривал его и вдруг с изумлением спросил:

— Где взяли вы этот медальон, сударыня?

— У моего мужа.

— Где взял его ваш муж?

— Он его собственность, он его драгоценность, с которой он не расставался во всю жизнь... Вы, вы довели нас до того, что я решилась похитить у него его сокровище; разлучить его на смертном одре с портретами его отца и матери...

Старик снова пристально взглянул на медальон.

— Точно ли вы знаете, что это портреты его родителей? — спросил он.

— О, да. Все знают, что он не сын Гинде... Но, ради

бога, г. Корчинский, скорее: пока мы здесь, он может умереть: я оставила его почти при смерти...

— Пойдем, пойдем! Я все для него сделаю! — отрывисто вскричал ростовщик и побежал к двери... Амалия последовала за ним...

Корчинский был в сильном волнении. На лице его можно было прочесть такие чувства, каких оно, может быть, никогда еще не выражало. Быстро, почти бегом, шел он к квартире переплетчика. Амалия едва успевала за ним следовать...

— Мама, мама! что ж ты оставила папу, он все звал тебя... стонал, а теперь он такой страшный: ничего не говорит, не двигается, даже не дышит, такой бледный, страшный, — в испуге сказал сын Франца, когда Амалия с Корчинским пришла домой...

— Он умер, умер! — произнесла Амалия с ужасом.

— Умер! — повторил Корчинский отчаянно.

Они кинулись в спальню Франца. Франц был мертв. Старик схватил стоявшую на столе свечу, поднес ее к лицу покойника и стал вглядываться в его черты...

— Он, он! — дико вскричал старик...

— Ты — его убийца! — произнесла Амалия и без чувств упала на труп мужа...

Старик взял себя за голову, страшно покачал ею и с буйным, безумным криком выбежал из дома.

IV

Через несколько дней в одном из пятиэтажных домов Васильевского острова в верхнем этаже происходила следующая сцена. Квартальный осматривал вещи и мебель, а писец по его диктовке записывал их. Опись начиналась так: «После скоропостижно случившегося сумасшествия чиновника 9 класса («оставьте место, — заметил тут квартальный, — надо справиться об имени и отчестве рехнувшегося») остались пожитки следующего содержания...» Квартальный, осматривая вещи, беспрестанно приходил в удивление. Он, напр<имер>, распорол подушку ветхого стула, для того, чтоб удостовериться, чем она набита, а оттуда посыпалось золото. Далее, он расшил истасканный тюфяк, по той же причине, и увидел, что в нем

с угла пучками положены были ассигнации. Он толкнул ногой старые медвежьи галоши, — они издали металлический звук; оказалось, что и в них под кожей деньги.

— Что за оказия! — говорил Семен Семенович, — такого удивления на моем веку еще не бывало! Ба! да тут дверь заперта... надо ее осмотреть... рехнувшийся-то все нанимал, — раздался из-за ширмы голос квартального.

— Видно, нежилая комната, — сказал писарь.

— Однако и ее надо обозреть для порядка; сбегайте-ка за слесарем.

Дверь была отперта, и тут представилось еще более пици удивлению Семена Семеновича. У стены стояло огромное зеркало в богатой раме; на одном столе большие бронзовые часы и подле них десятка два карманных. На другом столе в углу до самого потолка были наставлены одна на другую разные вещи. У левой стены рядом стояли шкаф и комод. В шкафе квартальный увидел несколько енотовых, собольих и куньих шуб, лисьих салопов, шинелей с бобровыми воротниками и множество других богатых одежд. В комодe — несколько дюжин ложек столовых и чайных, несколько серебряных сервизов и, наконец, множество колец, цепочек, перстней алмазных и бриллиантовых.

— Оказия за оказией! — сказал квартальный.

— Ведь рехнувшийся-то, говорят, был ростовщик, — сказал писец.

— Та, та, та! Вот что... пишите всё.

Когда все вещи были описаны, квартальный выдвинул ящик и нашел там бумаги...

— Пишите: формуляр, расписки, числом десять... а это что? — сказал квартальный, рассматривая какое-то письмо, — прочтем.

И он стал читать: «Я решилась лучше умереть, чем жить с тобою. Ты, верно, этому рад, но вспомни, что ты рано или поздно должен отвечать за мои муки там, где мы снова увидимся. Прощай! Завтра меня не будет на свете... Сын наш останется на жертву сиротства и нужды, но я лучше решаюсь верить судьбу его неизвестному человеку, чем тебе. Ты никогда об нем не узнаешь ничего: я положила на грудь его медальон с нашими портретами, чтоб он хоть чем-нибудь мог вспомнить свою бедную мать, но

я скрыла происхождение его и даже имя... Повторяю, ты никогда не узнаешь ничего об нем: вот единственная месть, которою я решилась отплатить тебе за все мои мучения...»

— Оять курьез! — произнес квартальный, свертывая письмо. — Не понимаю, ничего не понимаю!

— Что же писать прикажете?

— Ну пишите: письмо, писанное рукою, неизвестно кому принадлежащую... Скорее кончайте...

Скоро опись была кончена; к вещам приложили печать, и квартальный отправился к приятелю перехватить и потолковать о том, каких чудес иногда в их звании видеть ни случается.

КАПИТАН КУК

Глава первая,

о том, как Кук завтракал и какая мысль посетила его перед зеркалом

Отставной армейский капитан Иван Егорович Кук сидел у стола за завтраком. Перед ним стояло несколько тарелок с закуской; посредине возвышался полуштоф с виньеткою, как нельзя более соответствующею его содержанию. Капитан уже хотел проглотить последнюю рюмку водки и встать из-за стола, как вдруг в комнату вошел молодой человек.

— Рекомендуюсь, — сказал он, — ваш покорный слуга, Андрей Чугунов...

— Ну, а отчество? — перебил капитан.

— Петрович, — отвечал молодой человек.

«Сюртук на нем как сюртук, да жилет что-то подозрителен: пуговицы не все; карманы новехоньки, а перед вытерт», — говорил про себя капитан, оглядывая пришедшего.

— Ну, а звание? — наконец спросил он, не зная, предложить незнакомцу стул или нет.

— Представлен к первому чину.

— Садитесь, покорнейше прошу, — произнес капитан. — Вам, конечно, угодно было познакомиться?

— Да-с, у меня есть до вас нужда, и я решился говорить с вами откровенно...

— Благодарю.

— Не стоит благодарности.

— Ну, об чем же вы решились говорить со мной откровенно... серьезное что?

— Вот видите: я хочу жениться...

— Жениться? Так вам хочется знать мое мнение... Оно конечно, я могу вам сказать...

— Я не об том хочу говорить... Вот видите... Вы так уважаемы в нашем городе, об вас известно...

— Так вы хотите, чтоб я был у вас посаженным отцом... Оно конечно; насчет этого я могу вам сказать...

— Вы не так меня поняли... Я хочу сказать, что об вас известно, что вы человек довольно богатый...

— Ну, так вы хотите занять у меня денег... Оно конечно...

— Да-с, вы угадали. Мне нужно на свадьбу, по крайней мере, тысячу рублей, а у меня нет...

— Не беда, что нет... Есть верно, то можно дело поправить...

— То-то нет... Мне нечего продать, нечего заложить; если б на вексель, не более как на четыре месяца...

— Оно конечно, на этот счет я могу вам сказать... Нет, я ничего не могу вам сказать!

— За меня поручится наш секретарь, советник, если угодно...

— Помилуйте, что это? пустяки; разве без поруки нельзя; велика ли сумма... Тот поступил бы слишком бессовестно, кто потребовал бы этого.

Лицо молодого человека осветилось улыбкой надежды. — Вы судите, как прилично благородному человеку; не знаю, чем возблагодарить...

— И, помилуйте! за что? жаль, что у меня теперь денег нет, а то сейчас доказал бы вам, как ничтожна такая сумма и как недостойна она того, чтоб много об ней говорить...

Лицо молодого человека помрачилось, как небо перед грозой.

— Вы... так вы... не хотите мне дать денег?

— Как не хотеть... хочу — да не могу... Обратитесь к Домне Семеновне Абрикосовой...

— Я был у нее: она отказала... впрочем, как я заметил из ее поступков, она не отказала бы, если б... она показывала мне глазами...

— Двери? — перебил Кук, — как невежливо!

— Ну, может быть, и не двери, а...

— Так извините!

Молодой человек раскланялся и ушел, очень опечаленный. Кук задумался. Долго он думал; думы его вертелись около одного неприятного сознания, что ему через неделю стукнет сорок три года. Странно создана голова

человеческая! Поутру Кук был весел, как нельзя более, и вдруг не прошло часа, как лицо его обезобразилось горестью. Отчего? Неужели виною тому этот молодой человек? но какое же отношение имеет его дело до лет храброго капитана? Никакого; не тут должно искать начала грустного раздумья Кука. Он просто любил, как и сам выражался, «вступать в мысленный разговор с самим собою», и вот в этом-то разговоре он случайно наткнулся на сорок лет. Лицо его становилось мрачнее и мрачнее. Наконец он подскочил к зеркалу, сложил на груди руки, как Наполеон в решительные минуты жизни, и стал пристально вглядываться в свою особу. В первый раз с ужасом подумал он, что, может быть, он уж и не молодой человек. «Где же ты, младость удалая?» — печально воскликнул он и опять задумался. Прошло пять минут немого молчания, в которые на лице капитана царствовал «гробовой» ужас и «могильный» мрак; вдруг он отскочил от зеркала, схватил фуражку и выбежал на улицу. Через минуту он проезжал уже на извозчике улицы уездного города.

Капитан Кук был известен в своем городе как человек почтенный, у которого можно «не иначе, как по знакомству» занять денег, за пустячные проценты, под заклад серебра и золота; а в особенности он был известен, как любитель и участник благородных спектаклей. У него был свой деревянный сарай, отделанный, как он выражался, на манер театра, куда приглашались все ревностные поклонники Мельпомены и холодного пунша. Еще недавно сам капитан играл «Отелло» и был «трикраты» вызван; после спектакля выпил до девяти стаканов пуншу и был единогласно прозван «любезным молодым человеком, с душой, созданной к великому». Вот и все, что покуда нужно вам знать о храбром отставном капитане Иване Егоровиче Куке.

Куда он поехал? Уж не догонять ли младость удалую? Кто его знает; подслушаем, что он думал, когда стоял у зеркала.

«Я уже не в первой молодости — да! Пройдет десять лет (десять!), и я уже не буду правиться прекрасному полу — да, да! Время летит и не возвращается... да, да, да! Что ж буду делать я в старости? Конечно, я могу иногда приятно провести время, читая прибавления к «Губернским ведомостям» или разыгрывая роль Отелло, могу рас-

кладывать пасиянец, записывать приход и расход, получать проценты, петь псалмы и т. д. Могу иногда бывать у сестры Настасьи Егоровны, беседовать с ней, брать детей ее на руки... Та, та, та! А нельзя ли мне будет брать своих детей на руки?» Тут с минуту в голове капитана не было никакой мысли, наконец он продолжал так: «Сколько у меня доходу? Достанет и мне, и жене, и детям... только я не желал бы больше трех дочерей и четырех сыновей... (каково?). В каком я чине? Капитан... чин еще, так столбовой буду! Какая моя натура? Смирная и не зложелательная. Создан ли я к супружеской жизни? Уж разумеется... А почему бы так? Люблю спокойствие и умеренность, читаю «Северную пчелу» и даю в рост деньги...»

Капитан вздохнул свободно и спешил сделать формальный вывод из этого форменного рассмотрения дела.

«Из вышесказанного явствует, что я жених хоть куда, только бы не подурнеть к бракосочетанию. Женюсь, непременно женюсь! На ком? На вдове Абрикосовой... потому что и она отдает... совершенно наклонности одинаковые. Притом я давно люблю... а дом такой сухой, решительно не бывает сырости!»

Именно в тот самый момент, в который эта великая идея оварила разум капитана, он отскочил от зеркала и выбежал на улицу.

Мечты о любви, процентах, переделке дома и о подобном тому провожали капитанскую душу нашего героя до самых ворот дома Абрикосовой; он был давно знаком с нею и, следовательно, мог надеяться, что его примут, а потому бодро и весело взбежал на лестницу.

Глава вторая,

о том, какой гриб съел капитан после завтрака

— Ах, кто-то идет... полноте, Андрей Петрович!— воскликнула в испуге Домна Семеновна, выдергивая свою руку из руки молодого человека.

В это время в прихожей раздался голос Кука: — Дома ли барыня?

— Ах, это наш капитан! — сказала вдова, — какой несносный! Ступайте покуда в эту комнату... я его сейчас выпровожу.

Молодой человек ушел в комнату направо, и в ту же минуту вошел капитан... Лицо ее показалось ему божественным, ручка, которую он облобызал с жадностью, обожгла его губы и, как надо полагать, была причиною прыщей, о которых будет говорено впоследствии. Сначала разговор был довольно обыкновенный; наконец с стесненным сердцем Иван Егорович решился приступить к объяснению.

— Сударыня, — сказал он, — вся природа веселится...

— Да, — отвечала она, взглянув на него с какой-то непонятной улыбкой.

— И вы тоже веселитесь, смею спросить?

— Как случится. — И она опять смерила его глазами и улыбнулась...

— Весна рассыпает благодетельные лучи на красоту вашу. Журчание ручейков, блеяние овец, зеленая травка, птицы небесные, конечно, вещи почетные... Что вы об них думаете, сударыня?

— Я совершенно согласна с вами. — Новая непонятная улыбка.

— Но по мне вы их затмеваете, сударыня. — Тут он «любовно» взглянул на Абрикосову и потом незаметно ущипнул себя в щеку, чтобы покраснеть.

— Вы нынче пускаетесь в комплименты, я от вас этого не ожидала, вы такой почтенный, мусье Кук...

Почтенный мусье, почтенный! Это несколько столкнуло капитана Кука с мыса доброй надежды, однакож он скоро оправился и не терял бодрости.

— Странная бывает игра судьбы с человечеством, Домна Матвеевна, — сказал он таинственно.

— А что?

— Да вот что. Вы называете меня мусье Кук, а вам и невдомек, что был когда-то другой Кук, мореплаватель?

— Что ж тут удивительного... Такое сходство фамилий не редко.

— Но это сходство простирается гораздо дальше. Вы помните также, что тот Кук был капитан, а ведь и я, если не изволили забыть, не какой-нибудь прапорщик; тоже капитан. — Тут он приосанился и гордо взглянул на Абрикосову...

— И это случается.

— Он, как все моряки, любил пить ром, и я тоже, сударыня, хотя для экономии чаще пью вишневку.

— И это случается.

— Может быть, и конец-то наш будет одинаковый! — сказал Кук с глубоким вздохом.

— Как так?

— Да так. Он погиб от любви к морю, от ожесточения диких; а я, может быть, погибну от любви к женщине, от жестокости ее. От любви к вам! — воскликнул он, не имея сил более владеть собою, и упал на колена перед Домной Матвеевной.

— Ха, ха, ха! вы шутите, мусье Кук! Вот уж, право, странно. Вы были всегда так степенны, так любезны, а тут вздумали шутить!

«Шутить! я шучу! И это сказала она, в самую торжественную минуту моей жизни... когда душа моя готова была излиться в страстном признании; когда рай и ад теснился в мою душу... и когда одно ее слово могло меня осчастливить... О нет, она не любит меня!.. Она никогда не может любить... Она — холодная, безжизненная душа, которая отдала любовь свою в проценты, под верные залого. А я, несчастный!» — Вот что продумал в одну минуту озадаченный Кук.

— Прощайте, сударыня, прощайте! Вы меня никогда более не увидите, никогда!

— Помилуйте, мусье Кук; право, я вас не понимаю, разве вы шутите... ваш костюм...

— Мой костюм? мой костюм, сударыня, приличен благородному человеку моего звания и моей комплекции! — воскликнул Кук, и в это время увидел себя в зеркале. — О ужас! О проклятие! Я в халате! — вскричал он отчаянно и выбежал на улицу; хохот вдовы и Чугунова проводил его. Проклятая надпись: *Дом надворной советницы Абрикосовой* мелькнула в глазах его и лишила душу нашего капитана последнего покоя.

— Несчастный дом! На тебе никогда не будет написано: *Дом капитана Кука!* — сказал он с горестью и поехал домой.

Соблюдая историческую достоверность, мы, однакож, должны сказать, что капитан сделал утренний визит г-же Абрикосовой не в халате, а в форменном сюртуке, который

за старостью и худобою носился только дома и носил название халата. У капитана была страсть давать вещам не по шерсти кличку...

Глава третья,

о том, как капитан Кук пил кровь и какого мнения приятель его о брюках со штрифками

— Крови, Степка, крови! — яростно закричал капитан, вбегая в свою комнату.

Степка подал ему стакан красной жидкости, которую он выпил с жадностью.

— Отелло! сколько разительного сходства в судьбе моей с твоею! Ты блаженствуешь... семейное счастье тебе улыбается... Дездемона — ангел, Дездемона — рай души твоей... вдруг... все переменяется: Дездемона — демон, ад души твоей... Крови, Яго, крови! восклицаешь ты, и сердце твое разрывается... Так и я. Обольстительные мечты лелеют пламенную душу мою... Домна — кумир мой. Домна — лучезарная звезда моего счастья... Я ощущаю предвкушение ее объятий... подъезжаю к ней; самый дом мне улыбается... вдруг... адские проценты! демонский хохот ростовщика над бедняком, принесшим в заклад свое бедное сердце! Ха, ха, ха! у него ничего больше... каменный... вдова... дом... прекрасная... Я разорен! Крови, Степка, крови! — вторично воскликнул Кук и опять проглотил стакан. Но ничто не успокаивает бедной души его. О, как тяжело потерять веру в людей, в счастье, в жизнь, в дев, в мечту, в каменные строения, в чистоту нравов; о, ужасно! Будь у него бронзовая голова на каменном фундаменте... он бы и тут не выдержал!..

Быстрыми шагами ходил он по комнате и в ужасном отчаянии ломал себе руки, скрежетал зубами, моргал бровями, кусал губы и т. д. В таком положении застал его Евстафий Андреич, франт, отставной поручик, задушевный друг капитана.

— Что с тобой? — спросил он, заметив необыкновенную мрачность Кука.

— Ничего! — отвечал Кук гробовым голосом. Слова его заметно подействовали на чувствительную душу Евстафия. Он понял без слов, что друг его в бедственных

обстоятельствах. У него была страстная охота прослыть утешителем страждущих, и он начал так, голосом, проникающим до глубины души: — Друг мой! мы все люди, все человеки, все странники! — Кук пожал ему руку, в знак согласия, и вздохнул. — Итак, согласишься, что не стоит роптать на трудности пути, когда он не бесконечен... Но если можно преодолевать эти трудности и находить для себя радости в скоротечной жизни, то зачем отчаиваться... будем бодры...

— Нет, радость не для меня!

Погибну я, как пламень дымный,
Среди полей, среди глуши!

Умру — и могила примет кости мои; сгнию — и прах мой соединится с землей; исчезну — и меня не отыщешь ни на земле, ни под землею! — Тут Кук заплакал и упал к нему в объятия...

— Кто погубил тебя? — спросил он с участием. — Она? Но для тебя не все еще потеряно... Мир не вечен... Тебя ожидает другой мир, лучший дом...

— Лучший дом! — повторил Кук, с некоторой надеждой, — который, в какой улице?

— Дом, в котором успокоиваются все страждущие...

— Дом призрения бедных? Да он казенный?! — воскликнул Кук с прежним отчаянием.

— Есть, говорю я, мир, где будут жить по смерти; где встречаются души любящие и страдающие, для вечного, неизменяемого блаженства... Там ты найдешь ее!

— Крови, Степка, крови! — закричал Кук еще отчаяннее.

— Что так поразило тебя? — спросил друг.

— Неужели я должен обречь остальную жизнь, — произнес он, глотая влагу, — на страдания, слезы, проклятия, вздохи, воспоминания веселые, предчувствия печальные, идеи мрачные и мечты прозаические, — сказал Кук раздирательным голосом. (Я вам говорил недаром, что он играет в трагедиях.)

— Постой! может быть, все поправится, — сказал друг с надеждою.

— Увы!

— Кто она?

— Домна Семеновна Абрикосова.

— И она отказала? странно!

— Ужели вечно будем мы *бездомны!* — произнес Кук и заплакал.

— Не плачь! Домна не так жестока... Не понимаю, почему она отказала? Когда ты у нее был?

— Я только от нее перед твоим приходом. — Тут друг внимательно оглядел Кука с ног до головы и захотал пронзительно. — Теперь, наконец, я все понял! — произнес он торжественно и подвел Кука к зеркалу.

— Знаю, видел! семи пуговиц нет, правая пола разорвана, на левой во всю длину сальное пятно, — простонал Кук голосом недорезанного телянка.

— А на шее-то, на шее что? — сказал Евстафий, — носовой платок вместо галстука, и весь в табаке...

— О судьба! Ты ли обрушила на главу мою столь тяжкие бедствия? Крови, Степка, крови! — И Кук опять выпил крови.

Евстафий хохотал. — И ты в этом костюме предлагал ей приятности своей особы?

— Да... шила в мешке не утаишь.

— Любовь без галстука, любовь без штрифок! ха, ха, ха! И ты ничего не снял, не прибавил, приехал домой?

— Ни иёты! — отвечал Кук мрачно.

— Бьюсь об заклад, что твоя неудача произошла от костюма! Ты, верно, показался ей шутком, полусумасшедшим!

Пока он так рассуждал, Кук, с своей стороны, доискивался причины небрежности наряда. Наконец он догадался. Идея о сватовстве была так быстра и неожиданна и так ему понравилась, что она в ту же минуту завладела всею полостью его ведения; он все забыл... и удивительно еще, как он не забыл самой шапки!

— Но все равно! Она не любит меня... Любовь не разбирает, в каких видах она проявляется! Не костюм, не суетные украшения, — на нее действует только личность... а она отвергла меня!

— Постой. Все поправится! Есть у тебя хорошее платье?

— Как же! Все новое, третьего года только сделал! Темнозеленый фрак с плисовым воротником, малиновая

жилетка с желтыми цветочками... галстук белый с красненькими полосками, брюки суконные.

— Без штрифок? — спросил друг нетерпеливо, с каким-то страшным предчувствием.

— Да!

— Ничто — не годится!

Кук был как пораженный громом... кровь бросилась ему в голову.

— Крови, Степка, крови!

— Друг мой, — сказал Евстафий после некоторого молчания, схватив его за руку, — ты хочешь владеть ею?

— Еще бы! — произнес Кук едва слышным голосом, в котором изображалась вся внутренняя борьба этой великой души.

— Есть ли у тебя в наличности пятьсот рублей?

— Есть полторы тысячи!

— Она будет твоею!

— Она будет моею! Крови, Степка, крови!

— Бери деньги с собой, пойдем к лучшему здешнему портному. Костюм повредил тебе, он же должен и поправить дело...

— Ты уверен?

— Как нельзя более... Великое дело брюки со штрифками!



Разряженный самым блистательным образом, капитан Кук подъехал к дому Абрикосовой. Он более отчаивался, чем надеялся. Только когда воображение рисовало ему собственную его фигуру, красивую, новомодную, он несколько ободрялся. Он спрашивал самого себя: что бы я сделал, если б был на месте Домны Семеновны? Вышел бы замуж за капитана Ивана Егоровича Кука, — отвечал он с самодовольствием, вытягивая свои триковые ноги. Мало-помалу он убаюкал сомнение, и, когда всходил на лестницу, в душе его была одна надежда.

На последней ступени лестницы он встретил молодого человека.

— Здравствуйте, Андрей Петрович! — Но Андрей Петрович насмешливо поглядел на Кука, не поклонился и пошел далее. Сердце капитана вздрогнуло, он готов был

закричать: крови, Степка, крови! Но впору опомнился.

Более мы ничего не скажем о вторичном сватовстве нашего капитана. Он очень скоро возвратился домой и в этот день истребил необыкновенное количество крови. Когда он не пил, то вздыхал и произносил про себя: — Чорт бы взял всех портных! деньги даром берут!

Глава четвертая

о том, какое условие заключили Кук с Чугуновым и какую кровь пил капитан Кук

Мрачен и дик сидел капитан за завтраком. Он почти ничего не ел. Интересная виньетка полуштофа не привлекала уже его внимания. Темно было у него на сердце. Дверь отворилась; вошел Андрей Петрович Чугунов.

— А, какому приятному случаю... Ну что, достали денег?

— Нет, я хотел просить вас.

— Ах, молодой человек, до суеты ли мирской мне теперь... Я убит горестию, растерзан... я сам несчастный, бездомный сирота!

— Послушайте, Иван Егорыч. Я знаю ваше горе: вам отказала Домна Семеновна.

— Вы знаете... О, теперь весь город знает мое бесчестие!

— Не отчаивайтесь! Знаете ли, что от вас зависит поправить дело?

— От меня, от меня?... Как? я уж употреблял все средства: лучше одеться нельзя.

— Домна Семеновна никогда б не отказала вам... вдруг она узнала меня... не знаю почему она отдает мне преимущество...

— Вам! так вы мой соперник... а? Вы благородный человек... вы знаете, что такая обида... Крови, крови!

— Позвольте, дело может обойтись без крови...

— Как без крови... я убит горестию... Силы мои слабы. Крови, Степка, крови!

Он выпил крови. Молодой человек был изумлен.

— Послушайте, — наконец сказал он, — вся беда в том, что она не знает, что я имею невесту, и надеется, что я на ней женюсь, а я поддерживаю ее в этой надежде для того, чтоб она дала мне взаймы тысячу рублей на мою свадьбу... Если вы согласитесь...

Кук прозрел. Ему стало все ясно. Дом так ослепил его, что он тысячу рублей считал ни во что и сейчас же достал их из комода.

— Без процентов! — сказал он, вручая ему деньги. Молодой человек остолбенел от радости.

— Я сейчас пойду к ней и дам понять, что женюсь, — сказал он с чувством признательности.

— И прибавьте, что ей никогда не найти мужа... Слышите, подожгите ее! — подхватил Кук.

— Хорошо, с удовольствием.

— Вслед за вами явлюсь я... Вот как ей захочется доказать, что вы лгали, так и согласится.

— Именно, прекрасно... прощайте...

Молодой человек сказал правду: он точно ухаживал за вдовой, желая выманить у нее деньги, и, получив их от Кука, был радехонек с ней развязаться. Кук приоделся и отправился в третью экспедицию за сердцем и домком вдовы.

Вот он на лестнице, вот в гостиной; поправился перед зеркалом, закинул назад голову, выдвинул вперед левую ногу, засунул в карман два пальца правой руки, несколько закусил губу, сдвинул брови, усилил блеск глаз... и ждет.

Она входит. На лице ее признаки недавней злости: краснота и опухоль; но вот оно просияло. Она бросает на него взор изумления, взор почтения, взор умиления, взор ласки, взор радости, наконец, взор счастья... потом... одним словом, все возможные взоры, от сонного до страстного включительно.

Кук бодро повторил предложение.

—

— Крови, Степка, крови! — радостно закричал Кук, вбегая в свою комнату.

— Ну что? — спросил ожидавший его Евстафий...

— Наша взяла! — воскликнул Кук торжественно...

— Вот то-то, я говорил, я знал, как много значат брюки со штрифками...

— Да, толкуй тут... ты где пропадал целую неделю?.. вот я тебе порасскажу... Что ж крови, Степка!

— Пожалуйте денег, сударь, вишневка вся вышла,— сказал Степка, выходя из прихожей с пустой бутылкой.

КАРЕТА

Предсмертные записки дурака

Жизнь моя приходит к концу; скоро смерть костлявым перстом своим постучится ко мне в двери... скоро! Грудь моя иссушена страданиями, — поцелуюм дев уже не разогреть ее. За грехи жизни, за борьбу с рассудком жестокий рок вырвал из головы моей все волосы, — макасарскому маслу их уже не вырастить! Трудно умирать, наделав так много глупостей в жизни, как я! Трудно умирать с горьким сознанием, что на душе грехов больше, чем было волос на голове в самую блестящую пору жизни; трудно рассчитывать с бранным миром, когда имеешь так много долгов... трудно, очень трудно! О, я несчастный! О, я глупец! Зачем не подумал я прежде о том, что делал... Зачем так поздно я себя понял! Братья люди! пожалейте бедного ближнего, который так поздно уверился, что он дурак; что все назначение его жизни состояло в том, чтоб удерживать самого себя от глупостей. Пожалейте несчастного ближнего, который, не поняв себя во-время, действовал вопреки своему назначению...

Не виню никого за мои заблуждения; никто их во мне не поддерживал: они сами укоренялись. Благодарю вас, добрые журналисты, вы даже старались прояснить мой разум; вы печатно доказывали мне горькую истину, в которой я так поздно уверился и незнание которой было причиною стольких несчастий и прегрешений! Глупое самолюбие мешало мне тогда поверить, что я дурак!

Незадолго до настоящей минуты я имел намерение написать и выдать в свет историю моих глупостей; но тяжела обязанность историка: трудно сохранить беспристрастие в отношении к самому себе, вы знаете это по опыту. Размышляя так, я решился не срывать покрыва с прошедшей

моей жизни. Не могу, однакож, удержаться, чтоб не приподнять его, думая, что моя откровенность будет полезна человечеству. Может быть, я ошибаюсь; не упрекайте за дерзкую мысль: вспомните, что я дурак!

Думаю, что случай, бывший со мной в молодости и отбросивший яркую тень на всю мою остальную жизнь, будет кому-нибудь полезен. Приготовьте терпение: я хочу рассказать вам величайшую глупость моей жизни.

Из всех страстей, волновавших бурную мою молодость, зависть была едва ли не первая. Много я пострадал от нее. Не хочу однакож, безусловно порицать этого чувства. Подавив в душе своей личную ненависть, я сначала надеюсь высказать мое искреннее мнение о зависти. Зависть — не бесполезное чувство, хотя более вредное. Она приводит в волнение кровь и препятствует гибельному застою души; она пробуждает от бездействия, которое так вредно обществу; она заставляет иногда делать решительные глупости, которые от необычайной дерзости, с какою сделаны, получают вид глубоких соображений ума. Она постоянно держит человека, ею одержимого, в крайнем напряжении действующих сил — ума и воли. Не говорю о мелочной, ежедневной зависти, которую на каждом шагу вы можете встретить в Лондоне и в Калуге, на Выборгской стороне и на Невском проспекте, скажу о зависти более достойной внимания. Есть люди, которые завидуют Наполеону и Суворову, Шекспиру и Брамбеусу, Крезу и Синебрюхову; есть другие, которые завидуют Палемону и Бавкиде, Петрарку и Лауре, Петру и Ивану, Станиславу и Анне; есть третьи, которые завидуют Манфреду и Фаусту; четвертые... одним словом все мы чему-нибудь завидуем. Вы встретите зависть в театре, смотрящую Гамлета, в кондитерской, читающую «Русский инвалид», на бале, танцующую с красавицей, которой завистнику не видать, как ушей своих. Особенно проявление ее заметно в деле торговом, служебном и литературном. Но довольно о том, где можно встретить зависть, я хочу рассказать вам, где я ее почувствовал... Кладу левую руку на сердце, собираю остаток сил и молю благую судьбу, чтоб она не пресекла жизни моей прежде окончания моей поучительной беседы с благосклонным читателем...

Я родился в одной из линий Васильевского острова... от благородных, но бедных родителей. Когда мне минуло

восемнадцать лет, я остался сиротой и получил во владение десятитысячный капитал. Следуя предсмертному совету моего отца, я стал отдавать его в «частные руки», но как процентов мне на житье не доставало, я принужден был давать уроки... Жестоко жаловался я на судьбу свою, принужденный иногда по десяти верст в день бегать из-за пяти рублей. «Сколько людей ездят в каретах! — думал я; — чем они лучше меня?» Мало-помалу эти жалобы становились чаще и чаще. Несчастный! я не понимал тогда, как много грешу против провидения, осмеливаясь осыпать роптаниями его благую волю. Сердце мое надрывалось от злости и зависти при виде кареты, я ненавидел тех, кто мог иметь ее... Зависть сосала мою душу.. Что ни делаю, куда ни пойду — карета не покидает моих мыслей! Я пропускал уроки, говорил пошлости, делал глупости — и всему причиной была эта мысль. «За что, судьба жестокая! ты создала меня бедняком? За какие подвиги — столько народу ездит в каретах и за какие прегрешения я осужден целую жизнь проходить пешком?» — восклицал я в грешном отчаянии. Но всего ужаснее действовала на меня дурная погода. Когда на дворе дождь, грязь, гром, молния — и со мной то же самое: вид грязных сапогов побеждает твердость моего сердца: слезы льются ручьем, глаза сверкают как молнии, в голове шумит буря... «Страшно, страшно не иметь кареты!» — произносил я, на цыпочках переходя грязные улицы; вдруг раздавался вдали шум — я взглядывал и каменел от бешенства: мимо меня проезжала карета! Я тогда не мог владеть собой! Я готов был вскочить внутрь этого четырехместного чудовища; я готов был съесть глазами его квадратную фигуру, поглотить слухом его отвратительный стук; остановить зубами его правильное движение. Кровь моя приходила в волнение, ноги подгибались: я не мог идти, а дождь лил на меня ливнем, а гром гремел над самою моею головою, а страх опоздать на урок жег молнией мое сердце! Проезжало чудовище — я становился спокойнее, но не надолго: опять вдали стук, опять оно; а иногда... о ужас! два, три, четыре чудовища разом... Решительно не было спасения! Грязь комками летит в бок, в ногу, в руку, в лицо, в рот... ужасно! Сколько причин ненавидеть человечество! Тебя публично кормят грязью, и ты не смей рта разинуть! «Задень за что-нибудь, расшибись, отвратительное орудие

сатаны!» — кричал я, убегая от лошадиных копыт. Мучения мои доходили до невероятности. Самая любовь, которую я чувствовал к сестре одного из моих учеников, уступала место моему непостижимому чувству — к карете. Непостижимому, говорю я, потому что оно было действительно непостижимо: я любил карету, потому что завидовал ее обладателю; ненавидел, потому что желал ей всевозможного зла, как источнику всех моих страданий... О, как я тогда был глуп! Самая любовь моя, повторяю, чуть было не превратилась в ненависть, оттого что предмет моего обожания ездил в карете. Я мучился, рвался, страдал, как шильонский узник, проклинал, как Байрон, и в странном отчаянии незаметно издерживал свой капитал, вместо того, чтоб отдавать его в проценты... Для успокоения сердца моего нужна была месть человечеству, для мести — карета... Я чувствовал, что обладание ею не сделало бы меня счастливее, но наслаждение видеть во власти своей эту рессорную гадину, иметь право раздавить ее при первой вспышке гнева... о, для этого стоит чем-нибудь пожертвовать! Долго я боролся с самим собою; долго искра потухавшего рассудка спасала меня от позорного названия «отъявленного дурака», наконец одно ужасное обстоятельство решило мою участь и помогло судьбе произвести меня в «чистые дураки», каковым я теперь имею честь быть...

Однажды, в довольно хорошую погоду, я шел по Невскому проспекту; на сердце у меня было легко, потому что я уже давно не видал кареты. Я вспомнил мою любовь; ничего утешительного не было в ней; но она по крайней мере обещала мне много чистых наслаждений в настоящем. Любовь богата: она создана ездить в карете, жить в счастье и роскоши; я существо, явившееся в мир *на правах пешего хождения*, заклеянное странным пороком — *завистью к карете!* Но у дураков часто самые препятствия обращаются в мнимое их преимущество: я доказывал себе, что препятствия ничего не значат, что дело пойдет на лад, и выводил преглупые заключения, казавшиеся весьма вероятными моему ограниченному уму. Вдруг пошел дождь; стало грязно... Кареты чаще и чаще начали возмущать мой взор. По обыкновению мне казалось, что их хозяева глядят на меня с насмешкой, что кучера нарочно норовят наехать на бедного пешеходца и потом уж кри-

чать ему *пади*, то есть «упади и простишься с жизнью!» Глупо, очень глупо! а должно признаться, что такая дичь тогда казалась мне вероятною. Вот я перехожу улицу, вдали вижу карету, отворачиваюсь, чтоб не попасть под лошадей... Вдруг ужасный комок грязи летит мне прямо в лицо; я вздрагиваю от ужаса и негодования; хочу отнять от лица прилипший комок, но в это время в карете раздается хохот... Боже мой! чей хохот? руки мои опустились. Я оборачиваюсь и вижу — Любовь Степановну, мечту мою, предмет любви моей; она высунула голову из дверец и изо всей мочи изволит смеяться... Хохот ее и теперь раздается в моих ушах! Не могу припомнить, что я сказал тогда, только помню, что я сказал какую-то ужасную глупость... Судьба моя решилась. Как сумасшедший я убежал домой. Комок грязи был еще на лице моем; чувство присутствия его не дало охладеть моей ярости!

Я продал все свои вещи, собрал деньги, какие были, и купил карету. О, как я был тогда глуп!

Сделав эту капитальную глупость, я остался с несколькими сотнями рублей. А между тем расходы мои увеличились: проклятая карета требовала сарая, лошади — овса и стойла; люди — квартиры и хлеба. Я нанял небольшую комнатку с большою конюшней. Первый выезд мой в карете был к ним, на урок. Все семейство и еще какой-то незнакомый офицер встретили меня хохотом. Меня бросило в жар и холод. Она, коварная, больше всех смеялась!

— Вообразите, — говорила мать офицеру; — мы только выехали покупать приданое для нашей Любиньки...

— Приданое, для Любви Степановны? — повторил я с ужасным предчувствием.

— Да, — отвечала Любинька, смеясь, — мы ехали покупать наряды, и так неосторожно... ха! ха! ха!... брызнули...

Латинская грамматика Цумпта выпала из моих рук... — Я отомщу за себя! — произнес я и выбежал вон из комнаты...

— Куда прикажете? — спросил лакей.

— Куда хочешь! Только скачи, сломя голову, там, где больше грязи, и старайся забрызгать всех прохожих, — закричал я кучеру.

Кучер и лакей выгарадили на меня глаза, думая, что я сумасшедший... А я просто был дурак...

С тех пор любимым моим занятием было скакать по улицам и смотреть, как грязь от моей кареты попадает на лица прохожих. Как скоро дурная погода, на улице грязь, я приказываю заложить карету и скачу, скачу, и с невыразимым наслаждением слежу глазами за направлением грязи, вылетающей из-под колес и копыт лошадиных! Я утешался мыслию, что в отмщение за обиды, нанесенные мне, пятнаю теперь сам грязью человечество. Дурак я, дурак!

Сколько я ни старался, мне, однакож, никогда не удавалось влечь комок грязи в лицо тех особ, от которых я вытерпел некогда подобное унижение...

Наконец капитал мой истощился; я не ел сам, чтоб накормить лошадей, но все было напрасно... Пришла минута горького сознания бедности, я увидел невозможность держать карету. Но я не продал ее. В безрассудном ожесточении на это немое орудие моего несчастья я собственными руками изломал мою карету, и в нищете, в отчаянии, утешался еще мыслию, что я стер с лица земли хоть одну из тех двуместных гадин, которые столько людей, не исключая и меня грешного, запятнали грязью! О, как я был глуп!

Что еще сказать? Я уже упоминал, что это событие имело пагубное влияние на остальную жизнь мою. С разбитым сердцем, разочарованным воображением, бледный, изнуренный, наконец встал я с постели, после продолжительной болезни, постигшей меня после уничтожения кареты. Силы мои были еще слабы; но я жаждал света божьего, жаждал чистого воздуха и вышел на улицу. На Невском проспекте я попал под карету и лишился правой ноги. Да научитесь вы, созданные на правах пешего хождения, из моего печального рассказа, что не должно завидовать людям, которые ездят. Если мой пример вылечит двух-трех завистников, я при конце жизни моей буду утешен, что сделал на своем веку хоть одно умное дело; для дурака и этого много! Завещаю тем, кто будет хоронить меня, чтоб за гробом моим не ехало ни одной кареты. Я сознаю, что предубеждение мое глупо, но не могу выйти совершенно из-под его влияния. Такова сила привычки. В старых дураках она извинительна!

ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

Повесть в четырех экипажах

I

КАРЕТА

В летний прекрасный день, каких немного бывает в Петербурге, часу в осьмом вечера, по Невскому проспекту ехала карета, запряженная четверкою рослых вороных лошадей. На козлах сидел кучер, парадно разодетый; на запятках стояли два лакея в богатых ливреях. Карета остановилась у английского магазина; лакей ловко отворил дверцы, и из кареты, легкая, как серна, прекрасная, как майское небо, выпрыгнула молодая дама. Через несколько минут дама возвратилась из магазина, с покупкой в руке, так же ловко впрыгнула в карету, как из нее вышла, и приказала ехать на Английскую набережную. Быстро промелькнул экипаж Исакиевскую площадь, повернул налево, проехал несколько сажен и остановился перед одним из изящных домов Английской набережной. У подъезда стояло несколько экипажей; вокруг их начала уже собираться толпа любопытных; у дверей стояли жандармы. Снова лакей отворил подножку, снова выпрыгнула из кареты дама, и какая дама! Теперь уже можно было лучше рассмотреть ее черты. Впрочем, извините, женщина, о которой мы говорим, кажется, не дама, а повидимому девушка, потому что на ней не было ни чепчика, ни другого какого-нибудь признака, отличающего даму от девушки. Лицо ее было в полном смысле прекрасно; легкая бледность, как бы следствие недавней болезни, покрывала ее щеки и придавала ей еще более привлекательности; томная нега была разлита в ее голубых, выразительных глазах и заставляла предполагать в ней много

огня и жизни. Стан ее был гибок и строен; походка легка и правильна; ножка мала и привлекательна.

Она уже готова была всходить на лестницу, как вдруг к ней подошел швейцар с огромной гетманской булавою.

— Сегодня нельзя-с, никак нельзя! — сказал он с каким-то таинственным видом, поворачивая в руке свой жезл.

— Что такое, почему нельзя?

— Да так-с, нельзя; отохни правая рука — нельзя! у барина гости.

— Да мне дела нет до его гостей; я не пойду к ним; мне нужно видеть только его...

— Нельзя-с, провались я сквозь землю — нельзя-с, — повторил швейцар с прежнею таинственностью.

«Что это значит, — подумала незнакомка, — прежде этого никогда не было». — Послушай, любезный, разве барин отдавал тебе особое приказание?

— Не можем сказать, сударыня.

Незнакомка начинала терять терпение; на лице ее появился едва заметный оттенок гнева, смешанный с каким-то тайным страхом.

— Говори, что здесь происходит, — сказала она отрывисто, вкладывая в руку швейцара серебряную монету.

— Ничего-с, право, ничего.

— Ну, так я пойду.

— Нельзя-с, сударыня, никак нельзя...

— Да почему нельзя?

— Не можем знать.

Незнакомка вышла из терпения. Она оставила бесполового швейцара и вышла из швейцарской. Гнев, досада и какой-то тайный страх уже гораздо яснее отпечатывались на прекрасном лице ее.

— Что здесь такое? — быстро спросила она у жандарма, стоявшего у дверей.

— Свадьба! — отвечал жандарм вытянувшись.

— Свадьба! Чья свадьба? Говори, говори скорее! — вскричала незнакомка.

Голос ее сильно дрожал, в глазах отражалось беспокойство; черты лица выражали необыкновенное волнение.

— Свадьба его высокоблагородия Ореста Андреевича Сабельского, — провозгласил жандарм торжественно.

Лицо незнакомки сделалось ужасно; губы посинели, щеки покрылись мертвою бледностью. Она пошатнулась, как бы лишаясь последних сил, и только с помощью лакея могла добраться до кареты, где почти без чувств упала на подушку.

Даже жандарм заметил ее необыкновенное смущение и вывел из него очень остроумное заключение в своем роде. — Завистлива больно, — сказал он, — видно, ей чужое счастье как бельмо на глазу, а еще у самой карета такая знатная!

Карета снова покатила и, проехав несколько улиц, остановилась у небольшого деревянного домика, прекрасно отделанного, в Грязной.

— Что с вами, Александра Ивановна? — сказала пожилая женщина, с очками на лбу, когда незнакомка неровными, быстрыми шагами вошла в комнату.

Александра Ивановна кинулась головой на подушку и горько заплакала.

Долго пожилая женщина, которую звали Анной Тарасьевной, не могла ничего добиться от Александры Ивановны, которая не могла говорить от слез и душевного волнения.

— Да не плачьте, матушка, скажите в чем дело. Или вы хотите опять захворать. Избави господи! И так еще вы не совсем здоровы, матушка! Вот только было господь дал облегчение — теперь опять напасть! Да скажите же, матушка, что за беда такая случилась... Ведь я хоть не мать вам родная, а все-таки и не чужая вам!

— Он покидает меня, он женится! — восклицала Александра Ивановна всхлипывая.

— Что такое, матушка... Кто женится? Орест Андреич женится? Неужли! Вот, я всегда говорила, что тем кончится!

В минуту кроткий, покорный тон старухи перешел в гордый и укорительный...

— Я всегда так думала, — повторила она, — по одежке — протягивай ножки, пословица недаром сказана. Куда нам за господами тягаться; спасибо, что из крепостных-то вышли. Покойный батюшка ваш Иван Клементьич был ведь крепостной человек, да, сударушка, графиня,

его барыня, отпустила его на волю, когда уезжала за границу — за его труды, за его честную жизнь... Да, он был честный человек; а детям...

— Ах, Анна Тарасьевна, не мучьте меня, ради бога! — сказала Александра Ивановна, терзаемая болтовней старухи.

— Чего не мучить, матушка, уймитесь-ка вы лучше плакать, да нечего даром-то сидеть — прошла коту масляница; надо будет за работу приниматься... Уж теперь не на кого надеяться-то. Вот кабы вы не затевали ничего, да жили бы как бог велел, так бы и ничего не было... А то захотелось, вишь, барыней жить; меня, мачеху свою родную, чуть не ключницей сделала; и не войди к ним в комнату, когда...

— Перестаньте же, побойтесь бога... Я и так не знаю, доживу ли до завтра...

— Ничего, сударушка, правду говорить не грех, правду всегда скажу, отцу родному скажу. Что, чай, больно он любит вас? Не на мои слова вышло, что этаким сорванец только повертится, да и поминай как звали? Так нет... Он, вишь, на мне женится, он-де такой уж честный... Вот и женился, вот и дожили мы до радостного праздника!

Слова старухи разрывали сердце бедной Александры Ивановны.

— Не баловаться бы, не пускать бы в дом озорника, не вешаться бы ему на шею, — продолжала старуха с язвительной жестокостью...

— Но ведь я женщина, я любила его! — сказала Александра Ивановна, — неужели я не достойна хоть искры сострадания!

— Хороша любовь. Вот посмотрим, как будем жить... Придется скоро ходить по-миру; где нам работать: мы, вишь, привыкли ко всему готовому, любим ездить в карете, ходить под ручку-с...

Долго еще мучила Анна Тарасьевна свою жертву. Во время счастливых дней Александры Ивановны она была тише воды, ниже травы и первая молча всем пользовалась, благословляя в душе благоприятствовавшие тому обстоятельства. Но когда обстоятельства изменились в дурную сторону, она первая же не замедлила во всем обвинить Александру Ивановну, платя ей за все самую черную

неблагодарностью. Так всегда поступают злые женщины вообще и мачехи в особенности.

Час от часу Александре Ивановне становилось хуже. Она снова слегла в постель, пожираемая жестокою горячкою.

II

КОЛЯСКА

На третий день пасхи на Исакиевской площади около балаганов толпилось множество гуляющих. Чернь, полупьяная, до-нельзя довольная, качалась на качелях, пела песни и была совершенно счастлива. Привлеченные заманчивыми вывесками, многие, с величайшими пожертвованиями относительно боков и локтей, старались пробраться в балаганы, у дверей которых, по сему случаю, была давка неимоверная. Вдали тянулась длинная цепь экипажей, пестревших мужскими головами и дамскими головками, военными мундирами и разнообразными рядами мирных жительниц Петербурга. Но не в том дело...

Из ряда экипажей, не без больших затруднений, успела, наконец, отделиться коляска, запряженная парой, в которой уединенно сидела молодая женщина, одетая просто, но довольно изящно. Она, т. е. коляска, которая была как две капли воды похожа на все коляски в мире, готова уже была повернуть на Исакиевский мост, как вдруг, откуда ни возьмись, с Английской набережной налетели парные сани, в которых сидел мужчина, с лицом, закутанным в меховой воротник шинели. Кучер, управляющий коляскою, принужден был осадить лошадей, чтоб предупредить столкновение, грозившее бедой неминуемой. Сани тоже остановились. Вероятно, удивленные непредвиденной остановкой, мужчина и дама в одно время подняли головы, любопытствуя узнать, что случилось. Взор мужчины упал на даму; взор дамы — на мужчину. Восклицания изумления вылетело из уст дамы; какой-то испуг, смешанный с оттенком радости, выразился в глазах мужчины. Коляска тронулась.

— Пошел за этой коляской! — сказал мужчина своему кучеру.

Экипажи помчались один за другим по Исакиевскому мосту. Разумеется, что все это случилось в минуту.

Коляска остановилась в дальней линии Васильевского острова за Средним проспектом; сани тоже. Дама вошла в ворота каменного дома и начала взбираться по лестнице; мужчина тоже. Дама вошла в комнату, мужчина за ней.

— Боже мой! Вы здесь? И осмелились! — сказала дама, когда увидела молодого человека, неотступно следовавшего за нею.

— Да, здесь, у ног ваших, прекрасная Александрина! — отвечал он, рассматривая незнакомку.

— Ради бога, удалитесь, оставьте меня! Все между нами кончено!

— Почему так? Я, право, не вижу никакой причины... Я благословляю судьбу, которая привела меня еще раз в жизни видеть вас... Не поверите, сколько я страдал... Но вы сердитесь... Да, чорт возьми! В самом деле, я такой повеса: женился, не сказав вам ни слова!

— Ах, замолчите! Не растравляйте ран моего сердца, которые только еще начали заживать...

— В самом деле? так вы все еще меня помните... Полтора года! Славно, чорт возьми!

— Ах, не шутите, не играйте чувствами. Я поняла теперь, как вам должна была казаться смешна слепая, беспредельная любовь неопытной девушки, простой, мало образованной, которой свет едва позволяет чувствовать, иметь свои желанья, свои страсти...

— Вы жестоки сами к себе... Почему же...

— Да, хотя поздно, но я поняла все. Я доверилась сердцу — и за то жестоко наказана...

— Вы напрасно, милая Александрина, предаетесь отчаянию... Для вас не все еще потеряно.

— Нет, все, все потеряно! — сказала она со вздохом глубокого горя. — Ах, что я сделала!.. Но могло ли быть иначе? Помните ли вы положение, в котором вы нашли меня, когда в первый раз со мною встретились? Что я была таксо? Что такое вся жизнь моя, как не цепь страданий? Теперь, когда уже все между нами кончено, выслушайте меня, Орест Андреевич, и судите, достойна ли я того, как вы поступили со мной.

— Говорите, говорите, — отвечал франт, играя перчатками, — я готов слушать вас целую вечность!

Она начала:

— Я была бедная девушка, дочь честного управителя, воспитанная выше своего состояния прежнею владетельницею моего отца. Матери я никогда не знала; графиня заменяла мне мать. Не знаю, за что она полюбила меня, но привязанность ее ко мне была искренняя. Она была так добра, что даже позволяла мне часто по целым дням проводить вместе с ее дочерью, брать вместе с нею уроки. Почти каждый день она ласкала, чем-нибудь дарила меня, принимала как родную в свой дом. Там научилась я жить, чувствовать, мыслить так, как, может быть, никогда бы не умела, оставаясь в простом, даже можно сказать грубом сообществе людей, к званию которых принадлежала я. Скоро все изменилось. Графиня, моя благодетельница, уехала с мужем за границу, наградив отца моего отпускною. Судьба моя переменялась. После довольной, изящной жизни, к которой я уже начала привыкать, я вдруг увидела себя на единственных попечениях отца, в кругу мне уже совершенно чуждом. Не знаю почему, но и обращение отца по отъезде графини сделалось со мною гораздо грубее. Скоро положение мое стало и еще хуже. Отец мой, которого первая жена, как мне сказывали, умерла вскоре после моего рождения, женился во второй раз. Тогда, скрепя сердце, собрав все силы души, заглушив на время все мечты, все порывы воображения и чувства, стала я невольницей самой себя: без ропота, без малейшего признака принуждения, исправляла я должность служанки у моей мачехи, женщины необразованной и к тому же злой и капризной. Я перемогла себя, покорила судьбе, но каково мне было! А между тем я росла, во мне образовывалось сердце, которое начинало уже просить воли, любви, дружбы, радостей жизни. В то время, когда уже я была в самом разгаре жизни, молода, пылка, неопытна...

— И прибавьте — прекрасна, как ангел, — перебил франт, страстно взглянув на Александрина...

— В то время, — продолжала она, — умер мой отец. За несколько минут до смерти он призвал меня к себе и хотел открыть мне какую-то тайну... но силы изменили старику... страдания перемогли силу воли... Язык его онемел, вскоре онемело и тело: тайну свою он унес с собою в могилу. Не стану рассказывать вам, как много терпела я от злой мачехи, которая становилась несноснее по мере

того, как исчезал небольшой капитал, оставленный покойником. Бедность не замедлила явиться к нам со всеми своими ужасами. И когда!.. В то время, когда уже терпение мое начало истощаться, самоотвержение слабеть, сердце громче и громче жаловаться на скуку и бесцветную однообразность жизни, полной трудов и лишений, которая попрежнему оставалась для меня ненавистною, потому что когда-то я знала уже жизнь лучшую, независимую! Вдобавок ко всем огорчениям присоединилась новая беда, которая тогда казалась для меня всего ужаснее. Человек грубый, необразованный, буйный, которого я не любила, которого не могла любить, предложил мне свою руку. Мачеха моя неотступно требовала моего согласия. Ей это извинительно: она видела тут единственный способ спастись от угрожающей нищеты, но мне... Так долго терпеть, страдать, мучиться, в надежде, что когда-нибудь луч радости осветит хоть на минуту и мою бедную жизнь, что когда-нибудь и я узнаю счастье... и вдруг... отдаться навсегда человеку, к которому не привязывало меня никакое чувство, который был даже противен мне, потому что понятия его были далеко несходны с моими, далеко отстали от моих; обречь себя на бесцветную, скучную жизнь без любви, без счастья, без радостей; отказаться от всех надежд, всех обольстительных замыслов, которые так долго я лелеяла в душе моей, которые одни только поддерживали во мне мужество в темные дни горя... о, ужасно, ужасно! Не знаю, может быть, я ошибалась, но мне казалось тогда, что лучше быть заживо погребенной в могиле! Посещения жениха становились чаще и чаще. Требования мачехи настойчивее. Она то просила, то угрожала. Ежеминутно возрастающая бедность говорила красноречивее всего в пользу ненавистного брака. Но я не послушалась просьб и угроз мачехи, не послушалась угроз бедности, — я послушалась собственного моего сердца! Отказ мой взбесил жениха, ожесточил против меня мачеху. Она стала гнать меня из дому. Положение мое было ужасно. И вдруг явились вы... повторяю: помните ли вы тот день, когда в первый раз меня увидели...

Он молча взял ее руку и, казалось, хотел поцеловать, но она отняла ее и продолжала:

— Душа моя изнемогала тогда в невыносимых муках, я была на шаг от отчаяния... Вдруг я узнала вас... Вы

были молоды, богаты, знатны, я бедна и безвестна, — и вы обратили на меня внимание! Этого было довольно, чтоб привязать навсегда сердце несчастной девушки, всеми покинутой, заставить его биться чувствами уважения, благодарности... любви...

Александрина отерла слезы, наворачнувшиеся на ее ресницах. Молодой человек, казалось, тоже был тронут.

«Как она прекрасна теперь!» — думал он, смотрясь в ее прекрасные заплаканные глаза.

Она продолжала:

— Еы первый заговорили языком, понятным моему сердцу, вы сказали, что меня... любите... Буду говорить прямо, — зачем скрывать горькую истину, — вы меня обманывали, но, скажите, могла ли я не верить вам... могла ли устоять против обольщений любви, довольства, богатства, могла ли я устоять против моего собственного сердца? Нет, оно было слишком измучено горем, слишком жадно к радости, чтоб думать о чем-нибудь, кроме настоящей минуты. И вот я предалась вам... Скажите, виновата ли я, могла ли я поступить иначе и... не достойна ли я сожаления?..

Александрина горько заплакала. Молодой человек молча пожал ее руку.

— Оставьте же меня, — продолжала она после некоторого молчания, — оставьте на произвол собственной судьбы моей; оставьте меня с твердостью переносить участь, которую я сама себе приготовила, да, я одна. Я не виню вас: так поступил бы всякий на вашем месте. Перед вами широкий путь; жизнь вам улыбается, наслаждайтесь же ею, ловите ее радости, а я — я буду благословлять судьбу, если она позволит мне дожить тихо и безвестно остаток жизни, проливая слезы раскаяния и сожаления о прошлых заблуждениях...

Между тем молодой человек был как на углях. Александрина, которой он не видал и о которой не думал ровно полтора года, показалась ему гораздо привлекательнее прежнего. Лицо ее, разгоревшееся от долгого рассказа, дышало какой-то необыкновенной прелестью, глаза горели. Все это, не исключая и рассказа Александрины, привело молодого человека только к тому, что он по старой памяти начал разыгрывать перед бедною Александрою Ивановною роль пламенного обожателя. Есть

в свете люди — и их довольно много, — на которых не действуют никакие слова, никакие страдания ближних, хотя бы они сами были их причиною, которых эгоизм до того силен, что они почитают весь свет созданными только для них. К таким людям принадлежал Орест Андреевич Сабельский. Если добавить к тому, что Орест Андреевич был человек довольно пустой и ветренный, неспособный ни к каким глубоким ощущениям, что он был до крайности избалован счастьем, то об Оресте Андреевиче сказать будет больше решительно нечего.

— Простите меня, простите! я во всем один виноват, — начал он голосом нежным и вкрадчивым, — но вы бы не судили меня так строго, если бы знали обстоятельства, которые заставили меня изменить собственным чувствам. Вы напрасно думаете, что я обманывал вас, когда клялся любить вас вечно... Изменить клятве было не в моей власти, потому что я любил вас истинно; люблю и теперь еще, — может быть, более, чем когда-нибудь...

— Ах, забудем прошедшее! Поздно утешать меня, поздно оправдываться... Между нами ничего не может быть, кроме дружбы...

— Дружбы, дружбы!.. Пламень пожирает мое сердце... я так счастлив, что, наконец, после долгих исканий нашел ту, мысль о которой ни на минуту не покидала моего сердца...

И он ударился в чувствительную болтовню, в промежутках которой покрывал ее руки горячими поцелуями. Александрина уже не отнимала рук от губ Ореста. Она была женщина. Орест был ее первой любовью. Она чувствовала, что и теперь еще любовь к нему не совсем погасла в ее сердце. Притом Орест был большой мастер на сантиментальные фразы, которые женщины не совсем еще отвыкли принимать за чистую монету, несмотря на их явную пошлость и устарелость. Однажды Александрина скоро опомнилась. Ей стыдно стало слабости собственного сердца.

— Оставьте меня, оставьте! Я еще так мало умею владеть собою; но я не должна слушать вас, не должна верить вам, — сказала она, приподнимаясь с дивана и стараясь оторвать свою руку от губ Ореста.

Не успела она привести в исполнение этого последнего намерения, как вдруг дверь растворилась и в комнату

вошел мужчина среднего роста, довольно дородный и неуклюжий. Лицо его было рябо и некрасиво; около серых небольших глаз его почти не было век; нос, довольно большой, громко обвинял своего хозяина в близких сношениях с табаком. Одет он был в темнозеленый поношенный сюртук, застегнутый до верху, и в панталоны такого же цвета, без штрипок; на ногах его были смазные немецкие сапоги, потускневшие от ненастной весенней погоды. Кроме того, надо прибавить, что он ежеминутно моргал бровями без всякой пощады. Картина, представившаяся его глазам, казалось, так поразила его, что он долго оставался неподвижным на одном месте, безмолвно устремив вопросительный взгляд на смущенное, испуганное лицо Александрины.

— Ах, это вы, Карл Федорович! — сказала, наконец, Александрина, стараясь преодолеть свое замешательство. — Я вас сегодня не ожидала...

— Да, видно, что вы меня сегодня не ожидали! — отвечал Карл Федорович, как говорили в старину и как теперь выражаются люди, придерживающиеся старины, «с иронией», ломаным русским языком, искоса поглядывая на Сабельского.

Разговор опять прекратился. Александра Ивановна еще больше смутилась. Карл Федорович не переставал рассматривать Ореста. Орест был в положении человека, не знающего, что вокруг его происходит.

— Мне еще надо поспеть к девяти часам к князю Л***, а потом я дал слово быть в десять часов на вечере у камергера Флотова, — наконец сказал он, взял шляпу, рассеянно кивнул головой Александрине, сделал гримасу Карлу Федоровичу и вышел, ловко помахивая палкой из королевского дерева с костяным набалдашником, изображающим голову китайского мандарина пятой степени.

В комнате снова воцарилось молчание. Александрина, казалось, страшилась поднять глаза на Карла Федоровича. Он то переминал табак в табакерке, то чесал за ухом, не забывая беспрестанно моргать глазами. — Саперлот! — наконец проворчал он и понюхал табак; потом опять проворчал: — саперлот, — опять понюхал табак и... чихнул.

В комнате снова стало так тихо, что можно было услышать жужжание мухи.

— А я уж было приготовил новую карету, вместо старой коляски, которую вам дал покуда на подержание... Я нарочно торопил моих мастеровых, чтоб поскорей можно было праздновать свадьбу... Что я вам сделал, Александра Ивановна?.. За что вы меня так обидели? — произнес с расстановкою, после долгого молчания, Карл Федорович голосом, полным чувства и внутреннего волнения.

— Выслушайте меня, — сказала Александра Ивановна...

— Нечего выслушивать... Я не дурак, сударыня. — Прощайте, бог с вами!.. Пойду опять заниматься своим каретным мастерством: авось забуду вас...

— Ради бога...

Дверь снова отворилась.

— Что это? Никак Орест Андреевич у нас был опять. Я напилась чайку у Авдотьи Макаровны да иду домой; только я на лестницу, а он и нырь мне навстречу, да такой что-то печальный... Словно не солоно хлебал... Что ты ему молвила, Александррушка... Экой бессовестный — не постыдился на глаза-то явиться... — проговорила новопришедшая старуха в очках, снимая с себя верхнюю одежду. — Ба! Карл Федорович! Вы здесь, — продолжала она, увидев Карла Федоровича, — просим милости... Что же вы так невесело смотрите?.. Что, уж вы не поссорились ли с невестой-то?.. Поцелуйтесь же, приголубьте друг друга.

— Покорно вас благодарю, Анна Тарасьевна! — сказал Карл Федорович, держа под носом щепотку табаку, как надо полагать в нерешимости, которой ноздрей прежде понюхать...

— Да что же вы, словно как будто что-то у вас неладно?..

— Спросите у вашей дочери.

Анна Тарасьевна взглянула на Александрру Ивановну.

— Мать моя, что за оказия! Что случилось, прости господи?

Александра Ивановна закрыла лицо платком и ничего не отвечала.

Анна Тарасьевна взглянула на Карла Федоровича. Он попрежнему в нерешительности держал щепотку табаку под носом, но теперь уже на лице его можно было прочесть, что нерешительность более относилась к настоящему делу, чем к окончанию важного вопроса о табачной понюшке.

— Да скажите хоть вы, батюшка, Карл Федорович,

что случилось? Или вы со мной комедию играете? Грех шутить над старостью, прости господи!

— Я ничего не могу вам сказать... Прощайте.

— Да останьтесь, батюшка, помилуйте...

— Прощайте... Вы уж меня больше не увидите... Прощайте, Александра Ивановна... Я уж больше не приду...

— Что! — воскликнула Анна Тарасьева в недоумении.

— Куда нам, когда... ну, да мой больше ничего сказать не станет... Прощайте...

Он ушел.

Несколько секунд Анна Тарасьева пробыла безмолвною, неподвижною. Она была углублена в крепкую думу, терялась в каких-то догадках и предположениях... Наконец разум ее просветлел; она сделала быстрое движение к Александре Ивановне.

— Так, так, — начала она грозным голосом, — опять пакутила, сударушка! уж я предчувствовала! Детище балованное! что мне с тобой делать-то! Аль норовишь ты меня, старуху горемычную, в гроб уложить? Или тебе самой туда хочется?..

— Да, да! — сказала бедная жертва рыдая...

— Погоди, дождешься скоро. Теперь уж нечего продавать; не на что надеяться... уж теперь, не сегодня — завтра, придется нам умирать с голоду... вот убей бог, придется! Нашелся добрый человек, хотел было выпутать из беды... Богатый человек, свой завод каретный имеет... Я было и думала — слава тебе господи, житье наше горемычное переменится... Он было уж и о свадьбе замышлял... нечего сказать, добрая душа! Уж чего он для нас не делал. Он и долги-то заплатил, и одежды-то тебе нашил, и коляску-то прислал... вишь, нежна больно... привыкла кататься, как сыр в масле... пешком ходить не можешь... Уж чего бы, кажется, лучше! Так нет! опять сорванец тут как тут! Говори, озорница, где ты его нашла... как ты с ним съякшалась опять... Как ты перед женихом-то осрамилась...

Александра Ивановна ничего не отвечала; она знала, что оправдываться перед Анной Тарасьевной значило бы терять по-пустому слова.

— Молчишь, озорница, — продолжала старуха, — видно, сказать-то нечего...

И пошла, и пошла Анна Тарасьева мучить свою бедную падчерицу. И долго злилась она, и долго змеиный

язык ее не уставал в изобретении обид всякого рода. И больно было слушать слова ее Александре Ивановне, и страшно рвалось сердце ее, да нечего было делать — слушала... И горько было ей терпеть унижение от ехидной старухи, да нечего делать — терпела... Есть минуты в жизни, в которые человеку больше ничего не остается, как или броситься в реку с камнем на шее, или позволить делать с собой, что кто захочет. Единственное утешение человеку тогда — слезы!

III

ДРОЖКИ

- Извозчик!
- Куда прикажете?
- На Английскую набережную.
- Рубль двадцать.
- Пятналтынный.
- Ни копейки меньше.
- Двугривенный.
- За четвертак коли угодно садитесь.
- Двугривенный.
- Нельзя-с.
- Ну, так не надо.

Дама, торговавшаяся с извозчиком, отвернулась и пошла по тротуару с твердым, повидимому, намерением не заплатить больше двугривенного. Извозчик издали следовал за нею, с полной надеждою получить четвертак. Надежда его имела основанием между прочим то, что шаги дамы были тихи и неровны и явно обличали чрезмерную усталость или болезненное состояние идущей. По всему заметно было, что она, как выразился извозчик, «не далеко уйдет», то есть принуждена будет согласиться на его требование. Притом, одежда ее, хотя поношенная и простая, была еще не до такой степени бедна, чтоб заставляла предполагать в ее владительнице отсутствие пяточка серебром.

Однакож дама не останавливалась, даже не оглядывалась. «Не потерять бы седока», — подумал про себя извозчик, прикрикнув на лошадь, и пустился догонять даму.

— Право, недорого, сударыня, — закричал он, поровнявшись с нею, — дешевле никто не поедет. У меня

дрожки славные: ловко сидеть; и лошадь такая ухарская—мигом докатим!

— Двугривенный, — повторила дама и опять пошла вперед, не оглядываясь.

Извозчик опять отстал.

— Нет, видно, тут взятки-то гладки... Пожалуй, и так, ни за копейку уйдет, — сказал сам себе извозчик и снова прикрикнул на свою клячу.

— Что ж, сударыня, угодно прокатиться?

— Я уж сказала — двугривенный.

Извозчик помялся, почесал за ухом и сказал:

— Ну, нечего делать, садитесь... барыня-то добрая... может, на водку прибавите...

Дама почти в совершенном изнеможении опустилась на дрожки. Извозчик прикрикнул; дрожки, которые, не в укор будь сказано их сметливому хозяину, не совсем-то напоминали форму обыкновенных дрожек, поехали мерною шагообразною рысью по тряской мостовой, которая, к прискорбию порядочных людей, как известно, до того самолюбива, что всякому проезжему немилосердно жужжит в уши об услугах, которые ему оказывает.

После получасовой езды дрожки, наконец, остановились у подъезда уже знакомого нам дома на Английской набережной.

— Назад скоро поедете, сударыня? — спросил извозчик, сдавая, с стесненным сердцем, сдачу с полтинника.

— Скоро, — сказала дама и вошла в швейцарскую.

— Ради бога, — сказала она швейцару, — нельзя ли доложить обо мне барину так, чтобы никто, кроме его, не знал... Мне нужно его видеть на одну минуту...

Швейцар заспанными, красными глазами на выкате, которые, казалось, готовы были лопнуть от недавнего неумеренного употребления крепких напитков, смерил новопришедшую, приложил указательный палец ко лбу, как бы что-то вспоминая, и, наконец, сказал:

— Лопни мои глаза, я вас где-то видел, сударыня!

— Не об этом дело; скажи, можешь ли ты сделать для меня услугу, о-которой я тебя прошу.

— А что вы говорили? Я, кажется, ничего не слышал, отсохни правая рука — ничего. Позвольте, кажется, четыре года назад...

Незнакомка повторила просьбу.

— Вот уж хоть сейчас провались я сквозь землю, — нельзя... Ах, батюшки! Ну так и есть — я вас узнал! Та, та, та! Вот что!

— Пожалуйста; я буду тебя благодарить, — сказала дама с усилием, робко озираясь кругом.

— Да говорю же я — нельзя, а уж коли я говорю нельзя, так, значит, нельзя...

— Ну, так передай ему вот хоть это письмо поскорее... Ради бога! — Дама с умоляющим видом подала швейцару письмо. Она была в чрезвычайном волнении, беспрестанно робко озиралась во все стороны, как будто боялась чего, как будто ей стыдно было положения, в котором она находилась.

— Письмо? — сказал швейцар. — Провались я сквозь землю — ничего не понимаю...

— Кажется, нет ничего непонятного... Отдать...

— Отдать, да как я его отдам?.. Ведь барина-то нет в Петербурге... отсохни рука по локоть — нет... Он, видите, как говорят господа, давно уж вышел из границ: в Италию укатил!

Известие это, казалось, не слишком сильно поразило незнакомку. Напротив, при внимательном взгляде на нее, в первую минуту можно было еще прочесть на лице ее след какой-то нечаянной радости...

Она вышла из швейцарской.

В то время из ворот дома к подъезду его подлетела карета, лакей сошел с запяток и скрылся в швейцарской. Извозчик, который, втайне радуясь приприснувшему дождичку, с нетерпением ждал возвращения незнакомки, при приближении кареты отъехал несколько в сторону...

— Что ж, прикажете подавать, барыня? — весело спросил он, увидя незнакомку...

— На Петербургскую сторону.

— В которую улицу?

— К Карповке.

— Два двугривенных.

— Четвертак.

— Нельзя-с; теперь грязно ходить; дождь-то порядочный... Седоков много будет... Платье испортить никому не охота.

— Четвертак.

И опять началась сцена, подобная давишной, которую православные русские извозчики имеют привычку разыгрывать почти со всяким седоком своим, не имеющим охоты бросать им лишние деньги.

Ряда на нынешний раз состоялась за три гривенника. Дрожки тронулись. В то же время из дома, в котором была незнакомка, вышли мужчина и дама и сели в карету. Карета быстро промчалась мимо дрожек. Грязь от колес ее брызнула на платье и на лицо незнакомки. Односложное восклицание страха и удивления вылетело из уст ее...

— Он здесь! Он не велел принимать меня... Но все равно, по крайней мере, я избегла унижения! — проговорила она через несколько мгновений, следя глазами за удаляющейся каретой...

В Петербурге, в числе многих прекрасных обыкновений, есть обыкновение строить дома с подвалами, то есть оно, если хотите, не совсем с подвалами, а, как бы вам сказать — с нижними жильями, которые до половины находятся в земле, а другою половиною смотрят на свет божий чрез небольшие окна, опирающиеся с улицы на мостовую. В них, как надобно полагать, жить чрезвычайно приятно. Во-первых, одно удовольствие нанимать квартиру —

Ни на земле, ни под землею,

и притом за довольно дешевую цену в отношении к ценности других квартир должно возвышать человека до самого верхнего этажа дома, в подвале которого жить имеет он счастье. Во-вторых, его должно услаждать то, что он уже никогда не будет страдать чахоткою, если не получит ее во время обитания в вышеупомянутом жилище «ни на земле, ни под землею». В-третьих... но всех причин не перечтешь и до завтра... Чем предполагать, войдем лучше в один из таких подвалов и поверим предположения. Вот мы и вошли. Комната довольно чиста и опрятна; пол вымыт, выметен, мебель... Но где же тут мебель? Два плетеные стула, один кожаный; диван турецкий, зачиненный в разных местах русской выбойкой; столик маленький некрашенный, с отверстием в боку, напоминающим, что в нем был некогда ящик. Другой стол побольше в углу; на столе глиняная кружка, кувшин, несколько тарелок, три деревянные ложки и одна...

позвольте... точно серебряная... что за роскошь? серебряная ложка! Налево от двери русская печка, которая, как можно заметить, несколько дней уже не топлена. На припечье сковорода, в углу дружно с кочергою ухват; в печурке сереньки, кремь и огниво. Направо от двери вешалка с женской одеждой; ее немного: три ситцевых платья, драдедамовый выношенный салоп и... позвольте... точно... бархатный черный капот, почти новый и прекрасно сделанный... опять роскошь!.. Но вот, кажется, и всё... нет... позвольте, мы забыли сказать главное. В дополнение ко всему, что мы описали, на диване сидела, сторбившись, старушка, с чулком в руке, который она старательно вязала, пристально глядя на свою работу в большие очки в медной оправе, которые были вздернуты на ее достаточно дородный нос.

В то самое время, когда она подбирала спустившиеся петли, дверь отворилась и в комнату вошла известная уже нам женщина.

— Ну что? — сказала старуха.

Новопришедшая печально покачала головой.

— Как, ничего? Ах, безбожная душа!

— Я его не видала.

— Александра Ивановна, мать моя, — побойся бога. Ты меня, бедную старуху, с голоду, что ли, уморить хочешь?

— Я сделала все, что могла; я решилась на унижение...

— И, матушка, что тут за унижение!

— Я решилась просить милостыни у человека, которого презираю, ненавижу...

— Ну, что ж дальше?

— Но бог сам не захотел допустить меня до этого унижения. Он меня не принял и, верно, никогда не примет, потому что велел сказывать, как я догадываюсь, нарочно для меня, что он уехал из Петербурга.

— Ах, окаянный! Да ты-то чего смотрела... — И старуха опять с ожесточением напустилась на Александру Ивановну, которую вы, верно, давно уже узнали.

— Послушайте, Анна Тарасьева, — сказала несчастная жертва решительно, — я долго терпела, теперь не могу терпеть больше. Вы несправедливы, мало того, вы жестоки ко мне. Вы делали меня одну виновницей наших горестей, нашей бедности — я молчала; вы беспрестанно

преследовали меня упреками и бранью — я терпела. Вы заставляли меня делать больше, чем я могла, — я не противоречила. Я сносила все, потому что была действительно виновата, хотя не столько, сколько вы меня обвиняли, но все-таки много, очень много. Я даже радовалась, когда вы терзали мое сердце; для меня тут была сладкая, невыразимая отрада: я чувствовала, что еще в земной жизни начинаю искупать заблуждения неопытной молодости... Но всему есть конец; в сердце человека есть такие струны, которые, когда их неосторожно затронут, нелегко смиряются при всех усилиях воли и разума. Несмотря на ваше дурное обращение со мною, на вашу беспрестанную суровость ко мне, я старалась сколько могла о вашем спокойствии, более своего собственного. Я уже сказала и повторю не без гордости, что когда я увидела вас плачущую, отчаивающуюся, с трепетом с часу на час ожидающую неумолимой нищеты, — я решилась на величайшее унижение, какое только для меня возможно в жизни, я решилась принести для вас жертву, более которой я не могла принести ни для кого... Последнее, что оставалось мне в утешение, — моя благородная гордость, право — вечно и самостоятельно презирать низкого виновника моих страданий, — я и тем решилась для вас пожертвовать... Я решилась преклонить перед ним колена, просить у него помощи, просить у него куска хлеба, умолять его... тогда как целый ад в душе моей кипит против этого человека, когда при всех усилиях я не могу даже думать об нем без презрения; тогда как я знаю, что благодеяние его обожжет мою руку, лишит последнего спокойствия мое бедное, убитое сердце... И я решилась на все это для вас... Не знаю, откуда взялась у меня решимость, но знаю, что если б теперь мне пришлось сделать это — я бы не могла... О, боже мой! Не мучьте же меня, не язвите упреками, иначе я буду думать, что смирение мое неприятно богу!

Александра Ивановна подняла голову на старуху. На желтом, морщинистом лице ее заметно было борение разнородных чувств. Кроткие, убедительные слова страдальцы, наконец, заметно тронули черствую душу Анны Тарасьевны... В глазах ее заблестали слезы...

— Так, так, дитя ты мое! Прости меня, если я виновата. Но ведь что же делать! Как подумаю, что мне, старухе, не сегодня — завтра придется взять суму да итти по-

миру, так на сердце и заскребет. Уж тут, рада не рада, слово лишнее вымолвишь... А как пораздумаешь, да поразгадаешь — так во всем виноват он, злодей наш, чтоб ему ни дна, ни покрывки. Вот хоть бы из-за чего вы разошлись с Карлом Федоровичем? Он хоть немец, а человек добрый, любил тебя и ты его...

— Ах, нет, я уже не могу любить. Только для вас, для вашего спокойствия я решалась пожертвовать ему жизнью, но... видно, так уж судьбе угодно; может быть, и к лучшему...

— Так, дитя мое, верю. Да что мы будем делать-то... Вон хоть бы сегодня: и есть-то нечего, и истопить-то нечем, и хозяин-то за квартиру требует... говорил, что если сегодня же не отдадим, так из дому выгонит... От него станется... жид, прости господи! Вся надежда была... ну, да что поминать... Послушай ты, дитятко мое, утешь ты меня, старуху слабую, сходи к графине-то...

— Нет, нет!

— Она такая добрая. Ономясь меня встретила, так обрадовалась; уж я не ждала, не гадала такого счастья — чуть не обняла меня среди улицы! «Я, говорит, вас искала с самого приезда в Питер... вот уж четвертый год... ни слуху, ни духу... Что, здорова ли Александра Ивановна?» А я ей: «Здорова, матушка графиня, много благодарна, что вспомнили!» — «Где вы живете?» Я сказала ей, что здесь, так чуть не заплакала... «Шутка ли, говорит, в такую глушь забрались... видно, вы бедны... Приходите ко мне завтра же, приходите... да непременно...» Право, такая добрейшая! Отчего тебе не сходить-то к ней? Она тебя так любит... Сходи, утешь ты меня!

— Нет, не просите меня... все будет напрасно. Графиня — женщина, которой я всем обязана, которая заботилась обо мне, как мать, которую я любила всем сердцем, которая меня так любила... О, посмею ли явиться к ней, посмею ли я, создание ее благотворительности, предстать пред нее убитая, униженная, покрытая стыдом... Как мне будет поднять на нее глаза, как принимать ее ласки, когда я знаю, что недостойна их... Нет, пусть она никогда не знает ужасной судьбы моей, пусть она думает, что я счастлива...

— Но, дитя ты мое, как же мы будем жить?

— Я соглашусь лучше ходить по-миру, чем огорчать

мою благодетельницу своим присутствием. И к тому же, когда она увидит, что попечения ее были обращены на недостойную, что старания ее пропали даром, — может ли она почувствовать ко мне что-нибудь, кроме презрения?.. Простит ли она меня когда-нибудь?..

— И, полно! почем она будет знать...

— Как, вы хотите, чтоб я ее обманывала... ее, мою благодетельницу, мою вторую мать! Вы думаете, что я способна заплатить ей такую низостью за все ее благодеяния... О, нет, никогда, никогда!

Стук приближающегося экипажа раздался под окнами; Анна Тарасьева с любопытством просунула голову в форточку.

Появление модного столичного франта в уездном городе, появление беспристрастного суждения в пристрастном журнале, появление должника к кредитору, появление кометы, предсказанной астрономами в небе, появление хорошей книги в русской литературе, наконец, появление богатой, великолепной кареты в отдаленном углу Петербургской стороны — как всякому известно и ведомо, вещи чрезвычайно редкие, необыкновенные. Каково же должно быть удивление Анны Тарасьевны, которая вдруг увидела из окон своей бедной комнаты карету, красивую, новомодную, запряженную четверкою лихих лошадей. Но удивление ее возросло еще более, когда она увидела, что карета остановилась у ворот дома, в котором они живут...

— Карета, карета! — закричала Анна Тарасьева, — посмотри, Александра Ивановна, кажется, это карета?

Александра Ивановна по примеру старухи просунула голову в форточку.

— Точно карета. А, вот из нее кто-то выходит... барыня, вся в черном.

— Уж не к тем ли, что живут во втором этаже?

— Не знаю, к ним, кажется, никто прежде не ездил даже на дрожках.

— Так к Воробиним?

— Они купцы, а это карета барская, с гербами.

— Ну, так к этому толстому чиновнику с крестом, что один занимает восемь комнат?

— Что вы! Ведь он позавчера выехал...

— Ну, так к кому же?

Ответ явился сам собою, самый неожиданный. Женщина, повидимому лет шестидесяти, одетая в черное бархатное платье, слабыми, дрожащими стопами вошла в убогое жилище наших знакомок. Лицо ее могло служить самой верной моделью глубочайшей старости. Желтое, морщинистое, безжизненное, но подернутое глубокою думою, оно представляло живую развалину, много говорящую сердцу о прошедшем и еще больше наводящую на идею о грядущем.

— Графиня, ваше сиятельство! — закричала старуха, почти обезумевшая от нечаянного, никогда неожиданного посещения именитой гостьи, — помилуйте! что изволите приказать?

— Не беспокойся, моя милая, — отвечала графиня, блуждая глазами по комнате.

— Боже мой! кого я вижу! — вскричала Александра Ивановна, которая долго смотрела на графиню в какой-то нерешимости, долго вслушивалась в разговор графини с ее мачехой, как бы не доверяя своему слуху.

— Александрина! О, наконец, я нашла тебя! Благодарение всевышнему! Что же ты неподвижна? Разве ты не узнала меня, разве ты уже не любишь меня?

И графиня простирала объятия к прежней своей питомице. Александра Ивановна не трогалась с места. Страшная борьба происходила в душе ее.

— Что же... подойди же к ее сиятельству, — шепнула ей Анна Тарасьева.

— О, скорей, скорей в мои объятия, — продолжала графиня.

— Я не смею, я не должна... — начала Александра Ивановна.

— Простите ее, матушка, ваше сиятельство, — быстро перебила Анна Тарасьева, — она так обрадовалась... Ну, полно, опомнись, — продолжала она, обращаясь к Александре Ивановне, — поздоровайся же с ее сиятельством.

Александра Ивановна медлила. Старуха почти силой толкнула ее в объятия графини.

О, как судорожно, как болезненно билось сердце бедной Александры Ивановны, когда она обнималась с графинею!

— Я так давно не видала тебя; но не думай, чтоб я не

попрежнему любила тебя. Бедное, бедное дитя мое, сколько ты, я думаю, претерпела в эти восемь лет, между тем, как...

Графиня отерла слезу.

— Обстоятельства не позволили мне тобою заняться. Совсем неожиданно я должна была удалиться из Петербурга, и ты осталась одна, без друга, без руководителя... сколько ты должна была претерпеть...

— Да, я много плакала, когда вы уехали; мне казалось, я лишилась матери...

— Матери? — повторила графиня, с каким-то особенным чувством в голосе, — тебе казалось, что ты лишилась матери?

— Да.

— А теперь, в эту минуту, что чувствуешь ты?..

— Мне кажется, что я опять нашла ее.

Графиня хотела что-то сказать, но вдруг остановилась и только молча обняла Александру Ивановну.

— О, как я счастлива! — продолжала графиня после некоторого молчания; — но ты, ты, дочь моя, так же ли любишь меня?..

— О, как же, ваше сиятельство; только у нас и речи было что об вас... уж так вас любит, — перебила старуха.

— Первым желанием моим по возвращении в Петербург, — продолжала графиня, — было увидеться с тобой, моя шалунья... О, ты была большая шалунья в детстве!.. Я употребляла все средства, чтоб найти вас, но старания мои были напрасны. Наконец бог сжалился надо мною... При выходе из церкви я встретила твою мачеху... Но почему же ты, друг мой, не пришла ко мне тогда же?.. я ждала. Или она тебе не говорила...

— Графиня, я не смела... — начала Александра Ивановна...

— Виновата, матушка, ваше сиятельство... совсем запамятовала... ох, старость не радость! Только сегодня вспомнила... — перебила старуха, делая глазами знаки Александре Ивановне.

— Жаль, я ждала, ждала; наконец сердце мое не утерпело...

— Как вы добры, графиня!

— Но вот мы, слава богу, вместе. Расскажи-ка мне, друг мой, как вы жили здесь...

— Ах, графиня, — начала Александра Ивановна с глубоким вздохом.

Но Анна Тарасьева опять перебила ее, сделав тот же выразительный знак глазами...

— Уж как жили, — заговорила она скороговоркою, не давая времени падчерице, которая в сильном беспокойстве снова было пробовала начать речь; — пока жив был мой покойник, ну ни то, ни се, и деньжонки водились... а как умер, разумеется, беда наша пришла: с утра до ночи за работой, тем только и хлеб добывали, матушка...

— Жалко, но что делать, честная бедность все-таки лучше богатого бесчестья, — сказала графиня.

Александра Ивановна хотела что-то сказать.

— Молчи! — шепнула ей Анна Тарасьева, делая опять прежнюю гримасу глазами. — Уж так ли бились, только на бога и надеялись, — продолжала старуха, обращаясь к графине, — да на вашу честь...

— Бедная Александрина! Ты много терпела, но наконец ты будешь награждена... Муж мой умер, детей у меня нет, родственников близких тоже; я уже сама стою одной ногой в гробу... ты не будешь жаловаться... я должна позаботиться о судьбе твоей...

Анна Тарасьева с жадностью вслушивалась в слова графини. Александра Ивановна была в страшном беспокойстве. Нескóлько раз она хотела говорить, но то повелительный взгляд мачехи удерживал ее, то голос невольно замирал на ее устах от внутреннего волнения.

— Покуда я жива, — продолжала графиня, обращаясь к Александре Ивановне, — ты будешь жить в моем доме, вместе со мною...

— Графиня, — воскликнула Александра Ивановна решительно, — я...

— Наконец господь сжалился над нами! — перебила Анна Тарасьева, стараясь заглушить голос падчерицы.

— А когда богу угодно будет, — продолжала графиня, — призвать меня на суд свой, что, вероятно, случится скоро, тогда я даю обещание оставить тебе, милая Александрина, все мое имение...

— О, как вы добры, матушка графиня; вы просто праведница: наградит вас бог по заслугам...

— Вот, друг мой, что я давно хотела тебе сказать, зачем я тебя искала... Надеюсь, ты простишь мне, что

восемь лет я принуждена была оставить тебя на произвол судьбы.

Александра Ивановна молчала. Страшная буря происходила в душе ее.

— Что ж ты не благодаришь ее сиятельство, чего ты испугалась? — шептала ей торжествующая Анна Тарасьева.

Но Александра Ивановна совсем не об том думала. Долго в чертах ее заметна была нерешительность, смешанная с совершенным отчаянием; наконец она решилась; черты ее приняли величественную твердость: лицо просияло.

— Графиня, — воскликнула она, падая перед нею на колена, — выслушайте меня... Я недостойна вас, недостойна ваших милостей. Вы ужаснетесь, если я скажу вам, кого за несколько минут сжимали вы в своих объятиях...

— Что ты, с ума сошла! — прошептала ей старуха, но на сей раз старания ее удержать падчерицу были тщетны.

— Не мешайте мне; дайте мне произнести собственный приговор свой, — продолжала Александра Ивановна твердо и решительно. — Графиня, обратите свои милости на другую: я недостойна их. Вы теперь удивляетесь, вы готовы собственными слезами искупить мои, но погодите минуту — вы будете гнушаться мною; вы с негодованием оттолкнете ту, которую осыпали вашею благосклонностию... О, я знаю слово, страшное слово, которое оттолкнет вас от меня, сделает вас врагом моим из благодетельницы, вырвет с корнем малейший остаток привязанности ко мне... О, я хорошо знаю такое слово... и я назову его... это слово — позор, позор...

— Что с тобою, дочь моя? — воскликнула изумленная графиня.

— Да, графиня, позор — и он тяготит над моею головою... Не называйте меня вашей дочерью! Нет, я сама вижу, чья дочь я: во мне низкие чувства; я не предпочла, как вы говорите, честной бедности богатому бесчестью... Нет, я...

— Что я слышу? Дочь моя... позор... Боже мой! — с ужасом воскликнула графиня глухим, болезненным голосом. Лицо ее побелело, губы посинели; ее можно было

принять за мертвую... Она сильно пошатнулась и без чувств упала на спинку дивана...

— *Дочь моя!* — воскликнула Александра Ивановна быстро, слабым, дрожащим голосом. — Графиня! каким голосом были сказаны эти слова? Я прежде часто их от вас слышала, но никогда они не производили на меня такого впечатления... Отвечайте мне, отвечайте!

Графиня была безмолвна и неподвижна.

— Господи! что с вами, матушка? — вскричала, наконец, Анна Тарасьева, которая с отчаянья, с досады на откровенность падчерицы почти потеряла рассудок и слушала ее с каким-то тупым вниманием, решительно не принимая участия в ее словах. Наконец блуждающий взор ее упал нечаянно на графиню. Господи! что с вами, матушка, — повторила она, подбегая к графине. — Лицо, как воск, руки холодны. Мать пресвятая богородица! Да она мертва... или нет... дышит... Батюшки мои, батюшки! лекаря надо, лекаря.

И Анна Тарасьева выбежала из комнаты.

Александра Ивановна, сильно взволнованная, увлеченная своим положением, ничего не замечала. Долго напрасно ждала она ответа на свой полустранный, полубезумный вопрос. Волнуемая различными безотчетными ощущениями, нетерпением, страхом, она, наконец, приблизилась к графине, но не заметила ни признака жизни в ее лице. Графиня была попрежнему неподвижна, безмолвна, бесчувственна, может быть мертва.

Ум Александры Ивановны до того был взволнован, что она даже не могла составить основательной идеи о положении, в котором находилась бесчувственная графиня; но отчего-то ею вдруг овладела какая-то тоска, горькая, невыразимая. Она громко зарыдала.

Послышался стук экипажа, и чрез минуту вошла Анна Тарасьева с доктором.

Доктор долго щупал пульс графини, прикладывал руку к ее сердцу, всматривался в ее лицо и, наконец, сказал с расстановкою:

— Удар; должно быть, что-нибудь сильно поразило ее... Временное бесчувствие, онемение, или, может быть... надобно немедленно перенести больную в сухую, теплую комнату... нужны немедленные пособия... нет ли спирту?

Все усилия доктора привести графиню в чувство остались бесполезны. Наконец, после долгих недоразумений, больную отнесли на руках в карету, которая тихим, осторожным шагом отправилась в ее дом, предоставив смиренным жителям и в особенности жительницам Петербургской стороны рассуждать о минутном явлении ее в их мирном крае, как кому заблагорассудится.

В то же время в дверь бедной квартирки нижнего этажа вошел человек, повидимому из простого звания, в сером армяке, подпоясанный красным, полинялым кушаком, и чрез минуту возвратился назад в какой-то несвойственной ему задумчивости...

— Уж как хотите, хозяин, — сказал он, увидя сходящего с лестницы второго этажа пожилого человека, одежда которого свидетельствовала, что он был купец, — ступайте сами, а я не могу больше требовать с них денег; не пойду к ним...

— А что? — спросил купец.

— Да молодая-то стоит на коленях перед образом и молится и горько плачет; так, сердечная, и заливается, больно глазам смотреть; а старая так сердито смотрит, словно помешанная... страшно, хозяин... да и как-то сердцу-то тошнехонько, глядя на них... язык не поворачивается сказать...

— А вот я сам схожу; у меня мигом очистят, — сказал купец. — Ты, видно, только и мастер двор мести...

Купец решительными шагами пошел в квартиру нижнего этажа, а сострадательный человек, который, повидимому, занимал здесь должность дворника, взял метлу и принялся мести двор, оставаясь попрежнему в несвойственной ему задумчивости.

IV ДРОГИ

Весна, весна! В то время, как тебя называют лучшим временем года, когда поэты сравнивают тебя с эдемом земным, в то время, когда так много ждут от твоего целебного, благоухающего воздуха больные, — ты в Петербурге, по старой привычке, не перестаешь быть сырою, грязною, вредною и совершенно лишенною жизни... По-

нятно, за что тебя славят жители стран полуденных: ты хороша, ты полезна, благотворна — там, далеко, под чистым южным небом; ты тоже хороша, полезна для поэтов, потому что твой май очень хорошо рифмуется с любимым их словом — рай, которым они по сему случаю величают тебя, для больных ты, добрая петербургская весна, удивительно полезна, особенно для чахоточных: они вечно должны благословлять тебя... там... ну, знаешь, куда ты их отправила... Но для нас, настоящих жителей севера, людей прозаических, людей, не страдающих чахоткою и рифмобесием... скажи, что для нас в тебе привлекательного, за что мы каждый год надеемся и каждый год обманываемся, а все-таки не перестаем верить в приписываемые тебе достоинства, не перестаем надеяться, для того, чтоб снова быть тобою обманутыми? Привычка, привычка, привычка!

Весна 1840 года была точь-в-точь такая, какие обыкновенно были и, вероятно, будут в Петербурге до того времени, когда великолепный град Петербург сойдется клином, то есть когда он, по замысловатому предположению одного китайского студента, соединится с Москвою... Только в то время жители Петербурга могут надеяться иметь весну московскую, а до тех пор им должно будет довольствоваться петербургскою, т. е. они, по обыкновению, принуждены будут называть весною время разведения мостов и продажи зеленого лука.

Не знаю, известно ли читателям, что в Петербурге, кроме многих известных чудес, которыми он славится, есть еще чудо, которое заключается в том, что в одно и то же время в разных частях его можно встретить времена года совершенно различные. Когда в центре Петербурга нет уже и признаков снегу, когда по Невскому беспрестанно носятся летние экипажи, а по тротуарам его, сухим и гладким, толпами прогуливаются обрадованные жители и жительницы столицы в легких изящных нарядах, — тогда в другом конце Петербурга, на Выборгской стороне, царствует совершенная зима. Снег довольно толстым слоем лежит еще на мостовых; природа смотрит пасмурно и подозрительно; жители выходят на улицу не иначе, как закутавшись в меховую одежду. Здания пасмурны и туманны; на заборах, из-за которых выглядывают угрюмые деревья, до половины прикрытые снегом, стелется

иней; из десяти извозчиков только один и то с отчаянием в сердце осмелился выехать на дрожках. О, как далеко Выборгской стороне до Невского проспекта! Как бы я хотел теперь побывать с вами на Невском проспекте, показать вам на деле все неизмеримое расстояние между ним и Выборгскою стороною, но, по долгу добросовестного описателя истинного события, я должен отказаться от своего желания. Вот картина, на которой давно бы уже пора исключительно остановить ваше внимание.

Видите ли вы печальный поезд, который тянется понаправлению к церкви Спаса в Бочарной?.. Простые дроги, запряженные в одну лошадь, и на них гроб, — белый, ничем не обитый, без всяких украшений; за гробом подслепая старушка, нищенски одетая, согбенная под тяжестью лет, с слезами на глазах, с безотчетно грустным выражением на желтом, безжизненном лице. За нею двое мужчин, повидимому из ремесленников. Отчего так уныл, так невыразительно туп взгляд этого доброго человека в зеленой венгерке, который идет по правую руку? Он смотрит на гроб пристально, задумчиво... Вот лицо его начало одушевляться, вот слезы показались на глазах, вот он вздохнул тяжело, болезненно... Кого потерял он, о ком его истинные, непритворные слезы? И отчего тот, который идет рядом с ним, так бесчувственен, так равнодушной, что даже заглядывается по сторонам в окошки домов? Отчего такие разнородные ощущения производит одно и то же обстоятельство?.. кто еще провожает покойницу? Никого... неужели эта богатая, великолепная карета, которая шагом идет в отдалении, принадлежит к печальному поезду... О, нет, верно, нет!

Но вот картина исчезла: гроб внесли в церковь. Провожавшие ушли за гробом.

В то время к Воскресенскому мосту подъехала коляска. Кучер осадил лошадей и остановился.

— Что ты стал? — раздался голос из коляски.

— Нельзя-с; мост только наводят.

— Чорт возьми, почему так поздно? Другие мосты давно уже наведены, — с гневом сказал господин в темно-коричневом пальто, высунувшись из коляски...

— Наведен-то был он давно, да опять нужно было развести... Ладожский лед пошел, ваше благородие, — сказал, подходя, один из рабочих...

— Чорт возьми! ждуть! я так доволен местом, которое присмотрел для моей дачи... У меня уже в голове вертится план, как устроить ее... Надобно торопиться, чтоб в мае была готова, — бормотал про себя господин в темнокоричневом пальто...

— Извольте пообождать маленько, ваше благородие... Тотчас наведем, — сказал рабочий.

— А другие мосты тоже разведены?

— Вестимо, ваше благородие.

Господин в коричневом пальто с неудовольствием вышел из коляски и пошел удостовериться, точно ли мост может быть наведен скоро...

— Живее, — закричал он, — на водку целковый получите!

Желая как-нибудь сократить время, господин в темнокоричневом пальто вздумал пройтись по Выборгской стороне, узнать покорооче угол Петербурга, о котором он не имел никакого понятия... Бродя по улицам, он, наконец, пришел к церкви Спаса в Бочарной; ему пришла идея зайти туда.

— Кого хоронят? — спросил он у подслепой старухи, которая с свечой в руке стояла за белым простым гробом и усердно молилась, проливая слезы.

— Так, бедную, ваша милость. Платье стирала на господ покойница, царство ей небесное!

Старуха набожно перекрестилась.

Новопришедший обвел глазами церковь. Она была почти пуста. Кроме старухи в стороне стояло еще двое мужчин, у стены несколько нищих, церковный сторож — и только. Нет, позвольте. В отдаленном темном углу стояла на коленях какая-то дама. Черный наряд ее сливался с мраком, царствовавшим в храме; она была почти незаметна. По временам только глубокие вздохи и певчатые слова вылетали оттуда, где она стояла, напоминающая тем о ее присутствии. Картина была печальная и глубоко-трогающая. Унылое пение глухо и протяжно разносилось по сводам. Нельзя было не задуматься.

Пение кончилось. Стали прощаться с покойницей. Подошла старуха, ломая руки, делая судорожные гримасы отчаянья. Ее насильно отвлекли от трупа покойницы. Подошел и пожилой человек, в зеленой венгерке с меховым воротником — поцелуй его был силен и продолжителен,

как будто б он хотел передать в нем душу. Подошел и товарищ его, хладнокровный зритель печальной картины; подошел и тоже поцеловал покойницу. Но что был его поцелуй? Уже крышка гроба готова была захлопнуться, как вдруг мерными, дрожащими шагами приблизилась к гробу старая дама в черном наряде, и от бессилия, от страшного потрясения почти без чувств упала на труп покойницы...

Господину в коричневом пальто показалось странным присутствие дамы, повидимому довольно важной, при похоронах простой прачки. Им овладело любопытство увидеть покойницу.

Как скоро дама отошла от гроба, известный нам господин не замедлил занять ее место.

Он остолбенел, казалось, от изумления. Лицо его страшно изменилось. Через минуту он опять нагнулся к покойнице и долго пристально рассматривал черты ее.

— Как звали покойницу? — быстро спросил он, подходя к подслепой старушке.

— Александрой, батюшка, — отвечала она, всхлипывая.

Господин в коричневом пальто пошатнулся. Глубокий вздох вылетел из его груди.

Крышка готова была уже закрыться, но он снова подбежал к гробу — нагнулся и напечатлел поцелуй на губах покойницы.

Когда он поднял голову, по щекам его катились крупные слезы...

Гроб вынесли из церкви. Все вышли. Старая дама села в карету и опять поехала поодаль. Двое мужчин и подслепая женщина пошли за гробом...

— Мост давно наведен... Мы ждем вас, — сказал кучер господина в коричневом пальто, когда увидел его задумчиво идущего за печальной процессией...

Господин в коричневом пальто продолжал идти за гробом, приказав кучеру ехать за ним...

— Вы здесь, батюшка Карл Федорович, — сказала подслепая старуха, обращаясь к пожилому мужчине в зеленой венгерке, — как я давно вас не видела... с тех пор... А как вы известились о нашем-то несчастье?

— Мне сказал ваш брат — Егор Клементыч, — отвечал Карл Федорович, указывая на своего товарища...

— Ах, батюшка, уж сколько мы помучились-то... куда горя много натерпелась несчастная — ну, да теперь конец всему... У меня, у старухи, сердце обливалось кровью, смотря, как она мучилась, сердечная... Уж кабы не братец Егор Клементьевич подоспел... я бы не знала, как и с похоронами справилась...

— Ах, жалко, жалко, — пробормотал Карл Федорович со слезами...

— А все сама покойница. Такая была деликатная... Ведь после-то, Карл Федорович, приехала к нам старая графиня, такая добрая... вот она и теперь здесь... хотела взять ее к себе в дом, да то ли еще, хотела сделать своей наследницею... так нет, ничего не взяла... Я-де недостойна вас... буду жить своими трудами, буду грехи отмаливать... Я было, признаться, посерчала на нее, да потом сжалилась... Опять стала с ней вместе жить да горе мыкать... Вот и поселились мы здесь... и стала она белье стирать и всякую черную работу делать; право, тем только и жили: а от графини не хотела взять ничего... упросила и меня не брать... я, говорит, поссорюсь с вами... такая деликатная! Шесть лет так маялись... Ну, да теперь... — Старуха показала рукою на гроб...

— А кто эта графиня? — спросил Карл Федорович у своего товарища.

— Наша прежняя барыня, — отвечал Егор Клементьевич.

— Между нами будь сказано, — отвечал Егор Клементьевич таинственно, — чуть ли покойница-то не ее дочь... Ну, понимаете?... Теперь уж можно сказать... У моего брата, который был управляющим у ее сиятельства, детей-то от первой жены не было... да и от второй бог не дал... Графиня-то, знаете, в молодости... Ну, да кто богу не виноват! Царство небесное брату; за него-то и нас отпустили на волю.. Я и не видался с ним перед смертью... Все жил в Рыбинске: там у меня своя лавчонка... Третьего дня приезжаю в Питер... спрашиваю, где брат; говорят: богу душу отдал... отыскиваю родных и нахожу дочь-то его уж на столе, холоднехонька... А старуха лежит на полу... да благим матом воет; я и взялся по родству похоронить дочь-то братнину... или... то есть, как хотите.

— Понимаю, — сказал Карл Федорович. — А хорошая была девушка; я любил ее... ах... очень любил!

И Карл Федорович опять горько заплакал...

Приехали на Охтенское кладбище. Гроб опустили в могилу; священник бросил горсть земли на гроб; за ним бросили присутствующие, и могильщики принялись за свое дело.

Графиню почти без чувств отнесли в карету. Господин в темнокоричневом пальто во все пребывание на кладбище ходил потупя голову, как бы не желая быть узнанным или, может быть, от чрезвычайного огорчения.

И разошлись люди, и скоро снова предались они суетным заботам жизни. Люди всегда — люди! Смерть ближнего, самый лучший урок для человека, сильно потрясает здание его суетности; но проходит время... впечатление слабеет... и все забыто! Люди снова хлопочут, враждуют друг против друга, думают, придумывают, хитрят, снова лезут из кожи для достижения минутного непрочного блага; снова они ходят, бегают, ездят в каретах, колясках, дрожках до тех пор, пока смерть не подает им общий экипаж человечества — дроги!

НЕСЧАСТЛИВЕЦ В ЛЮБВИ

или

Чудные любовные похождения русского Грациозо

I

«Que font quelques femmes? Elles babillent, s'habillent et se déshabillent»¹, — сказал Панар; истина неоспоримая, которая была бы еще выпуклее, если бы почтенный автор слово quelques² заменил членом les³... Не говорите мне о постоянстве женщин, о том, что они способны на все великое и прекрасное, о самоотвержении и героизме их: не верю, тысячу раз не верю... Женщина создана для шутки; есть не что иное, как шутка; жизнь ее замысловатая шутка, страсти ее — шутка, и способна она на одни великие мелочи, на одни шутки!.. Не говорите мне, что она в состоянии понять высокую, фанатическую любовь мужчины: она притворяется, что понимает ее; мужчина верит ей на слово, и скоро узнает, что то была новая шутка!.. Я ненавижу женщин, и смело сознаюсь в том, не боясь мщения прекрасного пола.

Но не так легко искоренить заблуждение веков одними словами, без доказательств, и потому, как человек, постигающий всю важность предпринимаемого подвига, представляю я на суд всех благомыслящих людей неоспоримые доказательства того, что утверждаю; они не придуманы, но взяты из жизни вашего покорнейшего слуги, который имел равную с вами глупость дать в обман и быть игролищем женщин более, чем кто-либо...

¹ Что делают некоторые женщины? Они болтают, одеваются и раздеваются. (Ред.)

² Некоторые. (Ред.)

³ Здесь в смысле «все». (Ред.)

Рано задумал я об женщинах, рано заговорило во мне сердце, рано почувствовал я потребность любви и необходимость женского пола для совершенного счастья человека. Еще ребенком, на школьной скамье, под скучные лекции тощего профессора, уже мечтал я о черных и голубых глазках, русых, белокурых и каштановых кудрях, губках и носиках всех калибров, ножках и ручках всех форм и размеров, — мечтал, а детское сердчишко так и колотило под казенную курточкою, и глаза, устремленные в тетрадь геометрии, в треугольниках и пирамидах видели идеалы, которые создавало шаловливое воображение!.. Но рано тоже узнал я, как накладны для сердца, ума и тела подобные мечты: по милости их я никогда не знал заданного урока; вместо ученых записок профессора писал стихи всех возможных размеров, на все возможные темы; вместо геометрических фигур чертил одни носики, глазки и головки, — и все это влекло за собою очень неприятные для меня последствия... Но как поэт я стоял выше обыкновенных смертных, с презрением и отчаянною твердостью простаивал по неделе за штрафным столом и, питаясь сладкими мечтами, довольствовался в сущности хлебом и водою, с стоическим хладнокровием выслушивал длинные убедительные речи инспектора и только кусал губы от досады при антиизящных выражениях оратора. Но даже еще в ребячестве я не довольствовался одними мечтами; я жаждал осуществления их и в каждом хорошеньком личике видел свой идеал, вспыхивал, томился, вздыхал, писал нежные записочки на розовых бумажках, с бездною точек и восклицательных знаков; но, к немалой досаде влюбленного юноши, «идеалы» его не понимали, не умели ценить страсти поэта; иные, более сострадательные, улыбались, другие, менее идеальные, хмурили брови и надували маленькие губки, иные, более прозаические, даже изустно объявляли свое негодование в выражениях, которые сильно подействовали на мое самолюбие и вместе с тем показывали всю полноту их невежества; одна даже — о, стыд и срам! — не довольствуясь личным выговором, пожаловалась своей маменьке, а та инспектору, а тот... С тех пор долго, долго не мог забыть я глубокой раны, нанесенной мосму сердцу; пылкость моя упала на точку замерзания...

Наконец я, благодарение аллаху, кончил бесконечный

курс учения; я получил свободу... Очертя голову, кинулся я в вихрь света; в каком-то непонятно-сладостном опьянении вертелся в неистовом вальсе наслаждений или мчался в бешеном галопе страстей... Отуманенный счастьем, я не в силах был остановить ни мысли, ни взоры исключительно на одном предмете; мне хотелось за раз стиснуть в своих объятиях все человечество, влюбиться во всех женщин, вспыхнуть пламенем страсти, сгореть в нем, превратиться в пепел и разлететься от жаркого дыхания красавиц... Мало-помалу мысли мои пришли в порядок; сердце стихло, как природа стихает перед бурей; глаза, утомленные пестротой, искали предмета, на котором бы могли отдохнуть — я был на той степени чувства, с которой переступаешь на степень любви... Я стал замечать, что всех женщин было бы для меня даже много.

Недолго искало себе сердце повелительницы: оно поверглось к ногам семнадцатилетней девушки и поднесло ее неземной красоте весь пыл свежего сердца... А если бы вы знали, как хороша была моя Софья, как лучезарна была красота ее белокурой головки с томными голубыми глазками, смеющимся ротиком и прозрачными щечками, слегка наведенными румянцем утренней зари. Она была мила, как ребенок, обворожительна, как гурия, легка, как перышко колибри; и мне ли, с моим ли сердцем можно было противостать владычеству ее красоты? Оно рабски влачилося по следам ее, когда она носилась бабочкою в вихре вальса, порхала райскою птичкою под музыку мазурки или плавала золотою рыбкою под звуки контрданса. Я следовал за нею; как тень был на всех вечерах, гуляньях, в театрах — везде, где была она, так, что она не могла ступить шагу, не встретившись со мною... Любовь находчива; для нее преград не существует — я вошел в дом родителей Софьи. Я не говорил вам еще, что Софья была единственною дочерью одного из богатейших купцов, получила блестящее воспитание в известном модном пансионе и была идолом своего старика-отца, который, однако, несмотря на безграничную любовь к дочери, не отступая ни на шаг от обычаев почтенных предков, считал выбор жениха неоспоримым правом и священным долгом отца...

Вы, верно, знаете по себе, как бывают уверены в своих достоинствах молодые люди, только что вышед-

шие из-под ферулы учителя, и потому не удивитесь, что я, нисколько не колеблясь и не подозревая неудачи, объявил почтенному батюшке Софьи о привязанности к его дочери и о намерении соединиться с нею узами законного брака... Но, увы! батюшка Софьи не разделял со мною мнения о моих личных достоинствах, не принял в уважение ни моей любви, ни моей будущей славы (я был уверен, что современем непременно прославлюсь) и отказал наотрез, основываясь на глупых отговорках, что я губернский секретарь и получаю всего шестьсот рублей жалованья — будто гению нужны высокий чин и большое жалованье! Но, несмотря на неосновательность этой причины, ни на мои доводы, доказательства и убеждения, упрямый старик стоял на своем и кончил тем, что вышел из терпения от моей неотвязчивости, довольно невежливо попросил меня убираться и избавить на будущее время от своих визитов. Что мне было делать? Я был на верху отчаяния, я покушался на жизнь свою, и, уверяю вас, от моей горячей головы это бы легко случилось, если бы письмо моего ангела-хранителя, Софьи, не спасло меня от этого преступления.

«*Mon ange*¹, — писала она, — хотя я не в силах противиться воле отца и потому никогда не могу быть *твоею*, но, несмотря на то, сердце мое будет принадлежать одному тебе; тебя одного люблю, любила и буду любить!.. Утешься, милый друг; неужели нельзя быть счастливым на земле чистою, идеальною любовью? Я привыкла видеть в тебе человека, нисколько не похожего на других, способного *понимать* меня — неужели я обманывалась?.. Будь мужем, люби меня *идеально* и не теряй надежды на соединение если не тут, то *там!*.. Твоя навек *Софья*».

Это письмо, разумеется, было бы плохим утешением теперь, но тогда, когда все предметы видел я не иначе, как сквозь призму поэзии, — оно остановило порыв отчаяния.

Но скоро почувствовал я, что этой *идеальной* любви для меня недостаточно, что мечты не в состоянии утолить жажды взаимности, что поцелуи подушки не в силах утишить взрывов страсти... земное вкралось в небесное, и я снова искал сближения с своим идеалом... Но отец Софьи с неумолимостью наблюдал за дочерью, и я не мог улучшить

¹ Мой ангел. (Ред.)

минуты, в которую мог бы переброситься с нею парой слов...

Видя бесполезность своих исканий, я задумался... Злая мысль запала в мою голову... Она не покидала ни на минуту, мучила, душила меня... Я решился на гнусное средство: приискать Софье мужа!! Какой-то адский дух помогал мне в этом плане — он указал мне на моего школьного товарища и друга, сына богатых родителей и вдобавок гусарского корнета. Я опутал его сетями дружбы, вдохнул в него мысль о женитьбе, раздувал, укоренял ее, так что, наконец, он так сроднился с нею, что считал ее своею. Тут я натолкнул его на Софью, как Иуда продавал любовь свою за порочные надежды в будущем. Красота Софьи поразила его, он посватался, отец ее согласился. Софья не имела силы, а может быть и не хотела противиться воле отца, — и через месяц она стояла уже с своим женихом перед брачным налоем, и я, ее возлюбленный, держал венец над головою своего друга!.. Софья с изумлением смотрела на мои поступки; она дивилась моему самоотвержению, моей твердости — она *уважала* меня.

Томский (имя моего друга) по женитьбе оставался по-прежнему моим другом; он привязался ко мне еще более и с детскою доверчивостью делился со мною избытком счастья, причиною которого считал меня. Каково было мне слушать его — судите сами; и я слушал, притворялся, что радуюсь его счастью, и в то же время медленными, осторожными шагами приближался к предположенной цели. Сначала, в беседах с Софьею, не было и в помине любви; далее по временам промелькивали воспоминания прошедшего, там жалобы на судьбу, на свое несчастье, на свои страдания и т. д. Софья слушала меня, верила мне, сожалела, утешала — и только... Терпение мое истощалось, я положился на неопытность и любовь ко мне Софьи и стал действовать открытее. Софья поняла меня. И кроткая, семнадцатилетняя женщина одним взглядом, одним словом разбила вдребезги все планы, которые строились в продолжение нескольких месяцев под руководством страсти... Софья поняла все. Она увидела, как искусно опутывал я сетями коварства ее добродетель, ее волю. Двери дома друга моего закрылись для меня...

Стыд, раскаяние, досада, бешенство, любовь разрывали сердце мое на части; мне должно было бежать Софьи,

бежать воздуха, которым дышала она, бежать себя самого, своей страсти, — и я хватаюсь за первое попавшееся под руку средство: прошу перевода в Москву и через неделю, сказав прости Петербургу, Софье и своей любви, скачу очертя голову по московской дороге, оставив за собою толпу мечтаний, надежд и планов... Пылкость души моей упала опять к точке замерзания!..

II

Москва славится калачами и пестами — дело известное. Дорога поохладила припадок отчаяния; рассудок стал робко подавать голос о своем существовании; он толковал мне о твердости и развлечении — советы, при тогдашних обстоятельствах не совсем дурные, — и я спешил воспользоваться ими. Услужливость одного школьного товарища, постоянного жителя Москвы, и фактическое радушие москвитян очень пособляли мне в исполнении этого намерения. Не прошло и двух месяцев, а я, к стыду моему, отуманенный ароматическою атмосферою балов и легионами красавиц, почти совсем забыл и свое несчастье и свою *идеальную* Софью. Вы, может быть, подумаете, что страсть, забытая так скоро, была несправедливо принимаема мною за любовь; в таком случае вы очень обманываетесь: то была любовь, любовь в том самом виде, в каком это чувство впервые названо любовью. И между тем я все-таки забыл Софью. Сердце мое, по прихоти случая, создано так, что с невероятною легкостью воспламеняется от пары хорошеньких глазок, но охлаждается еще быстрее, для того, чтобы воспламениться от дуновения новой страсти. У Лунского, одного из известнейших хлебосолов Москвы, был вечер для встречи нового 18.. года. Общество было многочисленное и блестящее; в хорошеньких личиках не было недостатка; но среди этого роскошного цветника роз одна была пышнее, ароматнее своих прелестных подруг, и взор наблюдателя, скользя по цветистому ковру, с изумлением останавливался на головке, принадлежащей Лидии Карно, лучшей розе цветника красавиц этого вечера: Лидия была двадцатилетняя супруга шестидесятилетнего подагрика с тремя тысячами душ, фиолетовым носом, звездою и огромною лысиною.

Все эти личные достоинства Карно придавали ему большой вес в обществе; но красота Лидии была чуть ли не главным из этих достоинств, и почтенный супруг, хорошо зная это, не упустил случая пощеголять *свою собственностью*. На всяком порядочном вечере он был непременно рыцарем зеленого поля, а жена его божьею карою за грехи всем лицам и личикам женского пола!!.

Но злоба матушек, злословие тетушек и зависть дочек и жен еще более придавали Лидии интереса в глазах блестящей молодежи. Все вились около нее, как рой пчел около улья, жужжали комплиментами, *стреляли холостыми зарядами вздохов, полупризнаний и глазок*, осмеливали друг друга, и все были равно счастливы, или, вернее, равно несчастливы: Лидия со всеми была равно благосклонна, со всеми равно мила и ни с кем — коротка. Лидия была, как и все женщины, хорошенькие и дурные, начиная от прабабушки Еввы, кокетка!.. Несмотря на неудачные попытки столь многих, я, с свойственною мне самоуверенностию, смело приступил к атаке, следуя влечению сердца, которое давно уже било тревогу.

Лидия слушала меня с приметною рассеянностию: в этот вечер она была скучнее обыкновенного. Но сердце понукало меня, самолюбие подстрекало, рассудок обнадеживал, — я не робел. Я преследовал ее похвалами, восторгами, комплиментами, вздохами — я был чертовски красноречив, и неудивительно: во мне говорило сердце; наконец, увлекшись блестящим фейерверком мыслей и чувств, она сделалась внимательнее, благосклоннее; милая улыбка заиграла на ее коралловых губках; ее личико воодушевилось жизнью, в глазах заискрилось чувство, — она была очаровательна. Демон самолюбия и страсти поджигал меня более и более; я становился смелее и смелее, она делалась благосклоннее и благосклоннее.

Зоркие глаза зависти успели уже заметить это, и на каждом шагу встречал я длинные, уморительные физиономии, на которых ясно были написаны худо скрываемая злоба и досада и нескрываемая насмешка. Я торжествовал. Но кто вообразит себе восторг, блаженство — нет, не то — какое-то особенное, сверхъестественное чувство, не выразимое слишком холодным, пошлым, материальным языком человека, чувство, близкое к безумию,

каплю, в которую перегнаны все лучшие наслаждения жизни, — одним словом, что почувствовал я, когда горячая, холодная, непобедимая Лидия своею крошечною ручкою, с трепетом страсти, сдавила мою неуклюжую, прозаическую руку?.. Какой-то туман набежал на глаза мои, какой-то хаос завьюжил в голове, какой-то огонь охватил сердце... я готов был вскрикнуть от неизъяснимой, пронзительной боли; мне чудилось, что все мои нервы готовы лопнуть от напряжения; я страдал — и, несмотря на то, я желал бы пострадать еще хоть минуту этим чувством, чтоб умереть от избытка счастья... Все это продолжалось не долее одного мгновения; я взглянул в глаза Лидии, и они сказали мне, что то был не обман чувств, не сон, не случай; что рука ее была проводником сердца, наэлектризованного страстью!..

— Верить ли мне своему счастью? — едва проговорил я, задушаемый приливом крови.

— Молчите! — прошептала она, — за нами наблюдают.

Еще новичок в обществе, я не успел постичь трудной науки маскировать чувства; следуя инстинктивному влечению, быстро взглянул в сторону, — глаза мои встретились с глазами одного офицера. Я не вынес его взгляда: огонь глаз его прожег мое сердце. Легкая улыбка пробежала по лицу Лидии; вероятно, я был очень смешон в эту минуту.

Кадриль кончилась (все это происходило в продолжение одной кадрили); я намереваюсь поместиться сзади стула Лидии, но короткое «на минуту», сказанное офицером, принудило меня оставить свой завидный пост и последовать за ним на другой конец залы.

— Что у вас было с нею? — сказал он глухим голосом, стискивая в своей железной руке мою бедную руку.

— Вопрос довольно неуместный, — отвечал я, собравшись с духом, — и не совсем вежливый, — присовокупил я, оправившись от невольного страха.

— Что у вас было с Лидиею Александровною? — повторил он, не обращая внимания на слова мои и стиснув мою руку сильнее прежнего.

— Какое вы имеете право спрашивать меня об этом, — отвечал я, выходя из терпения, — пустите меня.

— Ты негодяй — слышишь? — сказал усач, сверкая своими страшными глазами.

— Да как вы смеете? да знаете ли, что за это вас...

— Завтра мы с вами увидимся, — прервал он меня, — ваш адрес!

— На что вам?

— Ваш адрес, говорю я!

И я машинально, как бы под влиянием какого-то волшебства, опустил в карман руку и вынул карточку. Он вырвал ее из руки моей и оставил меня, ошеломленного от неожиданности этой сцены. Оправившись от смущения, я бросился отыскивать в толпе гостей Лидию, но все поиски мои были безуспешны: во весь остаток вечера я не встречал ни Лидию, ни усатого соперника. Грустный и встревоженный происшествиями вечера, возвратился я домой, и долго, долго не мог заснуть, мечтая о неожиданном счастье, которое послало небо на мою долю. Прелестное личико Лидии и страшное лицо офицера попеременно представлялись разгоряченному воображению; странное деялось со мною: я то вздыхал, то хохотал, то начинал жаркое любовное объяснение, то вступал в жестокие прения об оскорблении чести. Наконец, утомленный душевным волнением, я забылся...

И каких снов не переснилось мне в эту ночь! Я пережил в нее несколько лет, редких, завидных лет счастья. И во всех этих дивных созданиях разгоряченного воображения главным предметом была она, милая, очаровательная Лидия; то являлась мне она окруженная каким-то чудным блеском и с улыбкою ангела простирала ко мне с недосыгаемой высоты свою маленькую прозрачную ручку; то лежала на груди моей с страстным лепетом на устах; то, поправляя мои волосы, умоляла меня голосом, глубоко проникавшим в душу, не покидать ее, и я, осыпая поцелуями ее бледные щеки, омоченные слезами, клялся в вечной преданности. И вот вдруг является перед нами длинное, страшное привидение, вырывает ее из моих объятий и, увлекая ее с собою в ужасную бездну, с адским хохотом говорит мне: «Мы с вами увидимся!» Не знаю, долго ли бы еще продолжались эти сновидения, если бы громкий стук не разбудил меня. Первый предмет, представившийся глазам моим, был мой противник... Я протираю глаза, считая это продолжением ночных видений, но образ офицера не

исчезал: он стоял подле меня, и бледное лицо его, растрепанные волосы и сверкающие глаза приводили меня в ужас.

— Но долго ли это будет продолжаться? — воскликнул он, наконец, с сердцем. — Я не люблю подобных шуток, милостивый государь! Мне надоело стоять у вашей кровати и смотреть на вашу глупую физиономию. Я не намерен более дожидаться — едемте, мы будем стреляться без свидетелей: к чему они. — один из нас должен остаться на месте!

Я вскочил с кровати и все еще, протирая глаза, с недоумением смотрел на офицера. — Стреляться? с кем стреляться? — бормотал я, не понимая сам, что делается со мною.

Как ни ожесточен был мой противник, но не мог удержаться, чтоб не захохотать. — Разве вы забыли о вчерашнем вечере? — спросил он, наконец, принимая прежний вид.

— О вчерашнем вечере? Но разве я вас чем-нибудь обидел? Помнится еще, что вы...

— Вы трусите? — закричал усач. — Знаете ли, как называют труса? — подлецом, да, подлецом, которого должно заставить палкою, если он отказывается от благородного вызова. Я вас заставлю стреляться, слышите ли, я вас заставлю...

Я уж не спал. Я очень хорошо понимал слова офицера... Драться, драться мне, невинному истребителю бумаги и чернил, который отроду не имел в руках ни шпаги, ни пистолета... И что такое дуэль? Глупость, величайшая глупость, недостойная образованного человека: она противна религии, потому что заповедь гласит «не убий», противна нравственности, потому что основание ее — *мщение*, а мщение безнравственно; дуэль противна правосудию, потому что успех зависит от запальчивости или искусства противников; дуэль противна всем правилам общественного порядка, которые не позволяют *самому чинить расправу*; дуэль вещь нелепая, потому что часто невинный лишается жизни единственно оттого, что дерзкая отвага или искусство противника выше отваги или искусства его; наконец, дуэль ничего не доказывает, потому что удар шпаги или выстрел пистолета не докажет невинности того, кто ви-

новат, справедливости того, что ложно... Однако несмотря на все эти прекрасные мысли, которые в продолжение одной секунды перетолпились в голове моей, слова офицера так сильно задели меня за живое, что я, отложив в сторону философию, с гордостью, прилично человеку, чувствующему нанесенную ему обиду, сказал своему сопернику: «М<илостивый> г<осударь>, вы забываете, что грубость не принадлежит к числу отличительных качеств образованного человека. Не вы должны требовать у меня удовлетворения, а я — я обиженный!.. В доказательство же, что я не заслуживаю названия труса, я требую удовлетворения и, как обиженный, предлагаю условия: мы стреляемся в трех шагах».

— Тем лучше, — отвечал он с дьявольским хладнокровием, — не будет промаха. Итак, едем!

— Но пистолеты?

— Они здесь, — сказал он, — выставляя из-за шинели пистолетный ящик.

Я стал одеваться.

В передней раздался звонок. «Письмо, сударь», — сказал человек, подавая мне красиво сложенную раздушенную записочку. Я взглянул на адрес: Андрею Ивановичу Гронову. «Кто принес это письмо? оно не ко мне».

Офицер взглянул на адрес, вырвал записку из рук моих, с поспешностью распечатал и жадными глазами впился в мелко исписанный листок.

Мгновенно выражение лица его совершенно изменилось: улыбка зашевелилась на его губах, глаза заблестали радостью.

— М<илостивый> г<осударь>, — сказал он, обращаясь ко мне, — я виноват перед вами; стыжусь своей запальчивости и прошу у вас извинения в нанесенной вам обиде. Впрочем, если этого для вас недостаточно, я непрочь от удовлетворения.

Измученный неожиданною переменою в обращении офицера, я пробормотал не помню что; он взял меня за руку, пожал ее с каким-то двусмысленным выражением лица и оставил меня рассуждать на досуге о чудесах, которые творятся со мною. Но недолго я оставался в недоумении; скоро насмешливые взгляды и урывчатые фразы, долетавшие со всех сторон до ушей моих, объяснили мне все дело: я был жалкою игрушкой женщины. Офицер

успел, еще до появления моего в московских обществах, завоевать сердце прекрасной Лидии Александровны Карно. Ревнивая, как и все женщины, она не выпускала из виду своего возлюбленного; ей показалось, что Гронов сделался к ней холоднее, и вот, боясь лишиться его навсегда, она сочла небесполезным прибегнуть к одному из обычных маневров женщин: возбудить в нем ревность. Ей нужна была для этого какая-нибудь жертва, и я был этою глупою жертвою!

Нет! на этот раз мне не нужно было бежать за шестьсот верст, чтобы заставить сердце забыть его идола: любовь превратилась в ненависть, в ненависть бешеную, жгучую, еще сильнейшую, чем была ее предшественница. И все-таки я должен был бежать из Москвы, если не хотел быть игралицем молвы, оселком, на котором всякий пробовал свое остроумие, шутком общества, — и я через несколько дней, проклиная себя, любовь, ревность, женщин и любовников, мчался в Варшаву, напутствуемый гулом колоколов, которые казались мне насмешливым хохотом *старушки* над глупою ролью, которую заставили меня разыгрывать на потеху добрых людей!

III

Есть в мире отрада лучше всех отрад, добрый друг — посланец небес для утешения бедствующего человечества, этот верный друг — *надежда*. Она не покидала бедного Грациозо, она заживляла раны сердца, изъязвленного неудачами, и оно, ослабшее, обгорелое от страстей, все еще билось отрадным *авось!* Но женщины утратили уже много прежнего блеска в глазах моих; я смотрел на них уж не с тем благоговением, слушал их не с тем безотчетным верованием, любовался ими не с тем безграничным восторгом — я был уже на пути к разочарованию: к прекрасному в чувствах самовольно примешивалось досадное сомнение; поэтический туман, в который облакало женщин детское воображение, редел, и я начинал чувствовать положительность этого мира, начинал понимать, что поэзия находится не в нем, но в нас самих; что степень прекрасного в природе зависит от степени прекрасного в нашем сердце. *Проза* жизни начинала вытеснять из сер-

ца *поэзию* мечты! Но я все-таки надеялся, хотя при встрече существ, которых считал почему-либо достойными осчастливить меня, я удерживал пылкость сердца силлогизмами рассудка, был осмотрителен, недоверчив, изведывал прежде ту, которую могло полюбить сердце, и кончал всегда тем, что говорил ему: *«погоди еще, эта недостойна тебя!»* И оно, напуганное неудачами, слушало, ждало и надеялось! Так прошло несколько лет, в продолжение которых я жил постоянно в Варшаве; и я все еще был холост, а сердце свободно. Надежда соскучилась уже утешать меня и готова была оставить несчастливца на произвол судьбы, как случай поспешил спасти ее от неслыханного вероломства и тем сохранить ее репутацию: он натолкнул меня... но нет, позвольте рассказать все по порядку.

С самого начала пребывания моего в Варшаве нанимал я квартиру у одной шляхтянки, вдовы какого-то Тпррм... Птрм... не выговоришь. Пани Марианна, как я называл ее, была женщина лет сорока, вертлявая, болтливая, услужливая и веселая, как и все польки. Я любил ее, как родную, и часто в минуту грусти делился с нею чувствами души моей, рассказывал ей похождения своей жизни, поверял ей надежды в будущем, желания, мечты — и, что всего более мне нравилось, никогда не встречал противоречий: пани Марианна слушала меня всегда со вниманием, с дружеским участием, утешала, как могла, сватала даже невест, не сердилась на мою разборчивость, одним словом, мы жили с ней как нельзя дружнее. В числе многих ее знакомых была одна молоденькая вдовушка, о красоте которой отзывалась она всегда с особенным уважением и с которой, не знаю почему, никак не соглашалась познакомиться меня. Не полагаясь слишком на вкус моей хозяйки, я мало обращал внимания на похвалы ее означенной вдовушке и не настаивал слишком на том, чтобы поверить слова ее на деле. Прошло более года, а я даже и не видал ее. Но от того, что *написано на роду* человеку, не отмолишься, не отчураешься. Вдовушке суждено было иметь большое влияние на жизнь мою, и я не избег ее. Однажды, бог весть с чего, хозяйка моя что-то особенно много толковала о красоте своей знакомки; но видя, что это на меня мало действует, стала убедительно просить, чтобы я отнес ей не помню какие-то ноты,

говоря, что обещалась доставить их непременно в этот день, но что не имеет на то времени. У меня не было никаких причин уклоняться от этого, и потому, без всяких отговорок, согласился я исполнить ее просьбу. «Смотрите, берегите свое сердце!» — сказала хозяйка, прощаясь со мною. Я смеялся словам ее, не воображая, что то было роковое предсказание новых бед для сердца... О, если бы я никогда не относил нот к этой вдовушке!..

В Польше хорошенькие личики — не редкость; из десяти женщин, верно, девять если не красавиц, то, по крайней мере, миленьких... Но та, которую суждено мне было увидеть в этот роковой для меня день, красотой своею потемняла всех красавиц, до тех пор мною виденных. Я бы непременно описал вам ее, если бы в состоянии был вообразить себе ее дивный образ: время и горести ослабили мое пылкое воображение, и теперь она представляется мне темным кружком, который вертится перед глазами после того, когда долго смотришь на солнце. Итак, довольно сказать, что сердце, холодное уже в продолжение трех лет, при виде ее, не дожидаясь ни силлогизмов рассудка, ни моего разрешения, запылало давно забытым пламенем страсти, который охватил его тем с большим ожесточением.

Она встретила меня с милою, благосклонною улыбкою и, к немалой радости, явным образом старалась удержать меня у себя подольше. «Я так много наслышалась об вас от моей знакомки; она не может нахвалиться своим жильцом, — и это давно пробудило во мне желание скорее познакомиться с вами. Но вы, по ее словам, такой нелюдим, так боитесь нас, женщин, — вы так несчастливы».

Я отвечал ей не помню что, только, вероятно, какую-нибудь глупость, потому что мы всегда говорим глупости, когда хотим казаться умными. Но она слушала меня с неизъяснимым добродушием, была так ласкова, с таким неподражаемым искусством льстила моему самолюбию, с таким милым кокетством принимала от меня неуклюжие комплименты, которыми желал я отплатить ей за ее похвалы моему уму, моему сердцу, даже моей наружности (право, не лгу!), — что не прошло и часу с первой минуты нашего свидания, а я был уже прикован к ней неразрывной цепью страсти; она видела свою победу и с примерным великоду-

шим простирала к побежденному руку милости!.. Если бы кто послушал нас, подумал бы, что мы знакомы уже несколько лет, так скоро сблизились мы. «Смею надеяться, — сказала она, прощаясь со мною и дружески пожимая руку, — что вы позволите мне считать вас в числе своих друзей -- их у меня так немного!»

Я кланялся, бормотал бессвязицу и еле-еле удержался, чтобы не упасть к ногам прекрасной вдовушки. Глаза мои, мое смущение высказывали ей ответ красноречивее слов, и она рассталась со мною, взяв с меня слово посещать ее как можно чаще... Нужно ли говорить, что я с примерною аккуратностью держал данное слово, что не проходило недели, в которую бы не провел вечера у обворожительной пани Францишки; что страсть моя с каждым свиданием разжигалась сильнее и сильнее, а прошедшие неудачи вспоминались реже и реже? Сердце болтливо, когда полно любовью, — а потому и очень естественно, что, не в состоянии долее таить свою любовь, я чувствовал необходимость высказать ее пани Францишке... Повидимому, она была приготовлена к этому заранее, потому что нисколько не изумилась, когда однажды, в пылу страсти, забыв нерешительность и страх быть отвергнутым, я высказал тайну сердца... Долго молчала она, и глаза ее, устремленные на меня, казалось, читали в глубине души моей; наконец на этих чудных глазах заискрились две алмазные слезинки, неземная улыбка заиграла на ее губах, и тихим, дрожащим голосом проговорила она: «Да, я люблю тебя!»

В каком-то бешеном иступлении я стиснул Францишку в своих объятиях; мы жили одною общею, прекрасною жизнью — мы переливали друг в друга свои души, свои мечты, мысли, и время летело, унося с каждою минутою бездну счастья... Поздно вечером расстались мы для того, чтобы свидеться снова по наступлении утра. Францишке нечего было опасаться меня: моя любовь была слишком чиста, чтобы я решился воспользоваться слабостью обожаемой мною женщины. На другой день я предложил ей свою руку.

— Мой ангел, — сказала она, склоняясь головкою на плечо мое, — я слишком много перенесла в первое замужество: муж мучил меня, а свет обвинял жену, называл ее преступною и оправдывал варвара. Я терпела, я не

жаловалась никому на свои страдания, на несправедливость людей. Наконец небо сжалилось надо мною — оно избавило меня от мужа. Я поклялась не выходить замуж вторично; но клятва, вызванная из сердца страданиями, — не клятва; я решаюсь нарушить ее для тебя, из любви к тебе. Друг мой! не допусти меня раскаиваться в своем решении, сделай меня счастливою, люби меня всегда, как любишь теперь; не обмани меня, не погуби меня! — Рыдания заглушали слова ее, я заграждал уста ее поцелуями, я плакал, плакал в первый раз в жизни от избытка счастья... — Да, да! клянусь сделать тебя счастливою, клянусь любить тебя вечно, вечно!

Я жаждал обладать скорее Францишкою — через неделю церковь должна была соединить нас на всю жизнь.

Мечты человеческие, что вы такое? — как сказал один наш великий драматург, — одуванчик, который осыпается от малейшего дуновения случая; и мои мечты разлетелись, одулись и оставили один голый, грустный стебелек — воспоминание об них... Но без отступлений. Вы не поверите, если я скажу вам, что платок был причиною нового и едва ли не величайшего несчастья в моей жизни, и между тем это так же справедливо, как справедливо то, что я, шут Грациозо, не признаю в женщинах ничего великого и прекрасного. Да, простой, прозаический носовой платок открыл глазам, отуманенным страстью, пропасть, в которую готов был я кинуться... Вот как это было. Вне себя от избытка счастья, которым была переполнена душа моя после свидания с Францишкою, бежал я домой, строя планы новой для меня жизни и любясь цветистою, завидною перспективою будущего. Вдруг, посреди этих сладостных мечтаний, почувствовал я слишком прозаическую прихоть носа: ему захотелось чихнуть. Я хватаюсь за карман — пуст! Вероятно, я оставил платок у своей невесты, утирая им умиленные слезы, орошавшие мои ланиты... Я был еще недалеко от ее дома и, радуясь случаю еще раз поцеловать ее сахарные губки, ворочаюсь... Дверь в прихожую была незаперта, и я вошел в приемную, не быв замечен никем. Желая изумить Францишку неожиданностию, тихонько пробираюсь я к ее кабинету, отворяю притворенную дверь, и — застаю свою невесту, свою лежачую, пламенно любящую меня Францишку tête-

à-tête¹ с одним моим коротким знакомым в очень неутешительном для меня положении...

Вся кровь бросилась мне в голову, я обеспамятел и почти без чувств отшатнулся к простенку двери... Увидев меня, приятель мой нисколько не смутился; напротив, подошел ко мне и дружески протянул руку. «Вот мило, ты как очутился здесь? — сказал он смеясь, — о скромник! вот все вы таковы!..»

Я едва был в состоянии понимать его и, в порыве бешенства, едва не задушил презренного. «Негодяй, — воскликнул я, играя в свою очередь роль Гронова, — мы с тобой увидимся... Ваш адрес?» — продолжал я, забывая, что бывал раз двадцать на его квартире.

— Да что с тобой? — сказал он, изумленный моими словами, — в уме ли ты?

— Ваш адрес, говори! — воскликнул я, не обращая внимания на слова его.

— Послушай, ты знаешь — я не трус и никогда не откажусь от вызова; но, несмотря на то, драться с добрым приятелем и притом из-за... помилуй, на что это похоже?..

— Если вы желаете непременно знать причину моего вызова: знайте, что она моя невеста!

— Невеста, твоя не... причина, впрочем, довольно достаточная; но в таком случае вам, м<илостивый> г<осударь>, предстоит довольно хлопот: вы должны будете иметь дело с порядочным числом обидчиков!

— Как?

— Как? так! — и он громко захохотал.

— Как, Францишка!.. — я взглянул на нее — клеймо порока напечатлено было на лице ее... Францишка — боже мой, боже мой!.. Я задрожал от бешенства и омерзения; слезы ярости брызнули из глаз моих — я бежал из этого проклятого дома, задыхаясь от горести и отчаяния...

И она, презренная, могла говорить языком ангелов, могла выжимать слезы из нечистых глаз своих, могла призывать небо в свидетели ее непорочности, — и небо не разразилось над нею своим праведным гневом, попустило ее ругаться над всем, что есть святого в этом мире! Женщины, женщины! если бы вы знали, что чувствовал я к вам в эти минуты!..

¹ Наедине. (Рсд.)

И между тем, я грустил о потере этой падшей женщины; любовь моя к ней зашла слишком далеко; я досадовал даже на благодетельный случай, открывший мне глаза: мне жаль было любви своей! Разочарованный, я не ждал уже от мира ничего; я отрезал от радостей, от горестей, от надежды... Невыносимо тяжело было для меня бремя жизни, и я не имел силы разорвать этой длинной, тяжелой цепи, приковывавшей меня к земле... Внезапная мысль озарила уснувший рассудок: я надел косматую шапку и шашку и поскакал на Кавказ, обрекая себя на верную смерть.

IV

Нет, не верю вам, высокоученые психологи: есть в свете судьба, есть предопределение, есть что-то руководствующее свободою человека, управляющее его поступками, напутствующее его в продолжение всего земного пути... Судьба руководила и меня, она ограждала меня непроницаемым щитом, когда я, с безумной дерзостью, врубался в толпы диких наездников, стремглав кидался на своем бегуне с утесов в ярящиеся волны Терека, вскарабкивался на неприступные скалы, готовые рухнуть от малейшего потрясения... Судьба хранила меня, смерть бежала неутомимо преследовавшего ее несчастливца, пули визжали у самых ушей, шашки свистели перед глазами, и я оставался жив и невредим, и груды тел моих товарищей, через которые пробирался я, нанося смертоносные удары, ясно говорили мне об этой невидимой силе, с озлоблением разрушавшей все надежды, все желания ею гонимого: она завидовала даже моей смерти!..

Видя бесполезность своей дерзкой храбрости, я сделался рассудительнее: инстинктивная привязанность к жизни заговорила во мне, и я стал снова дорожить жизнью — для чего — сам не знал я: мысли о счастье и не западало уже в мою голову; женщины не в силах были и на минуту возмутить мертвое спокойствие сердца; я смотрел с презрением и насмешкою на сети, в которые так легко ловили они неопытных, и с искусством старого моряка лавировал между подводными камнями кокетства и красоты...

Душа моя огрубела; мечты развеялись от порохового

дыму; из пылкого фанталиста сделался я положительным человеком; все чувства сердца взвешивал на безмене рассудка, все лучшие верования души подводил под анализ сомнения, задушал их безжалостными логическими доводами и силлогизмами... Молодежь дичилась меня; женщины бегали, как от чумы... Так прошло добрых полдюжины лет; я был уже в годах *солидного* человека.

Но мой злой гений, судьба, не дремал; он поджидал только минуты, в которую удар его был бы для меня чувствительнее... Поверите ли, я влюбился еще раз!.. После всего, бывшего со мною, после дорогих уроков, которые дали мне женщины, я, пошлый глупец, мог забыть прошедшее, мог усомниться в результатах, выведенных из тяжкого опыта, — я полюбил женщину!..

Моя храбрость, примерная исправность по службе и мой странный угрюмый характер привязали ко мне нашего нового полковника, переведенного из одного армейского полка, стоявшего в окрестностях Москвы... Старый служака был без ума от своей находки, не слышал во мне души, любил меня как сына, как брата. Я не оставался невнимателен к его ласкам и старался своими поступками сделаться достойным привязанности ко мне моего почтенного друга.

Полковник был женат; но жена его, по каким-то домашним обстоятельствам, не могла сопровождать его на место службы и должна была приехать к нам не раньше, как через несколько месяцев. Полковник всегда с особенным удовольствием говорил о личных и душевных достоинствах своей *Кати*, и часто, увлекшись чувством, добрый старик забывался, и слезы умиления смачивали его лицо, закоптелое в пороховом дыму. Он любил ее более как дочь, чем как жену, и ждал приезда ее с возрастающим нетерпением.

Наконец она приехала. В это время я был у него. Не стану описывать трогательной сцены свидания супругов, которая заставила меня еще раз признать в женщинах чувства, которым бы позавидовал любой мужчина. Катерина Ивановна с первой минуты нашего знакомства расположила меня в свою пользу. Она уважала своего мужа, и потому я, как лучший друг его, имел притязание на маленький уголок в ее сердце, и она уделила мне его: я получил позволение считать себя и ее другом.

Дружба между мужчиною и женщиною невозможна; что ни говорите мне напротив, я не отступлюсь от своего

мнения. Пользуясь правом друга Катерины Ивановны, я позволил сердцу принять в этом деле маленькое участие: ведь и в дружбе нельзя же обойтись без согласия сердца! — Ветреное, неудобоуздымаемое, когда дашь ему хоть немножко воли, оно востепенулось от долгого летаргического сна, засуетилось, заговорило; *былое* стало *дѣяться* с ним, в нем зародились попрежнему и радости, и горести, и мечты... Я считал все это за нежную дружбу и не принимал никаких мер против ослушника. Поздно увидел я свою опрометчивость; я разгадал это смутное чувство, когда было уже невозможно обратиться к рассудку, когда пламень новой страсти с неудержимой яростью разлился по всему моему существу... Я любил жену моего друга!.. Совесть грызла меня, я не мог без внутреннего трепета смотреть в глаза моего благородного друга, я содрогался, как преступник, при каждом его слове; его ласки, его братское обхождение со мною были для меня ударами кинжала; я дичился его, бегал и решился во что бы то ни стало задушить преступную страсть, и начал с того, что, под различными предлогами, не ходил к нему целую неделю... Что перенес я в продолжение этого времени, знаю я один; дни казались мне веками... Наконец страсть взяла свое: я не в силах был долее крепиться; любовь заглушила все другие чувствования, рассудок умолк, совесть уснула; я решился дружбу принести на жертву любви и отправился к полковнику... Он встретил меня с обыкновенною приязнью; но дела по службе не позволяли ему оставаться со мною, он ушел, поручив жене занимать дорогого гостя. Его уверенность во мне, его благородство, его доброта разбудили на минуту голос совести, но один взгляд, одна улыбка Катерины Ивановны, — и снова все забыто, и я жадными глазами пожирал ее кроткое, милое лицо.

— Вы, кажется, сегодня очень расстроены, — сказала она, с нежным участием устремив на мое бледное лицо прекрасные, томные глазки, — вы больны? Не правда ли? Грех таиться перед друзьями!

— Нет, ничего, уверяю вас, ничего! — едва мог я выговорить от душевного волнения. — Не знаю; мне сегодня что-то особенно скучно — вот и все.

— Скучно? О чем вам скучать? уж не влюблены ли вы? — спросила она с ангельской улыбкою. — Но нет,

этой беды с вами, верно, не случится. Не хотите ли сыграть со мною партию в шахматы; это, может быть, несколько развеселит вас, — и она придвинула ко мне шахматную доску. Не зная, что делать, я молча сел и стал расставлять шахматы. Она придвинула к столу кресло и села так близко ко мне, что платье ее касалось моих ног... Кровь кипела во мне, сердце готово было выпрыгнуть из груди, я был весь в огне и двигал шахматы наудачу, не в силах будучи принудить себя вникнуть в игру.

— Помилуйте, кто так играет! — воскликнула она, переставляя на прежнее место моего слона. — Ну можно ли так ходить? Ведь вы сами поддаете мне вашего короля.

В это время рука ее коснулась моей; электрический удар пробежал по всему моему телу, и я, сам не знаю как, очутился перед нею на коленях с признанием на языке. Глаза ее загорелись негодованием, но не более, как на одну секунду; лицо ее приняло прежнее выражение, и голосом, который не обнаруживал в ней ни малейшего волнения, «Послушайте! — сказала она, — если бы женщина и захотела изменить своему мужу, вероятно она избрала бы для того человека, отличающегося красотой или, по крайней мере, умом, любезностью... Ну, а вы...»

— Не угодно ли продолжать! — прервал я ее, вне себя от стыда и смущения, и сел на прежнее место. — Шах королеве! — продолжал я, сам не зная, что говорю.

— Мат королю! — отвечала она с тою же самою улыбкою, которая околдовала меня...

В это время вошел полковник. «Что мило, то мило, — сказал он, подходя к жене и целуя ее в лоб, — благодарю за исправность!.. Эге, да, видно, женщины лучше нас, мужчин, умеют занимать, — продолжал он, смеясь и трепля меня по плечу; — пришел в чем душа: бледный, угрюмый; а теперь, что твой маков цвет — браво, браво!»

Я был ни жив, ни мертв! но уйти не было никакой возможности; в голову не приходило никакого предложения, который я мог бы представить... Я просидел с ними весь вечер, — бесконечный, адский вечер, о котором и теперь не могу вспомнить без содрогания. Катерина Ивановна была мила и обходительна со мною, как и прежде, и это усиливало еще более мои мучения. Наконец, хвала аллаху, пытка кончилась; я вырвался на свободу, с твердою реши-

мостью никогда уже не переступать за порог этого дома. Но исполнить это намерение было не совсем-то легко; после различных попыток должен был я прибегнуть к последнему и единственному средству: рассориться с полковником. Скоро нашел я к тому удобный случай; и как не найти случая поссориться, когда того желаешь?.. Раздосадованный моим ослушанием в каком-то его распоряжении по службе, он арестовал меня. Я с радостью ухватился за этот предлог к разрыву, и ни просьбы, ни убеждения полковника не могли помирить нас... Я перепросился в другой полк, и с тех пор не видал ни полковника, ни жены его.

V

Рассказывать ли вам последнее мое несчастье? Я и то уж смешон в глазах ваших, а после его... но я отрекся от всех высоких чувств души, отрекся от самолюбия, от гордости, любви и чести; я прикрыл свою седую голову дурацким колпаком Грациозо, и все лучшие воспоминания, все священнейшие движения души отдал на потеху людей. Мне ли после того бояться показаться смешным в глазах читателей?

Я проклинал женщин с их мишурною образованностию, с их гибельным кокетством; но сердце, неудовлетворенное взаимностию, требовало любви, и я решился искать ее в ауле мирных черкесов; я решился, в отмщение свету, не понявшему меня, не воздавшему должной справедливости моим талаптам, полюбить дикарку без образования, без кокетства, но с сердцем, способным любить искреннее, бескорыстнее, пламеннее, чем сердце, принадлежащее ароматным существам большого света. Я *решился* полюбить, я *искал* любви, и потому не удивительно, что скоро желание мое увенчалось успехом: кошелек золота и несколько слов склонили на мою сторону одну старуху, мать той, на которую пал мой выбор. Излишне говорить, что она была красавица; во-первых, потому, что я выбрал ее из числа многих; во вторых, что между черкешенками дурные лица такая же редкость, как между нашими дамами... как между нами, хотел я сказать, истинные красавцы. Я намеревался увезти ее, и старуха дала мне слово уговорить дочку и привести ее на условленное место, когда

смеркнется. Я являюсь на место свидания, оставив в недалеком от себя расстоянии повозку, в которой намеревался увезти ее. Старуха не заставила себя долго дожидаться, и я уж заранее восхищался при мысли, что буду обладать сокровищем, которое она предательски передавала мне с рук на руки, как внезапный шум за соседнею скалою обратил на себя мое внимание. Не успел я еще собраться с духом, как увидел в нескольких шагах от себя брата красавицы и за ним несколько человек его товарищей, которые с громким гиком и ругательствами бросились на меня. Чувство самохранения заставило меня бросить свою добычу и прибегнуть к помощи ног.

За мной раздалось несколько выстрелов, и я ясно слышал шаги бегущих. Вне себя от страха, бежал я сломя голову и, благодаря темноте, успел благополучно добраться до своей повозки, прыгнул в нее с легкостью, какую придает нам близкая опасность, и погнал лошадей в хвост и в гриву. Впоследствии узнал я, что старуха обманула меня и, притворяясь, что согласна на мои предложения, уведомила обо всем своего сына.

Вот мои похождения — не правда ли, очень смешные? Я сам смеюсь, рассказывая их; смеюсь, по обязанности шута, хоть часто и сквозь слезы, но все-таки смеюсь. Пожалейте, добрые люди, жалкого *Грациозо*.

ОПЫТНАЯ ЖЕНЩИНА

Повесть из провинциального быта

I

У одного из жителей города *** был бал. Все веселились. Скучал один Зеницын. Зеницын только три дня как воротился из Петербурга в свой родимый город после пятилетнего отсутствия; нынче в первый раз показался он в обществе. Вот почему он не мог найти себе удовольствия на балу у одного из важнейших граждан доброго города *** и скучал, скучал, как только может скучать порядочный человек, заброшенный в кучу незнакомых людей, которые танцуют, вистуют, острят, хвастают, спорят, — словом «наслаждаются жизнью». Отчаявшись, как видно, встретить кого-нибудь из знакомых или найти что-нибудь привлекательное, Зеницын смерил глазами в десятый раз общество, зевнул протяжно прямо в лицо хозяину и направил стопы свои прямо к двери. Сделав несколько шагов, он вдруг остановился, как бы пораженный чем-то нечаянно. Внимание его привлекла пара танцующих, промелькнувшая мимо его. Разумеется, глаза Зеницына летели за лучшей половиною — за дамою. Она была красавица. Высокая, стройная, с черными, выразительными глазами, с розовым ротиком, белым, очаровательным личиком, в прекрасном бальном костюме, она показалась Зеницыну каким-то небесным существом, чем-то поэтическим, упавшим нечаянно с неба в кучу этих горбатых, земных барынь и барышень, у которых отнимали последнюю привлекательность явные претензии на красоту и любезность, изящество в наряде и ловкость в танцах. Зеницын почти бегом возвратился на другой конец залы и поспешно занял место, с которого мог удобнее

рассмотреть поразившую его даму. Чем более он смотрел, тем она казалась ему восхитительнее; довольный, что, наконец, нашел пищу для своего праздного взора, он почти в продолжение двух часов не сводил глаз с очаровательной брюнетки. Им овладело желание узнать ее фамилию. В надежде встретить кого-нибудь из знакомых Зеницын опять принялся расхаживать по зале, не теряя, однакож, из виду незнакомки.

Ты ли это, Зеницын? Каким трактом, какими судьбами попал ты сюда? — раздался голос сзади Зеницына, и чья-то рука в то же время ухватила его за плечо. Зеницын ничего не слышал, занятый своею незнакомою.

— Постой, братец, — продолжал голос, — куда ты торопишься? Привык в Петербурге бегать-то...

— Черницкий! — невольно вскрикнул Зеницын, оглянувшись, наконец, и увидев молодого человека небольшого роста, который все еще держал его за плечо.

— Пойдем, пойдем! — сказал Черницкий, таща Зеницына за руку. — Здесь мы можем говорить свободно, — прибавил он, когда они пришли в пустой, отдаленный угол многолюдной залы.

— Прежде всего, — сказал Зеницын, когда они обменялись приветствиями, — скажи мне, кто эта дама, которая сидит вон там, подле этой сухой, старой барыни, так пестро разряженной.

— Что тебе в ней? Нам с тобой и без того есть о чем поговорить. После, братец, я тебе опишу подробно все наши провинциальные диковинки.

— Говори, говори теперь; иначе ты ничего от меня не услышишь... Кто она?

— Изволь, если ты непременно этого хочешь. Она — *** полка полковница Александра Александровна Задумская. Вдова, братец, моя соседка по имению, да и твоя тоже; удалая вдовушка: не прошло еще и году, как умер муж, а уж пляшет!

— Вдова! — повторил Зеницын задумчиво. — Скажи, пожалуйста, как ее прежняя фамилия? Мне что-то, кажется, знакомо ее лицо.

— Радова, братец. Да брось ты ее и с ее родословною. Расскажи-ка...

— Радова? — повторил Зеницын.

— Ну, да, Радова, дочь помещика Радова, у которого мы бывали еще в детстве... Помнишь?

— Помню, помню, — задумчиво говорил Зеницын, следя глазами за каждым движением вдовушки, которая сидела еще на прежнем месте.

— Да что тебя она тревожит?..

Долго еще говорили друзья.

Когда они кончили, в зале почти никого уже не было.

— Прощай, — сказал Зеницын, подавая руку Черницкому.

— Что ты? куда? Чтоб я тебя пустил! Нет, как хочешь: сегодня едем ко мне ночевать, а завтра вместе в деревню.

— На первое я согласен, а на второе нет. Мне непременно нужно пробыть несколько дней в городе, — отвечал Зеницын.

— Даю тебе три дня сроку; после этого ты должен непременно явиться в мое Кубино; я буду ждать. Не думай, чтоб тебе было скучно. Мы в деревне живем веселее, чем в городе, несмотря на то, что дело идет к осени. Соседство у меня прекрасное; люди все добрые, весельчаки и оригиналы; ты нахохочешься; я тебя непременно потащу ко всем. На тебя будут смотреть как на диво, — увидишь!

Долго еще Черницкий не давал покою своему приятелю; наконец на рассвете они заснули.



— Хорош же ты! — говорил Черницкий, подавая руку Зеницыну, который входил в его кабинет. — Обещался быть через три дня, а приехал через три недели. Так друзья не делают.

— Дела задержали меня.

— Что ты такой грустный?

— Есть о чем грустить. Обстоятельства призывают меня в Петербург; мое отсутствие может повредить мне. Я почти решился ехать; но когда стал перебирать все, что мне нужно будет здесь покинуть, остановился на одном.

— Уж верно на нелепой любви к нашей провинциальной звезде — Задумской?

Черницкий был с самой ранней юности другом Зеницыну; они вместе шалили на школьных лавках, вместе проказили в Петербурге в горячее время первой молодости;

между ими не было ничего заветного, а потому Зеницын не считал нужным скрываться перед другом.

— Да, — сказал он, — она мне нравится. Ты знаешь, вкус у меня причудлив, желания слишком неограниченны, но она мне нравится. Конечно, я не скажу, что не могу жить без нее, что влюблен в нее до безумия: ты знаешь — я к тому неспособен; но если мне в жизни надо кого-нибудь любить, то есть на ком-нибудь жениться, то, кажется, я могу быть счастлив только с нею.

— Полно, полно; неужли эта кадрильная любовь к пустой, ветреной...

— Пожалуйста, не называй ее так. Мне кажется, ты ошибаешься. Еще в детстве мы знали ее; еще в первые дни юности она нравилась мне. Тогда как желания манили меня вдаль, мысль об ней удерживала меня. В день ее свадьбы я не помнил себя от иступленного отчаяния; только скорый отъезд спас меня от помешательства: я был влюблен. После, разумеется, жар мой прошел, я забыл ее; но и там, далеко, она в сновидениях проносилась иногда передо мною светлой, блестящей звездочкой любви и счастья. Теперь, когда я снова увидел ее, прошедшее оживило в душе моей... Я будто опять живу прежнею, молодою жизнью. И тем более полны жизни и свежести мои воспоминания, что она, сколько я заметил, ничего не переменилась. Так же резва, беспечна, так же простодушна...

Черницкий громко захохотал.

— Маска, мой милый, маска! — закричал он. — Уж я получше тебя знаю ее. Ты здесь другой месяц, а я другой год. Для нашего брата она неприступна, как Гибралтар. Чтоб успеть у нее, надо много и много. Притом же она вдова... Понимаешь ли ты это? вдова! то есть женщина, которая глядит на супружество «с надлежащей точки зрения». Ей нужен муж-пешка, муж-болван, который бы не смел любить ее, точно так же, как не смел бы противоречить ей в чем-нибудь. На нас, на людей, дерзающих иметь свой голос, она смотрит как на обманщиков, лицемеров, тиранов женщины. В твоей чистосердечной страсти, безотчетной преданности она будет видеть обдуманное притворство, рассчитанные замыслы на ее свободу. Да, милый, почти все вдовы так смотрят на своих вздыхателей; они уверены, что вправе думать так, потому что им удалось скоро уморить первого мужа, или, выражаясь их сло-

вами, «приобрести опытность». Задумская, более чем другие, уверена в своей «опытности». О, я очень хорошо ее знаю! Оттого-то она и не кружит мне головы, только кружусь иногда с нею в вальсе, потому что приятно поддержать в руках свеженькую, душистую вдовушку, хоть я и знаю, что не для меня она цветет, а для какого-нибудь превосходительного, у которого глаза худо видят от старости.

— Может быть, ты и прав; но как бы то ни было, я хочу с ней чаще видеться, хочу объясниться с ней. Твоя обязанность доставить мне случай.

— Изволь, изволь! Дай бог, чтоб тебе удалось поколебать ее сердце, смирить ее надменную гордость, которую, к стыду всех мужчин нашего околка, она слишком явно выказывает. Она теперь больше живет в деревне, с своей тетушкой, старой девой, которая до сей поры не покидает еще вожделенной надежды выйти замуж. Мы можем встречаться почти каждый день у соседей. Я тебя всем им представляю.

Вошел человек и доложил о приезде Андрея Матвеевича Стригунова.

— Вот кстати! — сказал Черницкий. — Я тебя сейчас и отрекомендую. Это один из ближайших наших соседей, самый веселый и любезный человек; немножко того... охотник пускаться в философию. Ну, да и то не всегда. Не заговаривай только с ним о соленых огурцах, которые он почитает главнейшими источниками народного богатства. У него дочь Вера, девушка лет семнадцати — добра и мила, только немножко горбовата; он вдовец... имение 200 душ не заложено, ветряная мельница и...

— Здравствуйте, мое почтение, вселюбезнейший сосед, Разумник Петрович! — воскликнул в это время Стригунов, войдя в комнату и подавая руку Черницкому.

К портрету Андрея Матвеевича, нарисованному Черницким, нужно только прибавить, что Андрею Матвеевичу было за сорок лет, что совесть у него, повидимому, была довольно чиста, потому что он не мог пожаловаться на худобу, и что в эту минуту, когда он вошел в комнату, лицо его было чрезвычайно озабочено и вместе с тем сияло какою-то торжественностию. Присутствие третьего, казалось, сначала несколько смутило Андрея Матвеевича, однакож он совершенно ободрился, когда Черницкий отрекомендовал ему Зеницына и тот дружески пожал ему руку.

После разных учтивостей и небольшого разговора, сперва о Петербурге, потом о погоде и урожае, Андрей Матвеевич, как говорится, замялся; несколько минут он был безмолвен и неподвижен; наконец, начал с расстановкою:

— Я к вам с просьбою, Разумник Петрович; не откажите: дело серьезное; без вас не обойдется.

— Говорите, Андрей Матвеевич; я исполню с удовольствием все, что от меня будет зависеть.

— Вот видите (начал Андрей Матвеевич, видимо собираясь сострить)... третьего дня, часу в четвертом пополудни, попался мне в руки «Месяцеслов». Я и ну перечитывать... Да и дочитался, сударь мой, до показания годовых праздников и табельных дней. Коли развернулось, так уж пробегу, подумал я сам про себя, и начал читать... Что ж бы вы думали? Я начитал там, что 17 сентября, судари мои, праздник...

— Ну-с, праздник?

— Да-с, праздник: Веры, Надежды, Любви, матери их Софьи...

— Вот что-с! Вас удивляет, что так много именин в один день?

— Это бы еще ничего; да вот в чем дело: ведь дочь-то мою зовут Верой.

— То есть вы хотите сказать, что Вера Андреевна семнадцатого сентября именинница. Но ведь еще далеко до этого; вы рано беспокоитесь.

— Мне бы хотелось отпраздновать повеликолепнее, знаете... Вот я и приехал с вами посоветоваться.

— Еще успеете! Задать хороший обед, назвать гостей, потанцевать... Вот и славно; все будут довольны.

— Все так, — сказал Андрей Матвеевич, переминаясь, но надо подумать, что Верочка уже на возрасте... этого, мне кажется, мало. Вот я и придумал...

— Ну, что ж вы придумали?

— Покойница моя была страстная охотница до театра... у нас и теперь хранятся все принадлежности...

— Славная мысль, славная мысль! — закричал Черницкий, не дожидаясь окончания речи Стригунова. — Мы сочиним домашний спектакль в честь вашей дочки. Решено! завтра же начинаем хлопотать.

Лицо Андрея Матвеевича просияло невыразимой радостью. Он готов был броситься на шею Черницкому.

— Ну, так, я знал, что вы меня выручите! А без вас что я? пропал бы! Право, так. И слыхано ли дело, чтоб у нас удавалась какая-нибудь новая затея без помощи Разумника Петровича. Он подлинно у нас разумник. На всю губернию голова!

Андрей Матвеевич не льстил Черницкому. Слова его были отголоском общего мнения. Черницкий был светилом провинциального общества по крайней мере на шестьдесят верст в окружности, был главный двигатель удовольствий его. В сущности, он был не более, как человек, который, прожив около десяти лет в Петербурге, имел случай наглядеться и послушаться таких диковин, о которых и мечтать не смеет провинциальная мудрость. Выдумки его были всегда удачны; остроты повторялись в самых отдаленных уездах ***ской губернии. В деревню он попал уже чем-то вроде Онегина: полупромотавшимся, разочарованным, ленивым дэнди, с тою только разницею, что предпочитал уединению удовольствие разгонять свою хандру в обществе людей, каковы бы они ни были. Разменяв свой ум на мелкую монету ежедневных острот, он без оглядки бросал ими в кого попало, в суждениях своих был резок и решителен, говорил важно, «с ученым видом знатока», как человек все испытавший и все презирающий. Мудрено ли, что слова его принимаемы были как закон, что к нему прибегали за советами и пособиями в делах затруднительных? И, надобно признаться, Черницкий умел поддержать себя в подобных случаях, так что с каждым новым подвигом слава его возрастала. Все, так сказать, благоговели перед ним, никто не дерзал оспаривать его первенства. Да и отчего не простить человеку славы провинциальной, местной славы, которая никому не вредит, а напротив, приносит еще так много удовольствия?

Долго не могли решить, что сыграть. Черницкий стоял за водевиль, Стригунов за драму. Наконец приняли за лучшее дать и водевиль и драму. Черницкий вытащил пук разных театральных альманахов и принялся выбирать. Водевиль нашли скоро, выбор драмы затруднил на несколько минут и самого Черницкого. Драмы были все большие, пятиактные и притом весьма неудобные для представления на домашнем театре.

— Давать, так уж давать что-нибудь новое! — сказал

важно Черницкий. — Вот только что вышедшая в переводе драма Шекспира «Ромео и Юлия»; сыграем ее.

— Как можно! — перебил Зеницын. — Она слишком трудна, сложна, длинна.

— Ничего, я завтра же прилажу ее к нашим декорациям, костюмам...

— Помилуй, неужли ты хочешь наложить руку на Шекспира? Грех, братец!

— Молчи, мы из трагедии сделаем комедию, — отвечал Черницкий шопотом. — Прежде всего надобно думать об обстановке драмы, — продолжал он, обращаясь к Андрею Матвеевичу. — Надо распределить роли и заблаговременно раздать их, чтоб успели выучить и вырепетировать.

Началось чтение драмы.

— Как вы думаете, кому из наших знакомых приличнее играть Ромео? — спросил Черницкий, прочитав вслух первое действие.

— Кому, кому... кто бишь у нас из молодых-то людей по соседству? Да вот хоть бы Глеб Сидорыч Бралов; хороший, очень хороший человек: голос у него такой басистый, вид мужественный, руки длинные.

— Что вы, какой он Ромео! Отставной стряпчий, закоренелый подьячий; не спорю, что у него руки длинные, но этого еще недостаточно, чтоб играть шекспировского героя... Притом же он горбат.

— Ну так Ардальон Петрович Горлатин, наш заседатель; человек прямой: словно аршин проглотил... Или вот, Петр Иваныч Хламыденко, наш ближайший сосед; он, правда, немножко стар, зато уж большой мастер играть.

— Не годится. Он вечно в каком-то веселом расположении духа, как будто немножко хмелен от природы, а тут нужен характер мрачный, глубокий. Мы ему найдем другую роль. Без него также нельзя. Хламыденко человек удивительный, — прибавил Черницкий, обращаясь к Зеницыну, — я тебя с ним познакомлю. Несмотря на то, что я беспрестанно смеюсь над ним, мы живем дружно, душа в душу. Я на него много надеюсь в отношении нашего спектакля. Но кому же дать роль Ромео? Разве Пырзикову, нашему исправнику?.. Он человек довольно неглупый, хоть и простой. Пишите же: действующие лица: Ромео — г. Пырзиков.

— Позвольте, — перебил Андрей Матвеевич, — я вспомнил одно не совсем приятное обстоятельство. Не спору, Роман Макарович человек хороший, дай бог побольше таких людей нашей губернии. Но... мы все существа слабые: у Пырзикова есть привычка выпивать по рюмке ерофеичу через каждые полчаса. Что, если ему придется дольше получаса быть на сцене: ведь не стерпит, сердечный...

Зеницын не мог воздержаться от невольной улыбки; Черницкий, напротив, сделал очень серьезную гримасу, какая появляется у людей при нечаянно встретившемся затруднении, и сказал с важностию:

— Вы правы; Пырзиков не может играть. Есть места, в которых Ромео по целому часу не сходит со сцены.

Андрей Матвеевич насчитал еще несколько кандидатов в Ромео; все они, по различным причинам, весьма уважительным, были отвергнуты Черницким.

— Ну, так играйте вы сами...

— Не могу, любезный Андрей Матвеевич, — я решительно неспособен к такой роли... Ну вот, вы видите, нет никакой возможности сыграть драму; по необходимости должно ограничиться водевилем...

— Что вы, как можно! — воскликнул Стригунов почти со слезами. — Некому играть... полноте; как вам не найти человека! Вот хоть бы ваш приятель; если б они сделали такое одолжение.

— Я еще не уверен, долго ли здесь пробуду, — прервал Зеницын. — Мне скоро нужно быть в Петербурге.

Андрей Матвеевич остолбенел от ужаса. Мысль задать великолепный спектакль так срослась с его мозгом, что без осуществления ее ему казалось невозможным праздновать день рождения дочери.

— Постойте! — быстро воскликнул он, как бы озаренный светлою мыслию свыше, — вы говорите, что кроме Пырзикова никто не может сыграть Ромео?

— Ну, да.

— Так у нас сыграет его Пырзиков. Только нельзя ли прибавить, что Ромео болен и пьет лекарство, или что ему слишком жарко, так он прохлаждает себя водой. Ну, разумеется, мы вместо воды-то водки нальем; гости не догадуются.

— Славная мысль! Bravo, Андрей Матвеевич! — вскричал Черницкий с простодушным восторгом, так что Зеницын не знал чему больше удивляться — простоте Стригунова или искусству, с каким Черницкий умел подделаться под его натуру.

— Теперь я все вспомнил; в пятом действии есть сцена, где Ромео выходит с пузырьком, в котором яд...

— Ну, вот и налить туда ерофеичу! — радостно перебил Андрей Матвеевич, — пусть пьет да пьет себе; и ему хорошо, и нам любо, да и ничего нет предосудительного.

— А предыдущие сцены я сокращу, так, чтоб каждая шла не более получаса...

— А за кулисами поставим графинчик: как он выйдет, так мы и поднесем ему, голубчику... Слава богу, от сердца отлегло! — воскликнул Стригунов, записывая Пырзикова действующим лицом.

— Теперь далее. Пишите: граф Парис — г. Хламиденко; Бенволио—я, ваш покорнейший слуга, Черницкий; Юлия... кому играть Юлию?.. Я думаю, вашей дочери.

— Нет, для нее роль покороче, она слаба грудью...

— Так кого же вы думаете?

— Уж лучше, я думаю, некого, как Александру Александровну; оно и больше важности... Только согласится ли? недавно сняла траур...

— Согласится, — отвечал Черницкий, — она уж тащует.

— Ты думаешь? — перебил Зеницын.

— Я уверен. Она любит увеселения всякого рода, особенно такие, где можно блеснуть чем-нибудь новым...

Зеницын задумался. Случай покороче узнать Задумскую представлялся сам собою нечаянно; потерять его было бы жалко. Он решился.

— Позвольте, господа, — сказал он, — вы должны сделать небольшое изменение в вашей афишке. Обдумав хорошенько свои дела, я нашел, что мне еще можно пробыть здесь до исхода сентября; я с удовольствием беру на себя роль Ромео и прошу записать меня.

Радости Андрея Матвеевича не было конца. Он был не чужд честолюбия; показать своим провинциальным собратиям диковинку, залетевшую из Петербурга, было для него верхом счастья.

Вскоре афишка была составлена, и Андрей Матвеевич, исполненный самодовольствия и гордости, отправился упрашивать соседей быть участниками в его спектакле.

— Славный малой, только глуп немножко! Ну, да и слава богу! — сказал Черницкий, когда добродушный помещик раскланялся и сел в свою бричку.

II

День семнадцатого сентября был великим днем для села Вахрушова. Все было в движении, волновалось, шумело, хлопотало с самого раннего утра. Об Андрее Матвеевиче и говорить нечего. Еще до света поднявшись с постели, он неумоимо бегал из одного конца своего дома в другой, из кухни в чулан, из чулана в погреб, из погреба в театр. Скоро наступила и решительная минута: начали съезжаться гости. В продолжение получаса двор Андрея Матвеевича наполнился каретами, колясками, рыдванами, тарантасами, бричками всех видов, величин и достоинств; комнаты закипели народом. И, боже мой, кого тут не было! Съехались почти все чиновники города, все помещики того уезда, живущие не далее сорока верст от усадьбы Стригунова. Была тут и она, с строгим, неприступным взором, с повелительным голосом, с очаровательной ножкой и дымообразной талией. Кто на нее не заглядывался, у кого сердце не билось при взгляде на пышную красоту в полном развитии? А она? Холодно и гордо смотрела она на этот уездный мир, готовый упасть к ногам ее... Зеницын кусал себе губы от досады и от другого не менее сильного чувства, видя презрительные гримасы, какими отвечала она на любезности уездных франтиков. Несмотря на свою столичность, он еще не много подвинулся вперед в видах своих на Александру Александровну, хотя имел к тому довольно времени и удобства.

Александра Александровна против ожидания отказалась участвовать в спектакле, отговорившись тем, что недавно сняла траур; но, несмотря на то, Зеницын почти каждый день в продолжение трех недель бывал в ее доме, потому что роль Юлии приняла на себя ее тетушка, девица лет тридцати пяти, сухая, высокая и неуклюжая.

В такой печальной перемене Зеницын утешался только тем, что Задумская дала слово постоянно бывать на репетициях. Но напрасно он старался применять горячие монологи Ромео к настоящему своему положению; напрасно, как будто невзначай, относился он к Задумской с словами страсти и страдания. Она слушала равнодушно, по временам произнося только холодным, спокойным голосом: «хорошо, очень хорошо» или «немного громче, не так пылко» и тому подобные замечания. Усилия Зеницына, по видимому, не произвели ни малейшего впечатления на Задумскую; зато они сильно подействовали на ее тетушку; зрелая девица таяла, млела и густо, тяжело вздыхала, слушая Зеницына. На третьей репетиции она была уже влюблена по уши, на четвертой уже делала Зеницыну самые выразительные глазки. Зеницын ничего не замечал, занятый своею вдовушкой. Им овладела какая-то робость. Задумская оставалась для него попрежнему загадкой. Из смелого, самонадеянного малого он сделался кротким, неопытным любовником. Каждый день решался и каждый день откладывал. Однакож рассудок беспрестанно напоминал ему, что пора кончить.

Обед был великолепный. Андрей Матвеевич не садился за стол, поминутно подбегая к гостям и потчuya их своею ручною. Все были очень довольны. После стола одна часть гостей уселась за карты, другая отправилась в сад, третья, которая состояла из участников спектакля, бросилась со всех ног в комнату, где шли приготовления к спектаклю. Там сделалась ужасная суматоха. Кто вслух твердил роль, кто гигантски размахивал руками, кто пробовал, как ловче и эффектнее упасть, а Юлия приставала к Ромео, чтоб он повторил с нею сцену объяснения в любви. Из числа участников представления особенно замечателен был Петр Иванович Хламиденко. Мы не будем его описывать, а лучше повторим то, что говорил об нем приятель его Черницкий, которого мнения в таком случае гораздо важнее, как основанные на авторитете.

— Когда (говорит он) я в первый раз увидел почтенного Петра Ивановича Хламиденко, не знаю почему мне пришли на мысль поношенные брюки. После, когда я короче ознакомился с ним, когда, наконец, мы стали друзьями, я тщательно старался доискаться причины столь странного впечатления, но решительно не находил ее. По необхо-

димости я должен был назвать его впечатлением безотчетным, происшедшим по какому-нибудь сверхъестественному соотношению физиономии Петра Ивановича с поношенным платьем.

Отроду господину Хламиденке лет пятьдесят; ходит он в парике. Что касается до внутренних качеств Петра Ивановича, то я думаю, что он принадлежит к числу людей, которые способны набить свой карман при случае, одурачить дурака и быть одурачену умным, поест, попить на чужой счет и даже придумать проект вроде проекта о застраховании курительного табаку от огня.

Хламиденко, как доказывает самая его фамилия, из малороссиян; он служил двадцать пять лет по статской службе, вышел в отставку надворным советником и купил деревеньку по соседству Черницкого и Стригунова. Еще нужно сказать, что он бредил приметами и хворал страстью — свататься.

Пробило семь часов. Андрей Матвеевич с лицом встревоженным и озабоченным вбежал в сборную комнату своих актеров-любителей.

— Пора, пора! — закричал он. — Гостей наехало бездна, время бежит... восьмой час, а все еще не готовы... Ай, господа, господа! какая неисправность... Ну, право, видно, я не гожусь в режиссеры. Петр Иванович — граф Парис, готовы ли вы? Выучите, пожалуйста, сцену с Ромео во втором акте, Вера Леонтьевна: я надеюсь от нее большого эффекта...

— Я и то прошу Ореста Николаевича повторить, — пропищала жалобно Вера Леонтьевна. — Ну, Орест Николаевич, начинайте хоть с этого: «о, говори, говори, ангел блистательный!»

Зеницын сделал кислую гримасу и начал репетировать с Верой Леонтьевной.

— Повторите, повторите, — говорил Андрей Матвеевич, перебегая от одного к другому. — Пусть же все скажут, что и мы умеем давать хорошие праздники.

— И что ваши гости умеют хорошо разыгрывать свои роли! — самодовольно прибавил Хламиденко.

Стригунов ушел на сцену. Вера Леонтьевна продолжала декламировать; Черницкий насвистывал какую-то песню. Хламиденко хотел итти; но вдруг, не дойдя до двери, остановился, нагнулся, поднял что-то и сказал со страхом:

— Булавка! Она лежала ко мне острием... Дурная примета... Нужно принять предосторожности. (Он три раза повернулся на одной ноге, плюнул сперва на северо-запад, потом на северо-восток и произнес торжественно:) Господа, непременно случится какое-нибудь несчастье! Однако прощайте! Что бы ни случилось — пора одеваться.

Хламиденко ушел.

— Ну, мосье Зеницын, будем же продолжать! — начала Вера Леонтьевна. — На чем, бишь, мы остановились? Да! я говорю вам: «возьмите меня всю, всю...»

И она делала глазки бедному Зеницыну.

— «Беру тебя, беру с тем, чтоб ты назвала меня сладостным именем любви», — отвечал он почти со слезами.

Дверь с шумом отворилась: вбежал Хламиденко, расстроенный, всклокоченный, вбежал в полурусском, полуйтальянском костюме, без парика.

— Фабры, фабры! — закричал он. — Боже мой! Что ж я буду делать без фабры?.. Вот порядок!.. Не говорил ли я, что случится какое-нибудь несчастье? Так и есть! Где я возьму фабры?..

На крик сбежалось несколько слуг и за ними сам хозяин.

— Что случилось? отчего вы так расстроены, Петр Иванович?

— Расстроен! и вы еще спрашиваете, отчего я так расстроен?

— Он никогда не был настроен, — подхватил Черницкий.

— Он, видно, как подержанные фортепьяно, не держит строю, — заметил Зеницын.

— Не понимаю причины вашего гнева... Объяснитесь.

— Вы имели против меня злой умысел; хотели опозорить меня перед вашими гостями. Я прихожу одеваться... И что ж? Нет фабры, нет волос, из которых бы я мог сделать усы и бороду приличной длины и цвета...

— Успокойтесь, я сейчас отыщу парикмахера; все найдется...

— Найдется! нет, поздно уж искать теперь! Я преодолел одно препятствие; я с опасностию своей жизни достал вот эти волосы.

— Покажи, покажи, что за волосы... Да это какая-то шерсть! — вскричал Черницкий, рассматривая продолго-

ватый пучок волос рыжего цвета, который он уже давно заметил в руках неистовствующего Париса.

— Я хотел сделать из них усы и бороду...

— Что ж мешает?.. Славный отрывок... кажется, от теленка... Советую тебе привязать из него бороду.

— Отвяжись!

— В самом деле, почему ж бы вам не воспользоваться своим открытием? — смиренно спросил хозяин.

— Воспользоваться?.. Да разве вы не видите, что это открытие рыжее... всмотритесь хорошенько, совершенно рыжее! — воскликнул Хламиденко почти со слезами.

Все присутствующие начали с любопытством рассматривать волосы.

— О, какое несчастье! — говорил Хламиденко.

— Огненного цвета!

— Совершенно рыжего цвета!

— Без малейших оттенков черного или красного!

— Настоящее подобие красной меди!

— Блистательней солнца, точно у Казимода!

— Что за козы моды! — закричал оглушаемый Хламиденко. — И глупо, — продолжал он, — у козы белая борода, а не рыжая... Хоть бы смеялись-то умно...

— Да успокойтесь, Петр Иванович, — сказал хозяин, смекнув, что дело может принять дурной оборот для его спектакля. — Вооружитесь всегдашним вашим благородием... теперь вас узнать нельзя... Я никогда не думал, чтоб вы были в состоянии кричать и сердиться... Скажите, вы ли это, вы ли?

— Все решительно против меня! — воскликнул Хламиденко, хватаясь за голову. — Если я и вою, так по вашей милости... Однако смотрите, Андрей Матвеевич, как бы вам самим не заплакать!

— Помилуйте, совсем не в том смысле сказал... Если я виноват, то прошу извинения...

— Извинения! могу ли я сделать усы и бороду из вашего извинения?.. Могу ли я нафабрить эти рыжие волосы вашим извинением?.. Нет, я решительно отказываюсь играть.

— Ах, какой вы человек!

— Я не человек, я надворный советник! Я не позволю играть собою всякому... да и сам не буду играть... Прощайте.

Хламиденко ушел. Стригунов чуть не упал в обморок с отчаяния. Только обещания Черницкого уговорить Петра Ивановича несколько ободрили его. Они со всех ног бросились за разъяренным Парисом.

Зеницын остался один. Когда влюбленный робок и нерешителен, тогда он хватается за самые странные средства, чтоб сблизиться с любимой женщиной, только бы эти средства были по плечу его робости и нерешительности. Так действовал и Зеницын. Боясь объясниться открыто, он думал, что может заронить искру любви в сердце Задумской, объяснить ей несколько свои чувства, передав на сцене верно и увлекательно любовь и страдания лица совершенно постороннего. Такое предположение ему извинительно: он был мечтатель и верил в тайное сочувствие душ. Надеясь многого от настоящего вечера, он усердно принялся за повторение своей роли, торопясь воспользоваться последними минутами. Вдруг за дверьми послышался шум: в комнату вбежал Хламиденко, сопровождаемый Черницким и Стригуновым.

— Ты говоришь, что она, Александра Александровна, ангел, штаб-офицерша, — просила меня играть?

— Ну да, — отвечал Черницкий, удерживаясь от смеха.

— О, как я счастлив!.. Беги же, скажи ей, что я все для нее сделаю.

— Да будешь ли ты играть-то?

— Буду ли я играть? Она просила — и я не буду играть?.. Разве я камень, разве я пробка, разве я дерево...

«Понемногу того и другого и третьего, — подумал Зеницын, — а больше всего пробки».

— Иду, иду, буду играть, хоть бы горы препятствий воздвигала судьба!

Хламиденко ушел. Андрей Матвеевич молча пожал руку Черницкому в знак благодарности. Чтоб понять столь быструю перемену, надобно сказать, что Хламиденко давно уже таял от взоров очаровательной вдовушки. При своей самонадеянности, он уже несколько раз приступал даже к решительному объяснению, но был отвергаем. Теперь надежда снова ожила в душе его.

— Половина восьмого! — с ужасом закричал Андрей Матвеевич, взглянув на часы, — только полчаса осталось... Ах, боже мой!

Он побежал со всех ног на сцену. Суматоха сделалась ужасная. Начали одеваться. Наконец поднялся и занавес. Началось представление. Рукоплескания не умолкали почти во все продолжение драмы. Об игре актеров-любителей и говорить нечего: если б не Зеницын, который один несколько соответствовал своей роли, то драму Шекспира легко было бы принять за комедию. Хламиденко невыносимо кричал, бил себя в грудь, топал ногами и засматривался на одно из кресел, в котором сидела Задумская. Монах Лоренцо, которого играл Пырзиков, нес какую-то ахиною и, толкуя о укрепляющей силе трав, им собираемых, беспрестанно ослабевал от травнику, который пил на сцене под именем целебного элексира. Вера Леонтьевна кстати и некстати вешалась на шею Зеницыну и портила его монологи пискливым мяуканьем. Зеницын понимал, как смешно его положение в кругу подобных существ, и между тем лез из кожи, то рыдая, то радуясь, то хохоча в припадке неистового отчаяния. У него, как мы уже сказали, была своя цель, цель странная, однакож, не вовсе нелепая. Но достиг ли он ее? Задумская была тут. Она слушала его, — сначала как все, холодно, равнодушно, потом с некоторым вниманием; наконец с нетерпением ждала она его выходов... Но поняла ли она его? способна ли она была понять его? Черницкий был прав, описывая ее своему приятелю. Она действительно давно сказала сама себе: «Мне нужен или муж—ребенок душою, который был бы слепо, беспредельно предан мне, или муж—дурак первого ранга; иначе я никогда не выйду замуж, потому что буду несчастна». Вот почему она была так неприступна для провинциальных любовников, по большей части пустых и несносных. Она знала, что если б ей не удалось найти мужа первого разряда, т. е. мужа—ребенка, то мужей второго разряда могла бы встретить вдоволь. До сих пор она видела в Зеницыне человека слишком обыкновенного и вовсе не думала прочить его себе в мужья, хоть сердце много говорило в его пользу; но теперь, когда она услышала его сильную, могучую речь, полную страсти и энергии, она поняла, что в нем есть душа, способная чувствовать глубоко и сильно. Она стала припоминать слова, которые говорил он, робость, какую обнаруживал в ее присутствии: слова показались ей так простодушны и благородны, робость так естественна и невинна, что ее мож-

но было принять лучшим свидетельством неискренности сердца и чистоты намерений. Зеницын стал не столько ничтожен в глазах ее, как прежде. Таким образом, мечтательный расчет Зеницына принес ему действительную пользу.

Драма кончилась. Зеницын, разумеется, был вызван и оглушен рукоплесканиями. Много было и других вызовов; только как будто гости сговорились заранее: никто не подал голоса в пользу Веры Леонтьевны. Она одна не была вызвана! Предвидя огорчения своей тетушки, Задумская поспешила на сцену, чтоб успокоить ее обиженное самолюбие. Тетушка бесновалась в полном смысле слова; она готова была вызвать на дуэль всех гостей за то, что ее не вызвали. Нескоро успели привести ее в память и уговорить играть в водевиле, где она выучила главную роль...

— Вперед нога моя не будет у Андрея Матвеевича! — сердито говорила она своей племяннице, выходя с нею за кулисы.

— Ничего, ничего, матушка! — кричал ей вслед Андрей Матвеевич, — в водевиле зато три раза вызовем... Что делать! видно, забыли, забыли... Впрочем, ничего... дело поправимое... Ставь кулису, на которой нарисовано синее небо с черными полосками да три зеленые дерева! — продолжал он, обращаясь к лакею.

— Успокойтесь! — говорила Задумская своей тетушке, внутренно смеясь над ее страстию к славе, — водевиль все поправит: я сама вам похлопаю...

— Как! — воскликнула Вера Леонтьевна с изумлением, — ты хочешь смотреть водевиль? Опомнись... Уж будет того, что смотрела драму... Прилично ли, скажите пожалуйста, смеяться публично через год после смерти мужа?..

— Но меня просит Андрей Матвеевич...

— Что слушать мужчин! Они уговорят, да после сами же смеяться станут... О, я их хорошо знаю!

— Я в этом уверена, тетушка.

— Сколько раз я говорила, что я тебе кузина, а не тетушка.

— Вы сейчас сами назвали меня племянницей.

— Нужды нет... Так ты не пойдешь смотреть водевиля?

— Но ведь вы играете же в нем, хоть также были очень близки моему покойному мужу.

— Я? я дело другое... Не смотри водевиля, советую тебе.

— Пожалуй. Я что-то устала... Притом же маменька учила меня уважать советы старших...

— Иногда надобно слушать и не одних старших, — перебила Вера Леонтьевна с досадою, — например, я желаю тебе добра; не должна ли ты меня послушаться?

— Ваша любовь ко мне, точно так же, как и лета ваши, обязывают меня...

— Ты что-то сегодня рассеянна... Как тебе показалась драма? — сказала Вера Леонтьевна, стараясь замять неприятный для нее разговор. — Зеницын играл прекрасно!

— О, без сомнения! Он очаровал меня!

— Ну, не очень очаровывайся... Помни, что ты вдова. Иное дело девушка: она может предаваться влечению своего неопытного сердца... Не заметила ли ты, он, кажется, что-то робел со мною, голос его дрожал, когда он говорил о любви?

— Как же, заметила... Он решительно влюблен...

— Ну, бог знает; только не советую тебе думать о нем: нет ничего ужаснее безответной любви... Вот Хламиденко; он и давеча говорил...

Вбежал Стригунов и объявил, что пора выходить. Вера Леонтьевна убежала на сцену. Задумская осталась одна. Слова Зеницына: «будь моею, подари меня своей любовью!» не выходили из ее головы. Ей почему-то казалось, что они относились к ней, несмотря на то, что были сказаны на коленях пред ее тетушкою, в виду множества зрителей. Она замечталась. Зеницын, в прекрасном итальянском костюме, который живописно обрисовывал его талию, с страстным, умоляющим взором, с словами любви на устах, живо представился ее воображению. Его упоительная, сильная речь, полная страсти и преданности, лилась рекою в ее жадный слух; его глаза сверкали пламенем, обличая душу сильную, высокую, способную любить беспредельно, вечно... Она слышит биение его сердца, пьет его дыхание, наконец чувствует жгучую сладость его поцелуя... До чего не доводят мечты?.. О, как он свеж, как пылок поцелуй его! Здесь в первый раз Задумская решила, что лучше иметь мужа-ребенка, чем мужа-глупца, что прежде для нее казалось совершенно одно и то же. Видение не ис-

чезало, она продолжала поглощать его глазами, предаваясь упоительному обману чувств, забыв все на свете... Вдруг послышался тихий шорох шагов. Она подняла голову... Зеницын, не мечтательный, действительный Зеницын стоял перед нею в том же самом положении, как она воображала его себе, с тем же кротким, умоляющим взором; даже костюм его был тот же самый.

— Простите мою неосторожность... Я помешал вашему уединению, — сказал он с замешательством.

— Я очень рада, что нашла случай поблагодарить вас за удовольствие, которое доставила мне ваша прекрасная игра.

— И вы с благодарностью!.. Право, я не знаю, куда мне деваться от благодарности... Когда я кончил, голова моя горела, чувства просили покоя, мысли уединения; вдруг благодарность, под видом нескольких самодовольных, плотно пообедавших существ, обступила меня со всех сторон. Я убежал в сад — там поймала меня благодарность в особе хозяина; я сюда — здесь также благодарность и, к несчастью, точно такая же.

— Но может ли быть иначе?.. Вы играли так хорошо, в вас было так много души, чувства, очарования, что, несмотря на несносные кричанья Хламиденко, который все портил, нельзя было не увлечься...

— Как? Игра Хламиденко вас не растрогала?.. Вы не разделяете общего мнения, что он играл превосходно?.. Вас не поразила его энергия, его вдохновение?

— Разве это вдохновение?

— А как же?.. Что же оно по-вашему?

— Какой вопрос!.. Вдохновен только тот, кто способен увлекаться до восторга чем-нибудь...

— Или кем-нибудь?

— И увлекает в то же время других...

— Прекрасно! Но разве Хламиденко не увлекает? Помните ли, как все оживлялось, когда он начинал говорить? И как говорил он! Он задышался от жару; глаза горели...

— Полноте! Его восторг не более как прилив крови к голове и сердцу...

— Хорошо. Положим, что это не вдохновение, а прилив крови к голове и сердцу, предполагаемым у господина Хламиденко; но он все-таки увлекает...

— Меня он только смешит.

— Странно! Значит, вы не так понимаете слово «увлекать», как господа, которые давеча осыпали рукоплесканиями господина Хламиденко?

— Не знаю, как они понимают его. Но, по-моему, увлекать значит заставляя других думать и чувствовать так, как мы думаем и чувствуем.

— Разве это возможно?

— Вы сегодня доказали, что возможно.

— В самом деле?.. Что ж! Может быть, человек и владеет такою способностью; может быть, частица ее досталась и на мою долю... Но жаль, что эта способность только во время роли не оставляла меня. А как бы иногда дорого я дал за нее! Бывает и со мной, что кровь прильет к сердцу: так много слов, так много мыслей роится в голове; хотелось бы их высказать...

— Что ж? Маленькое усилие над собой, и как не сказать того, что думаешь!

— Сказать нетрудно, но трудно пробудить сочувствие в ком бы хотелось.

— Говорите смело и откровенно, и вас всегда выслушают.

— Выслушают, но поймут ли? но ответят ли?..

— В таком случае нужно быть готовым ко всему.

— И говорить смело — даже тогда, когда знаешь, что слова твои могут вызвать ответ, решающий судьбу всего будущего, счастье целой жизни?

— Вы мужчина и боитесь неудач!

— Говорить, когда любишь; сказать: я люблю вас, люблю давно, с первой встречи... но я не смел, не мог говорить вам о любви моей, потому что ни в поступках, ни в словах, ни в глазах ваших не встречал никогда малейшего признака участия...

Случай, как мы видим, дав разговору такой странный оборот, сделал то, на что так долго не мог решиться Зеницын. Александра Александровна давно уже догадалась о намерении Зеницына, однакож неожиданный переход его несколько изумил ее. Она пристально взглянула в лицо Зеницына.

— Я люблю вас, люблю беспрдельно, — продолжал он голосом нежным и умоляющим.

— Охотно верю, — сказала Задумская, — снова взгля-

нужно пристально в его лицо, — но скажу откровенно: я боюсь любви. Может быть, — продолжала она с важностью профессора, опытного в своем деле, — может быть, ваша привязанность, о которой вы говорите, есть только упрямство, свойственное мужчине, когда он стремится к своей цели. Когда же цель достигнута...

— О, нет, нет! клянусь вам! Не мучьте меня. Скажите, советует ли вам сердце ваше любить меня...

— Любить вас? Да, я...

Она в третий раз взглянула на Зеницына и протянула к нему руку.

— О, решайте же скорей мою участь... Или умертвите презрением, или подарите любвию! — воскликнул Зеницын, покрывая поцелуями руку Задумской.

Вдруг лицо Александры Александровны страшно изменилось. Сперва ужас, потом изумление, досада, злость отразились в чертах ее. Она быстро оторвала свою руку от губ Зеницына, отскочила от него на середину комнаты и начала громко, неистово аплодировать.

Долго аплодировала она. Изумленный Зеницын тщетно искал в глазах ее разгадки странного постука.

— Bravo, bravo, мсьё Зеницын! — наконец вскричала она голосом совершенно спокойным и твердым, стараясь скрыть свое замешательство, — вы идете вперед: теперь сцена вышла у вас гораздо лучше, чем давеча; вы сделали быстрые успехи. Но мне кажется странною охота так долго рисоваться в театральном костюме; конечно, он к вам идет, вы играете прекрасно... вы прекрасный актер...

— Актер?

— Прекрасный актер! Нельзя не удивляться вашему таланту. Слух менее проницательный, менее опытный легко бы мог принять ваши слова за голос действительного чувства: так живо, так увлекательно говорите вы... Bravo, bravo! Но, вы видите, в таких случаях я сама актриса, недурная актриса. Притом, сцена, которую вы разыграли, мне уже знакома, и она не могла произвестись надо мной такого действия, какого вы, может быть, ожидали. Как бы то ни было, вы прекрасный актер и вполне достойны законной награды, громких рукоплесканий...

Она опять принялась аплодировать, потом подошла к зеркалу, поправила свою прическу и тихими, спокойными шагами вышла из комнаты.

Зеницын был поражен до крайности. Лицо его было бледно и мрачно, глаза сверкали огнем бешенства...

— Ай, ай! Вот куда я попал вместо двери! — раздался голос позади его. Он оглянулся: голова Петра Ивановича Хламиденко, вся измаранная, испещренная фаброй и румянами, усыпанная мушками, высывалась из прованной ею кулисы; ног его не было видно: они, вероятно, гостили на сцене.

— Сова, сова... или нет — филин... Нет, сова, которая похожа на филина! — безумно закричал Зеницын, бросаясь к кулисе...

— Что, как?

— Помилуйте, что вы наделали, — вскричал вбежавший впопыхах Андрей Матвеевич, помогая Хламиденке подняться на ноги; — это не годится. Вы разрушили очарование целой пьесы: действие на улице; тут был представлен горизонт... как же можно было прорвать небо?

— Когда небо вздумает кувырнуться вниз, а земля займет место неба, что случится 54 ноября, то тут не будет ничего удивительного! — перебил Зеницын с важной миной безумствующего Гамлета.

— Что такое? — воскликнул Хламиденко.

— Что такое? — повторил Стригунов.

— Ничего, ничего, ничего! — отвечал Зеницын. — Я только говорю вам: сено потому дорого, что на свете развелось ужасно много скотов...

Стригунов и Хламиденко значительно переглянулись между собою. Вошел Черницкий под руку с Верой Леонтьевной.

— Хламиденко упал, а прочие играли порядочно, — закричал он с обыкновенною своею веселостию. — Ты что так страшно смотришь? — продолжал Черницкий, обращаясь к Зеницыну, — ты ужасно переменялся.

— В самом деле. Мне кажется, что я стал умнее. Ха, ха, ха!.. Оно так и должно... Когда человек сделает все глупости, которые ему суждено сделать на белом свете, он по необходимости становится умнее... Торопитесь, господа; я сделал свое дело. Приходите ко мне завтра — я прочту вам ученую лекцию... а теперь мне некогда: я пойду в тюрьму подышать свежим воздухом...

Зеницын ушел.

— Он с ума сошел! — шепнул Хламиденко Андрею Матвеевичу и побежал из комнаты, ворча про себя: — вот странная оказия!

Андрей Матвеевич не мог ничего сказать от крайнего изумления: он только пожимал плечами и нюхал табак, по временам щупая свою голову. Черницкий опрометью бросился за Зеницыным.

— Он влюблен в меня, нет больше сомнения! — задумчиво прошептала Вера Леонтьевна. — Бедняжка, как он робок!.. Но я должна прекратить его мучения...

— Что вы говорите? — спросил Андрей Матвеевич.

— Ничего; меня удивило положение Зеницына.

— Да, оно, признаться, и у меня из головы не выходит. Не принять ли каких мер, не нужен ли доктор?

— О, нет! я знаю его болезнь... Тут не поможет доктор... Не беспокойтесь, Андрей Матвеевич, ступайте к гостям, хлопчите об вашем празднике... Уверю вас, что Зеницын будет сегодня же здоров.

— Дай-то бог!

III

Бал был блестящий. В карты играли на восьми столах. Зала, при всей своей обширности, не могла в одно время вместить всех танцующих. Играющим подавали пунш, танцующим лимонад и оршад; то и другое было приготовлено прекрасно. Александра Александровна была очень весела и очаровательна, как всегда. Опытные наблюдатели замечали, что в ней с некоторого времени прибыло еще более важности и самонадеянности. Несмотря на то, находились смельчаки, которые неотвязно вертелись около нее, лестью и комплиментами надеясь победить ее холодную неприступность. Наскучив, наконец, приторными комплиментами привязчивых волокит, Задумская тихонько прокралась из танцевальной залы в соседнюю комнату, где, к счастью ее, в то время никого не было. Но и тут не спаслась она от преследований. Едва успела она избрать себе место, в котором надеялась быть незамеченною, вдруг откуда ни взялся Хламиденко, с довольным, по обыкновению, лицом, нежным взором и покрасневшими щеками. Появление его, казалось, было не совсем приятно Александре Александровне. Она очень милостиво улыбнулась на ка-

кую-то пошлость вроде приветствия, сказанную Хламиденком. Разговор зашел о спектакле.

— Да, вы были очаровательны в роли Париса, надо отдать вам справедливость...

— Ах, — отвечал скромно Хламиденко, — если и было в игре моей что хорошее, то не себе обязан я... не своему искусству... тут есть другая причина...

— Какая же? — кокетливо спросила Задумская.

— Ах, боюсь и говорить...

— Обыкновенная отговорка мужчин, когда они хотят что-нибудь скрыть.

— Напротив, я ничего не хотел бы скрывать от вас... я бы хотел высказать вам все, все...

— Полноте, пожалуйста; вы шутите...

Для такого человека, каков Хламиденко, последних слов Задумской было достаточно, чтоб вывести из них кучу благоприятных предположений. Лицо его просияло каким-то необыкновенным огнем. Он гордо закинул назад голову, натянул белые перчатки, которые держал в руках, поправил свой галстук и стал на колени пред Александрою Александровною.

— Вы требуете, чтоб я говорил? — произнес он торжественно. — Хорошо, я открою вам тайну моего сердца: вы знаете, я люблю вас...

— Полноте шутить! Вы открываетесь в любви всякой женщине; я уж не раз слышала ваши признания.

— Но вы не сердитесь?

— За что ж тут сердиться?

— Так вам не противны слова мои?

— Отчего же?..

— О, я счастливец! Так вы меня любите?.. А как я страдал! Я воображал себе, что вы предпочтете мне какого-нибудь из молодых людей... Я думал, что вы влюблены в Зеницына...

— Вот вздор!

— Да, я ошибался, вижу это. Впрочем, теперь все равно: если б вы и любили его прежде, то теперь, верно, не захотите любить сумасшедшего.

— Сумасшедшего?

— Разве вы ничего не знаете? Ведь Зеницын с ума сошел.

— Пустяки!

— Ей-богу, я не шучу. Спросите у кого угодно. Давича мы сошлись с ним; он начал говорить... я слушал, слушал, — ничего не поймешь; дичь, совершенная дичь... Сам про себя сказал, что он всех умнее, меня назвал филином. И мало ли что говорил! Только все такой ералаш, что уши вянут... Кто ни послушает, все говорят, что он помешался. И лицо такое страшное...

— Давно ли случилась с ним такая перемена?

— Кто говорит — после спектакля, а мне так кажется, еще прежде. Еще на сцене он заговаривался; говорил не то, что надо. Уж так из вежливости его вызвали вместе со мной, а совсем не стоит... Ну, да что об нем говорить! Я так счастлив, что сам чуть с ума не сойду от радости. Но скажите, сжальтесь, скажите, когда судьба навеки соединит нас?.. Не откладывайте, умоляю вас...

— Это что такое? С чего вы взяли? Вот еще новость! оставьте меня, сделайте милость. Я долго слушала вас, наконец недостает терпения...

Перчатки лопнули на руках Хламиденко от внезапного потрясения. Он стоял, как громом пораженный. Бедный Хламиденко! Он наконец был близок к своей цели. Задумская, по разным причинам отчаявшись найти мужа первого разряда, нашла нужным на всякий случай приступить ко второму, которого Хламиденко был достойным представителем. Минута была благоприятная; может быть, она и решилась бы под влиянием впечатлений, волновавших тогда ее сердце. Но одно слово, и дело испорчено. Весть о положении Зеницына заставила Александру Александровну призадуматься. Она играла веером. Хламиденко, как было заметно, собирался что-то сказать. Вы знаете, он человек чрезвычайно уверенный в себе; формальный отказ Задумской мог смутить его только на минуту. С невероятной быстротою, сообразив «по-своему» слова Задумской, он успел уже вывести из них благоприятное для себя заключение, и вследствие того приготовил речь, которою надеялся поправить дело. К несчастью, случай заставил его отложить исполнение этого намерения до другого времени. В комнату вошла дочь хозяина, Вера Андреевна, девушка лет семнадцати, задушевная приятельница Задумской. Хламиденко признал за лучшее удалиться.

— Несносный! — говорила с досадой Вера Андреевна, не замечая Задумской, — за три дня до бала просил на кадрили — и отказался! Я почти готова плакать! Ах, и ты не танцуешь?

— Я почти в трауре.

— Но ведь ты танцевала?

— По необходимости: тетушка пристала ко мне.

— Уж она такая странная. Только и дело, что бегаёт из комнаты в комнату за Зеницыным. А он на нее и смотреть не хочет.

— Скажи, пожалуйста, что с ним сделалось? Ты его видела?

— Он сейчас только пришел в залу. Такой бледный, расстроенный... И вообрази, что он со мной сделал: отказался танцевать кадрили, на которую приглашал меня, и подвел вместо себя Черницкого. Черницкий стал надевать перчатки; вдруг запыхавшись подбежала к нам мадам Бубликова и зашепелявила: «Мсьё Черницкий, мсьё Черницкий. Вы меня ввали на эту кадрили; пойдёте же!» Черницкий закричал: «ах, да, виноват!» и убежал за нею, а я без кавалера; я не танцую по милости Зеницына.

— Но не сердись на него; может быть, он нездоров.

— Нет, мне кажется, он с ума сошел. Он так страшен, так бледен. Я и Варенька даже подозревали, не интересничает ли он, не набелился ли.

— Очень может быть, — быстро перебила Александра Александровна, ухватясь с какой-то особенной радостью за последние слова подружки, — о, мужчины на все способны!

— Полно, chère¹, я смеюсь. Нет, он, кажется, не на шутку встревожен. Его узнать нельзя. Задумчив, скучен, говорит так странно, даже, поверишь ли, я не совсем хорошо понимаю его... Если б ты его видела... Да вот он.

В другом конце залы показался Зеницын, сопровождаемый Черницким. Машинально подвигался он вперед; лицо его было мрачно и безвыразительно, глаза неподвижны и бесчувственны. Вдруг он увидел Задумскую: судорожный трепет прошел по его телу, глаза засверкали, он отвернулся и быстро пошел назад.

¹ Дорогая. (Ред.)

— Куда же ты? — закричал ему Черницкий. — Ты сам говорил, что тебе наскучило многолюдство. Здесь просто. Сядем.

Он насильно посадил Зеницына в кресла. Они начали разговаривать. Зеницын попрежнему говорил странно и отрывисто, часто совсем некстати и невпопад, но в словах его не было уже той несвязности, которая так напугала Черницкого в первые минуты странной перемены его друга.

Вскоре после появления Зеницына к Задумской подошла Вера Леонтьевна.

— Да будь же веселее, пожалуйста! — говорил Черницкий своему другу, — посмотри направо... преинтересная картина. Вот Вера Леонтьевна; пестро наряжена она: точно картинка суздальской живописи. Разговаривая с племянницей, она искоса посматривает на себя в зеркало, и каким довольством сияет лицо ее! за немением поклонников, она сама в восторге от своей красоты... А вот Задумская. Как она печальна, скучна... Посмотри, посмотри. Она обернулась, глядит прямо на тебя...

— Она на меня смотрит! — воскликнул Зеницын трагическим голосом, приподымаясь с кресла, — ее взор убьет меня!

— Что с тобой? как ты говоришь? Да ты настоящий Тальма!

— Тальма, актер! не говори, не говори! Это напоминает мне самую ужасную картину в моей жизни. Сегодня... да, когда мне было десять лет, меня напугал заезжий фигляр.

— Что ты так засмотрелась на Зеницына? Напрасно! ничего не выиграешь, — говорила между тем Вера Леонтьевна своей племяннице. — Лучше будь поласковее с Петром Ивановичем: он так за тобой увивается!

— Ах, тетушка!

— Смотри, помни разборчивую невесту.

Зеницын приподнялся с кресел и под руку с Черницким пошел в танцевальную залу. Вера Леонтьевна отправилась за ним.

Александра Александровна тяжело вздохнула.

В деревне, как известно, праздники не оканчиваются одним днем. Хозяин непременно своею обязанностию почитает содержать на свой счет, по крайней мере в продолжение трех дней, удостоивших его своим посещением знакомых и приятелей, с их лакеями, кучерами и лошадьми. Так было и у Андрея Матвеевича. Все гости, кроме людей должностных да нескольких городских жителей, отговорившихся крайнею необходимостью, принуждены, были еще на два дня остаться у него «на хлебах». В разных местах дома были посланы тюфяки на кроватях, диванах, стульях, составленных рядом, и даже на полу... К рассвету все угомонились, и дом Андрея Матвеевича превратился в стоглавое чудовище огромного размера, храпящее изо всей мочи. Утро, по обыкновению, началось чаем; потом подавали завтрак, который произвел благотворную перемену в гостях. Отяжелевшие головы поправились, сонные глаза просветлели; всем стало очень весело. Только один Зеницын был попрежнему скучен. Напрасно заботливый хозяин старался предупреждать его желания, напрасно Черницкий придумывал для него развлечения. Хандра не проходила.

Обед был довольно шумен. После обеда всякий занялся, чем хотел. Зеницын ушел в сад.

— Насилу мы вас нашли, — кричал Андрей Матвеевич, подходя к беседке, где стоял Зеницын. — Нам нужно с вами поговорить о важном деле.

— Я весь к вашим услугам... Что вам угодно?

— Знаете, разнообразие важная вещь в жизни. До чая время у нас совершенно свободное... Я предлагаю прогулку верхом; дамы согласились с восторгом; дело за кавалерами... Вот вам бы хорошо прокатиться... несколько рассеять меланхолию.

— В самом деле, поедем не надолго. Погода прекрасная! — подтвердил Черницкий, явившийся вслед за Андреем Матвеевичем.

Зеницын тяжело вздохнул.

— Ехать верхом, — сказал он трагически, — разве потому, что тут можно встретиться с опасностью, что на лошади я буду на шаг ближе к смерти, которой так жадно просит душа моя?

— Да что с тобой? опять трагедия! — воскликнул Черницкий.

— Помилуйте! лошади смирные... бояться нечего...

— Хорошо, я поеду... только с условием, чтоб вы позволили мне взять лошадь, какую я захочу...

— С удовольствием, какую угодно. Вот хоть чалую... Лошадь красивая, кроткая и хорошо скачет...

— Нет, она мне не нравится. Дайте мне сивую.

— Сивую? — повторил Андрей Матвеевич со страхом. — Вы хотите взять сивую?

— Да.

— Помилуйте... как можно... Разве вы не помните: ведь я вам говорил, что она на-днях до полусмерти убила моего кучера.

— А меня убьет до смерти! — с какой-то напыщенной радостью вскричал Зеницын.

— Право, я не понимаю вас... Лошадь еще невыезженная, горячая, бешеная... Она и сесть не допустит.

— Уж я как-нибудь сяду... Что ж, неужели вы не можете сделать для меня такого ничтожного одолжения?

— Как можно... Не хочу оскорбить вас отказом... Но пойдемте, посмотрим на нее. Я уверен, что вы сами откажетесь от своего намерения, как скоро на нее взглянете.

— Скажите только, могу ли я взять ее?

— Извольте, если вам угодно... Но я уверен...

Из беседки вылетело восклицание ужаса.

— Никак в беседке кто-то вскрикнул, — сказал Андрей Матвеевич. — Не случилось ли чего? Ах, это вы, Александра Александровна... Что с вами? — продолжал он, заглядывая в дверь беседки.

— Паук, паук! — закричала Александра Александровна, закрывая лицо руками. — Я ужасно боюсь пауков.

«Вот чудо-то! Ничего не боится, а паука испугалась», — подумал Андрей Матвеевич, возвращаясь к своим спутникам.

Они пошли смотреть лошадь.

Вы, верно, догадались, что встревожило Александру Александровну. Долго не доверяла она, чтоб Зеницын действительно был расстроен так сильно, как о том рассказывали; даже тогда, когда она сама увидела Зеницына, расстройство его не казалось ей слишком опасным, хотя заставило ее пожалеть о своей опрометчивой жесто-

кости, которая, как она догадывалась, была причиною перемены в ее обожателе. Но последнее обстоятельство, которого она была нечаянно свидетельницею, привело ее в ужас... Она была горда, надменна, но не зла; мысль быть причиною несчастья человека приводила ее в трепет; притом она любила Зеницына. Единственною причиною поступка, который имел такие печальные последствия, была ее недоверчивость, которую она почитала осторожностью опыта. С восторгом слушала она признания Зеницына; она готова была кинуться в его объятия, приковать его к себе навеки цепями любви... Вдруг костюм Зеницына бросился в глаза ее; несколько слов его роли, случайно вырвавшихся из его уст, поразили слух ее... Мысль страшная, нечистая мысль, внушенная демоном недоверчивости, блеснула в голове ее: «Он недавно говорил то же на сцене моей тетушке, с таким же жаром, с таким же одушевлением: он стоял пред нею в том же положении, на нем был тот же костюм. Что если он меня обманывает?» Обманывает! Могло ли быть что ужаснее для такой опытной женщины, как Александра Александровна? В минуту злая мысль завладела всем существом ее. Она ничего не понимала, ничего не чувствовала, кроме страха быть обманутой. Через минуту еще она уже не сомневалась, что Зеницын играет с нею комедию; она благодарила судьбу, которая послала ей спасительную догадку в то время, когда еще можно было поправить дело, не уронив нисколько своей важности, не выказав слабости собственного сердца... И вот она приняла вид обиженной, и едкие, укорительные слова полились с языка ее... И как она потом гордилась своим поступком, как удивлялась своей опытности, как была уверена в знании сердца человеческого и в невозможности быть обманутою! Теперь, когда она увидела, что без всякой причины оттолкнула от себя сердце, которое любило ее так глубоко и непритворно, что сделалась причиною несчастья человека, который был нужен для ее собственного счастья, она готова была предать проклятию свою недоверчивость; гордость ее разлетелась прахом, улыбка самодовольствия и самоуверенности исчезла; повелительный, надменный вид превратился в печальный и озабоченный; слезы выступили на ее ресницы... Никто бы не узнал Александры Александровны, взглянув на нее в настоящую минуту.

Прогулка верхом была отложена до другого дня, за недостатком дамских седел, чему Александра Александровна была чрезвычайно рада. Она надеялась, что до того времени успеет сделать для Зеницына жизнь не столь ничтожною, чтоб подвергать ее явной опасности, садясь на лошадь, которую все почитали неприступною. Но напрасно искала она случая поговорить с Зеницыным: он быстро и робко отходил прочь, как только замечал Задумскую, или отвечал на вопросы ее нехотя и отрывисто, так что решительно не было возможности поддержать разговор. Вскоре он вовсе исчез. Александра Александровна обегала все дорожки сада, надеясь встретиться с Зеницыным, но она нигде не встретила его. Усталая и печальная, возвратилась она в гостиную. Было около шести часов вечера. Вскоре за нею явился Петр Иванович Хламыденко. Лицо его было искривлено испугом; со лба градом катился пот; дыхание его было тяжело и неровно.

— Ах, кого я встретил! — вскричал он. — Извините, извините, что вы видите меня в таком расстройстве... Этот Зеницын хоть кого напугает...

— Что такое... Зеницын... вы его видели?

— Я целые полверсты бежал от него... Уф! как запыхался! Нет, я больше не гость у Андрея Матвеевича... Только бы кончить одно дело... Представьте себе... Мы ходили гулять в лес, вот что за домом... Возвращаясь назад, я немножко поотстал... Иду себе повеся голову. Вдруг слышу какой-то ужасный хохот... Оглядываюсь: невдалеке стоит Зеницын; глаза у него блестят, как у кошки, волосы всклочены, точно дьявол... Меня так страхом и обдало... Еще больше я испугался, когда увидел в руках его ружье, которое он заряжал... Зачем бы, думаю, ему ружье? Близо дичи нет, далеко итти поздно... Видно, он задумал что-то недоброе... Ему хочется в елисейские... Давича хотел отправиться туда верхом — не удалось; теперь... Тут уж откуда у меня ноги взялись; я побежал, что было силы...

— Как, вы убежали, вы оставили его в таком положении?

— Неужели же мне к нему итти?.. Ну, как бы он сдуру-то в меня... Мало ли что придет безумному в голову.

— Бегите, бегите скорей! Скажите по крайней мере его приятелю, скажите хозяину! — с ужасом воскликнула Задумская. — Дело идет, может быть, о его жизни...

— Сейчас, — отвечал Хламыденко, не трогаясь с места. — Нет, не могу идти... Теперь мы одни... такого случая сегодня уж не будет, а завтра я еду... Я должен сперва объясниться с вами... У меня, наконец, недостает терпения ждать. Я совершенно счастлив, дни мои текут благополучно... Только одного недостает мне — семейства... Отвечайте мне решительно — согласны ли вы быть моею женою?

— Нет, сто раз нет! Но торопитесь...

— Но ведь вы меня любите?

— Нисколько...

— Не сами ли вы говорили? Ах, не мучьте меня, не испытывайте... Решите судьбу мою: я формально прошу руки вашей...

— А я вам формально в ней отказываю.

— Как? вы не хотите быть моею супругою... спутницею моей жизни до самого конца ее?

— Хоть бы вы умерли в день свадьбы...

— Почему же?

— Потому... Да теперь некогда пересчитывать причины... Ступайте, ради бога, будьте великодушны!

— Но скажите причину...

— Хорошо, я скажу, только с условием, что вы уж навсегда откажетесь от своих видов.

— Если причины будут удовлетворительны, покорюсь судьбе.

— И чтоб сейчас же шли на помощь Зеницыну...

— Говорите, ради бога...

— Во-первых, я не хочу замуж; во-вторых, вы мне не нравитесь...

— Но я буду ходить всегда в парике... клянусь до гробовой доски не снимать парика!

— Третья причина... но всех не перечтешь. Взгляните на себя: вы стары.

— Нет еще...

— Ну, идите же.

— Так только-то? из-за таких-то пустяков...

Не успел Хламыденко договорить последнего слова, как вдруг послышался выстрел, раздавшийся, повидимому, недалеко от дома.

— Ах! — вскрикнула Задумская и почти без чувств

упала в кресло. Через минуту она быстро вскочила и скороыми, неровными шагами вышла из комнаты.

При всей своей недалёковидности, Хламиденко догадался о причине ее удаления. Несмотря на странное положение, в которое поставляло Петра Ивановича обхождение с ним Задумской, он, наконец, решил, что Александра Александровна не может быть его «супругою», как он выражался, потому что влюблена в Зеницына... Глубокий, продолжительный вздох был следствием такого соображения. Хламиденко не мог уже чувствовать истинной любви; но она у него заменялась страстью жениться, которая с некоторого времени доходила в нем до неистовства. С особенной гордостью воображал он себя мужем Александры Александровны, за которой увивался весь город, которая отвергла так много искателей; тяжело ему было отказаться от вожделенной мечты своей, но он не любил долго останавливаться на одном предмете; уверившись в невозможности своих исканий, он тотчас успокоился, просиял лицом и мысленно спросил сам себя: «на ком бы жениться?» Ответ не являлся; Хламиденко был в нерешимости... Простояв несколько минут неподвижно на одном месте, он, наконец, повернулся, отер пот с лица и пошел к двери, чтоб осведомиться о причине выстрела. В дверях попалась ему Вера Леонтьевна. Светлая мысль озарила его. Он воротился.

С Верой Леонтьевной случилось почти то же, что с Хламиденко. Тщетно заохочивала она Зеницына открыться ей в любви. Он не хотел с ней и говорить. Наконец Вера Леонтьевна с горестью созналась самой себе, что такое невнимание происходит не от робости. Следствием такого соображения было намерение отказаться от претензий на Зеницына и обратить их на другого... На кого ж? Вера Леонтьевна села в кресло и задумалась. Хламиденко вытащил из кармана перчатки, надел их, поправил волосы и сделал шаг вперед. Но вдруг он остановился, как бы пораженный чем-то нечаянно. С минуту он был в положении человека что-нибудь вспоминающего или придумывающего; наконец лицо его приняло решительную важность; он подошел к Вере Леонтьевне и сказал с нежностью:

- Сударыня, были ли вы в Бендерах?
- Что за странный вопрос? Нет, не была.
- Ах, и я не был! Наша судьба одинакова...

— Что-с?

— Сударыня, — продолжал Хламиденко с жаром, — вы учились русской грамматике и арифметике?

— Фи, как же не учиться! Можно ли...

— Ах, и я учился! Наши знания одинаковы... Сударыня, — продолжал Хламиденко с умилением, — что вы думаете о моем чине?

— Он довольно значителен.

— Ах, и я то же думаю! Наши мнения одинаковы...

— Вы играете со мной в загадки!

— Сударыня, хотите ли вы выйти замуж?

— Вы сделали мне такой вопрос, от которого девушки краснеют. Конечно, если б нашелся достойный...

— Ах, и я хочу жениться! Наши желанья одинаковы...

Слова Хламиденко как-то приятно звучали в ушах Веры Леонтьевны, несмотря на то, что она не совсем хорошо понимала их. Хламиденко упал на колени; признания потоком полились из уст его. Чтоб понять быстроту, с какою Хламиденко приступал к решительным объяснениям, надо вспомнить, что он, желая прослыть отъявленным волокитой, любезничал со всякой женщиной не моложе шестнадцати лет и не старше шестидесяти, так что всякая из них нисколько бы не изумилась, если б он сделал ей предложение вступить в законный брак.

Не успела Вера Леонтьевна довершить счастья Петра Ивановича решительным согласием, как за дверьми слышались чьи-то шаги. Вера Леонтьевна убежала. Вошел Зеницын. Появление его смутило и изумило Хламиденко.

— Ах, так вы... вы... — произнес он с замешательством.

— Что я? — спросил Зеницын.

— Скажите, пожалуйста, кто давеча выстрелил?

— Я.

— Во что?

— В цель. Мы держали пари с Черницким.

— А где он? Мне надобно поговорить с ним о многом, сообщить ему новость.

— Он в саду.

Хламиденко убежал в сад, поймал Черницкого и по крайней мере час мучил его рассказом о своем сватовстве, своих надеждах и о том, как шибко бьется сердце его в ожидании решительного ответа Веры Леонтьевны.

Между тем Александра Александровна не переставала отыскивать Зеницына. Видя его робость и совершенную безнадежность, она, наконец, решилась сама приступить к объяснению, даже в случае нужды просить прощения. Она была уверена, что одного ее слова достаточно, как она выражалась, «повергнуть к ногам своим несчастного, спасти от гибели и возвратить миру для любви и счастья». И она решилась сказать слово, от которого, по ее мнению, должны были произойти такие благодетельные последствия, решилась, несмотря на то, что тут несколько страдала ее гордость. К такой решимости, кроме очень здравого рассуждения, что лучше раз уступить, чем потом целый век каяться, побуждало ее также опасное положение Зеницына, которое ежеминутно угрожало чем-нибудь ужасным. Притом и праздник Андрея Матвеевича приходил к концу: завтра надобно уже было ехать домой, следовательно, расстаться с Зеницыным. А когда, где, скоро ли можно будет опять встретить его? И будет ли удобный случай поговорить? И не помешает ли его робость воспользоваться таким случаем?

С такими мыслями вошла Александра Александровна в гостиную. Радость блеснула на лице ее, когда она, наконец, увидела себя наедине с Зеницыным. Она сделала несколько шагов вперед и остановилась. Он содрогнулся, как человек, внезапно чем-нибудь испуганный, быстро повернул голову в противоположную сторону и пошел к двери с какой-то трагической важностью, держась одной рукой за сердце, другой за голову.

— Вы так торопитесь... Вас призывает что-нибудь важное. Я хотела бы сказать вам несколько слов...

— Долгом почитаю выслушать их, — отвечал Зеницын возвращаясь.

— Как серьезно! Как будто вы готовитесь услышать от меня проповедь... Орест Николаевич, помиримтесь...

— Я не понимаю вас, сударыня...

— Вы вправе сердиться, но забудьте все...

Он сделал шаг к двери.

— Послушайте же!

Он воротился.

— Как вы переменились! вас узнать нельзя; у вас на душе есть что-то гнетущее. По всему видно, что грусть

точит ваше сердце. Боюсь, не я ли виновата. Вы помните тот неконченный разговор...

— Не помню, — отвечал Зеницын рассеянно, — ничего не помню... Ах, да! позвольте... Да, да!... Нет, ничего не помню.

— Я была так опрометчива... Вы мне тогда говорили... помните?

— Нет, не помню.

— Вы злопамятны. Но я решаюсь говорить с вами откровенно. Что я тогда слышала от вас, я давно уже прочла в вашем взоре, того давно ждала я с тайным волнением. Когда вы говорили, слова ваши так сладко звучали в ушах моих. Я готова была отозваться на них. Вдруг страшная мысль испугала меня: мне показалось, что вы разыгрываете со мной подготовленную сцену. Ваша глубокая печаль, ваше отчаянье убедило меня, что я ошиблась. Простите меня.

Александра Александровна ожидала, что Зеницын залетит на седьмое небо от таких слов, окаменеет от блаженства и потом разлетится прахом у ног ее от благодарности, но, к изумлению ее, он выслушал их с таким же равнодушием, как и предыдущие, сказав только:

— Боже мой! Я готов сделать что вам угодно, готов упасть пред вами на колени, но решительно не понимаю вас!

«Отчаяние овладело им так сильно, — подумала Александра Александровна, — что он не верит своему слуху».

— Но я вас понимаю, — продолжала она. — Да; я видела, как тронула вас моя выходка, как сильно вы были поражены ею. Я раскаиваюсь: простите меня. Простите и за то, что я отняла у вас так много приятных минут: когда другие беззаботно, дружно предавались веселости, вы одни избегали ее; не обращая внимания ни на просьбы хозяев, ни на обидные толки, которые прокричали вас безумным, вы оставались верны своему горю; среди общей радости вы предавались отчаянию. Но знаете ли, что я перенесла еще больше, хотя и казалась, по необходимости, веселою? Вы поймете меня: легче быть оскорбленным, чем оскорбить всякого; но если оскорбленный — тот, которого любишь...

Последние слова Александра Александровна произнесла почти шопотом. Однакож они не произвели над Зени-

цыным такого действия, как она ожидала. Лицо его было попрежнему безнадежно и бесчувственно.

— Так вы верите, что я не актер? — спросил он.

— О, верю, верю! Ваша безмолвная грусть еще больше сказала мне, чем слова ваши.

— Вы верите? Вы, которая одним взглядом покоряете сердца мужчин, вы, для которой много даже одного взгляда, чтоб разгадывать их, вы просите у меня прощения?.. Нет, вы шутите! Таких быстрых переходов наяву не бывает. Если б это была сущность, я умер бы от счастья!

— Я люблю вас, — продолжала она с усилием, — люблю давно. Удивляюсь, как могла я забыть и оскорбить вас, когда так давно знаю вас! Сперва мы были знакомы как дети; потом... я еще не забыла ваших несмелых намерений... потом... но вы помните, где было наше последнее свидание, я уже стояла пред алтарем, я готова была произнести клятву моему покойному мужу...

— Да, я помню эту минуту! — сказал Зеницын с некоторым увлечением, — вы были так прекрасны! Рафаэль отказался бы для вас от своих идеалов. В вашей белой одежде, с венком на голове, с тихой, торжественной печалью во взоре вы мне казались тогда несчастною жертвой; вы были прекрасны... Красота ваша возвышалась еще более при бесчувственной фигуре вашего мужа. В темном платье, с свечой в руке, с серебристыми волосами на голове, в бакенбардах, он походил более на зажженный траурный канделябр, чем на жениха...

— До той минуты, — продолжала Александра Александровна, — я с чувством какой-то радости шла замуж; но когда я увидела ваше бледное, расстроенное лицо — я прочла в нем так много, я поняла всю тягость бремена, которое взяла на себя, соединив судьбу свою с человеком, которого не могла любить. Мне открылась вдруг вся страшная перспектива моего замужества. Я готова была броситься к вам и сказать: спаси меня, спаси! но уже было поздно: я произнесла роковое слово...

— И вот как изменило вас время! как хорошо оно вас пересоздало! Тот, кому вы тогда готовы были ввериться беспредельно, теперь стал в глазах ваших человеком подозрительным... Я, я верю теперь, что опыт важная вещь в жизни.

— Полноте, забудем старое. Для нас еще так много впереди прекрасного...

Она протянула руку Зеницыну. Он медлил взять ее.

Поведение Зеницына удивляло Александру Александровну более и более.

— Вы ужасны, Зеницын! — произнесла она голосом, дрожащим от внутреннего волнения. — Неужели еще не успокоилась ваша гордость?.. Вот я перед вами, смиренная, униженная, я прошу вашего прощения, умоляю...

— Как? вы молитесь о прощении?.. О, не обманывает ли меня слух? Вы говорите, что любили, что любите меня; вы говорите, что сердце ваше разрывалось при виде моих мучений... О, повторите, повторите!

— Правда, правда... Но забудьте...

— Я блаженствую, я счастливейший из смертных! — громко, с напыщенным восторгом трагического героя вскричал Зеницын. — Уф! я даже устал, — продолжал он скороговоркою, делая несколько шагов назад. — Однакож, не так легко играть трагические роли, как я думал! Но dokonчим. Вы поражены, изумлены, растроганы, — значит, я <не>напрасно боролся с трудностями моей роли. Теперь мне остается только благодарить вас, предполагая, что вы аплодируете.

Он вышел на середину комнаты, крестообразно сложил на груди руки и отвесил Александре Александровне три низкие поклона, какие отвешивают почтеннейшей публике русские актеры, когда она вызовет их.

— Он с ума сошел! — невольно воскликнула Задумская.

— Нет, не льстите себе такой мыслию, — спокойно сказал Зеницын. — Она выгодна для вашего самолюбия, но, к несчастью, несправедлива. Вы слишком самонадеянны, если думаете, что ваш странный поступок мог довести меня до безумия. Правда, он поразил меня, но совсем не так, как вам казалось: он только родил во мне желание доказать вам, что вы напрасно так много надеетесь на свою опытность, что я действительно могу быть актером, когда захочу.

— Актером?

— И как мало трудов стоило мне это! Сначала я хотел прикинуться безумцем, но скоро увидел, что могу отделаться гораздо дешевле. И вот я надел маску страдальца

и стал разыгрывать пошлую роль отверженного любовника, — решил играть ее по всем правилам застарелой драмы: кричал как безумный, размахивал руками, брал себя за голову и т. д. При вас я был всегда мрачен и скучен; если говорил с кем-нибудь, то старался, чтоб несколько моих слов достигло до ушей ваших; заметив, что Хламиденко, по страсти к болтовству, аккуратно доносит вам обо мне, я нарочно при нем говорил и делал разные странности, которые, будучи пересказаны, могли бы показаться вам следствием отчаяния. Наконец сцена в саду... она была заранее обдумана. Я знал, что вы были в беседке... И вот какими средствами, в продолжение двух дней, успел я довести вас до положения, в котором вы теперь находитесь! Что же такое ваша неприступность, о которой прокричал весь город? Где ж ваша опытность, которою вы так много гордились? Я был в горячке любви. Вопреки своим правилам, вопреки своему характеру, я увлекся, как ребенок, и, в припадке красноречия, вылил пред вами из души моей чувства, которыми она тогда была переполнена... И что ж? Вы назвали меня актером! Теперь, когда жар мой давно простыл, рассудок принял свои права, с рассчитанным отчаянием, поддельным огнем начал я высказывать чувства, которых не было в душе моей, — вы приняли их за изливание сердца! Где же, повторяю, ваша опытность, которая, как вы думали, давала вам право оскорблять всякого подозрением, смотреть на всякого, как на врага вашего доброго имени, наконец, называть в глаза лицемером!

Можно себе представить, что чувствовала Александра Александровна!

За дверьми слышались шаги. Зеницын отскочил в противоположную сторону. Все гости Андрея Матвеевича, которые наслаждались прогулкою, сбежались в гостиную по случаю нечаянного дождя. Хламиденко был впереди.

Ровным, величественным шагом подошла Александра Александровна к Хламиденке, восхитительно улыбнулась на его комплименты и сказала нежным голосом довольно громко:

— Я долго вас испытывала, но, наконец, уверилась в вашем постоянстве: вот вам рука моя!

Хламиденко чуть не помешался от восхищения. В ми-

нугу весту о событии, столь радостном для Петра Ивановича и завидном для многих, долетела до ушей всего общества. Пошли разные толки...

— Слышал? слышал? — воскликнул Черницкий, подбегая к Зеницыну.

— И, ты видишь, нисколько не удивлен, не встревожен. После сцены, которая...

— Знаю, знаю... Я втайне наблюдал за тобой и все понял... Молодец! ты славно сбил спесь с нашей провинциальной неприступности; а то куда! никто не мог подладить! Ну, да теперь все кончено... Высоко летала, да низко села! А ты что думаешь делать?

— На-днях отправиться в Петербург.

В САРДИНИИ*Повесть***I****ДЕД И ВНУК**

Дон Нуньез де лос Варрадос был одним из знаменитейших грандов испанских. Род его начался едва ли не вместе с первым человеком, явившимся в мире. Если б вы могли представить себе во весь рост его родословное дерево, то увидели бы нечто необыкновенное, нечто повыше Чимборазо и Давалагири; по крайней мере так думал сам старый гранд и утверждали его приближенные. Испанская гордость, к сожалению, вошла в поговорку, а потому совестно было бы распространяться о ней. Дону Нуньезу было уже восемьдесят лет. У него не было детей, и все надежды его на продолжение знаменитого рода основывались на сыне его покойного племянника, молодом внуке, доне Сорильо. Любимым коньком старика были воспоминания о славных предках, из числа которых многие играли важные роли в судьбе Испании. И когда он говорил о них, лицо его разгоралось, глаза сверкали, седая голова тряслась от слабости, но речи были сильны и полны юношеского увлечения. В них было так много вдохновения, так много торжественности, что слушавший их невольно почтительно наклонял голову пред лицом истинного аристократа, который в роде своем сотнями насчитывал графов, грандов и даже герцогов. В свое время сам Нуньез играл немаловажную роль. Еще отец дона де лос Варрадоса переехал в Сардинию и поселился в Турине; дон Нуньез, по смерти отца сделавшись его наследником, остался также в Турине, и таким образом фамилия Варрадосов утвердилась постоянно в Сардинии. Дом его,

гранитный, в четыре этажа, со множеством железных балконов, был украшен фамильными гербами и почитался одним из лучших в городе. Тихо и однообразно текли дни старика в отрадных воспоминаниях, в заботливых попечениях о внуке, с которым неразлучно было связано все дорогое его сердцу, все, что составляло предмет его гордости и заветных надежд. Старый гранд хранил его как зеницу ока, лелеял, как любовницу; он дышал только им, любил его, как славнейшего из своих предков, дорожил им, как всеми предками вместе. Была еще у него внучка донья Инезилья, сестра дона Сорильо, но на нее он обращал гораздо менее внимания. — Род мой, — говорил старик, — должен непременно поддерживаться в мужской линии, как поддерживался донине, иначе древность его будет хвастливой ложью, от которой да спасет святая дева всякого честного гражданина, не только потомка Варрадосов! — И глаза старого гранда с любовью останавливались на доне Сорильо, как будто говоря ему: в тебе надеюсь не умереть я! Ты должен с честью поддержать славный род наш!

— Я все еще не могу приискать тебе приличной партии, — сказал однажды старый гранд своему внуку. — Вчера я советовался с королем. Он обещал назначить невесту и быть на твоей свадьбе. Надеюсь, королю сардинскому не стыдно быть на свадьбе у Варрадоса!

— Зачем торопиться, — отвечал дон Сорильо в смущении, — я еще слишком молод. Прежде надо устроить участь сестры... И я знаю жениха...

— Как, ты знаешь человека, который может быть ее мужем! — перебил гранд, пораженный его словами. — Кто ж он такой? Да, может быть, когда ты путешествовал... герцог... принц крови...

— Нет, он здешний придворный...

— Сумасшедший! — воскликнул гранд, вскакивая. — И ты думаешь, что кто-нибудь из них достоин ее руки! Где он, где? Укажи мне его...

— Дон Фернандо де Гиверос молод, богат, в милости у короля...

Старый гранд захохотал. Голова его судорожно закачалась; глаза запылали гневом и презрением.

— Ты глупец, Сорильо! — закричал он, дрожа всем телом. — Ты сам не знаешь, что говоришь! Ты не пони-

маешь своего высокого назначения, не уважаешь наследственной славы нашего дома, которая дорого стоила мне и предкам моим! Ты недостойн носить имя Варрадоса... Ты не гранд, Сорильо! ты плебей, ты сын плебея, который не помнит своего отца!

— Я внук Варрадоса! — гордо воскликнул молодой человек. — И если кто осмелится... — Сорильо схватился за шпагу. Глаза старого гранда заблестали радостью... Старик бросился к нему на шею...

— Как! — воскликнул он, — ты хочешь обнажить оружие против меня...

— Против всякого, кто осмелится сомневаться в моем происхождении!

— Я опять узнаю в тебе потомка Варрадосов! В тебе их кровь, в тебе душа того славного предка, который своими руками задушил родного брата, когда он хотел опозорить род наш! Обнажай шпагу, Сорильо, обнажай против всякого, кто скажет, кто только подумает, что ты не потомок Варрадосов!

Старик в восторге обнимал внука; в полубезумной речи его было что-то решительное и торжественное. Казалось, он не замедлил бы произнести приговор самому себе, если б поступил вопреки своим правилам...

— Дедушка! — сказал растроганный внук. — Пусть я один буду жертвою вашего честолюбия. Но пощадите сестру: она его любит!

— Diavolo! — воскликнул гранд, снова разгневанный. — Ложь! Она не может влюбиться в человека, который недостойн руки ее!

— Дон Фернандо может насчитать несколько предков, с которыми не стыдно стать рядом вашим, дедушка... Род его продолжается с лишком двести лет...

— Двести лет! А наш... Ты не знаешь, Сорильо, ты не знаешь, сколько веков существует род наш... На что тебе знать! Ты не дорожишь славой Варрадосов! Поди от меня, поди! Я не хочу тебя видеть, не хочу говорить с тобой... Не приходи ко мне, пока не исправишься.

— Если я уйду, дедушка, то уже не возвращусь, — твердо отвечал внук.

— Ты пугаешь меня, Сорильо. Ты хочешь играть мною... Да простит тебя Сант-Яго!

— Я говорю, что думаю, и исполню, что говорю.

— Ты уйдешь, ты будешь ждать моей смерти... А если я лишу тебя наследства, оставлю без куска хлеба, объявлю тебя самозванцем... Все это я могу сделать, Сорильо...

— Я буду называться тогда просто — Сорильо и стану жить честным трудом, но не приду к вам, дедушка...

Старый гранд, с видимым наслаждением слушавший решительные ответы внука, снова обнял его.

— Любовь к правде железная, беспощадная, твердость в слове, не знающая пределов, — отличительные свойства нашего рода, и они есть в тебе, достойный преемник мой. Прости меня, прости! Я капризен, брюзглив, взыскателен; старость, старость! Она то же помешательство! Прости, друг мой!

Сорильо с чувством пожал руку доброму старику, который так быстро переходил от гнева к радости, от сомнения к уверенности именно потому, что беспредельно любил своего внука и каждую минуту за него боялся. Теперь он плакал и извинялся; мир, казалось, был заключен на прочном основании...

— Твердость в слове! — произнес Сорильо, желавший, повидимому, воспользоваться удобной минутой, — вы уважаете твердость в слове; стало быть, я не должен отказываться от мнения, что дон Фернандо достоин быть мужем доньи Инезильи...

— Да, — отвечал гранд после долгого молчания; — но он никогда не будет им.

— В таком случае я женюсь на первой девушке, которая мне понравится...

— Женишься!

И старый гранд рассердился в третий раз сильнее прежнего. Он задрожал, топнул ногою и упал в кресло.

— Так ли думали, — ворчал он про себя, заливаясь слезами, — твои дети, о Алонзо де Варрадос, одержавший тридцать побед над неверными! Таков ли был ты, о Инфантало, положивший голову за одно слово правды, которого ты не хотел утаить! Таковы ли были все вы, знаменитые предки мои! Мне позор! Мне проклятие и бесчестный титул последнего в роде! *Pessador de mi! Vãla me Dios!*¹

¹ О, я грешник! Помоги мне, боже!

— Бог видит, — сказал внук, тронутый горем старика, — я не хотел оскорбить вас, дедушка. Я никогда не шел наперекор вам. Только страдания сестры, которая вянет от любви...

— Замолчи! — сердито перебил старый гранд, вскочив и топнув ногою. — Я лишился сына, теперь ты хочешь отнять у меня дочь!

В эту минуту дверь отворилась и в комнату вошла молодая женщина. Она была прекрасна, стройна и величественна, но лицо ее было бледно и задумчиво; во всех чертах ее, и в особенности в черных, выразительных глазах проглядывало затаенное страдание; поступь ее была легка и правильна; взгляд горд и спокоен. Старый гранд быстро подскочил к ней при самом ее появлении и закричал безумным голосом:

— Он лжет... не правда ли... он лжет! Ты не влюблена в него... ты не хочешь выйти за него замуж?

— Что вы говорите? — спросила кротко девушка.

— Сестра, — сказал дон Сорильо, — дедушка спрашивает тебя, точно ли ты любишь дону Фернандо де Гивероса и хочешь ли выйти за него замуж?

— Дедушка! — отвечала донья Инезилья спокойно и твердо, — я точно люблю Фернандо, но если вы думаете, что он недостойн моей руки, никогда не буду его женою!

— Вот, — закричал обрадованный гранд, обнимая внучку, — вот как должны думать и действовать потомки Варрадосов!

— Смотри, сестра, — сказал брат с некоторою надменностью, — достанет ли у тебя твердости сдержать свой обет, которым ты навсегда отказываешься от счастья!

— Бог поможет мне! — смиренно отвечала сестра, подняв кверху глаза, полные тихой грусти...

— Дедушка, — сказал тогда Сорильо старому гранду, — если сестра моя так великодушно решилась пожертвовать своим счастьем вашему, то я не противоречу. Я также буду следовать ее примеру...

Мир был заключен. Нуньез де лос Варрадос попеременно обнимал детей и плакал от радости. Страх не оставить достойных наследников своего знаменитого имени часто делал его недоверчивым, подозрительным и даже доводил до малодушного отчаяния. Зато когда сомнения рассеивались, он был в восторге.

— Так, так! — говорил он, обнимая внука, — ты с честью поддержишь славное имя, которое носишь. И я не умру в тебе... и мои предки будут еще долго на устах благодарных потомков... Только надо поскорей устроить судьбу твою... я могу умереть... я должен себя успокоить... завтра же поеду к королю и поговорю о твоей свадьбе...

Сорильо тяжело вздохнул.

Донья Инезилья пришла в свои комнаты. Слезы хлынули из глаз ее; она закрыла руками лицо и долго сидела неподвижная, безмолвная; по временам только вылетали из груди ее болезненные вздохи и глухие стенания. Через час она встала, отерла слезы, гордо взглянула кругом, и лицо ее сделалось совершенно спокойным.

— Донья, — сказала хорошенькая камеристка Ханэта, раздевая свою госпожу, — дон Фернандо хочет убить себя, если вы не назначите ему свидания... И он сдержит слово. Он вас так любит! Грех ляжет на вашу душу...

— Воля божия, — отвечала она.

— Он сказал, что придет завтра к вашему балкону... я его просила, чтоб он погодил убивать себя... Может быть, вы согласитесь...

— Никогда, никогда!

— А я почти обещала... Что теперь будет? Он придет... и он убьет себя под вашими окошками... Спасите его! согласитесь хоть из долга христианского!

— Никогда! — повторила Инезилья решительно и поспешила спрятать личико свое под покрывало, потому что на глаза ее набежали слезы...

II

БРАТ И СЕСТРА

Воздух дышит упоительным благовоением роскошных деревьев, отягченных дарами южного неба; алоэ, элоандра, гиацинты, нарциссы, маргал-хул (род тюльпанов) — все цветет, все радуется взору и нежит обоняние. Чинары, тополи, алгорробы, дубы и вязы бросают из ароматных садов стройную тень свою на гранитные стены домов, на улицы, покрытые полумраком наступающего вечера... И вот наступил он, чудный, очаровательный вечер! Солнце скрылось; показалась луна... И какая луна! Не наша се-

верная луна, сонливая, бледная, круглолицая, которая так ленива, так однообразна, так мертва и на небе и в поэтических описаниях... Нет, живая, видимо движущаяся луна, гордая, как гранды испанские, пылкая, живая, страстная, увлекательная, как девы страны, так роскошно освещаемой ею... Чудная страна!

По одной из туринских улиц шла молодая девушка. Широкая баскинья, которую надевают испанские и сардинские женщины, выходя на улицу, скрывала ее стройную талию; в лице и походке ее не было величественной важности, но оно было миловидно и привлекательно. Вообще в ней скорее можно было признать камеристку знатной дамы, чем знатную даму. Навстречу ей шел мужчина высокого роста, в простой куртке или, правильнее, фуфайке из грубого голубого сукна, в огромной желтой шляпе с букетом.

— Ханэта! — закричал он, увидев молодую девушку; — долго ли ты будешь мучить меня, Ханэта! Долго ли я буду встречаться с тобою только на улице! Ты не любишь меня, ты хочешь шутить мною... Смотри, Ханэта!

— Фиорелло! — робко проговорила молодая девушка, — ты мучишь меня своею любовью... Ты пугаешь меня своею ревностью! — Мы не можем быть счастливы... Чем мы будем жить?.. Достал ли ты хоть тысячу вельюнов на нашу свадьбу?..

— Нет! Наша ловля идет очень плохо!

— Видно, я скорее тебя достану их, Фиорелло!

— Ты упрекаешь меня! Хорошо, я брошу свой честный промысел. Завтра в Турине явится новый геррильо¹. Он будет ужасен, Ханэта... От него будет страшно поназаться на улице!

— Избави бог! — вскричала испуганная девушка. — Нет, нет, Фиорелло... Тогда уж нам никогда невозможно будет соединиться!

— Ты боишься... Я не убью тебя... Но клянусь св. Фабризио, моим патроном... я убью твоего любовника... Скажи мне... скажи...

— Разве ты убьешь самого себя, Фиорелло?

— Не себя, а того, кто заступил мое место в твоём сердце, Ханэта!

¹ То же, что бандит.

— Ты жесток... Ты не стоишь любви моей...

— Но чем же ты докажешь ее? Чем?.. Завтра я приду к твоему балкону... Ханэта... в последний раз...пусти меня...пусти.

Голос рыбака был грозен и решителен. Ханэта дрожала.

— Хорошо... может быть... если я подам знак, — отвечала она трепещущим голосом. — Но ради всего святого, Фиорелло, будь осторожнее!

— Помни же, я приду завтра! — сказал рыбак и скорыми шагами отошел от смущенной своей любовницы. Она пошла домой, грустная, растерзанная, и уже была близко жилища знаменитого гранда Нуньеза де лос Варрадоса, как вдруг кто-то схватил ее за плечо... Она оглянулась: перед ней стоял мужчина среднего роста, закутанный в широкий плащ.

— Что? — спросил он быстро. — Что сказала она?

— Она запретила мне даже говорить об вас... Нет никакой надежды!

— Я не увижу ее, не увижу! — отчаянно вскричал мужчина. — Нет, я должен увидеть ее... Ханэта! вот золото... смотри... здесь много... я дам еще больше... Завтра ночью я приду к балкону... ты бросишь мне веревочную лестницу... Да?

Ханэта молчала, но глаза ее жадно впились в кошелек, полный золотом. «Половины его было бы достаточно для нашего счастья!» — думала она, тяжело вздыхая...

— Бери, бери! — нетерпеливо кричал мужчина...

— Страшно, грешно! — тихо проговорила она, и опять замолчала, и опять устремила глаза на кошелек, как будто желая счесть, за сколько придется ей продать госпожу свою...

— Страшно, грешно?.. ложь, выдумка! Она меня любит... Мне стоит только увидеть ее, чтоб победить ее решимость... Не страшно, не грешно, Ханэта!

«Она, точно, любит его!» — подумала камеристка, лицо ее прояснилось. Она взяла деньги и сказала: — Завтра!

— Завтра! — радостно повторил мужчина, и они разошлись.

Фиорелло, между тем, по темным улицам пробирался в свое жилище. На краю города стояло несколько каменных четвероугольных изб, очень некрасивой наружности, с пи-

рамыдальными верхушками, которые заменяли трубы. Там помещался беднейший класс туринского народонаселения; большая часть жителей предместия состояла из рыбаков, к которым принадлежал и наш знакомец. Он, наконец, пришел в свою улицу. В ней было пусто, темно и тихо; только в окне его дома светился огонь. — Она меня ждет! — проговорил Фиорелло и ускорил шаги; через минуту он уже стучал в дверь своего жилища. Свет, который проглядывал сквозь щель полуразрушенной двери, мгновенно исчез; внутри комнаты послышались суетливые движения. — Отворяй, сестра! — закричал пораженный рыбак, но дверь не отпиралась. В ту же минуту с наружной стороны дома раздался резкий стук, как будто что-то упало с крыши, как будто кто-то выскочил из окна... Фиорелло бросился на улицу. Зорким глазом осмотрелся он кругом, но никого уже не было...

— Кто он? — грозно закричал рыбак, войдя в дверь, которая была уже отворена...

Вопрос относился к девушке, которая стояла посреди комнаты, как приговоренная к смерти, сложив на груди руки, потупив глаза... Она была очаровательна. Белая рубашечка ее, вышитая на рукавах и воротнике золотыми узорами, сжималась алым корсажем, который живописно обрисовывал ее талию; голубая юбочка спереди закрывалась белым передником; грубая обувь еще лучше оттеняла ее миниатюрные ножки; с головы ее тянулись две пряди черных, блестящих кудрей и, падая на пышную полукрытую грудь, дразнили воображение самым бесчеловечным образом... Но прочь земные мысли, прочь грешные описания! теперь она была хороша, как падший ангел, проклинающий минуту своего падения...

— Кто он, кто соблазнитель твой? — повторил неумолимый брат, схватив ее за руку. — Он жених твой?

— Нет, — прошептала девушка слабым голосом, — он не может быть им...

— А! не может! И ты давно знакома с ним?

— Я уже ношу под сердцем залог любви его! — отвечала она с геройской твердостью.

— Diavolo! — закричал разъяренный сардинец. — Недаром товарищи посматривают на меня с усмешкою... Недаром они при мне перешептываются между собой; только я один не видел так долго позора моего имени...

Все видели! но не долго оно будет бесчестно... Я отомщу... Я смею обиду кровью... Говори, сестра, говори! кто он? как зовут его?

Она молчала. Фиорелло схватил кинжал и с дикой радостью начал пробовать его об руку. Острое лезвие поскользнулось и из пальца рыбака закапала кровь...

— Кровь, сестра, кровь! смотри! все напоминает мне о крови. Говори же, говори, кто он?

— Я не скажу тебе, кто он, — отвечала девушка, — не скажу, хотя бы молчание стоило мне жизни!

— Ты должна сказать! — закричал разъяренный брат, — ты скажешь... Или мне скажет тайну труп твой... Я задушю тебя и выброшу на улицу на позор целому городу... И если кто остановится у твоего трупа, выронит над ним слезу, скажет слово участия, вздохнет или только взглянет сострадательно — я брошусь на того и месть моя будет совершена... Я узнаю, о, я узнаю его из тысячи!

— Убей же меня, — сказала она, — начни мною, жестокий! Мне уже невачем жить... Я лишилась любви твоей; ты хочешь убить его...

Она заплакала. Фиорелло долго смотрел ей в лицо с мучительным чувством сожаления; на глаза его навернулись слезы.

— Сестра, несчастная сестра! — сказал он умоляющим голосом. — Ты опять найдешь брата, который будет любить тебя еще нежнее и пламеннее, но ты должна пожертвовать для него недостойным любовником!

— Пощади его! — воскликнула рыдая бедная девушка и упала к ногам брата.

— Пощадить! пощадить того, кто покрыл позором мое имя! Сносить двусмысленные улыбки товарищей и позволить при случае назвать себя бездельником... Не обнимай ног моих, я не могу пощадить его... Встань, сестра, я не пощажу его!

— Ты погубишь тем и сестру свою... А вспомни... Ты говорил, что любишь меня больше жизни своей... Ты лгал, Фиорелло! ты был всегда дурной человек, Фиорелло! Бог не простит тебе моей гибели...

— Да, я любил тебя... Я люблю тебя, сестра... И потому буду мстить за тебя... Вспомни, ты была девушка веселая, живая, красавица... Тысячи женихов сватались к тебе... сам я засматривался на тебя... Соседи смотрели

на меня с завистью, любили меня по тебе... Вдруг замечаю, они перемигиваются, шепчутся, прячутся... Бывало, я ворочусь с лова, ты встречаешь меня на пороге, резвая, живая, счастливая. Глядя на тебя, и я молодец, шутя с тобою, и я забывал горе. Вдруг замечаю в тебе перемену, ты стала бледнеть, перестала улыбаться, часто я заставлял тебя даже в слезах, которые ты торопливо отирала при моем появлении... и теперь... О, сестра! кто же погубил тебя, ради всех святых, скажи мне, сестра!

— Никогда, никогда!

— Все равно... Завтра же я найду его... Завтра же его не будет на свете, клянусь всеми святыми! — он замолчал, гневно потряс головой и принялся точить кинжал.

— Им будет зарезан твой любовник! — сказал он с злобной улыбкой, кончив свою работу и показывая сестре кинжал...

— Святая дева! помоги мне спасти его! — прошептала она и упала на свою одинокую постель, где ждала ее мучительная бессонница.

III

ВСТРЕЧИ

Ночь чудная, душистая, очаровательная! Мужчина среднего роста, закутанный в плащ, неподвижно стоит под крайним балконом красивого дома Нуньеза де Варрадоса. Напрасно, вперив очи вверх, думает он встретить там милый образ. Никого нет, никто не разделяет его мучительного беспокойства, его жгучего нетерпения; никто не сочувствует пытке, которая терзает его душу; никто не слушает его тоскливой кантилены, которою он думает разбудить сердце красавицы, и пробуждает только дремлющий воздух...

Если жизнь ослепит блеском счастья глаза,
Даст на счастье обет,
Да изменит... солжет... и наступит гроза, —
Есть терпенье для бед,
Есть для горя — слеза!

Если тот, с кем делить ты все тайны привык,
Чью ты руку сжимал,
Вдруг обидит тебя иль предаст хоть на миг, —

Есть для мести — кинжал,
Для проклятья — язык.

И на все и за все оживляющий вновь
В чем-нибудь есть ответ...
Лишь ничем не зальешь страстью полную кровь...
Гамм ответных нет
Без любви на любовь!

Под балконом тебя сколько черных почей
Я стерег от измен.
Сколько взоров кидал я к тебе из очей,
Сколько спел кантилен! —
Нет ответных речей!

Подожду... и уйду, как земле возвратят
Светлый день небеса...
Но уж завтра сюда не вернусь я назад...
Есть для горя — слеза,
Для отчаянья — яд!

Звуки льются, повторяются эхом и постепенно умирают, умирают, как надежда в сердце влюбленного. Смотрит снова он вверх: пусто и темно! Вдруг на балконе показалась женщина; она привязала к перилам один конец веревочной лестницы, кинула другой вниз и поспешно скрылась. Мужчина со всех ног бросился на лестницу и в несколько прыжков был уже на балконе... Донья Инезилья была в своей спальне и занималась благочестивым чтением проповедей отца Пио де Элизальда, укрепляя душу свою его мудрыми наставлениями. Лицо ее дышало строгим смирением; улыбка благоговейного умиления по временам пробегала по ее розовым, плотно сжатым губам, на которых, казалось, не было места улыбке другого рода. Она дочитала до главы о укрощении страстей и твердом выполнении обязанностей и остановилась, задумалась... Вдруг вдали через комнату послышался шорох. — Ханэта! — закричала она, но ответа не было; шорох повторился ближе и явственнее. Она встала и вышла в другую комнату, осмотрелась кругом и хотела идти в третью, которая вела на балкон и служила гардеробною и вместе местопребыванием ее камеристки, но в то самое время дверь отворилась — перед ней стоял мужчина, закутанный в плащ.

— Дон Фернандо!

— Инезилья!

— Мужчина — в моей комнате, наедине со мной! — воскликнула испуганная девушка отчаянным голосом. — Я обесславлена... честь моя поругана... меня предали... мне изменили...

Он упал к ногам ее.

— Простите! выслушайте меня!

— Я закричу... я призову людей... Брат, брат! дедушка! дон Нуньез! дон Сорильо!

— Замолчите... Вы погубите и себя и меня! никто не поверит, чтоб я прошел без вашего согласия... Выслушайте меня, заклинаю вас, подарите мне одну минуту, одну только минуту...

— О богородица карнеская, о пресвятая Мария! Будь моей заступницей!..

И она почти без чувств упала в кресла и закрыла лицо руками...

— Инезилья! я люблю вас давно и безумно... вы знаете, что я люблю вас... Но я не знаю чувств ваших... Инезилья! я пришел спросить вас: любите ли вы меня?

— Нет, нет! Теперь вы все знаете... оставьте же меня, оставьте!

— Инезилья, справедливы ли слова ваши? Подумайте, вы произнесли мой смертный приговор! — Он выхватил из-под плаща кинжал. Инезилья затрепетала.

— Что вы хотите делать?

— До сей поры я жил надеждою. Теперь нет надежды — не надо и жизни!

Он поднес кинжал к своей груди. Инезилья быстро предупредила его движение и воскликнула, невольно уступив голосу чувства и сострадания:

— Я люблю тебя, Фернандо, я люблю тебя! Живи для меня!

Суровое лицо сардинца оживилось. Оно стало так же прекрасно и радостно, как за минуту было грозно и растерзано... В восторге он хотел броситься в ее объятия, но строгая испанка стремительно отскочила от него и твердо сказала:

— После брака, Фернандо, после брака!

— А когда будет брак наш?

— Он будет там, Фернандо! — отвечала она, подняв глаза кверху. — Молись, Фернандо, молись, чтоб смерть.

скорей соединила нас... потому что на земле счастье для нас невозможно...

— Невозможно! О гранд Нуньез де Варрадос! Зачем у тебя так много предков! Зачем я не могу насчитать и третьей части их! Что надобно, чтобы успеть у тебя? Я любимец короля — по заслугам, я кумир народа — по моим песням. Мои кантилены, мои сегедильи вместе с моим именем на всех сардинских устах... Имя мое долго будет повторяться со славою... Чего еще надо тебе? Предки, проклятые предки!

Донья Инезилья вздрогнула и как безумная вскочила с своего кресла.

— Стук в двери! — воскликнула она. — Стук из покоев моего брата... И он увидит мужчину в моей комнате. Он, которого я так надменно, гордо уверяла еще недавно... О пресвятая богородица карнеская! Что мне делать!

Стук в дверь, соединяющую отделение доньи Инезильи с отделением ее брата, повторился громче прежнего и затих...

— Бегите, бегите! да поможет вам святой Фернандо... Может быть, есть еще время спасти мою честь!

Фернандо побежал к гардеробной, ведущей на балкон, но вдруг Инезилья сильно схватила его за руку и остановила.

— Поздно, уже поздно... Дверь не заперта... я слышу, ее отворили... может быть, брат... может быть, сам дедушка... О, святая Мария! Я слышу шаги... Спрячьтесь, спрячьтесь, ради бога! Скорее!

— Куда?.. укажите... Я готов на все... я готов провалиться под пол, только бы избавить вас от такого отчаяния!

— Вот сюда; скорее, скорее...

Донья Инезилья отворила шкаф, который так искусно был вделан в стену, что его решительно нельзя было заметить. Фернандо быстро бросился туда; она плотно захлопнула дверь шкафа, повернула ключ и в изнеможении кинулась в кресло... В кабинет вошел дон Сорильо; с ним был еще кто-то, повидимому мужчина, в серой куртке простонародного покроя, сверх которой накинут был богатый плащ, совершенно противоречащий грубости остального наряда.

— Сестра, — сказал дон Сорильо, — прости меня.

Я привел к тебе гостью, которой ты должна дать приют до завтра.

Инезилья с изумлением посмотрела на странный наряд особы, которую брат ее называл «гостьею».

— Не удивляйся наряду Линоры, лучше удивляйся ее мужеству... Она спасла мне жизнь, сестра. Сегодня целый день в этом костюме она провела около нашего дома, надеясь встретить меня. Наконец вечером ей удалось пройти в мои комнаты не замеченною никем. Ей только достало сил сказать мне несколько слов, ужасных, роковых слов, и она упала без чувств. Так истомили ее волнения дня, опасения за мою жизнь... Целый вечер пролежала она без памяти в моей комнате... Я беспрестанно дрожал, опасаясь посещения дедушки... Наконец она опомнилась... Я закутал ее в плащ и хотел отвезти домой, но дом ее далеко, теперь так поздно и она до того слаба, что едва ли выдержит далекий путь... Ей нужно отдохнуть, сестра, нужно успокоиться. Я не мог оставить ее у себя. Ты знаешь, дедушка часто ходит ко мне неожиданно. Когда ему видятся дурные сны, он просыпается, вскакивает, бежит ко мне и в рассказах проводит остаток ночи. И это бывает почти беспрестанно... Могу ли я оставить у себя Линору? Приюти ее, сестра, полюби ее, она спасла твоего брата!

Грудь доньи Инезильи разрывалась на части от внутренней бури, но она должна была согласиться на просьбу брата и казаться спокойною. Она протянула руку новопришедшей и пригласила ее сесть.

— Вы так бледны, расстроены; вам нужно отдохнуть, — ласково сказала она.

— Да, мне холодно... я нездорова, — отвечала переодетая женщина, закутываясь в свой плащ, который, видимо, не был принадлежностью ее обыкновенного наряда.

— Ты хорошо знаешь ее? — шепнула Инезилья своему брату, с беспокойством посматривая на дверь шкафа.

— Как самого себя, — отвечал громко брат, — она ангел доброты. Я тебе расскажу нашу повесть. Она не длинна, но трогательна. Из нее ты узнаешь, как много сделала для меня твоя ночная гостья...

— После, после; у меня болит голова... мне нужно лечь. Я и так уверена в добрых качествах твоей подружки...

Одно лицо ее может быть самым верным ручательством за ее душу.

— Хорошо, так я расскажу завтра... А теперь прощай, сестра, дай мне твою чудесную ручку... клянусь, сестра, такой нет ни у одной здешней красавицы, кроме тебя.

Инезилья подала ему руку, которая сильно дрожала; брат несколько раз поцеловал ее и продолжал смеяться:

— Вот бы чудная парочка были мы, если б хоть на один вершок наше родство было подальше теперешнего... Уж мы бы, разумеется, друг другу понравились, и дедушка не противоречил бы. Твой род не превышал бы моего, а мой твоего даже на четверть предка. А теперь дедушка не может выбрать во всем Сардинском королевстве тебе мужа, а мне жены — беда и только! А тогда бы как хорошо было... Не правда ли?

И он опять поцеловал руку сестры.

— Да, — отвечала она, хватаясь за голову.

— Но я беспокою тебя, я разболтался. Что делать... Мне только и отвести душу, что у тебя. А с дедушкой, слушая его обыкновенные рассказы, я сам становлюсь похожим на того знаменитого предка, который тридцать раз, по обязанности верноподданного, прослушал поэму своего короля, не зевнув ни однажды, и после сам божился, что не помнит из нее ни одного стиха...

Инезилья облокотилась локтями на стол, обеими руками подперла свою голову и закрыла лицо.

— Ты спать хочешь, сестра? Прощай. Завтра я приду и, прежде чем ты проснешься, уведу от тебя твою гостью. До свидания!

Сорильо ушел. Инезилья схватила за руку переодетую девушку, несколько мгновений колебалась и потом сказала решительно:

— Я могу положиться на вашу скромность? Должна вам сказать... клянитесь, клянитесь, что вы сохраните в тайне то, что здесь увидите... Здесь есть мужчина... Божусь вам, он здесь случайно... Клянитесь, клянитесь...

Линора, встревоженная беспокойным голосом своей хозяйки, отвечала утвердительно, плохо понимая, в чем дело. Инезилья подскочила к шкафу и быстро отперла дверь.

— Идите, Фернандо! скорее, скорее! Пока есть время! — закричала она; но Фернандо не трогался с места. — Идите

же! оставьте меня! — повторила она. — Спасите мою честь, мою бедную честь!

Но Фернандо был попрежнему неподвижен...

— Что ж вы стоите! — закричала она, схватив его за руку; рука была холодна и безжизненна...

— О богородица карнеская! О святая Мария! Он не шевелится... он мертв, он задохся! — воскликнула она отчаянно, приложив руку к его груди.

Линора вскочила и, подбежав к шкафу, сделала тот же опыт. Фернандо не дышал.

— Да, да! — закричала она, разделяя отчаяние своей хозяйки, — он мертв, он задохся...

— Что нам делать, что нам делать! — восклицала Инезилья, ломая руки. — О пресвятая дева! Мужчина... мертвый... у меня... честь моя, честь моя... Что нам делать...

— Что делать! — повторяла Линора. — Куда нам спрятать труп...

В это время в гардеробной послышался шорох.

— Кто-то идет... Мы пропали, мы погибли! — воскликнула Инезилья. — Или, может быть... Ханэта, Ханэта!

Она схватила свечу и выбежала в гардеробную; Линора за ней. По решетке балкона как призрак тянулась фигура человека, высокая, бледная, в огромной соломенной шляпе с букетом.

— Фиорелло! — с ужасом воскликнула Линора и упала без чувств на пол. В то же время восклицание невольного ужаса вылетело из груди испуганной хозяйки, свеча выпала из рук ее и погасла. Суеверный страх оковал душу испанки: она упала на колени и шопотом читала молитву... Высокий мужчина между тем отпер двери балкона и с восклицанием: «Ханэта, Ханэта!» вбежал в гардеробную.

Фиорелло целый день пробегал по туринским улицам с кинжалом, отыскивая следы человека, погубившего его честное имя. Прошел день, прошел вечер — он все еще искал его. Случайно наткнулся он на дом Нуньез де лос Варрадоса, увидел веревочную лестницу, брошенную с балкона, и, приняв ее за знак согласия своей любовницы, с радостью бросился вверх и очутился подле доньи Инезильи.

— Вор! вор! — закричала она, вскакивая и вырывая свою руку, которую он хотел взять.

— Что с тобой, Ханэта? — сказал он, все еще не узнавая, с кем имеет дело, потому что в комнате, освещаемой только луною, было довольно темно.

— Я не Ханэта, я внука гранда Нуньез де Варрадоса, — сказала гордо испанка. — Что тебе здесь надо? Ты пришел воровать... тебя схватят... ты будешь казнен...

— *Vuestra grandezza!* (ваше грандство) помилуйте... я не вор, я не за тем пришел. — Испуганный рыбак упал на колени.

— Нет пощады, нет пощады! Судьба не щадит меня... Ты задушил дона Фернанда! Ты задушил его! — воскликнула Инезилья, озаренная внезапной мыслию.

— Что?

Ханэта, с намерением удалившаяся из комнат госпожи своей, в то время возвратилась в гардеробную, думая, что уже пора прекратить беседу любовников.

— Фиорелло! — воскликнула она укорительно. — Ты здесь... Я тебе не подавала знака!

— Ханэта, — отвечал он мрачно, — меня называют вором, меня обвиняют в каком-то убийстве. Я невинен, Ханэта. Ты знаешь, зачем я пришел.

Ханэта бросилась к ногам своей госпожи. — Простите его, простите меня! Он не вор... Я назначила ему свидание... Благословите наш брак, госпожа моя!

— Ханэта, — сказала Инезилья грозно, — ты предала меня... Твой любовник... если я захочу, он будет схвачен как вор и...

— Простите, пощадите, *vuestra grandezza!*

— Я все прощу... я устрою ваш брак... Я осыплю вас золотом... только... он должен сделать мне услугу...

— Приказывайте!

— Клянись мне, клянись, что никто не узнает того, что я вам скажу, того, что вы должны теперь сделать...

— Я перекушу язык мой в ту минуту, когда мысль изменить вашей тайне заглянет в мою душу, — твердо сказал рыбак.

— Клянемся, клянемся! — подхватила камеристка. — Приказывайте!

Инезилья медлила. Силы ее истощались; дрожь пробегала по всему телу. Наконец она собрала последнее мужество и произнесла отрывисто: — Здесь есть труп... или, может быть... все равно, он не должен быть в моих комнатах... вы меня понимаете...

Она быстро оставила гардеробную. Как тень, слабая, умирающая, добралась по стене средней комнаты до своей спальни, заперла дверь, упала на колена и стала молиться...

Фиорелло и Ханэта долго стояли в недоумении.

— Ты должен спасти ее, для меня, для нашего счастья! Ты должен спасти ее, Фиорелло! — сказала, наконец, камеристка.

— Где же труп? — спросил рыбак.

— Вот он! — отвечала она, указывая на женщину, переодетую в мужское платье, которая неподвижно лежала на полу и, при падении запутавшись в свой длинный плащ, была совершенно недоступна для взора.

— Я брошу его в реку! — сказал рыбак, взваливая на плечи бесчувственную девушку. — Я брошу его в реку, и, клянусь, никто вовек не будет знать, куда он делся, и того, что здесь было...

— Да помогут тебе все святые исполнить клятву твою! — отвечала Ханэта. — От нее зависит наше счастье!

— Дай задаток, Ханэта, дай задаток!

Фиорелло нагнулся. Ханэта поцеловала его, и они простились.

IV

КИНЖАЛ

Фиорелло шел с своей ношей к реке, рассуждая следующим образом: — Ханэта меня любит, госпожа ее обещала дать нам денег... но я не женюсь, покуда не убью проклятого хитреца, который погубил мою сестру; до тех пор я не могу быть спокоен и счастлив; соседи не пойдут ко мне на свадьбу. «Где твоя сестра, Фиорелло, где твоя сестра? — спросят они. — Умыл ли ты честь свою в крови ее обольстителя?» О святой Фабризио! помоги мне найти его! Кто он? И куда вдруг пропала сестра моя? Может быть, она кинулась в воду... Да, она была так огорчена. Бедная, бедная девушка! Я слишком напугал ее... Но зачем она переделалась в мое платье? Не пошла ли она предо-

стерегать своего любовника? Все против меня, родная сестра против моей чести! Нет, я не откажусь от мщения, хоть бы весь свет против меня! Зачем я люблю сестру мою? Зачем я не могу вырвать у нее тайны кинжалом? Грех, родная кровь ничем не смывается... Я люблю мою сестру, видит небо, как я люблю ее! И я отомщу за нее! Брошу скорей моего идальго... вот река.. Брошу и побегу домой... не пришла ли сестра... Мне хочется ее увидеть... мне хочется обнять ее... — Фиорелло вошел в гондолу, которая была причалена у берега; но, желая подальше от края реки бросить свою ношу в воду, вдруг ему показалось, что труп пошевелился.

— Ты жив, идальго (дворянин), ты жив! — воскликнул он.

Крик ужаса вылетел из груди девушки, и она опять погрузилась в беспамятство.

— Ты жив! Слава всем святым, что ты во-время пошевелился, идальго! Ты не можешь итти, идальго? Хочешь ли, я принесу тебя к себе, ты отдохнешь у меня. А, идальго? Ты не можешь говорить, идальго?

И рыбак молча понес свою ношу домой. Подходя к своему предместью, он заметил, что труп снова пошевелился. Фиорелло пошел во весь шаг. Наконец он внес труп в комнату и, положив его осторожно на постель, достал огня.

Девушка открыла глаза и робко осматривалась кругом. Фиорелло подошел к ней.

— Брат!

— Сестра!

Оба восклицания вылетели в одно время. Но не одинаковое действие произвели они над рыбаком и его сестрою. Линора вздрогнула всем телом от ужасной мысли, которая мгновенно озарила ее рассудок. Фиорелло злобно захохотал и вскричал с диким восторгом:

— Теперь я знаю, кто он. Мне не нужна твоя тайна... Я знаю, знаю!

Рыбак продолжал хохотать от радости. Линора снова впала в бесчувственность.

Было очень рано. Ханэта только что проснулась. Сорильо вошел в гардеробную и спросил:

— Сестра спит?

— Да.

— А она?

— Кто она?

— Та девушка, которую я вчера оставил у твоей госпожи.

— Я не видала никакой девушки.

— Ты, видно, ничего не знаешь, Ханэта. Она должна быть вместе с сестрой.

— Не знаю. Я не была у моей госпожи: она заперла дверь своей спальни.

— Может быть, она там? — спросил Сорильо, указывая на дверь соседней комнаты.

— Не знаю. Я не была и там. Я боялась войти. Ночью тут слышался какой-то шорох... Я целый час творила молитву...

— Ну, верно, она там.

Сорильо вошел в кабинет.

— Линора! Линора! — прошептал он, увидя в кресле человеческую фигуру, закутанную плащом: тихо подкрался он к креслу, нагнулся и готов был поцеловать неизвестную фигуру, но вдруг отскочил. Усы и эспаньолка остановили пламенное покушение дон Сорильо. Неизвестная фигура открыла глаза, зевнула и поднялась на ноги. Сорильо отскочил еще далее.

— Фернандо!

— Сорильо!

Фернандо не вовсе задохся в шкафе, а только лишился чувств от недостатка воздуха. Когда дверь шкафа была отворена, он понемногу начал приходить в себя и, наконец, опаматовался. Обессиленный душным заключением, он с большим трудом вышел из шкафа, упал в кресла и заснул. Так объяснил он своему другу причину их странной встречи; в заключение он прибавил:

— Сестра твоя невинна. Она не хотела меня видеть... Я против воли ее прокрался сюда. Если ты видишь в моем поступке оскорбление ее чести, то должен иметь дело со мной.

— Она тебя любит? — спросил Сорильо, взяв его за руку.

— Да.

— Я знал! что же она сказала тебе, Фернандо?

— Она сказала, что мы соединимся — там! — Фернандо указал на небо.

— Бедная страдальца! Она все еще надеется на свою твердость!

— Уговори ее, Сорильо, обвенчаться со мною тайно...

— А дедушка?

— Он благословит нас, когда уже все будет кончено.

— Скорей проклянет. Ты не знаешь его характера... Он ужасен, Фернандо... Я испытываю на себе, как он ужасен!

Сорильо подал руку своему другу, и они отправились в комнаты молодого гранда.

— Где же она? — спросил Сорильо, проходя гардеробную.

— Я не понимаю, о ком вы говорите, — отвечала Ханэта.

«Странно!» — подумал Сорильо.

— Дон Фернандо! — воскликнула камеристка, увидя его товарища. — Теперь я просто ничего тут не понимаю!



Гранд Нуньес де лос Варрадос проснулся и позвал слугу. Лопэс вошел бледный, испуганный. Смущение его не укрылось от старого гранда.

— Что с тобой, Лопэс? — спросил он, вставая с постели.

— Ничего, *vuestra grandezza*, ничего.

— Руки твои дрожат, ты потупил глаза... ты что-нибудь скрываешь от меня, Лопэс! Говори, что ты скрываешь от меня?

Старый слуга медлил. Гранд вспыхнул.

— Ты дурной слуга, Лопэс; у тебя есть тайны от господина! Говори!

Лопэс силился что-то сказать, но не мог...

— Разве что-нибудь дурное случилось? А! Так, Лопэс, так?

— Успокойтесь! — прошептал слуга, — ничего не случилось, ничего...

— Ничего, Лопэс? Так ли делают верные слуги? Ты предаешь меня! Ты меня обманываешь!

— Я сорок лет служу вам, *vuestra grandezza*. Я никогда не лгал...

— А теперь? теперь ты собираешься лгать... Я вижу, Лопэс, ты собираешься лгать!

— Нам угрожает опасность, — проговорил слуга, запинаясь на каждом слове.

— Опасность! Говори же, Лопэс, говори — какая? Ты боишься испугать меня. Не бойся! Ты знаешь, что я не робок. Ты всегда был со мной, ты видел, как я переносил самые чувствительные потери! У меня железное хладнокровие, Лопэс, железное. Говори, я твердо выслушаю самую ужасную весть!

И между тем старый гранд дрожал от волнения, ожидая со страхом и нетерпением ответа своего верного слуги.

— *Vuestra grandezza!* — отвечал, наконец, слуга, собравшись с духом, — в гербе вашем, который прибит на дверях вашего дома, — воткнут кинжал!

— Кинжал! — повторил с ужасом гранд. — Кто хочет мстить мне? за что?

— Мой приятель, сосед Пио, сказывал мне, что кинжал воткнут сегодня рано, очень рано каким-то высоким мужчиной, в простом платье.

— Кто же он? Чего он от меня хочет? Я не обижал никого, никого.

Между тем слуга вышел и через минуту возвратился с кинжалом.

— Фиорелло! — вскричал гранд, прочитав надпись, вырезанную на кинжале. — Кто такой этот Фиорелло? Я не знаю никакого Фиорелло. Кто из нас имел с ним дело?... Кто мог нанести ему обиду, за которую он жаждет крови!

Дверь отворилась; вошел дон Сорильо.

— А, Сорильо, Сорильо! — закричал старый гранд, вздрогнув от нечаянного соображения. — Ты знаешь Фиорелло, Сорильо?

Молодой гранд побледнел.

— Что за странный вопрос? — сказал он, стараясь преодолеть свое смущение.

— Ты знаешь его, Сорильо! ты его знаешь! Что ты сделал ему?

— Я не понимаю вас, дедушка.

— Ты лжешь, Сорильо! Ты хочешь обмануть меня! Ложь — орудие низких рабов. Стыдно лгать потомку Варрадосов! Ты знаешь Фиорелло. Что ты ему сделал?

За что он хочет мстить тебе, за что он хочет отнять у меня наследника моего имени?

— Но он не знает меня, дедушка.

— Не знает! Смотри, Сорильо, смотри! — перебил старик, показывая внуку кинжал. — Он знает того, кому хотел напомнить о себе этим кинжалом! Он был в гербе нашем вестником мести, Сорильо!

— Мне изменили! — прошептал про себя молодой гранд.

— Признайся же, Сорильо, признайся! Ты знал Фиорелло? Ты обидел его?

— Дедушка, — отвечал внук, — я не знаю Фиорелло, но я точно нанес ему обиду, за которую он вправе искать моей смерти...

Морщинистое лицо старого гранда сделалось ужасно. Он едва не упал; слуга подскочил и подвинул ему кресло.

— Что ж ты думаешь делать? — спросил старик слабым голосом.

— Драться! — отвечал молодой гранд решительно. Старый гранд вскочил.

— Драться! — воскликнул он, — потомок Варрадосов будет драться с плебеем! И плебей убьет его, как равного себе; плебей прервет род Варрадосов; плебей одним ударом кинжала кончит древнейшую в мире фамилию! Нет, скорей он кончит жизнь в тюрьме, на плахе! Я увижусь с министром... я поеду к королю...

— Где честь Варрадосов? Где любовь к правде, которою они знамениты? — возразил молодой гранд, устремив на деда укорительный взгляд.

— Ты прав, Сорильо, я забылся... Он невинен... Но что же делать? Он убьет тебя, Сорильо; он подстережет и убьет тебя!

— Нельзя ли помириться с ним, *vuestra grandezza*; дайте ему денег, — почтительно заметил слуга.

— В самом деле! — воскликнул старый гранд с радостью. — Если ты обидел его, Сорильо, заплати ему, заплати, сколько он хочет!

— Дедушка, — отвечал Сорильо, — обида не такого рода, чтоб ее можно было загладить золотом; он не такой человек, чтоб согласился за золото носить вечное пятно на своей чести.

— Ты оскорбил честь его, Сорильо, — печально сказал старик, — я от тебя не ждал такого поступка. Он вправе убить тебя, и он, верно, не пропустит случая... Тебе нельзя показаться на улице. Каждая минута твоего отсутствия будет для меня пыткой. Что же нам делать? Говори, чем можно загладить вину твою?

— Я погубил сестру его, дедушка...

— Ты обольстил невинную девушку! Сорильо, Сорильо! Поступок твой недостойн честного человека!

— Простите, я люблю ее. Я должен жениться на ней, чтоб загладить свое преступление, смирить справедливый гнев брата...

Старый гранд с бешенством топнул ногою.

— Жениться! Понимаешь ли ты, негодяй, что значит жениться наследнику имени Варрадосов! Этот великий шаг предки твои совершали торжественно, с разрешения королей, которые сами присутствовали на их брачных пиршествах. Он прибавлял новый блеск к венцу их; он был эпохой; об нем говорили во всей стране. Пятьдесят лет прошло, но я еще и теперь с гордостью припоминаю день моей свадьбы... Весь город толпился у нашего дома; сама королева убирала к венцу невесту мою, первейшие лица в государстве провожали нас к брачному алтарю; сам король держал венец над головою будущей супруги гранда Нуньеза де Варрадоса! И когда мы вышли из храма, меня, как какого-нибудь императора, народ приветствовал радостными криками и поздравлял и громко желал счастья и долголетия нашему роду! А ты с своей безродной невестой, ты должен закоулками города пробраться во храм, чтоб не встретить человеческого образа, ты должен спрятать лицо свое от народа, чтоб не возбудить его презрительных взглядов и толков оскорбительного недоумения! О Сорильо, Сорильо! И ты — единственная отрасль нашего дома! И на тебе лежит святая обязанность поддержать знаменитый род Варрадосов!

Старый гранд, обессиленный своей энергической выходкой, в изнеможении упал в кресло и зарыдал. Сорильо, тронутый его отчаянием, бросился в его объятия и произнес со слезами:

— Дедушка! простите меня! Что мне делать? Прикажете! Я буду вам послушен во всем!

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Прошло около месяца. Линора угасала, терзаемая разлукой и опасениями за жизнь своего любовника. Сердце рыбака ожесточилось еще более при виде мучений несчастной сестры. Он не переставал искать случая встретиться с виновником ее гибели и почти не жил дома, подстерегая его на улице. Но напрасны были его старания: дон Сорильо неотлучно был со своим старым дедом, который не переставал с ужасом думать о грозном мстителе и ни на минуту не отпускал от себя своего внука. Три недели прожил Сорильо, почти не показываясь на улицу; тяжело и больно было ему; неизвестность о судьбе Линоры мучила его душу. Несколько раз он пробовал уйти из дому, но старый гранд стерег его на каждом шагу. Наконец время начало охлаждать тревожные опасения, и все в доме стали смотреть хладнокровнее на роковой кинжал с надписью «Фиорелло». Сорильо осторожно вышел из комнаты заснувшего деда и был уже на дороге к жилищу рыбака.

— Не умирай, Линора, не умирай! погоди еще только один день... и ты будешь отомщена! ты умрешь с радостной вестью о его гибели, — отчаянно говорил рыбак сестре, которая, видимо, боролась со смертью.

— Брат, ты сокращаешь последние минуты мои! — прошептала она слабым голосом. — Откажись от своей мести, брат!

— Ты не знаешь, сестра, ты не знаешь, как приятно пролить кровь врага... Я принесу тебе его крови... Ты сама порадуешься тогда!

— Я люблю его, брат! я хочу, чтоб он был счастлив... Мне дурно, душно... прости, брат, я чувствую, что последний час мой близок, прости!

Она закрыла глаза и застонала. Фиорелло упал к ней на грудь.

— Ты умираешь, сестра! ты умираешь! погоди, погоди один день, один час!

Фиорелло, как помешанный, выбежал вон.

— Прости его! — прошептала сестра, но он уже не слышал ее слов; он уже был на улице.

Между бедным предместьем и главным городом была небольшая площадь, запущенная и неопрятная. Кой-где

груды мусора или мелкого щебня; кой-где крутые возвышения или довольно глубокие овраги, наполненные нечистотою, разнообразною до бесконечности; кой-где малорослые деревья, бесплодные и некрасивые; в стороне начатое строение и подле него груды принадлежностей; сверху всего луна, пышная, величественная, нежно бледная, как молодая супруга на другой день после брака.

Здесь встретился Фиорелло с заклятым врагом своим. Оба в одну минуту остановились; оба молча обнажили кинжалы. Фиорелло кинулся к дону Сорильо.

— Постой! — сказал молодой гранд, отталкивая его. — Прежде скажи, чего ты от меня хочешь?

— Крови вашей, идальго, крови!

— Знаю и не боюсь. У меня также есть кинжал. Я также умею владеть им. Одного из нас ждет смерть, другого — закон, столь же строгий и неумолимый. Не лучше ли нам кончить без крови? говори, чего ты хочешь?

— Ничего, кроме вашей крови, идальго! вы вельможа, у вас есть тысяча друзей и льстецов; в ваших руках несметные сокровища; ваше происхождение открывает вам путь к первейшим степеням в государстве... Я бедный рыбак, у которого была одна отрада, одно утешение — честь; одно сокровище — сестра... Вы — гранд, богач, наследник древнейшей фамилии, любимец короля, позавидовали счастью безвестного рыбака: вы убили бедную девушку, которая могла бы быть счастлива по-своему, если б не встретила вас; вы к титулу гранда, богача, наследника древнейшей фамилии прибавили титул подлеца, — да, подлеца, идальго!

— Замолчи, бездельник! — прервал вспыхнувший Сорильо. — Теперь не время укорять, не время оправдываться. Скажи, что сделалось с нею?

— Она умирает. Она, может быть, умерла теперь... Я обещал ей принести крови твоей, идальго!

— Умирает! — с ужасом повторил гранд. — Фиорелло, я не могу теперь с тобой драться. Пойдем к ней, пойдем. Клянусь тебе, через час мы опять будем здесь...

— Подлый трус! ты хочешь обмануть меня, убежать, спастись... Нет, я не отпущу тебя.

— Защищайся! — закричал обиженный гранд и бросился на рыбака с обнаженным кинжалом. Бой был не долгов, через минуту Фиорелло упал к ногам гранда, окрашенный

собственной кровью. Сорильо приложил руку к его сердцу — оно не билось.

— Все кончено! — произнес он отчаянно. — Убийца сестры сделался убийцею ее брата! Линора! ты умираешь! ты, может быть, умерла!

И растерзанный гранд побежал к жилищу рыбака.

— Линора, Линора! — закричал он, вбегая в комнату. — Я пришел к тебе, я, наконец, вырвался из моего заключения!

Ответа не было. Сорильо наклонился к лицу девушки: оно было бледно и безжизненно. Он взял руку — она была холодна и недвижна. Долго молчал гранд, долго с мучительной думой стоял он над бесчувственным трупом своей жертвы. Слезы градом лились из его глаз. Наконец он вспомнил, что положение, в котором он находился, не позволяло ему долее оставаться в доме убитого им человека.

— Прости, прости! — прошептал он, падая на грудь девушки, горячо поцеловал иссохшие уста покойницы и вышел.

— Я преступник! — говорил он сам себе, жадно втягивая воздух в разгоряченную грудь свою. — Я убийца сестры и брата! куда мне деваться от самого себя, от правосудия!

Он пришел на место недавнего боя; там попрежнему было все пусто и тихо; луна, молчаливый свидетель его преступления, так же ярко бросала лучи свои на пустынную площадь, недоконченное здание, груды камней и мусора и на окровавленный труп рыбака. Сорильо бросился к трупу, поднял его, кинул в ближайший овраг и начал заваливать его камнями и мусором. С какой-то дикой заботливостью закладывал он малейшее отверстие ямы, как будто боясь, чтоб мстительный сардинец не вышел из своего темного дома уликой в его преступлении. Около двух часов стаскивал гранд огромные камни на труп Фиорелло, наконец могила приняла вид костра, подобного тем, которые были на площади. Сорильо принялся заметать песком капли крови. Когда, наконец, малейший признак его преступления был уничтожен, он вздохнул свободнее и пошел домой...

Была еще глубокая ночь, когда Сорильо тихо, никем не замеченный, прокрался в свою комнату. Едва успел он

сбросить с себя окровавленное платье, дверь отворилась, вбежал старый гранд, бледный, испуганный, с растрепанными волосами, с диким огнем в глазах. Привыкнув к подобным посещениям деда, Сорильо, бывало, несколько не смущался их нечаянностью, но теперь он невольно вздрогнул.

— Ты жив, Сорильо! ты жив! — закричал старик, бросаясь к внуку. — Мне снилось...

— Что вам снилось, дедушка?

— Страшно, страшно, Сорильо! Благодарю бога — то был сон, пустой сон! ты жив! ты не омрачил чести Варрадосов! ты не оскорбил тени предков своих!

— Дедушка, что за мысль? — перебил Сорильо, дрожа и бледнея. — Как вы могли подумать...

— Ничего, ничего, друг мой... грезы, болезненное расстройство воображения... Забудем все! обними меня, друг мой!

— Что же вам снилось, дедушка?

— Страшно, страшно... Мне снилось, что я хожу в галлерее, где висят портреты предков моих. Вдруг мрачные фигуры их отделяются от рам; они сходят на пол и окружают меня; лица их важны и строги; взгляды грозны и укорительны. Я стою посреди их и с трепетом ожидаю своего приговора. И ты тут же, Сорильо; ты подле меня, бледный как смерть, растрепанный как страшилище; в руке твоей окровавленный кинжал, на шее красная полоса запекшейся крови... на лице, на пальцах твоих тоже кровь... страшно, страшно!..

Старик остановился, заметив необыкновенное смущение внука.

— Что с тобой? — спросил он, взяв его за руку...

— Дальше, дальше, дедушка! вы меня заинтересовали! — отвечал он с поддельной усмешкой, поспешно вырвав свою руку и опустив ее на колени. Старик продолжал:

— Они долго шептались между собою. Отец мой говорил больше всех, и я заметил, что он плакал, упрасывая о чем-то своих товарищей. «Нет! — отвечали они грозно, — он поддерживал честь нашего рода, но он не умел воспитать ему достойного преемника... Он возрастил то семя, из которого выросло древо нашего позора! нет ему места между Варрадосами! прочь его, прочь!» Тут подошел ко мне отец мой и рыдая вывел меня из круга

моих знаменитых предков... А ты, Сорильо, ты... Ты упал к ногам своих предков... Ты молил, ты плакал... напрасно! Один из них махнул рукой, и черные страшилища увлекли тебя за собою... Все исчезло... Я оглянулся кругом: портреты предков моих, как всегда, висели на стене мрачные, молчаливые, только двух крайних, Сорильо, крайних двух между ними не было... Я проснулся; страх оковал мои ноги, но я кой-как дотащился до галлерей, и что же, Сорильо! все портреты висели в прежнем порядке, а твой и мой, крайние... Сорильо, они лежат на полу... Они сорвались со своих перержавевших петель и упали. Но это сон, Сорильо, пустой сон!

— Сон, пустой сон! — глухо повторил внук, падая головой на подушку.

VI

ПЕРСТЕНЬ

— Где твой брат, Линора? что его не видно? — говорил молодой Хозе, входя в дом рыбака. Ответа не было. Хозе подошел к постели, взглянул на покойницу и с ужасом отскочил к двери; крик дикого отчаяния вырвался из груди его. Хозе любил покойницу, любил безнадежно, но горячо и сильно. Смерть ее, о которой он только что узнал, поразила его в самое сердце... Хозе рассказал своим товарищам о том, что видел в доме рыбака. Все были тронуты и удивлены. Вопрос: «Куда же девался брат ее, где Фиорелло?» повторялся на всех устах, и никто не решил его. Фиорелло был любим товарищами, и потому смерть сестры, его собственная печаль в последнее время и, наконец, странное, ничем не объяснимое его отсутствие — все это сильно взволновало умы рыбаков. Прошло около трех дней. Тело Линоры было положено в гроб, все было готово к погребению, ждали не придет ли брат проститься навсегда с сестрою, которую он так горячо любил, — его не было; прошел еще день — Фиорелло не было. Линору похоронили. Рыбаки не переставали искать своего товарища, но долго их поиски оставались без успеха. Хозе на другой день шел домой из города, где он тщетно расспрашивал о пропавшем товарище, грустный, взволнованный. Проходя площадь, чрез которую лежал путь к предместью рыбаков, он вдруг остановился, увидев на одном из камней

круглое пятно засохшей крови; в то же время обоняние его поразило неприятный запах. Хозе стал разрывать в разных местах песок и находил под ним кровавые пятна. К нему присоединилось еще несколько догнавших его товарищей; скоро они разрыли подозрительный костер, и труп Фиорелло был найден.

— Он убит! — воскликнул Хозе, рассматривая покойника. — Он весь изранен. Он умер ужасною смертью!

— Да, кто-то ловко поработал около него! — заметил один из рыбаков.

— Ловко, — подхватил другой. — Очень ловко!

— И славно похоронил его. Если б не случай, не скоро бы мы нашли покойника!

— Да, да, славно! славно! — подхватили второй и первый.

— Ловко, славно! — перебил с досадою Хозе. — Вы готовы произнести похвальную речь его убийце, вы готовы смеяться! Стыдно, стыдно! И над вами также будут, сложа руки, подшучивать ваши товарищи, если вас постигнет такая же участь. А она легко может постигнуть всякого из нас, если мы так хладнокровно будем смотреть на погибель своих братьев.

— Что ж нам делать, Хозе? — спросили пристыженные рыбаки.

— Действовать, а не говорить; мстить, а не издеваться. Кто его убийца? говорите, говорите, если вы знаете.

— Не знаем! — печально отвечали рыбаки. — О, если б мы знали!

— Мы должны найти его.

— Да, да! — подхватили все, хватаясь за свои кинжалы.

Ханэта целый месяц не видала Фиорелло, целый месяц не имела о нем известия. Она ждала, страдала, терпела и, наконец, измученная тщетными ожиданиями, растерзанная неизвестностью о судьбе своего любовника, решила сама итти к нему. Рыбаки еще стояли над трупом своего товарища, когда она проходила площадь. Ханэта также остановилась, стараясь сквозь столпившуюся массу народа рассмотреть предмет общего внимания. Вдруг она безумно вскрикнула и бросилась к трупу.

— Фиорелло! Фиорелло! ты мертв! ты убит! — Она упала на труп; громкие рыдания заглушили ее слова.

— Она, видно, любила его! — сказал кто-то.

— Да, я любила его, любила! — вскричала девушка вскакивая. — О, как он был хорош, как он любил меня! Но его убили! отняли у меня моего Фиорелло, отняли моего мужа! — Она ломала руки и рвала на себе волосы.

— Не знаешь ли, кто убил его? — спросил Хозе.

— Ты, ты! — дико закричала она, и побежала прочь, повторяя имя своего любовника.

Долго с безмолвной тоскою смотрели рыбаки за удаляющейся девушкой.

— Что же мы будем делать? — наконец сказал один из них.

— Отнести его в дом, похоронить и потом искать его убийцу...

— Но как мы узнаем, кто он?

— Нужно узнать, нужно узнать, друзья мои!.. Берите же труп...

Хозе подошел к разрытой могиле, и в то самое время что-то звякнуло под ногой его, скатилось в яму и опять звякнуло, ударившись о камень. Хозе нагнулся и поднял красивый перстень, осыпанный драгоценными камнями.

— Вот его убийца! — радостно закричал он, рассмотрев перстень и торжественно показывая его товарищам. — Смотрите, смотрите, друзья мои! Чей это герб? Чье имя вырезано на перстне?..

— Дон Сорильо, внук старого Варрадоса! — воскликнули в один голос изумленные рыбаки.

— Он, он, друзья мои! Бог попутал его. В одну могилу с телом жертвы своей он закопал и свидетеля своего преступления, свидетеля, который разрушит все его старания скрыться! Теперь мы знаем убийцу Фиорелло... Пойдемте, пойдемте, друзья мои! Ни минуты лишней не должен жить тот, кто безвинно принес в жертву своей прихоти нашего лучшего товарища и бедную сестру его. Да, и сестру. Я уверен, что убийца брата есть также убийца и сестры! Что другое могло быть причиною ее нечаянной смерти? Что другое могло заставить Фиорелло драться с доном Сорильо? Сестра, сестра! Он погубил ее и страшно будет ему отвечать за нее, за брата, перед судом земным, перед судом божьим! Вы видите, друзья мои, вы поклянетесь, если потребуют, что перстень

с гербом дона Сорильо де Варрадоса был найден вместе с трупом Фиорелло?

— Видели, поклянемся!

— Идем же, идем, друзья мои! Смерть Варрадосу!

— Смерть ему, смерть!

Дон Сорильо очень жарко рассуждал с доньей Инезильею о назидательных поучениях отца Пио де Элизальда. Вдруг в комнату вбежала Ханэта. Лицо ее было бледно; взгляд выражал безумное отчаяние, волосы были распущены, слезы крупными каплями висели на ее ресницах.

— Он умер, он умер! — болезненно простионала девушка. — Его убили!

— Кто умер?

— Кого убили?

— Фиорелло, Фиорелло! Его нет уже здесь, он там, он на небе, он ждет, он зовет меня. Кто убил его? О, если б он убил также и меня! Дорого бы заплатила я ему; я отдала бы ему то, что нужно было для нашего счастья на земле. Теперь на что нам золото, возьмите, возьмите его!.. — Ханэта рассыпала по полу кошелек с золотом, который прежде хранила на груди своей залогом счастья. Донья Инезилья была сильно поражена глубокой горестью своей камеристки.

— Но точно ли ты уверена, что он умер? — спросила она с участием.

— О, вы хотите утешать меня! Нет, я сама видела его труп...

— Ты видела его труп? — невольно крикнул Сорильо. Когда ты его видела?

— Сегодня, сейчас я видела труп его... Он обезображен, он покрыт кровью... Но я узнала его... О, я узнаю его из тысячи... Нет другого Фиорелло, нет его во всем свете! Около него толпятся товарищи, они сожалеют, они плачут... Но что их слезы, что их сожаления... О, если б вы могли заглянуть в мою душу!

Сорильо между тем беспрестанно переменялся в лице. Судорожный трепет пробегал по его членам. Он скорыми шагами вышел из комнаты.

— Простите, простите, добрая моя госпожа!

— Куда же ты, Ханэта, куда?

— К нему, к нему! — безумно закричала камеристка и выбежала вслед за доном Сорильо...

— Знают ли они, кто его убийца? — спросил он, оставив ее.

Ханэта улыбнулась, потом захохотала неистово и отвечала, пристально смотря в лицо гранда: — Знают!

Он чуть не упал. Она вырвала свою руку и убежала, напевая что-то диким, нечеловеческим голосом... «Она сумасшедшая», — подумал молодой гранд и вздохнул свободнее.

— Отчего ты так мрачен, так печален, Сорильо? — говорил старый гранд своему внуку. — Лицо твое бледно, глаза мутны. Что мучит тебя, что ты скрываешь от меня, Сорильо?..

— Я... дедушка... я ничего не скрываю от вас...

Вошел старый Лопэс. Никогда физиономия его не была так расстроена, никогда, может быть, она не выражала столько чувств, как теперь; зубы старика стучали, и седые усы его тряслись, как листья на осине...

— *Vuestra grandezza*, дон Диэго желает вас видеть, — произнес он отрывисто. — Я не знаю зачем, клянусь, я не знаю зачем, клянусь, я не знаю...

— Какое дело может иметь до меня алькад? — сказал изумленный гранд. — Разве поручение от короля? Может быть, известие о...

Он взглянул на внука. Лицо молодого гранда было страшно искривлено испугом...

— А!.. Что с тобою, Сорильо? отчего ты дрожишь...

— Тише, тише, дедушка! — сказал молодой гранд, схватывая его за руку. — Ради бога, тише!

— Зачем тише, Сорильо, зачем? — вскричал старый гранд грозно. — Разве я говорю что-нибудь противное чести? Разве...

— Тише... Прощайте, дедушка! Не проклиняйте, о, не проклиняйте меня!

Сорильо быстро пошел к двери...

— Именем короля, остановитесь! — воскликнул дон Диэго, входя в комнату. Все вздрогнули.

— Простите, *vuestra grandezza*, — продолжал алькад, — что, чувствуя всю ничтожность мою перед вами, должен беспокоить вас. Не ужасайтесь, не приходите в отчаяние, может быть, одно недоразумение, мы отыщем, мы оправдаем. Но законы, формы делопроизводства... Нельзя, извините, никак нельзя...

— Говорите, говорите! — перебил старый гранд, — в чем дело, что значит ваша вступительная речь...

— Не отчаивайтесь, говорю вам; может быть, только недоразумение, ошибка. Но... есть некоторый повод думать, есть причины подозревать вашего внука... Мне велено его задержать...

— Вот он! — твердо сказал старый гранд, указывая на внука.

— Впрочем, мне поручено также, — продолжал алькад, — оставить его у вас, если вы дадите слово гранда, что не выпустите его из своего дома и представите к суду по первому требованию... Благоволите дать ответ, *vuestra grandezza*!

— Исполняйте, что повелевает закон!

— Дедушка, — перебил Сорильо, — ради бога позвольте мне остаться. На одну минуту, позвольте мне сказать несколько слов в оправдание.

— Перед судом, Сорильо, перед судом! Если ты невинен, ты скоро возвратишься ко мне; если виновен, я не хочу тебя видеть!

VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сорильо был позван к суду. Его смущение, его нечаянный трепет при виде перстня, который он потерял, зарывая труп рыбака, и, наконец, сбивчивость и неясность речей его, — все это скоро обличило в нем убийцу рыбака и обольстителя сестры его. Сорильо, наконец, сам признался во всем, надеясь объяснением событий, предшествовавших преступлению, смягчить своих судей. Но они были неумолимы. Сорильо был приговорен к смертной казни. Один король мог смягчить строгость закона; дело было представлено на его рассмотрение. Между тем весть о преступлении внука долетела до ушей старого гранда; он заболел. Отчаяние его не имело границ; все надежды его

были разрушены, честь Варрадосов помрачена, и нет наследника его имени, нет того, кто б продолжил древнейшую в мире фамилию. — Вместе с ним, — рыдая говорил старик, — будет казнен весь род Варрадосов! Сбылся мой сон! предки мои с посмеянием выбросят меня из своего круга. И никто ни на земле, ни на небе не вспомнит обо мне с участием. Там забудут меня, недостойного, здесь... кто здесь напомнит обо мне? Где мой наследник, где представитель Варрадосов? Его нет, нет! — И старый гранд в испуге бил себя в грудь и рвал клочками свои седые волосы...

— О богородица карнеская! помоги ему! Укрепи мою душу! — шептала донья Инезилья, не отходившая от постели больного деда...

Вскоре после осуждения Сорильо к дому гранда Нуньеза прискакал курьер и требовал, чтоб об нем немедленно доложили.

— Бумага от его величества, — сказал он, подавая запечатанный конверт гранду...

— Не все еще забыли меня! Сам король вспомнил о своем несчастном подданном; он хочет утешать меня! — воскликнул тронутый старик. — Я слаб, я худо вижу... Прочти, Инезилья, что пишет наш добрый государь!

Король писал, что хотя по законам Сардинии Сорильо осужден на казнь как убийца, но во уважение его молодости и неопытности, бывших причиною его поступка, а также во уважение заслуг его деда и того, что он единственная отрасль дома Варрадосов, смертный приговор можно заменить заключением или ссылкой на некоторое время...

— Он будет спасен! — воскликнула донья Инезилья, прочитав письмо. — О великодушный король! Дедушка, дедушка! он будет спасен!

Инезилья в восторге упала на грудь старого гранда. Он долго не мог говорить, пораженный великодушием монарха...

— О, добрый король! — наконец сказал он со слезами; — ты жалеешь меня, слабого старика, ты жалеешь нашего рода, который должен уничтожиться... Благодарю, благодарю тебя... Но... я помню, что предки мои, что сам я — мы всегда были верными поборниками закона и правды... Дай мне перо, Инезилья, дай мне перо!

— Что вы хотите делать? — с ужасом спросила она...

— Что велит мне долг! Дай перо.

И старик твердой рукою написал смертный приговор своему внуку и вместе с ним всему своему роду. «Государь! Я люблю моего внука, люблю мой род; целью всей моей жизни было оставить по себе наследника, который бы со славою продолжил род Варрадосов. Но если ты велишь мне выбирать между любовью и справедливостью — я выбираю последнюю...»

И Сорильо был казнен.

ПОМЕЩИК ДВАДЦАТИ ТРЕХ ДУШ

*Записки молодого человека, который называет себя
«злополучнейшим из людей»*

29 сентября

.
. утешится и отрет слезы. О, без меня она, верно, плакала! Мы, мужчины, гораздо хуже женщин. Наши чувства, привязанности, страсти, стремления слишком разделены: мы хотим все обнять и потому не обнимаем ничего. Мы ни к чему не можем привязаться постоянно, глубоко, беспредельно: десять идей в голове, двадцать привязанностей в сердце, дюжина фантастических образов в воображении и всё в одно время, в один час, в одну минуту! Женщина... о, женщина совсем другое дело! Женщина может вся предаться одному чувству, вылить все страсти свои, все помышления, все порывы в одну форму, — женщина может любить сильно, глубоко, беспредельно. Она плакала... о, верно, плакала!.. А я... Не может, — я в том уверен, — не может ни в одной груди человеческой поместиться столько любви, сколько кипит в груди моей, не любил так Тассо свою Элеонору, не любил так Петрарка Лауру свою и не будет так любить ни один будущий поэт, ни один романтик, как люблю я мою Зенаиду... и между тем — когда мы расстались — день я вздыхал, день зевал, три дня скучал... и только! На пятый день я уже метал банк... сердце мое сильнее билось при взгляде на семерку пик, которая была виною моего проигрыша, чем при воспоминании о ней... И я еще хвастал моею любовью!

Как я приду к ней?.. Мне будет стыдно, я покраснею за себя, за свои чувства, моя любовь побледнеет пред ее любовью, как бледнеют звезды ночи пред пышным, ослепительным блеском восходящего солнца! Женщины лучше мужчин вдвое, втрое, в тысячу раз!..

Я проснулся. Девять часов утра. Боже мой! как мне дожидаться урочного часа, когда, не нарушая условий света, я могу, наконец, увидеть ее?.. Зачем эти условия?.. Безрассуден человек: сам себя оковал он цепями и не может ступить шагу, чтоб не наткнуться на какое-нибудь препятствие, им самим изобретенное. Я приехал поздно... Был двенадцатый час ночи... Что нужды? Я полетел бы к ней тотчас, и радость наша озарила бы для нас темноту ночи, вывела бы солнце краше весеннего пред наши глаза... Целые двенадцать часов тяжкого, томительного, беспокойного ожидания... двенадцать часов муки вместо двенадцати часов счастья... ужасно! Стану читать книгу... А... часы начинают бить... Каждый удар их отзывается в моем сердце... семь, восемь... девять... десять... еще удар, еще... ради Брегета!.. Я не выдержу... я разобью часы... я расшибу себе голову... Вот я у стены... Слава богу, я впору опомнился! Я не разбил ни головы, ни часов: часы стоят денег; голова ничего не стоит, но она мне нужна, нужна, потому что без головы я не могу итти к ней: неприлично!.. Буду ждать... Вот на потолке нарисован китаец: какая глупая, довольная, добрая физиономия! Как завидую я его спокойствию!.. Что такое? он, кажется, надо мной смеется?.. Дурак! ему непонятно мое волнение! он никогда не чувствовал любви и не будет ее чувствовать: он китаец! Смотрите: он язвительно улыбнулся, он, бездельник, так странно вытянул губы, как будто хочет плюнуть мне в лицо... Вот я же его... Что я делаю? Вообразите, я схватил «Маяк» и хотел швырнуть им в китайца, — любовь лишает меня рассудка! Буду опять читать книгу...

Через несколько часов¹

. . ая . . . читать . . . кровь . . . ад
 . . рога . . . кладбище . . . развалины . . . чело-
 вечья . . . коварная труп
 пистолет

¹ Здесь рукопись молодого человека писана так неразборчиво, что решительно нельзя понять, о чем идет дело. Ав<тор.>

1 октября

Я убедился на опыте... я готов присягнуть — женщины хуже мужчин во сто, в тысячу, в миллион раз!..

У мужчины есть душа пылкая и впечатлительная; мужчина может чувствовать глубоко и благородно, любить сильно и бескорыстно. Женщина! О, не ждите от женщины ни истинной любви, ни постоянной привязанности: ветер в голове, ветер в сердце, ветер в воображении! Существа пустые и мелкие, великодушные при тусклом балльном освещении, бледные при дневном божьем свете, красивые снаружи, отвратительные внутри, всегда занятые собою, всегда кокетки, всегда сплетницы, всегда изменницы, — вот женщины!.. Страшно, когда подумаешь, сколько черных пороков, дурных склонностей, непростительных помыслов, сколько безрассудства и легкомыслия скрыто иногда под самую очаровательную, магнетическую наружность! Больно за человечество: скольким еще суждено обмануться, упасть с неба на землю, — в грязную, нечистую, зловонную лужу разочарования! О, да померкнут очи у лицемерной красавицы, когда она с любовью наведет их на пылкого, доверчивого юношу, — да онемеют уста ее, когда трепетным, проникающим в душу голосом залепечет она ему слова любви, которой не чувствует, — да превратится в камень рука ее прежде, чем она донесет ее до раскаленных уст безрассудного... О, не верьте, не верьте — если вы не хотите быть обманутыми — когда женщина говорит вам: «я люблю тебя»; переводите слова ее: «я тебя обманываю», — и клянусь вам небом, клянусь опытом, который дорого достался мне, клянусь жизнью и всей китайской империей, — вы не ошибетесь...

2 октября

. Ночь. Спит небо, спит земля, спит город, спит каждое здание огромного города, а я не сплю! Спят люди честные и низкие, великие и малые, бедные и богатые, спят графы и булочники, кондитеры и чиновники, журналисты и шарманщики, воры и книгопродавцы, спят, может быть, даже нищие и убийцы, — а я не сплю!

Не сплю!.. Когда земля повернется другою своею стороною к солнцу — а ту, на которой живу я, оставит

во мраке, и вся жизнь органическая, лишенная теплоты и света, измученная заботами, страстями и недугами дня, повергнется в оцепенение — увы! столь непродолжительное! — мне становится легче... Строгая, девственная тишина ночи согласнее гармонирует с унылым, однообразным ропотом души моей, чем разнохарактерный, скрипучий шум буйного дня. Огромные массы мрака, черные складки мантии, в которую ночь одевает природу, — плотно прячут меня от глаз ненавистного света, а солнце?.. солнце предательски выдает меня: оно каждый день выставляет напоказ мою тоску, мои муки, мои раны сердечные!..

...Изменить!.. Да, она мне изменила. Напрасно стал бы я уверять себя в противном: факт слишком очевиден!..

5 октября

Не говорите мне, отчего так скучно, тяжело и страшно человеку на белом свете. Я сам знаю причины. Я их вам расскажу по порядку... Оттого, друзья мои, что свет черен и неблагоприятен, что не уверен человек даже в том, тверда ли земля, на которой он стоит, чист ли воздух, которым он дышит, безвредна ли пища, которую он употребляет; оттого, что на каждом шагу рискует человек сломить себе шею, сделать глупость, прослыть философом, быть укушенным бешеною собакою или обманутым коварною женщиною!

Мне тяжело, скучно и страшно на свете... случись со мной лет десять назад такая история, я непременно бы застрелился или повесился. Теперь, когда самоубийство всякого рода сделалось самою пошлою спекуляциею на внимание почтеннейшей публики — из всех спекуляций, какие я знаю, — мне ничего более не остается, как писать свои записки...

Итак, буду писать записки.

Мы росли вместе. Под одним градусом долготы и широты бились наши сердца в продолжение восьми лет, одним воздухом дышали мы, одни и те же картины природы окружали нас с детства, под влиянием одинаковых обстоятельств развились в нас первые понятия о природе, о праве, о человеке; одну землю топтали мы; одно небо было над нами; по одному букварю учились мы русской грамоте.

Наша юность была тождественна во всех отношениях... И между тем, какая разница, какая ужасная разница!..

Некто, надворный советник и кавалер, человек сметливый и почтенный, который в семь лет схватил пять чинов и двести тысяч наличных денег, выстроил на имя жены дом в Петербурге и купил деревню в *** ской губернии, человек стойкий, прямой, доброкачественный, — дал жизнь существу, которому суждено было впоследствии обмануть меня. Его звали: Супонев. Отец мой был бедный помещик, живший в селе, где ему принадлежало 23 ревизжеских души, ветряная мельница и восемьдесят десятин строевого и дровяного леса, о которых, впрочем, донные производятся тяжба. Отец мой любил страстно охоту: у него было ружье, которое било на сто двадцать шагов, и собака — удивительная собака! — которая, по словам отца моего, была полезнее, умнее и расторопнее всякого «человека». Если взять в расчет, что шестеро лакеев, составлявших дворню моего отца, были все негодяи, лентяи и пьяницы, — то тут и нечему удивляться... О собаке моего отца ходили по всему околотку удивительные анекдоты, которые вскоре составили колоссальную репутацию не только самой собаке, но даже и моему отцу: так лучезарный ореол славы, окружающий чело всякого человека, бросает приятный блеск и на его приближенных; так гений великого актера, певца и музыканта заставляет видеть что-то необыкновенное и в дюжинных талантиках посредственностей, пользующихся его покровительством.

В сторону сравнения. На сцену является собака. Ее достоинства неисчислимы, ее добродетели изумительны. Она узнает, отыщет и принесет вещь своего хозяина, где бы вы ее ни потеряли, куда бы ни спрятали; она по первому указанию сорвет шляпу прохожего, будь он хоть статский советник; ее можно посылать в лапочку за чем угодно: она не украдет ни копейки, ничего не съест и не испортит. Она будет лежать, ползать, ходить на задних лапах, делать все, что прикажет хозяин. Она достанет дичь со дна моря. Она даже знает русскую азбуку.

Последнее обстоятельство особенно поразительно. Оно не шутка: я сам был не раз ему свидетелем. Я также не солгал, сказав, что собака составила репутацию моему отцу: все соседи любили и уважали его по собаке. Они почти каждый месяц наезжали к нему в значительном коли-

честве, привозя с собой в подарок — кто муки, кто гусей, кто шампанского, кто повара и так далее. Зачем?.. Неужели их честолюбию могла льстить короткость с бедным помещиком двадцати трех душ мужеска и тридцати шести женска пола?.. Очевидно, что магнитом была собака. Каждое посещение соседей было истинным торжеством для моего отца. С самого раннего утра и до поздней ночи, под непосредственным надзором и руководством моего отца, собака выделывала свои гениальные фокусы, и хохот был гомерический. Когда, наконец, запас фокусов истощался, энтузиазм зрителей готов был погаснуть и самая собака, изнуренная продолжительной деятельностью и голодом, готова была протянуть ноги, — отец мой приказывал ей стать на задние лапы, брал кусок говядины, бережно клал на нос собаки и быстрым мановением рук и бровей давал знать зрителям, чтобы они ждали чего-то необыкновенного. Тотчас воцарялось глубокое молчание. Отец мой, поводя указательным пальцем от своего носа до собачьего и обратно, произносил с расстановкою:

«Аз,
Букв,
Веди,
Глагол,
Добро,
Есть...»

При последнем слове, произнесенном значительно усиленным голосом, собака делала быстрое движение, кусок летел кверху, она на лету подхватывала его и пожирала...

Если б я писал историю собаки моего отца, то должен бы был посвятить описанию ее подвигов весь мой досуг, но я пишу собственно свою историю и потому в коротких словах доскажу о собаке то, что собственно нужно для моей истории...

Супонев был также страстный охотник; ружей у него была целая дюжина, собак еще больше; но ни одна из них не могла сравниться с собакою моего отца. Как ни вкусны были обеды надворного советника и кавалера, однакож соседи охотнее посещали моего отца, или, правильнее сказать, собаку моего отца. Тайная зависть раздирала сердце надворного советника; он пожелал приобрести собаку покупкою. Сумма, которою он решился пожертвовать, выходясь по мере отказов моего отца, сделалась, наконец,

так значительна, что на нее можно бы купить человека, но родитель мой, при всей своей бедности, выдержал свой характер. Он не отдал собаки! Не могу без сердечного трепета вспомнить о борьбе, которая происходила в душе и отражалась на лице его, когда он делал свое торжественное отречение... Налив собственноручно стакан водки «дворецкому», который приезжал к нему с письмом и деньгами за собакой, отец мой сказал:

— Не могу... Желал бы, душевно желал бы угодить Андрею Никифоровичу, — но, видит бог, не могу! Без Кастора я — как без головы; мне, старику, не привыкать жить на свете без него, когда привык жить с ним издавна. Все готов сделать для Андрея Никифоровича: Кулебяку ¹ отдам: стану ездить на Васькиной Соломониде ². Пусть кого хочет из людей возьмет, хоть Сидора: он малый непьющий, проворный, и дичь ли какая летит, заяц ли притаился в меже, — прежде всех заподозрит... И жена у него такая бойкая: мастерица рубашки шить и всякое женское рукоделье для мужчин... А Кастора отдать не могу. Так и скажи своему барину. Пусть не сердится.

— Не отдавайте, не отдавайте, папуся! — подхватил я умоляющим голосом: — я заплачу!

Отец мой поцеловал меня, назвал «своим карапузиком» и сказал: «не бойся».

Я сел верхом на Кастора и закричал: «ну, ну, ну, Кулебяка», подражая моему отцу, который обыкновенно по-нукал так свою лошадку, выезжая на охоту... Знаю я тогда, что подражание дело нехорошее, я бы непременно придумал какое-нибудь свое восклицание: я был мальчишка преостроумный!

Увы! отец мой! зачем ты не сдержал своего слова? Зачем нежность твоя к единственной отрасли твоего рода победила в тебе привязанность к собаке? Если б ты до конца жизни своей был верен себе, я не испытал бы тех несчастий, которые теперь обрушились на мою голову, я не узнал бы ее, не привязался бы к ней (вы понимаете, что не о собаке здесь идет дело) всеми силами души моей и не был бы ею обманут!.. И зачем мне, наследнику твоего имени и твоих двадцати трех душ, твоей Кулебяки и Со-

¹ Имя лошади.

² То же.

ломониды, — было дано то воспитание, на которое ты пожертвовал счастьем последних дней твоей жизни и которое, увы! конечно не по твоей вине, сделалось для меня пагубным!

Не стану подробно описывать, какие средства в течение нескольких лет употреблял Супонев для того, чтоб завладеть нашею собакою. Доскажу коротко.

У Супоневы была дочь. Когда ей минуло восемь лет, Супонев нанял француза, французенку и отставного старшего учителя какого-то училища для ее воспитания. Когда, наконец, все меры и кроткие и некроткие истожились и не повлекли за собою никакого успеха, — Супонев сделал отцу моему предложение, против которого отец мой не мог устоять...

Супонев писал:

«Павлуше вашему уже, кажется, тринадцатый год: нынче дворянин не может сстаться без воспитания, его даже в службу не примут. Я нанял учителей и гувернантку для моей дочери, пусть же, думаю, учится у них и ваш Павлуша: все равно едят мой хлеб и жалованье получают; по крайней мере сделаю добро соседу: он человек небогатый, поведения, как мне известно, хорошего и никаких дурных поступков за ним я не замечал. Павлуша будет у меня жить и учиться всему, чему будут учить дочь мою: француз — по-французски, на скрипке, светскому обращению и танцевать, немка — по-немецки, на фёртепьяне и вышивать по канве, шить бисером и по тюлю, Попошенский. — русской грамоте и письму и всему, чему он там учил; закону божию — священник. Не упущено ничего, чтоб дочь моя была воспитана прилично рангу и состоянию. Павлуше вашему не мешает. Присылайте-ка его; никаких расходов вам не будет. Да уж присылайте с Павлушей и Касторку. Мальчик привык к собаке и, верно, расставшись с вами, будет скучать об вас: собака его утешит. Вы также очень меня обяжете, если будете навещать... и пр.»

Отец мой сразу понял, в чем дело. Слезы брызнули ручьями из глаз старика. Страшная борьба заметна была на лице его; видно было, что он на что-то решался. — Павлуша, — сказал он после продолжительного молчания, — ты поедешь сегодня к Андрею Никифоровичу и там останешься. Кастора отправ...

Слезы помешали ему кончить. Он обвел глазами ком-

нату: Кастор был тут. Он лежал среди комнаты в самом живописном положении, — в каком изображают львов перед подъездами богатых домов, — глаза его сверкали умом и довольством; мускулы двигались,

«баранью кость
он грыз и весело визжал...»

По временам умное животное взглядывало на своего хозяина и приветно вертело хвостом. Лицо моего родителя было мрачно. Он шептал про себя несвязные слова, из которых я мог только расслышать: «отец всем должен жертвовать... счастье сына... не примут на службу... да будет воля господня!»

Я не понимал ничего, но сам готов был заплакать: такова была горесть старика...

Сцену, происшедшую при прощании, по справедливости можно назвать раздирательною: Кастор разорвал мешок, в который принуждены были запрятать его, выскочил из повозки и бросился к моему отцу... Его поймали и опять посадили в повозку, со связанными ногами...

Жалобный вой Кастора и громкое рыдание моего отца долго оглашали окрестности... Я не плакал... Жаль, что те, которые в стихах и прозе сожалеют о «прекрасных днях невозвратного детства» и называют его лучшим возрастом жизни, не берут в расчет подобных обстоятельств!

Собака выла. Я с жадностью пожирал пирог с печенкой, который испекла мне на дорогу няня Тарасьевна. Я дал кусок собаке: она жалобно посмотрела мне в глаза, понюхала пирог и опять завывала пронзительно; кусок остался не тронут. Позже, вечером, я общипал поверхность его, которой касались губы собаки, а остальное съел с большим аппетитом.

Когда я доедал последнюю крошку, вдали показалась церковь и вскоре начали являться дома села ****...

Лягу спать...

— — —

15 октября

Целые десять дней я не брал пера в руки: мне было не до пера! Ужасная весть об ее измене не выходила у меня из головы: я бесился как иступленный, я плакал как ребенок, я проклинал как Байрон... Меня звали к ней... Зачем я пойду к ней? Чтоб довершить муки своего сердца, чтоб увидеть ее счастливою с другим... О, никогда! никогда!

Я сумасшедший, я дурак первой руки: целые десять дней я думал о том, что можно было решить в одну минуту.

«Быть или не быть», «итти или не итти» — не выходило у меня из головы... «Незачем!» — ясно, как день — «незачем!»

Не пойду к ней. Стану продолжать свои записки.

Благодаря собаке, которой в доме Супоневы ждали все с необыкновенным нетерпением, я был принят прекрасно. Мне дали на завтрак одного кушанья с нею. Супонев обласкал меня и сказал, что будет моим вторым отцом; я поцеловал ему ручку... глупый поступок!.. Г-жа Супонева сказала, что я «жантиль» и дала мне ватрушку с вареньем; я поцеловал ей обе ручки, и мне сделалось тошно: от «ручек» пахло свиным салом и огуречным рассолом. С тех пор я получил чрезвычайное отвращение от целования чьих бы то ни было рук, — за что много терпел как в доме моего «второго отца», так впоследствии и во всем белом свете... Все кучера и бабы из кухни, все девки из девичьей, целая стая борзовщиков, доезжачих, подъезжих из псарни, — словом, все, что было в доме живого, сбежалось в прихожую и смотрело сквозь полурастворенные двери на новоприезжих: со всех сторон раздавалось мое имя, сопровождаемое громкими похвалами собаке. Я был на седьмом небе. Вдобавок ко всему — я увидел Зизи!

Забуду я сладость первой конфетки, забуду тот нелепый восторг, который заставлял меня бегать, высуня язык, когда я увидел в «Сыне отечества» первое мое стихотворение, с примечанием, которым я был очень доволен, забуду вас, растегаи и танцовщицы, вас, устрицы и шампанское, тебя, душеоживительный, мятежный банк, где человек живет полно и совершенно, где все нервы напряжены, все страсти возведены в квадрат и душа ежеминутно просится на карту вместе с последним рублем, забуду вас, балы американского клуба, вас, громкие, славу и торжество знаменующие вызовы Александринского театра, вас, буйные ночные прогулки по Невскому проспекту —

И вас, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой —

забуду все, — но не забуду, никогда не забуду той минуты, когда в первый раз увидел ее! То была минута великая и решительная, которая имела влияние на всю мою жизнь...

Я красноречив, когда говорю о собаке, но бледно слово мое, когда я заговорю о себе. Как будто на язык сядет типун, как будто сверхъестественная сила скует мысль свободную и готовую плавно излиться, как будто заяц перебежит дорогу слову резкому и выразительному. Лучше не говорить о себе...

К обеду пришли француз Бранказ, маркиз (по словам хозяина), немка Шпирх, баронесса (тож) и русский учитель Поношенский. Француз был настоящий француз: вертелся на одной ножке, пел куплеты, присвистывал, льстил хозяину, любезничал с хозяйкой и болтал за семерых, болтал живо, умно, занимательно. Немка, — в когда-то голубом, а теперь сине-сером капоте, в зеленой шляпке, бледная, сухая, стройная и длинная, как дреколье, — с первого взгляда напомнила мне кабак: серый шест, примкнутый к углу полуразрушенного дома, и наверху зеленая елка — девиз заведений такого рода — мог бы безбоязненно отлучиться с своего поста на какое угодно время, если б за него согласилась постоять баронесса: никто бы и не заподозрил подлога! — Поношенский был в длинном темнозеленом сюртуке и рожу имел чрезвычайно рябую; мало сказать, что на ней чорт в свайку играл, нужно бы выдумать что-нибудь посильнее. Он говорил протяжно, нараспев, как драматические актеры теперь уже несуществующей школы, почти при каждом слове описывал около себя рукою полукруг и слегка наклонял голову, причем француз, если он тут случался, обыкновенно делал то же, сердонически улыбаясь и выразительно поглядывая на хозяина, который, как увидим ниже, был большой перемешник.

Все они, француз, немка и русский словесник, вошли в комнату почти в одно время, таща огромную корзину грибов, за которыми имели привычку ежедневно отправляться после уроков. Француз был впереди и пятился задом в комнату, передразнивая голосом рябого словесника, который сильно кряхтел, а глазами и губами — немку, которая с умилением смотрела на корзинку, выбирая грибок поменьше и покрасивее для поднесения своей

маленькой ученице. Но план ее не удался: как скоро корзина была внесена и поставлена, француз схватил из нее гриб наудачу и поднес Зизи, говоря, что он во всем лесу нарочно выбирал лучший для нее и насилу выбрал. Немка сделала кислую рожу, и замечание Андрея Никифоровича, что баронесса «съела гриб», было очень кстати.

Хозяин отрекомендовал меня моим будущим наставникам, и я был принят ими дружелюбно. Собака приняла их различно. По тайному знаку хозяина, она во мгновение ока сорвала зеленый бант с головы немки Шпирх и свихнула, в припадке сильного усердия, самую гребенку Анны Ивановны с ее надлежащего места; две пряди рыжих волос спустились вниз и скрыли от очей наших гневное чело гувернантки. Потом собака, без всякого знака с чьею-либо стороны, так ловко схватила за левую ногу профессора словесных наук, что крик ужаса, вылетевший из груди его, напугал самого хозяина. Все стали его успокаивать, и благодарный словесник, желая в свою очередь успокоить всех, сказал, с улыбкою и со вздохом: «ничего, я еще благодарен собаке: боль невелика, а между тем она возобновила в моей памяти одно из приятнейших воспоминаний: мне пришли на мысль те счастливые времена невозвратной юности, когда, бывало, меня сек учитель в школе». После того словесник опять вздохнул; целый день он был в самом романическом расположении духа и рассуждал с французом о том, как бы сделать, чтобы ему опять было лет восемь и он бы прошел бы все курсы — риторику, философию и проч. — взял бы жену, завелся бы детьми и дослужился до пенсионера. Француз отвечал, что он давно из Парижа и потому хорошенько не знает: а там его соотечественники уж верно выдумали какой-нибудь способ или скоро выдумают... С одним только французом у собаки не вышло никакой истории: он очень скоро подружился с нею и своею угодливою любезностию разогнал даже несколько ее уныние...

Но что я делаю?.. Я взял перо с тем, чтобы сбросить на бумагу горе, раздирающее мою душу, перелить в звуки стоны и жалобы, ежеминутно исторгаемые из моего сердца мыслью об измене Зизи, заклеить ее печатно позорным клеймом изменницы, а между тем наполняю страницы моих записок историею людей почти посторонних в моем рассказе. Конечно, предлог весьма благовидный. Пользуясь

им, я мог бы написать четыре тома, где обрисовал бы широко и подробно всех, о ком только придется упомянуть; надел бы шутовской колпак на француза, размалевал бы румянами и белилами физиономию немки и заставил бы ее пылать огнем любви к профессору словесных наук, а профессора обожать втайне не имеющую привычки мыть руки хозяйку, а хозяйку сгорать от любви к французу, словом, я мог бы заварить страшную кашу, — но великодушью моему нет предела: те, которые будут читать мои записки, ничего такого в них не найдут. Я кончу очень скоро. Я только познакомя их с моим вторым отцом, с которым необходимо им познакомиться, и перейду к себе...

Подробное описание носа и добродетелей моего второго отца в сторону: предмет слишком сложный, требующий большого описательного таланта, которого я не имею. Скажу лучше несколько слов об его характере. Характер Андрея Никифоровича, во второй половине его жизни, нечаянно получил направление сатирическое. В первую половину жизни благодетель мой служил и был занят тем, что разумеют под словом «благоприобретать»; ему было не до сатиры: он сам тогда мог бы служить предметом сатиры. Но перед самою покупкою деревни и отъездом туда, бывши на обеде у Андрея Никифоровича, один сочинитель, журналист — травленный волк, по поводу какой-то неумышленной остроты моего второго отца сказал, с громким хохотом: «Браво, Андрей Никифорович! да вы там, в деревне, всех засмеете, первым человеком будете не только по богатству, и по уму! Вы и здесь не последним бы сочинителем были: направление такое благонамеренное, нравственно-сатирическое, и слог даже в разговоре виден, ей-богу право, клянусь женой, детьми! В сотрудники бы взял: тысячу рублей в месяц, вот хоть сейчас деньги, да знаю, что не пойдете!» С той минуты цель остальной жизни моего второго отца была определена. Целый вечер он острил безумолку, кстати и некстати; все хохотали, потому что угощение было отличное, журналист — травленный волк хохотал громче всех. Уезжая поздно ночью домой, он снова повторил предположение, что Андрей Никифорович засмеет в провинции наповал всех соседей, и попросил взаймы тысячу рублей денег, но получил только семьсот, по причинам, которые мне неизвестны.

Андрей Никифорович острил бесчеловечно; если б я имел охоту припоминать его остроты, то мог бы надоеть самому терпеливому читателю. Каждому в доме и в околке была у него своя особенная кличка; он изобрел титул маркиза — французу, баронессы — немке и не называл иначе наставников своей дочери, как маркизом, баронессою. Почти ежедневно он придумывал и приводил в исполнение какой-нибудь замысловатый фокус-покус; у него были тысячи поговорок, прибауток и остроумных изречений, которые он сыпал за собою, как бисер. Словом, остроумие Андрея Никифоровича после собаки моего отца составляло один из главных предметов удивления всего нашего околка. Француз тотчас понял слабую сторону моего отца и прекрасно ею пользовался; словесник, на которого преимущественно направлялись стрелы остроумия хозяина, каждый раз, как бы шутка ни была груба, замечал очень серьезно, что кому бог дал остроумие, так на то и дал, чтобы острить, — и сердиться тут так же неприлично, как сердиться на бритву, за то, что она хорошо бреет. Немка, при бестактных намеках на свои рыжие волосы, нередко выпрашивала, в виде прибавки к жалованью, денег на парик, но парика не покупала, Все обстояло благополучно.

Настал час обеда. Профессор словесных наук, обязавшийся контрактом развить, между прочим, в своей ученице поэтическое направление и носивший в груди своей поэтические начала, поставил себе за правило ежедневно отпускать по экспромту. На сей раз он взглянул в окно и, улучив удобную минуту, произнес торжественно:

Светило дневное взошло превыше ели,
Но мы еще досель ни крошечки не ели!

Хозяин громко захохотал, хозяйка приказала подавать на стол. Сели обедать. Обед был для меня пыткой. Андрей Никифорович обратился к маркизу, к баронессе и к Поношенскому с комически-серьезною речью, в которой поручал меня их ученому покровительству и просил, чтобы они «сделали из меня человека». Поношенский заметил, что, не зная, до какой степени я силен в науке, он не может куда определить с точностью времени, нужного, чтобы сделать меня человеком. Хозяин предложил проэкзаменовать меня. Начали задавать вопросы. Я отве-

чал невпопад, краснел и бранил про себя профессора словесных наук. Заметив мое замешательство, или по другой причине, хозяин попросил мудрых наставников замолчать и взялся сам докончить мой экзамен. Много, по разным наукам, задавал мне вопросов остроумных надворный советник, но я, к сожалению, помню из них только четыре: один из логики и три из арифметики. Они очень замысловаты. Я их приведу здесь для пользы родителей и экзаменаторов...

Вопрос из логики: *у Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет — кто им был отец?*

Признаюсь, я было сначала стал втупик. Но когда сообразил, что называться сыновьями люди могут только в отношении к своим отцам, то смело отвечал:

— Ной!

Единодушное «браво» сопровождало ответ мой, и общим советом решили, что логику я знаю прекрасно.

Вопрос из арифметики: *летело семь журавлей: двух охотник убил, да три улетели — много ли осталось?*

— Два! — отвечал я несколько не задумавшись, наудачу.

Снова раздалось «браво», и хозяин серьезно заметил, что я «мальчишка преостроумный». — Если он, — прибавил Андрей Никифорович, — решит мне еще вопрос из арифметики, то я его награжу чудесно.

Острота произвела потрясение: все захохотали, а словесник, отличавшийся, между прочим, и необыкновенною ловкостью, задел локтем тарелку соседки своей и тарелка, упав на пол, расшиблась вдребезги; соус, бывший на тарелке, до полу не достиг: на пути он встретил капот рыжей немки, на котором и поместился очень удобно.

Немка дико и невразумительно проворчала «абшейлих»¹, а словесник в оправдание свое заметил, что «Андрей Никифорович вечно скажут что-нибудь такое, от чего невольно приходишь в самозабвение». Затем воцарилась тишина. Андрей Никифорович скорчил серьезную мину и произнес с расстановкою:

— Еще вопрос из арифметики:

*У семидесяти семи мышей
Много ли ног и ушей?*

¹ Отвратительно. (Ред.)

Ободренный удачею первых двух ответов, я, без малейшего замешательства, отвечал бойко и самоуверенно: «двадцать пять!»

Все засмеялись; я смешался ужасно. Спасибо, француз принял мою сторону и сказал, что подобного вопроса нельзя решить в одну минуту, что он требует глубоких соображений и прочая. Положено было отложить решение до вечера.

Вечером дали мне аспидную доску и грифель. Я решил вопрос в две минуты. Тогда Андрей Никифорович нарисовал на доске небольшой четырехугольник и, разделив его вдоль и поперек черточками, приказал мне расположить в маленьких четырехугольниках «разные цифры» в таком порядке, чтобы, как ни поверни, с которой стороны ни зайди, поперек ли, вдоль или накось, всячески выходило бы пятнадцать. Я не понял решительно, чего он от меня требует, и сказал, что мы, с дьячком, который в доме родительском учил меня арифметике, до такого правила еще не добрались. Андрей Никифорович выбрал дьячка и сказал: — Ну так я сам тебе покажу, — только смотри у меня: что раз показано — помнить: при гостях заставляю делать: осрамишь ты меня, как забудешь...

И затем Андрей Никифорович начал вписывать в квадратики цифры; где поставит пять, где восемь, где шесть, а иную цифру сотрет, подумает, да напишет другую. Когда он кончил, вот какая вышла фигура:

5	7	3
3	5	7
7	3	5

Глупая шутка, но она стоила больших усилий моему тринадцатилетнему рассудку: я насилу вбил ее в голову. Зато и долго помню... Тем и кончился мой экзамен. Началось ученье.

Если б я имел охоту продолжать мои записки, то теперь началась бы самая интересная часть их. Дошла, наконец,

очередь собственно до того, что можно назвать завязкою моих записок. Нужно бы ознакомить читателя покороче с характером Зизи, представить картину наших ребяческих занятий, постепенного освоения, дружбы и, наконец, любви. Следовало бы сделать сцену признания в саду, в беседке или у ручья, в прекрасный летний день, при последних лучах заходящего солнца, потом должно бы описать путешествие в Петербург, житье столичное, разлуку, измену... Знаю я, знаю все, что следовало бы, но я устал ужасно, мне надоели мои записки...

Пойду на Невский проспект.

Через неделю

Я ее видел, я говорил с нею...

Удивляюсь, как не лопнула голова моя, как не разорвалось сердце мое, когда я слушал ее страшную исповедь. Дивная женщина! Я благоговею перед тобой! Когда-нибудь, может быть, я набросаю на бумагу конец печальной истории нашей жизни, и люди, подобно мне, придут благоговейно преклониться перед тобою, возвышенная страдальца... Теперь я писать не могу: весь я занят одной тяжелой мыслью, которая, как вампир, всосалась в мой череп и ни на минуту не дает мне покоя... «За что я так несчастен?» Внимательно пересматривая жизнь свою, ищу я причин, которые оправдывали бы враждебные действия ожесточенной против меня судьбы, и теряюсь в догадках.

Я не лъщу дуракам и голосом бешеной собаки не кричу против тех, кто умнее и даровитее меня. Я не утверждаю, что философия — сказка, которая в почете только потому, что она стара и скучна. Я не разделяю мнения многих очень почтенных людей, что умным человеком можно быть только в известные лета и в известном чине. Я не надуваю новичков-книгопродавцев. Я не сержусь и не ругаю на всех перекрестках автора той книги, в которой выведен с дурной стороны человек одних лет со мною и в одинаковом чине. Я не клеветчу. Я не продаю своих мнений. У меня нет той храбрости, которая заставляет людей, делающих подлости на каждом шагу, утверждать, что они живут для блага человечества, хвастать благотворительностью, в которой должно верить им на слово. Я даже не хвастаю друж-

бою с великими людьми, которых уже нет на свете и которые при жизни называли меня негодяем.

И между тем судьба гонит меня бесчеловечно, и человек мой беспощадно меня обкрадывает... За что?.. Скажите, добрые люди, — за что?

* * * Здесь оканчивается первая половина случайно попавших в мои руки записок молодого человека, который называет себя «злополучнейшим из людей». Следует вторая и гораздо обширнейшая половина, которая начинается словами: «Десять лет я не брал пера в руки» и пр. Почерк молодого человека, к сожалению, чрезвычайно неразборчив и по справедливости может назваться иероглифическим. Разобрать первую половину рукописи было так трудно, что решиться на подобный подвиг со второю я покуда не имею ни охоты, ни времени. Может быть, когда-нибудь, на досуге, я возвращусь к иероглифам «злополучнейшего из людей», и тогда читатели получат конец его записок. *Н. П-ий.*

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Давняя быль

В прошлом столетии в одном малороссийском селе жил мужик по имени Никита, крепкий, здоровый, ростом в косую сажень, нрава крутого и неуступчивого, но человек добрый и правдивый. Он любил старину, строго держался патриархальных обычаев и был в полном смысле главой своего семейства: ни жена, ни дети не ступали шагу без его ведома и спросу. Кроме участка земли, которую обрабатывали пять его сыновей, у него был хутор с мельницей и пчелами; ими он занимался сам, а сыновья соберут хлеб, свезут на ярмарку, продадут и честно принесут выручку отцу, и всякая копейка, какую ни достанут в семействе, поступала к нему. А он как получит деньги, тотчас обделит всех: тому на свитку, тому на обувь, а жене на хозяйство выдаст. И потом, когда нужны деньги, — идут к нему: он выдавал — не морщился. Так они жили много лет согласно и зажиточно... Стукнуло ему пятьдесят лет. Поехал он в город и пробыл там два дня. Случилась ли там с ним какая история, или ничего особенного не случилось, только воротился он совсем другим человеком. Стал он жене говорить, что жена много денег изводит, стал детей корить, что мало зарабатывают, стал жаловаться на крутые времена и черные дни. Вот побывали сыновья на ярмарке, продали хлеб, воротились и, в пояс поклонившись отцу, счетом сдали ему выручку...

Отец поворчал на них, зачем дешево продали, деньги три раза пересчитал, чего прежде за ним не водилось, да и притих с ними.

День, два, неделя проходит — старик молчит; а деньги нужны, да сказать ему не смеют. Наконец попросили

денег. Старик поморщился, однакож выдал, только так мало, что через месяц опять пришлось просить.

— Немà грóшей, — грозно отвечал старик, велел сыну запрячь лошадь и уехал на свой хутор.

— Коли батька говорит нет, значит нет, — решили сыновья и стали с горем перебиваться до новой выручки за хлеб.

Только как отдали они старику новую выручку, так он выбранил их вдвое крепче, зачем дешево сбыли хлеб, а денег дал вдвое меньше, чем в прошлом году. На третий год еще меньше, на четвертый еще меньше, а отговорка все одна: «времена тяжкие, немà грóшей». Дети уж и плохо верили такому ответу, да против отца не пойдешь: повесят головы и замолчат, а на следующий год опять несут отцу выручку. Вот жена так и пыталась не раз спрашивать: «да куда же они деваются у тебя? ведь и прежде было не больше, а слава богу хватало на все?»; пыталась она и упрашивать его и усовещивать, старик закричит, застучит костылем в пол, выберит старуху и уедет на свой хутор. Прошло еще несколько лет, и старик вовсе перестал давать денег своему семейству; как только попадет к нему какая копейка — поминай как звали: словно в воду канула! И уж ничем не выпросишь! Раз поехали сыновья в город и воротились без меньшого брата. Парень и от природы был простоват, да тут еще на беду выпил, так и сам не помнит, каким образом впутался в уголовное дело; его задержали с двумя какими-то бродягами; пошло следствие... Бухнулись сыновья старику в ноги, рассказали, в чем дело, и стали просить денег на выручку брата. Старик долго расспрашивал подробности, долго думал, осведомился, сколько нужно денег, и, наконец, отвечал: «немà грóшей». Бухнулась и старуха мать ему в ноги, да напрасно: «немà грóшей». Так и погиб его меньшей сын... Изба у них обвалилась, одежда доносилась, иногда приходилось голодать по суткам: старик будто не замечал ничего. Нечего делать! чтоб как-нибудь жить, сыновья стали обманывать его: выручат тысячу, а отдадут ему половину, остальные идут на расход... Так жили они лет тридцать. Старику приближалось к осьмидесяти годам; как ни был он крепок, однакож силы начали ему изменять. Он редко выходил из хаты, только время от времени съездит на свой хутор верст за семь, а наконец он и совсем свалился.

С каждым днем становилось ему хуже, и он сам, кряхтя и охая, не раз говорил, что смертный час его пришел. С часу на час ждут сыновья, что вот позовет их батька, благословит и скажет, где у него спрятаны деньги, которых, по их расчету, в тридцать лет накопилось у него много... Того же ждала и старуха. Но старик молчал, только жаловался на боль в груди да на то, что сила совсем пропала: ни рукой, ни ногой пошевелить не может... Прошел еще день, и старику стало совсем плохо: сам он уж подняться не мог. Благословил он детей, простился и с старухой своей, а про деньги ни слова... Наконец старуха решила сама спросить, где у него деньги... «Немà у меня грóшей, какие у меня грóши», — сердито закричал старик и замолчал... К вечеру стало ему еще хуже, и старуха опять решила повторить вопрос. Ответ был тот же. И как ни уговаривала его жена, он все стоял на своем. Многие родные и соседи, которых он уважал, тоже пробовали уговаривать его, доказывая, как невероятно, чтоб у него не было денег, говорили, что не в могилу же он их унесет с собой, пугали гневом и наказанием божиим, — старик сердито просил отстать от него и упрямо повторял: «немà у меня грóшей»... Между тем он видимо гас; он уже не мог сам пошевелиться, сыновья переваливали его с боку на бок... Оставалась одна надежда — на священника. И священник, исповедуя его, представил ему тяжкий грех, который он возьмет на душу свою, утаив от родных детей сокровище свое, оставив их в нищете, тогда как может наделить их достатком. Долго запирался старик; наконец, тронутый увещаньями священника, он признался, что у него точно есть деньги, и обещал сказать жене, где спрятано его сокровище. Священник ушел, обрадовав семейство этим известием. Но проходит час, другой и третий — старик молчит; напрасно старуха сидит подле него и смотрит умильно и ободрительно в его впалые угрюмые глаза, — старик молчит. Наконец она опять решается заговорить первая.

— Касатик ты мой! — говорит она. — Скажи, чем прогневили мы тебя, грешные, что ты хочешь лишиться наследства родных детей своих, а меня, жену свою, на старости лет пустить по-миру? Никогда-то мы не выходили из твоего повиновения. Сыновья твои во всем тебя слушались, как следует по закону, да и я никогда тебе не поперечила...

Вдруг ты скупенек стал, начал денежки приберегать, мало на прожиток давал... Разве мы жаловались, шли против воли твоей... Никогда! на то ты всему дому глава: курицу яйца не учат! Ну а теперь, коли ты сам говоришь, что последний час твой пришел, так не лишай же свою вдову горемычную милости своей, не обидь сыновей своих кровных...

— Немà у меня грóшей, — угрюмо и нерешительно отвечал старик.

— Побойся бога! — восклицает испуганная старуха. — Да ведь же ты сам сказал отцу Прохору, что есть у тебя деньги... Ты только скажи, касатик мой, — продолжала она со всею нежностью, какая только могла выразиться в ее дряблом, разбитом голосе; — ты только скажи мне, сожительнице твоей верной и послушной, где схоронил их, чтобы не попали они в чужие недобрые руки, не пропали даром?.. Или ты не веришь мне, старухе, или боишься, что сыновья размотают твое добро?.. Я, старуха, как жила, так и буду жить — где уж мне на старости роскошничать? Сыновья твои парни честные, трезвые, да уж и в летах: ведь уж старшему-то пятидесятый годок пошел... Не размотаем мы, не прображничаем добро твое, а будем мы жить смирно да помнить тебя добром да свечи за тебя ставить.

— Ну, скажу, скажу, — глухим голосом проговорил старик, который, казалось, был тронут. — Получите свои деньги, — прибавил он с сердцем.

— Ну, где же они у тебя, касатик? — спрашивает старуха.

Старик молчит!

Проходит опять несколько часов глубокого и мучительного молчания. Только тяжелые громкие вздохи и болезненные вскрикиванья старика по временам нарушают его.

Испуганная выражением лица своего мужа, которое постепенно приняло совершенно земляной цвет, какой бывает у покойников, старуха решается возобновить свою речь.

Но старик молчит, погруженный в свои думы.

Иногда, будто выведенный из терпенья ее унылым упрашиваньем, он пробормочет злым, раздражительным голосом: «скажу, скажу», но ничего больше не скажет, а разве застонет, заохает, попросит пить и потом плотно

стиснет зубы, перекрестив рот худыми длинными пальцами...

По временам сыновья входили и выходили, смотрели на больного отца, перешептывались, вызывали старуху, расспрашивали ее, но мать не могла сообщить ничего утешительного сыновьям своим.

Так ночь прошла.

Наутро все семейство обступило старика. Никто не говорил, но все смотрели на него умоляющим и вопрошающим взором...

— Запречь сивку! — вдруг среди глубокого молчания звонко раздался повелительный голос старика.

Старший сын вышел и через полчаса пришел сказать, что лошадь готова, и спрашивал, куда и кому велит он ехать.

— Сам поеду! — отрывисто и строго отвечал старик.

Все невольно вздрогнули, когда он, поднявшись на своей кровати и поставив на пол босые ноги, вдруг выпрямился во всю длину своего огромного роста, который, при страшной худобе его тела, казался теперь еще значительнее...

— Чоботы и кожух! — закричал он.

Ему помогли одеться, и он без чужой помощи вышел на двор и сел в телегу... Старший сын хотел сесть рядом с ним, но он вырвал у него вожжи, толкнул его вон из телеги и поехал по направлению к хутору.

— Никого не надо! — сказал он повелительно, сделав знак рукой, чтоб за ним не следовали...

Прошло несколько часов в тяжелом ожидании; старик не возвращался. Наконец, опасаясь за него, сыновья с дядей Кузьмой решились поехать на хутор. Подъезжая к хутору, они увидели его лошадь, привязанную у пасеки; но самого старика видно не было. Они вошли в пасеку — и все разом вскрикнули, объятые удивленьем и ужасом: старик висел на перекладине, медленно качаясь; ноги его, по временам, задевали за корень дерева, который он, вероятно, подставил, чтоб удобнее повеситься!

Старик повесился, повесился, может быть, за один час до естественной смерти! Неизвестно, полюбовался ли он в последний раз своим сокровищем, простился ли с ним, — или как приехал, так поскорей и надел веревку на свою шею, мучимый страхом, чтоб не выманили у него признания,

где хранится оно? Спустя пятнадцать лет нашлось сокровище старика. Сыновья его понемногу перевели пчел и пасеку уничтожили. Когда стали они пахать ту землю, где прежде была пасека, вдруг наткнулись на что-то жесткое — глядь: камень в земле; им стало подозрительно; приняли камень — яма; вот они копать, копать, да и докопались до чугуничка, а в чугуничке-то все золото да серебро... слишком двадцать тысяч накопил старик. Только невпрок пошло добро, скопленное стариком: сыновья при дележе так передрались, что один тут же богу душу отдал, а другой недолго его пережил.

Происшествие, рассказанное здесь, не выдуманно. Вы услышите его в Малороссии от любого старожилы. Оно рассказано автору известным артистом московской сцены М. С. Щепкиным, урожденцем Малороссии.

**НОВОИЗОБРЕТЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ
КРАСКА БРАТЬЕВ ДИРЛИНГ и К°**

Неправдоподобный рассказ

I

Среди огорченных, озабоченных и расплаканых пассажиров, отправлявшихся однажды летом из Петербурга в Москву в почтовой карете, — герой настоящей повести поражал необыкновенным спокойствием. Может быть, оно происходило оттого, что он ехал в сопровождении красивой собаки из породы водолазов, в страшной силе и отважности которой не допускали ни малейшего сомнения огромный рост и громогласная кличка. Хозяин звал ее Прометеем. Самого хозяина находившийся при нем человек, дюжий малый лет двадцати, называл Леонардом Лукичем, а провожавший его приятель — Хлыщовым. Господин Хлыщов принадлежал к породе мужчин крупных и видных; многие даже называли его красавцем, исключая, однакож, нас: мы всегда были такого мнения, что лучше иметь щеки не столь полные и румяные, но без того подозрительного лоску, который поверхностные наблюдатели принимают часто за признак глупости, неумеющей скрыть восторга, ощущаемого при постоянном сознании и созерцании собственных достоинств. Был ли действительно герой наш глуп или обладал уважительными причинами к невозмутимому самодовольствию — обстоятельства раскроют впоследствии. Кроме красных, выпуклых щек, господин Хлыщов имел усы, о настоящем цвете которых читатель получит точное понятие также впоследствии — во второй или третий день его путешествия, — и пару больших совершенно синих глаз, напоминавших большую рыбу, например, белугу, только что вытащенную

на берег... да! они были мало выразительны, зато нежная, спокойная, ничем не возмутимая прозрачность их повергала в истинное умиление! Господину Хлыщову было за тридцать лет. Касательно сердечных свойств и привязанностей его покуда ничего не можем сказать. Известно только, что он сильно любил свою собаку, чему доказательством служит и место внутри кареты, которое он взял ей рядом с собой. Надо сказать правду, что никогда, может быть, привязанность к Прометею не возвысилась бы в сердце его до забвения собственных интересов, если б тут не приключилось особенное обстоятельство: как ни глубоко чувствовал, как ни высоко ценил г. Хлыщов свои личные достоинства, которым и мы в течение рассказа отдадим полную справедливость, он, однакож, не мог не заметить, что в одиноких прогулках своих по Невскому проспекту не производил и половины того эффекта, каким пользовался, появляясь в сопровождении своей огромной собаки. Таким образом мы видим, что похвальное чувство благодарности к бессловесному существу сделало то, чего не могли сделать красноречивейшие убеждения господина Турманова, который, проигравшись в пух (а известно, что красноречие проигравшегося человека почти неотразимо), в самый день отъезда пристал к своему другу, а нашему герою, с просьбою ссудить его незначительной суммой.

— Не могу, — отвечал ему Хлыщов: — самому деньги нужны на дорогу.

— Но ведь я в таком положении, что хоть продавай последний сюртук!

— Не могу, не могу, не могу! — повторил Хлыщов решительно. — Вот поеду в Москву, женюсь, возьму хорошее приданое, и тогда изволь, сколько хочешь!

Итак, Хлыщов ехал в Москву жениться. Факт не лишенный важности! Приняв его к сведению, скажем, что господин Турманов был именно тот приятель, который провожал теперь нашего героя. Находясь в положении еще более ужасном, чем решился открыть своему другу (мы положительно знаем, что продажа одного сюртука далеко не могла его выручить), он, однакож, не упал духом перед решительным отказом.

Он остался у Хлыщова весь день, ходил с ним делать закупки, принял деятельное участие в закуске, помогал Хлыщову закрыть плотно набитый чемодан и между тем

по временам, улучив минуту, совершенно неожиданно повторял свою просьбу, увя! все так же безуспешно. Наконец пришло время отправляться в отделение карет... Давно сказано, что надежда такой прелестный цветок, который никогда не вянет: Турманов последовал и туда за Хлыщовым, и таким образом ничему другому, как все той же вечно живущей в человеческом сердце надежде, Хлыщов был обязан тем, что уезжал напутствуемый, подобно другим пассажирам, искренними пожеланиями...

Но только пожелания господина Турманова были такого свойства, что едва ли можно порадоваться им. Когда, облобызав в последний раз нашего героя, забравшегося уже в карету, Турманов тихим и робким голосом повторил свою просьбу, а Хлыщов громким и решительным свой отказ, — надежда, наконец, покинула несчастного, он взбесился и громко воскликнул:

— Ну, жадная душа! чтоб тебе в Москве ни жены, ни приданого... а случись там с тобой...

Резко раздавшийся рог кондуктора, смешанный с шумом тронувшихся кареты и брика, заглушил последние слова раздраженного приятеля, к величайшему сожалению переднего пассажира, — порою немца, который немало удивился такому оригинальному способу прощанья и поспешил сообщить свое удивление соседу.

— Што он сказал? вы слышаль?

— Слышал, — сквозь зубы пробормотал сосед.

— Браниль?

— Не бранил, а так: видно, поссорились, — мрачно отвечал сосед, в котором рекомендуется читателю Мартын, камердинер нашего героя.

— Поссорились?

— Наш барин не такой — браниться никому не позволит, сам сдачи даст!

— Барин?

— А то кто же? Разумеется, барин?

— Ваш барин? Вы его камердин?

— Да, камердин, — отвечал Мартын, передразнивая немца.

— Богатый барин?

— А то как же!

— Служит?

— Нет.

— А что ж делает?

— Что? Известно: поутру встанет, чаю выпьет, велит трубку подать, курит; господа придут; ну, известно: закуска; либо книжку лежит читает; у нас книжки все новые; как месяц прошел — старая не годится, — ступай, носи новую, и билет такой есть: придешь покажешь его — и выдадут — слова не скажут! И я тоже читал. А вечером в театр, либо к приятелям, а не то к нему соберутся: столы поставлю, играют. А бывает, коли вздумается, и с утра играют...

Пока Мартын описывал любопытному немцу образ жизни своего барина, карета быстро катилась по торцовой мостовой, и, наконец, повернула в другую улицу. Проводив глазами ненавистный экипаж, умчавший лучшие его надежды, господин Турманов медленно стал переходить Пешеходный мостик, против отделения почтовых карет. Лицо его было мрачно. «И за что потерял я целый день? — шептал он уныло; — шатался с ним по магазинам, чуть не надорвался, зашнуровывая проклятый чемодан? Да обойди я лучше тем временем приятелей, достал бы, непременно достал бы... мне и Чухломин бы дал, и Саврасов бы дал... а теперь поди застань кого-нибудь: все по дачам, на островах, в Павловске... А славное сегодня гулянье в Павловске, с музыкой...» Он вздохнул... «Хоть бы музыки послушать... всего и проезд-то пустяков стоит...» С надеждой, внезапно промелькнувшей в лице, он обшарил свои карманы и опять вздохнул глубоко, глубоко.

Солнце усердно пекло пресцальными своими лучами. Воздух был душен, тротуары раскалены, пыль лезла в горло и производила сухой кашель. То был час, в который летом оставаться в городе суще горе.

Господин Турманов, продолжая машинально свой путь, очутился у церкви Николая Морского и остановился. В ограде на зеленой траве играли дети. Он засмотрелся. О, как бы желал он теперь сам превратиться в дитя, чуждое житейских треволнений... стать с своим мячиком посреди розовых малюток, беспечно бегающих с обручниками, мячиками, картонными лошадками и всякими игрушками! Неведомая сила тянула его туда. Слезы сверкнули у него в глазах, грусть, сожаление, злость давили ему грудь, и тоска его разрешилась, наконец, в долгое, энергическое проклятие, посланное господину Хлыщову...

Оно было так искренно, так энергично, почерпнуто в таких сокровенных тайниках злобы и ненависти, что нет ничего мудреного, если оно отзовется нашему герою!

II

Занятия, которым предавался Хлыщов в дороге, всего лучше могут определить состояние духа, в котором он находился. Нередко всматривался он в блестящие дощечки жестяного фонаря, отражавшие его полное, краснощекое лицо; но как отражение было не довольно ясно, то он по временам открывал дорожный мешок, доставал небольшое зеркало и с помощью его дополнял сведения о состоянии своей физиономии, почерпнутые при посредстве фонаря.

Глядясь в зеркало, он шурился, подмигивал, лукаво улыбался, покручивал и подергивал свои усы и вообще делал все, что иногда делают перед зеркалом люди, знающие, что никто за ними не подглядывает. «Граф, граф, решительно граф, — говорил он, трепля свою полную щеку. — И осанка такая — и взгляд графский!» Когда эти занятия начинали ему надоедать, что случалось, впрочем, не слишком скоро, он обращался к молчаливому свидетелю своих наблюдений и вступал с ним в дружеский разговор.

— Что ты видел во сне? что во сне видел, а? Ну, пошел зевать, пошел... Неженка! ишь, развалился! а вот выгоно тебя, так и будешь бежать за каретой, — тогда увидим.

Неизвестно, что думал в то время Прометей, и вообще до какой степени развиты были его мыслительные способности, но с достоверностью можно сказать, что обоняние его было развито довольно сильно: он беспрестанно обнюхивал тот угол кареты, где находились копченые колбасы и другие дорожные запасы господина Хлыщова, составлявшие, повидимому, постоянный предмет размышлений его верного пса. Случалось, что Прометей обнаруживал даже явное покушение полакомиться ими, но герой наш довольно неучтиво отталкивал его, пока, наконец, голод не пробирал его самого. Тогда в карете мгновенно все оживлялось.

Каким бы глубоким сном ни спала собака, Хлыщову стоило крикнуть и прищелкнуть языком, чтоб поднять

ее: ибо многочисленные наблюдения убедили сметливого Прометея, что герой наш издавал вышеупомянутые звуки только в таких случаях, когда, выпив водки, приступал к закуске. И действительно, испустив их, он тотчас доставал складной нож и развертывал припасы. Собака не спускала с него глаз, провожая в его рот каждый кусок, и жадностью своей подавала г-ну Хлыщову неистощимый повод к остроумию и наставительным замечаниям, касательно терпения и других добрых свойств, необходимых хорошей собаке.

Иногда вдруг охватывало его поэтическое настроение. Он пел куплеты из любимых своих водевилей, и тогда целый рой милых сердцу театральных воспоминаний возникал в его голове. Мысленно переносился он в Александрийский театр, и перед ним стройно проходили любимые артистки, с своими очаровательными улыбками; знал он также много романсов и громким, проникающим душу голосом пел:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит,
Утро дышит у ней на груди,
Ярко блещет на розах ланит...

То был его любимый романс; он пел его беспрестанно, вытягивая с особенным одушевлением стих

У-тррро дымыыы-шит у ней на грррру-дддди...

причем его собственная могучая грудь высоко подымалась, и он вздыхал сладко, сладко, и мысленно рассчитывал версты.

Поэтическое настроение его оканчивалось обыкновенно тем, что он начинал сам складывать стихи — участь всех одиноких путешественников, сколько-нибудь наклонных к мечтательности и отвлеченностям. До какой степени удачны поэтические опыты Хлыщова, читатель может судить по следующему отрывку:

Ассан сидел, нахмуря брови.
Кальян дымился, ветер выл,
И, грозно молвив: «крови! крови!»,
Он встал и на коня вскочил.
«Зюлейка! нет, твою измену
Врагу я даром не прощу!
Его как мяч на пашку вздену,
Иль сам паду, иль отомщу!»

Что было ночью в поле ратном,
О том расскажет лишь луна...
Наутро конь путем обратным
Скакал... Несчастливая жена!
Мешок о лук седельный бился,
Горела под конем трава.
Но не чурек в мешке тайлся:
Была в нем вражья голова!

Стихотворение называлось «Мечь горца». Автор думал посвятить его трем буквам со звездочками, значение которых мы скоро узнаем; к слову чурек сделана была выноска: *чурек — черкесское кушанье*.

Читатель теперь видит, что имеет дело с человеком не совсем обыкновенным, и если, может быть, до сей поры он недоумевал и даже обижался, почему автор с таким усердием описывает мельчайшую черту своего героя, то теперь, надо надеяться, подобное недоумение уже не может иметь места. Почему Хлыщов, при всех условиях счастья, которым, повидимому, наслаждался, выбирал такие мрачные картины? Потому, всего вернее, что мелкие чувства и страсти, обыкновенные происшествия, обыкновенных людей он считал решительно недостойными описания и всегда удивлялся, как у авторов достает терпения возиться с такими предметами. Любимым его чтением был «Кавказский пленник», после которого всего выше ставил он «Хаджи-Абрека», мало видя хорошего в остальных произведениях Лермонтова. Он думал, что изображения достойны только чувства громадные, предметы поразительные, люди со страстями могучими и душой возвышенной. И, надо признаться, мы совершенно с ним согласны, и потому именно выбрали нашим героем его, господина Хлыщова, а не кого-нибудь другого...

Однакож к делу.

Нет никакого сомнения, что самыми торжественными минутами в путешествии Хлыщова были те, когда карета с шумом подкатывалась к станции и останавливалась. Дверцы растворялись; вслед за своим хозяином собака бойко выскакивала, расправляя свои могучие члены, картинно выгибаясь, лаяла, визжала и бросалась ко всем с признаками живой радости. Но прочие пассажиры, не поняв ее дружеского расположения, приходили в смущение и пятились; дамы кричали: «ах!»

Тогда Хлыщов, с любезностью приложив руку к фуражке и грациозно принагнув голову, произносил самым нежным голосом:

— Не извольте пугаться, сударыни. Собака моя, точно, страшна с виду и сила у ней ужасная, но пока я при ней, она не сделает никому ни малейшего вреда... особенно прекрасному полу.

Вслед за тем кроткое выражение лица его сменялось повелительным и чрезвычайно свирепым, с такой быстротой, как будто вдруг поставили ему сзади на плечи другую голову; голос из нежного тона мгновенно переходил в густой, настойчивый бас, и герой наш кричал:

— Прометей, сюда!

И собака тотчас послушно опускала уши и смиренно садилась на задние лапы у ног своего хозяина.

— Вот как у нас! — гордо замечал тогда Мартын своему соседу, с любовью оглядывая собаку. — Ведь уж как же мы ее и учили. Сколько битья приняла сердечная! А то прежде на людей бросалась — разорвет... Соседи хотели жаловаться в полицию, а кучер генеральский просто грозился известить: я, говорит, подсыплю ей яду...

— Мартын, трубку! — раздавался вдруг голос г-на Хлыщова, и Мартын, не кончив речи, опрометью бросался с своего высокого сидалища, с готовой уже трубкой, которую, ради скуки, набивал всю дорогу.

Нужно заметить, Хлыщов в карете курил папироски, а на станциях трубку с длиннейшим чубуком. Герой наш не любил коротеньких чубуков.

Когда человек хорошо настроен, каждая безделка доставляет ему повод к наслаждению. Разные дорожные встречи и случайности, ссоры ямщиков, привязчивые продавцы Выборгских кренделей и баранков, называющие каждого проезжающего золотцем, — все развлекало нашего путешественника; он острил, хохотал, пугал баб своей собакой и вообще обнаруживал признаки счастливейшего смертного.

И точно, он был счастлив. Не говоря уже о том, что он, как мы узнали, ехал жениться, — и о том, что мог есть безнаказанно, как мы тоже видели, копченую колбасу в дороге, — вся вообще обстановка его жизни была такова, что печалиться было нечему: он был молод, хорош собой, по крайней мере по собственному убеждению, далеко не

беден и наслаждался полной независимостью. Разбогател он, впрочем, недавно: в прошлую поездку свою в Москву он влюбился в одну очень образованную, примерной нравственности девицу, с хорошим приданым, но тогда еще, как он сам говаривал, делишки его хромали: бабушка его была еще жива. Благоразумие предписывало подождать. И вот теперь бабушка его умерла, оставив ему хорошее наследство, — и он ехал к предмету своей страсти, твердо уверенный в полной победе...

Таким образом, желание произвести блистательнейшее впечатление на невесту было единственной заботой его в дороге. Надлежало, следовательно, принять меры, чтобы дорога не испортила лица. И герой наш принял их: во всю дорогу он ни разу не умывался, хотя карета страшно пылила и по природе был он весьма чистоплотен. Усы его через сутки начали терять свой черный цвет, наконец покраснели как кирпич, и скоро не осталось ни малейшего сомнения, что природный цвет их был рыжий; но с усами справиться легко! Иное дело нос. Так как нос Хлыщова имел несчастную привычку краснеть вследствие малейшего трения, то герой наш в последнюю ночь решился даже не спать, рассчитывая, что и приобретенная таким образом бледность придаст лицу его интересное, поэтическое выражение... Но натура взяла свое: как ни крепился Хлыщов, к утру сон одолел его, и он проснулся с краснейшим носом, благодаря суконному обшлагу шинели, в течение нескольких часов усердно делавшему свое дело. Обстоятельство ничтожное, и мы не упомянули бы о нем, если б оно значительно не омрачило веселости нашего героя. Проезжая последние станции, он ни разу не поговорил с своей собакой, не любезничал с дамами, но тотчас, как отворялись дверцы, бежал к трактирному зеркалу, подозревая собственное в предательстве. Но и трактирные зеркала показывали то же, с прибавлением иногда небывалого раскоса в глазах, чем Хлыщов, видимо, оскорблялся, отскакивая с негодованием и бросая кругом свирепые взгляды.

Думая, нет ли чего тлетворного в дыхании собаки, Хлыщов целые две станции проехал, высунув голову в окно, причем изрядно наглотался пыли; но что нужды! пыль шла в желудок, в котором у него все обстояло благополучно... беда та, что гибельная краснота нисколько не умень-

шалась. Оставалась одна надежда на разные косметические средства, которых находился при нем изрядный запас, — и Хлыщов с нетерпением ждал минуты прибытия в Москву.

И вот она, наконец, наступила, к величайшей его радости. Приказав Мартыну везти чемоданы в гостиницу Шора, а с собой захватив только дорожный мешок, Хлыщов нанял лучшего извозчика и полетел к Охотному ряду.

«Придется, может быть, — думал он дорогой, — принимать у себя родственников невесты: надо, чтоб квартира была хорошая. Пусть видят, что в родню к ним вступает не какой-нибудь забулдыга!»

К счастью, два лучшие номера в гостинице Шора были порожние. Поторговавшись порядочно и назвав всех трактирщиков обиралами, Хлыщов взял их.

— Воды, скорей воды! — кричал он человеку, входя в комнату.

Человек пошел, а Хлыщов подскочил к зеркалу...

III

Когда Хлыщов разложил свой несессер и дорожный мешок, нельзя было не подивиться необыкновенному обилию косметических средств, находившихся при нем; особенно мыла, в тисненых коробочках, в красивых жестянках, в цветных бумажках, имелось такое огромное количество, что невольно возникал вопрос: не был ли герой наш просто мыльным торговцем и не приехал ли в Москву с образчиками своего товара, которому не находил достаточного сбыта в столице? Но такое обидное предположение скоро рассеивалось тем, что каждый сорт имел свое особенное назначение и по мере надобности поступал в дело. Составов для крашенья усов было также немало; выгружая их, Хлыщов вскрикнул: любимый его фуляр, с китайскими мандаринами по краям и с чувствительной сценой в середине, был залит черной жидкостью, которая успела уже засохнуть и отставала местами, как кора с дерева.

«Надо будет его перекрасить», — подумал Хлыщов.

Пока герой наш умывался, Мартын призвал парикмахера, и через два часа Хлыщова нельзя было узнать — при-

чина, обязывающая нас как можно подробнее описать его превращение.

Нежная кожа налима может дать далеко неполное понятие о том, до какой степени выбритая борода его, натертая благовонным мылом, синелась и лоснилась; усы были черные, как смоль, и расположены эффектнейшим образом: представляя в основании почти сплошную массу, постепенно шли они тоньше и тоньше и оканчивались с каждой стороны одним длинным волоском, закрученным в колечко; симметрия была соблюдена с удивительной точностью. Волосы были завиты мельчайшими колечками. На нем был черный сюртук с иголки; брюки цвета вареной лососины, с черными лампасами, жилет черный с красным снурком по бортам. Руки его украшены были кольцами и дорогими перстнями. Туго накрахмаленные воротнички рубашки красиво облегал его полные щеки, а подбритый затылок тонул в складках синего шарфа, приколотого спереди огромной булавкой в виде серпа, с маленькими брильянтами. Здесь необходимо отступление. Хлыщов принадлежал к числу немногих избранных, у которых волосы растут не спросясь где нужно, где нет, с изумительной силою; в одиночку или попарно сюрпризом выбегали они на его щеки, где попало; греческий нос его (он любил называть свой горбатый нос греческим) постоянно был украшен небольшим, но тесным семейством маленьких волосков необычайной белизны и тонкости; Хлыщов боялся их трогать, чтоб не наделать хуже, и благодарил судьбу, что они еще белые; не так милостиво поступал он с черными, коренастыми волосами, лезшими из самого носа такими пучками, что не тронь он их ножницами, из них в короткое время вышло бы престранное дополнение к усам; уши его, по выражению одного остряка, зарастали так, что он по временам лишался всякой способности ценить оперу, отчего и предпочитал ей цыган. Голова в незавитом состоянии напоминала сноп, скомканный и перевернутый шаловливыми ребятишками, и волосы на ней, особенно сзади, росли так низко, что Хлыщов пришел к необходимости подбривать свой затылок, подобно кучерам, делающим то же из франтовства. Объяснив, почему затылок нашего героя был подбрит, приступаем к окончанию обстоятельной описи его наряда. Оно будет коротко: не упомянуто выше только о сапогах, которые были новы и немножко поскры-

пывали — обстоятельство, глубоко огорчавшее нашего героя. Он был не чужд прогресса, и с того самого дня, как прочел в модах одного журнала, что сапоги со скрыпом перешли в достояние франтов дурного тона, Хлыщов возненавидел скрып, которым в течение одиннадцати лет самодовольно оглашал гостинные своих знакомых, следуя мнимой моде. И теперь каждый раз, как сапоги его, до крайней степени ссохшиеся в дороге, издавали звук, наполнявший некогда сердце его гордым удовольствием, герой наш содрогался!

«Впрочем, здесь не Петербург; может быть, оно даже и лучше», — наконец подумал он с полным убеждением, привыкнув, подобно всем счастливым, толковать в свою пользу хорошую сторону предмета мимо десяти дурных, и, подумав так, он протянул руку к духам.

Надушился он так, что Прометей, как ни любил своего хозяина, не мог оставаться в одной с ним комнате и расчихавшись убежал в прихожую.

— Не твоему собачьему носу нюхать такие духи! — рассмеявшись прокричал вслед ему Хлыщов и подошел к зеркалу.

Он был уже совершенно готов, даже перчатки, чистейшего лимонного цвета, были надеты, и подходил он теперь к зеркалу с таким же чувством, как художник, окончив любимую картину, выбирает лучшую точку, чтоб обнять эффект целого.

— Еще подумают, что пьянствовал в дороге, — пробормотал Хлыщов, с неприятным чувством всматриваясь в красноту своего носа (увы! никакие старания не могли уничтожить ее!), и вздохнул. — Но я сделал все, что мог... не отрезать же мне его?.. видно, уж такая судьба!

Всего более бесило его то, что у Мартына, подвергнувшегося тем же самым влияниям, нос был несколько не красен.

«А еще ехал, шут, впереди!» — думал Хлыщов, вздергивая плечами в горьком недоумении.

— Мартын! Ты пил дорогой? — спросил он вдруг.

— Как же-с! Да вот еще на той станции... как бишь ее? вот и забыл! квас такой важный!

— Да нет... не квас! вино пил?

Мартын подумал и произнес:

— Виноват-с...

- Не в том дело. И много пил?
- Как можно-с!
- Ну, а как?
- Пил-с.
- Да много ли! Каждый день?
- Каждый... Нельзя-с: ночи такие холодные...

— Как! и по ночам пил? — воскликнул Хлыщов и снова пожал плечами, сделав гримасу, которую вместе с движением плеч можно было перевести так: «Вот поди и спрашивай справедливости у судьбы».

Объяснив обидную шутку судьбы особенной нежностью своей благородной кожи (чем значительно утешилась его щекотливая гордость), — Хлыщов величественно облекся в синий плащ с бархатными отворотами, изобретенный исключительно для таких гигантов, и вышел.

Был час четвертый. Насидевшись вдоволь дорогой, герой наш чувствовал сильную потребность пройтись, и как времени до обеда оставалось еще довольно, то он и отверг решительно многочисленные предложения извозчиков, величавших его графским сиятельством. Конечно, такая грубая и пошлая лесть не могла ему нравиться; но как она служила новым доказательством некоторых собственных его заключений, сделанных перед зеркалом в почтовой карете, то и не осталась вовсе без внимания: «Ведь не всех же и они величают графами! — думал он, драпирясь своим плащом. — Иной хоть тысячу прокатай им, а больше вашего благородия не дожидется!»

В самом веселом расположении проходил он по узким кирпичным тротуарам, попирая их с особенной силой, в надежде, что сапоги авось выскрыпятся и будут вести себя в гостинной будущего тестя прилично.

Нет сомнения, что веселость его, говоря цветистым слогом, была бы еще безоблачнее, если б не зеркальные стекла некоторых магазинов, заглянув в которые он тотчас отворачивался с неприятной гримасой и даже иногда выпускал глубокий вздох.

Ничто не могло равняться презрению, с которым осматривал он проходящих, особенно тех, в которых замечал претензию на щегольство.

«В Москве еще носят бирюзовые запонки, — думал он, преследуя сатирическим взором предмет своих наблюдений, — а вот... ха! ха! ха! белые перчатки, шляпа, фрак

и — фуражка! в столичном городе в фуражке!.. А вот... ну, отличился, отличился! пальто с иголки, сапоги лакированные — и сережка в ухе... ха! ха! ха! Эх, Москва, Москва! матушка Москва, золотые маковки! Далеко тебе до Петербурга... Тише, ты, ротозей! не видишь!!!» — Последнее восклицание, произнесенное весьма резко и грозно, относилось к дюжему парню, тащившему на голове лоток вареных груш и чуть не окатившему их сиропом нашего героя.

— А ты сторонись, не видишь — с лотком иду! — прокричал разносчик.

— Ах ты, ах ты... — сердито возразил Хлыщов, и голоса у него нехватило. Честь его была глубоко оскорблена, он хотел догнать дерзкого и спросить, знает ли он, кому осмеливается грубить, как всегда дельвал в подобных случаях; но вдруг рука его коснулась плаща, и он побледнел. Струи грязной жидкости бежали по бархатным отворотам и некоторые обнаруживали дерзкое намерение пробраться под плащ. Пока Хлыщов предупреждал их порывы, разносчик исчез. В то же время над головой Хлыщова слышался бойкий и довольно приятный женский смех.

Сдержав резкие выражения, которые готов был послать разносчику, Хлыщов поднял голову. Он находился против весьма длинного и грязного двухэтажного дома, во всю длину которого тянулась вывеска такого содержания: *«Дирлинг и К°, красильщиков и пятновыводчиков из Парижа»*. В растворенном окне над вывеской виднелась женская головка, замечательной красоты; рот незнакомки был полураскрыт, причем во всем блеске выказывался ряд ровных и беленьких зубов; живые глаза с детским любопытством и участием, даже больше — с любовью, устремлены были на Хлыщова. Хлыщов улыбнулся, показывая тем, что сам готов смеяться своему несчастью, и тотчас же убедился, что его высокий рост, важная осанка, блестящий наряд обворожили незнакомку... Нет никакого сомнения: победа совершена!

«Уж не зайти ли? — подумал он. — Тут, кажется, красильня. Будто что-нибудь выкрасить. Да ведь зачем пойдешь? Не такое время! А ну, хоть бы затем, чтобы посмотреть ее вблизи да самому показаться... испытать, как, например... нос? не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь».

И он уж решился было зайти; но мысль опоздать к обеду остановила его. Он ускорил шаги, повернул в соседний переулок и, взглянув на часы, взял извозчика. Через десять минут он уже всходил по лестнице, которая вела в квартиру его будущего тестя.

IV

Отрывок из письма Хлыщова к петербургскому приятелю.

«...Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое скоро должен я вступить, поистине образцовое. Отец, Степан Матвеевич Раструбин, человек не слишком большой образованности, и манеры самые обыкновенные; но что и манеры, когда нет души! А у него, я тебе скажу, душа самая благородная: вообрази, за дочерью дает полтораста тысяч чистогану, да еще по смерти достанется нам до ста тысяч. Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам — и чем же, как думаешь? пиявками! Вот никогда не думал, чтоб таким средством можно было нажиться! В молодости случилось ему быть в Персии; там он и высмотри, что пиявки вещь недурная. Вышел в отставку, откупил в Персии какое-то болото и завел торг, да вот теперь у него два дома и до полумиллиона чистыми! Он уже давно, разумеется, оставил эту торговлю: понимаешь, наживши такое состояние, оно как-то неловко, а говорит: продолжай торг, добил бы до миллиона. Конечно, он хорошо сделал, что перестал, а все жаль: пиявки, пиявки, а деньги такие же! Престранный старик! Если б ты знал, как он любит пиявки! Всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена пиявушка, лакей Пиявкин; побранить ли кого вздумает, кричит: пиявица! От всех болезней у него одно лекарство — пиявки, и вообрази: сам ничем в жизни не лечился, кроме пиявок — а ведь как здоров! Толстяк такой, а лицо — кровь с молоком! И к семейству своему и к знакомым беспрестанно пристаёт, не поставит ли пиявок; лошадям пиявки ставит, а маленькую Фифи совсем погубил: проклятые всю кровь высосали у бедной собачонки; делались, видишь ли, с ней престранные припадки: вдруг завертится, начнет бегать вокруг комнаты, кружится, кружится да, наконец, и упадет, ну биться; он ей и приставь сорок четыре пиявки, всю ее так улепили, что смешно было смотреть,

стала вся мохнатая, точно новой шерстью обросла! Была толстая, жирная, как всегда мопсы. А как отвалились, так совсем не узнать: точно кот стала, с неделю не кормленный, и шатается. Я, признаться, сначала и порадовался: терпеть не могу никаких маленьких собачонок, особенно мопсов, — ножки короткие, ходит—переваливается, морда тупая, а шерсть так лоснится, — тьфу, противно вспомнить! Да моя бедная Варюша расплакалась: вы, говорит, папенька, ее погубили своими пиявками! А он только смеется. Вообрази: и меня вздумал было лечить пиявками: сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу — так, пустяки! Он и пристал: приставь да приставь я к носу пиявку, я отнекиваюсь... Только что же? Заснул я после обеда: с дороги устал (понимаешь, я у них по-домашнему), слышу шорох, и нос так страшно холодит... открыл глаза, а он тут! и пиявка в руке, уж пробовал, да счастье, не вдруг пристала! Я как вскрикну. Он уж нечего делать — стал извиняться; я, говорит, вам же добра желал, а впрочем, как хотите — обиделся! И чего вы боитесь, говорит, вот смотрите: взял и приставил к своему носу: каков? Беда при нем заикнуться, что нездоровится, болит что-нибудь. Умора! а, впрочем, хорошо, что он так привязан к тому, чем, можно сказать, судьбу свою упрочил — редкая в наш век черта! И, вообрази, даже дети у него... их четверо маленьких, кроме моей Вареты. Женился он, видишь, в Персии, взял персиянку: ну, известно, черная, нос такой крупный, брови, как лес, теперь толстовата голубушка, а хороша, должно быть, была!.. Все говорит про Персию... Даже дети такие черные, толстенные, лоснятся, ну точно насосавшиеся пиявки; право! мне, по крайней мере, всегда так кажется. Странная игра природы! А впрочем, семейство прекрасное! Приняли они меня, братец, чудесно: старик послал шампанского. И моя Варенька чудо красоты, любит меня ужасно. Глаз с меня не спускала, да я скоро ушел: спать с дороги хотелось смертельно... Да что! Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь так повезло, так повезло, что не будь такое время... да жаль, не до жуировки! время не такое. А с другой стороны, ведь я в некотором смысле сбраз жизни готовлюсь переменить, с молодостью прощаюсь... думаю, думаю, и сам не знаю, как распорядиться... Ну, да утро вечера мудренее. Прощай, хочется спать»...

— Мартын! нет ли у нас чего перекрасить? — спросил на другое утро Хлыщов, просыпаясь в самом приятнейшем расположении духа и потягиваясь.

— А как же, сударь! сами еще изволили говорить: желтый фуляр весь фабрикой выпачкался...

— Ба! ба! ба! — воскликнул Хлыщов. — В самом деле! Так ты приготовь его...

Он не колебался долее. Желтый фуляр решил дело.

Часу в двенадцатом, одевшись по-вчерашнему, герой наш тем же путем отправился к невесте и скоро очутился перед домом с вывеской братьев Дирлинг и К°. Белокурая головка была тут, совершенно в том же положении, как будто она всю ночь провела у окна.

— Я к вам иду, — сказал он самым нежным и вкрадчивым полушопотом.

— Пожалуйте, — отвечала она спокойно и приветливо.

Хлыщов поднялся по лестнице. Не успел он подойти к двери с маленькой вывеской: Дирлинг и К°, как уже дверь отворилась. Хлыщов поспешил войти и заметил, что отворила ему сама хозяйка.

Он вошел в комнату довольно просторную, по стенам которой помещались высокие шкапы. Поперек тянулся прилавок, захватывавший крайнее окно, у которого, как сообразил Хлыщов, показывалась ему интересная красильщица. У другого окна стояла огромная вешалка, заваленная распоротыми платьями, салопами, скюртуками и другими принадлежностями мужской и женской одежды разных цветов и размеров; к каждой вещи приколот был булавкой ярлык с номером. Хлыщов был поражен таким разнообразным смешением одежд и думал, что если б собрать в одну кучу их владельцев, то вышло бы не менее разнообразное и занимательное смешение лиц. Два шкапа были полураскрыты: в них висели, также каждый с своим номером, разноцветные лоскутья сукна, ситцу, шелковых и шерстяных материй, намекавшие своей формой иногда довольно ясно, какого рода одеяния были распороты и подвергнуты перекраске, и каких размеров были люди, носившие их в первоначальном виде.

— Славно у вас красят, — сказал Хлыщов, рассматривая

перекрашенные лоскутья, — только долго ли держится краска?

— Как долго? — сказала хозяйка не совсем чистым русским языком, которому мы не будем подражать, — всегда!

— Уж будто? — возразил с приятной улыбкой Хлыщов.

— Попробуйте! — отвечала хозяйка. — Что вам угодно?

— Чтò? — сказал Хлыщов. — Вы изволите спрашивать, что мне угодно?

Молчание.

— А вы не ждали, чтоб я к вам вошел? — продолжал он, — и если б я вошел так, без всякой причины, небось, рассердились бы?

Молчание.

— Вы довольны, что я зашел? или вам все равно?

— Все равно, — отвечала немка.

При таком неожиданном ответе герой наш решительно подумал, что немка глупа.

— Нет! как все равно? — поправилась она с испугом, медленно одумываясь и видимо недовольная своей оплошностью, — мне очень приятно!

— А! — значительно произнес обрадованный Хлыщов.

— Муж бранит, что нынче совсем мало работы, — дополнила немка, — вы, верно, пришли...

— Муж? так у вас есть муж?

— Да, муж!

— А где он?

— Там, — отвечала немка, указывая пальцем в пол.

— Внизу?

— Да.

— А чтò он делает внизу?

— Красит.

— Так у вас там красильня?

— Мастерская, — отвечала красильщица.

— А там что? — спросил Хлыщов, указывая на дверь в соседнюю комнату.

— Там... столовая.

— А там, дальше столовой?

— Спальня, — отвечала немка.

— Н-да. Ну а там, после спальни?

— Там кухня.

— А после кухни?

— Там ничего... там лестница вниз...

— В красильню? — подхватил Хлыщов.

Ему нравились простодушные ответы и особенно замешательство красильщицы, при котором она раскрывала рот шире обыкновенного и устремляла к потолку синие большие глаза, чрезвычайно схожие с глазами самого Хлыщова, напоминавшими, как уже сказано выше, глаза большой рыбы, вытащенной на берег.

— Так у вас мало работы? — спросил он.

— Теперь мало.

— И муж сердится?

— Очень.

— Вот я вам принес работы и принесу еще...

— Вам выкрасить или перекрасить? — с живостью перебила хозяйка.

— Перекрасить... Не то, чтобы перекрасить, — поправился Хлыщов, — я перекрашенных вещей не ношу, к счастью, не имею в том нужды, а если что вымарается, отдаю человеку... А тут особенное обстоятельство: вымарался в дороге мой любимый фуляр... мне его подарили — дорога память...

Довольный последней фразой, слетевшей с языка совершенно экспромтом, но как нельзя более кстати, Хлыщов достал фуляр и показал его хозяйке.

— Можно, — сказала она. — В какую краску?

— В какую хотите. Я предоставляю вашему вкусу и вполне уверен...

Он грациозно принагнул голову.

— Нет, уж лучше вы сами назначьте, — сказала хозяйка, — а то после...

— Ха, ха, ха! Что вы думаете?.. Разве вам случалось?.. Нет, я вам скажу... я...

— Нет, нет, нет! — возразила немка, неожиданно оживляясь, — вот недавно тоже господин, как и вы, богатый, принес перекрасить... одну вещь... одну... (она, очевидно, затруднялась в выражении)... принес и оставил перекрасить в дикую краску. Перекрасили, а он посмотрел и рассердился. Я, говорит, велел в дикую, а вы перекрасили в серую... Я серый цвет не люблю и никогда не ношу. Рассердился так! Отдайте, говорит, мне... мою вещь такую, как была... А где нам взять ее, такую? Муж так сердился,

бранил... все ты, говорит: не расспросила хорошенько.

— Удивляюсь, — воскликнул Хлыщов с неподдельным негодованием, — удивляюсь, как находятся такие люди! Кажется, один пол должен бы обезоружить... Будьте спокойны, сударыня, если уж вы сами не хотите назначить, так пожалуй... Да вот чего лучше? О какой там краске у вас расписано? — заключил он, увидав пачку объявлений у конторки.

Хозяйка подала ему объявление. Хлыщов прочел:

БРАТЪЕВ ДИРЛИНГ и К^о
НОВОИЗОБРЕТЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ
КРАСКА,

НЕ ЛИЦАЮЩАЯ НИ ОТ ВОДЫ, НИ ОТ
СОЛНЦА И НАВСЕГДА СОХРАНЯЮ-
ЩАЯ СВОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ,
ГУСТО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ, С БРОНЗО-
ВЫМ ОТЛИВОМ.

-- Уж будто никогда не линяет? — спросил он шутливо.

— Никогда.

— Знаю я, знаю ваши объявления! Написать все можно — бумага терпит. А посмотришь: через неделю удивительная зеленая краска порыжеет, как вохра... Ха, ха, ха!

— Ни, ни, ни... никогда! — воскликнула немка, начиная сердиться, — ее теперь все хвалят; каждый день котел выходит. Попробуйте, так увидите!

— Верю, верю, сударыня, — вежливо отвечал Хлыщов, — и, чтоб доказать вам, прошу выкрасить мой фуляр в вашу зеленую краску... оно хоть и не совсем идет к фуляру, но вы хвалите, и я...

Он опять грациозно принагнул голову.

Немка приняла фуляр и выдала ему номер. Принимая его, Хлыщов осторожно пожал маленький пальчик красильщицы. Она быстро отдернула руку.

— А когда будет готов? — спросил он.

— В пятницу.

— А нельзя ли завтра?

— Нет... очень скоро.

— Хоть к вечеру?

— Погодите... я спрошу мужа.

И она хотела идти. Хлыщов остановил ее.

— Нет, зачем же? — сказал он, — я лучше завтра наведуясь, мне по дороге; если готов будет, так хорошо, а нет, так все равно... Зайти?

— Пожалуйста, — отвечала она.

— Теперь прощайте. Не смею дольше утруждать вас моим, может быть, неприятным присутствием; будьте уверены, что как бы вы ни распорядились с моим фуляром, хоть бы совсем испортили его... я... вежливость к прекрасному полу, по-моему, первый долг... Надеюсь, что вы будете смотреть на меня не как на докучного посетителя по делу, а как на доброго знакомого... так? — прибавил он тихо, устремляя на нее нежный взгляд, — так?

— Так, — отвечала она неопределенно.

— А в доказательство... позвольте пожать вашу руку... Тут нет ничего, так делается.

И он взял ее руку и поцеловал.

— Ай! зачем? — сказала она, быстро вырывая руку.

— Ну, не сердитесь. Вы не сердитесь?

Красильщица молчала.

— Прощайте, прощайте! не смею более утруждать вас...

Он расшаркался и вышел.

«Начало недурно!» — думал он, спускаясь с лестницы.

— Прощайте! — сказал он, поровнявшись с окном, в котором уже опять появилась красильщица.

— Прощайте! приносите же еще!

— О, непременно!

И счастливый герой наш отправился к невесте.

— Вот, — думал он, — есть пословица: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь... Ну, не всегда!

VI

Дела Хлыщова во всех отношениях шли превосходно. Будущий тесть его, кроме пивок, страстно любил еще делать всякого рода сюрпризы и через три дня после первого свидания совершенно неожиданно объявил Хлыщову,

что дает за свою дочь не полтораста тысяч, как пошутит сначала, а двести. «Вот шутник, так шутник!» — подумал Хлыщов, радостно выслушав старика и заключая его в объятия. «Дай бог, чтоб он всегда так шутил», — и в голову Хлыщова серьезно забралась мысль, не пошутит ли старик через неделю еще тысяч хоть на двадцать пять. «Тогда, пожалуй, можно будет согласиться и пиявки поставить, отчего не потешить добряка», — думал он. Хлыщов каждый день обедал у Раструбиных, приходя часу в первом и просиживая до обеда с невестой своей и с молчаливой Поликсеной Ираклиевной (так называлась госпожа Раструбина). Его красноречивые, остроумные рассказы о Фрецолини, о Борси (Гризи и Марио тогда еще не было в Петербурге), о Фанни Эльслер, которую он называл просто *Фанни*, видимо интересовали молодую девушку. Варюша спала и видела тот вождеденный день, когда, сделавшись г-жею Хлыщовой и приехав в Петербург, она появится в опере. Надо заметить, что Хлыщов в Москве прикидывался страстным меломаном итальянской музыки и с пренебрежением отзывался о цыганах. Называя себя борсистом (он действительно принадлежал к тем, которые отдавали предпочтение Борси перед Фрецолини), яркими красками описывал он мнимые победы борсистов над фрецолинистами, к одержанию которых значительно сам содействовал (чему нетрудно было поверить, приняв в соображение массивные руки и вообще атлетическое его сложение). Все были от него в восторге, не исключая и дородной Поликсены Ираклиевны, которая вмешивалась в разговор единственно в таких случаях, где можно было вернуть словечко касательно того, как то или другое делается, растет, готовится или употребляется «*у нас в Персии*». Хлыщов, не лишенный юмористического взгляда на людей и людские деяния, скоро подметил слабую сторону доброй старушки и в приличных случаях скромно подмигивал старику Раструбину, который открыто смеялся над своею женою, называя ее не иначе, как «*у-нас-в-Персии*». «А что «*у-нас-в-Персии*» так присмирела? — говорил он, попивая кофе. — Что ни говори, а «*у-нас-в-Персии*» прекрасная женщина. Какого плову сегодня подала нам; жаль только, изюму и коринки слишком много положила». «*У нас в Персии* всегда так кладут», — отзывалась Поликсена Ираклиевна, начинав-

шая уже дремать. «Ха! ха ! ха! опять — у-нас-в-Персии». Старик добродушно смеялся. В таких разговорах и шутках, до которых старик был большой охотник, не много заботясь, как все разжившиеся веселые старики, о их достоинстве и пополняя недостаток качества количеством, — проходило незаметно два-три часа после обеда. Часу в осьмом Хлыщов обыкновенно уходил, обещая вернуться еще попозднее.

Куда шел он? — читатель догадывается.

— А что, Мартын, нет ли у нас чего перекрасить? — почти каждый день, отправляясь со двора, спрашивал он у своего человека.

И, спустя несколько дней, значительная часть его шейных платков, косынок, шелковых рубашек (Хлыщов в дороге носил шелковые рубашки) и некоторых других вещей была перекрашена. Принимая обратно вещи, которые перекрашивались обыкновенно в темнозеленый цвет, Мартын не мог надивиться странному направлению вкуса своего барина.

«Что, нынче мода, что ли, на зеленый цвет? — думал он и, как человек начитанный, любивший обстоятельно обсуживать каждый предмет, погружался по поводу прихоти Хлыщова в самые отвлеченные глубокие соображения, пользуясь долгими часами одиночества. Не раз даже обращался он с разными вопросами по поводу зеленой краски к своему единственному товарищу Прометею, с которым вообще имел привычку разговаривать. Остановившись, наконец, на мысли, что, видно, такая мода (а он любил следовать моде, и каждая новость в костюме барина так или иначе отражалась в его собственном), оп однажды на обычный вопрос барина: «нет ли чего перекрасить?» запинаясь отвечал:

— Нет-с, вашего уже ничего нет... а вот-с, если прикажете, моего...

— Давай, давай! — сказал Хлыщов.

— Куда прикажете-с?.. я отнесу.

— Я сам возьму.

— Много-с; куда вам!

— Ничего, ты вон поди, позови извозчика и положи ему... я уж сам отдам... да много?

— Довольно-с... я в узелок связал...

— А пальто, что я намедни подарил, положил?

— Нет-с.

— Что же?

— Да будет и так. Много доволен.

— Положи и пальто. Оно все в пятнах, лучше и его перекрасить.

— Точно, уж как же не лучше? Покорно благодарю-с.

Не слыша ног под собой, Мартын связал в узел почти все свое платье и сдал извозчику.

«Ну, будет моей немочке радость!— подумал Хлыщов, увидав у извозчика огромный узел и садясь в дрожки. — Все жалуется, бедненькая, что мало работы!»

Узел был сдан красильщице с приличной оговоркой, что платье принадлежит не ему, Хлыщову, а его человеку, — Хлыщов же взялся сам передать только потому, чтоб иметь предлог увидеть ее. И через несколько дней Мартын ходил весь зеленый с ног до головы, словно попугай, и был очень доволен своим модным нарядом. Надо заметить, что зеленый цвет с некоторого времени начал преобладать и в костюме самого Хлыщова, который, желая угодить своей немочке, надевал иногда перекрашенный жилет или шарф.

Как, однакож, шли его дела? Принося вещи красильщице, он довольно долго оставался у нее, шутил, говорил любезности, и она терпеливо выносила его присутствие: скука ли летней поры, в которую редко приходили посетители, ветренность ли характера, или, наконец, действительная склонность к Хлыщову, как он думал, — только она не слишком сердилась даже тогда, когда Хлыщов целовал у ней ручку... Несколько раз приступал он уже и к решительному объяснению, но всегда так случалось, что в самую критическую минуту раздавался звонок и входил посетитель или являлась (оттуда, где, по словам красильщицы, была столовая) высокая, сухопарая фигура в полосатом халате.

— Каролина Францовна! — говорил главный подмастерье гг. Дирлинг и К^о, мрачно оглядывая нашего героя, — хозяин приказал попросить рубль двадцать копеек!

Хлыщов выжидал, но подмастерье принимался перебирать вновь принесенные в краску вещи, искоса оглядывая нашего героя, пока, наконец, Хлыщов не убеждался, что его скоро не выживешь. Он уходил с твердым намерением

в следующий раз тотчас же приступить к объяснению, не теряя времени в околичностях.

И невозможно было медлить. Шитье приданого Варюши кончено. Через два дня, именно 25 августа, назначена свадьба. В доме Раструбиных все оживилось. Старик острит более обыкновенного и, по некоторым его таинственным намекам и отлучкам, Хлыщов ясно видит, что он готовит новый сюрприз.

— Ну, «у-нас-в-Персии», — говорит Раструбин жене, — пошевеливайся! Пришла пора и тебе проснуться! А вот погоди, свадьбу сыграем, будет еще больше хлопот. Очень уж ты обседелась... повозишься еще и с мебелью, и с сундуками своими... да! деньги деньгами, а надо им тоже и кроме денег... а нам что, старикам, все равно.

«Уж не дом ли хочет предоставить нам? Не купчую ли проворит?» — думает Хлыщов, и сердце его наполняется сладостнейшим ощущением. И с новым жаром смеется он шуткам старика, говорит в его тоне, придумывает ему каламбуры и клянется, что сроду не встречал такого остроумного человека, что шутки Степана Матвейча всегда так оригинальны, тонки, поразительны...

— И *существенны*... главное — существенны, — самодовольно прибавляет старик. — Ха, ха, ха!

— О, да, папенька!.. — говорит тронутым голосом Хлыщов, вспомнив неожиданную подбавку пятидесяти тысяч, и, нагибаясь, целует руку будущего своего тестя.

(Нехудо заметить, что Хлыщов с самого дня помолвки называл г. Раструбина папенькой и целовал его руку.)

Даже неподвижная Поликсена Ираклиевна оживилась. Целый день она в хлопотах: то примеряет приданое дочери, то показывает его многочисленным гостям, хлопочет, чтоб все в доме было прибрано, вымыто, вычищено и приготовлено. Маленькие Раструбины, удачно прозванные Хлыщовым, за свою толстоту и черноту, насосавшимися пивяками, тоже в хлопотах. С утра до вечера прыгают и бегают они, радуясь, что старшая сестрица выходит замуж, что будет свадьба, будет музыка, будут танцы, будут конфеты...

Так как Хлыщов в глубине своего сердца более питал склонности к двумстам тысячам, чем к самой Варюше, то и неудивительно, что, посреди свадебных приготовлений, он не упускал и других проходящих, менее суще-

ственных, но успевших пробудить его интерес целей.

«Надо, надо проститься с молодостью!» — думал он, приближаясь утром 23 августа к красильному заведению гг. Дирлинг и К°.

И он вошел в приемную красильщика. Красильщица, как всегда, была одна. Пожав ей руку — право, которым уже давно пользовался — он спросил:

— Что, мой кашне готов?

— Нет еще.

— Отчего же? Ведь вы обещали сегодня?.. А, а! Попались! Уж теперь не отделаетесь.

— Муж сказал, что не успел просохнуть.

— Ну, уж как хотите, я сказал, что если не сдержите слова, я вас поцелую, и уж теперь прошу не гневаться...

И он хотел исполнить свое намерение, но она увернулась. Успев ухватить ее руку, он с жаром целовал ее.

— А когда же будет готов?

— Вечером.

— Рано ли?

— В семь часов.

— Мне нельзя: я так рано не могу быть.

— Ну, так в восемь.

— И то нельзя. Можно в девять?

— Можно, приходите.

— Ну, а если я приду в десять? — понизив голос, сказал он. — Мне давно хотелось с вами поговорить, — прибавил он еще тише.

— Приходите, — отвечала она тем же равнодушным голосом.

— И вы будете одни?

— Да.

— А муж?

— Он там, — указывая в пол, отвечала красильщица.

— А, там! — успокоенным тоном повторил Хлыщов. — Так можно?

— Непременно будет готов, — отвечала она.

В то же время в соседней комнате послышались шаги. Явился полосатый подмастерье с своей мрачной физиономией.

— Хозяин просит номер семьдесят девятый, — сердито проговорил он.

— Прощайте, — переменяв тон, сказал Хлыщов. — Я найду за моею вещью или пришлю к назначенному вами времени.

Последние слова произнес он с особенным ударением и вышел.

Отыскав вещь под номером семьдесят девятым, красильщица молча подала ее мрачному подмастерью.

— Хоть бы ручку позволили поцеловать, — плачущим голосом проговорил он, потупляя глаза.

— Ни, ни! взял, что надо, и ступай, марш!

Но подмастерье не трогался с места.

— Больше ничего от вас не будет? — наконец спросил он уныло.

— Ничего не будет, — тем же строгим и резким тоном отвечала она.

— Небось, другим позволяете...

— Что?.. иди!.. а то скажу... иди!..

— Каролина Францовна!.. я все вижу... чем я такой несчастный...

— Иди, иди! — гневно перебила красильщица, топнув ножкой и покраснев.

— Так вы так-то, Каролина Францовна!

— Идешь, — нетерпеливо повторила красильщица. — Я не хочу слышать... я позову...

И она пошла к двери.

— Уйду, уйду!.. сам уйду!.. — злобно воскликнул подмастерье. — Вижу, что нечего больше ждать, нечего! Вот вы теперь меня не жалеете, а я вас жалел, долго жалел...

— Идешь! — прокричала опять немка.

— Ну, уж теперь все кончено, не пеняйте! сами не хотели выслушать... Увидите... я все знаю...

Злоба душила его, и он ушел, произнося несвязные угрозы...

VII

Пообедав и просидев у Раструбиных до десяти часов, Хлыщов пробирался в знакомую улицу.

«Сегодня прощусь с молодостью, завтра пообделаю делишки, приготовлюсь, а там и за солидную жизнь!» — думал он, довольный и судьбою, и проведенным днем, и предстоящим свиданьем.

Было уже темно. Однакож подходя к заведению гг. Дирлинг и К^о, он тотчас узнал силуэт русой головки, рисовавшийся в крайнем окне.

«Она ждет!» — подумал он, и сердце его забилося.

— Можно? — спросил он тихо, поровнявшись с окном.

— Можно, — громко отвечала ему красильщица.

— У вас никого нет? — спросил он тихо.

— Никого, — отвечала она громко.

— Я всйду.

— Пожалуйста, пожалуйста. Я парочно ждала, готово!

Он вошел.

— А ваш муж нескоро придет? — был первый вопрос его.

— Нет, он всегда там до двенадцати часов.

Хлыщов посмотрел на часы, было половина одиннадцатого. «Медлить нечего», — подумал он.

— Вот, — сказала хозяйка, показывая ему кашне, который лоснился как новый, благодаря превосходным качествам зеленой краски гг. Дирлинг и К^о.

— Чтò кашне! — сказал Хлыщов, — бросьте его. Когда я носил к вам всю эту дрянь, вы понимаете, что не привилегированная, нелиняющая краска ваша влекла меня сюда, а ваши чудесные глазки... Уж как хотите, а вы сегодня должны поцеловать меня, — заключил он, приближаясь к ней.

— Ай, как можно!.. что вы? муж есть... Идите! уж поздно.

— Нет, уж полноте... ну к чему?

И он хотел поцеловать ее. Она вырвалась и побежала в другую комнату. Там он догнал ее, она опять вырвалась и побежала в третью комнату, он туда...

Но здесь мы должны остановиться, чтоб выразить глубокое сожаление, пробуждаемое в нас неслыханным бедствием, которое постигло нашего героя. Бедствие, так неожиданно разразившееся над его головою, как по своей страшной оригинальности, так и по своим ужасным последствиям, заслуживает самого строгого описания.

Едва герой наш успел пасть на колени перед своей красавицей и начать то красноречивое признание, которое уже давно доставляло ему постоянную умственную работу, — как вдруг откуда ни возьмись (вернее всего, из кухни, смежной с красильной) появились два человека,

два гиганта — оба они были чрезвычайно высокого роста, — и стремительно кинулись к нему...

Зажав ему рот, они схватили его и повлекли в кухню; оттуда, по темной и узкой лестнице, спустились они с ним в большую, тускло освещенную комнату, которая была так низка, что герой наш, поставленный на ноги, сначала стукнулся, а потом при каждом движении вырваться подметал потолок головой своей, словно щеткой — несчастное употребление, к которому роскошные его волосы не были никогда предназначены! Гиганты же стояли в ней нагнувшись. В комнате невыносимо пахло сыростью, краской и дымившейся светильней ночника, готового погаснуть. При тусклом свете последних лучей его герой наш успел несколько рассмотреть лица своих врагов: одно принадлежало известному уже подмастерью и было так же мрачно, как всегда, с примесью злобной и неумолимой радости. Другое, прикрытое тенью остроконечного колпака, украшавшего голову гиганта, ускользало от наблюдений; только большие серые глаза горели мрачным огнем, не предвещавшим ничего доброго. Герой наш смутно сообразил, что оно, вероятно, принадлежало одному из гг. Дирлинг и К°. В комнате не было никакой мебели; по стенам висели спорки разных одежд, мотки крашенных ниток; по середине стояло множество чанов и котлов, обрызганных краской, с торчащими из них рукоятками кистей. К одному из таких котлов гиганты подтащили нашего героя.

«Что́ они со мной хотят делать?» — тоскливо подумал он, лишенный способности говорить: рот его постоянно был зажат широкой ладонью подмастерья.

— Сюда его! — проговорил мрачно подмастерье, усиливаясь приподнять Хлыщова, с явным намерением бросить несчастного в котел.

Страшное, варварское намерение! Когда Хлыщов услышал это, кровь хлынула ему в голову; собрав силы, он рванулся, страшно ударился головой в потолок, — и чуть не вырвался.

— Держи его! — воскликнул тот из гигантов, в котором герой наш не без основания подозревал одного из представителей фирмы г-д Дирлинг и К°. — Держи крепче руки!

Подмастерье впился в Хлыщова своими ручищами,

а г. Дирлинг, зажимая Хлыщову одной рукой рот, другою взялся за кисть, торчавшую из котла, и стал пачкать ею лицо нашего героя. Хлыщов снова рванулся, освободил свои руки и поспешил закрыть ими лицо. Но не успел г-н Дирлинг мазнуть по ним двух, трех раз, как подмастерье снова принял их в свое распоряжение. Кисть снова коснулась лица несчастного...

Когда операция была кончена, гиганты подвели Хлыщова к двери и довольно неучтиво вытолкнули его вон. Герой наш очутился на свободе и вздохнул во всю ширину груди. В то же время к ногам его вылетели шляпа и кашне, — несчастный кашне, послуживший поводом к такому ужасному происшествию!

«Ну, поделом! поделом! — была первая мысль Хлыщова, когда он несколько одумался. — Нужно было соваться самому в беду и в такое время!» Второю его мыслию было, что он так не оставит дела, что г-да Дирлинг и К° дешево с ним не разделаются, что он даст им себя знать...

Опрометью побежал он домой, горя нетерпением смыть отвратительную жидкость, уже начинавшую щипать его лицо, — и благодарил бога, что кругом темнота, народу нет вовсе, и встретить знакомого не предстоит никакой вероятности.

Когда он подошел к своей двери и постучался, одна мысль смутила его. «Что подумает Мартын! пожалуй еще смеяться станет...» И в голове его составилась план...

Но дверь не отворилась. В нетерпении он стал стучать сильнее. Тогда, наконец, внутри комнаты послышалось шарканье спички.

— Не надо огня! — кричал Хлыщов, — отпирай так!

Но прошло минуты две, дверь не отворилась.

— Ну же!

Шорох продолжался, но дверь не отпиралась; казалось, как будто Мартын ощупью старался попасть к двери, но не успевал в своих усилиях; тогда Хлыщов начал подавать ему голос.

— Сюда! сюда! — кричал он. — Ну, сюда!

Но и после таких мер Мартын нескоро нашел и отпер дверь. Явление чисто физиологическое, требующее объяснения.

VIII

Когда колеса машины в полном ходу, рассказ кипит и читатель нетерпеливо желает знать, чем кончится дело, или, вернее, пустяки, которыми потчует его автор, — полезно прерывать действие и уклоняться в сторону. Следовательно, теперь или уж никогда должны мы посвятить несколько строк Мартыну.

Известно, что ничего нет скучнее жизни человека, состоящего в услужении у одиокого холостяка. Барин целый день рыскает бог знает где или скрипит в своем кабинете с утра до вечера пером по бумаге, а человек сидит! Сидит один, без компании, без дела, без всякого развлечения! Мы разумеем человека благонаправного, каким был Мартын. Постоянное одиночество сделало его решительным эксцентриком; многие вещи отражались в его голове совсем иначе, чем обыкновенно у людей; мрачность, меланхолия, склонность к размышлению, дух пытливости и анализа преобладали в его характере. Отсюда тон его речи был дидактический, как у многих мыслящих людей. По целым дням иногда обсуживал он, почему зимой не бывает грома, а летом иногда грянет так, что окна дрожат, — почему птицы летают, а люди не летают; и на все таковые и подобные им вопросы понемногу составились у него ответы.

Он говор древесных листов понимал
И чувствовал трав прозябанье

Разумеется, по-своему. Но как человеческая голова не всегда способна к самостоятельной работе, то Мартын иногда прибегал к чтению, заимствуя книги у барина. Чтение дало прочное основание его собственным выводам и обогатило его разговорный, а особенно письменный язык. Но как книг у Хлыщова было немного: *всею одну книжка в месяц*, как выражался Мартын (герой наш подписывался на «Библиотеку для чтения»), то остальную часть времени нужно было наполнять иначе. Мартын наполнял ее сном. Так как ему приходилось иногда проводить во сне по двадцать три часа в сутки (часов пятнадцать в ожидании барина, да часов восемь при барине, который часто уходил с утра, а возвращался ночью), то и понятно, что

он скоро в совершенстве овладел искусством спать. Сначала он спал сидя или стоя, с поникшей головой, которая покачивалась, как маятник, — потом спал, положив голову на стол, потом не раздеваясь ложился в свою постель и, наконец, когда приходил барин, спал в той же постели, раздевшись. Впоследствии четырех способов спанья показалось ему мало, и он присоединил к ним пятый, весьма оригинальный. Раз Хлыщов, воротившись домой, к удивлению своему, застал дверь своей квартиры незапертою; он вошел — в прихожей никого; пошел дальше — и в гостиной, где стояло большое вольтеровское кресло с полочками по бокам, увидел следующее: полочки были подняты и на каждой из них стояло по горшку цветов, а в креслах, обняв руками горшки, спал его верный Мартын!

Постепенно Мартын усовершенствовал способность свою до того, что мог исполнять свои обязанности не просыпаясь, но только не всегда с должной точностью. Так однажды, в другой раз, воротившись поздно домой, Хлыщов увидел, что бумаги и книги с письменного стола преаккуратно были уложены на постель его, а на письменном столе положены были простыня, подушка и одеяло — обстоятельство, чрезвычайно удивившее и рассердившее Хлыщова. Понемногу Мартын стал засыпаться до того, что терял всякое сознание о месте, о времени, о вещах. Так однажды, желая достать огня, он целый час шаркал об печку железным гвоздем, вместо спички, пока, наконец, рассерженный Хлыщов не выбежал и не образумил его. Теперь понятно, почему Хлыщов, желая попасть в свою квартиру, в некоторых случаях должен был подавать Мартыну голос, — и рассказ может продолжаться.

— Сюда, сюда! — кричал Хлыщов, нетерпеливо стуча. — Видно, опять спячка нашла!

Когда дверь отворилась, первым делом Хлыщова было задуть страшно нагоревшую и оплывшую свечу, бывшую в руках Мартына. Верная собака, узнав голос своего хозяина, с лаской кинулась ему встречу, но он гневно оттолкнул ее — в первый раз в жизни — и быстро пробежал в самую крайнюю из трех своих комнат.

— Мартын! — подай мне огня и воды! воды умываться! — кричал Хлыщов, затворяя дверь. — Не лезь сюда! — прибавил он, когда Мартын подошел к двери с зажженной свечой. — Подавай!

Он приотворил дверь, просунул руку (покрытую перчаткой) и, отвернувшись, принял свечку. Когда таким же образом был ему передан кувшин с водой, он запер дверь на ключ, взял свечку и подошел к небольшому зеркалу, висевшему в простенке. Большое зеркало находилось в соседней комнате, но он не смел туда показаться.

Удовлетворив естественному желанию увидеть, как и чем выпачкали его мрачные гиганты, герой наш горько и язвительно усмехнулся.

То была знаменитая новоизобретенная темнозеленая краска, которою так славилось красильное заведение г-д Дирлинг и К°! та самая краска, с которою у Хлыщова связано было столько блестящих и нежных надежд, та самая, превосходными качествами которой и теперь представлял полную возможность любоваться перекрашенный шарф, облекавший шею нашего героя!

Сдернув с шеи и отбросив с негодованием темнозеленый шарф, в одну минуту ставший ему ненавистным, Хлыщов еще раз посмотрелся.

— Фу, как неблагоприятно! — невольно проговорил он и стал поспешно мыть руки, которые были так же зелены, как и шарф, как и фуляр, как и пальто Мартына, как и все почти их вещи, как и самое лицо Хлыщова...

Но краска не сходит с рук. Хлыщов попробовал мыть лицо — не сходит с лица! С новым жаром принимается он мыть лицо и руки, требует еще воды, пробует то одно, то другое мыло, превосходные качества которых ему хорошо известны, — смотрится в зеркало...

— Нет, краска не сошла!

Он снова моет, снова трет лицо мылом так, что больно и рукам и лицу, пробует тереть духами, одеколоном, даже черным зубным порошком... смотрится в зеркало...

Лицо все так же зелено, — зелено, как все остальное, к чему прикасалось превосходное изобретение господ Дирлинг и К°. Только мыло придало ему глянцевитость, лоск, которого не имели в такой степени ни шарф, ни фуляр, ни пальто, ни другие вещи, подвергшиеся перекраске!

Он вспомнил зеленые бронзовые головы, привлекавшие некогда толпу зрителей, а в том числе и его, к фокуснику Родольфу и говорившие, по требованию посетителей, сильным, таинственным шопотом, — вспомнил и снова горько, горько усмехнулся.

В самом деле, сходство его собственной головы с выше-реченными (которые назывались, кажется, мнемоническими) было изумительно. Только белизна ушей и местами полоски настоящей кожи, пощажённые гибельною кистью, нарушали гармонию целого, которому ничего подобного не видано ещё было в природе!

Долго ещё пытался Хлыщов смыть ненавистную краску, но превосходное изобретение господ Дирлинг и К° так плотно впилося ему в кожу, что и признаков успеха не было!

— Мартын! мне ничего не нужно. Можешь ложиться спать, а сюда не ходи! — крикнул он, наконец, и лег, в совершенном изнеможении.

Как провел он ночь, какие опасения, какие упреки совести мучили его в течение долгих бессонных часов, как чистил он самого себя — не будем описывать. В то же время, когда он возился с водой и с мылом, пытливый Мартын находился в свою очередь в страшной тревоге. Надо заметить, что только третьего дня у соседа их, приезжего купца, случилась покража — обстоятельство, задавшее в свое время воображению Мартына немалую работу. С того дня мысль о возможности подобного несчастья не покидала его. И вот теперь вдруг приходит барин не барин, — требует огня, запирается в комнате, не пускает его к себе, не показывает, толкает собаку... Уж нет ли тут чего? Уж барин ли, полно, там? Конечно, голос его, но голоса бывают всякие... Что, если злодей какой? если вор? Выспавшись в течение дня и вечера напропалую, Мартын не мог заснуть, перевертывая в уме страшную мысль. Усиливаясь решить трудный вопрос, он обращался с ним, по своему обыкновению, даже к Прометею; но и тот, оскорбленный неучтивым поступком своего господина, был угрюмее обыкновенного и хранил величавую неподвижность. Несколько раз Мартын уже покушался пойти посмотреть, но решительное приказание барина останавливало его... Положение его было ужасно! В промежутках легкого сна ему уже чудилось, что их обокрали, утащили все господское платье, утащили и его превосходную зеленую пару, которая была совсем, как новая, и которою рассчитывал он сильно блеснуть в Петербурге. Последнее обстоятельство его страшно озабочивало, и он только тогда успокоился, когда посмотрел, пересчитал и перепрятал свои зеленые пожитки. Посреди самых мучительных и

жарких опасений послышался ему громкий голос Хлыщова:

— Мартын! поди, найми мне карету!

Он открыл глаза. Был уже день.

«Нет, его, точно его голос!» — подумал он и, прокричав: — Сейчас! — пошел тихонько в комнаты.

— Не ходи сюда, не ходи! — закричал Хлыщов. — Ступай скорей за каретой!

— Куда прикажете нанимать?

— В баню ряди.

— Извольте запереть дверь, — проговорил Мартын, твердо уверенный, что теперь, наконец, уже Хлыщов выйдет и покажется.

— Хорошо, я запру! ты ступай и скажи, как пойдешь!

— Иду-с! — прокричал, одевшись, Мартын и приостановился.

Хлыщов подождал минуту.

— Ушел? — спросил он, подходя к своей двери.

— Иду! — отвечал, испугавшись, Мартын и поспешно вышел.

Вышел, наконец, и Хлыщов. Утро было ясное, солнце светило прямо в окна, и зеленое лицо нашего героя лоснилось и блестело под его лучами, как листья исполинского дерева.

Когда он отворил дверь в прихожую, торопясь поскорей запереться, чтоб кто не вошел, — собака радостно кинулась к нему; но вдруг она отскочила, окинула его свирепым взглядом, заурчала и, наконец, принялась лаять самым громким отрывистым басом, зверски оскаливая свои большие белые клыки.

Невыносимое уныние овладело нашим героем.

— Прометей, Прометей! Прометеюшка! — говорил Хлыщов самым ласковым голосом. — Перестань... Развз ты меня не узнал?

— Гам, гам, гам! — прыгая и ошетиливаясь, отвечала собака, и лай ее был такого свойства, что герою нашему ясно слышалось в нем:

— Не узнал, не узнал, не узнал, — да и знать не хочу!

«Даже и она не узнает», — тоскливо подумал несчастный.

Собака продолжала лаять, и попытки его усмирить ее оставались напрасными. Бешенство, наконец, овладело

им. Он прибил глупое животное, подошел к двери, повернул ключи и скорым шагом ушел в кабинет, предупреждая движение собаки, которая с громким лаем покушалась пробраться за ним.

Долго еще лаяла собака, пока Хлыщов рассматривал свое лицо в большое зеркало. Ничего нового не увидел он: оно было зелено, зелено так же, как вчера, еще, может быть, зеленее, и солнечные лучи, сообщавшие ему неприятный лоск, страшно бесили нашего несчастного героя...

Послышался стук в дверь... Хлыщов переменялся в лице... Нет, подобного события, слишком желанного, не могло быть... Хлыщов просто испугался. Тут только увидел он, что сделал глупость, не приказав самому человеку запереть дверь и взять ключ.

«Вот теперь увидит!.. — подумал он с ужасом, — развесив уши, станет тоже смеяться, пожалуй... разболтает... да еще если не он, а кто-нибудь другой?..»

И дрожь пробежала по его телу. Он не сообразил, что было еще слишком рано, чтоб мог притти посторонний.

— Мартын, ты? — спросил он нетвердым голосом.

— Я-с, извольте отпереть.

«Ну, все равно, надо же будет...» — подумал Хлыщов и отправился в прихожую.

Собака опять залаяла. Хлыщов опять толкнул ее. Когда он отпер дверь и Мартын (одетый весь в зеленое) увидел его, трудно сказать, какое чувство сильнее овладело Мартыном: испуг ли, радость, недоумение? Верней, что все они охватили его в равной степени и выразились, наконец, в самом глупом, неопределенном хохоте, как основательно и предвидел Хлыщов, знавший хорошо натуру своего камердинера.

— Ну, чего смеешься! — сердито сказал Хлыщов. — Разве не случалось видеть? Ну, шел мимо... плеснули... вдруг... нечаянно... прямо в лицо... плеснули... Вот! — заключил он, возвышая голос. — Ты смотри, не болтай; если я узнаю, что ты хоть пикнешь...

— Как можно! — перебил Мартын. — Да вы бы, сударь, вымылись.

— Ну, вот и еду мыться. Смотри же, ни слова. Если кто придет, говори: дома нет. А если Степан Матвейч, скажи, не извольте, дескать, беспокоиться: сами обещали быть.

— Слушаю-с.

Одевшись и спрятав все лицо шинелью и шапкой, Хлыщов сел в карету и отправился в баню.

IX

Описывать ли подробно дальнейшие попытки Хлыщова, увы! так же неудачные, как и первая! Взяв особую комнату, он, разумеется, употреблял все усилия возвратить своему лицу настоящий цвет: мыл его и кипятком и холодной водой, тер и простым и греческим мылом, даже пробовал парить веником, раскалив каменку так, что в номере его трудно было дышать. Видя бесполезность своих усилий, он, наконец, решился прибегнуть к банщику, надеясь, что постоянные упражнения внушат ему какие-нибудь новые и лучшие средства. И здесь первым делом нового лица, увидевшего *зеленого человека*, было, разумеется, расхохотаться глупейшим образом, к крайнему неудовольствию Хлыщова; потом пошли глупые и докучные расспросы. Потом бледный и даже (к удовольствию Хлыщова) зеленоватый малый рассказал ему несколько глупых чисто банных анекдотов о том, как у них отмывали раз двух черномазых, должно быть, арапов, а другой раз африканца, и в заключение объявил, что смыть краску совершенно пустое, минутное дело. Обрадованный Хлыщов предался ему с полным доверием. Малый принес разной смеси, тер, мазал, пачкал, даже скоблил ножом его лицо и, наконец, исцарапав, объявил, что ничего сделать не может, что цвет Хлыщова, должно быть, природный, как у тех арапов, которыми их в прошлом году надули, поручивши отмыть.

— А вот, — прибавил он, — есть у нас... ходит часто сюда один персиянин, он все разными составами торгует, усы ли, бороду, волосы окрасить, — вот он так выведет непременно!

Несчастный хватается и за соломинку. Хлыщов велел привести и персиянина; тот тоже долго возился с его лицом, много пачкал, много тер, а окончилось все-таки тем, что с Хлыщова взяли препорядочный куш совершенно даром: он возвратился домой таким же зеленым человеком, каким поехал!

Тогда овладело им совершенное отчаяние. Уткнув зеленое лицо в подушку, лежал он как мертвый, не шевелясь и не издавая звука. Что ему было делать? Безобразие угрожало остаться надолго. Блестящая партия гибнет. Послезавтра — свадьба, а он... с какими глазами, с каким лицом покажется он к своей невесте? Нет, нет, она не увидит его таким... и никто не увидит!

И несчастный снова подтверждает Мартыну приказание никого не принимать.

«Ведь бывают же такие оказии! — думает он. — И надо же, чтоб попалась именно такая проклятая краска! Сколько раз случалось, — купишь вещь — в день, в два полиняет... а тут как нарочно: честность одолела!»

Он вспомнил красноречивое объявление г-д Дирлинг и К°, вспомнил зловещие слова красильщицы, наивно предлагавшей ему «попробовать» зеленую краску, и новый ужас охватил его, новые проклятия закипели в груди.

«Неужели она точно никогда не линяет?» — мучительно думал он, припоминая слова рокового объявления.

Весь день Мартын ходил около него на цыпочках; предлагал покушать, докладывал, что присылали от Раструбиных, докладывал, что приходил сам Степан Матвеич, — Хлыщов не сказал ни слова! Жаль его было Мартыну: в мудрой голове своей переворачивал он разные способы, как поправить дело, даже был у него один способ верный, самый верный, но только он не смел сообщить его Хлыщову. Наконец сожаление взяло верх над страхом. Поставив, по приказанию барина, перед его кроватью стакан воды, он долго переминался с ноги на ногу и, наконец, сказал:

— Ах, сударь, как посмотрю я на вас... Вот вы изволили лежать, а проклятая все больше и больше впивается в кожу... после ее ничем не выскребешь...

— Ну, не твое дело! — сердито пробормотал Хлыщов.

— Сам знаю, что не мое, — отвечал Мартын. — Да ведь как подумаю, так просто плакать хочется. Вы попробуйте...

— Да уж пробовал, все пробовал, — перебил Хлыщов, тронутый участием камердинера и чувствуя, наконец, потребность вылить перед кем-нибудь свое горе, так долго сдерживаемое. — Уж каких средств не употреблял: нет толку, только еще хуже...

— А вот я так знаю средство, — сказал Мартын.

— Как, ты знаешь средство? — воскликнул с живостью Хлыщов и вскочил, причем Мартын вторично увидел его зеленое, исцарапанное лицо. — И чего ты нарядился весь в зеленое! — прибавил сердито Хлыщов, осматривая его с отвращением, — разве не можешь другого платья надеть?

«Сам одел, а теперь сердится!» — подумал Мартын, пожимая плечами. — Да не могу-с: кроме старого сертука, все перебрали...

— Ну, ну, пошел рассказывать, — перебил Хлыщов, — заговорил про средство, так про средство и говори; какое же средство?

— Вот видите, сударь.. только вы не извольте сердиться... давеча в лавочке... так зашел разговор...

— Как? ты уж разболтал в лавочке?

— Как можно! я — ни-ни! А была тут старуха одна, старая-престарая. Вот про нее все говорят, что она все недуги, и заговоры, и порчу какую угодно выводит. Так и зовут ее — знахаркой.

Порасспросив еще, Хлыщов дал Мартыну позволение привести знахарку. Обрадованный Мартын духом доставил ее.

— С нами крестная сила! — проговорила протяжно костлявая беззубая старуха, увидав лицо Хлыщова, — сроду такого наваждения не привидывала. Испортили голубчика, сейчас вижу, злые люди испортили...

— Выведешь?

— Выведу, батюшка, выведу. Отчего не вывести? Только ты вот вели чашечку масла деревянного, да ложечку меду, да четверть фунта ладону росного...

Накупили разных снадобий, по требованию старухи, и она приступила к делу. Но роковая краска, к чести превосходного заведения гг. Дирлинг и К^о, устояла даже против усилий знахарки!

После долгих пачканий, нашептываний и заговоров старуха, наконец, покачала задумчиво головой и сказала:

— Ни-ни, ничто не берет! Видно, уж подождать придется голубчику моему. Оно сойдет, само собой сойдет... Ты вот только потерпи: уж и недолго.. дело к зиме... ох, к зиме идет! Знаешь, как первый снежок выпадет, ты пер-

вым-то снежком возьми да и умойся: оно сейчас как рукой снимет!

Измученный и взбешенный Хлыщов приказал выгнать глупую старуху, разбил Мартына и снова упал в подушки своим несчастным зеленым лицом, вытерпевшим в короткое время столько страшных пыток.

Опять тихо и медленно потянулось время. Хлыщов молчал, даже не шевелился, выпуская только по временам глубокие вздохи. Он все думал, что ему делать, как ему быть, и наконец решил, что всего лучше написать письмо к Раструбину и просить отсрочки. Но под каким предлогом? Содержание письма составляло предмет постоянных размышлений его в течение целой ночи. К утру оно было написано и сдано Мартыну с приказанием тотчас отнести. Затем Хлыщов заснул и проспал до двенадцати часов.

— Мартын! принеси мне чего-нибудь есть! — были первые слова его при пробуждении.

Он страшно проголодался.

— Чего прикажете?

— Бифштексу. А дверь запри и ключ возьми с собой.

Тотчас, как ушел Мартын, в дверь стали сильно стучаться. Хлыщов притаился и лежал, ни жив, ни мертв; стук продолжался все громче и настойчивее. Предчувствие не обмануло его: в двери ломился Раструбин.

«Ну, быть беде!» — подумал Хлыщов.

И действительно, Раструбин поймал Мартына у двери, уличил, по бифштексу, что барин дома, и ворвался в прихожую.

— Леонард Лукич! Леонард Лукич! — кричал старик, входя в комнату, где находился Хлыщов. — Скажите, что с вами случилось? Шутите вы?

Хлыщов лежал, спрятав голову в подушку, и молчал.

— Или недовольны вы чем? — продолжал старик, усаживаясь подле него; — скажите откровенно... вы нас перепугали!

Хлыщов молчал.

— Ну, так — недоволен! Да чем же, ради бога, чем?

— Ох, нет, — глухо простонал Хлыщов, — как можно! Я столько обязан.

— Так что же? Отчего вы вдруг не хотите жениться?

— Не могу... покуда не могу.

— Да почему же?

— Отложите, Степан Матвееч, отложите только. Я болен.

— Болен? Ну, уж нет, плохо верится: а бифштекс?.. Ха, ха, ха! Полно шутить, почтеннейший!

— Я не шучу...

— Ну, а если нездоровится — так что ж — пивочек! Да что с вами? Что вы лежите и лица не кажете? Хлыщов молчал.

— Послушайте, — сказал старик, начиная терять терпение; — так не шутят... вы присватались к благородной девушке... дочери благородных родителей... получили согласие, назначена свадьба, родные повешены... и вдруг вы... знаете ли, что так благородные люди не делают, что так шутить честью девицы нельзя, что у ней есть защитники...

Старик горячился, Хлыщов молчал, не оборачиваясь и даже не шевелясь, и только испуская по временам глубокие вздохи.

— Что теперь будут говорить в городе? Ведь уж все знают, что вы жених, завтра назначена свадьба. Что ж вы молчите... Нет, молчаньем не отделаетесь!

— Не могу, — простонал Хлыщов.

Долго еще горячился старик, упрекал, грозил. Наконец слезы прошибли его; он переменял тон, стал просить, заклинять именем своих седин, честью дочери...

— И какая причина могла вас понудить переменить намерение? — со слезами говорил он. — Приданого, что ли, мало кажется? Ведь я только шутил, я шутил, Леонард Лукич: ведь дам ей не двести ассигнациями, а шестьдесят пять тысяч серебром. И кроме того ей же и дом в Мясницкой... я вам готовил сюрприз...

Хлыщов испустил глубокий, раздирающий стон.

— Что ж, женитесь?

— Не могу.

— Не могу! не могу! Да почему же не можете? Подумайте, что с ней будет... Я колени перед вами готсв поклонить.

Старик рыдал и несвязными, прерывистыми словами продолжал умолять. Хлыщов не мог выносить долее.

— Да как же я могу, посудите сами, жениться на вашей дочери? — воскликнул он вдруг, вскочив совершенно не-

ожиданно и показывая ему свое зеленое, лоснящееся, исцарапанное лицо.

Старик остолбенел. Превосходное изобретение гг. Дирлинг и К°, при всех своих несомненных достоинствах, конечно, никогда не производило такого страшного, убийственного эффекта, как в настоящую минуту!

Когда Хлыщов описал старику свое несчастье, сказав, разумеется, что попался совершенно невинно и нечаянно, вместо ускользнувшего приятеля, которому — что делать, оплошность! — помогал в интрижке с красильщицей, старик кинулся обнимать его.

— Так только-то? — воскликнул он радостно, — так вы на нас не сердитесь? и приданым довольны?

— Я никогда не смел и мечтать о другом счастье, как соединиться узами родства с таким достойным, благородным семейством.

— Ну так и горевать нечего, — заключил старик, — краску смыть, и конец!

— Я уж пробовал, — мрачно сказал Хлыщов, и рассказал ему свои бесполезные попытки.

— Ничего, другое средство найдем! Вы говорите, краска новая, недавно изобретенная?

— Да.

— Ну, так они должны знать и противодействие!

— В самом деле! — радостно воскликнул Хлыщов, — я и не подумал!

— Мы их заставим. Я, слава богу, не первый год в Москве живу, имею связи. Мы заставим их, — заставим, да еще и проучим! не следует так оставлять.

— Зачем прибегать к таким мерам, — заметил Хлыщов, опасаясь, чтоб проделки его не вышли наружу, — дело пойдет в огласку все-таки нехорошо, а лучше их припугнуть...

— И то правда, — сказал старик, — оно все-таки нехорошо, когда разнесется. Нечего терять времени! Ждите, а я сейчас приведу красильщика. Дирлинг, вы говорили?

— Дирлинг.

— Да и пиявочек захвачу. Все-таки не худо. Они оттянут.

— Ну уж пиявки вряд ли помогут.

— Так, так! Вечно против пиявок! Ну, до свидания.

Старик ушел, а повеселевший Хлыщов позвал собаку и старался ее приучить к новому цвету своего лица. В полчаса удалось ему, с помощью остатков бифштекса и хлеба, дойти до того, что она уже не лаяла, а только урчала и скалилась, нечаянно заглядывая в лицо зеленого своего господина.

Х

Представитель знаменитой фирмы Дирлинг и К^о, находившийся налицо в Москве и носивший к фамилии своей прибавление: младший, — был сухой, высокий, угрюмый немец, много красивший ежедневно разных вещей, а носивший постоянно одну и ту же серую куртку с кожаным передником — в будни, и серый длинный сюртук — по праздникам. Отличительной чертой его характера была мрачная, сосредоточенная молчаливость, легко объясняемая удушливым воздухом мастерской, который достаточно было вдыхать в легкие и одним носом. Еще отличался он необыкновенной пунктуальностью во всех действиях. Слишком уже двадцать пять лет пил он водку ровно в девять часов, курил трубку в десять, в три и в одиннадцать, спать ложился в двенадцать. И ни разу еще не случилось, чтоб вошел он в свою мастерскую позднее осьми утра и оставил ее ранее двенадцати часов вечера, не будь даже вовсе работы. Потому Раструбину чрезвычайного труда, многих угроз и просьб стоило уговорить его отправиться с ним немедленно к Хлыщову.

Нет в мире художника, способного видеть равнодушно плод своей производительности. Следовательно, несколько не удивительно, что первым чувством господина Дирлинга младшего, когда зеленый наш герой явился ему во всем своем блеске, было удовольствие, ясно выразившееся в угрюмом его лице. Много представлялось ему случаев видеть утешительные доказательства превосходных свойств своего изобретения, которому не знал он равного в истории человеческих открытий, но такого резкого и оригинального примера еще не встречалось! Немец решительный был умилен.

— Как ловко забрал! — проговорил он, медленно-медленно осматривая лицо Хлыщова, — вы, должно быть, много натирал и скоблил, — прибавил он, недовольный

некоторыми неровностями в цвете, которых, по его соображению, не следовало ожидать при правильной просушке окрашенного предмета.

— Уж и мыл, и тер, и скоблил, так что измучился! — отвечал Хлыщов. — А все ничего не мог сделать. Вот как вы...

Немец самодовольно улыбнулся.

— Что ж, почтеннейший, видите, ваша помощь необходима, — сказал старик. — Сами настряпали, так теперь и расхлебывайте!

— Можете вы помочь? — тихо, с сильным биением сердца спросил Хлыщов.

Немец смотрел, смотрел, думал и наконец отвечал медленно и решительно:

— Никто не можно.

Хлыщов в отчаянии схватился за голову своими зелеными руками.

— Как нет? — запальчиво воскликнул старик. — Отчего нет? Нет, уж извините — вы не отделаетесь, краска ваше изобретение, и вы должны знать...

— Не горячитесь, — спокойно и мрачно отвечал г. Дирлинг младший. — Краску изобрел не я, а мой брат, Франц Георг Дирлинг старший. Чтоб вывести ее, надо составные части знать, а секрет у него: он поехал в Париж просить привилегию... Вернется будущей весной, тогда...

— Будущей весной!!!

Хлыщов вскрикнул, пораженный ужасом. Старик тоже, казалось, потерялся и отчаянно понурил голову. Минута была страшная, и собака, допущенная уже в комнату, довершила мрачный эффект. Напрасно думал Хлыщов, что она уже привыкла к нему. Точно, она старалась выдерживаться и лежала сначала смиренно; но, всматриваясь с постоянным напряжением в его лицо, она понемногу начала щетиниться, вздрагивала, скалила зубы, наконец задрожала... и вдруг разразилась свирепейшим лаем, кинувшись с оскаленными зубами к своему несчастному хозяину!

— Уведи ее прочь, Мартын!.. Мартын! — кричал Хлыщов, зажимая уши.

Много угроз наговорил немцу Раструбин, убеждая его не упрямиться; но немец клялся, что ничего не может сде-

лать. Видя, что угрозами его не проймешь, старик стал упрашивать, рассказал ему обстоятельства, при которых совершилось несчастное событие, унизился даже до лести, назвав заведение братьев Дирлинг и К° лучшим в Москве и похвалив в особенности их зеленое изобретение. Немец, очевидно, был тронут; чувство проглянуло в его угрюмом, неподвижном лице; но ответ его был все тот же:

— Не могу, подождите брата.

— А не поставит ли ему пивок? — спросил вдруг старик, как будто озаренный светлой мыслью.

Немец подумал.

— Ах! Степан Матвееч, вы все с пивками!

— Нет, пивка не поможет.

— Ну так что же? Что же? — тоскливо приставал к г-ну Дирлингу старик.

— Пожалуй... если уж хотите, — сказал немец, видимо искавший в голове своей способ помочь горю. — Пожалуй, попробовать...

— Что? — кидаясь к нему, спросил Хлыщов.

— Мое думанье, — нерешительно проговорил немец, взвешивая каждое слово, — мое думанье: пробуем пере-красить!

Старик взбесился.

— Что? пере-красить! Моего зятя пере-красить! — Вы еще вздумали шутить?

— Я не шучу! — сердито отвечал немец; — а по вашей же просьбе предлагаю, как возможно! А не хотите, так мой почтенье!

И он хотел уйти и отворил уже дверь. Собака осторожно проскользнула в нее и тихо легла на полу. Хлыщов остановил немца.

— А в какой цвет? — спросил он тихо и кротко.

Дирлинг младший подумал.

— В голубой можно.

— В голубой!

Хлыщов ударил своей зеленой рукой по зеленому лбу, при чем собаку видимо начала преследовать новая охота полаять. — В голубой! Хороша перемена!

— В голубой?! — кричал старик.

— А не хотите в голубой, — отвечал немец, — так можно...

— Что?

— Можно оставить тот же цвет, только поразвести, сделать так — муаре...

— Муаре!

Хлыщов вновь наградил себя ударом по зеленому лбу. Собака, подмечавшая каждое его движение, не выдержала и подняла лай.

— Муаре! Муаре! — с отчаянием и негодованием повторял старик. — Муж моей дочери — муаре! прекрасно, благодарю... Нет, уж такие шутки...

— Я говорил вам, что я не шучу, — грубо возразил немец. — Нечего больше говорить, — продолжал он уходя, и прибавил шопотом: «Пустой люд!»

Никто его не удерживал: старик в горячности ничего не видел, а Хлыщов справлялся с собакой, которая так рассвирепела, что чуть не искусала его. Немец так и ушел.

— Знаете что, Степан Матвеевич? — сказал Хлыщов, когда старик несколько успокоился. — Он говорил, что не знает составных частей, да ведь на то есть химики... а, как думаете? ведь они должны знать...

Старик одобрил его мысль, объявил, что у него есть даже знакомый знаменитый химик, и через час привез его. Визит химика был короток и также неутешителен. Осмотрев зеленого человека и отдав полную справедливость превосходным свойствам изобретения г-д Дирлинг и К°, он объявил, что состав краски новый, никому, кроме изобретателей, неизвестный, и потому сделать ничего невозможно, а лучше предоставить дело благодетельному действию времени.

Но к нему приставали: нельзя ли как-нибудь? чем-нибудь? сколько-нибудь? и тогда он сказал:

— Пожалуй, есть одно средство: можно попробовать. Но рыск, большой рыск... не советую! нельзя ручаться — глаза могут лопнуть.

С последним словом он ушел, оставив слушателей своих в глубоком ужасе.

Так кончились многочисленные попытки нашего героя уничтожить следы новоизобретенной привилегированной краски братьев Дирлинг и К°, не линяющей ни от воды, ни от солнца и сохранявшей навсегда свой первоначальный, густо-зеленый цвет с бронзовым отливом.

XI

Какого бы рода впечатление ни производили странные и горестные приключения зеленого человека, читатель не может не сознаться, что автор поступал с ним (разумей читателя, а не зеленого человека) великодушно. Многое, многое принесено в жертву краткости. Вовсе не развито внутреннее состояние героя со времени знаменитой окраски, бледно очерчен г-н Раструбин, еще бледнее г-н Дирлинг младший, вовсе не очерчен характер химика, даже не приведено письмо героя к Раструбину... сколько поводов к упрекам со стороны строгого ценителя, сколько поводов к признательности со стороны простого читателя, любящего шутку, не переходящую известной границы! А как в виду в настоящем случае имеется читатель, а не строгий ценитель, именуемый критиком, то автор решается быть до конца великодушным, почему и сожмет еще более последнюю главу своего рассказа.

Странные бывают истории, чрезвычайно странные и поразительные, но, к сожалению, разрешаются они всегда так, что рассказчику их под конец становится неловко, даже совестно. С горестию должны мы признаться, что дальнейшее развитие истории зеленого человека не представляет ничего особенного. Хлыщов, убитый окончательно последними попытками, преследуемый судьбой, обстоятельствами, угрызениями совести и даже собственной своей собакой, впал в отчаяние, близкое к помешательству. Раструбин еще крепился, но безнадежность прокрадывалась уже и в его сердце, к которому, думал он, смущенный его сильным биением, не минешь, никак не минешь приставить пиявок.

Единственной помехой к немедленному кровопусканию явилась новая, неожиданная надежда, вспыхнувшая в груди доброго старика. Ему казалось совершенно неправдоподобным, неестественным, чтоб злодей Дирлинг младший не знал составных частей краски и не мог уничтожить ее. И он снова отправился к Дирлингу.

Он застал его перед целым котлом той самой жидкости, которая угрожала расстроить счастье его дочери. Г-н Дирлинг, покуривая коротенькую трубочку, систематически опускал в котел распоротые салоны, платья, шали, курточки и многое другое суконное, шерстяное, шелковое, желтое, красное, полосатое...

«И есть же дураки, которые позволяют пачкать свои вещи таким составом!» — думал Раструбин, глубоко ненавидевший уже зеленую краску. — Г-н Дирлинг! Я должен поговорить с вами без свидетелей!

Немец увел его в верхние комнаты. Там Раструбин объявил ему решительно, что будет жаловаться, поднимет процесс, если красильщик немедленно не поправит своего злодейского дела. Чтобы доказать законность своего вмешательства, он подробно раскрыл ему свои отношения к Хлыщову и объявил, что защищает в нем будущего своего зятя.

— Какой он вам зять! — с гневом воскликнул г. Дирлинг младший, выслушав терпеливо его длинную речь. — Он низкий человек!

— Как, что такое? Вы смеете!..

— Да, низкий! Какой же другой станет чужую жену соблазнять, когда через день хотел итти под венец! Чего вам хлопотать...

— Да разве он?..

— А вы не знаете?

И г. Дирлинг младший обстоятельно рассказал старику настоящую историю несчастного волокитства. В свидетели он представил даже свою жену, которая подробно и верно описала Хлыщова, по желанию старика, а в заключение принесла брошку, которую герой наш подарил ей, о чем мы забыли упомянуть.

— Я не хотела брать, а он оставил и ушел. Возьмите ее, мне не нужно!

Увидав брошку, старик не сомневался более. Он вспомнил, что дочери его хотелось иметь именно такую брошку и что герой наш вызвался купить ее. (Брошка изображала жука с золотыми точками и лапочками.) И догадка старика была справедлива: действительно, Хлыщов купил и нес брошку невесте, но, завернув к красильщице, не выдержал и навязал ей.

И вдруг вместо прежней ненависти старик почувствовал к превосходному изобретению г-д Дирлинг и К^о такое глубокое расположение, что готов был перекрасить в зеленый цвет все свое имущество!

— Слава богу, что я впору спохватился и не отдал дочери такому сорванцу! — воскликнул он, обнимая г-на Дирлинга младшего и сожалея, что не может предложить

своих объятий и г-ну Дирлингу старшему, настоящему виновнику краски. — Ну, почтеннейший, извините! Напрасно вас осуждал: славно, славно вы сделали! Да неужели в самом деле краска ваша такая, что ничем уничтожить нельзя?

— Такая, — отвечал коротко и гордо немец.

— Ха! ха! ха!

Старик хохотал самым веселым и добродушным образом.

— Поделом, поделом ему! Пусть его повозится, пока кожа слезет и новая нарастет... Ха! ха! ха!

Он ушел, довольный и немцем, и собой, и красильщицей, а всего более превосходной краской г-д Дирлинг и К°.

Но дома ждало его новое горе. Варюша, огорченная двухдневным отсутствием жениха, была грустна и желта, как воск. Когда отец объявил ей, что Хлыщов уже не жених ее, она упала в обморок. Напрасно потом старик обстоятельно рассказал ей низкий поступок Хлыщова, показал брошку, описал, даже преувеличил безобразие зеленого нашего героя: ветреная девушка, увлеченная рассказами о Петербурге, о блестящем родстве и знакомстве Хлыщова, об итальянской опере, ничего не хотела слышать и только кричала, что не пойдет ни за кого другого, что умрет, что не может жить без Хлыщова...

— Но ведь он уж теперь не такой, как был, — возражал старик, — совсем не такой: душа у него, как открылось, черная, а лицо... лицо зеленое, зеленое как арбуз... ха, ха, ха!

Варюша продолжала рыдать. Старик думал уж поставить ей пиявки; но вдруг ему пришло в голову другое лекарство.

— Хорошо же! — сказал он, — вот ты его увидишь, только уж смотри: понравится ли, нет ли — выходи! Я уж не посмотрю... ха, ха, ха!

Он ушел.

— Дома Леонард Лукич?

— Дома-с.

— Что делают?

— Да что-с? Изволют мыться. Мыло новое купили, с золой смешали.

— Ну, что ж?

— Да плохо-с.

Хлыщов сидел перед зеркалом. Зеленые щеки его были намылены. Он тер их щеточкой, какую чистят ногти. Против него стоял его дагерротипный портрет, снятый еще до рокового события. Несчастный по временам слышал — увы! разница была непомерная.

— Ну, любезный Леонард Лукич, — сказал Раструбин, входя к нему, самым дружелюбным голосом. — Свадьбу я отложил; насилу уговорил и уладил. Так теперь другая беда: дочь в отчаянии; непременно хочет вас видеть. Он видно, говорит, умер.

— Как же мне?.. Сами посудите.

— Ничего. Я уж немного их, знаете, приготовил. Надо, надо... поверьте, ничего.

— Но благоразумно ли будет, в таком...

— Что лицо! Сами знаете, когда искренно любишь... притом дело все-таки преходящее: ну, увидит так, увидит потом и иначе: вот каким молодцом!

Он щелкнул по дагерротипу.

— Увольте, Степан Матвеич, — сказал умоляющим голосом зеленый человек. — Уладьте как-нибудь.

— Невозможно, невозможно! пожалейте ее. Она вас так любит.

— Ну, пожалуй, — нерешительно сказал Хлыщов, тронутый последним замечанием. — Надобно же проститься. Только знаете, Степан Матвеич, нельзя ли так... в сумерки... и свеч не подавать.

— О, разумеется, разумеется! просто по-домашнему. Вот теперь семь часов. Я пойду домой, а вы оденьтесь, да так в восемь и приходите.

— И никого чтоб посторонних.

— Разумеется. Ну, прощайте.

— Только уж вы приготовьте, пожалуйста. Расскажите.

— Рассказал уж... да, расскажу непременно, непременно!

Старик ушел, а Хлыщов принялся одеваться. Двухчасовые приготовления с дороги, когда он готовился явиться к невесте в первый раз и мучительно заботился о ничтожном красном пятнышке на носу, ничто в сравнении с теми усилиями, какие употреблял он теперь, чтобы придать благовидность своей особе. Но трудно было достигнуть успеха. Во-первых, лицо, нечего уж и говорить! а

во-вторых, почти все платье его было перекрашено в зеленую окраску. Досадный зеленый цвет то и дело подвертывался.

— Ну вот! разве нет другого? — с негодованием воскликнул он, когда Мартын подsunул ему зеленый шарф. — Вечно глупости делаешь!

И невинный шарф полетел под стол.

Та же история повторилась с жилетом.

Повязав платок и выпустив полисоны, он посмотрелся в зеркало. Сочетание белого с зеленым сильно не понравилось ему, и в самом деле было нехорошо. Он спрятал воротнички — стало почти не лучше, но он оставил так.

— Ну, что? — спросил он, одевшись, наконец, совершенно, у Мартына. — Как: странно?

Он боялся употребить более точное выражение.

— Оно странно, точно странно! — отвечал Мартын. — Только ничего: цвет все же хороший!

— Хороший! — с горькой иронией повторил Хлыщов. — Ты, братец, правду говори: хуже такого цвета и не выдумаешь, так?

— Э, сударь! такие ли цвета прибирают в разных живописных обозрениях!

Посмотревшись еще раз, два и три в зеркало, выпустив снова и снова спрятав воротнички, обтянув зеленые руки перчатками (о! как ему хотелось сделать то же с лицом), Хлыщов сел в карету и поехал к Раструбиным.

«Просижу не больше пяти минут, а потом уж не покажусь, пока не сойдет», — думал он.

Увы! он не предчувствовал, что визит его будет последним!

Жестоко, бесчеловечно поступил с ним хитрый старик. Как только прозвенел колокольчик, тронутый дрожащей рукой зеленого человека, гостиная г. Раструбина осветилась двумя лампами и целой дюжиной свеч. Несчастный вошел — и ноги его подкосились; он хотел воротиться, но старик самым дружелюбным образом обхватил рукой его шею и повлек свою жертву к середине комнаты.

— А, почтеннейший, почтеннейший! — кричал он. — Насилу дождались... ну, спасибо!.. жена, дочь! вот вам лобезнейший наш Леонард Лукич. Как видите, и жив, и здоров, и красив. Ха, ха, ха!

И он подтащил его к дамам. Нечего и говорить, эффект был удивительный: превосходное изобретение гг. Дирлинг и К° и здесь, как всегда, с честью поддержало свою заслуженную славу, и даже, благодаря множеству свеч, блистательнее, чем когда-нибудь...

Поликсена Ираклиевна вскрикнула и совершенно безумными, дикими глазами впилась в зеленое лицо, искаженное признаками глубокого страдания. Варюша упала в обморок. Черненькие дети г. Раструбина прыгали вокруг Хлыщова с криками:

— Зеленый, зеленый, зеленый!

— Папенька!.. Степан Матвеевич!.. милостивый государь! что вы со мной сделали? — глухим, полным удушьющего страдания голосом произнес, наконец, Хлыщов, начиная догадываться о страшной истине.

— Ничего, ничего... ну, понятно, первое впечатление: ведь, почтеннейший мой, и вы, я думаю, в первый раз не без удивления увидели... ха, ха, ха!

— Я не о том говорю! — возразил обидчиво Хлыщов. — Кто не знает, что... что... несчастье, которое...

Он задыхался и не мог говорить.

— Сестрица, сестрица! посмотри: зеленый, какой зеленый! — кричали дети, тормоша сестру. — Ха, ха, ха!

Дети прыгали и хохотали.

Варюша взглянула: смех невинных малюток был заразителен — она тоже расхохоталась.

— Что, хорош твой жених, хорош? — воскликнул г. Раструбин. — Хочешь за него выйти? а? ха, ха, ха!

И он тоже расхохотался. Все хохотали. Соседние двери растворились. Появилось несколько лиц, более или менее знакомых Хлыщову. Хохот поднялся — *гомерический*.

— Пиявочек, пиявочек! — кричал старик. — Поверьте, самое лучше средство, почтеннейший. Оно и тем хорошо, что кровь поуспокоит — у вас она такая горячая. Ха, ха, ха!

— У нас в Персии, — говорила Поликсена Ираклиевна, сдерживая густой, певучий свой смех, — случается, красят волосы, красят и лицо, но цвет, цвет...

— Я никогда не думал, — заговорил ошеломленный Хлыщов, — чтоб несчастье достойно было такого... такого... (он не закончил своей мысли). Конечно, большое несчастье, но неужели... неужели одно лицо могло так

изменить дружеское расположение... приязнь даже, можно сказать. Сколько видим примеров в истории... сколько было даже великих людей с телесными недостатками... но не одна же наружность?.. Кажется, прежде всего душевные качества, душа...

— Душа? — подхватил старик, — ха, ха, ха! знаем мы, какая у вас душа! А красильщица?

— Варвара Степановна! — воскликнул несчастный. — Неужели и вы?.. неужели те чувства, которые, можно сказать, соединяли наши сердца...

Она ничего не отвечала, но, продолжая хохотать, принесла брошку с изображением известного жука, показала ее несчастному и бросила...

Он все понял и испустил странный, раздирающий крик... Ему стало вдруг душно, невыносимо душно. Он рванулся из объятий Раструбина, которого рука все еще покоилась на его плечах, и побежал к двери.

Его проводили громким, всеобщим хохотом...

XII

Так кончились приключения Хлыщова. Он воротился в Петербург, и первый человек, попавшийся ему тут, был г. Турманов, ехавший в великолепной коляске.

«Видно, выиграл! — подумал Хлыщов. — Так в жизни: один отыграется, а другой попадет в такой лабет, в такой лабет, что, просто, хоть пропадай...»

С месяц не мог он никуда показаться. Наконец в исходе сентября в первый раз радость посетила его: собака узнала его, — и надо было видеть, в каком восторге она была! Еще через месяц следы краски были уже едва заметны. Его начали узнавать и люди. Гуляя раз в отдаленной улице (в многолюдные он не смел еще показываться), он встретил шедших под руку г. Турманова и того приятеля, к которому писал из Москвы известное читателю письмо.

— А! Хлыщов! Хлыщов! — кричали они, — насилу воротился!.. ну, что, женат?

— Нет, — отвечал он сухо.

— А что же?

— Да так... невеста не понравилась...

ФЕЛЬЕТНЫ

(1844—1846)

ХРОНИКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ЖИТЕЛЯ

ПИСЬМО ПЕТЕРБУРГСКОГО ЖИТЕЛЯ В ПРОВИНЦИЮ
К ПРИЯТЕЛЮ

Прежде нужно рассказать историю письма. Я шел по Владимирской. Меня толкнул и обогнал человек в рыжей енотовой шубе, с лицом мрачным и озабоченным. Он бежал так скоро, что его можно было принять за должника, наострившего лыжи от мелькнувшего в стороне кредитора, и вздыхал и гневно бормотал невнятные речи. Шагах в двадцати от небольшого каменного дома, на котором между прочим находится надпись: «Третье почтовое отделение», ему попался господин величественной наружности, тоже в енотовой шубе, очень хорошей. Мрачный господин с живостью снял шляпу, — из которой тотчас выпало письмо с красной печатью, — и поклонился с тою почтительною скоростью, в которой неподражаемы чиновники, хорошо знающие службу. После того он надел шляпу и продолжал свой путь. «Милостивый государь, вы потеряли письмо!» — кричал я вслед ему, но мрачный господин шел так скоро, что ничего не слышал, и через минуту скрылся в дверях почтового отделения. Между тем я поднял письмо и прочел адрес: *В Р-в Б-бск, его благородию милостивому государю Калине Павловичу Кобелеву, градскому акушеру и кавалеру*. Спустя минуту, мрачный господин воротился, захлопал глазами, засуетился, натолкнулся на меня, чуть не сбил с ног и — не извинился. За такое оскорбление я счел себя вправе не возратить письма, и с четверть часа с непростительным наслаждением любовался, как мрачный господин метался из стороны в сторону, и еще с большим наслаждением слушал выразительные слова, которыми он журил себя

за беспечность. Наконец я пришел домой, прочел письмо и рассудил, что лучше всего его послать в типографию. Вот оно:

«Милостивый государь и любезный друг
Калина Павлович!

Жизнь человеческая подобна кораблю, обуреваемому волнами. Ничего нет изменчивее счастья человеческого. У меня был приятель; влюбился, посватался, заказал новую пару, только бы обвенчаться: идет к начальнику просить позволения, а начальник ему в ответ: «можете делать, что вам угодно: вы уж больше не служите!» Идет к невесте: по лицу так и видно, что в кармане отставка; невеста надула губки, мать прочла рассуждение о непрочности человеческих надежд в отставке, — и свадьба расстроилась! У меня был знакомый: целый век скупал разную рухлядь по базарам, столикам и ветошным лавочкам: «хоть и не нужно, да дешево, — говорит, — пригодится!» Раз идет по рынку; человек в фризовой шинели держит в руке фуляр. — Что просишь? — «Четвертак, ваше превосходительство!» — Двугривенный! — «Маловато, ваше высокоблагородие!» — Восемь гривен! — «Так и быть, для вашего сиятельства! пожалуйста деньги!» Мой знакомый купил фуляр. Идет да рассматривает: сердцу так весело, платок почти новый и такой хитро-узорчатый! Вдруг к нему господин почтенной наружности, в хорьковой шубе: «Позвольте узнать, где вы взяли фуляр?» — Купил и очень дешево; посмотрите: новехонький! — «А у кого?» — У кого? право, не знаю. Вот сейчас... в фризовой шинели... Знакомый мой оглянулся, но уже человека, продавшего ему фуляр, нигде не было. — «Я вас не могу отпустить, — сказал господин в хорьковой шубе, хватаясь за рукав шинели моего знакомого. — Потрудитесь дойти со мной к надзирателю». — А зачем бы так? — «Там узнаете!» Знакомый мой хотел было отделаться, но господин в хорьковой шубе сказал, что прибегнет к помощи городского. Пришли в полицию. Дело было очень просто: при платке пропало вещей на четырнадцать тысяч. Вот поди теперь отбодрявайся! Плохи шутки, когда «поличное» в руках оказалось!.. У меня был родственник: он очень любил путешествовать по России и пить национальные настойки; но путешествовать и пить вместе как-то неловко, да и

убыточно. Родственник мой придумал средство совместить свои два любимые наслаждения в одно: он взял несколько десятков графинчиков, каждый наполнил водкой и на каждом прилепил ярлык с названием какой-нибудь губернии; графинчики расставил по окошкам. Только что проснется и тотчас задает себе вопрос: «В какую бы съездить губернию?» Положим для начала хоть в «Енисейскую»; съездит в Енисейскую; через полчаса в «Казанскую», через час в «Астраханскую», и так в продолжение дня, не выходя из комнаты, объедит он по двадцати русских губерний, а иногда и более. Если жизнь вообще называют путешествием, то жизнь моего родственника можно было назвать путешествием по преимуществу. Так путешествовал он несколько лет сряду и был совершенно счастлив; одно немножко его беспокоило: при всей своей деятельности и неустрашимости, он не мог в продолжение дня объездить всей России; правда, бывали счастливые дни, в которые ему случалось оклестить до сорока губерний, но сорок губерний не составляют еще России. Совесть и сознание своей ничтожности мучили моего родственника; не вполне удовлетворяемое чувство с каждым днем говорило сильнее. Малу-помалу мысль объездить в один день всю Россию до того овладела туристом, что он и спал и видел только день, когда совершится его пламенное желание, — и вот великий день тот настал: родственник мой побывал уже в сорока трех губерниях и не чувствовал большой усталости; часу в двенадцатом ночи он был уже в сорок шестой, но, увы! брэнное тело ему изменило: он упал и «испустил дух». (Я не люблю нововведений и выражаюсь, как принято.) Дюмон-Дюрвиль объездил весь свет и погиб на незначительном переезде из Парижа в Версаль. Родственник мой объездил сорок шесть губерний и погиб на пути в сорок седьмую! Смерть застала его в ту самую минуту, когда, отдав визит Костромской губернии, он приближался к своей родной — Ярославской. Счастливый в самом несчастии человек! по крайней мере умер на родине! В Ярославле хотят воздвигнуть ему памятник... Но что же такое памятник? Вознаградит ли человека памятник за несчастия и ремизы, понесенные в жизни? И разве слаще спится в могиле, над которою стоит памятник, чем в той, над которою качается плакучая ива, цветет роза и насвистывает порой залетная птица?..

Теперь скажу о себе. Счастье гонит меня беспощадно. Позавчера я играл в преферанс. Вообрази... (Здесь следует подробное исчисление обстоятельств, послуживших поводом к жалобам на изменчивость счастья; рассказывается ход игры, приводятся замечательные деления карт и пр. Все это без большой потери для читателей может быть выпущено. После нескольких раздирающих душу «увы» автор письма восклицает:) Можешь представить, каково было мое положение! Схватываю шляпу и бегу на Неву; но на Неве, несмотря на позднюю пору, было так много собак и извозчиков, что я никак не мог утопиться! Нечего делать, иду домой. Вхожу в спальню: света никакого нет, а, кажется, был свет... Жена так храпит, что захрапи я так, меня, верно, взяли бы на замечание! Стал раздеваться. Поутру проспал. «Чаю или кофею, — человек спрашивает, — прикажете?» — А я ему как в трагедиях: «яду!» Дурак вытаращил глаза и подал графин ерофеичу. Вышил; стал бриться; так верхнюю губу чуть не насквозь и разнес... За что только счастье меня преследует?.. Взорвало меня. Налепил английский пластырь и говорю: «Что это у тебя, душенька, как я вчера подходил, в спальне, кажется, свет был?» — Бога вы не боитесь, Иван Александрыч! свет... чтоб жена ваша в пятом часу ночи имела у себя свет! — Заплакала. — Это у вас, — говорит, — темнота стояла в глазах... не знаю только отчего!.. — Слово за слово — побранились. Надо бежать вон из дома. Утром хорошо. Ну, а по вечерам? Играть — нет уж, слуга покорнейший; если б не пост, стал бы ходить в Александринский театр. Нечего делать, надо в концерты...

И вот начал ходить в концерты (здесь следует подробное описание многих концертов; но так как в нынешнем № «Лит<ературной> газ<еты>» выше помещена уже статья о концертах, то мы принуждены эту любопытную часть письма исключить). А! надоели концерты! Махнул рукой. Есть у меня щелкопер знакомый. — «Что, — говорю, — нет ли нового в литературе чего-нибудь?» — Есть, — говорит, — «Юродивый мальчик»... а я ему: «Сам ты юродивый мальчик... Ты дельное что-нибудь говори». — Есть, — говорит, — «Воскресные посиделки»; а я опять ему... Так ничего и не добился. Такая уж литература, говорит! Нет, уж мне лучше что-нибудь иностранное, говорю, и пошел иностран-

ные газеты читать. Взял первую, да как раз и попал на масленицу. Уж таков француз: у него и в пост масленица. Нет масленицы, так он себе в газетах сочинит масленицу (по-ихному карнавал). До сей поры еще наперерыв тамошние шелкоперы описывают карнавальные увеселения, особенно последние дни масленицы, дни шумные, когда без расчета веселятся и старый и молодой человек. Газеты с картинками представляют масленицу в разных видах, а иногда просто не поймешь, что тебе нарисуют. В каждой стране наслаждаются в масленицу по-своему. Русский человек ест блины девять раз в день и катается с гор почти совершенно без экипажа. Француз каждую масленицу потешается странным зрелищем, так что я и сказать не могу. Вот послушай, переведу:

«Минувшая неделя (говорит один тамошний шелкопер) особенно замечательна была явлением одной важной особы; в течение двух недель эта особа посещала самые многолюдные кварталы, самые главные улицы, всюду возбуждала безмерное любопытство, осыпаема была великолепными почестями: герольды, всадники с касками на голове составляли ее свиту; без умолка бил барабан, гремела полковая музыка. Главный штаб ее состоял из греков, римлян, рыцарей, вооруженных с ног до головы, царедворцев Людовика XIII и Людовика XIV. Этого мало: боги и полубоги состояли в свите ее; Геркулес, Геба, Венера, Марс, Купидон, Бахус, Юнона, Минерва, Аполлон, сам Юпитер, страшный Юпитер провожали ее, — и старый Сатурн не постыдился влезть на колесницу и взять в руки вожжи.

Другой возгордился бы такими неслыханными почестями и стал бы ожидать, что люди, желающие видеть его, сами станут сбегаться к нему; но упомянутая особа показала, что она не взыскательна насчет этикета; она лично сделала визиты знатнейшим обитателям столицы. Так она являлась с визитом к министру финансов, к г. Созе, президенту палаты депутатов, к маршалу Сульту, к президенту палаты пэров, к гг. Кюнен-Гридэну и Дюшателю; но самый торжественный визит ее был в Тюльерийский замок; там-то она старалась показаться как можно любезнее и интереснее.

О какой важной особе говорим мы, спросите вы? Об особе весом в тысячу триста семьдесят килограмм, о чуде:

карнавала, масленичном быке (Voeuf gras¹). Три дня разгуливал масленичный бык, покрытый великолепной попоной; голова его украшена была перьями и лавровым венком. Его вели два жертвоприносителя, с дубинами в руках, покрытые по древнему обычаю тигровыми кожами. За ним следовала колесница, крытая малиновым бархатом, с позолоченными колесами, везома четыремя лошадьми, разукрашенными с головы до ног; на ней восседал Сатурн с своей косой. Три дня продолжалось торжество масленичного быка; оно началось в воскресенье в десять часов утра и кончилось вечером во вторник на монмартрской бойне. Служившие и льстившие быку во время могущества его съели его в бифштексе после его падения. Масленичный бык погиб, карнавал умер! Яркое солнце, лазурное небо озаряли последний день его торжества; нельзя было веселее кончить жизнь, нельзя было иметь свидетелями кончины более усердных друзей. С полудня половина Парижа расположилась у окон, чтоб видеть, как будет проходить карнавал; другая половина теснилась на улицах; все пространство от церкви Магдалины до Бастилии покрыто было народом».

...Вот, брат, Калина Павлыч, и все тут. Нет, уж, видно, как несчастье, так и в иностранных газетах ничего не найдешь. Знаешь ли что? Возьму я перо, запрусь в кабинете, да начну сам сочинять. Авось, лучше напишу. А там — знакомому щелкоперу... он, глядишь, где-нибудь и напечатает... да еще, пожалуй, и деньги дадут. Можно будет пультку того... Ведь за эту дрянь, что они пишут, им, говорят, платят!»

Здесь оканчивается письмо неизвестного господина, или, так сказать, *petites misères de la vie humaine*². в русском переводе... Интересно знать, что-то напишет неизвестный господин? Не прислал бы в нашу газету!..

⟨Статья первая⟩

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Когда-то, помнится, в 9 № «Литературной» газ(еты)», было напечатано письмо петербургского жителя в про-

¹ Жирный бык. (Ред.)

² Мелкие невзгоды человеческой жизни. (Ред.)

винцию, найденное случайно на тротуаре. Письмо, если помнят читатели, заключало в себе откровенное описание приключений и неудач его автора и оканчивалось обещанием приняться за перо. Прочитав тогда это обещание, мы печатно изъявили опасение, чтоб неизвестный автор письма не прислал к нам первых плодов своего вдохновения. Так и случилось! Перед нами теперь довольно толстая тетрадь, исписанная тою же самою рукою, которою писано было письмо. При ней пришито вначале, как отношение, при котором препровождается дело из одного присутственного места в другое, письмецо следующего содержания: «Препровождая при сем к напечатанию в «Литературной газете» сей слабый опыт, уведомляю почтеннейше, что современем, буде сия первая статья моя будет напечатана, то за оною последуют другие. Буде же она будет сочтена поступившею в брак, то прошу меня уведомить о том, чрез надписание на сей статье или особым письмом». Подписано: «И. А. Пружинин».

Что ж это за статья?.. Мы знаем много способов возвращать сочинителям рукописи, то есть называть этих сочинителей в глаза плохими, — чрезвычайно учтиво и ловко. Этому научила нас необходимость. Нам ничего не стоило бы возвратить обязательному сочинителю его рукопись при чрезвычайно вежливом письме, — даже сказать ему лично, что статья превосходна, но что редакция не решается печатать ее, желая, чтоб она была напечатана там, где может обратить на себя больше внимания; мы могли бы отговориться несоответственностью статьи с программю газеты, с ее *духом* и *направлением* или значительным накоплением материалов, которые препятствуют редакции поделиться с читателями «этою прекрасною статьею» так скоро, как бы та статья заслуживала, и пр., и пр. И все это было бы очень хорошо. Нет ничего неприятнее беспрестанной необходимости сказывать плохим сочинителям в глаза, что они плохие сочинители; но она имеет свою хорошую сторону: посредством ее привыкаешь, как говорится, позолачивать горькие пилюли, и — что всего утешительнее! — есть сочинители, которые от души верят всему, что говорит им журналист, возвращая статью. Зато как они разочаровываются, в какое негодование приходят, как громко жалуется на явную несправедливость и изменчивость журнальных суждений, когда тот

же самый журналист, возвративший сочинителю рукопись с такою сладкою похвалою и обязательною улыбкою, встречает ее, ту же самую рукопись, явившуюся в печати отдельной книжкой — строгим и убийственным приговором, который вошло в обычай называть «бранью», хоть часто он справедлив, как сама справедливость! Тут уж никак не уверите сочинителя, что он с своим гневом не совсем прав, а журналист с своим хладнокровным осуждением не совсем виноват. «Да помилуйте! да он мне сам говорил совсем другое!!» — кричит сочинитель. — «Говорил». — Вот в этом-то вся загадка. Скажите на милость, что вы будете делать с человеком, который ежедневно преследует вас письмами, удостоивает ежедневного посещения вашу прихожую, в простодушной надежде застать вас когда-нибудь дома, и, наконец, как-нибудь насильно врывается в ваш кабинет, ловит и останавливает на улице, нежданно-негаданно является перед вами в маскарade, в театре? Ну, как тут не сказать сочинителю, что рукопись превосходна: ведь надо же от него отвязаться! Но плохие сочинители ничего этого не берут в расчет, и в глазах их — журналист, который говорит им одно, а пишет другое, навсегда остается человеком, переменяющим свои мнения как перчатки. Они о том громко рассказывают и, как неотразимый пример, всегда приводят случай с их собственной рукописью. Многие при этом сострадательно пожимают плечами и восклицают: «о литература!» Я тоже пожимаю плечами, но не восклицаю...

Это отступление произошло совершенно случайно, хотя, к сожалению, решительно нейдет к делу. Оно так и останется «отступлением» или, если угодно, «вступлением». Для ясности самого дела нужно было только сказать, что у нас есть много способов позолачивать горькие пилюли, но мы не употребили ни одного из них с г. Пружининым и оставили его рукопись у себя. События, которые в ней описаны, так кстати, что мы решились ее напечатать. Это, извольте видеть, дневник г. Пружинина с того самого дня, когда потерял он письмо, адресованное к приятелю и попавшее в нашу газету, и когда он решился писать. Он описывает все с ним случившееся до малейшей подробности. Его преимущественно занимали концерты и ссоры с женою: то и другое описано мастерски; но о концертах мы уже писали, а самое красноречивое описание ссоры

с женою не может сравниться с действительною ссорой, опыт которой женатый читатель может произвести сам во всякую пору. Стало быть, концерты и супружеские ссоры лишнее... Мы начнем именно с того времени, когда то и другое кончается: со страстной недели. Итак, приступим...

Понедельник. 20 марта.

Вчера в последний раз ел рыбу и масло. Чудесная вещь рыба: по-моему, лучше говядины. Только дороже, а то целый век стал бы есть рыбу. Масло конопляное тоже хорошо, только голос портит и в горле как-то неловко, как много в кашу положишь. Каша лучше всего, но уж тут постное масло — извини! с скоромным вкуснее. Особенно люблю пенки. Вытащишь этак сбоку... помазал маслом, посолил... а верхняя пенка!! Я всегда прошу Матрену Ивановну: «Прикажите, Матрена Ивановна, кухарке, чтобы жарче топили, когда у нас каша, и кашу в самый жар ставили, чтоб была пенка поджаристая». Каша хороша только тогда, когда красная, рассыпается. Прежняя кухарка наша совсем не умела варить кашу. Зато чудесно жарила корюшку. Корюшка очень дешева бывает весной, да тогда ее есть нельзя: воняет чорт знает чем.

После обеда пришел купец. «Так и так», — рассказал дело. «Напиши, — говорит, — челобитную». — Мошенник, по глазам видно, мошенник, козлиная борода! Дело скверное: с братом тягается. «Нет, — говорю, — времени не имею!» Так нет же, пристал: «я ни за чем не постою, что хочешь возьми!» и вынимает пятидесятную. — Подумал, подумал: «Приходи после святой, — говорю, — на нынешней неделе я, братец, не могу».

Вторник. 21 марта.

Опять чуть не поссорился с женою: привязалась, за чем я все в окошко смотрю... А что же больше делать, как в брюхе ворчит... «Ты, — говорит, — и теперь даже рад»... ну и пошла... у ней все одна песня: ревнует. А чего! не на что и смотреть-то: в шесть недель только сотни три собак пробежало, да отставной солдат из соседней улицы заходил, да парные санки проехали... знаю, чьи... ох, знаю!.. зачем... Такая уж у нас улица, что на ней очень много собак и мало людей... точно не в Петербурге!

Да и какая же улица: всего один дом... зато заборы чудесные... и деревья видно... лето придет, позеленеют... «Сказал бы тебе», — говорю... и хотел было... да для великих дней промолчал. — Заплакала и говорит: «Вы, — говорит, — уж и говорить со мной не хотите!» — «Не хочу, — говорю, — дайте мне покой, Матрена Ивановна: пусть я не буду сегодня грешить; я и так грешный человек перед богом». Унялась.

Не выдержал — согрешил. Хотел есть один раз в день, поел два, а все оттого, что Матрена Ивановна давеча меня рассердила; шибко очень бежал; проголодался. Ох, Матрена Ивановна! А совсем было лег — не спится; стал читать — не читается. Так вот и мерещится: «не дожить мне до завтрашнего дня: умру я впросонках с голоду!» Испугался, вскочил, сам побежал на кухню, да с перепуга и съел целую миску гороха, груздей соленых штук до двадцати съел, хлеба ломоть и квасу кружку хлебнул. Хорошо очень спал.

22 марта. Среда.

Очень раскаивался, как вспомнил, что вчера ночью сделал. За обедом налягу на хлеб: хлеб долго лежит в желудке, и с него не скоро проголодаешься. Каша бы еще лучше; кабы хорошенько каши поел, небось ночью бы не захотел, да без масла не хорошо... ах! Ну, да авось уж недолго... за все себя награжу... выпью водки, вендеграфу бутылку куплю... полакомлюсь ветчиной... яйцами, пасхой, — кулича с кофеем съем... чудесная штука кулич с кофеем! а за обедом напьюсь!..

23 марта. Четверток.

В баню вчера ходил. Чудесная вещь — баня. Я четыре вещи люблю на свете: тройку с колокольчиками, кашу, самовар и баню... — Ничего почти не ел. Целый день все думал... Нет, ежели тот купец придет, я его прогоню...

24 марта. Пятница.

Чудное дело, как легко на душе — как будто и свет лучше, и люди добрее. Чувствуешь какую-то сладость, в воздухе благовоние.

25 марта. Суббота.

Случилось ужасное происшествие. Часу в двенадцатом гулял я по Невскому. Народу было множество. Солнце

светило ярко, и погода была прекрасная. Встретился со мной один из моих знакомых, очень красивой наружности, добрейший и благороднейший человек, из всех каких я знаю, — в гороховом пальто, выписанном на-днях из Парижа. Удивительное пальто! На внутренней стороне грудных полочек пришиты еще полочки, которые сходятся посредине и застегиваются: выходит что-то вроде жилета. Расчетлив стал нынче француз: из одного платья два делает. — Здоровы ли вы? — «Не совсем; грудь болит. Кроме супу ничего не ем и кроме воды ничего не пью». — Пошли вместе. Толкуем, да вперед подвигаемся. Навстречу нам приятель красивого господина и мой тоже знакомый — большой оригинал, ходит бочком, лоб высокий: волосы напереди уж немножко того... реденьки; улыбка такая, смотрит, кажется бы, и ничего, а все боишься, не сказал бы вдруг: «какая у вас глупая рожа!» На слова молодец, даже, кажется, сочинитель. Пошли все трое. Вдруг навстречу нам всему свету приятель, молодой человек пятидесяти девяти лет с хвостиком. Раскланялись, вытянулись в шеренгу и пошли все четверо к Полицейскому мосту. Забыл, о чем говорили. Только разговор был преинтересный, даже, кажется, назидательный: что-то касательно того, каким образом разжилась какая-то модистка, у которой сначала не было ни одного платья, кроме того, которое было на ней, да того, которое красовалось на ее вывеске. Очень много смеялись. Высокий лоб острит и часто очень удачно; он мастер острить. Попался навстречу купец в белой шелковой шляпе и оливковом бекеше, обшитом вокруг — сверху, снизу, сзади — собольей опушкой вершка в три шириною: преинтересная фигура! Все на него оборачиваются, даже некоторые улыбаются, а он себе ничего; видно, думает: «дураки все вы!» или подобное что-нибудь. Попался также какой-то оставной чиновник почтенных лет, в коричневой шубе на беличьем меху. Попадалось и еще много хороших людей, да всех не пересчитаешь. Когда проходили мимо Палкина, молодой человек известных лет с хвостиком посмотрел на вывеску и вздохнул. Никто этого не заметил, кроме меня. Когда проходили мимо Излера, он опять вздохнул и так посмотрел... Против Доминика он спросил меня: «Не хотите ли вы есть?» Я хотел, да смолчал; думаю: осудят, что рано так есть захотел. У Полицейского моста молодой

человек известных лет уже громко изъявил желание выпить водки и закусить. Я молчал, другие также молчали. Тогда молодой человек предложил нам прослушать небольшой анекдот. Анекдот незатейливый: «Жил на свете один почтенный человек, который очень любил некоторого рода селянку; он ел ее каждый день и помногу; наконец однажды хватил чересчур много и умер, а селянка с того дня стала называться его именем». Понятно, к чему клонился рассказ молодого человека известных лет: ему хотелось попробовать этой селянки и возбудить в нас то же желание. И он не ошибся. Не знаю, как другие, но я тотчас почувствовал, что для полного счастья мне чего-то недостает. Солнце светило так ярко, ни одной тучки не было на небе, ни одного кредитора не попадалось мне навстречу, ни одного пятнышка не было у меня на душе и на сапогах; тротуар был сухохонек... чего ж могло доставать мне, кроме селянки? Я сообщил об этом занозистому человеку с высоким лбом. Он сообщил мне, что ему тоже чего-то недостает; красивый господин сказал то же. Мы долго думали; наконец догадались, что у всех нас *недостает* духа отказаться от предложения молодого человека известных лет, и повернули назад от Полицейского моста. Вот наконец и близко. Входим в трактир по лестнице — я, занозистый человек и молодой человек известных лет скорыми шагами, а красивый господин отстал: плетется нога за ногу. Занозистый господин обернулся и сказал: «посмотрите, господа, как идет: точь-в-точь *из трактира!*» Это было сказано очень остро, потому что мы все, даже и красивый господин, тотчас невольно захохотали, а это лучшее доказательство, что острота хороша. Пришли без дальних приключений в особую комнату. Заказали селянку. Да еще не одну. Красивый господин говорит: «у меня также своя есть селянка!» и велел сделать и свою также. Лакей хлопнул глазами, как цапля, сказал «слушаю-с» и ушел. Принесли водки. Молодой человек рассказал, как один чиновник умер от употребления кюмелю с ромом, и выпил две рюмки кюмелю с ромом; мы выпили без рома; закусывали икрой и семгой. Ждем полчаса — нет ни селянки, ни даже прислужника; наконец пришел прислужник. «Что же селянка?» — «Сию минуту!» — исчез, хлопнул глазами, и воротился через десять минут с хлебом и приборами.

«Что же селянка?» — «Сию секунду!» И опять хлопнул глазами и скрылся. Желудок мой пришел в ярость. Но делать было нечего. С горя завернул в бильярдную.

Скучно! только и слышно: сорок один и никого! При мне маркер проиграл партию одному важному господину с благородной наружностью и пролезал под бильярдом. Это хорошее обыкновение: бедному человеку ничего не стоит пролезть под бильярдом, а между тем выиграй он — он бы получил пять рублей; а богатому человеку тоже пустяки заплатить. Это немножко развеселило. Вернулся к своим. Селянки еще нет, а бутылка портеру уж стоит, и шампанское на другом столе в серебряной вазе стынет. «Не много ли будет, — говорю, — господа?» Да красивый господин напомнил, что сегодня разрешение вина и еля: я и обрадовался. Наконец принесли селянку, в кастрюльке. Съели: хороша. Запили портером. Принесли другую, на сковороде: очень хороша. Когда-нибудь и ею объестся какой-нибудь гастрон и увековечит таким образом свое имя. Едим да по временам запиваем шампанским. Занозистый острит; мы туда же за ним... хохочем... весело... Никто не ожидал трагической развязки, которую судьба готовила этому случайному водевилю, ничье сердце не вздрагивало тайным предчувствием, и ни на чьем челе нельзя было прочесть и тени того беспредельного ужаса, в который судьба готовилась нас повергнуть. Так иногда небо чисто, солнце горячо и весело; вдруг, откуда ни возмись, набежит туча, солнце спрячется, хлынет дождь, загремит гром: закрывай ставни! Я всегда закрываю ставни, когда наступает гроза...

Вдруг красивый господин, который ел с особенным аппетитом, страшно изменился в лице; вилка судорожно закачалась в его мощной руке и остановилась, наконец, в воздухе, приподнятая кверху. На вилке что-то качалось вроде луны в первую четверть месяца, не цветом, а по фигуре. Цвет был беловатый. В молчании красивый господин снял с вилки таинственное полукружие другою рукою и подверг долговому, внимательному рассмотрению, потом передал молча соседу — занозистому господину; занозистый передал мне, я — молодому человеку известных лет; каждый из нас рассматривал и передавал странную вещь в торжественном и мрачном безмолвии; наконец, когда очередь снова дошла до красивого господина, он

поднял на вилке таинственное полукружие кверху и произнес ни громко, ни тихо, угрюмым голосом: «гусиная шейка!» и все мы повторили за ним: «гусиная шейка», и даже посторонние свидетели этой трагической сцены повторили голосом, выражающим сострадательное участие: «точно, гусиная шейка», а один из них очень серьезно принялся шарить, нет ли говядины в постных щах, которые он себе вытребовал. Не оказалось.

Жене ничего не рассказал. Куда! Сказал, что встретил на Невском нужного человека и с ним все ходил да толковал о делах. Ел через силу.

Воскресенье. 26 марта.

Чудное дело, какими чувствами наполняется душа в эти торжественные часы, когда с минуты на минуту ждешь — вот грянет колокол, возвещающий радость величайшую и всеобщую! Куда спать! Если б даже и не грешно было спать, никогда бы человек не заснул в эту ночь, потому что множество мыслей не мелочных, не ежедневных, но каких-то особенных, так что я и описать не умею, приходят в голову. Сидишь и думаешь, все думаешь, думаешь... Грешные, все мы грешные люди! Нет в нас этого, чтобы почаще думать о небе и о всем том... молиться... нет! погрязли мы в суетах и думаем только об одних суетах, глупостях, тешим плоть свою, не заботясь о душе... И так все думаешь, думаешь... даже слеза прошибет, и слово даешь сам себе быть благороднее, лучше... Великие минуты!

Молился у Владимирской. У!.. что только и за теснота: яблоку негде упасть... Ну да и винить некого: никто не враг душе своей, всякий хочет в такой великий день помолиться. В Петербурге, оно правду сказать, не то, чтобы в Москве, и церквей не так много, да ведь еще давно ли и сам-то Петербург основался? Если все будет в нем так прибывать, как доныне прибывало, так он Москву в 50 лет превзойдет.

Часу в пятом пришли домой. Закусывали с женою, да еще родственник бессемейный пришел... Плохо в этот день бессемейному человеку... Один, во всем один... Один ступай в церковь... один садись за стол... не с кем разделить радость. Грешный человек, лишний стакан выпил.

Скажите, пожалуйста, скоро ли человек будет умнее? Вот наступит первый день великого, торжественнейшего праздника. Сидеть бы дома, провести его в кругу семейном, в приличных разговорах, — так нет! поезжай с поздравлениями! Оно, конечно, нельзя: уважение дело великое. Да зачем же человек не придумает как-нибудь, чтоб доказывалось оно другим образом? Да я бы первый лишних в год пять раз продежурил, только не тронь меня в праздник! Я из праздников только и живу на сем свете. В будни я... да что много говорить, в будни меня и на свете нет... Оно, конечно, придумали хорошо: заменять визиты печатным объявлением при пожертвовании в пользу детских приютов... Хорошо, да только для тех, для кого всяческое хорошо. А наш брат попробуй-ка... У! скажут: уж он нынче вот как! Денежки завелись и амбиции много: лень самому съездить! печатно изволит поздравлять, к князьям и генералам в товарищи в печати залез... Нечего делать; для всякого случая лучше самому съездить, с швейцаром раскланяться, камердинеру сунуть... Ох! эти швейцары и камердинеры!.. Вытянется да так на тебя и смотрит... Дать жалко и не дать жалко... то есть не жалко... а так... не ровён гусь... Глядишь: полтинником меньше в кармане... А все за что? Да так! посмотрел на жирную рожу, да расписался на листе скверным пером... как самая последняя спица... даже росчерк при фамилии боишься употребить... К другому — та же история; к третьему — та же! А впрочем, что много толковать, что жаловаться, когда так во всем свете. Одно досадно: дороги извозчики... как раз дневное содержание прокатаешь... да, глядишь, и мало еще... а дорога! Скажите, пожалуйста, что это в Петербурге за дорога бывает в Святую! Ни на санях, ни на дрожках, ни пешком, ни верхом! Ездил я много по разным губерниям, даже по проселочным дорогам в весенние разливы таскался... Куда! и подобия нет! Держишься на дрожках, трясешься, как испуганный жид, да думаешь: вот тряхнет и пополам тебя перехватит! На санки сел: уж и не думай обедать! Грязи столько в рот навалит, что как ни отплевайся, а все сыт будешь... А на платье, а по лицу... Меня уже пятнадцать лет никто по лицу не бил... а сегодня такую затрепину съел... тысячи рублей не взял бы!

А все-таки ездил. Прежде всего, разумеется, по на-

чальству. Для краткости приведу здесь стихи одного моего знакомого шелкопера: точь-в-точь про меня писано!

Я с час пред умывальником
Мучительный провел.
Когда с своим начальником
Христосоваться шел.
Умылся так рачительно,
Чуть кожу не содрал.
Зато как снисходительно
Меня он лобызал!
Дал слово мной заботиться,
Жал руку горячо,
А я его, как водится,
И в щеку и в плечо!
Вот жизнь патриархальная,
Вот служба без химер.
О, юность либеральная!
Бери с меня пример!

Я нарочно все в подробности бессемейному родственнику рассказал... «Вот, — говорю, — учись, как жить на свете; пример у тебя в глазах, а будешь важничать, нос поднимать... ты что за штука такая?.. с чего тебе нос поднимать?» И много я еще ему говорил... Я люблю, чтоб и другому было... не все же себе одному... — «Благодарю, — говорит, — дядюшка! благодарю...» — и слезы в глазах... нагнулся... и чмок меня в руку. Мальчишка способный. Будет прок.

Сели обедать. Что было после обеда — ничего не припомню.

Понедельник. 27 марта.

... Сегодня пришел тот купец... принес голову сахару и фунт чаю... Хотел настоять, чтоб назад взял, да не успел: только похристосовались, он и тягу... яйцо чудесное дал: развинчиваю — три золотых. Ну что будешь с ним делать! Разве ведь я просил? Отослал бы все обратно, да не знаю, где он живет...

Вечером играл в преферанс. Выиграл 124 поэня. Жене сказал 71. Агапопит Стахич играл семь в червях и был без пяти.

Целый день шатался по балаганам. Глядел на вывески. С ледяной горы прокатился. Чего, подумаешь, не выдумает человек! Весной ледяные горы! Да ведь как хитро сделаны: накрыты во всю длину и с боков парусиною, чтоб солнце не действовало на лед... а все прочее, как и всегда. Мне, признаться, совестно было прежде кататься... Ну, как бы то ни было: всякий видит, сидит Иван Александрыч на салазках и едет с горы! Как-то и вид неприличен... Опять же, я хоть не велика птица... ну да тоже подчиненные есть... два, три... какой же, возьмите, пример?.. А тут дело закрытое: сел себе, да поехал... никто не видит тебя... Да еще то ли? Глядишь... а этак за тобой или впереди тебя едет... Ну, понимаете?.. Можно и глазки сделать... дело закрытое... Эх, кабы было свободное время! написал бы целый роман и назвал бы *«Под парусиною»* — то-то бы вздору нагородил. Ремесло сочинителя начинает мне с каждым днем больше нравиться: можно врать, что угодно...

На Исакиевской площади все как всегда в таких случаях. Огромные балаганы, качели, железная дорога, пряники, орехи, красные самовары и красные рожки. Поют, перекликаются, катаются, качаются, бранятся, щелкают орехи и громко хохочут. Я ходил только в три балагана: к Сульё, к Легату и к Родольфу. На что не ухитрится человек! Посмотрели бы вы, какую чертовщину показывает Родольф... А ведь, я уверен, все штуки, не больше, как штуки... Ну, где ему, в самом деле, что-нибудь сверхъестественное представить... А хорошо! Только много очень уж говорит. Сидит подле меня офицер. — А для чего, — говорю, — так много он говорит? — «А вот видите, — говорит, — чтобы тем временем штуки свои приготовить». — Так-с, покорнейше благодарю. Я сам то же думаю. — Умный, должно быть, человек, офицер... Хороша штука с платками... просил и у меня платок... Я было и вытащил... глядь... заодно табак; не люблю: беспрестанно переменять платки надобно! Посмотрели бы вы, как из платков зонтик вышел. Умора! Много любовался я также мальчишкой. Бестия, не больше как пятнадцать лет... а так с французского переводит... и рожки такие строит... остроумие ему нипочем... и хорошо... хоть сейчас в иной водевили... А кто знает? подрастет, может, и будет водевили строчить...

Вот сам я никогда не думал, а на-днях сочинил водевиль! У меня действующие лица очень хорошие: мебельный мастер Иван Каблуков, Севрюга Степановна Моржова, вдова девяноста трех лет, Правдюков, купец, торгующий хреном, Настя, влюбленная в Каблукова. Очень смешно будет, когда Правдюков предложит Насте в приданое тысячу корешков хрену... Как думаете?..

Сулъё особенно хорошо представлял по вечерам. Публики собиралось тьма-тьмущая. Удивительно! Ну, положим еще мужчина туда и сюда: на двух лошадях стоит, третья так в середине бежит. А женщины-то как!.. Зато, впрочем, что и за женщины: не чета Матрене Ивановне! Матрена Ивановна умеет только чулок вязать, да браниться. Эх! чорт дернул меня вступить в брак! Поверите ли? даже в праздник все ворчит!

У Легата не досидел: штука старая. Видел прошлого года!

Среда. 29 марта.

Что́ было сегодня, даже страшно описывать... Воротился домой на рассвете...

Суббота. 1 апреля.

Три дня сидел дома: жена никуда не отпускала.

Был на балу в клубе Соединенного общества. Очень много было народу. Проиграл в преферанс пятнадцать рублей...

Услышал там печальную весть. Наш казначей, Андрей Петрович, скончался на третий день... Говорят, вдруг наел на яйца и пасху. Добрейший человек! Помогал, говорят, бедным и жалованье вперед иногда чиновникам выдавал... Справедливо, никогда добродетель не остается без награждения: в такой день не каждому доведется скончаться!

Воскресенье. 2 апреля.

Писал купцу челобитную.

Понедельник. 3 апреля.

Был в театре. Давали новое сочинение Кукольника «Боярин Федор Васильевич Басенок». Прекрасная вещь! В первом действии так еще ничего, а во втором тюрьма... Басенок в цепях... в тюрьму приходит дурак... и говорит,

что Шемяка у Басенка Наташу отбил. Цепи каким-то манером разбили, и Басенок в красной рубашке вбежал в спальню к Наташе... Шемяка спрятался... А Басенок на Наташу обухом. Много видел я басенок, а такой не видал. Однакож Наташа осталась жива. Публики было множество: полон театр; сочинителей разных тут видел... ходят, хлопают, шушукают... видно, что умные люди. Автора вызывали. Я тоже кричал. Он прямо так мне и поклонился. Отличная драма!

⟨Статья вторая⟩

Четверток. 6 апреля.

Прочитал свою статейку в «Литературной газете»... Насилу узнал. Мои мысли, а слог... все решительно переделали. Даже многие мысли хорошие выкинули... Да еще с претензиями: мы, говорят, могли бы и возвратить; а кто же просил не возвращать? ну, вернись! не испугаются! кланяться не станут! Так меня взорвало. Хожу по комнате и дышать так тяжело... а уж как же бранился... Икнулось, я думаю, им!.. Что это за странная вещь?.. Я прежде думал, так, ничего... написал... напечатал... прочел... бросил и позабыл. Так нет, есть чувство какое-то странное... Вышла газета: так рука и дрожит... читаешь, читаешь, читаешь и... от улыбки воздержаться не можешь. Даже стыдно становится! Ну, знаете, посторонние люди ходят... Вхожу в кондитерскую: два офицера стоят друг против друга и хохочут... В руках у одного газета. Гляжу: открыта на моем сочинении... хохотали, хохотали; вдруг один ударил по листу пальцем и говорит: «Ай да гусиная шейка! молодец сочинитель!» А другой: «Умный, должно быть, и презабавный человек». Не поверите, так сердце и екнуло. Как-то весь странно затрясся, жарко стало внутри... чуть не сомлел... и улыбка такая явилась... душа, просто, выпрыгнуть хочет... так вот и позывает обнять их, заговорить, сказать: «а знаете, господа, ведь это я сочинил? ей-богу, я, Пружинин... Не хотите ли бутылку шампанского?» И хотел было все сказать, и шампанского бутылку вытребовать, да думаю: и в погребе, говорят, стоит три рубля серебром, а здесь что же сдерут? И знаете ли? самому ничего: сдери хоть двадцать рублей...

жалеть бы не стал... лучше бы в чем другом себе отказал... с такими людьми... да... эх, Матрена Ивановна! Матрена Ивановна!.. ведь я за вами, Матрена Ивановна, меньше пуста приданого взял: сами знаете... А теперь за добродетель свою и терпи. Не могу я своими деньгами распорядиться, бутылку шампанского в год раз с умными людьми выпить. Бог вам судья, Матрена Ивановна! Так и ушли... Хотел рассеяться, сыграть партию; иду мимо стола... Нет, рука так и протянулась к газете. «Чем, думаю, они тут восхищались?» Сел и начал читать. «Этим?», или «этим?», или «вот этим?», да так всю статью с начала до конца и промолотил... разумеется, про себя. И, верите ли, все совершенно за новое показалось... новые красоты отыскал... и уж теперь все кажется хорошо, не то, что давеча... нет, нет, да и подумаешь: «какую я дрянь настрочил!» Уж дочитал, а все держу газету, припоминаю, да улыбаюсь... Не поймешь, что в душе делается... Нет, воля ваша, приятно, очень приятно что-нибудь сочинить... Подходит какой-то ко мне господин... Так и видно, что пороку не выдумает... взял газету... читал, читал, читал... и все какие-то гримасы делает... Кинул газету, встали говорит: «гр-я-зно»... — Отчего же, милостивый государь, — говорю, — грязно? — «Оттого, что видно какой-то дурак писал!» — Дурак, — говорю, — дурак, — и раз пять повторил — дурак... да поправился наконец. — Так вы думаете, — говорю, — а другие, напротив, другое совсем говорят: вот сейчас два офицера... умные люди... — «Что они знают? — говорит, — сочинитель — видно с первой страницы — не знает большого света... На кой чорт, говорит, описывать дворников, водовозов... что они, важная вещь, что ли? да еще заставляют читать благородных людей... стыдились бы и печатать-то!» Дурак, а ведь правду сказал... Я в первую минуту было против него: ну, как бы то ни было, дураком меня в глаза назвал... а потом, как простыл, так и вижу, что он тут прав. В самом деле, стоит ли дворник какой-нибудь, чтобы об нем книгу писать... даже наш брат, мелкий чиновник?.. кабы я знал большой свет, тотчас бы описывать стал большой свет... по крайней мере тут люди... есть о чем говорить...

Не хотел было ничего посылать в «Литературную газету». Нет, думаю, ни за тысячу! Не умничай!.. Да при-

хожу домой: прислали билет и вышедшие номера при билете... Спасибо. Целый год буду даром чтением наслаждаться. Жаль, что жена никакой не имеет страсти к литературе: тоже могла бы даром читать.

Пятница. 7 апреля.

Сегодня весь день спорил с женой: нанимать дачу или не нанимать? Она говорит — да, а я — нет. К вечеру заплакала навзрыд: для всех, говорит, лето красное наступает, а для нас и летом зима. Принужден был согласиться. А чего? правду сказать, так мы и зимой-то на даче живем: совестно признаться, где имеем квартиру. Да и что хорошего на даче? Жили мы третьего года: у меня сделалась гриппа, у Матрены Ивановны на руке рожа. Прежде бранились между собой, а тут каждый день, чуть проснемся — я ну бранить гриппу, Матрена Ивановна рожу: только и удовольствия. С доктором познакомились. Доктору хорошо... он к тебе войдет... и рукавички у него белые... и бакенбарды закручены... и походка такая... плывет, не идет; голос — гармония... А ты ему дай: он тебе даром прописывать не обязан... и в аптеку за лекарство деньги пошли. Славное дело докторская должность! Я вот всегда говорю Матрене Ивановне: «Уж как вы хотите, Матрена Ивановна, я одного сынишку пушу в доктора, другого — куда ни шло! будь по вашему — по ученой. Ученая часть тоже хороша... на ногу никто не наступит; и по улице идет... пуговицы... всякий видит: ученая птица... В класс пришел: за уши... на колени... прошелся, нюхнул табаку... спросил урок, посердился... баста! На частный урок пришел... с мальчишкой там потолковать о том, о другом... мальчишка глуп: ври ему, что взбрдет на ум... он глядит тебе в глаза, да думает: «как бы тебя нелегкий унес поскорее!» А есть и такие: сам тебя выучит отца проводить: расскажи ему, как там Сульё на трех лошадях скакал... как девица Ангелика де Бах с лошади упала... А чуть за дверьми шум, принимай серьезную рожу, и он тебе как ни в чем не бывало: «Александр Македонский, покорив Великобританию...» ну и так далее... Папенька вошел... «Да вы не очень мучьте его, — говорит, — у него комплекция слабая... ребенок совсем от наук похудел... Уж сделайте милость... Я вас буду

отдельно благодарить». — Хорошо-с. Деньги взял и ушел... до свидания... Славное житье. Ей-ей, сам бы сейчас пошел учить, да диплома у меня нет и физиономия такая, кажется, ничего... а между тем дрянь дрянью... Другой бестия чрезвычайная, а посмотришь: важность такая, что-то внушающее... добродетель написана на лице... уважение невольное чувствуешь... всякий к нему... где бы другому рубль, ему два... ну, нельзя: так глядит... А другой... Я вот про себя скажу... Кажется, и нос на месте и не так, чтобы очень велик... и манжеты нарочно ношу... А не то, совершенно не то! Сам чувствую, вижу. К зеркалу подойдешь: кажется, верно показывает... и лоб открою, и мину такую сделаю... куда. Даже сам к себе уважения не почувствую... У нас на службе говорят, будто я похож на козла. Не может быть! Врут, зубоскалы! Положим, ноги тонкие и подбородок очень уж острый, да ведь все же я человек: у меня есть и нос и глаза, а рогов нет... А хорошо иметь такую открытую, внушающую физиономию: и на улице иной тебе посторонится, и проситель не посмеет в руку сунуть мелкую дрянь какую-нибудь, и не всякий в лицо тебе захохочет... Я терпеть не могу, когда кто-нибудь хохочет в лицо, особенно при чужих. Обидно: как будто двадцать пять рублей из кармана украла...

Суббота. 8 апреля.

Ездили дачу смотреть. В Петербурге лето летом, а за Петербургом совершенно зима. Приехали на Безбородку. «Вот, — говорит Матрена Ивановна, — крайний домишко: я бы в нем хотела провести лето». Кричу извозчику: «стой!» Стал. Вышли. Ворота заперты. Нигде ни живой души... стучу пять минут... стучу десять... Хотели уж бросить. Вдруг ворота отворяются... высунулась красная рожа... дворник в рубашке... Матрена Ивановна закрылась платком... красный нос споткнулся немножко... чуть на меня не упал... пахло вином... сивуху, должно быть, простую, бестия, тянет... Я люблю этот запах: что-то знакомое... сейчас чувствуешь себя на родине... «Что? отдается здесь дача?» — Как же-с, одна нанята, а другая гулящая, отдается. — «А кто нанял?» — Дилектор Микишкин, барин добрейший, на водку пяточок посулил; а прежде тут жил *сам*... да теперь уж его нет. — «А где же он?» —

Померши... тоже добрееющий был... бывало все, сердечный, в саду сидит; как утро, так и в сад, и чай там пил... и обедал, и кофей... а еще маленький садик есть... оттуда уж и не выходил... — Посмотрели дачу. Вид на два дерева и на лужу... лето придет, говорит, деревья расцветут, лужа высохнет. Четыре комнатки. Обои на стенах, точно на нищем лохмотья. Цену заломил такую, что я даже забыл про Матрену Ивановну... у меня характер прескверный: не могу выдержать, когда следует человека ругнуть. А уж зато и он нас: с вёрсту отъехали, а все еще звенело в ушах; нет, нет — и долетит словечко... Ну, что ты станешь делать: не ворочаться же! Ох, Матрена Ивановна, ну уж мне ваша дача: из-за вас даже ни за что честь моя страждет! Кричу извозчику: «пошел поскорей, дам на водку!» Обрадовался: гонит, как угорелый. Вдруг, колесо тут... тук... тук... Остановился... слез... «Эх, дело неладно! Шина лопнула!» Что ты будешь делать? Хоть пешком ступай. Впереди плотники бревна обтесывают... Кой-как дотащились... «Прикрепите как-нибудь шину, на водку дам»... Сбежалось человек десять — спор, чуть не в драку... Наконец принялись... Идет мимо человек в синей шинели... из-под шинели виден черный сюртук... в белом галстухе... так, лет пятидесяти... среднего роста... на физиономии написано удовольствие: видно, стаканчик, другой хватил... — Ну уж, брат, — извозчику говорит; — кабы я тебя нанимал, не отделался бы ты *дешевши* пятидесяти рублей... Едешь с господами, а экипаж у тебя неисправный!» И уселся на бревнах... да так на Матрену Ивановну и глядит. А извозчик ему: — Эх, сударь, — говорит, — да знаешь ли, когда конец твой придет? — «Нет, — говорит, — где знать: — жизнь и смерть в руке божией». — Ну, так что и попрекать?.. Разве я в него, в колесо, влезу, что ль? — Слово за слово — подрались. А плотники, чем бы разнять, стали кругом, да хохочут... дело бросили... «ишь ты как, — говорят, — он его резнул!» Я тоже смотрю... отчего и не посмотреть?.. люблю посмотреть, как дерутся: что-то чувствуешь этакое... Вот в Москве в старину, говорят, кулачные были бои... этак стена на стену... сошлись, и ну друг дружку крошить... рукава засучены... руки жилистые... глаза свирепые... Жаль, что нынче уж нет: нарочно бы съездил в Москву посмотреть! Нынче умудрились... нынче театр...

А что театр? Он там и лицо распишет, и оденется, и нож деревянный в руку возьмет... кричит... и, пожалуй, зарежет себя, и растянется; а закричали... начали вызывать... вскочил, поклонился и опять зарычал... Нет, в старину было проще. Я люблю старину, и Матрена Ивановна тоже любит: все припасы были дешевле и строгостей по службе нисколько. Нынче, даже купчишке, мужичишке простому перед тобой преферанс дают: «ты, — говорят, — с него не дери!»

Долго дрались нивчю: тот пощечину, да другой пощечину, тот кулаком, да другой кулаком — ни то, ни се; все равно что и не дрались... Вдруг извозчик как хватит синюю шинель со всего маха, так она к дрожкам и отлетела... Лошадь испугалась... дернула... Батюшки! Матрена Ивановна! Матрена Ивановна!.. Куда!.. лошадь от нас, да и только... Я за ней... во всю рысь... а она еще пуще... Господи! Машет платком, показывает на небо!.. Кричит что-то... А! «Прощайте, Иван Александрович, до свидания»... Братцы, пять рублей, два целковых! догоните! остановите! Никто ни с места. Глядят вслед да толкуют друг другу: «ишь как удирает! поди догони... вот изломается колесо, сами станут!» А извозчик тузит синюю шинель... Эх, чорт дернул меня лихача взять! Тащился бы на клячонке... небось, не укатила бы с Матреной Ивановной... Да как же! ведь нельзя тоже и не пофанфаронить... велики мы гуси... лихача... пролетки... вот тебе и пролетки!..

Оттащил, наконец, извозчика. — Ну, что теперь делать, бездельник? — «А что изволите приказать?» — Да как что! беги, догоняй лошадь; ведь из-за тебя жена опасности подвергается. — «Никак нет-с, они сами изволили уехать», — и пошел, и пошел... — Ступай же! догоняй лошадь! — Нейдет. — «Где мне, — говорит, — лошадь догнать... я и так уж устал-с... Вот минуточку подождем... барыня справится, подберет вожжи и сама к нам воротится». И уселся на бревнах. Я, не будь глуп, схватил осколок порядочный да и сказал ему: «Слушай, ты; ежели ты...» — ну, и прочее, что в таких случаях говорится. Присмирел. Тише воды, ниже травы. Совсем бы итти. Плотники пристали: на водку за колесо... А ничего, видел сам, ничего формально не сделали... только подошли... Кинул двугривенный... Загородили дорогу, да так и

не пускают... «Нас артель одиннадцать человек». Кинул еще четвертак... А извозчику стало завидно: «За что же? Да ведь они ничего не сделали», — говорит. То-то народец! Наконец пошли искать Матрену Ивановну...

Ну, Матрена Ивановна! сыграли вы со мной штуку. Я ищу... бегаю сломя голову по островам... передрог как собака... устал... а вы... Приезжаю домой часу в двенадцатом ночи, думаю: «нет моей Матрены Ивановны», вздыхаю так тяжело и прямо к шкафу иду... ну, естественно, согреться, утешить себя в одиночестве... Только рюмочку выпил, другую стал наливать, слышу шаги... глядь: Матрена Ивановна передо мной, как ни в чем не бывала... Есть же такие женщины: сама остановила лошадь, вожжи подобрала, да — какова же! «пусть его, — говорит, — пешечком за свою вину пробежит», — домой и уехала. А в чем же я виноват? Я что ли дрался с извозчиком? — «А конечно ты, говорит, виноват: — зачем лошадей своих не заводишь...» Вот подите!.. А на что я их заведу?.. Я люблю лошадей... Даже иногда... поверите ли?.. досада берет, зачем я сам не лошадь? Ведь хорошей лошади и корму много дают, и уход хороший за ней, и бить ее кучер не бьет...

Среда. 12 апрель.

Все дни шатался по Невскому... днем погода чудесная: солнце светит, тепло, а вечером на-днях дождь порядочный шел... В театр наведывался. Дают «Русский моряк», «Русская боярыня», «Дочь русского актера», ну и прочее — русское... Я люблю, когда русские сочинения дают и все русское хвалят: ведь я сам русский! Зато уж терпеть не могу, где щелкопер какой-нибудь вдруг выведет, этак, плута какого-нибудь, взяточника... и ну смеяться над ним... ну им всякому в глаза тыкать... Оно, конечно, бывает... где человек без греха... Найдется ипой... и взятки берет, и там то, другое... да зачем же напоказ его выводить? Нет, я бы этих всех щелкоперов: у меня пиши, да не забывайся. А то, на-вот! смотри: и то не так, и там взятки берут... Просто никуда не годится...

Новостей никаких в Петербурге нет. Поверьте мне. Уж я бы не прозевал... Рубини уезжает, уже и в газетах публиковали. Удивительно поет Рубини! Впрочем, знаете ли что? Я знаю, отчего так хорошо Рубини поет...

Поверьте мне... я вот сам... стоит только... Ну, да теперь уже некогда... после когда-нибудь я вам расскажу... Никакой, право, нет хитрости... И Матрена Ивановна то же самое говорит... а ведь она сама — я вам скажу, училась петь. Правда, не совсем-то приятно поет; как запоет:

Приди в чертог ко мне златой...

так и беги вон из комнаты; дольше минуты не выдержишь. А все-таки может судить. Вот она-то и говорит: «выложи-ка мне, говорит, хоть половину тех денег — я тебе так пропою»... Вечером был в Александринском театре... Прелесть какую штуку чудесную видел — «Ненависть к людям и раскаяние»... Поверите ли: я еще вот не больше аршина... мальчишкой был... тогда уже видел... превосходная вещь! Вот это дело другое, по нашей части. Каратыгин, поверите ли? — даже плакать меня заставлял. Странное дело! Сам знаешь, что вздор, шелкопер какой-нибудь сочинил, а между тем слезы, бывало, так и вступят в глаза. Теперь ничего: теперь давай мне хоть почувствительней «Параши Сибирячки» — стара штука! Я уж теперь в летах и брюшко у меня того... смешно же вдруг платок приставить к глазам. Да и слез совсем нет. В прошлом году ходил прибавки просить... ну, и нужно было заплакать... или... все бы лучше, если б хоть глаза красные... нет как нет! Даже и чеснок не подействовал... Надоело Матрене Ивановне... «Ну, уж иди так, — говорит, — видно уж из тебя слез и палкой не вышибешь!» Так и ушел.

⟨Статья третья⟩

Какое величественное, красивое и знаменитое зрелище представляет Нева, когда, разрушив ледяные оковы, долгое время задерживавшие ее торжественное течение в вечность, вдруг, подобно... Нет! не могу, как благородный человек, не могу! Хотел было начать свысона, рассказать все, как рассказывают хорошие сочинители; но такой труд выше сил моих! «Так, кажется, на словах все бы славно изъяснил, примешься за перо — просто как будто кто-нибудь оплеуху дал: конфузия... конфузия, не поднимается рука да и только»¹. Правда твоя, Александр

¹ Гоголь.

Иваныч, совершенная правда... нет, лучше буду рассказывать просто, как доселе рассказывал... авось не взыщут... чем богат, тем и рад... постараюсь и то, и другое, и третье, уж высокий слог — извини! Не рожден я ни к чему высокому, и Матрена Ивановна не рождена тоже; мы даже роста с ней низкого... Досадовал, крепко досадовал прежде... Отчего, думаю, один верзило такой, ходит, задрав нос, и смотреть на тебя не хочет... а хочешь ты на него взглянуть, голову подними... а другой дрянь дрянью, не различишь от земли... даже самому гадко!.. Ведь такой же, думаешь, человек... И, бывало, так даже ропщешь на несправедливость судьбы... Да вдруг прочел в одной книге: «Высокий человек похож на дом в шесть этажей, из которых верхний этаж хуже всех меблирован». С тех пор, коли где-нибудь начнут трунить... ну там: «дитя мое, меньше на фрак сукна надобно, скорей наживешься... можно во всякую щелку пролезть...» и прочее, что в таких случаях говорится, я как раз: «Высокий человек...», сделаю серьезную мину, вправо от носа двину рукой, да так прямо и ляпну. Присмирят как раз зубоскалы... даже помню, один нагнулся и целый вечер все ходил, как будто ему кто-нибудь на спину гору положил. Только зато раз и срезался... говорю, вдруг на последнем слове поднимаю глаза, глядь... батюшки светы! Вот посмотрели бы вы тут на меня: с женой, с детьми, с родственниками внутренно начал прощаться; хотел в ноги упасть перед Станиславом Владимировичем... «Простите, — лепечу едва слышным голосом, — простите...» Посмотрел так на меня... точно ему удивительно стало, что я еще жив... «В чем вы извиняетесь?..» Я кое-как и то и другое.. в том-то и в том... Захохотал и говорит: «Поверьте, — говорит, — почтенный Иван Александрыч, дураки бывают и высокого и низкого роста, точно так же, как и умные люди...» Ха! ха! ха! ха! ха! Захохотали все и хохотали так, я думаю, минут десять... Я смотрел, смотрел, да начал и сам хохотать... А что, ведь если разобрать дело, так правду сказал Станислав Владимирович... Иной и высокого роста, да так говорит... а иной с живого и с мертвого взятки дерет... ты ему и крупы, и муки, и мелочи всякой... даже бутылку вина принеси, он берет... Я терпеть не могу дрянь какую-нибудь; лучше уж ничего... Ты мне там не хитри... на фрак... на жилет... где тебе вкусы мои разбирать... я,

брат, сам мастер покупать; в натуральном виде — ну... и то я еще посмотрю... Я раз какую отколол штуку. Ходил к нам, уж так, я думаю, добрых два месяца один поверенный... продувная, у! продувная штука! — белые воротнички, сюртук длинный, застегнут всегда... и видно, что штука... У меня уж было приготовлено, что он там просил... Держу в руках да время тяну. Вот, говорю, немножко... А чего? двадцать раз уж смотрел: готово. Лежит на столе дело... взял верхний лист... вертел, вертел в руках... «Посмотрите, — говорит, — какая забавная вещь». И подал мне лист. Гляжу: в середине — десятирублевая ассигнация. Я так вот и закипел... ну, и всякий бы на моем месте... Вынул, повернулся, поднял за кончик в руке. «Посмотрите», — говорю... Ну и такую вывел историю... будет помнить меня... И хорошо. Вперед наука. Я ведь не бродяга с улицы какой-нибудь, я благородный человек: совести моей за грош не продаю...

Восьмого апреля разошлась Нева... не понимаю, что я за человек!.. Пошел посмотреть... ну, натурально, пустились там в рассуждение... И то, и другое... Вдруг дунул ветер, провизжал в ушах... чуть не сбил с ног... Батюшки! да где же у меня шляпа-то?.. Оглядываюсь: две какие-то рожи хохочут и одна показывает вниз. Гляжу: летит моя шляпа в Неву...

Я кричал и то, и другое... пятнадцать рублей... Циммерман... новая!.. А дураки, знай, хохочут... «Поминай как звали!» — один говорит. «А ведь уж теперь не найдешь, а вот — не найдешь», — говорит другой. Взорвало меня. «Да я и не буду искать, — говорю. — Что, разве я другой шляпы себе купить не в состоянии, что ли?» Накрыл голову платком и пошел домой... Все старался, как бы пройти где побезлюднее, да где поменьше хороших домов... Нехорошо, когда идешь по улице не в своем виде, в платке, например, на голове, вместо шляпы, как баба: тотчас сочтут тебя или горьким пьяницей, или расскажут, что жена тебя бьет. Ну, уж и точно, Матрена Ивановна чуть меня не прибила, как увидела в платке. «Ты, — говорит, — и голову-то скоро потеряешь!» — А что же, — говорю, — Матрена Ивановна, потерю, так потерю... своя голова... занимать к вам не приду!..

14 апреля.

Сегодня у нас все толковали про устриц. «Устрицы привезли, устрицы!» Батюшки! какая, подумаешь, невидаль! уж из-за устриц и службу позабывать! Я терпеть не могу устриц. Никогда не ел, только знаю, что непременно дрянь. Раз, впрочем, видел, как ели наши: так вот возьмет, срежет ножом с раковины... приложит к губам... всхлипнет... Фи! мерзость.

15—19-го апреля.

Матрена Ивановна! Матрена Ивановна! Вы меня погубили! Вы меня зарезали.

Вообразите, какое случилось несчастье... Ах! дайте собраться с духом! Дайте мысли в порядок привести, дайте... дайте уж лучше мне веревку... дайте нож... я повешусь!..

И зачем начал я сочинять, пустился в литературу... и зачем прислали мне «Литературную газету»? Впрочем, литература не виновата; я тоже не виноват. Виновата во всем Матрена Ивановна!

Слушайте!

Третьего дня я проиграл восемь рублей серебром в преферанс. Нет, думаю, завтра вечером уж играть не пойду... дома буду сидеть... Только, что бы такое делать? Гляжу: лежит на столе «Литературная газета»... А! думаю, вот и прекрасно. Кликнул старуху-кухарку, снял подтяжки, сапоги и прочее, лег, закурил сигарку и начал. Я когда читаю, люблю сигарку курить: как-то особенную прелесть от чтения получаешь... Сигары хороши Литберга, 13 коп. серебром, и Тулинова тож хороши... Впрочем, уж если дорогие сигары курить, так я советую брать Литберга... Немец! ну, известно: что там ни говори, а немец все-таки немец. Да только нет никакого расчета. Будь я миллионер, я бы не стал брать дорогих... ведь дорогая ли, дешевая ли, сторит и дым останется... а за него все равно гроша не дадут. Я по будням курю просто Семенова, 7¹/₂ коп. серебром — попробуйте. Советую, очень советую. А найти нетрудно. Я вам полное заглавие выпишу: «Табашное заведение Семенова, на Васильевском острове, цыгары из российского произрастения, 7¹/₂ коп. сер(ебром) — то есть не сотня семь с половиной коп. сер., а десяток. Сотня! ха! ха! ха! Да таких, я думаю, и сигар нет, а если и есть, так

я никогда курить их не буду. Просто, я думаю, дрянь!

Так вот я лежу, покуриваю, да читаю... Начал, разумеется, с первого номера... ну, думаю, даром пришлось, а все же не значит, что б я не должен из нее какой пользы извлечь: от первой до последней страницы всякий номер прочту. Вот читаю час и другой... а с Матреной Ивановной был немножко того... то есть не так чтоб побранились, а просто на деликатной ноге: я смотрю козырем, и она козырем, за столом просидели — не говорим. Я, признаться, когда и в хорошем расположении духа, и жена ничего, — говорить с женой не люблю: решительно сюжетов не пахожу. Да и о чем, скажите пожалуйста, говорить? Наперед знаешь, что она тебе скажет, и сам скажешь — мог бы и не говорить: она тоже уж знает! «Сегодня, Матрена Ивановна, кажется, погода хороша». — Да, Иван Александрыч, можно итти без зонтика; впрочем, возьмите зонтик на всякий случай; а то, пожалуй, опять как тогда... — «Хорошо, Матрена Ивановна, вы уж мне в сотый раз напоминаете... а в кашу луку поджаренного, пожалуйста, не кладите...» — Ну уж вы! Нет любви в вас к тому, что мне нравится. — «Мне вы нравитесь, Матрена Ивановна». — Да уж нравлюсь, я думаю. — «Дайте ручку; прощайте, Матрена Ивановна». Чмокнешь ее этак, даже без всякого удовольствия, и пошел... А бывало... Замяться, речей не найти... как бы не так! да я стихи, ей-богу, стихи сочинял... Помню, вдруг дело пошло на разлад: заупрямилась родственница Матрены Ивановны... вот тут бы вы меня посмотрели... право, ночей не спал... все ходил мимо окошек... думал, думал, думал... и такими стихами ругнул... и свет, и людей, и счастье... Пойдите, может быть, и припомню...

Сяжу на могиле и думаю думу:

Зачем человек несчастлив?

На свете довольно орехов, изюму,

Простой и французский в нем есть чернослив...

Пойдите... дайте вспомнить... Ну вот, помнится, было о том, что все отличнейшим и вкуснейшим манером в природе устроено... ешь да благоденствуй... так нет! Человек не хорош. Вот тут опять помню:

Судьба человека бросает как мячик

В гражданской палате, в уездном суде,

Средь игрищ кровавых и праздничных скачек...

Ну вот тут опять позабыл... помнится, рифма была *в воде*. Да что вам стихи... Вам я мысль расскажу... мысль была величайшая... Везде, говорю, человек, и на суше, и на море, и в земском суде, — повсюду подвержен слабостям, — и нигде я не встречал человека, который бы... Вот тут опять помню:

По свету я бродил: повсюду люди тощи
Рассудком и душой, а телом толстяки;
Здесь человечество волнуется как дрожжи
И производит — пустяки!

Каково было сказано? Сильно, сам вижу, что сильно... Запомнят я, что сам сочинил, так бы и махнул: «Пушкина!» Пушкина! далеко мне до Пушкина!.. Ну, вот, помню и дальше... Тут к себе делаю переход...

Расторгнут наш союз корыстью кровожадной,
И счастье и любовь судьбина отняла,
Теперь я слезы лью над банкою помадной,
Которую *она* на память мне дала.
Теперь не радость я — позор на сердце чую
И вот уж третий день не ел,
И скоро, может быть, туда перекою,
Где всем страданиям предел!..

У меня после уж никогда стихотворения так удачно не выходили... Мало-помалу даже отвык, а имел дарование... даже наш советник... у которого я в столе сидел... то же самое говорил, и, бывало, сидит, мурлычет под нос себе, да вдруг: «Иван Александрыч, как лучше, брат: восхитительной или очаровательной?» Подумаешь, подумаешь. — Восхитительной хорошо, и очаровательной хорошо, — говоришь. — «Нет, брат, врешь, — восхитительной лучше». — Да, — скажешь, — точно, восхитительной, кажется, лучше... — «Или очаровательной?..» — Да, очаровательной, точно, очаровательной хорошо... — Даже после и жаль стало, что стихи бросил писать... Может, и вышло бы что-нибудь; ведь, знаете, не боги горшки обжигают... Если рассмотреть хорошенько, так и Пушкин такой же был человек. Я люблю Пушкина, а Бенедиктов для меня лучше: Пушкин, как хотите, уж слишком negliжировал; видно, что совсем без всякого старанья писал: так обыкновенно все, совершенно обыкновенно, а Бенедиктов... Нет, уж если б я стал писать, так разве как Бенедиктов... Поздно немножко: стыд-

но уж в мои лета пустяками такими заниматься. А впрочем, потешу вас: может быть, и опять когда стихами тряхну...

И, господи! Чего с радости ни говорил, ни писал, как согласье, наконец, на брак получил... А женился? И о чем только ни толковали с женой... и все как следует выходило; никакой скуки не было... Теперь... ну, теперь... Нет, право, хорошо, весьма и весьма хорошо, что мы люди бедные; я принужден целый день на службе сидеть, Матрена Ивановна с кухаркой бранится, даже иногда в страхе ей пособляет... а то о чем бы стали мы говорить?..

Так вот я, признаться, с женой и вообще говорить не люблю, а тут случай такой подошел: и не надо. Занятия есть, да притом, как хотите, приятно и характер свой показать... Уж Матрена Ивановна мимо меня и раз и другой... Нет, думаю, и сама начнешь, так нескоро заговорю... Ушла; час прошел, два — не показывается. В восемь часов стала в дверях и говорит этак, спокойным голосом, будто ей все равно: «Ступайте, Иван Александрыч, чай кушать». — Не хочу, Матрена Ивановна. — Хотел, ей-богу, хотел, да думаю: пусть же ее... Читаю дальше...

Писал ко мне на этих днях старый товарищ по училищу, Александр Степаныч Бухалов. Умная был голова, а пожил в деревне, откровенно скажу, не то, чтоб тупоумнее стал, а так диким каким-то глазом смотрит на вещи... Ну, да не о том речь... Коли есть охота узнать, о чем в письме писано, стоит только в 15 № «Литературной газеты» взглянуть. Я там напечатал его. А меня одно в нем заинтересовало: он тут рассказывает про доктора Пуфа... Пуф! батюшки светы! какая странная фамилия. Пуф! Впрочем, фамилии очень часто бывают странные. Кто знает, в иной раз так сложатся слова и выйдет что-то такое... ни складу, ни ладу... хлопает по ушам, бросается даже в нос... вот, поди, раскуси!.. Ну... Бухалов, государи мои, говорит то и другое и, по всему видно, думает, что я с Пуфом знаком. Как прочел я, мне совестно стало, что я в самом деле с таким великим человеком незнаком. А хорошо быть знакомому с великим человеком. Идешь по улице с ним, всякий видит: «а! с Пуфом идет!» После уж и один идешь, и все-таки к тебе уважение тотчас чувствуют. С приятелем встретишься. «*У але ву?*»¹ — К доктору Пуфу обедать. — Я люблю обе-

¹ Куда вы идете? (Ред.)

дать на чужой счет: наешься, как помещик, и ничего не заплатишь. И кушанье дома останется. Можно разогреть на другой день... Иногда даже лучше, когда каша на другой день останется: красная станет такая, и пенки так пригорят... Да отбил у меня доктор Пуф аппетит от каши.

Как прочел, что Бухалов пишет, так нетерпение и берет поскорей до кухни добраться... Нечего делать, не читавши перевернул пять страниц. Гляжу: «Кухня, лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук, о кухонном искусстве». Читаю...

Не выдержал. Не дочитавши, побежал к Матрене Ивановне. Куда девалась и спеесь, и твердость; даже наговори она мне поутру вдесятеро, все бы простил.

— Матрена Ивановна, — говорю.

— Что, — говорит, — Иван Александрыч? — и видно, что обрадовалась. — Не имеете ли чего сказать?

— Знаете что, Матрена Ивановна? Вот вы жалуетесь, скучно вам, нечем себя развлечь... состояние наше, слава богу... каша, конечно... а во сколько обходится нам горшок каши?..

— Да что, — говорит, — Иван Александрыч, крупы фунта полтора надо... по 12 коп. за фунт... ну, восемнадцать копеек... да масла... если брать чухонское масло, конечно, дороже... а топленое... ну, копеек на 15-ть... а все же я всегда на своем буду стоять, что с чухонским каша вкуснее.

— Дрянь! Матрена Ивановна! и с топленным, говорю, дрянь, и с чухонским — дрянь.

Матрена Ивановна так на меня посмотрела, долго молчала и говорит:

— В первый раз в жизни слышу, чтобы каша с чухонским маслом была дрянь!

— Дрянь, говорю, и все прочее, что мы едим, сущая дрянь, Матрена Ивановна. Уж вы там, как себе хотите, а я вперед вашей каши есть не намерен...

Испугалась Матрена Ивановна. Бывало, подъедешь к ней, в разговорах приятных рассыпается, ручки цалуешь — никакого решительно толку. Взял другую методу. Как начну руками размахивать, без умолка говорить, и все так, чтоб она скоро в толк не взяла, — вот ей и придет в голову: как бы я с ума не сошел... очень боится этого об-

стоятельства!.. — Взгляд такой мягкий, и певучим голосом говорит:

— Если вы, Иван Александрыч, есть каши не будете, и я не буду... Нельзя же для меня одной кашу варить... Вы в доме глава...

— Так, Матрена Ивановна, так точно, — глава. И я мог бы, знаете... да зачем? ведь вы, верно, и так согласитесь?..

— Да что же такое, Иван Александрыч?

— Вот, Матрена Ивановна.

Подал ей газету. Начала читать... Я гляжу из-за плеча, и сердце у меня сильно бьется... «Видите, видите, видите, — говорю, — вот какой надобно мне обед!»

Посмотрела на меня и говорит: — Да кто ж его приготовит?

— Вы, Матрена Ивановна, вы. Разве не видите? Тут все совершенно описано. Матушка! голубушка! Салопчик новый сошью! Мочи нет, захотелось попробовать. Я умру завтра, если вы не дадите мне поесть, как хочу. Ну, да, словом, как там хотите, а чтоб завтра был у нас — *суп пюре гороховый с рисом, рыба под майонезом...*

Ну и пошел, и пошел... все до одного кушанья пересчитал... Думала, думала... — Завтра нельзя, — говорит: — завтра суббота... полы мыть... да и кушанья много осталось... Уж потерпите... в воскресенье оно и приличнее...

— Хорошо, — говорю, — так и быть, в воскресенье... Оно и правда: в воскресенье приличнее. Я люблю в воскресенье этак немножко кутнуть. На что же и праздник? Шесть дней работай, седьмой посвящай своему удовольствию. А лучше бы седьмой работать, а шесть посвящать своему удовольствию. Я бы тогда непременно начал опять стихи писать...

В субботу гулял по Невскому. Погода хорошая, по субботам у нас присутствия нет, что же больше и делать, как не шататься по Невскому? Притом долгов у меня почти нет: хожу всегда по парадной стороне: а и попадетя какой кредиторышко... что ж? поклонился ему, улыбку сладкую сделал, да поскорей, поскорей, — будто очень скоро надо, бочком. Я Невский проспект за одно не люблю: беспрестанно встречаешь знакомых — не успеваешь шляпу снимать. Конечно, есть фанфароны: он тебе или совсем не поклонится, или кивнет головой с пренебреже-

нием, или просто даже только нижнюю губу отставит. Я не таков. Еще в детстве меня отец линейкой по голове колотил и, бывало, за каждым ударом говорил нараспев: «кланяйся, кланяйся, кланяйся; ведь ты ничего... всякий человек лучше тебя, ну так всякому ты и кланяйся!» Вот я и привык. Не только начальству и знакомым всем... даже видел где, говорил... тотчас поклон... даже если физиономия важная, выражение значительное в лице — сама собою рука за шляпу тотчас так и ухватится... Невыгодно: скоро шляпа портится, да и голова заболит... Когда голова болит, очень хорошо привязать ренского уксуса и нюхать чеснок. Жаль, что приличие против чеснока и не придумано никаких средств заглушать дрянь, которою он воняет. Головка чеснока после водки — деликатес.

Иду. Вдруг навстречу мне Станислав Владимирович под руку с каким-то маленьким карапузиком в белом жилете. Шагов за двенадцать снимаю шляпу, кланяюсь. «Куда вы, почтеннейший?» — Да так-с (я тут улыбнулся) гуляю себе... превосходнейшая погода... сами изволите знать, сегодня присутствия нет... — «А мы вот устриц идем есть. Знаете что, Иван Александрович, пойдемте с нами есть устриц!» Я просто от восхищения ошалел... — С величайшим удовольствием, — говорю, — Станислав Владимирович, если только... — Ну, и пошел — вам-де со мной совестно... и слова-то я не умею сказать... и умру-то от счастья есть с такими людьми... А они только перемигиваются да усмеваются между собой... Вот пришли в лавку. «Отворить, — говорит, — три десятка устриц на глубокую сторону». Тут только я образумился. Батюшки! три десятка! Стало быть, десяток на мою долю... Добро бы одну, две... ну «ел, дескать, с Станиславом Владимировичем», можно бы как-нибудь, заткнув нос, проглотить... а то вдруг десяток!.. Думал, думал... Ведь когда болен бывает человек, пьет же и ест он всякую дрянь... Ну, положим, думаю, что я болен... доктор приехал... и прописал лекарство — устрицы... за визит ему уже заплачено... лекарство взято... надо есть! Съем, думаю, все до одной, хоть бы потом неделю пришлось пролежать... неделю пролежу, а может, на службе десять лет выиграю... Принесли. «Так вы тоже любитель? — говорит мне Станислав Владимирович. — Вот как! я, признаться, и не подозревал». — Как же-с, люблю...

даже очень люблю... каждый бы день ел, да (тут я вздохнул) не все делай, что хочется! — «Ну, смотрите же, — говорит, — Иван Александрыч, мы тоже любители, от нас не отставать... Малый! велика заготовить еще по два десяточка!» — Вот тут стоило меня посмотреть. Я как нарочно против зеркала в то время сидел: самому стало страшно... Лицо побледнело, дрожу... Ну, думаю, последний день мой настал. Еще по два десяточка! Гадость, мерзость, в рот за два целковых задумался бы взять... а они — еще по два десяточка! Портера принесли, пармезану. Съели по штуке, по другой... как они только заглядятся, я, чем бы в рот, так ее, бестию, с раковины губами на пол и сброшу... Не понимаю, чем люди могут тут восхищаться?.. Ну, портер, пармезан, все-таки какой-нибудь вкус, а тут ничего, совершенно ничего... точно мыла кусок... тьфу! даже теперь еще гадко... Мерзость, ужасная мерзость!.. «Чудо, — говорит Станислав Владимирович, — для меня нет ничего на свете лучше устриц»... — Действительно, — говорю, — лучше ничего не может и быть... Что делать: неволя врет. Как бы то ни было... нужный человек... А рассердится?.. Да ты от него тогда... не только, чтоб он с тобой за один стол сел, он тебя так... Знаю я, с кем как обойтись. Если б не несчастье, не на таком бы месте я теперь сидел...

Уж не знаю, как достало у меня силы управиться с третьим десятком... на пол... в раковины запрячу... ножом разможжу... а которую проглочу, тотчас портера, пармезана и опять портера... Я на портер вот как налегал: бутылки три один, я думаю, выкатал. Зато уж и смелость откуда взялась... То и знай твержу: «Ох! деньги! деньги! Уж я ли не люблю устриц, а должен есть корюшку». (Корюшка, по-моему, в тысячу раз лучше устриц.) «Уж век я вам благодарен... просто вы не только — Станислав Владимирович, вы — благодетель мой... Ну, когда бы довелось мне без вас устриц поесть?.. Сами извольте знать... место незначительное... дети... жена... оклад самый умеренный... да я просто душу за вас готов положить... да я не знаю, чем поблагодарить»... И вдруг... Не понимаю, откуда смелость взялась... За руку ухватил. «Батюшка! — говорю, — Станислав Владимирович: осчастливьте своим присутствием»... И пошел, и пошел... Словом, стою на одном: пожалуйста завтра откушать. У меня, говорю, обед

самый легонький: суп пюре, говорю, гороховый с рисом, майонез из рыбы... ну и пересчитал...

Думал, думал. — Хорошо, — говорит, — Иван Александрыч, для вас так и быть: буду!

Человек глуп. Только улыбнется ему счастье, или хоть надежду на счастье завидит вдали, тотчас голова у него вверх дном: и то, видишь ты, может случиться, и то... уж он и четверкой летит, и всякий ему впереди место дает... а глядишь: в самом деле, какая-нибудь дрянь такая случится, что вместо счастья надуют тебя, как индйского петуха, или какой-нибудь у тебя родственник сыщется, квартиру на месяц займет. С нами был такой случай. Раз сидим после обеда с женой; вдруг гляжу: входит человек почтенной наружности... за ним женщина... другая, третья... четвертая... одна другой хуже... Да, не говоря худого слова, как бросятся на меня и на Матрену Ивановну... чуть не задушили в объятиях. — Как? что? по какому случаю? — «Родственник», — говорит, а винищем так от него во все стороны... — Помилуйте, да с какой-же стороны? Я вас не знаю... — И хотел дверь показать, да как разговорились — и вышло, что действительно родственник. Стал у нас на квартире. Дочери с утра до вечера бранятся, все платья Матрены Ивановны раз по пятнадцати примеривали; сам домой приходит в нетрезвом виде, ночью буянит, кричит. Содом! Просто выгнал бы, да нельзя — родственник!..

Чего я ни думал, как ожидал к себе Станислава Владимировича, а наконец... стыд, позор, посрамление рода человеческого!.. Я до сей поры не могу образумиться; как вспомню, так сейчас весь и затрясусь. Ну, как бы то ни было, такой человек удостоил честию откусать, и что ж?.. Я одному удивляюсь, как еще я на месте и нет ни<ка>кого: «такой-то, дескать, Пружинин, за такие-то и такие-то противозаконные поступки...» А стоило бы, признаюсь от души, стоило бы! Конечно, я тут, если разобрать, совершенно не виноват. Матрена Ивановна... ох, Матрена Ивановна!

Матрена Ивановна удивительно любит лук. Вот оттого она дома всегда сидит и в хорошее общество ни ногой. А начини говорить... «Я, — говорит, — Иван Александрыч, и генеральшей была бы, все стала б лук есть, а уж в вашем звании...» — Каждый должен быть доволен

своим званием, Матрена Ивановна. — Спорим, спорим, а все-таки на другой день сели за стол: от всякого кушанья лучищем несет, хоть беги вон из комнаты! Что делать! помаленьку привык. Даже начал вкус находить... Мне кажется, привыкнув, можно во всем вкус найти. У меня был знакомый из малороссиян... накрошит, бывало, редьки в молоко... укусу немножко вольет... посолит, перцем приприснет, а на хлеб ломтик сала свиного положит и так себе уписывает. А другой всякому деликатесу соленую треску предпочитал... Вот еще вонючая вещь. У меня квартира прекраснейшая была, гораздо лучше теперешней... И дешева... да за стеной каждый день жарит сосед — соленую треску. Вонь такая, точно по черной лестнице в четвертый этаж поднимаешься... Переехал.

Угостил я Станислава Владимировича; будет он помнить... да и мне отрыгнется!.. Вообразите, какую штуку сыграла Матрена Ивановна. Во все кушанья наклала луку... Станислав Владимирович при каждом кушанье ласково и даже с удовольствием улыбался, хохотал даже... и говорит: «ничего! ничего»... Ну, нельзя сказать также, что ел очень мало... Да ведь знаю я: он человек политичный, не покажет и вида, а там такую тебе закорючку загнет. Ох-о-хох! Что со мной будет? А уж так не пройдет!.. Приведись на меня: я бы сам за такую штуку... Суп пюре с луком! рыба с луком! тетерев с луком!

Ушел. «Ну, — говорю, — Матрена Ивановна, благодарю! благодарю! Одолжили вы меня! разодолжили! не забуду вовек!» — А почему же я знала? ведь там, — говорит, — не написано — луку не класть...

Вот подите с ней... Когда лишусь места... больше ничего не останется, как посвятить себя литературе. Так и сделаю. Придумываю уже, в каком роде сочинение написать и какое заглавие дать. Заглавие важная вещь: иногда одним заглавием много сделаешь... Вот, помню, в прошлом году на меня дурь нашла... поссорился с женой... и ну пить... сегодня, да завтра, да послезавтра, так три недели... рапортуюсь больным... проснулся... голова трещит... «Сергеевна, водки!» Подала. Только налил рюмку, входит почтальон. Пакет с городской почты. Гляжу: рука Станислава Владимировича. С почтением разворачиваю — тоненькая книжонка в желтой обертке «Слово о пьянстве...» Уже из одного заглавия тотчас понял, что надо делать. Рюмку

тотчас вылил назад в штоф, умылся, оделся и марш на службу... — Ну уж, — говорит Станислав Владимирович, — если б вы не пришли...

Вторник. 25 апреля.

День, два, три прошло, а ничего еще нет. Даже Станислав Владимирович вежлив со мною попрежнему. Неужели так пройдет?..

Статья четвертая

С тех пор, как я не писал, много воды утекло, много важных событий в жизни моей совершилось. Боже мой! Моя добрая, великодушная, благородная Матрена Ивановна... но лучше расскажу все по порядку.

Писал уж я, каким образом начитал в «Литературной газете», в лекциях доктора Пуфа, наставления хорошо и дешево есть; рассказывал, как Матрена Ивановна нас угостила и что из того вышло; теперь надо рассказать остальное. Забрало за живое Матрену Ивановну: «нет, — говорит, — в другой раз хоть ты все свое начальство сзови — не сконфужу; такой, — говорит, — обед изготавлю!» Хорошо, говорю. Переменилась совсем моя Матрена Ивановна: только встанет, чем бы с кухаркой поругаться, мне грубость этакую сказать, — сидит себе у окошечка и «Литературная» перед нею открыта; читает доктора Пуфа. А наконец, в воскресенье поутру проснулась; гляжу, лицо такое праздничное. «Ну, — говорит, — Иван Александрыч, уж если я, — говорит, — сегодня ничего путного не сделаю, считайте меня просто тряпкой!» — Зачем, — говорю, — тряпкой, Матрена Ивановна. Вы, Матрена Ивановна, такой же человек, как и все, а не тряпка; тряпкой посуду, — говорю, — вытирают. — «Ну, уж там как хотите, — говорит, — а я даже чаю сегодня пить не буду. Попросите, — говорит, — к обеду, если можно, Станислава Владимировича».

Хорошо. Укланял Станислава Владимировича. Станислав Владимирович радехонек, даже упросил с собою Георгия Андреевича: «пойдем, говорит, посмеемся». И что ж? Ну, Матрена Ивановна, благодарен, тысячу раз благодарен! обед приготовила восхитительный и все решительно в такую точность с наставлениями доктора Пуфа сделала, что хоть бы самому доктору Пуфу. Луку, где не показано —

хотя бы на ноготок. Зато и гости были довольны, что называется с головы до ног, и теперь, я думаю, мне награждение какое-нибудь готовится. Не знаю, какое именно, а предчувствие говорит. Даже и по картам выходит, а если по картам выходит, так уж верней смерти. Карты не человек — врать им не для чего и не из чего; умей только их разложить. Вот, говорят, гаданья вздор, а я по себе знаю, не вздор: у меня в 1819 году волосы стали лезть. — Погадайте, — говорю Раисе Гурьяновне (Раиса Гурьяновна Матрене Ивановне друг задушевный, даже всегда одинаковые платья шьют себе), — что бы такое значило, когда волосы лезут? Разложила карты, пошептала, помахала головой. «Ну, — говорит, — худой знак: быть вам, Иван Александрович, с лысиной!» И точно, с полгода еще полезли волосы, а в 1820 году я оплешивел. К плешивому человеку больше чувствуют уважения и даже, при случае, жалованья больше дадут; однакож, я бы лучше согласился быть с волосами — *волосы есть первое украшение человека*, — это я и в одной книге читал, — а без волос иной человек на такое что-то похож...

Упрекал меня один наш знакомый, хороший весьма человек. «Вот, — говорит, — братец, все в твоих сочинениях хорошо: я всегда с большим удовольствием читаю, и даже брат мой выпил однажды лишнюю и говорит: «жизнь человеческая исполнена треволнений, в могиле, — говорит, — спокойнее», и хотел утопиться. Дал ему, братец, твои сочинения, читай, — говорю, — не будешь скучать: Иван Александрович тебя рассмешит! — И точно, с тех пор уж он и не заикнется: «жизнь-де человеческая исполнена треволнений», — веселехонек. — «Так вот, — говорит, — все в твоих сочинениях хорошо; только слишком уж ты, братец, — говорит, — завираешься! Начнешь об одном, а там и пойдешь и пойдешь, и просто только заговоришь, а между тем главную материю оставляешь». Задумался я, пробежал со вниманием статейки свои: «прав, говорю! надо исправиться». Надо исправиться! легко сказать! Да каким образом? Ведь я не записной сочинитель, сочинять никто меня не учил, даже я с сочинителями почти не знаком, даже, если хотите, я и не сочинитель: пишу просто, как об чем думал сам, или как на что смотрю, а умничать, разные философские глубокомысленности отпускать... да мне, кажется, десять тысяч в год

жалованья дай, так я философствовать не способен. Навимать бы за себя разве стал. Нет! куда нам с Матреной Ивановной! Мы люди темные; у нас своя философия: не в свои сани не садись, не по силам за труд не берись... Вот у нас был родственник; на слова собака, мог бы хоть кого заговорить, только образования решительно никакого... Толкнул, однакож, лукавый! «Пойду, — говорит, — в учителя!» Нанялся к помещику в деревню. Год пожил, а другой... похаженья, что ли, у него были какие... идет ночью мостом через деревню... вдруг как будто кто-нибудь подтолкнул, или другим образом — бултых в воду! Руку вывихнул и красноречие навсегда потерял: язык отнялся с перепуга; теперь — даже противно слышать! — мычит как теленок, а прекраснейший был человек... Ну, вот я и опять пошел. В самом деле, прав мой знакомый: весьма и весьма завираюсь. Начал про Матрену Ивановну — не кончил, начал про знакомого — тоже не кончил, кинуло к родственнику.

Впрочем, про Матрену Ивановну упомянуто только так: хотелось почтить печатною благодарностию за обед, которым она накормила Станислава Владимировича. Да и тут, если порядком разобрать дело, главная благодарность доктору Пуфу: мастерски описывает разные кушанья, и — вот мы теперь сами на деле увидели — стоит только строго исполнять его наставления, превосходнейшие будешь есть кушанья. Мы с Матреной Ивановной, вот уж другую неделю, едим каждый день новый «примерный обед» и каждый день хвалим доктора Пуфа. Однажды Матрена Ивановна даже говорит: «просто Наполеон!» Я, знаете, сначала чуть не захохотал, а как пораздумал, так и увидел, что Матрена-то Ивановна себе на уме. Если дело как следует разобрать, так для меня доктор Пуф даже выше Наполеона... Наполеон... какой-нибудь... Он так себе велик... и Европу чуть не завоевал... Да мне-то какая от того польза?.. а тут дело чистое: человек о желудке моем печется, здоровье мое блюдет, кормит меня за дешевую цену власть. Оно, конечно, Наполеон сам по себе, доктор Пуф сам по себе, а все же, по-моему, так. А знаете ли, какую штуку недавно выкинули французы: перенесли прах Наполеона с острова Елены в Париж, и памятник там ему великолепный поставили. Я читал об этом книгу: очень хорошо написана и интересная вещь; советую пробежать. Ну уж

французы! куда ни посмотри, так он тотчас перед тобой весь, целиком, и уж не скажешь — немец, англичанин, русский; нет, у него все свое, даже если он дичь какую нести начнет, тотчас видишь — француз. Впрочем, насчет дичи, если русский человек размахнется, так уж тут и француз, и англичанин, и немец — пас, — и даже ни на каком диалекте, говорят, слова чрезвычайно так не выходят.

Вот Сульё — француз. Уж как он там себя ни называй — *италмейстер султана Абдул-Меджида-Хана, директор*, и хоть тысячу себе названий еще прибери, а все же ты меня не надуешь; я сейчас вижу — француз. Был в воскресенье на Измайловском плац-параде. Как хотите, нельзя не быть. И Матрена Ивановна тоже была: хочу, — говорит, — взглянуть «Большое конское ристалище». Места раскинуты, я думаю, в окружности по крайней мере на полверсты; в середине другой маленький круг для верховых. Я, когда взгляну на человека верхом, не могу не вспомнить лета моей юности. Тотчас в голову разные мысли придут; и будто опять сделается тебе этак лет десять или двенадцать, и дядя перед тобой на лошади верхом сидит: Гаврило пешком идет, ружье в руках; собак на своре ведет. В молодости я жил у дяди, а дядя у меня, человек небогатый, занятия никакого кроме псовой охоты решительно не имел. Бывало, чуть утро, в рог затрубит, поднимет весь дом, сел на лошадь и поехал, и, бывало, как только Гаврила зазевается и собак своих со своры не успел спустить, промах по зайцу даст, он на него ужасно сердится; тотчас подскакивает к нему. А зато уж домой приедут: позовет его — вина, кушанье с своего стола и все про охоту толкует; как там краснопегий кобель, Нахал, первую угонку дал, и как заяц со страху под бревно залез; а я все слушал, слушал, бывало, даже самому захочется на охоту. И что же ведь, поверите ли? с двенадцати лет начал травить... Ну, да когда-нибудь я вам подробно расскажу, а теперь я ведь заговорил о Сульё... Вишь как меня, в самом деле, кидает! С Измайловского плац-парада уж и в деревню как раз я залетел, за тысячу верст, и собаки у меня перед глазами запрыгали, и дядя воскрес... даже самому совестно; завираюсь до чрезвычайности. И отчего? На словах я совсем не таков; слова от меня подчас не добьешься; сижу,

зажав рот, боюсь, как бы глупости какой не сморозить... А взял перо — и пошла писать!

У Сульё были скачки преинтересные; скакали истоя, и сидя, и на одной, и на пяти лошадях; две мамзели, одна с белым хвостом, другая с синим, задували мимо публики вперегонку; видъ превосходнейший! Чудак какой-то стал на лошади снимать с себя разные одежды, и то явится шутком, то наездником, то вдруг женщиной — белая юбка, лифъ черный; стоит на лошади и несется во весь опор, как ведьма киевская, и публике поклоны и разные нежности отпускает. Матрене Ивановне даже страшно стало. «Да долго ли, — говорит, — будет он раздеваться?» — Не бойтесь, — говорю, — Матрена Ивановна: ничего оскорбительного для вас не случится. — «Да, не бойтесь, — говорит, — ведь не весь же он из платья... Вы мужчины... вам ничего, а нам-то, женщинам, каково!»

Умная женщина Матрена Ивановна; на все имеет резон и очень боится как-нибудь не с хорошей стороны себя показать. В заключение скакал сам шталмейстер Сульё на пяти лошадях; лошади красивые; сам одет красиво; картина величественная; только, воля ваша, немножко страшно. Ну, пошатнись он как-нибудь неловко — вот вам и шталмейстер. Недолго проживешь, как под пятью лошадыми побываешь. Есть же такие отважные люди! Я даже не понимаю, каким образом у человека достает смелости таким образом на пяти лошадях стоя прокатиться — уж нечего сказать, есть за что деньги взять. Да жаль: народу было очень мало — полторы или много две тысячи... не раскутишься! Ведь у него одних лошадей, говорят, до сотни есть; надо их прокормить; надо квартиру большую иметь; надо тоже и самому; прокатившись так, захочешь немножко и уважить себя. Жаль. Если будет еще «ристаллице», я непременно с дачи нарочно приеду, и вам советую побывать. На дачу я переезжаю на-днях. Куда? Расскажу в следующий раз.

Статья пятая

Третьего дня я шел по Невскому проспекту. Прихожу домой; лежит на столе письмо. Прочитал раз, другой. Сердцу радостно стало. Боже мой! боже мой! какая мне честь!

Сочинения мои читают и хвалят умные люди, даже за советами ко мне прибегают. Побежал к Матрене Ивановне; ей прочитал. Она мне прямо на шею. «Этак вас, душечка, — говорит, — когда-нибудь невзначай прямо в знаменитые писатели пожалуют, да и мне что-нибудь»... Даже мы с ней, верите ли? заплакали, и с час все толковали, как может случиться, что нам нечаянное каксе-нибудь счастье выйдет: раз пятнадцать перечитывали письмо. Хорошо написано. Дело казусное. Я сам разрешить не берусь. Просят письмо напечатать. Извольте, печатаю:

«М<илостивый> г<осударь>. Пружинин! (извините, вашего честного имечка и отчества не имеем чести знать.) Вы часто пишете в «Литературной газете», которую мы каждый четверг читаем в трактире, — пишете о разных разностях, словом — обо всем хорошем. Из этого мы догадываемся, что вы ведете знакомство с сочинителями, учеными, — словом, со всеми умными людьми. Часто даже завидуем вашему согласному житью с вашей сожительницей Матреной Ивановной, которую мы, нижеподписавшиеся, ставим в пример нашим женам.

Неча сказать, наделил вас бог Матреной Ивановной, славная женщина!.. Да не в этом дело. Ох, грехи тяжки, мы уже и заговорились... Вот в чем дело, батюшка наш, г. Пружинин.

Мы, нижеподписавшиеся, решились прибегнуть к вашему высокоблагородию (извините, не знаем вашего чина), с совсепокорнейшею просьбою решить нам нижеследующий вопрос: в 90 и 91 № одной газеты некто господин *Немчинов* объявил, что чай содержит в себе чистую кровь. Прочитавши это, мы чуть не обмерли со страха!.. Боже милосердый, в чае кровь... мы таки в ту минуту и оставили пить чай... Это было в среду, пусть бы в четверг или в другой какой день, а то в среду... Пить с кровью чай!.. Что мы, басурманы, что ль?.. Дивимся, как это раньше не опубликовали. Право, диво-дивное и чудо-чудное делается на свете... С той самой минуты, как узнали, что в чае кровь, — в рот его не берем. А чайку смерть хочется! Ну, исполать г. Немчинову, в чае кровь...

Вот, батюшка, ваше высокоблагородие, в этом-то только и состоит наша просьба.

Потрудитесь сделать милость — поразведать у ваших

знакомых сочинителей и ученых, — правду ли написал г. Немчинов... Покорнейше вас просим напечатать наше письмо и ответ ваш на оное в «Литературной газете», — потому напечатать, что не выищется ли кто-нибудь из вашей братии ученых, разуверить нас, с ясными доказательствами, что в чае нет крови.

В ожидании от вас ответа, остаемся с высокопочтанием вашего высокородия покорнейшие слуги:

Петр Анисимов (сапожник).

Федул Прокофьев (подрядчик).

Андр. ПМНВ (сочинитель сего письма)».

Какова закорючка! *В чае кровь?* Да если бы мне сказали: *в крови чай*, я бы не так испугался и удивился! Непременно спрошу ученых людей, как оно там. Оно, конечно, если по нашему простому рассудку судить, так много толковать нечего: ну, какая в чае кровь? А все может быть... ученые лучше нас знают. Непременно спрошу. Вот будет оказия, как окажется в чае действительно крозь. Да я с отчаяния трех дней не проживу, и Матрена Ивановна тоже... Мы зачастую ведь кроме редьки, капусты, огурцов да чаю с медком ничего не употребляли, а тут вдруг... Нет, узнаю, узнаю, и поскорей — иначе и спать спокойно не буду... да и добрых людей тоже поскорей извещу... недаром писали... А покуда, добрые люди, прощайте. Спасибо, что удостоили письмецом и Матрену Ивановну похвалили: она мне сегодня в чай рому так ухнула! Добрая женщина Матрена Ивановна!

КРАПИВА

Почтенный доктор энциклопедии и других наук господин Пуф в последней своей лекции (лист 13-й *Записок для хозяев*) преподавал прекрасные наставления о гастрономическом приготовлении *здоровой зеленой травы* для трансцендентальных наслаждений желудка. Но да позволено будет и мне, скромному пахарю, не только не доктору, но и не Пуфу (благодаря создателя!) сказать словечко о том, что, конечно, крапивные щи — объядение, однако крапива и не на одни щи пригодна и что это весьма полезная трава во многих отношениях. Есть люди, которые, бог весть почему, считают крапиву вредною травою; я знал садовников, которые преследовали ее, как опаснейшего врага; после этого неудивительно, что скромная крапива, как изгнанница, проживает в безвестности в глухих и уединенных местах, в тени заборов и изгородей. Между тем всякому ли известно, что все части этого растения имеют полезные свойства? Не говоря уже о варении щей из молодых листьев и о некотором употреблении веток старой крапивы в интересных проделках домашней расправы у некоторых хозяев, скажу только, что корни крапивы, сваренные в воде с небольшою прибавкою квасцов и обыкновенной соли, дают красивую желтую краску; семя крапивное подсыпают конские барышники в корм лошадям для того, чтобы придать им веселый взгляд и лоснящуюся шерсть; из волокон, заключающихся в крапивных стеблях, голландцы делают весьма нежные и дорогие ткани. Конечно, это все такие свойства, которыми не всякий может воспользоваться; но вот и такие, которые пригодны для всякого *селовода* (как выражается у нас один *знаменитый агроном-импровизатор*): крапива, употребляемая в виде

корма, доставляет рогатому скоту здоровую и питательную пищу, которая особенно тем выгодна в хозяйстве, что крапива скоро поспевает и легко разводится: она неприхотлива насчет земли, растет на самой плохой, без всякого об ней попечения, и без беды выносит всякие непогоды. Косить ее можно несколько раз в лето, и рано весною, когда еще нет в полях никакого корма скоту, крапива уже обыкновенно стоит в полном росте. Если предполагают скармливать крапиву свежую, то ее нужно скосить молодой, но если хотят сделать из нее сено, то выгоднее оставлять ее расти далее, однакоже не до того, чтобы стебли ее, огрубев, не задеревятели, потому что в таком случае скот ест ее неохотно.

После этого судите сами, полезна ли крапива! Как жаль, что я не поэт; а то для убеждения вашего сейчас же бы сложил стишки вроде тех, какими один почтенный человек защищал недавно *картошку*, начав свою «оду на картофель» истинно горацанским экзордиумом:

«Картофель! харч благословенный!» и проч.

ПИСЬМО ***СКОГО ПОМЕЩИКА О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ КНИГ, О ВРЕДОНОСНОСТИ БАРАНЬИХ БУРДЮКОВ С КАШЕЙ И О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ¹

Усмотрел я из «Литературной газеты», что ты, брат Иван Александрыч, в сочинители влез. Стало быть, с сочинителями знаком; в Петербурге живешь, — ну, натурально, 'многое знаешь, что мне и не снится. А я, брат, встретил здесь такую задачу, какой вовек не встречал и вовек собственным умом не решу. По старой памяти помоги. Вот в чем, братец, дело. Расскажу все по порядку.

Я живу постоянно в деревне, занимаюсь хозяйством и стараюсь о благосостоянии своих мужичков, то есть не так, чтобы самому было с ущербом, а чтоб и мне было хорошо, и им хорошо... Оно конечно, почему мужичку и в кабак не сходить, не великая важность, лишь бы оброк он хорошо платил; да в том беда, что чем больше в мужике пристрастия к кабаку, тем меньше от него пользы. А у меня мужички баловали-таки изрядно. «Если так, — думаю, — дело

¹ Эту статью получили мы от г. Пружинина, принятого нами недавно в сотрудники «Литер. газеты», при следующей записке: «Вот письмо прежнего моего товарища по училищу,*** помещика Александра Степаныча Бухалова. Прочитав, усмотрите, что он просит меня разрешить некоторые вопросы, которые для него весьма важны. Но сам я, по недавности моей в литературе, еще в эти дела хорошенько не вник и сам, точно так же как Бухалов, ровно ничего тут не знаю. Посылаю к вам письмо г. Бухалова: можете его напечатать, потому что в нем ничего нет такого, что бы могло относиться не к чести моего старого товарища. Только с условием: ответьте ему за меня, о чем он там просит. Что же касается до обещания в конце письма, то как нам между собою сделаться, — впоследствии спишемся. Впрочем, ведь до осени еще далеко, да притом хорошо, как он пришлет, а то, может, ведь и надует!»

И. Пружинин

Исполняем просьбу г. Пружинина и с удовольствием помещаем занимательное письмо г. Бухалова в «Лит. газете». <Примечание в «Литературной газете».>

пойдет, придется мне с семейством на старости итти по миру. Нет, примусь-ка за ум!» Смекнувши, что чем человек будет умнее и больше хорошего знать будет, тем скорее рассудить может, что не годится дурно вести себя, — смекнувши это, я стал выписывать разные книги, которые пишутся у нас для простого народа; роздал грамотным мужикам и заставил их читать вслух с неграмотными. Сначала дело шло плохо; нужно было надзирать, сами страсти к чтению не имели; потом стали кое-что и без надзору почитать — да только не все. Я и прежде спорил с соседом Турухтановым, что не всякая печатная книга хороша, а тут меня простой пример убедил. Веришь ли? Иную книгу читают, никто им не приказывает, иную даже ничем читать не заставишь! Пока идешь посадом — видишь, один читает, другие будто и слушают; завернул за угол, глядь — принялись все зевать, как будто трои сутки не спали. Смекнул я, что мужички мои не совсем, стало, тут виноваты: видно, иные книжки попадают вздорные. На кой же прок, думаю, я за них деньги плачу? Сам я, признаться по откровенности, большой охоты к чтению не имею, есть у меня одна книжка дареная «Русский в Константинополе», лет уж восемь валяется, да и той, признаться, не дочитал. Журналов никаких не выписывал; на что же, когда страсти к чтению нет? только лишний расход! Да вот бог привел-таки высылать деньги и за журналы; не захотелось дрянных книг покупать. Спрашиваю у соседа, у Горбоносова (Турухтанов сам ничего не читает): «Какой, братец ты мой, лучший в России журнал?» — «Листок для светских людей», — говорит. «А что в нем, — спрашиваю, — описывают?» «Да всё, — говорит, — учат с дамами обращению, как то есть в свете себя вести на тонкой ноге, ну и там разные тонкости». — «Где тонко, — думаю, — там и рвется. Нет, моим мужичкам нужно покапитальнее». — «А какой еще лучший, — спрашиваю, — журнал?» — «Да какой, — говорит, — право, я, братец, не знаю... вот такой-то очень хорош, да только, братец, он не выходит». — «Ну нет, — говорю, — мне надо такой, чтобы хорош был и выходил, — хочу наводить справки». И пошел к другому соседу. «Какой, — говорю, — лучший в России журнал?» — «Да вот этот», — говорит. «А что же он?» — говорю. «Да книжечки невелики, ну и печать, братец, не так, чтоб слово к слову лепилось, по крайней мере не в тягость прочесть.

А то другой и руку всю оттянет... и устанешь... и голова у тебя кругом пойдет, а не дочитать, бросить на половине жаль: ведь деньги заплачены: только мучение!» — «Оно так, — говорю, — да отчего же не дочитать? Ведь можно не вдруг... ну, а чего сам не осилишь, ступай на охоту, жена прочтет. Нет уж, — говорю, — по-моему, коли тратиться, так чтобы, — говорю, — вещь была видная... пусть ее руки оттянет... Можно мальчишку заставить держать, а тощий журнал...» Не дали договорить. Случился тут еще сосед, двоюродный брат Турухтанова. «Ну, так подпишитесь, — говорит, — на «Отечественные записки»; за прочее, — говорит, — не ручаюсь, а уж вид — просто мое почтение! Я сам для виду держу...»

Рыскнул, выписал «Отечественные записки». Турухтанов правду сказал: книжки толстые, широкие, длинные; ну и текст... много всего есть, всякого жита по лопате найдешь... только иногда в толк не возьмешь... ну, дело понятное, видно, молодой еще человек — завирается! «Сумароков, — говорит, — вздор. Державин — великий, — говорит, — сочинитель, а читать теперь уж скучно. Дмитриев, Хемницер, Херасков — вздор». А ведь все врет! Я помню, лет тридцать назад сам... учитель нам говорил: Сумароков — великий драматург, Херасков — великий баснописец, ну, там и другие, Петров... Случалось, что-нибудь и прочтет — и точно, помню, весьма и весьма хорошо. И после, когда в разговоре... умные люди сойдутся, все то же самое говорят... хвалят... и сам то же при случае говоришь... Так даже уж и привык. А тут вдруг ни с того, ни с сего — вздор. Махнул рукой: «Пускай, — думаю, — врет! меня от того не убудет! Себе же вред делают: всякий про них же кричит, что, мол, объелись белены. А все-таки для меня полезный журнал: всякую новую книжку тебе разберут, и пример налицо: сам видишь — ни к чему не пригодна! задаром над ней же еще посмеешься». Только как стал по журналу выписывать, как раз и беда: чтения нехватило! «Или журнал, — думаю, — уж очень сердит, или и вправду мало сочиняют хороших книг для простого народа». Так прошел год. Узнал от соседа еще про журнал: «Выходит в Петербурге, — говорит, — «Эконом». Выписал и «Экономию». Превосходная вещь. Читаю всегда с особенным удовольствием и даже многие наставления полезные почерпнул. Попадался и впросак, правда, раз, два... ну там, может,

и три, а все же на «Отечественные записки» не променяю; да и читать легче; хоть каждую неделю выходит, а все же не то: гораздо и гораздо поменьше листов. В январе нынешнего года прочел в «Отечественных записках», что при «Литературной газете» будет выходить особый хозяйственный лист при каждом номере под названием «Записки для хозяев». Выписал и «Литературную газету». Тоже очень хорошая вещь. Доктор Пуф — я так полагаю, должно быть, выслужившийся из поваров, — пишет наставления, как готовить хорошие и дешевые кушанья, да тут же честным словом каждого заверяет, что от таких кушаньев никакого быть не может вреда и человек всегда будет здоров. Ну, как не читать? Есть из нас всякий любит, а я даже еду предпочитаю всему; ты мне ни карт, ни вина, ни там другого чего-нибудь, а уж обед мое дело. Сижу пять часов за обедом. Два раза в день, был помоложе, обедывал, кроме закуски и ужина. Чего человек не дельвал смолоду! Ох, молодость! молодость! и няни тарелку полную скушаю, и бараний бурдюк с кашей... и ветчины... мне окорок, бывало, на один раз. Тяжело, через силу дух переводишь, с места пошевелиться лень... а, прошел час — все как рукой сняло; давай хоть снова обедать! То-то, молодость-то! все проходило, брат; да теперь уже не то: как чересчур переложить, особенно баранины и всего, что пожирней, после обеда хоть плачь: боль в животе, грусть нападет, дрянь ужасная лезет в голову, и поверишь ли? — даже иногда, — сам не знаешь, что за история, — теленок танцует перед тобой экосез, луковица говорит тебе человеческим голосом... наковальня перед тобою стоит... кузнец гвозди и молот держит в руке... подкова раскалена... «давай ноги!» говорит: «подкую...» И вдруг в ушах зашумит, застучит, а в ногах боль такая пойдет... мука смертельная, а ни встать, ни закричать силы нет. Скрежещешь зубами, а перед тобой разные рожи так и скачут, и скачут, и скачут, прыгают, показывают язык, кулаками тебе грозят... Доктору нашему городскому сказал. «Кушайте что-нибудь, — говорит, — полегче; у вас желудок испорчен». Ну как же, братец, не радоваться? вдруг получаю наставление: учит здорово есть. Призвал повара. Подлинно, рыбак рыбака видит издалека: повар тотчас все понял и ужасно обрадовался... Надо тебе сказать, что он у меня когда-то в Петербурге у хорошего повара обучался...

да заехал сюда: няня да няня, бурдюк да бурдюк, — все и забыл! А тут вдруг вспомнил все, побежал — белый фартук надел, колпак: «нельзя, — говорит, — так готовить французский стол», — и этак часа через три изготовил мне, братец, обед. Конечно, не то, совершенно не то, даже три года назад я бы в рот не взял такого кушанья... Ешь — вкусно, приятно, удовольствие получаешь, а фундаментальности, брат, решительно никакой! Зато после обеда спишь, и пляска тебе не мерещится, и никто не смеет тебе язык показать... Я очень благодарен доктору Пуфу; хороший должен быть человек.

Ну, братец, так и «Литературная» оказалась для меня полезная вещь, и хоть книг приходилось мало выписывать, да зато уж книги были все дельные. Еще в прошлом году выписал по «Отечественным» первую книжку «Сельского чтения», — просто, брат, пальчики облизал. Особенно благодарен я князю Одоевскому и г-ну Заблоцкому. Если знаком, брат, скажи, что я их уважаю; так им непременно и скажи. Не только мужики, сам я — стыдно признаться! — читал книжку с удовольствием и даже, между нами будь сказано, многое из нее почерпнул. Г-на Заблоцкого я уважаю, а князя Одоевского даже люблю; ты, брат, так ему и скажи. Как бы то ни было: князь, брат, хороший, говорят, сочинитель, а с простым человеком так говорит! Мужички мои просто одурели от радости; даже один, плут, при мне другому шопотом говорит: «вот бы такого нам барина!» Я на него-таки и прикрикнул, а про себя невольно подумал: «правду говорит!» В нынешнем году выписал и вторую книжку «Сельского чтения». Прочел; правду в журналах сказали: хороша! «Нет, — думаю, — много и очень много сделали мне пользы журналы; хорошо, очень хорошо, что журналы у нас издаются», — как вдруг — запятая...

Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, получаю осьмой номер «Литературной». Как водится, прямо в «Новые книги». На ловца зверь бежит; только ткнулся: «*Воскресные посиделки, книжка для доброго народа русского*». «Жаль, — думаю, — у меня не весь наголо добрый народ, за иным недоимок и разной худобы тьма, а иной злодейски притом куликает...» Ну, понимаешь, не смекнул сначала, что «для доброго» сказано тут напросто для красы. Однакож не выдержал, прочел, что говорят. Не хвалит: цель, говорит, хорошая, а исполнение самое жалкое. И примеров не-

сколько приведено; действительно, даже из примеров видно, что исполнение жалкое. В «Отечественные» гляжу — там подробный разбор. Каждая «Посиделка» рассказана, и видно как на ладони, что сочинитель просто не знает быта крестьянского и совсем не бывал ни на каких посиделках. Кабак *Иваном Елкиным* называется, а в нашей слободе кабак называется просто: «*У нашего у Никитки хороши есть напитки*», — так и при входе написано; в соседнем селе кабак «*Не проезжаем*» зовут, в Бетегинском — «*Веревочный*», у Середы просто надпись «*Путейный дом*»; вот в Муханове точно все говорят «*Под елку...*» ...да за что же Муханову перед всеми почет? Опять же у сочинителя *косушкой* перепилось 25 человек, да ведь как: мужик спалил бороду, баба такой вздор понесла, что «мужик схватил старуху за *шлык* да ну ее трясти...» видно, одурел с перепугу... И много тут я начитал; и не хотел бы верить — нельзя: поверишь, как на все пример налицо... Мужики все набраны пьяницы: тот «бедную жену как собаку избил», тот извозчика обокрал и «теперь золото роет в Сибири», а Пахомыч страшную дичь несет, даже вошел в азарт и стихами заговорил.

Вдруг гляжу в «Эконом»: так прямо в глазах и мелькнула о «Посиделках» статья и внизу примечание: «Статью эту и ряд других редакция «Эконома» получила при письме от тихвинского помещика». Читаю письмо. «Нуждался очень, — говорит, — в книгах для мужиков; вдруг, — говорит, — узнал, что явились в свет «Посиделки», обрадовался и в тот же день выписал из магазина *общего всей нашей помещицкой братье комиссионера десяток* экземпляров, роздал их мужикам и сам ну читать с ними. Начитавшись досыта, пишу, — говорит, — библиографическую статью, которую прошу, дескать, покорнейше напечатать». Читаю статью. Хвалит. Меня как обухом... Стал втупик совершенно. Это бы еще ничего, да вот что меня поразило. — Прослушай, брат, хорошенько:

«Пчела» объявила, что все эти статьи пишут помещики и управители, все люди, знающие коротко быт народный, сжившиеся близко с русским человеком, *а не щепетильные франты, которые идеализируют везде и для русского простолюдья хотят жанполиться, как в каких-нибудь своих нелепых, впрочем, разноцветных сказках. Эти господа не знают Руси, не знают русского характера и думают, что*

они все сделали, когда понапичкали простонародные рассказы разными простонародными выражениями, не всегда даже кстати».

Задумался я. «О каких же тут, говорю сам себе, господах говорится? Какие же это, думаю, господа, которые не знают Руси, не знают русского характера, употребляют простонародные выражения, не всегда даже кстати, — те, что ли, которые заставляют 25 человек баб, девок и парней напиваться с косушки, у которых мужик трясет бабу за шлык, а Пахомыч говорит стихами?... Не может быть, говорю сам себе. Ведь это все в «Посиделках», а «Посиделки» тут хвалят, говорят, что *«редакция «Посиделок» вполне уловила то, что понимает и любит народец наш православный»*. Стало быть, речь о других господах». Думал, думал. Ну идеализировать, *жизнополиться*... и то, и другое... *наша братья помещицы* на такие слова не ходок... да и намеков ей делать не для чего... коли что есть на душе, говорит прямо... Опять же, чтобы наекнуть на кого... этак невинным образом прикрывши лицо... шопотом, сквозь пальцы, — нужно знать, как оно там и что... и подъехать с какой стороны... Долго продумал бы, да получаю вдруг «Эконом», т. VII, тетрадь 167. Читаю статью г. Бурнашева о «Сельском чтении». Глядь — попал вошь на какие слова:

«Статьи же князя В. Ф. Одоевского, конечно, полезны и полезны в высшей степени, потому что он в них разрешает необычайно трудные вопросы относительно паров, газа, термометров и барометров, делая все эти *трудности* легкими и доступными для самого необразованного, но мало-мальски бойкого ума. Но статьи эти были бы несравненно полезнее, ежели бы были изложены без всякой подделки под язык простолюдинов, что избавило бы автора от чрезвычайных трудностей, а читателю доставило бы удовольствие не встречать таких слов: *ино место, домек, ономедни, тем часом, гуторить, надо, резонт, тутошние, другорядь*, и пр. и пр., которые простолюдин в печати *терпеть не может видеть*».

Тут понял я все — и какой это г. Тихвинянин, который говорит то же самое, что г. Бурнашев, только на другой манер, и на кого они тут намекают. Долго не мог смекнуть, для чего. Да как прочел снова статью, добрался до места, где г. Бурнашев объявляет, что он *редактирует* «Воскресные посиделки», — так тут все и сделалось для меня ясно. Не-

понятно только одно: зачем г. Бурнашев говорит: «хотя я сам *редактирую* «Воскресные посиделки», *почитаю* *низким пользоваться* моим положением рецензента для того, чтобы отвечать обидными шутками за выходки и отмщать (что?) на хорошей и истинно полезной книге, какую я не могу не признать «*Сельское чтение*», издаваемое князем Одоевским и г. Заблоцким».

Вот это, братец, мне решительно непонятно! Растолкуй, если можешь.

А того, что я, братец, понял и собственным умом раскуеил, так не оставлю. Г. Бурнашев и г. Тихвинянин вздумали упрекать князя Одоевского за употребление простонародных слов и выражений... Веришь ли? с досады я чуть не заплакал! Как? что особенно и пришлось-то нам по душе, из-за чего мы и книгу-то десять раз прочитали, — вдруг за то нашего благодетеля упрекать... да еще с намеками: *жанполиться... идеализировать...* Объясни, братец, мне, что значат эти слова... Я их не понимаю... Веришь ли? сначала я даже испугался... Да подумал потом: князь Одоевский, верно, и не читал, да и не прочтет никогда, что об нем там написали... А все же не могу в защиту ему не сказать, что есть на душе ¹. Пускай хоть чем-нибудь докажу к нему благодарность и уважение. К нему придираются: «не употребляй, — говорят, — мужицких слов, выражайся по-барски, не подлаживайся под мужицкую речь; *простолюдин этим обижается всегда и везде*». Нет! нет! тысячу раз нет! Поверьте мне; я шестьдесят лет живу на свете и по крайности сорок из них провел с мужиками. Начни-ка с мужиком по-барски свысока говорить, нос задирать, да он к тебе ни доверия, ни малейшего уважения... Нет, ты его постепенно к тому доведи, чтоб он тебя понимал. Да я вот сам, недалекий пример, никогда даже не думал о том, а как начну с мужиком толковать... ну, случается, полезное что-нибудь вычитаешь в журнале... наставленья какое захочешь дать... так простые слова тотчас с языка сами собой и берутся... уж совсем не тот разговор, как с женой и с учителем... и ведь что же?.. я как понагнусь немножечко

¹ Разумеется, князь Одоевский не нуждается ни в похвалах г. Бухалова, ни в защите против гг. Тихвинянина и Бурнашева, но, решившись напечатать письмо г. ***ского помещика, мы не считаем себя вправе вычеркнуть из него что-либо. *Ред.* <Примечание в «Литературной газете».>

до него... он, глядишь, на цыпочки приподнимется как раз до меня... ну, друг дружку при помощи божией и пойдем. Вот оно что!.. Нет, простонародные слова можно и даже в ином случае надо непременно употреблять, пока мужик к барским словам не привыкнет; только не надо косушкой 25 человек спаивать и «трясти бабу за шлык». Вот уж это так точно значит *жанполиться!*

А покуда я таким образом рассуждал, ко мне десяток книжек «Воскресных посиделок» прислали. Взял один экземпляр, начал читать, перечитывать книжку, и разные мысли тут меня посетили. Под статьями все подписаны имена *Трифон*, да *Пахом*, да *Феклист* староста, а было объявлено, что под этими именами скрываются известные литераторы, да управители и помещики. Даже, поверишь ли, сомнение меня взяло: что ж, думаю, отчего ж бы известным литераторам, управителям и помещикам, — так-таки решительно всем до единого, — скрывать свои имена? Ведь дело благое: для народа пишут, общественному образованию, говорят, хотим споспешествовать; стало, стыдиться тут нечего... Нет ли другой причины какой? Напиши, брат, пожалуйста; да уж если можно, не знаешь ли, кстати, кто эти литераторы и помещики?.. Мы — люди темные... Вот «Сельское чтение» — другое дело. Читаю статью, а под ней гляжу: имя. Оно мне и отвечает.

Не хотел-было совсем уж и раздавать до получения от тебя ответа «Воскресных посиделок» моим мужичкам, да г. Бурнашев говорит: «издаются с благородным предназначением служить чтением для простонародья русского»; а г. Тихвинянин вторит ему: «чтение это удалит многих от кабака»; г. Бурнашев говорит: статьи г. Одоевского в «Сельском чтении» нехороши потому, что в них встречаются простонародные слова, «которые простолюдин в печати терпеть не может видеть», а г. Тихвинянин вторит ему: «Редакция «Воскресных посиделок» хорошо делает, что не хочет допускать этих кривляний, а говорит с простолюдином русским просто, ясно, не насилуя свой (его) способ(а) выражений для того, чтоб быть понятнее, а делаясь все от того темнее и темнее. Все, что рассказано в «Посиделках», ясно как день»... Ну, и прочее: так и доказывают наперебой один перед другим, что «Воскресные посиделки» — прелесть.

Подумал, подумал и роздал «Воскресные посиделки»

грамотным мужичкам, а между тем смекаю сам про себя: «посмотрю, какие-то будут последствия!» Да почти никаких. Только на другой день староста приходит ко мне.

— Ну, что нового? — говорю.

— Да ничего, ваша милость. Слава господу, в ночь наша Щелкуша (река, омывающая мои владения) прошла. И как же ведь разлилась знатно — у!.. озимь всю потопила и по другую сторону сенокос; надо быть, хлеба будут у нас и *вкусны, и сытны, и сладки*, а в прошлом году — не приведи бог — у многих даже просто были *гадки*.

Меня, поверишь ли, даже взорвало...

— Что ты, — кричу, — как говоришь? Разве я на то книги вам покупаю, журналы выписываю, стараюсь всячески учение пичкать в вас... Вот заговори-ка у меня еще так... Я тебе дам «*сладки*», будешь ты у меня помнить: *вкусны да гадки*...

— Помилосердуйте, — говорит, — ваша милость. С места сейчас не сойти, буде от себя слово какое выдумал. От вашей же милости по вотчине был приказ: печатному верить, и в каждом деле стараться, как в печатном советуют, поступать. Вот поглядите, — говорит.

И подал мне книжку. Развернута на стихах. Читаю вслух, братец:

Картофель, харч благословенный,
Во время скудости для всех бесценный,
И хлебом кто нуждается,
Картофелем нередко пропитается.
Картошки и *вкусны, и сытны, и сладки*:
Поганства в них нет, и лишь *гадки*
Те люди, которые мнят,
Что богом картофель *проклят*.

Ну, «Воскресные посиделки!» Спасибо, исполать! Сгоряча хотел было отобрать у всех. Да остыл... Что ж, думаю, чем же вся книга за стихи виновата? И отдал по вотчине чрез десятских приказ: стихов в «Посиделках» не читать...

Однако уж опоздал. Ванька Мошкин едет мимо барского дома с возом дров и во все горло поет:

Крапива! драгоценная трава!
Когда у мужика все кадки пусты,
С тобою щи варят вместо капусты,
И во крестьянстве ты сытна и здорова!

Ты даже нрав порочный исправляешь
И к трезвости пьянчугу возвращаешь,
Когда на старости, колюча и жестка,
В руках десятского <ты хлещешь мужика>.

Не выдержал... Высунулся из-за ворот.

— Что ты, — говорю, — приказанья барского не исполняешь?.. Разве тебе староста не говорил: из «Посиделок» никаких стихов не читать?

— Да и не читаю, — говорит, — статочное ли дело против приказу барского поступать?.. Там писано про картофель, а про крапиву я сам, ваша милость, сложил...

Прав! В «Посиделках» точно нет про крапиву, а все же ведь из «Посиделок» научился.

«Вот, — думаю, — стало, и от стихов в «Посиделках» есть польза: мужик стал стихи складывать».

«Да какая же, — потом думаю, — польза?»

Вот и об этом еще ты уведошь меня, Иван Александрыч. Добиться никак своим умом не могу и в недоумении большом нахожусь... А Ванька уж пропасть таких стихов сочинил: каждый день новую какую-нибудь штуку поет: про редьку, про хрен, про косушку... и другой мужик, Федор Алексеев начинает также складывать вирши... Запретить или поощрить?.. Да вот еще уведошь ты меня об одном... Получил я 170 тетрадь «Эконома»: там опять хвалят «Посиделки» и желают «значительного числа читателей». А все же лучше, если б ты еще свое мнение написал... Или хоть попроси, чтоб в «Литературной» поскорей разбор сделали... А я сам просто в недоумении. Даже мужиков, которые поттолковее, призывал, с ними советовался, читал им оглавление второй книжки «Посиделок» (оно все выписано в разборе у г. Тихвинянина).

— Вот, братцы, — говорю, — хотите ли читать такие статьи:

«Чтоб маленькая частица земли урожала много хлеба, надобно пашню много унаваживать *в тех губерниях, где навоз употребляется*».

— Знаем, батюшка, знаем, — все вдруг говорят, — веситимо так: навозу побольше и хлеба побольше! Был бы только навоз!

— Знаете, — говорю, — так не для чего вам и статью читать. А знаете ли, как надо поступать, чтобы навозу было побольше?

— Вестимо как, батюшка: побольше, коли есть, скотине корму давать...

— Ну так, стало, вам, — говорю, — и эту статью: «*Коли хочешь от скотинки своей иметь много навоза, давай ей побольше и получше корма*» — не надо читать.

И так с ними все статьи по оглавлению перебрал: «знаем, — говорят, — батюшка, знаем!» — А все же, — говорю, — не худо выписать книжку. Может, опять в ней случатся вирши. Ведь вот и от виршей польза есть... «Нет уж, — говорят, — виршей и знать не хотим».

Так вот, брат Иван Александрыч, все это и побудило меня к тебе писать. Не оставь, брат, ответом. Все запросы мои разреши. Я тебе к осени, к первым заморозкам, десяток кур и свинью самую жирную в подарок пришлю.

Твой и проч.

Александр Бухалов¹.

¹ Приняв на себя по просьбе г. Пружинина обязанность отвечать на вопросы, затрудняющие г. Бухалова, мы можем только сказать, что заметили в г. Бухалове, по некоторым местам его письма, значительную способность метко и верно догадываться и, судя по тому, в чем уже догадался г. Бухалов, думаем, что ему небольшого труда стоит догадаться и в остальном. Стоит только хорошенько вникать в обстоятельства дела. Что же касается до разрешения вопроса о второй книжке «Посиделок», то разбор этой книжки будет помещен в следующем № «Лит. газеты». *Ред. <Примечание в «Литературной газете».>*

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДАЧИ И ОКРЕСТНОСТИ

⟨1⟩

В городе пыльно и душно; за городом прохладно и зелено. Время покинуть Петербург, уступить его широкие и поврежденные улицы мостовщикам, оставить богатые и великолепные квартиры для поправки и подновления штукатурщикам и обойщикам и переселиться в скромные, уютные, не всегда достаточно защищенные от холода и удобные, но красивые домики, которые называются «дачами». Пускай Петербург строится, подновляется, увеличивается новыми зданиями, мы не будем мешать ему, мы поедем на дачи.

Куда? в какую сторону? У всякого свой вкус, свои расчеты, свои виды, и каждый выбирает себе летнее жилище, соображаясь со всем этим. Иной хлопочет, чтобы ему было поближе к Петербургу — ему каждый день нужно маршировать пешечком на службу; другой хлопочет, чтобы ему было поближе к той или к тому... ну, словом, к чему особенно лежит сердце — и забирается в Мурино, даже и далее; тот нанимает на Крестовском, потому что там каждый день надеется встречаться по нескольку раз с человеком, в котором имеет нужду, и свидетельствовать ему глубочайшее почтение, в совокупности с таковою же преданностью; а этот перебирается в Парголово, потому что с парголовской горы прекрасный вид на многие дачи, и, между прочим, на домик, где живет почтенное семейство, украшение которого составляет семнадцатилетняя дочь красоты неописанной. Сей перебрался было за Екатерингоф, но в первый день заметил там, на прогулке, целую сотню своих кредиторов, и на другой день его не стало; дачу нанял *оний*, встретивший то же самое неблагоприятное обстоятельство на Петровском острове. *Таковий* живет в

Колтовской, потому что жена его не может пробыть дня, не видав Арины Андреевны, у которой братец большой охотник до уединенных прогулок и очень любезен с дамами; а *толикий*, опять по своим причинам, перебирается на Аптекарский.

Сколько драм, сколько водевилей разыграется, пока, наконец, петербургские жители разделят между собою, каждый с сохранением возможных удобств, эти воздушные, скороспелые здания, которыми усеяны окрестности Петербурга. Привычка — вторая натура, и человек, даже переезжая на дачу, старается удержать за собою возможность удовлетворять ее требованиям. В самом деле, если вы, например, сделали привычку пить чай у Ивана Ивановича... а *кольми паче*, если вы сделали привычку к чему-нибудь поинтереснее чая, для чего также необходимо водить дружбу с Иваном Ивановичем... Ну, где вы наймете дачу?.. Нет, привычка — великое дело. Я сужу по себе: я так привык занимать деньги у одного достопочтенного человека, что даже нанял дачу в одном с ним доме.

Но для тех, кого ни особенные привычки, ни пристрастия, ни какие-нибудь тайные причины не влекут к известному пункту, для тех, кому нужны дачи не дорогие, но удобные, кто должен ежедневно отправляться в Петербург на службу и заботиться о том, чтоб издержки на ежедневные, неизбежные поездки были как можно умереннее, — для тех всего удобнее жить за Лесным институтом или на пути туда, лежащем по Каменноостровскому проспекту, через Каменный остров, мимо дачи графини Строгановой и т. д. Если мы утверждаем, что жить на этом тракте особенно удобно, то имеем на то причины, которые, верно, заставят вас согласиться с нами. Нам достоверно известно, что с 15 мая учреждается *омнибус* для желающих ездить на Спасскую Мызу г. *Беклешова* (за Лесным институтом), в окрестные места и обратно, который будет ездить по Каменноостровскому проспекту, через Каменный остров, мимо дачи графини Строгановой и так далее. Это известие, с первых слов, должно обрадовать многих и очень многих, но когда мы скажем, что поездки омнибуса хорошо применены к потребностям дачных жителей и цена чрезвычайно дешевая, тогда сердце ваше, к которому так близок карман, ощутительно истоща-

емый частою необходимостью платить извозчикам втридорога, — затрепещет от восторга. Итак, слушайте. Омнибус будет ездить по вышереченному тракту четыре раза в день туда и четыре обратно; цена за место в омнибусе в один конец в обыкновенные дни *25 коп. сер.*, в праздничные и воскресные *30 коп. сер.* Если сообразить, как много дач, наполненных жителями, лежит по тракту, избранному омнибусом для поездок, то нельзя не назвать этого учреждения благодетельным и не пожелать, чтоб оно имело полный успех. Удобств, которые сопряжены с этим прекрасным учреждением, невозможно всех перечислить. Вместо того, чтоб торговаться с извозчиками, которых к тому же не во всякое время можно отыскать на иных дачах, и нанимать их по часам или каким-нибудь другим образом, но, во всяком случае за довольно значительную цену, — вы не заботитесь ни о чем, приходите в известный час к пункту отшествия омнибуса, платите четвертак и садитесь в спокойный и просторный дилижанс; вас не трясет, как на дурных извозчичьих дрожках; не пылится ваше платье; не набивается вам пыль в рот, нос и уши; не щемит ваше сердце тайное предчувствие (очень часто сбывающееся, когда едешь на извозчичьих дрожках), что вот-вот лопнет шина, сломится колесо или случится другое какое-нибудь повреждение и вы останетесь среди дороги ждать, пока все придет в прежний порядок, — если только есть возможность привести сломанное колесо в прежний порядок, — а между тем семейный ваш суп стынет, жена сердится, дети плачут и просят «папы», а если вы едете на обед к постороннему, то еще хуже: известно, какие иногда несчастия случаются от получасовой просрочки обеденного времени! Хвалы и благодарения достойны учредители омнибуса, и когда омнибус начнет свои поездки, мы не преминем тотчас на нем прокатиться и сообщить читателям результаты нашей поездки.

Действия омнибуса начнутся, как уже сказано, с 15 мая. Пункт отшествия его из Петербурга — у Гостиного двора, а с Спасской Мызы — у часовни. О часах отправления будет извещено в свое время. Да увенчается полезное предприятие учредителя заслуженным успехом, что непременно и будет, если только публика наша не захочет пренебречь собственной своей выгодой!

Мы не ошибемся, назвав эту новость в настоящее время

самую *интересною*, если не вообще для любознательности человеческой, то для кармана. Других новостей мы не знаем. Наступает такое время, когда запас новостей истощается, да и нет в них надобности. Теперь довольно часто и в большом ходу только новости для желудка, но об них ежедневно можно осведомляться из объявлений Смурова, Елисеева и комп. Устрицы! как много поклонников устриц, но как много и людей, решительно не понимающих поэзии устриц и соединяющих с представлением о них чувство крайнего омерзения! Отчего это? как? почему? Эти вопросы может разрешить разве один глубокоученый доктор Пуф. Наше дело сказать только, что устрицоеды столько же удивляются отвращению от устриц иных людей, сколько *сии последние* удивляются их пристрастию. Один из жарких поклонников устриц сочинил даже защитительный и вместе хвалебный гимн, на манер знаменитого защитительного стихотворения «Картошка, харч благословенный!»:

Устрицы! харч благословенный!
Во время жарости для всех бесценный!
Кто хлебом не нуждается,
Устрицами нередко пропитается.
Устрицы и вкусны, и сытны, и сладки,
Поганства в них нет, и лишь гадки
Те люди, которые врут,
Что устрицы гадость, и устриц не жрут!

Это стихотворение было пропето хором у Сомова, над грудями опустошенных раковин и — уверяем вас — произвело там необыкновенный эффект.

Весьма замечательна камер-обскура г. Бросса, показываемая у Исакиевского моста, в небольшом деревянном здании, за чрезвычайно умеренную цену. Вот что говорит о ней наш достопочтенный сотрудник И. А. Пружинин в письме от 26 апреля:

«Были в *Отель-дю-Нор* втроем: я, еще один наш чиновник, да купец... тот самый, которому я прошение писал и за которого хлопочу по судам. Угощал и тем, и другим, и третьим; наконец расплатился, вышли, с меня пот так градом... я когда поем хорошо, у меня всегда выступает на лбу пот крупными каплями... а товарищ немножко даже на последней ступеньке загнулся. «Чем бы еще угостить вас?» — спрашивает купец. Мы было отговаривались, так

нет. «Если ни есть, ни пить, — говорит, — не желаете, так мы-ста другое найдем угощение. Вот, — говорит, — извольте следовать за мной в это место»... Подводит нас почитай к самому Исакиевскому мосту и показывает на деревянный домик на правой руке. «Что же тут?» — говорим. — А в этой камере, — говорит, — немец будет показывать шкуру. — «Какую же шкуру?» — А не можем знать, — говорит, — увидим-с. — Захотелось и в самом деле взглянуть. Заплатил за троих. Вошли. Маленькая, темная, круглая комнатка, а в потолке посередине фонарик, из фонарика свет. Посреди комнаты на возвышении круг... Что ж, думаю, никакой шкуры... вдруг входит старушка (самого г. Бросса, видно, не было дома), начинает тянуть за веревочку, что висит у стены, и вдруг...

Боже мой! боже мой! я чуть с ума не сошел. Представьте себе... этак на кружке каком-нибудь, аршина с полтора, а пожалуй и меньше... как на блюдечке перед нами Невский проспект... да не то чтобы нарисованный Невский проспект, а просто живой, как он есть... Люди, экипажи, магазины, словом все, даже верите ли? свинью какую-нибудь мужик несет на плечах, ее вам тут не забудут, собачонка дрянная бежит, и ее тотчас подхватят, а уж люди-то, люди... Сходство невыразимое! Даже многих можно в лицо узнавать; я имел счастье засвидетельствовать глубочайшее почтение Станиславу Владимировичу: шел по Невскому с двумя дамами, видно, идут устрицы есть... Ну, уж устрицы!.. Не один Невский проспект, старушка множество улиц нам показала, и все так же хорошо, выразительно, натурально. Я все добивался от нее, чтоб она сказала, как делаются такие штуки, и даже посулил ей гривенник, да нет, крепится — не говорит. Чудеснейшая вещь! непременно пойду в другой раз смотреть, а перед тем Матрене Ивановне скажу: «подите, дискать, прогуляйтесь по Невскому». Пойдет, — а вот я все там и узнаю. То-то будет смеху-то!..»

Нам остается только прибавить, что за вход в камер-обскуру платится только 30 коп. серебром и что удовольствие, доставляемое камер-обскурою г. Бросса, далеко превышает эту цену.

В Детском театре давал очень интересные «представления жонглерских пьес» г. Дрессор. У него мало новых

штук, но старые, виденные нами уже от других фокусников такого рода, г. Дрессор выполняет с невероятным проворством и силою. В представлениях участвовала также г-жа Дрессор, поднимавшая, в вертикальном к столбу, находившемся на сцене, положении, каждой рукой по пудовой гире. К замечательнейшим штукам г. Дрессора принадлежит, между прочим, перекидывание в одно время 24-х фунтового ядра, куриного яйца и ножа; интересна также следующая штука: г. Дрессор берет в рот бокал, за край дна, на верхнюю сторонку бокала ставит ребром целковый, а на целковый острым концом шпагу, на верху которой прикреплена тарелка, — и шпага начинает вертеться с невероятной быстротою на вертящемся целковом. Хороши штуки с павлиным пером, которое, будучи кинуту кверху, само собою становится на лоб или на нос г. Дрессора и даже довольно долго держится на лбу, почти совершенно в перпендикулярном положении, причем г. Дрессор ходит рассчитанным и размеренным шагом. Вообще никто из видевших представления г. Дрессора не скажет, чтоб они были скучны.

Наконец новость, совершенно летняя, готовится для нас на Измайловском плац-параде, где строится гипподром, для скачек г. Сульё и К°. Г. Сульё дает «большое, чрезвычайное представление, состоящее из скачек верхом, стоя на лошадях и в торжественных колесницах». Подобное представление было уже дано труппою г. Сульё и Лауры де Бах на Александровском плаце и произвело значительный эффект. Стало быть, г. Сульё нечего бояться издержек; они вознаграятся с избытком: нужно только устроить гипподром обширнее и удобнее. Кому не интересно будет полюбоваться «чрезвычайным представлением», когда и на обыкновенные представления труппы г. Сульё набиралось так много народа? Вот как описывает прошлогоднее «чрезвычайное представление» один петербургский старожил:

Как все, страстей игралище,
Покинув кучу дел,
На конское ристалище
Намедни я смотрел.
Шталмейстера турецкого
Заслуга велика:
Верхом он молодецкого
Танцует трепака.

Арабы взоры радуют
Отважностью своей,
Изрядно также падают
Мамзели с лошадей.
Ристалище престранное,
По новости своей,
А впрочем балаганные
Их штуки веселей.
Начальник представления,
Сулъё, красив и прям,
Приводит в восхищение,
В особенности дам.
Доныне свет штукмейстера
Такого не видал:
Достоинство шталмейстера
Недаром он стижал.

Посмотрим, так ли будет ныне, или иначе. Во всяком случае, за что можно ручаться, — публики будет необычайное множество, какого на наших общественных сборищах не бывает. Теперь, кажется, ничего более не остается, как пожелать вам благополучного переселения на дачи... Итак, перебирайтесь с богом и, пожалуйста, не спрашивайте «что нового?» Нового теперь до самой осени не достанете у нас на вес золота. Новости придется почерпать из заграничных газет.

ОГОВОРКА

В прошлом номере мы говорили об омнибусе, который будет ходить в известные сроки из Петербурга на Спасскую Мызу г. Беклешова и обратно. Сведения, пересказанные нами, получили мы из первых рук и передали, нисколько не сомневаясь в их достоверности, за которую ручалось нам, между прочим, и то, что те же самые сведения были еще прежде сообщены в неофициальной части одной газеты и *днем* ранее в «Северной пчеле». В субботнем фельетоне «Север. пчелы» (6 мая, № 101) мы прочли следующее:

«Северная пчела» напечатала известие, полученное ею из первых рук, о заведении омнибуса, который с 15 мая должен ходить от Гостиного двора до Спасской Мызы к Лесному институту, и *умышленно* сделала две ошибки, чтоб узнать, перепечатают ли это известие с ошибками.

Далее говорится, что известие действительно *перепечатали*, рассказав другими словами, в неофициальной ча-

сти одной газеты, именно, в фельетоне под названием *Петербургская хроника*, и что то же самое известие находится в 17 № «Лит. газ.» — все с теми же будто бы умышленными ошибками «Сев. пч.», — стало быть-де другие газеты всё перепечатывают из «Северной пчелы», — что и требовалось доказать. А две умышленные ошибки состоят именно в том, что цена за место в омнибусе будет взиматься не 25 и 30 коп. сер., а 30 и 40 коп. серебром.

Не принимая на себя защиту *неофициальной части газеты*, в которой будто бы *перепечатано* известие «Сев. пчелы», — чего, впрочем, не могло быть, ибо известие это явилось в «Журнальных отметках» *одним только* днем позже, чем в «Север. пчеле», — мы находим нужным уведомить, что известие об учреждении омнибуса получено нами из первых рук в том самом виде, как мы его передали, а не перепечатано из «Север. пчелы», откуда перепечатывать не допустят нас никогда собственные выгоды нашей газеты. Что ж касается до изменения цены, то оно могло произойти от самой естественной причины: вероятно, общие толки о дешевизне первоначальной цены и новые соображения издержек с предстоящею выручкою внушили учредителю, не сделавшему еще от себя публикации, мысль возвысить несколько цену, на что он имел полное право. В заключение нам остается только сказать, что новая цена за место в омнибусе в обыкновенные дни 30 коп. сер., а в праздничные и воскресные 40 коп. сер., — если только «Северная пчела», сообщившая это известие, не сделала опять *умышленной* ошибки с какою-нибудь целью. О старании «Сев. пчелы» уверить публику, что остальные газеты живут перепечатками ее, говорить не будем: против этого говорит достоинство тех газет, на которые намекает «Север. пчела».

⟨2⟩. ПЕТЕРБУРГ И ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДАЧИ

I

Иван Семеныч был молодой человек с чрезвычайно пылкою душою и страстно любил природу. Ему был понятен этот таинственный шопот древесных листьев среди вечернего мрака; это величественное солнце, медленно заходящее, напоминало ему жизнь человеческую; это беспре-

станное кукуканье кукушек, которых так много в окрестностях Петербурга, говорило ему о вечности...

Семен Иваныч был также молодой человек и душу имел не менее пылкую, но гораздо сильнее, чем природу, любил — бильярд. В бильярде видел он не простое произведение рук человеческих, служащее к скорейшему сбыту лишних денег и лишнего времени, но что-то полное таинственного и глубокого смысла. Это зеленое пространство, с ловушками по всем концам и посередине, называл он — *светом*; в этих суетящихся, стучащих, степенно идущих и безумно бегущих шарах, старающихся загнать друг друга в яму, — видел он верное отражение *людей*, с их страстями и всеми волнениями; наконец в этих случайностях выигрыша и проигрыша, в этих поворотах счастья и несчастья и во всем, что ни делается на бильярде, он видел *жизнь*, настоящую, действительную жизнь, — жизнь как она есть. И Семен Иваныч, в кругу добрых товарищей, очень часто говаривал, в раздумье указывая на бильярд: «Вот, господа, жизнь как она есть!»

Судя по описанным наклонностям двух друзей (Иван Семеныч и Семен Иваныч были закадычные друзья), судьбе, казалось бы, ничего более не оставалось, как поместить Ивана Семеныча на лето где-нибудь в окрестностях Петербурга, на даче, а Семена Иваныча оставить в городе. Но недаром сказано, что судьба прихотлива: она поступила совершенно иначе.

Друзья, как вы догадываетесь, служили (потому что кто же из порядочных людей не служит?), и притом оба служили в одном присутственном месте, даже в одном столе. Но Семен Иваныч в продолжение целой зимы и весны, вместо того, чтобы ходить на службу, изучал в трактирах и ресторациях, на бильярде, жизнь как она есть, и как раз к лету получил чистую отставку. Иван Семеныч, напротив, стараясь заглушить в душе своей влечение к природе, деятельно занимался службою и к лету получил лучшее место с прибавкою жалованья.

Таким образом, праздный Семен Иваныч должен был отправиться с семейством на дачу (в П***), а повышенный, по горло заваленный работою Иван Семеныч — оставаться в городе. Оба были тронуты до глубины души, и оба плакали.

Плакали!.. А как, подумаешь, мало нужно было для

их счастья! Если б вместо Семена Иваныча исключили из службы Ивана Семеныча, а Семену Иванычу дали прибавку жалованья, оба они были бы счастливы!..

— По крайней мере, — говорил Иван Семеныч плачущим голосом, подавая на прощанье руку отъезжающему товарищу, — по крайней мере пиши мне из П***, доставляй мне хоть через посредство твоего поэтического пера (Семен Иваныч был поэт) почаще случаи наслаждаться природою, — ее журчащими ручьями, зеленеющими пригорками, тенистыми рощами. Ах! тенистые рощи!..

Иван Семеныч зарыдал.

— Не плачь, — отвечал Семен Иваныч мрачно. — Бог еще знает, кто из нас несчастнее. А ты видишь — я не плачу. Обещаю тебе, обещаю все, что только может послужить к облегчению твоего горестного и тяжкого заточения... Ах, заточение! как я ему завидую!.. Но обещай же и ты передавать мне, по временам, в твоих чудных, сладостно-гармонических звуках (Иван Семеныч был тоже поэт) поэзию той жизни, которую я теперь покидаю... Ах, мой друг, ты не знаешь, что значит покидать эти широкие улицы, этих шумных и веселых друзей, с которыми знакомишься за партиєю в пять шаров, дружишься за «алагером», эту «жизнь как...»

Семен Иваныч не договорил; слезы, долго удерживаемые, хлынули ручьем на грудь Ивана Семеныча, куда упал несчастный в порыве беспредельного горя.

Долго длилось молчание; наконец друзья в последний раз пожали друг другу руки, на минуту, по русскому обычаю, присели, что-то пощептали, выпили по рюмке водки (вина в тот день у Ивана Семеныча не случилось) и расстались, повторив друг другу обещание писать как можно чаще...»

II

Спустя неделю Иван Семеныч сидел за канцелярским столом и занимался очинкою или лучше сказать отделкою пера. Перо давно было очинено, но Иван Семеныч все еще вертел его в руках, подносил на свет и внимательно приглядывался к очину, осторожно отрезывал на ногте большого пальца едва заметную частицу с кончика, вырезывал городки на опушке пера, подрезывал верхушку, скоблил

все перо от маковки до очина. Наконец, когда перо было совершенно готово и представляло красивейшую в своем роде игрушку, Иван Семеныч встал, пошел в другую комнату и подал перо толстому господину, сидевшему впереди всех, который находился в положении человека ничем не занятого, потому только, что ему чего-то недоставало. Движение, сделанное толстым господином, показало, что он именно ожидает пера, и благосклонная улыбка была наградой Ивану Семенычу за тщательное исполнение поручения. Иван Семеныч возвращался довольный и веселый к своему месту, как вдруг движением пальца подозвал его к себе экзекутор. — Я вчера был в П***, — сказал он, — и встретил Семена Иваныча: он просил передать вам...

— Письмо? — перебил Иван Семеныч, и сердце его забилося от нетерпения.

— Да, письмо, — отвечал хладнокровно экзекутор, — но я забыл его дома; вы зайдите ко мне ужю.

Иван Семеныч сидел как на иголках, не мог ничего делать, и как только присутствие кончилось, тотчас кинулся за экзекутором. И вот, наконец, письмо в его руках.

С сильно биющимся сердцем сорвал он печать; развернул; тотчас узнал руку давнишнего друга и сослуживца и с жадностью начал читать.

Письмо состояло из стихов и прозы. И в прозе и в стихах Семен Иваныч беспощадно бранил природу и петербургские дачи. Этот несчастный, совершенно лишенный сочувствия с природою, сравнивал себя с собакою, привязанною на цепи у ворот дома, который она вовсе не имеет охоты стеречь, и божился, что перегрызет цепь рано ли, поздно ли, хоть потеряет все до одного зуба... Но лучше послушаем самого Семена Иваныча, тем более, что в письме, как мы уже сказали, есть стихи, которых содержание передать прозой невозможно. Я этим не хочу сказать, что в них нет содержания, но только то, что Семен Иваныч — поэт чрезвычайно оригинальный...

«Что ты там себе ни толкуй, любезнейший Иван Семенович, а ничего нет хуже жизни на даче. По-моему, это даже стыдно, при той степени образованности, на которой находится человечество в XIX веке. Если бы согласно было с здравым рассудком жить на дачах, то есть в мерзких лачужках, холодных и неуклюжих, в удалении от

всех удобств жизни, то для чего же люди стали бы строить города? Я тогда только и чувствую себя просвещенным человеком, а не дикарем, когда живу в городе. Ведь журчащие-то ручейки, тенистые рощи, пустые пространства, называемые лугами, и вся дрянь, которую ты восхищаешься, были и при царе Горохе...»

Иван Семеныч пожал плечами в недоумении, как можно так решительно говорить о таких предметах, и, быстро пробежав глазами страницу, плюнул. Ему крепко не понравилось, что Семен Иваныч в таких резких и, можно сказать, неблагонамеренных выражениях отзывается о вещах, им столько любимых. Только через четверть часа Иван Семеныч мог продолжать чтение.

«Ты просил меня, чтоб я беседами о природе разогнал твою тоску. Да как же я буду ее разгонять? Сам знаешь, погода стоит скверная, — холодно, почти каждый день идет дождь — ну, скажи, о чем тут беседовать и что тут для тебя утешительного? Иное дело, если б мы жили в Павловске, в Царском. Там есть бильярды, играет музыка Германа, обедают за общим столом; Сульё давал свои представления, там публики тьма-тьмущая собирается; воксал, говорят, отличнейшим манером отделали... А у нас что? Скука, да слякоть! никакого решительно развлечения ни для сердца, ни для ума. Только страдаешь, как собака...»

Здесь следует сравнение, которое мы уже привели, а затем стихи:

А здоровье? Уж не наше ль
Славно крепостью стальной?
Но скорее немца кашель
Схватишь, друг любезный мой.
Здесь и русская натура
Не защита, трень-трава!
Уж у нас архитектура
Летних зданий такова!
Словно доски из постели,
Наши стены толщиной,
И в стенах такие щели,
Что пролезешь с головой.
Дует в спину, дует в плечи,
Хоть закутавшись сиди, —
Беспощадно гасит свечи
И последний жар в груди.
А когда на долы свыше
Благодатный дождик льет,
Ну укроешься под крышей —
Он и там тебя найдет.

На дорожках грязь и слякоть,
И, скучая день и ночь,
Ты готов со злости плакать —
Но слезами не помочь!

Но бывают дни в неделе,
Солнце ярко так горит
И приветно во все щели
И в окошко к нам глядят,
И бежишь тут из лачужки
По лесной дороге вдаль,
Чтоб кукуканьем кукушки
Разогнать свою печаль,
Чтоб пред солнечным закатом
На лужайке полежать
И еловым ароматом
Для здоровья подышать,
Чтоб могла тебе природа
Все открыть свои дары,
Чтоб скорей тебя в урода
Превратили комары...
Отвратительное племя!
Жгут, тиранят и извят...
И хорошее-то время
Превращают в сущий ад.
В лето крови благородной
Выпьют, верно, самовар.
Ведь комар, мой друг, — природный,
Не б<улгаринский> комар...

Вот я описал тебе петербургские дачи и как мы на них проживаем. Напиши же мне, брат, что делается теперь у вас в Петербурге...

III

Ивана Семеныча не утешила выходка приятеля против загородной жизни и наслаждений природою. Нет, она только сильнее расшевелила в его душе страсть к природе, в силу того неизменного закона, что всякий любезный сердцу нашему предмет, поносимый несправедливо, становится нам во сто крат милее. Еще тяжелее стало Ивану Семенычу в Петербурге, и в одну из минут нестерпимой скуки и безотчетного озлобления он написал к своему приятелю:

«Петербург летом скучнее всякого провинциального городишка. Нестерпимо видеть человеку, заключенному в нем нуждою или обстоятельствами, как постепенно исче-

зает из него все, что придавало ему движение, жизнь, блеск и разнообразие столицы, как пустеют красивые и огромные дома и реже-реже с каждым днем попадают блестящие и быстро несущиеся экипажи, даже на главных улицах; как загораживаются лучшие дома и целые улицы высокими подмостками, на которых с хозяйскою непринужденностью расхаживают штукатуры и каменщики, замаранные кирпичом, мелом и охрою; как даже на Мещанской, Гороховой и других полных делового движения улицах с каждым днем слабеет кипучая торопливая деятельность, принимая форму принужденности и строгой необходимости; как бежит из департамента поспешно недовольный самим собою и всем светом молодой чиновник, неотлучный гражданин надсевшего города, и напрасно ищет глазами свежего, неустаревшего или непомятого румяного личика, чтоб отвести душу, разогнать тоску, нападающую среди всеобщей пустоты и на всякого, кто не утратил еще совершенно дорогой способности скучать без причины — без значительного проигрыша, потери места, встречи соученика-однокашника, которому улыбнулась фортуна, мысли о ускользнувшем богатом приданом, попавшем в чужие руки. Нестерпимо видеть и вас, горделиво развевающиеся на Английской набережной флаги быстрокрылых и крутогрудых заграничных пароходов, — нестерпимо, потому что бог весть сколько каждый из вас унесет далеко-далеко прихотливых и предприимчивых петербургских жителей. Страшно, проснувшись, очнуться одному среди пустых стен и пугающего безмолвия. Но нестерпимее всего видеть вас, залетные гости и гости благоуханных загородных обиталищ, вас, с румяными щеками и довольными лицами, надышавшихся благотворным воздухом распустившихся дерев и цветущих полей, отдохнувших от мелочей и сует ежедневной насущной жизни, под ясным голубым небом, при тихом шелесте листьев, при гармоничном плеске волны и сладко льющейся в душу песне веселого жаворонка; заглянувших на минуту в покинутый город, с наслаждением, какое ощущаешь, вспоминая опасность, которой счастливо избегнул, и торопливо возвращающихся к тенистым и прохладным садам. И хотелось бы сказать «прощай!» всему, что так давно перед глазами и так давно им наскучило, и лететь, лететь следом за вами, но — увы!..

Ты спрашиваешь меня, что делается в городе? Что же может делаться в городе, в котором почти совсем нет людей, кроме погруженных в свои вечные занятия, несколько для меня не интересные?.. Ничего! Петербург сучает, совершенно не движется, спит!

Цветущие нивы, журчащий ручей,
Зеленые роши да кусты
Далеко, далеко сманили людей,
И даже трактиры все пусты!
Ня хлопанья пробок, ни алых ланит,
Ни криков корысти азартной...
И сонный лакей молчалив и сердит,
И плачет маркер в бильiardной.
И гневно ворчит: «не к добру! не к добру!»
И вдруг к бильiardу подскочит,
И яростно хлопнет шаром по шару,
И в сотый раз кий переточит.
Лишь изредка тощий чиновник придет
И в «Пчелку» с довольною миной
Уставит глаза; улыбнется, зевнет
И спросит обед в два с полтиной...
Лишь изредка купчик, гуляка и мот,
Бутылку шампанского спросит.
Пролет половину, другой не дойдет,
И слуг удивленных обносит.

На улице пыль, духота, пустота
И запах гниющей капусты,
И даже в любимом театре места
Частенько, поверишь ли? пусты.
Увы! не залучишь веселых гостей

я проч.

Послание Ивана Семеныча оканчивается вопросом: «где же лучше — в Петербурге или на даче?» Семен Иванович не решил этого вопроса, потому что он на парголовской дороге, в каком-то дрянном трактире, открыл дрянной бильярд, на котором поигрывает теперь ежедневно с утра до ночи, так что многие из почтенных посетителей трактира, большею частию бородачей, принимают его за маркера. Да и решить этот вопрос трудно. — А что подельывает Иван Семеныч? А господь его знает! Мыкает, должно быть, горе в Петербурге... Вот, погодите, годик-другой потерпит, а там, глядишь, такую дачку заденет, какой нам с вами и век не нажить. Иван Семеныч не то, что Семен Иванович, — малый оборотливый и перышки хорошо чинит...

Несмотря на всеобщие сетования, петербургское лето медленно поправляется. Доныне почти не проходило дня без дождя, соединенного с пронзительным ветром, доходившим иногда до свирепства, возможного только в бурю. Бывали и настоящие бури; в одну из них, около трех недель назад, повредило Троицкий мост и потопило один из плашкоутов. Дороги к дачам сделались в полном смысле слова непроходимы; о проезде нечего и говорить: в некоторых — самых ужасных — местах проезжающим зачастую приходится вылезать из экипажа, из опасения потонуть вместе с экипажем и лошадью в глубокой и смрадной грязи. Не раз случалось видеть, как бедные извозчицы лошади, истощив последние силы, вдруг останавливались среди дороги, словно вкопанные, и напрасно испуганный извозчик щедро наделял их ударами кнута и даже, забежав вперед, с остервенением хлестал в самую морду, называя бедных животных одрами, соколиками и опять одрами или и еще выразительней, — усталые клячи не двигались с места, мутно и безвыразительно смотря на разгневанного возницу и только нервически потряхивая хвостом, что уже означает в лошади крайнюю степень усталости и бессилия. Пробившись четверть часа понапрасну, извозчик, в совершенном недоумении, останавливался среди дороги и флегматически нюхал табак; вдруг из кареты раздавался гневный вопрошающий голос; вслед за тем вылезало целое семейство, с нянькою и несколькими штуками детей в красных шапках и кучерских армяках; взрослые с сердитыми физиономиями переходили топкое место, вздыхая и проклиная; нянька поочередно переносила детей, которых, напротив, такое путешествие очень забавляло: хорошенькие лица их сияли неподдельным удовольствием. Картина умилительная, достойная кисти Гогарта!.. Но что сказать о бедных дачниках, на которых по преимуществу обрушиваются все невыгоды дурной погоды? Положение их в полной мере бедственное. Не говоря о других неудобствах, — эти злополучные даже в короткие промежутки времени сколько-нибудь изрядного лишены почти всякой возможности показаться на улицу, потому что беспрестанные дожди образовали вокруг их жилищ топкие болота и необозримые лужи; особенно на ос-

тровах и вообще в низменных местах донныне так много воды, что с трудом можно сделать переход в десять шагов по крайней и неотразимой нужде — например, для того, чтоб побранить с соседом погоду и, по причине крайней дурноты ее, сыграть с ним несколько пулек в преферанс (увы! мы должны заметить, что в преферанс в нынешнее лето на дачах играют едва ли не более, как играли зимою в Петербурге!). Только живущим в Кушелевой деревне, в Парголове и в немногих других дачных поселениях, где местность несколько возвышеннее, можно было, как говорится, высовывать нос на улицу. Впрочем, сколько ни тяжело петербургским жителям сырое, болезненное состояние природы, досада их донныне могла несколько укрощаться мыслию, что тот же самый дождик, который мешает им наслаждаться прогулками, способствует к хорошему урожаю и, беспощадно проклинаемый городскими жителями, в то же время приветствуется благословениями трудолюбивого земледельца, вверившего земле все надежды свои... Утешение, конечно, несколько идиллическое, но тем не менее действительное!.. Жаль только, что и оно не может быть утешением: вот июль месяц, пора сенокоса проходит и, если погода на-днях не поправится, то даже с хозяйственной точки зрения оправдать ее не будет возможности...

Выше мы упомянули о Кушелевой деревне или так называемой Спасской Мызе, находящейся за Лесным институтом. Это, без сомнения, одна из лучших ближайших к Петербургу окрестностей. Жители Кушелевой деревни и соседних с нею дач пользуются за не слишком высокую цену здоровым, свежим воздухом и могут прогуливаться без калош, хоть тотчас после дождя, по обширному саду, в котором, говоря почти без метафоры, всегда сухо. В саду есть пруд, на котором устроены купальни, так что кушелевские жители могли бы даже купаться, если бы благодетельная природа не озаботилась избавить их от этой необходимости, сопряженной с хлопотами и расходами. Если пруд не слишком широк, зато достаточно длинен, так что нисколько не странно видеть любителей природы плавающих на утлом челне по зеркальным (выражение метафорическое!) волнам его. Кататься на лодке — это, как хотите, не малое удовольствие!.. Наконец в саду, в довершение всего, по воскресеньям играет музыка, и даже играла бы в один из четвертков (в день Петра

и Павла), если б не дождь, который тоже помешал ей играть и в оба следовавшие затем воскресенья. Когда выберется воскресенье сколько-нибудь сносное, в сад набегают с окрестных дач значительное количество почтенных матерей с дочерьми, нянек с детьми и всякого рода особ значительных, полузначительных и даже, — нельзя же в картине без тени, — совершенно незначительных, каковы, например, горничные и пр. Бывает весело. Музыка играет. Дамы ходят взад и вперед мимо музыкантов, а как устанут — сядут и, посидев, опять встанут и начнут ходить; мужчины ходят и, срывая мимоходом листья, сминают их в руках, или берут в рот (явно наслаждаются природою!), а подержав во рту, бросают; курят сигары; любуются произведениями природы и отчасти искусства — в разноцветных платьях и шляпках, с хорошими и дурными талиями, большими и маленькими ножками, разнородными носами, взглядами и улыбками... У небольшого здания, на котором красуется написанная суриком на черном поле вывеска «Кондитерская», и в самом здании слышны веселые голоса; хлопают пробки... Бывает весело... К удобствам жизни в Кушелевой деревне должно причислить и дилижанс, называемый *Спасским дилижансом*, о котором мы говорили, когда он только еще учреждался. Действия его начались с двадцатого мая и продолжают благополучно ¹ донныне, с явную выгодую для публики; извозчики называют его «чортовой куклой» и громко изъявляют свое удивление, как «господа» решаются ездить в таком некрасивом экипаже; горько жалуются они на значительную убыль работы, и стоит послушать, как почти каждый из них старается доказать своему седоку все «неприличие» подобной езды и всю прелесть езды на извозчичьих дрожках. Большая часть их решительно не может произнести слова «дилижанец» без крайнего омерзения и решительно думает, что он учрежден по злобе на них... Что касается до

¹ Впрочем, и с ним случаются беды. Так, в первое июля он не пошел в город вечером по той причине, что «лошади, дескать, устали, а дорога плоха», между тем как некоторые приехавшие из города именно рассчитывали отправиться в город в дилижансе. Недавно он застрял в грязи на Самсоиьевской улице — ужаснейшей из всех возможных улиц, — и пассажиры должны были на время выйти из дилижанса по пословице: «с чужого коня среди грязи долой» и пр. и пр.

публики, то она очень скоро поняла удобства, сопряженные с учреждением дилижанса, и нам остается только жалеть, что не все могут пользоваться этими удобствами, по частому недостатку мест. — Другие три дилижанса-омнибуса, существующие в Петербурге для загородных поездок, также постоянно наполнены пассажирами, и благосостояние их утверждено уже очень прочно, чему особенно способствовала крайне умеренная цена. Поездка в Кушелеву деревню стоит в будни 30, а в праздники 40 коп. сер., и большая часть публики находит даже и эту цену очень дешевою. Полюстрово и Новая деревня несколько ближе к Петербургу, но зато поездка туда в дилижансе стоит только 15 коп. сер. Кстати еще несколько слов о спасском дилижансе. В объявлении, которое разослано было о начале его поездок, *Петербург*, или, говоря официальным наречием, *Санктпетербург*, очень остроумно переименован был в *С. Петроград*, так что многие сначала приходили в сильное недоумение... В самом деле, ради какой причины выкопано дикое слово из архива, покрытого плесенью старины? Ради особенного воззрения на русский язык, или ради остроумия? Во всяком случае, это очень замысловато и кстати...

Парголово в нынешнее лето вовсе не оживлено. Наполненное большею частью степенными флегматическими немцами и немками, оно не представляет и десятой доли того движения, каким кипело несколько лет назад, когда большую часть его летнего народонаселения составляли французы. В Парголове, как вам известно, природа красива и разнообразна, а дачи довольно удобны и сравнительно дешевы. В нынешнем году там несколько раз потешали жителей фокусами разного рода два английские джентльмена Крафт и Дели, называвшие себя в афише «непостижимыми»; но постигнутые невниманием парголовской публики или, быть может, непонятые ею, они рассудили обратиться с своими представлениями в Петербург и теперь, кажется, там показывают свои фокусы. Было в Парголове зрелище другого рода, гораздо более занимательное: это скачка лошадей графов Ш. и В. и князя Г., сделавшая Парголово на несколько часов сборищем петербургских фешёнеблей, которых наехало в тот день многое множество. В первый раз обскакала лошадь гр. Ш.; во второй кн. Г... Вообще лошади, состязавшиеся на скачке,

отличались необычайною быстротою бега, не говоря уже о красоте и картинной статности; зрелище было очень интересное...

В стороне от Второго Парголова есть деревня *Заманиловка*, на которую донныне любители природы не обращают надлежащего внимания. Между тем, это одно из удобнейших дачных поселений в окрестностях Петербурга: кто любит красивую и разнообразную природу, уединенные прогулки в домашнем утреннем скюртуке, пожалуй, даже и просто в халате, и кто притом не имеет охоты или возможности платить дорого за дачу — тому удобнее всего поместиться в Заманиловке. Домики в этой деревушке большею частию красивы, и даже некоторые из них устроены с большим удобством и тщательностью, чем обыкновенно строятся крестьянские дома, предназначенные для отдачи в наем; о цене нечего и говорить: она не испугает и скромного чиновника, имеющего семейство и живущего двухтысячным жалованьем...

Верстах в трех за Новой деревней находится деревня *Коломяги*. В этой деревеньке домики красивы и уютны, небольшие садики очень милы, местоположение вообще хоть куда; притом тут есть пруд; на пруде купальни, около пруда парк; в парке довольно большая открытая зала для танцев, качели, кегли. Все это очень хорошо способствует к веселому разнообразному «препровождению» времени невзыскательным гуляльщикам. Впрочем, напрасно думают и пишут, что жители Коломяг — *распомаженные франты*, расстающиеся на воскресенье с *иглой, шилом и молотком* и являющиеся на гульбище с неизгладимым на руках *клеймом колючих, марких и тяжелых трудов*. В Коломягах, конечно, поселилось на нынешнее лето, между прочим, немалое количество мастеровых, но из того не следует заключать, что все живущие там суть портные, столяры и сапожники. *Аристократическая* часть коломяжского народонаселения, у которой никогда не бывало в руках шила, иголки и молотка, может, пожалуй, обидеться. Мы с своей стороны проходим коломяжских жителей молчанием, из опасения подлить хоть каплю горечи в их дачные удовольствия, которым они предаются так добродушно...

Предположив представить читателям обозрение всех окрестностей Петербурга, мы должны были бы говорить

теперь об островах, о дачах на Петергофской дороге, о Екатерингофе, о Петергофе, о Царском Селе, о Павловске, — по мы отложим все это до следующего фельетона, в надежде, что погода установится и мы будем иметь случай поверить еще раз на самом месте замечания наши прежде, чем передадим их читателям. Кажется, можно безошибочно сказать, что на-днях (быть может, прежде, чем явится в свет эта статья) в погоде совершится решительный поворот к лучшему. Всю ночь с воскресенья на понедельник (9—10 июля) была страшная гроза; последовавший затем день был жарок и ясен; по вечерам понедельника и вторника, которые, не в пример другим вечерам, отличались значительною теплотою, собирались опять грозы... Если и после всего этого погода не установится — тогда нам более ничего не останется, как проститься с мечтою о лете и поскорей перебраться в Петербург!..

<4>

В течение прошлой недели все обстояло попрежнему: каждый день было то жарко, то вдруг холодно, то опять жарко; дождь, хоть маленький, но постоянно каждый день орошал петербургскую почву. Дачники ходили повеся голову; немногочисленные постоянные жители Петербурга подсмеивались над ними и говорили, что «нисколько им не завидуют», — все было попрежнему; следственно, было очень плохо. Теперь вдруг настало постоянное тепло: бог знает, будет ли оно продолжительно! Петербург опустел ужасно и не производит ничего нового: все выселилось за город наслаждаться *летом*, все на дачах. Нечего делать, будем говорить о дачах.

Петербургские дачи самым простым и естественным образом делятся на два разряда — на дорогие и недорогие. К первым принадлежат все дачи, расположенные в ближайших к Петербургу окрестностях; таковы, например, острова Крестовский, Петровский, Аптекарский, Черная Речка, деревня Кушелева-Безбородко, Первая Кушелевка, Вторая Кушелевка или Спасская Мыза, и проч. и проч.; ко второму — дачные поселения, удаленные от Петербурга на десять, на двенадцать и более верст, — как, например, Парголово, Заманиловка, Му-

рино и те из ближайших к Петербургу, которые расположены на слишком низких и сырых местах и вообще бедны удобствами, как, например, Тентелева и другие деревеньки, находящиеся вокруг Екатерингофа. Дачи первого разряда, то есть ближайшие к Петербургу, не только дороги по найму, но и во всех других отношениях представляют для не слишком туго набитого кошелька неистощимый источник средств к истощению. Здесь даже вода, прекрасный и самый дешевый из всех даров божиих, в избытке разлитый по всему миру, продается на вес если не золота, то верно уж меди, потому что за каждую каплю, которую, купаясь, вынесете вы на своем теле из пруда, нередко мутного и гнилого, вам придется порядочно поплатиться расчетливому владельцу пруда или купальни, не говоря уже о том, что, гуляя по какому-нибудь великолепному или невеликолепному саду, близ которого вы нанимаете дачу, вы должны беспрестанно остерегаться, чтоб не ступить на траву, или не поддаться искушению сорвать какой-нибудь цветок (ибо то и другое многими владельцами весьма строго воспрещается): есть дни, в которые вас и вовсе не пустят в сад, потому что в саду играет музыка. Волей или неволей вы должны взять билет на право слушать бог знает какую музыку, которой, быть может, совсем не хотели бы слушать, — чтоб только иметь возможность гулять с своим семейством там, где гуляют другие. И мало ли еще расходов сопряжено с жизнью на даче, близкой к Петербургу? Здесь без денег нельзя ступить шага, и каждое пустое удовольствие стоит изрядной суммы. Совсем не то на дачах, удаленных от Петербурга. Вместо убыточного и мало приносящего пользы здоровью купанья в мутной стоячей воде или в тесной и неуклюжей купальне, — в Парголове, например, или в Мурине вы бросаетесь прямо с берега в чистую и свежую воду, широко раскидывающуюся перед глазами, и можете даже, если вы имеете вкус, подобный вкусу Ивана Никифоровича, приказать поставить перед собою стол с самоваром и наслаждаться в такой прохладе употреблением чая. Никто не придет возмутить нескромным взором вашего наслаждения, никто не спросит вас, по какому праву вы купаетесь, и мысль о расплате ни на минуту не зайдет вам в голову... Сверх того, в Мурине, например, жители пользуются бесплатным правом сби-

рать грибы, удить рыбу и ловить раков — занятиями, говорят, крайне душеуспокоительными; в Мурина предаются им очень многие из степенных и достопочтенных жителей, и предаются ревностно и усердно; нам достоверно известно, что один из них, отправившись, по обыкновению, поутру, еще до чая, ловить раков (раки в Мурина очень глупы: стоит только наткнуть на палочку покрепче кусок говядины и опустить его в воду, рак, услышав запах говядины, тотчас подплывет к приманке, и как скоро ухватится за нее клешней, следует понемногу вытаскивать палочку из воды и принять рака в сачок) и увидев, что вода от сильного дождя за ночь значительно прибыла, так что в глубину ее нельзя было почти ничего видеть, решил ждать у берега, пока сбудет вода, и прождал целый день — без чая, без обеда, в двухстах шагах от своего дома... Господи! каких не бывает страстей в человеческом сердце, и чего не могут они сделать из человека?

Есть упоение в бою
И мрачной бездны на краю, —

есть упоение в чести и доблести, в любви, в богатстве, в нищете полунагой и голодной; есть упоение в роскошной и благоуханной южной природе и в жгучем русском морозе; есть упоение в тишине и бешеном вое необозримого моря, в гармоническом пении соловья и в диком рыкании африканского льва; есть упоение в потрясающих вселенную страшных раскатах грома,

И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы, —

есть, говорят, упоение в сбирании грибов, в ловлении раков!.. Но в сторону сердце человеческое и разнородную странность прихотей, которым оно подвержено! Перейдем опять к Мурина... Несмотря на все исчисленные удобства, в Мурина в нынешнее лето, по единогласному отзыву его жителей, значительно скучнее, чем бывало в прежние годы. И где же не скучно в нынешнее холодное, бесцветное лето, которое не перестает беспощадно «надувать» бедных дачных жителей, истомившихся в беспрестанном борении надежды и отчаяния?..

Везде скучно, не исключая и Павловска, в котором, впрочем, если верить тамошним жителям, скука все-таки менее ощутительна, чем в остальных окрестностях Петербурга. Но если и так в самом деле, то все же разнообразные развлечения, прогоняющие из Павловска скуку, более похожи на городские, чем на сельские, за которыми люди перебираются на дачи. Главнейшие из этих развлечений, бесспорно — оркестр Германа, воксал, в котором очень много «действительных» и неизменно верных средств к разогнанию скуки, наконец представления Сульё...

С Павловским воксалом, как известно, случилось в начале нынешнего года несчастье: большая часть его сгорела. Это сначала очень огорчило любителей поездок по железной дороге, которые с погибелью воксала увидели было погибель собственных надежд своих — провести грядущее лето в беспрестанных катаниях из Петербурга в Павловск и из Павловска в Петербург, чем, как известно, в течение лета у нас многие деятельно занимаются. Но огорчение их было непродолжительно: вскоре, ко всеобщему удовольствию, разнесся слух, что Павловский воксал к весне непременно будет возобновлен и притом в лучшем и обширнейшем виде. Точно так и случилось. Те из петербургских жителей, которые не имеют обыкновения посещать Павловский воксал зимою, могли бы даже и не заметить, что с ним случилось неожиданное бедствие, если б в наружном и внутреннем устройстве его не произошло значительных изменений. Все эти изменения сделаны очень ловко и кстати, и Павловский воксал действительно стал, по возобновлении своем, гораздо лучше и удобнее. Честь возрождения этого здания из пепла принадлежит прежнему строителю его, г-ну архитектору Штаке-шнейдеру. К главнейшим улучшениям воксала должно отнести распространение главной залы, которая до пожара была недостаточно велика. Очень много также выиграл воксал от крытой галлерей (проведенной там, где прежде были бильярдные), под навесом которой можно гулять во время дождя. В Павловском воксале, по обыкновению, можно обедать за общим столом и слушать музыку Германа. Но охотников к тому и другому, кроме постоянных павловских жителей, очень немного: даже по воскресеньям из Петербурга в Павловск ездят очень немногие, потому что кому же приятно заехать за тридцать верст для того, чтоб просидеть несколько

часов в воксале, мечтая о прогулке, насладиться приятностями которой, по причине проливного дождя, нет ни малейшей возможности? Что же касается до страсти прокатиться по железной дороге, то время уже значительно охладило ее, и ради удовлетворения одной этой невинной страсти, без посторонних, более положительных целей, никто в Павловск не ездит. Железная дорога никому уже не в диковину. Впрочем, в устройстве самых карет придумана новость, которая, впрочем, заставит прокатиться в Павловск многих, не имеющих в том ни малейшей надобности. Что ж это за новость? Внутренность одной из карет устроена наподобие комнаты, так что, если карету займет одно семейство, то может расположиться в ней так же удобно, как в собственной своей квартире. Описывать устройство кареты было бы и долго и бесполезно: кому о том ведать надлежит, те, без сомнения, поспешат осмотреть все собственными глазами... Что касается до нас, то мы гораздо более интересуемся другою новостью, касающеюся также железной дороги — петербурго-московской... Дорога эта быстро подвигается вперед; у Знаменья (на углу Невского проспекта и Лиговского канала) уже строится огромный и великолепный дом, где будет гостиница и откуда будут отходить в Москву паровозы... Незаметно придет время, когда все работы будут окончены, когда задымится первый паровоз и, наполненный пассажирами, с пронзительным визгом двинется в путь. Это будет день торжественный; уже и теперь многие ждут его с нетерпением, и кто внутренне не просит небо продлить жизнь его до той минуты, когда, наконец, наступит время этого быстрого и общепользного сообщения? Это будет событие важное, равно благотворительное для обеих столиц. Чудно повеселеет жизнь петербургская и московская! Чудно изменятся обе столицы от частого и быстрого соприкосновения! Петербург внесет в Москву свои элементы, Москва в Петербург свои — сколько разнообразия, сколько очевидной пользы — вещественной и невещественной!.. Будет весело, будет очень весело, по крайней мере в первое время, пока не подойдет все, наконец, под общий уровень, и чудовище-привычка не заставит нас смотреть на все так же равнодушно, как смотрят теперь на глиняные горшки, которых изобретение также стоило в свое время усилий человеку!..

〈5〉

Наконец, ко всеобщему утешению, погода несколько поправилась. Если у нас не было и нет настоящих июльских жаров, то по крайней мере в последние две недели нельзя было пожаловаться и на слишком ощутительный холод. Бывали, правда, деньки, в которые под вечер надо было ходить закутавшись по-осеннему, да и в полдень не мешало сверх сюртука надевать пальто, но больше было таких, в которые можно было даже купаться — не потому, что в июле месяце совестно не купаться, но и по чувству необходимости. Бывали и дожди, и холодноватый пронзительный ветер нередко нарушал тишину сероватого, полудетского-полuosеннего дня; но кто же, знающий петербургскую погоду, погонится за такими мелочами? Пусть бы подольше постояло хоть такое «лето», петербургские жители были бы и им очень довольны!

А между тем, как мы все еще не теряем надежды дожидаться настоящего лета, которого, надо признаться, в Петербурге доныне все-таки еще не было, время незаметно проходит, и скоро, скоро нечувствительно подкрадется осень, с дождями и грязью, с сырыми и холодными вечерами. В литературе уже становится заметно ее приближение, потому что начинают появляться замечательные издания и вообще пробуждается движение, которое бывает в ней только осенью и зимою.

〈6〉

Не сетуйте, что листья начинают валиться с деревьев, что дни становятся коротки, а вечера темны и холодны, что жаворонки, соловьи и другие «певчие птицы» (которых, впрочем, в окрестностях Петербурга гораздо менее, чем летучих мышей и лягушек) допевают свои последние песенки, чтоб улететь от нас до весны —

В теплый край, за сине море, —

не сетуйте, что последняя надежда на теплое, жаркое лето потеряна, что всех нас ожидает осень, без сомнения, грязная, холодная и сырая... Не сетуйте, но ликуйте! За все неудовольствия, которые наделала вам и собирается

еще наделать упорно неблагоклонная природа, сторицею вознаградит вас искусство! Уже недалеко то время, когда оно раскроет перед вами дары свои и скажет вам: «наслаждайтесь!» И в минуту забудутся все огорчения, все несбывшиеся надежды и все страдания, понесенные вами на дачах; весной повеет на отогретую и как бы от долгого сна пробужденную душу, и в живительном источнике художественного наслаждения почерпнете вы новые силы бороться с петербургскою природою, великодушно простите ей все ухищрения, столько раз отравлявшие вашу жизнь скукою, столько раз угрожавшие вашему здоровью погибелью!.. Есть у нас на Руси всякие климаты; но что касается до меня лично, то я охотнее согласился бы жить в Петербурге даже тогда, когда бы в нем круглый год царствовала осень, чем, например, в Саратове.

Итак, одно за другое, — в Петербурге бедна и сурова природа, зато жителям его открыто все, что есть в искусстве прекрасного, обаятельного... Где, например, кроме Петербурга, можете вы по целым часам застаиваться перед «Последним днем Помпеи» Брюллова? Где увидите вы эти сокровища «Эрмитажной галлерей», с которыми теперь только, благодаря предприимчивости г. Гойе-Дефонтена, получили некоторую возможность ознакомиться провинциальные жители?.. Где у нас на Руси, кроме Петербурга, найдете вы такой французский театр? Наконец где в целом свете можете вы слушать такую итальянскую оперу, которую слушали мы прошлую зиму и какую предстоит нам наслаждение скоро опять услышать!..

Итак, в сторону сетование на природу! В Большом театре уже начались приготовления к спектаклям итальянской оперы. Незаметно пройдет время, оставшееся до начала спектаклей; приедут наши голосистые соловьи, наши старые знакомцы, которых мы так горячо полюбили. Петербург оживится; повеселеют апатически-спокойные лица; загремят всюду — и в великолепных гостиных, и в скромных чиновнических квартирах, и на Невском проспекте, — шумные споры, с беспрестанно повторяющимися на разные тоны именами Рубини, Тамбурини, Виардо-Гарсия, и запоем мы все арии из «Лучии», «Соннамбулы» и «Пирата»...

Для любителей нашего русского (Александринского) театра также готовится приятная новость. В скором вре-

мени, как слышно, прибудет сюда известный и любимый московский комик г. Щепкин. Не только все москвичи в восторге от игры г. Щепкина, но и петербургские жители, посещавшие московский театр, единодушно отзываются о таланте этого артиста с чрезвычайною похвалою. Приятно будет поверить на деле их отзывы. Говорят, «Женитьба» и «Игроки» Гоголя идут в Москве несравненно лучше, чем у нас в Петербурге, и много обязаны этим игре г. Щепкина. Это заставляет желать, чтоб г. Щепкин между пьесами своего репертуара не забыл и «Женитьбу» с «Игроками».

На Александрынском театре дают теперь недавно поставленную на сцену драму «Наследство», переделанную с французского г. Григоровичем. Пьеса по-французски называется «Эйлали Понтуа» и была играна с успехом на нашем французском театре.

На-днях была также представлена на Александрынском театре новая оригинальная драма под названием «Эспаньолетто». О ней мы также скоро поговорим. Но чья эта драма? спросите вы. Наверное не знаем, а вот что было писано, около пяти лет назад, г. Полевым в «Письме к Ф. В. Булгарину», напечатанном в «Сыне отечества» (см. № IV, 1839 г.): «Так в одном из новых приготовляемых мною для сцены опытов моих, под названием «Ода премудрой царевне Фелице», мне хотелось бы показать поэтическую сторону прозаической жизни Державина; в другом, «Елене Глинской», испытать быт русской старины в идеале художника (?); в третьем, «Стрешнев», — простое изображение русского быта и опыт на сцене языка наших предков; в «Эспаньолетто» попытаться на севере на изображение итальянских страстей...»

О каком «Эспаньолетто» здесь идет дело, — не о том ли, что дано на-днях на сцене? или эта драма сама по себе, а та угрожает еще нам впереди. Во всяком случае, теперь или после, очень приятно будет увидеть попытку г. Полевого на изображение на севере итальянских страстей...

Говорят, г. Полевой написал драму из «Павла и Виргинии» — вот тут, вероятно, каких нет страстей!..

А что подделывает русская литература? Да ничего; она покуда еще только разминается после долгого застоя, готовится к деятельности. Неподвижность ее оживляется только по временам выходом тетрадей «Эрмитаж-

ной галлерей», которыми все любят и не могут налюбоваться. Самая интересная литературная новость, которую мы можем сообщить, заключается в следующем: граф Соллогуб окончил большое сочинение под названием «Тарантас», отрывок из которого был когда-то напечатан в «Отечественных записках», и, вероятно, не далее, как в декабре нынешнего года, публика наша будет иметь удовольствие читать это произведение, которое взятая издать для нее книгопродавец А. И. Иванов.

В заключение, — сколько ни стараемся мы избегать всего, что имеет малейшее отношение к полемике, — считаем необходимым довести до сведения читателей следующее, — по поводу одной выходки на нас, которая, не будучи пояснена надлежащим образом, могла бы повергнуть некоторых в недоумение.

В 183 № «Северной пчелы» в фельетоне, подписанном г. Межевичем, напечатано следующее:

«В № 19 «Литературной газеты» (на стр. 338) напечатано письмо гг. Петра Анисимова (сапожника), Федула Прокофьева (подрядчика), Андр. Пмнва (сочинителя), в котором эти почтенные господа просят разрешить почтенного сотрудника «Литературной газеты», г. Пружинина, по поводу статьи о чае г. Немчинова (напечатанной в 90-м и 91-м №№ «Полицейской газеты»), правду ли написал г. Немчинов, что чай содержит в себе *чистую кровь*? Почтенный г. Пружинин, прочитав это письмо, делает замечание «Какова закорючка? В чае кровь? Да если бы мне сказали: *в крови чай*, я бы не так испугался и удивился!»

Эти слова *почтенного* г. Пружинина кажутся г. Межевичу явным противоречием статьи, напечатанной в №№ 29-м и 30-м «Литературной газеты», где сказано, что чай действительно содержит в себе кровь, и притом в большом количестве, и в полном изумлении г. Межевич восклицает: «закрываем Литературную газету, с ее *Записками для хозяев*: больше прибавлять нечего».

И нам, кажется, нечего прибавлять!.. Чудна должна была показаться «Литературная газета» г. Межевичу, если он серьезно понял и счел за выражение ее собственных мнений все то, что рассказывалось в статейках г. Пружинина!.. Странно только, отчего г. Межевич не довел к стати до сведения публики, что *Литературная газета* ставит г. Бенедиктова выше Пушкина — ведь *по статейкам*

е. Пружинина выходит именно так. Может быть, дождемся и этого, но объясняться уже не будем. Не мы виноваты, что почтенный г. Межевич не отличает шутки от не-шутки! При таком воззрении, не только в газетной статейке, но и в гениальном произведении можно открыть величайшие нелепости. Возьмите, например, «Полтаву» Пушкина, выпишите слова Мазепы о Петре Великом и воскликните: «И вот как изображен характер Петра Великого! *Закрываем-де пииму господина Пушкина с ее претензиями на изображение великих характеров: больше прибавлять нечего!*» Многие сочтут вас глубокомысленным критиком!..

ЧЕРТЫ ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕТЕРБУРГСКОГО НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

〈Статья первая〉

«Нравы столицы нашей, — говорит один из петербургских нравоописателей, — при беглом, поверхностном взгляде на оные, представляют общие черты сродства с нравами многочисленного семейства европейских столиц». В этом, конечно, нет сомнения. С первого взгляда Петербург не поражает наблюдателя никакою особенностью, никакою оригинальною, чисто-русскою чертою, которой нигде, кроме Петербурга, нельзя было бы встретить. Поэтому многие иностранные описатели Петербурга, изучившие его в течение десятидневного пребывания, называют Петербург городом совершенно не-русским по нравам, по привычкам и быту. Но подобное заключение, как и все заключения, выведенные без надлежащего познания фактов, более чем неосновательно. Так, если вы будете судить о русских нравах и русской жизни по внешним признакам — покрою платья, убранству комнат, форме экипажа и привычкам общежития, перенятым в известном кругу у иностранцев, — вы ничего не найдете в петербургском народонаселении оригинального, характеристического, ему одному свойственного; но взгляните в физиономию Петербурга попристальнее, уловите на ней всю разнообразную игру света и теней, все бесчисленные, ускользающие движения, поймите все выражения, ежеминутно меняющиеся, — и вы поймете, что нигде, быть может, не заключается столько оригинальных оттенков, столько особенностей, как в разнородной массе представителей Петербурга — его разнокалиберных, разноязычных жителей.

Г. Башуцкий, в своей «Панораме Петербурга», три части которой изданы им лет десять назад, разделяет петербургских жителей на пять отличительных разрядов.

К *первому* относит он так называемый «высший круг» или «большой свет»; ко *второму* многочисленный разряд людей среднего и даже ограниченного(?) состояния, служащих или неслужащих, ученых, художников, некоторых иностранцев и образованных русских купцов, словом, то, что называют «публикою». *Третий* — есть наши tiers-état¹, — амальгама людей различного состояния, смешивающихся гораздо больше понятиями, образом жизни, занятий и узами родства и дружбы, нежели нравами. *Четвертый* и некоторым образом единственно Петербургу принадлежащий разряд есть разряд иностранцев всякого состояния, наиболее промышленников, мастеров, ремесленников и пр. Они мешаются с третьим разрядом и во многом с ним сходятся; не менее того сохраняют однакоже в быту своем черты чрезвычайно оригинальные. К *пятому* разряду г. Башуцкий относит смесь людей всякого звания: все то, что называется *народом* или *чернью*.

Это разделение довольно верно; но можно допустить и другое, менее захватывающее отдельных частностей, зато полнее характеризующее сплошную массу петербургского народонаселения. Мы, не вдаваясь в подробности, разделили бы жителей Петербурга на четыре разряда — на *чиновников, офицеров, купцов* и так называемых *петербургских немцев*. Кто не согласится, что эти четыре разряда жителей нашей столицы суть настоящие, главнейшие представители Петербурга, с изучения которых должно начинаться ближайшее физиологическое знакомство с Петербургом? В каждом из них выражается какая-нибудь сторона петербургской жизни, и слияние резких противоположностей и даже мельчайших оттенков, которыми разнится один разряд от другого, составляет физиономию Петербурга. Чтоб изучить эту физиономию, нужно изучить черты, ее составляющие, отдельно познакомиться с каждым представителем петербургского народонаселения.

Начнем с «петербургского немца». Недавно умный и наблюдательный петербургский водевилист г. Каратыгин написал очень верный и забавный очерк этого любопытного типа, и публика, посещающая наш русский театр, от души смеялась над почтенным булочным мастером Иваном Ивановичем Клейстером, над его расчетливостью и

¹ Третье сословие, городская буржуазия. (Ред.)

осторожностью, филистерскою важностью и «русским языком на немецкий лад». И теперь мы все остримся над петербургскими немцами, подмечаем их особенности, говорим, ради шутки, их оригинальным языком, а до тех пор многие из нас даже и не подозревали, что едва ли не целая треть петербургского народонаселения состоит из таких Иванов Ивановичей. Особенное внимание обратил на себя — язык Ивана Ивановича, схваченный живо и верно. Все немцы, которые обжились в Петербурге и захотели во что бы то ни стало быть «русскими», говорят языком Ивана Ивановича Клейстера. Язык этот не есть исковерканный немецким произношением русский язык; но именно, как мы выразились — «русский язык на немецкий манер». Немец, говорящий им, произносит слова чрезвычайно чисто и выразительно; но расстановка слов, ударения, употребление падежей — вот где камень преткновения для всякого не родившегося в России, особенно для немца, который как бы ни усиливался, никогда не победит своей немецкой природы, и во всем, от особенного выражения в лице до самых пустых мелочей, всегда останется немцем. Но в Петербурге много и таких немцев, которые вовсе не стараются подражать почтенному Ивану Ивановичу Клейстеру и нисколько не заботятся об изучении русского языка, так что, прожив в Петербурге более тридцати лет, уезжают обратно, не зная ни одного русского слова. Это странное явление принадлежит к особенностям Петербурга. Везде почти иностранец должен знать сколько-нибудь язык страны, в которой живет; таким образом, бывает, что иностранцы в других столицах мало-помалу сливаются с массой природных жителей и теряют свою оригинальность под господствующим цветом общего характера. В Петербурге — решительно наоборот. Немец может прожить в Петербурге тридцать лет и отправиться на немецкое кладбище или обратно в Германию, не узнав ни одного русского слова. Каким образом? — спросите вы. Вот что говорит г. Башуцкий: «Петербург с самого рождения своего есть местожительство иностранцев, из числа коих девять десятых приезжают для того, чтоб приобретать, а не для того, чтоб издерживать. Они находят единомышленников и живут наиболее у них, с ними, как бы у себя, вовсе не замечая перемен ни в нравах, ни даже в привычках и обрядах домашнего быта. Немец останавливается у немца, француз

у француза. Он знакомится с городом и жителями его, принимая основными те понятия, которые передаются ему хозяином, поселившимся в Петербурге точно таким же образом. Он ходит в *свои* церкви, читает газеты на *своем* языке; обедает в трактирах, содержимых единосемцами; слышит родное наречие в театре, в домах, на улицах, в торговых заведениях; везде, всегда, беспрестанно оно поражает его слух. Все его понимают; ему здесь нравится, ибо он не чувствует тех мелочных, но важных затруднений, которые повсюду более или менее связаны с званием иностранца. Он хочет пожить в Петербурге, избирает занятие, неважный торг, комиссионерство, какую-либо частную должность. Русские помогают ему, как заезжему сироте, соотечественники, как родному, и скоро иностранец имеет множество покровителей. Будем следить его далее: дела идут успешно: при покровительстве кто и где, а тем более в столице, не поддержит себя, чем может? один своею скромностью, честностью и аккуратностью, другой вертлявостью, болтаньем и нередко своею дерзостью; третий настойчивою оригинальностью права и т. д. Предположите, что приезжий наш немец и ремесленник; он записывается в *свой* немецкий цех; имеет старшинами немцев, берет в ученье мальчиков-немцев; покупает товар у немцев; работает и продает большею частию немцам. Прошло десять, пятнадцать лет, — он мастер или содержатель заведения, или учитель школы, или управитель дома, или фабрикант, или... что вам угодно; но подведомственные ему люди большею частию немцы; он женат на немке; детей его принимала немка, они воспитываются в его законе, лепечут его языком и ходят в немецкие школы. Друзья и привычные посетители его дома — немцы; он редко коротко знаком, и тем реже связан дружеством, с французом или русским, в его семействе немцы от жены до гезеля и от гезеля до кухарки. У него все по-немецки и все немецкое; он преимущественно у немца покупает даже хлеб, картофель, масло и молоко; немец шьет ему сапоги и платье. Он прожил еще пять, шесть, десять лет таким образом, в совершенном и ненарушимом спокойствии; он *кое-что* понимает по-русски, но не умел выучиться говорить; ему это было ненужно; он не имел даже надобности заметить, что жил в России! Понятие же его о русских, по крайнему его разумению составленное, выведено им из

итогов его счетных книг или основано на причудах людей, с которыми он имел дело. Когда ударит его последний час, немец же принесет чистенький гроб, сделанный для своего соотечественника; родные и знакомые немцы соберутся и набожно проводят тело его на немецкое кладбище!» Эти немногие строки очень верно характеризуют петербургских немцев и вообще петербургских иностранцев, которые, как дополняет г. Башуцкий, «недоверчивы, скрытны, но терпеливы и неутомимо-искательны и гибчивы; оставляя в стороне всякую гордость, они привязываются ко всем возможным средствам, чтобы достигнуть желанной цели». Если указать еще на немецкую аккуратность и на расчетливость немцев и в особенности их жен, которые умеют сделать из каждой копейки грош, то представленный нами очерк петербургского немца будет довольно полон. Домашняя жизнь наших немцев тиха, довольно трезва (немецкий ремесленник позволяет себе быть пьяным только раз в неделю — в воскресный день), и главное качество ее состоит в умении наслаждаться множеством тех мелочей, в которых русский человек не видит никакого наслаждения. Кроме обычая напиваться по воскресеньям, они услаждают еще себя в летнее время прогулками по Крестовскому и другим островам; охотники курить сигары; пьют за обедом, не роскошным, но опрятно приготовленным самою хозяйкою, пиво, после обеда пунш, и все без исключения чрезвычайно любят кофе — страсть, перешедшая от них и к русским — даже беднейшего класса... В короткое время они (не русские беднейшего класса, а немцы) приобретают изрядное состояние и даже нередко наживают по несколько огромных домов, в лучших частях города...

Едва ли не первое место в массе петербургского народонаселения, по количеству, занимают «чиновники»... Но где взять кисть и краски, чтоб изобразить характеристику петербургского чиновника с подобающею отчетливостию? Некоторые из петербургских нравоописателей пытались обрисовать этот тип, но попытки их слабы и бледны, иногда даже вовсе неверны. Того и должно было ожидать — предмет слишком труден и многосложен. Разве только Гоголь мог бы уловить общую физиономию петербургского «чиновничающего класса», потому что только он один понимает дух петербургского чиновничества и хорошо

знает явления этого отдельного, бесконечно разнообразного мира, — от скромного, приземистого Акакия Акакиевича до «значительного лица» (действующего в повести «Шинель»), которое так мастерски умел распечь и которому в обществе, где находились люди ниже его чином, всегда было как-то неловко... Некоторые особенно резкие черты мы постараемся раскрыть далее, при взгляде на характер петербургского народонаселения вообще; остальных, едва заметных, неуловимых, но дающих характер физиономии, отчетливо и подробно обозначать не беремся. Груд слишком тяжелый, требующий сильно пронизательной наблюдательности... Что делать! Удовольствуйтесь пока тем, что есть!.. Вот несколько черт, набросанных в прошлом году одним петербургским старожилом, г. Белопяткиным:

..... Ранехонько
Пробудишься, зевнешь,
На цыпочках тихохонько
Из спальни улизнешь,
Пока еще пронзительно
Жена себе храпит,
Побреешься рачительно,
Приличный примешь вид.
Смирив свою амбицию,
За леностью слуги
Почистишь амуницию
И даже сапоги.
Жилетку и так далее
Наденешь, застегнешь.
Прицепишь все регалии,
Стакан чайку хлебнешь,
Дела, какие б ни были,
Захватишь и, как мышь,
Согнувшись в три погибели,
На службу побежишь.
Начальнику почтение,
Товарищам поклон,
И вмиг за отношение —
Ничем не развлечен!
Молчания степенного
День целый не прервешь,
Лишь разве подчиненного
Прилично распечешь.
Да разве снисходительно
Подшутит генерал,
Тогда мы все решительно
Хохочем наповал.

Уж так издавна водятся.
Да так и должно быть,
Нам, право, не приходится
Пред старшими мудрить!..

Но пока довольно. Докончим наш обзор других классов петербургского народонаселения в следующем номере.

Статья вторая и последняя

Сословие петербургского купечества делится на два разряда — на русских купцов и купцов иностранных. Русских *купеческих домов* (в обширном значении слова), как всякому известно, в Петербурге весьма немного. Торговые операции для заграничного торга находятся преимущественно в руках купцов иностранных. Оттого, и еще от некоторых других причин, о которых упомянем ниже, собственно русское купечество находится в Петербурге как бы в тени, и представителем петербургского купечества скорее может быть назван купец иностранный, живущий в Петербурге, чем русский. Иностранные купцы, к чести их, могли бы служить примером в образе жизни весьма многим; жизнь их, сжатая в известном круге, в который вступить не всякому легко, приятна, разнообразна, чужда скуки и принужденности, чему немало способствует равенство состояния, сходство в образовании, вкусах, быте и занятиях. Большая часть их имеют в Петербурге собственные дома, преимущественно на Васильевском острове или на Английской набережной. Как сами они, так и жены их, образованы и общежительны. Все это, в совокупности с влиянием на торговлю, весьма значительным, немало способствовало упрочению доверия и всеобщего уважения, которыми они пользуются в Петербурге. «Купечество русское, — говорит г. Башуцкий, у которого мы заимствуем некоторые из предлагаемых сведений, — по образу жизни, занятий, привычным сношениям с людьми своего состояния, частью же по старинным предрассудкам, мало смешивается с прочими сословиями». С некоторого времени в этом сословии, к сожалению, вкралось нечто вроде пренебрежения к своему званию, в чем легко убедиться, взяв в соображение господствующую в нашем купечестве страсть выводить сыновей своих «в дворяне» и

выдавать дочерей за людей чиновных, предпочтительно пред людьми купеческого звания. Эта страсть, по справедливости осмеиваемая нашими «сатирическими сочинителями», хотя и недостаточно остроумно, есть главная причина, что у нас мало купеческих домов, которых существование было бы так продолжительно, как, например, во Франции, Голландии, Англии, где купеческие дома существуют по несколько сот лет. Часто весьма значительный капиталист, умирая, не оставляет по себе в торговле никакого следа: капитал переходит в руки «именитых» или «чиновных» наследников, которые распоряжаются им по своему усмотрению, никаким другим образом не способствуя движению торговли, кроме того, которое называется «мотовством». Зато в Петербурге (и вообще в России) несравненно более, чем где бы то ни было, купцов-капиталистов, возникающих неожиданно-негаданно из людей беднейшего и, большею частию, низкого класса. Как это делается, объяснять не будем, но только такие явления у нас очень нередки. Без сведений, без образования, часто даже без познания начальной грамоты и счисления, приходит иной русский мужичок, в лаптях, с котомкою за плечами, заключающею в себе несколько рубах да три медные гривны, оставшиеся от дорожных расходов. — в «Питер» попытаться счастья. В течение многих лет исправляет он самые тяжелые, черные работы, бегает на посылках у первого встречного, за все берется, везде услуживает, замечает, соображает, *смекает*, и — глядишь — через двадцать-тридцать лет делается перво-степенным купцом, заводит фабрики, ворочает миллионами, поит и кормит тех, перед которыми во время оно сжимался в ничто, и запанибрата рассуждает с ними о том, как двадцать лет назад босиком бегал по морозцу и ел черствый сухарь... Конечно, такие явления бывают и в других землях, но в России они возможнее, потому и повторяются, как мы уже сказали, довольно часто. «Почему возможнее?» — спросите вы. «Потому, — говорит г. Башуцкий, — что русские одарены чрезвычайными способностями: им даны вполне сообразительность и расчетливость, которые необходимы торговцу; они постоянны в действиях, упорны в достижении предназначенной цели и богаты умением жить малым и пользоваться счастливым стечением обстоятельств». В домашней жизни большая часть русских петер-

бургских купцов придерживается обычаев, издавна господствующих во всем русском купечестве; но иногда поражают вас противоположности, упорная явная борьба старого с новым, которую глаз ваш подмечает на каждом шагу. Нередко отец семейства носит окладистую бороду и длинный кафтан, а сыновья одевают себя всеми причудами моды, и если носят бороду, то подстригают ее наподобие модников, изображаемых на картинках парижских журналов, угождая таким образом и привычкам отца и требованиям самой отчаянной моды; мать ходит в чем-то вроде повойника, а дочери в шляпках и платьях, сшитых по последней моде. В русских купеческих домах строго соблюдаются все семейные праздники — именины, день рождения, день брака, и если купец живет открыто, то не жалеет в подобных случаях денег на роскошный пир, с музыкой, танцами и другими немецкими затеями. Русские купеческие обеды поражают необыкновенным обилием дорогих яств и напитков, но доктор Пуф вообще недоволен ими. Впрочем, со времени появления лекций этого ученого в русском обедающем обществе появляются признаки «очищенного вкуса» (термин, вмещающий в себе, по новейшему истолкованию, чистоту, изящество, экономию и тонкое чувство гармонической соразмерности во всем, касающемся обеда). Будем надеяться, что эти драгоценные качества не обойдут и русского купечества. Что касается до степени образованности, на которой находится нынешнее петербургское купечество, — утешительнее всего в этом отношении то, что русские купцы с некоторого времени начали посылать детей своих за границу, особенно в Лондон, где в богатых купеческих конторах привыкают они к порядку, аккуратности и другим коммерческим добродетелям. В Петербурге есть уже немало купцов русских, умеющих говорить по-английски и по-французски...

Теперь нам остается взглянуть еще на низший класс петербургского народонаселения. Некто заметил, что в Петербурге «много народа и нет народа». При первом взгляде, это замечание покажется не более, как шуткою, но при внимательнейшем соображении в нем открывается верная мысль. Что такое зовут народом в столице? Низший разряд народонаселения, часто превосходящий количественно все остальные. Но в Петербурге постоянных коренных жи-

телей низшего сословия чрезвычайно мало, хотя простого народа много во всякое время. И вот здесь-то скрывается смысл приведенного выше замечания. Большая часть простонародья проживает в Петербурге временно; коренные жители многих внутренних русских губерний приходят сюда на несколько месяцев ежегодно и возвращаются, по обыкновению, на зиму восвояси; нетрудно отгадать причины, влекущие их в столицу: в столице больше потребности в рабочих и мастеровых, чем в провинции, больше средств добывать деньги ремеслом, торговлею, топором, службою в частных домах и т. п. За этим разрядом следует другой, к которому принадлежат люди низкого состояния, не оставляющие Петербурга по нескольку лет, но непринадлежащие исключительно Петербургу, ибо они проживают в столице без семейств, по срочным паспортам. К третьему и последнему разряду низшего сословия, населяющего Петербург, должно отнести полчище дворовых людей, небольшое количество проживающих постоянно в Петербурге мещан и еще меньше разночинцев.

Простой русский народ и в Петербурге и во всей России, как известно, чрезвычайно работяц, отличается бесстрашием при производстве самых опасных работ, любит есть огурцы, лук, морковь, репу, хлеб с квасом и солью и чрезвычайно неразборчив в выборе своего помещения. «Насчет жилища, — говорит г. Башуцкий, — низший разряд народонаселения еще менее взыскателен, нежели в отношении к пище. Осмотрев помещения, занимаемые тысячами этих людей в Петербурге, трудно представить себе, чтобы так мог жить кто-либо. Теснота, сырость, мрак, спертый воздух, нечистота превосходят во многих из подобных жилищ всякое вероятие. Люди, приходящие в столицу для промыслов и работы, за чрезвычайно дешевую цену помещаются в городе многочисленными артелями в подвалах домов, в погребах, конурах, в сараях; другие живут в окрестных деревеньках и всякий день являются в город; многие проводят все время на барках, лодках или не живут постоянно нигде, но остаются ночевать то на самом месте работ, то заходят к товарищам, чаще же платят несколько грошей за ночлег в погребе или подвале какого-нибудь дома» («Панор<ама> Петербурга», часть III, стр. 29). Впрочем, не мешает напомнить, что все это писано с лишком десять лет назад. Мы, к сожалению, весьма мало

знаем нравы низшего петербургского народонаселения и потому в дальнейшем очертании их принуждены прибегнуть к тому же источнику. Говоря о петербургском простонародьи, г. Башуцкий уверяет, что нет народа, который был бы столько доволен своим состоянием, — который бы с такою непритворною радостью участвовал в празднествах, — в самом низшем классе которого можно было бы найти столько богатых, — который бы с такою охотою и с таким непреодолимым стремлением предавался торгам и промыслам. В заключение приведем то, что говорит г. Башуцкий о главном упреке, делаемом нашему простому народу: «Простому народу упрекают не без основания страсть к пьянству, но и в те дни, когда совершаются обильнейшие возлияния на алтарь бога вина, вы не заметите в обожателях его буйства, дерзости или жестокосердия. *«Что у трезвого на сердце, то у пьяного на языке»*, — говорит справедливая пословица русская; взгляните же на пьяного мужика: он весел, шумлив, но добр; он не только не обидит никого, *но извиняется перед каждым из проходящих*; обнимает, целует своего товарища, клянется ему в вечной дружбе или, приложив руку к щеке, один шатается посредине улицы, затагивая бесконечные склады своей нескладной песни. Нет черных мыслей, нет вредных намерений, нет злобных наклонностей; его хмель добр; он пьет себе на радость; он поет, как другие пляшут, играют или буйствуют. Вино крепит его тело, вино разогревает его кровь, стынущую в сыром холодном воздухе, переменчивому влиянию которого он беспрестанно подвержен; ему нужен напиток живой, сильный, крепкий, — как жив, силен и крепок он сам, как тяжела работа, к которой он привык, которую он любит». Затем автор приводит еще слова Владимира, сказанные послам камских болгар о необходимости вина для русских сердец...

От частного очертания петербургского народонаселения по разрядам перейдем к общему взгляду на всю сплошную массу, на образ жизни, господствующие привычки и вкусы и на все, в чем сходятся и расходятся между собою многочисленные и разнообразные петербургские жители.

В Петербурге вообще едят много, и всякий петербургский человек, почитающий себя вправе пользоваться благами жизни, столько же прихотлив в пище, сколько

неприхотлив петербургский простолюдин. Обед у Дюме за общим столом, у Лёграна или у какого-нибудь другого известного ресторатора составляет постоянную мечту петербургского бедняка, получающего семьсот рублей жалованья, и если ему хоть раз в месяц, с величайшими пожертвованиями, удастся удовлетворить любимую мечту своего желудка, он уже счастлив и с новою силою обрекает себя на труд и лишения до нового вожделенного праздника. Время обеда есть время отдыха для большей части петербуржцев, к которому они спешат оканчивать все дела и заботы текущего дня. Заметим здесь, что явившись в неко­ротко знакомое семейство в час обеда, полезнее уклониться от приглашения хозяина остаться «откушать», потому что, как бы ни было радушно приглашение, хозяин будет все-таки внутренне встревожен: в Петербурге большею частью в приготовлении обеда придерживаются такого обычая, что пословица «где двое сыты, там и третий не будет голоден» не всегда может оправдаться. Впрочем, бывают и исключения и даже не совсем редкие...

В отношении к помещению в Петербурге, несмотря на дороговизну квартир, господствует пристрастие к простору. Любовь к красивой и дорогой мебели, к эластическим диванам и креслам, к обоям, камину и разным кабинетным безделкам в петербургских жителях нередко доходит даже до слабости. Отказывают себе в лишнем кушанье на столе, в удовольствии посмотреть бенефис Каратыгина, побывать на гулянье в Петергофе или Павловске, только бы заместить пустой простенок красивым столом с бронзовыми часами под стеклянным колпаком. В Петербурге много мебельных «художников» разного рода, и, благодаря этому обстоятельству, вы можете иметь одну вещь в тысячу рублей, а другую во сто, между которыми с первого взгляда не откроете никакой разницы; вот причина, почему мебель у петербургских жителей, у бедных и у богатых, почти одинакова и одинаково (на вид) хороша.

В Петербурге одеваются хорошо.

Кроме театральных зрелищ, балов, вечеринок и проч., важнейший пункт соединения петербургских жителей, как известно всякому, преферанс, которому ежедневно посвящает по семи часов и более по крайней мере пятая доля петербургского населения.

Если б нужно было перейти от общего очертания петер-

бургских жителей к частностям, можно бы указать на некоторые явления, исключительно принадлежащие Петербургу, которые обыкновенно называются «типами»... Везде есть ростовщики; но ростовщик петербургский совсем не то, что, например, ростовщик московский; последний, смею уверить вас, не годится ему в ученики! Племя ростовщиков в Петербурге — весьма почтенное племя и делится на несколько разрядов, не имеющих между собою ничего общего, кроме ремесла. Оно так же разнообразно по видовым отличиям своего занятия, как племя петербургских сочинителей, которые, кажется, все делают одно и то же — сочиняют, а между тем как много каждый из них разнится от другого! «Сочинитель» в Петербурге также лицо типическое, которому доньше не явилось достойного описателя. Мы когда-нибудь примем этот труд на себя. Не менее занимателен «петербургский книгопродавец», — лицо до того «петербургское», что не живший в Петербурге не мог бы составить себе о нем ни малейшего понятия. И мало ли есть еще в Петербурге развлекающих с разодранными локтями или разъезжающих в щегольской коляске, молодых и старых, веселых и грустных «особенностей», которые так и просятся на бумагу!..

НЕЧТО О ДУПЕЛЯХ, О ДОКТОРЕ ПУФЕ И О ПСОВОЙ ОХОТЕ

У всякого своя охота:
Кто метит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопущкой мух нахальных,
Кто занимается вином...

Пушкин.

Всякое время года имеет свои преимущества, делающие его особенно приятным для большего или меньшего количества всех живущих и прозябающих. Вы любите весну за ее свежий, ароматический воздух (здесь говорится не о петербургской весне исключительно, но о весне вообще), за ее роскошные и обновленные картины воскресшей природы, за теплоту и за устерсы, которые она посылает в гостинец вашему желудку из Гавра и Фленсбурга. Другой любит лето за то, что летом он может жить на даче, купаться и ловить раков, собирать грибы и не пускать к себе друзей и знакомых; третий любит зиму за то, что зимой можно слушать итальянскую оперу, кататься на коньках и, пользуясь длиннотою вечеров, гораздо больше посвящать времени преферансу, чем во все другие времена года; наконец я люблю осень за то, что можно стрелять дупелей и — что еще усладительнее — есть их. Любовь к осени, по той же причине, разделяют со мной весьма многие из петербургских жителей, в чем я имел случай удостовериться, прогуливаясь по разным рынкам, где дупели раскупаются с невероятною быстротою. Но в Петербурге дупели «жгутся», и если в нынешнем году, благодаря хорошему «урожаю» на эту вкусную дичь, они покуда не слишком дороги, то бывают годы, в которые цена на пару дупелей доходит до полутора целковых и более. Есть дупелей гораздо выгоднее в провинции, но в провинции есть их не умеют. Это меня ужасает. Я сам гораздо прежде умел убить дупеля, чем съесть его

и, зная по опыту, сколь великого и дешевого утешения в неприятностях осенней погоды лишены провинциальные жители по невежеству своих поваров, несколько раз готов был начертать подробную диссертацию о приготовлении дупелей, надеясь таким образом передать имя свое потомству, но, к сожалению, не нахожу времени для приобретения нужных для того предварительных сведений. Страшась умереть прежде, чем успею достигнуть цели своей, я, наконец, после долгой борьбы с самим собою, приемлю смелость обратиться к доктору Пуфу, хотя и знаю, что ученый муж сей занят более важными вопросами своей науки и неохотно низойдет до повторения того, что он уже однажды сказал...

Почтенный и высокоуважаемый доктор Пуф! Мне утвердительно известно, что вкуснейшая из всей дичи — дичь, которую в обыкновенных случаях зовут «дупелями», а в торжественных «дупельшнепами», доныне жарится в провинциальной Руси совершенно вопреки не только нежному искусству, но и природе. Попробуй только кто-нибудь сказать в доме, повидимому очень порядочном, что дупелей должно жарить не вынимая кишок, — ему захохочет в глаза повар, даже пожалеет внутренно о печальном положении его мозга; о кухарках нечего и говорить — они просто приходят в ужас и остроумно замечают, что в таком случае лучше уж, кстати, и не очишивать перьев... Не только в провинции, но и в Петербурге мне лично случалось испытывать подобные результаты доброжелательной откровенности. Чтоб убедить не портить дупелей, нужен авторитет, *ваш авторитет*, милостивый государь, скажу вам без всякой лести. Итак, господин Пуф, поспешите поправить дело, пока еще не поздно, и еще не все дупеля, которыми, благодаря мокрому лету, так обильна нынешняя осень, погибли жертвою непростительного невежества поваров, кухарок и отчасти — зачем не сказать всего? — их господ!

Слава богу! Как гора с плеч свалилась! по крайней мере я исполнил долг свой и могу умереть спокойно. А пока я не умер, поговорю с вами об охоте, которую избрал предметом нынешней нашей фельетонной беседы. Охота есть одно из главнейших удовольствий в России; охота ведется и в Петербурге; но жалка и бедна петербургская охота, как все, что не составляет главного занятия человека, но есть не более как занятие побочное, которому посвящаются немногие часы, остающиеся от других, бо-

лее важных, занятий. А кто же в Петербурге живет и может жить одною охотою и для одной охоты?.. Самая природа петербургская бедна удобствами, нужными охотнику. Кроме дупелей и бекасов — страстных любителей болот и всяческой сырости, — других пород дичи здесь или нет вовсе, или очень мало; водятся тетерева, белые и серые куропатки, коростели; на взморье перекликаются кулики, живущие рыбой, большие на вид, но скорее малые, чем большие, на блюде, — свойство, делающее их похожими на тех богачей, которые во время цветущего состояния своих дел кажутся и умными, и значительными, но, будучи *оципаны*, становятся пусты и незначительны. Природа петербургская так бедна и непривлекательна, что с нею даже плохо уживается заяц — этот четвероногий космополит целого мира, одинаково переносящий и жар и холод и ежеминутно готовый улепетнуть от борзых собак на край света. В окрестностях Петербурга зайцев очень мало, и если бы здесь количество псовых охотников и стрелков относилось к количеству жителей в такой же пропорции, как в некоторых внутренних русских губерниях, то псовых охотников можно было бы насчитать больше, чем зайцев. Но и псовых охотников в Петербургской губернии мало... Псовая охота есть забава помещиков, живущих во внутренних губерниях России и наследовавших страсть к псовой охоте от отцов и дедов своих вместе с величественным зданием псарного двора, гордо возвышающимся на первом плане усадьбы, кучею доезжачих, подъезжачих, борзовщиков и разной охотничьей сволочи, стаею «паратых вижлиц» (быстрых гончих) и несколькими десятками или сотнями борзых. Сюда должен обращаться всякий, кто хочет познакомиться с охотою, изучить ее, насладиться ею!.. Прожив месяц между настоящими псовыми охотниками, среди беспрестанно раздающихся звуков сладкопоющего рога, музыкального «вара»¹ гончих, неистовых криков доезжачего, ободряющего собак, «атуканья» и «гагаканья» борзовщиков, — чувствуешь себя храбрее, воинственнее и приучаешься смотреть с настоящей точки на обширное поприще для травли. Признаюсь, время, которое посвящал я псовой

¹ Собачий термин, заключающий в себе намек на шум, происходящий при кипении котла, и означающий горячий и дружный лай тявкуш, гонящих зверя, — лай, в котором действительно есть нечто музыкальное, по крайней мере — для псового охотника.

охоте, проходило для меня гораздо приятнее и скорее, чем то, в которое я имею удовольствие беседовать с вами в «Литературной газете», и, несмотря на ушибы, выпадавшие при довольно частых падениях с лошади на мою долю, я с благодарностию сохраняю воспоминание о том времени подле драгоценнейших воспоминаний моего сердца. Впрочем, для предупреждения опухоли от ушибов, в подобных случаях берется обыкновенно несколько бутылок рома, который и исполняет, сколько я мог заметить, свое назначение очень исправно, ибо удивительно способствует героическому перенесению и даже совершенному забвению всяких ушибов. Псовая охота, между прочим, порождает еще тот баснословный, истинно-волчий аппетит, о котором Петербург не имеет и понятия. Вот где источник того благословенного здоровья и той коренастой плотности, которым завидуем мы и вечно будем завидовать в провинциалах! Пустите самого тощего из всех тощих журнальных сотрудников на эту тучную отаву, которую зовут жизнью псового охотника, — через полгода вы его не узнаете. Псовый охотник ни о чем не думает, ни о чем не хочет знать, кроме своей охоты. Он гость дома и хозяин в поле. Вся заботливость его ограничивается присмотром за лошадьми и собаками, и я всегда истинно умилялся, как даже многие имеющие жену и детей охотники ни о чем так много не заботились, как о благосостоянии своих собак. И это очень понятно: от собак зависит все удовольствие охотника, и они же могут быть источником самых горьких неудовольствий. Видеть, что у соседа собаки лучше содержатся и лучше скачут — истинное мучение для псового охотника; он не пожалеет ничего, чтоб перецеголять счастливец, и вот где, а не в каких-нибудь менее важных обстоятельствах, скрываются причины, что дети богатых отцов не имеют иногда возможности завести и посредственной охоты. Псовый охотник никогда не впадает в апатию, редко (разве в те дни, когда невозможно охотиться), чувствует скуку и никогда ни о чем не жалеет и ни на что не досадует, потому что ему все равно, — были бы зайцы. Страсть к псовой охоте переживает все страсти, пересиливает все огорчения, и я знал охотников, которые после самых тяжелых и потрясающих катастроф и потерь в жизни оставались теми же псовыми охотниками, прибавляя только каждый раз несколько новых гончих к

прежней стае или удвоивая всю охоту. Этого, надеюсь, довольно для доказательства глубокости этой страсти. Охотники, устаревшие до того, что не в силах уже сидеть на лошади, также потерпевшие на охоте от лишней горячности, врожденной или случившейся по обстоятельствам, какое-нибудь увечье, ездят на охоту в беговых дрожках или даже (до места) в коляске, и никогда без сердечного трепета и умиления не мог я смотреть на восторг, оживляющий черты старца-охотника при дружном завывании гончих, криках борзовщиков и раздирающем вопле схваченного собаками зайца. Сколько во всем этом поэзии — не той пересаженной поэзии, которую веет на нас «лукавый Запад», но настоящей, чисто славянской!..

Я чувствую, что слишком много сказал в похвалу псовой охоте и псовым охотникам, увлекшись личным пристрастием моим к этой забаве. Меня могут счесть отсталым человеком, приверженцем старины, что было бы для меня очень обидно. Потому считаю нужным, в заключение, несколько побранить псовую охоту. Итак, некоторые пристращались к псовой охоте до того, что забывали свои семейные обстоятельства, не радели о воспитании детей и расточали имение... Но боже мой! кто же не знает, что всякая страсть доводит иногда до излишеств?.. Нет, не буду бранить псовую охоту... это очень скучно... и притом это всякий сам может сделать лучше меня. Скажу лучше, в оправдание свое, что я также вместе со всеми благонамеренными людьми радуюсь, что псовые охотники с каждым годом переводятся, что огромные охоты уже все перевелись и что помещики наши поняли уже, что для их деятельности есть поприща более почетные и приличные. Скоро псовый охотник сделается типом «прошедшего», и потому все касающееся до псовых охотников должно собираться с особенным тщанием. В заключение приведу вам еще небольшой куплет из водевиля, который современем будут играть на сцене. Тут вы увидите портрет такого псового охотника, которые бывали встарину, но которые теперь едва ли водятся:

Я люблю простор и барство
И живу, как жили встарь...
<Я — обширнейшего царства
Полновластный государь.>
В независимом владении

У меня с давнишних пор
Девять тысяч душ именья
И осьмнадцать тысяч свор.
Дом величественной формы
Прочно выстроен для псов, —
Я скупаю им для корма
Старых кляч со всех концов.
Лучшим стол даю особый,
А наилучших так люблю,
Что рядком с своей особой
И с женой своей кормлю.
Стоит ночью встрепенуться,
Затрубить, — на голос мой
Тотчас всадники проснутся,
Псы начнут веселый вой.
Вмиг усеяна дорога,
Счета нет собачьих свор;
Затрубим — и звуки рога
Потрясают дол и бор...
Дорога моя забава,
Да зато и веселит;
Об моей охоте слава
По губернии гремит!
Да зато как гаркнут «слушай!»
Доезжачие в бору,
И зальются вдруг тявкуши,
Словно птицы поутру,
Как кубарь, матерый заяц
Чистым лугом продерет
И ушами, как китаец,
Хлопать в ужасе начнет, —
Тут последняя копейка —
Видит бог — не дорога,
Только б Сокол¹ или Змейка²
Подхватили русака...
Я живу в отъезде поле,
Днем травлю, а ночь кучу,
И во всей вселенной боле
Ничего знать не хочу.
Я люблю простор и барство
И живу, как жили встарь.
<Я — обширнейшего царства
Полновластный государь.>

Осень — самое благоприятное время для псовых охотников, и теперь, когда вы, быть может, с стесненным сердцем смотрите на опадающие листья, псовый охотник с радостным нетерпением ждет окончательной уборки хлеба с полей, чтоб начать свои подвиги...

¹ Собачья кличка.

² То же.

О ЛЕКЦИЯХ ДОКТОРА ПУФА ВООБЩЕ И ОБ АРТИШОКАХ В ОСОБЕННОСТИ

М. г. Я человек простой и не умею изъясняться вычурами, как иные прочие, которые так славно пишут. Итак, я вам сказал напрямки, что с той поры, как стал читать и прикладывать к желудку остроумные лекции почтенного и достойного доктора Пуфа, я совершенно иначе на себя смотрю, и, правду сказать, — взгляд мой на человеческую натуру сделался даже, как кажется, обширнее. «Что такое человек — с своим желудком? — думал я прежде, — животное! просто животное! Ну, что я полезного делаю? *Ем!* вот и все. А между тем, что за пустое занятие *есть!* совсем нет никакой цели. Да опять и то: ведь *ест* всякий; даже просто мужик или какой разночинец также ест; ну, чем же в таком случае я отличаюсь от мужика или разночинца? Даже просто тоска берет!» Так или почти так думал я, пока лекции доктора Пуфа не озарили для меня собственной моей внутренности. Тут я понял, что желудок — великое дело, что он весьма благородная вещь, что для него работают и голова, и руки, и ноги; пред ним склоняются и ум и сердце; к нему, как к общему центру, сходятся все науки, вся промышленность и торговля. Оно в самом деле и должно быть так! Чем, например, сосед мой, Григорий Силыч, не почтенный человек? У него бывает вся губерния; его все уважают, называют *славнейшим малым*; ни у кого в губернии с таким чувством и толком не играют в преферанс; а ведь если порассудить, да поразобратить, то Григорий Силыч только одно и делает на свете, что ест. Вот как доктор Пуф поразъяснил нам, как это важно — хорошо есть и какие от этого хорошие последствия, то я и сам теперь вижу, что Григорий Силыч почтеннейший человек. Как вы, а я так думаю, что если

бы Попе жил в наше время, то он не написал бы ни за что своей поэмы о человеке, а просто переложил бы в стихи лекции г. Пуфа. И славно бы сделал!

Впрочем, что́ это я так в высоту зафилософствовался; да и совсем некстати. Дело в том, что вот я, например, хотел сказать вам кое-что насчет лекций г. Пуфа; а именно, что я, к своему несчастью, кое-каких вещей там не нахожу. Надо вам заметить, что я, с тех пор как пришел в тот возраст, в котором начинают понимать настоящие вещи, люблю страстно артишоки.

Артишоки, вот харч благословенный,
В обед и не обед для всех бесценный,
Артишоки и вкусны, и сытны, и сладки,
Поганства в них нет, и лишь гадки
Те люди, которые мнят,
Что артишоки гадки, и их не едят!

Смею удостоверить вас, м. г., что я эти стихи сам сочинил, и только в них заметно маленькое подражание одним очень прекрасным и известным стихам, которые я случайно как-то нашел в книжках г. Бурнашева ли, или Ф. Кузмичева, не припомню.

Так вот, я хотел вам доложить насчет артишоков. Я все ожидал, что почтенный доктор Пуф расскажет хорошенько и рационально, как самым вкусным и настоящим образом готовить артишоки. Ан вот-таки и нет, и пора артишоков отходит, а нет. Просто даже грусть взяла! Знаете, иногда ешь артишоки (у меня Степка-повар, такой искусник, да плут естественный), они себе и того, — да как вспомню, что, может быть, есть лучшие способы их готовить, что, может быть, г. Пуф и лучше их умеет есть, так прямо жалость и тоска берет. Раз только г. Пуф заговорил о артишоках, да и то сказал только, как их сохранять по способу Аппера; ну что ж в том? а ведь сохранивши нужно их съесть умеючи. Право, я вам скажу, что дело очень достойное внимания. Я даже, знаете, хотел писать об этом г. Пуфу партикулярно; да думаю себе: «Куда с такими учеными и почтенными людьми в переписку! осмеют, одурачат! Уж читал я иногда в газетах, как просто даже много насмех подымут. К тому же и то сказать, не знаю имени и отчества господина профессора». Подумал, подумал, да и решился, м. г., обратиться к вам об этом деле.

Вы, имея счастье жить в одном городе с столь почтенным человеком, верно, знаете, как он и где он там. Прошу вас, выспросите у него об этом, т. е. об артишоках, так, стороною; может быть, он избрал какие особые средства, да держит в секрете: так вы, знаете, так, поосторожнее. Чувствительнейше меня обяжете. С признательностью готовый до конца гроба к услугам

Афанасий Похоменко.

С — ск.

ПРЕФЕРАНС И СОЛНЦЕ

(Драма, разыгрывавшаяся на-днях в сердце одного чиновника почтенной наружности, — в одном действии, с куплетами)

С Ц Е Н А I

Суббота. Чиновник идет по Невскому проспекту от Полицейского к Аничкину мосту и рассуждает сам с собою.

Вот в Петербурге и солнце. Надо отдать справедливость петербургскому климату: он с характером и любит более всего озадачивать почтеннейшую публику. Летом, когда все ждут солнца и тепла, он наряжается в темную мантию, подбитую холодным ветром и дождевыми тучами, и величественно раскидывает ее над всею столицей. Несчастные жители, желающие пофрантить новыми летними нарядами, никак не могут понять, отчего так долго висит над их головами какое-то мглистое, серо-темное покрывало, из которого каждый день сочится мелкий, убористый и проемистый дождь, наводящий уныние, как скучная статья, напечатанная мельчайшим и сжатым шрифтом; они, обученные разным наукам, очень хорошо знают, что по календарю на дворе должно стоять лето, и ждут лета с постоянством и терпением, составляющими отличительную черту их характера. Но петербургский климат, как уже выше сказано, себе на уме: он тоже воспитан в законе терпения и не снимает с себя осеннего наряда. Жители ждут неделю, другую, третью, месяц, два, наконец, выезжают на дачи, нарочно не топят, нарочно ходят в летних костюмах, едят мороженое, все это делают нарочно для того, чтоб показать, что они не замечают штук климата, не переставая, однакож, втайне ждать «лучших дней», поглядывать на горизонт, томиться, гадать... а он все-таки не дает и признаков лета! Вот уж на дворе и сентябрь

месяц, пора расстаться с природой, т. е. с дачами, пора в город, пора к занятиям и развлечениям комнатным. «Баста! верно в нынешний год не будет лета. Так и быть, насладимся в будущее. А теперь — приготовимся к осени! Уж если лето было так пасмурно и дождливо, что ж будет осень?» И все воображают себе в приманчивой перспективе слякоть, холод, грязь и тот винегрет, который с особенным искусством готовится в Петербурге из дождя и снега, тумана, крупы, изморози и иных-других материалов, совершенно необъяснимых уму смертного. Но ничего не бывало: климат опять отпускает штуку. Он дает небольшое тепло и выводит на небо солнце... Петербург в изумлении: скорее одевается, наряжается, летит на Невский, ловко соскакивает с экипажа на тротуар и, натягивая желтую перчатку, стремится от Аничкина до Полицейского и обратно, неся на себе все убеждения собственного достоинства... «Bonjour! Quel beau temps»¹. — «Прекрасное: надо пользоваться». — «О, да! Это, верно, не надолго». — Но на завтра — опять солнце и тепло; так стоит целая неделя. Все удивляются, чиновники говорят, кладя за ухо перо: «хорошо бы прогуляться»; журналисты, обрадовавшись находке, воспевают погоду; дворники отдыхают; но все вместе и каждый порознь думают про себя: «Оно-то теперь хорошо: зато что будет дальше! Ох, ох, ох... А уж приударит на славу: по всему видно». И опять ожидания обмануты! Кто купил себе новый зонтик, или резиновые калоши, или непромокаемый плащ, те начинают уж опасаться за издержку капитала, брошенного на полгода без процентов... На дворе каждый день сухо, на дворе тепло, на дворе светло, «как в сердце женщины», мог бы я прибавить, если б не было уже достоверно известно, что там «темно». «Что это значит? Вот ноябрь. Начались морозы — зима; следовательно, осени не будет?» — спрашивает один молодой человек с пожилой наружностью у другого, которого наружность неизвестного возраста. — «Не знаю, mon cher!»² А, может быть, отложили до зимы...» — Quelle idée!³

Таков-то петербургский климат!

¹ Здравствуйте! Какая хорошая погода! (Ред.)

² Мой дорогой. (Ред.)

³ Что за идея! (Ред.)

Что до меня лично, я потому только не люблю осенью солнца, что оно пробуждает в душе совершенно неуместные и несвоевременные стремления —

В оный таинственный свет

и кроме того рождает какую-то тень укоризны и раскаяния... «Как! — думаешь себе, — вот взошло великолепное солнце; природа пробудилась от летаргического сна; она *ликует*; надо бы по чувству долга человека *итти в поле* и праздновать там сей радостный праздник; по крайней мере надо бы итти хоть на Невский: а ты куда идешь? а? куда ты идешь?.. Ты идешь заключиться в душевные четыре стены, между мертвых хартий и всковой пыли, ты идешь в архив!..» и пр. и пр. Или еще и такие мысли приходят в голову: «Вот взошла бледноликая луна; ночь тиха, и природа дремлет в величественном покое... Успокойся и ты, человек, дитя природы... Но увь... Вместо успокоения, вместо сна, к чему ты стремишься, человек?!. Куда ты направляешь поспешные шаги свои?.. Туда, где в душевой комнате расставлены зеленые столики, зажжены свечи, разложены мелки... Не звезды бледно мерцают в очах твоих: тебе мерещатся взятки, висты, консоляции... О, человек, человек!»

Да, право, такие всегда рождаются у меня печальные мысли, когда я в свое время увижу на небе солнце... То ли дело, как еще с ночи зарядит на дворе *этакое* — *какое-то такое*: и дождь, и снег, и ветер: любо! Проснешься и, взглянув в тусклое окно, думаешь сам себе: нынче на дворе прегадная погода, то есть такая гадкая, что, кроме преферанса, ничем нельзя и заняться... Нельзя! ну, чем вы можете убить тоску такой погоды?.. А в преферанс, должно быть, хорошо...

Да; преферанс как нарочно создан для такой погоды... Уж не заняться ли им с утра... В самом деле, куда деть время!.. Кто в такую погоду станет выходить в архив?.. Не пойду... нет, лучше я отправлюсь к Петру Тихоновичу: он же кстати живет с братом: вот и партия.

(Приходит домой, надевает халат, закуривает трубку и ложится на кровать.)

СЦЕНА II

Чиновник и потом таинственный голос.

Чиновник (*потягиваясь*).

А когда на небе солнце, совсем не то... вот и сегодня у меня такие мысли, такие мысли... все преферанс да преферанс, думаю я... Как будто нельзя ничем дельным заняться? Стыд! срам!.. Недаром и в книгах смеются, и комедию сочинили. Правда, приятно, но я совершенно согласен с учеными: для души ничего нет... Не буду-ка я играть в преферанс! не буду! .. Оно и денег больше останется, и времени, — ну и то и другое... Прощай, преферанс! прощай навсегда... знаешь ли? мне даже хочется сочинить на тебя стихи.

Таинственный голос.

Как, на меня... стихи? и, конечно, похвальные?

Чиновник.

Увы! нет! Таков уже человек, что если он пишет стихи, то непременно напишет их и на дядю, и на тещу, и на приятеля... я уж на всех написал, и теперь...

Таинственный голос.

Но на меня?.. Подумал ли ты, на кого поднялось дерзкое перо твое, подумал ли ты?.. На меня?..

Чиновник.

Да, на тебя.

Таинственный голос (*грозно*).

Замолчи, дерзновенный! подумал ли ты, что говоришь?.. Против кого вооружаешься ты? Что бы ты был без меня, и был ли бы ты без меня?.. Не я ли тысячу раз выручал тебя в тяжелые минуты?.. Не ко мне ли бежал ты, когда напала на тебя черная немочь и был ты чернее тучи, и уже ясно становилось тебе, что нечего делать... Не ко мне ли бежал ты, как сын, припадающий в скорбный час на теплую грудь матери, и не всегда ли спасал я тебя?.. Не я ли учил тебя переносить терпеливо удары судьбы, быть смиренным в счастье, спокойным в несчастье, брать взятки хладнокровно, осторожно и ни на минуту не забы-

вать, что скоротечно и несчастье и счастье, что рушатся города, тонут пароходы и корабли, изменяет любовь, обманывает слава, улетает как призрак радость, — и остаются одни только ремизы, холодные и неумолимые, как судьба, — остаются вечными пятнами упрека на кармане и на душе, ночью, подобно бледным и страшным привидениям, приходят будить человека из сладкого сна, вырывают его из объятий любимой матери, нежной супруги, достойных друзей, подливают отравы в его утренний кофе, в семейное счастье, в обязанности служебной деятельности?.. И ты вооружаешься против меня, ты, человек благоразумный!.. Отрекись, отрекись от дерзостных слов твоих, или на главу твою, подобно льдистым лавинам, стремящимся с высоты гор, низвергнутся бедствия, какие только есть во власти моей!.. Огненным дождем ослепленные, в ужасе закроются очи твои, туман помрачит слабый рассудок твой, и от края до края, в безумном смятении, испишешь ты весь зеленый стол цифрами собственного своего приговора... и не стереть тебе их, не стереть до конца дней твоих... Жена не узнает тебя, когда ты вернешься домой, собственные дети отвернутся от своего отца, самый пес твой, который, бывало, встречал тебя радостным виляньем хвоста, завоюет при входе твоём, как будто чуя покойника!.. Отруби, отруби скорей нечестивую руку свою, посягнувшую на дело позорное, ты — мой сын, мой единственный сын, потому что я не уступлю тебя никакому другому делу (да благо и нет его у тебя!). С помощью одной, которая останется у тебя, руки ты еще можешь сдавать карты, брать взятки, записывать ремизы... но когда отречешься от меня позорно и неблагодарно — что будешь делать ты? Страшная, страшная участь ожидает тебя!..

Чиновник *(весь бледный, с ужасом)*.

Знаю, все знаю... но уже поздно: стихи готовы! бес вдохновения овладел мною; уже он держит меня в своих страшных когтях и щиплет за язык раскаленными щипцами... Мне скучно! мне грустно! мне надобно разрешиться стихами... а там — будь что будет!

Таинственный голос.

Молчи!

Ч и н о в н и к.

Не могу молчать... я тебя ненавижу, я тебя проклиная!..
(*Становится в позицию и начинает декламировать.*)

И скучно, и грустно, и некого в карты надуть
В минуту карманной невзгоды...
Жена?.. но что пользы жену обмануть —
Ведь ей же отдашь на расходы!
Засядешь с друзьями, но счастья нет и следа,
И черви, и пики, и все так ничтожно,
Ремизиться вечно не стоит труда,
Наверно играть невозможно!
Крепиться!.. но рано иль поздно обрежешься вдруг,—
Окончишь — ошипан как утка...
И карты, как взглянешь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка!..

Т а и н с т в е н н ы й г о л о с.

Свершилось! Пустая и глупая шутка?.. и ты не шутя говоришь это? не шутя?.. Подумай еще о том, что ты сделал... день даю тебе на размышление: я добр! Завтра зван ты к Кручинину... не придешь — ты погиб! Уже на весах судьбы давно жизнь и смерть твоя... уже весы колышались... приходи... мне жаль тебя... «Не прииду... У меня есть дело»... Какое дело?.. нет у тебя дела! ну, что ты будешь делать?

Ч и н о в н и к.

А в самом деле, что я буду делать?

С Ц Е Н А III

Воскресенье. Ч и н о в н и к возвращается домой часу в первом ночи, входит в спальню и говорит раздеваясь:

...Проигрался! у этого Кручинина мне всегда несчастье... Вот завтра пойду к другому, авось там отыграюсь...

Ложится спать. Комната наполняется видениями, которые в виде фигур различных мастей носятся над головою героя. Между ними и Т а и н с т в е н н ы й г о л о с во фраке, на котором вместо пуговиц — восемь червей и два туза, что все вместе представляет эмблему высочайшего человеческого счастья — десять в червях.

Т а и н с т в е н н ы й г о л о с
(над ухом засыпающего, мелодическим голосом).

Грешник великий,
Ты обратился.
В черви и пики
Снова влюбился!
Вновь предо мною
Клонишь ты выю...
Ты ль, дерзновенный,
Думал спастись?..
Раб мой презренный,
Впредь берегися!
Жатвы богаты,
Жать не умеешь!..
Если врага ты
Злого имеешь, —
Дерзки поступки
Брось и смирися!
Тайны прикупки,
Тайны ремиза,
Вражьи уловки,
Сердце их, душу, —
Сколько ни ловки, —
Все обнаружу!..
Спи же спокойно!
Раньше проснися,
Благопристойно
Принарядися.
Минет день скучный,
Мрак воцарится;
Року послушный,
Сядь равнодушно —
Бойся сердиться!
Бойся свхнуться,
Бойся ремизов...
Можешь вернуться
С тысячью призов!..

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА

(Материалы для физиологии Александринского театра)

Давно уже не брался я за перо, давно не бывал в театре... а как подумаешь, встарину только и делал, что ходил в театр да пописывал фельетонные статейки. То-то было золотое, веселое время! Но оно прошло, прошло, как и следует ему, невозвратно; и мне остались от него только воспоминания, да еще знание... знание неблестящее, на котором не уедешь далеко и которое досталось мне бог знает как, потому что я не добивался его и никогда о нем не думал... знание тогдашних театральных нравов, тогдашней театральной публики. Долго недоумевал я, что делать мне с своим знанием; наконец, один добрый человек надумил меня: «напиши, — говорит, — братец, что знаешь, и напечатай; авось кому-нибудь пригодится!» В самом деле, время идет да идет; все изменяется; новое гонит со света старое, которое быстро забывается... забывается невозвратно. Может быть, скоро не будет человека, который помнил бы и мог передать старые театральные нравы, а между тем в них — так по крайней мере мне кажется — много интересного, много характеристического, что могло бы помочь и при изучении вообще нравов тогдашнего общества. Послушаюсь-ка приятельского совета: примусь писать записки! Сказано — сделано. Вот начало моих записок. Повторяю: все, что вы найдете в них — дело прошлое; может быть, теперь многое изменилось, может быть также, что изменилось и очень немногое — не мое дело. Я хочу нарисовать вам очерк александринской публики, какую была она в мое время, когда я был театралом. Начинаю.

Русская театральная публика в ту эпоху, когда я пустился в театральство, разделялась на две публики, между которыми была такая же разница, как между Михайловским

театром, исключительным достоянием первой, и Александрыным, где широко и свободно разгуливала вторая. Средину между тою и другою, весьма малочисленную, составляли господа, которые в простоте понятий о патриотизме думают, что лучше зевать, восхищаясь родной посредственностью, чем проводить время в разумном и сознательном наслаждении, какое нередко доставляет посетителям своим французский театр. Замечу кстати, что такое понятие в то время было не редкость и даже находило себе отголосок в некоторых журналах, имевших привычку опаздывать книжками и еще более мнениями... Две публики, о которых я упомянул, никогда между собою не встречались. Первая — большею частию образованная, непременно приличная — искала в театре разумного наслаждения, выражала свои одобрения и порицания умеренно, но зато единогласно, из чего можно было тотчас заметить, что в суждениях своих руководствовалась она здравым смыслом и разборчивым вкусом. Вторая — шумная, многочисленная, нестройная — посещала театр ради того, чтоб пошуметь и похлопать. В состав ее входило так много разнородных элементов разноплеменного петербургского народонаселения, что подвести ее под общий уровень, уловить в ней общий определенный характер едва ли было возможно. Представьте себе толпу юношей, только что выпущенных из школы (а их в Петербурге ежегодно выпускается столько, что их одних стало бы на все театры), юношей, которым до того времени позволялось посещать театр раз или два в год, в виде особенного награждения за «отличное поведение и успехи в науках». Вдруг все эти юноши собираются в театр: каждый из них хочет дать заметить себя, показать свой новый костюм, гигантский рост, легкий пушок на губах, — до того ли им, чтоб помнить, что такое театр?.. Возможно ли им не восхищаться?.. Не говоря уже о невзыскательности неразвившегося еще вкуса, о свойственной всем юношам способности удовлетворяться легко и скоро и о том, что тому, кто не бывал в театре, все кажется смешно и ново, даже остроты и каламбуры, повторяющиеся по обыкновению александрынских водевилистов в каждом водевиле, — одна новость положения, одно чувство независимости, чувство человека, которому театр не только еще не успел надоесть, но для которого он совершенная новость, — скажите, не заставит ли все это восхищаться даже тем, от

чего, быть может, прорвутся на глаза ваши слезы злости и отчаяния?..

Потом представьте себе доброго, смиренномудреного и довольного собою чиновника, вечно занятого службою. Жизнь его течет мирно и незаметно между службою, обедом, послеобеденным сном и картишками. Вдруг, в один день, когда, отобедав, добрый чиновник, по обыкновению, готовится погрузиться, как говорилось в наши дни, в объятия Морфея, жена и дочь объявляют решительно, что он должен взять их в театр. Добрый чиновник не прекословит; но прежде всего он находит нужным отменить на тот день издавна принятую привычку спать после обеда. Потом он бежит за билетом и, возвратившись домой, ждет с нетерпением вождеденного часа. Наконец едут; приехали, уселись, занавес поднялся. Жена и дочь любят усами актеров, критикуют костюмы актрис и с негодованием отворачиваются, закрываются платками при двусмысленных выходках, которые внутренно смешат их напропалую и даже приводят в восторг; муж вознаграждает себя за добровольную отсрочку послеобеденного сна: он спит слаще обыкновенного. «Ах, как мило! Ты ничего не слушаешь, прелесть!» — восклицает жена, толкая его в бок; он просыпается, говорит «прекрасно» и опять засыпает. Водевиль кончен; играют комедию. В комедии есть и смысл, и остроумие, но в ней нет куплетов; чтоб понять, в чем дело, нужно внимательно прислушиваться к каждой фразе. Одно из действующих лиц сказал другому «пошлость». Чиновница не отворачивается, как в водевиле отворачивалась она, чтоб скрыть порыв восторженного смеха, но на лице ее выступает краска злости; она чувствует оскорбленным свое достоинство — достоинство «светской» дамы. Скука! Успокоившись несколько, чиновница начинает зевать; дочь бежит глазами по партеру; обе изредка взглядывают болезненно одна на другую, не решаясь еще признаться, что комедия наводит на них скуку; наконец нерешимости их помог случай: в партере кто-то кашлянул, потом кто-то чихнул; потом кто-то шишнул. «Базиль! (она толкает в бок мужа) поедем домой! Смотреть нельзя». — «Точно, — говорит чиновник, обрадованный памерением жены ехать домой. — Какая это комедия! Комедия, — продолжает он, вспомнив фразу, вычитанную из одной газеты, во время обеда в Палкинском трактире, — комедия требует завязки, ха-

ракторов, движения, интереса, постепенно возрастающего; комедия требует...» Но жена уже встала, и чиновник, не докончив фразы, спешит накинуть салоп на ее плечи. На другой день чиновник, пришедши в департамент, рассказывает своим подчиненным, что он с семейством был вчера в театре, в таком-то ярусе, такой-то нумёр, что одна пьеса хороша, а другая дрянь-дряню; подчиненные слушают его с глубоким вниманием и потом передают слышанное знакомым, которые в свою очередь делают то же. То же самое, что муж, рассказывает чиновница, встретившись на обратном пути с рынка, — куда она отправилась, в сопровождении кухарки, для закупки дневной провизии, — с приятельницею, тоже чиновницею, и присовокупляет с гордостью, что она первая смекнула, к чему клонится дело, и ускала из театра, потому что не хочет, чтоб ее Соничка наслушалась бог знает чего, да и сама не любит, чтоб ее беспрестанно заставляли краснеть, хоть краснеть, как говорит муж, ей и к лицу. Между тем дочь, сидя дома за пальцами, грызет ногти, усиливаясь припомнить некоторые забытые ею стихи из куплета, который, по требованию восхищенной публики, был повторяем несколько раз. Но усилия ее тщетны; приходит молодой офицер или чиновник, имеющий на нее отдаленные виды, и она просит его достать понравившийся ей куплет с нотами. Ноты и куплет тотчас являются. Она заучивает слова и музыку и распевает, аккомпанируя себе на фортепьяно, знаменитый куплет на именинах папеньки, от чего все, разумеется, приходят в восторг. Водевиль вошел в славу, комедия погибла, и если о ней говорят, то не иначе, как с чувством самым неблагоприятным для нее.

Потом представьте себе купеческое семейство, состоящее по крайней мере из девяти человек, которые теснят немилосердно друг друга и между которыми беспрестанный шум и говор; но только раздастся всеобщий хохот, задние толкают передних и передние рассказывают задним, с собственными дополнениями, остроу или каламбур, произведший потрясение: в ложе подымается страшный, уже всеобщий хохот. Поэтому купчики очень любят остроу, которые легко передаются, и терпеть не могут (и всего чаще не понимают) комизма благородного, тонкого, уловимого только для слуха эстетического. Вообще, комические пьесы не так занимают их,

как так называемая ими «трагедья». Сидельцы — большие охотники до драматической крови, обмороков, сумасшествий, но в особенности восхищают их потрясающие здание театра крики отчаяния, скрежет зубов и дикие сверкания глаз. Не будь в драме ни смысла, ни толка, — они все-таки будут в восторге.

Затем загляните в ложу в третьем ярусе: тут сидит около дюжины молодых краснощеких женщин, разряженных в пух: они беспрестанно шушукают между собой, переглядываются с партером, из которого многие молодые люди смотрят на них с гордостью и умилением, — бросают на солидных дам какие-то странные взоры и тем сильнее хохочут, чем более острота простонародна.

Наконец поднимите голову и обратите внимание на раск, набитый сверху донизу, где головы торчат как капуста-ные кочни. Боже милостивый! какое изумительное разнообразие, какая пестрая смесь! Воротник сторожа, борода безграмотного каменщика, красный нос дворового человека, зеленые глаза вацвей кухарки, небритый подбородок выгнанного из службы подьячего, занимающегося хождением по частным делам, красная, расплывшаяся от жира, мокрая от пота голова толстой кухмистерши, хорошенькое личико магазинной девушки, которую часто встречаете вы на Невском проспекте; рядом с ней физиономия отставного солдата... Боже милостивый, сколько голов и сколько, без всякого сомнения, умов!

Несмотря на разнокалиберность, заставляющую предполагать бесконечное разногласие публики, описанная мною публика нередко поражала удивительным единодушием в изъявлении как одобрения, так и порицания. У ней были даже свои особенные понятия и привычки, по которым опытные театралы моего времени без большого труда могли наперед предсказать безошибочно все взрывы ее восторга, который она имела обыкновение выражать оглушительным хохотом, страшными рукоплесканиями, потрясавшими здание, подобно раскатам грома, стуком каблуков и в важных случаях криками: «браво! фора! ура!» Память уже начинает изменять мне, однакож, сколько могу припомнить, подобные взрывы происходили обыкновенно при следующих обстоятельствах:

1) Когда выходил на сцену актер, пользовавшийся

известностью, или актриса, любимая публикою — хоть бы за смазливое личико и востренькие глазки.

2) Когда действующие лица, в жару увлечения, исчисляли добродетели русского человека и выхваляли мощь русского кулака. Вообще должно заметить, что в мое время в так называемых народных и патриотических драмах сочинителю стоило только доказать, как русский молодец побил одним кулаком сотни басурманов, чтоб произведение его увенчалось полным успехом. Когда ж изобретательность его простиралась до того, что он представлял виновницею такого подвига простую русскую бабу, — восторг публики не имел пределов!

3) Когда действующие лица били друг друга, представляли одно другому ноги и палки и бегали один за другим по сцене, с приготовленным кулаком.

4) Когда действующие лица целовались, обнимались, упали на колени друг перед другом и плакали...

5) Когда действующие лица кланялись друг другу в ноги.

6) Когда действующие лица разговаривали со сцены с актерами, посаженными в партере и райке.

7) Когда действующие лица разговаривали со сцены с публикою.

8) Когда сын узнавал отца, мать дочь, брат сестру — и наоборот.

9) Когда у которого-нибудь из актеров случайно сваливался с головы парик, отклеивались усы, борода, бакенбарды и т. п.

10) Когда актер, ставший втупик от незнания роли, устремлял грозный и вместе умоляющий взор на суфлерскую канурку и оттуда вдруг раздавался по всему театру глухой и сиповатый голос суфлера...

11) Когда хвалили хорошенькую актрису под видом лица, которое она представляла.

12) Когда пели куплеты вроде следующего:

Ужели должен я страдать?
Ужели мой удел — могила?
Как догадаться, как понять
За что она мне изменила?..
Я угождать старался ей,
Любил так страстно, так глубоко...
И даже пред свиданьем с ней
Читал романы Поль-де-Кока!

Не знаю, как теперь, — теперь, вероятно, все уже иначе, — но долг добросовестного летописца повелевает сказать, что во всех исчисленных случаях в мое время восторг публики был неизбежен до такой степени, что его, как я уже заметил, предсказывали безошибочно заранее. Были и еще приметы, по которым восторг публики легко было предугадывать также безошибочно, именно: когда пелись куплеты, направленные на жен, судей, вдов, докторов, мужей (предметы, издавна составляющие исключительную тему русских водевильных куплетов), когда смеялись над философией и вообще ученостью и произносили невпопад и некстати термины, употребляемые наукою, которые (неизвестно почему) всегда казались в высшей степени достойными смеха образованным зрителям; когда кашляли и сморкались, запинаясь и хохотали, делали угрожающие движения и кислые рожи.

Когда-нибудь я также сообщу вам, когда описанная мною публика скучала и вообще обнаруживала признаки неодобрения.

ОТЧЕТЫ ПО ПОВОДУ НОВОГО ГОДА

В трех частях

Чу! двенадцать!.. схоронили!..

Тимофеев.

Иди, злой год!..

Бенедиктов.

Нашей радости годна!
Друг, мы в этот год с тобой
Стали дух и плоть едина...

Старожил (В «Послании к
осене»).

Новый год и вновь игра ...
..... ура!

Н. Молчанов.

Я мог бы представить здесь по крайней мере сотню эпиграфов из разных русских стихотворцев, потому что у каждого русского стихотворца непременно найдется стихотворение на Новый год, — но думаю, что благоразумнее перейти прямо к делу... Нет! прежде небольшое —

Предисловие!

Приступая к отчету за 1844 год, первую обязанностью своею считаю, милостивые государи... не поздравить вас с Новым годом... нет! признаюсь вам, я давно отказался от мысли, чтоб поздравление, как бы оно лестно ни было выражено, могло принести кому-нибудь пользу. А если взять в расчет невольные выражения, какие обыкновенно вылетают из уст каждого поздравляющего, когда он взбирается на вашу лестницу, то я не думаю даже, чтоб оно было приятно. По-моему, хорош один только способ поздравления, именно — способ поздравления «в пользу детских приютов», потому что неизбежно есть люди, которым такой способ и полезен и приятен, а я, милостивые государи, всего более хлопочу из полезного и приятного. Пошли мне судьба тысяч сто годового дохода, — я сам за долг себе поставил бы поздравлять вас по такому превосходному

способу, если не с каждым праздником, то по крайней мере... с каждым хорошим днем. Вообще, если уж нужно поздравлять, то я советовал бы бедным петербургским жителям поздравлять друг друга в хорошие дни с хорошей погодой: оно гораздо было бы приятнее и выгоднее!..

Итак, дело не в поздравлении. Но у меня есть сообщить вам, милостивые государи, нечто такое, что действительно будет вам приятно, а именно... Приступая к отчету в литературном, театральном и общественном поведении Петербурга в 1844 году, за особенное счастье почитаю сообщить вам, что я не намерен представлять вам никакого отчета...

Не буду утомлять вас исчислением книг, вышедших в 1844 году, пьес, явившихся на сцене, всех родов скуки и всех родов увеселений, обуревавших в прошлом году петербургскую публику... к чему это?.. Благоразумно ли подвергаться опасности прослыть невеликодушным, когда стоит только не говорить о таких прекрасных вещах, чтоб заслужить название великодушнейшего из смертных?.. Нет! Я представляю себе труд сделать только несколько физиологических заметок, которые, говоря высоким слогом, могут пролить некоторый свет на характер истекшего года...

Часть первая

ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА

Не верьте, милостивые государи, тем жестокосердым людям, которые утверждают, что русская литература в прошлом году мало произвела чего-нибудь замечательного и совершенно ничего не произвела великого... Клевета, решительно клевета! А «Иванушка-дурачок», творение «московского купчины» г. Н. Полевого, а «Год за границую» г. Погодина, а «Жизнь как она есть» г. Бранта... «Жизнь как она есть!» да знаете ли, мм. гг., что романа лучше «Жизни как она есть» нет в русской литературе?.. Так думает автор «Жизни», так и я думаю. Нет, смею уверить вас, мм. гг., что только 1844 году дозволили немилостивые судьбы ознаменоваться явлением такого удивительного «Года» и что скоро опять явится такой год. Что касается до «Иванушки-дурачка», то, бесспорно, история «Иванушки-дурачка» — произведение великое, хотя нет также сомнения, что «История Наполеона» того же автора — произведение несравненно боль-

ших размеров... Но вы, мм. гг., недоверчиво качаете головой, вы ссылаетесь на отзывы журналов... Помилуйте! да кто нынче верит журналам! Вспомните, что говорит о журналах «Опыт библиографического обозрения» того же г. Бранта:

Читатель мой! я был когда-то сам
Российских книг отъявленный ценитель,
И яростно (не верю я ушам,
Но утверждал так некий сочинитель)
Уничтожил таланты и гасил
В младых сердцах божественное пламя...
Но дешево издатель мне платил —
И бросил я критическое знамя...

К числу важных явлений прошлого года должно отнести и следующее:

Б. М. Федоров в прошлом году написал литературную биографию С. Н. Глинки; ждали, что С. Н. Глинка напишет, с своей стороны, биографию Б. М. Федорова, но этого еще не случилось. Н. А. Полевой начал «Историю Наполеона»; нам приятнее было бы известить, что он кончил «Историю русского народа», но так как такого вожделенного события не случилось, то мы и не можем о нем сообщить... Вот и все замечательное, о чем, по моему мнению, следовало упомянуть, говоря о литературе прошлого года вообще...

Журналы наши были толсты, как и в прежние годы. С одним из них случилось необыкновенное происшествие, которого давно не бывало с журналами и о котором, следовательно, необходимо упомянуть: количество почтенных особ, которым он ежемесячно оттягивал руки, до того вдруг возросло, что потребовалось второе издание. С другим толстым журналом также случилось казусное событие; он имел несчастье поверить французской газете, начавшей печатать роман Сю «Вечный жид», и стал переводить этот роман, в полной уверенности достигнуть в конце года благополучного окончания... Теперь оказывается, что этот роман едва ли кончится и в наступившем году. Вот уж подлинно «Вечный жид»!

С «Сыном отечества», с которым давно уже творятся такие казусные истории, каких не бывало ни с каким журналом, в прошлом году случилось столько интереснейших происшествий, что они могли бы послужить содержанием целому роману... Как теперь помню, 12 января 1844 года, после многих программ, явилась программа, в которой объяв-

лялось, что «Сын отечества» *выходит* четыре раза в месяц — 7, 15, 22 и т. д... Бегу посмотреть первый номер, который, по извещению программы, вышел уже 7 числа — нет! Бегу 15-го — нет! Бегу 22-го — нет! Бегу 30-го — нет! То же самое делаю в феврале, и опять — нет, нет и нет! Наконец прибегаю 20 марта и получаю... другую *программу*, в которой извещается, что «Сын отечества» выходит с марта месяца в такие-то числа... «Кстати вот уж 20-е марта: давайте же вышедшие номера!»... Увы, мне опять отвечают — нет! Прибегаю через несколько дней, и — о радость! о восторг! — мне дают первый номер! После того я пользовался завидным счастьем получить еще несколько номеров, но увы! счастье мое было непродолжительно! Получив шестнадцатый номер, сколько я ни бегал, чтоб получить еще хоть тетрадь — хоть еще какую-нибудь программу — я не получил ровно ничего, а между тем «в груди моей не умирало» сознание, что мне следовало получить еще двадцать четыре тетради — за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь... Оно так: все вздор против вечности — но двадцать четыре недоданные тетради против сорока, которые следовало выдать, — право, не вздор!..

Выходил также в прошлом году «Листок для светских людей». Правда, светские люди и не подозревают существования подобного светского «Листка», но ведь светские люди известны своей неблагодарностью. Во-первых, «Листок» издается на хорошей бумаге, во-вторых... во-вторых, у него много других достоинств. В нем участвуют литераторы, большей частью псевдонимные (г-да Е. А., профессор изящного, К. У... зин, — ин, — й, — ь), — но ведь и Old Nick, и виконт Делонэ, наконец, сам Жорж Занд — псевдонимы... Политипажи, украшающие страницы «Листка», почти все выбраны из разных французских изданий третьей руки... но послушайте, господа, мы все *подражаем* понемногу чему-нибудь и как-нибудь... Странно, однако, что эти политипажи имеют иногда сильное влияние на ход самого рассказа. Например, начинается повесть о каком-нибудь Иване Терентьевиче, чиновнике. «Иван Терентьевич, — говорит автор, — счастлив и доволен, он улыбается своей жене»... (политипаж, изображающий чиновника и жену его, с чисто парижскими лицами и с подписью Eugene Birouète, à Paris)¹ «вдруг он

¹ Эжен Бирует, в Париже. (Ред.)

вспоминает, что ему надобно итти в Коломну; на дороге застаёт его страшный дождь» (политипаж, представляющий господина в белом галстуке, прыгающего через лужи)... «какой-нибудь критик, — продолжает автор, — найдет, пожалуй, лицо Ивана Терентьевича неправдоподобным, но посмотрите, любезнейший читатель, на лицо этого критика» (политипаж)... «Не правда ли, хорошо лицо? Так и видишь, что он не в состоянии понимать прелестей сельской жизни» (опять политипаж; человек средних лет лежит на спине в траве... кажется, мы эту фигуру видели в какой-то французской «физиологии»)... «притом же он беден и потому завистлив; не может равнодушно смотреть на красивый экипаж» (изображение фаэтона)... «он даже вообще похож на «Вечного жида» (изображение Вечного жида... Эту фигуру мы также видели не раз на последней странице газеты «Siècle», между объявлениями о продаже львиной помады и зубного порошка)... и т. д. Но это все мелочи; главное — приятный, легкий слог господ сотрудников «Листка». Сколько ума, соли, сколько грации в этих небольших, но игривых и занимательнейших статейках! Например, прочтите небольшую статью г-на Е. А. «Улыбка»: «Нежный взгляд хорош; нежная улыбка лучше; глаза говорят: люблю... Улыбка говорит: полюби и ты!» (Г-н Е. А.! Г-н Е. А.! не следовало ли бы вам написать: полюбите-с и вы-с?!) «Глаза спрашивают — улыбка соглашается... Улыбка — все. (Галантерейное, так сказать, обхождение!) И не горько ли подумать, что г-н Е. А. кончает следующим образом свою статью: «это я говорю по воспоминанию, потому что уже ни одна девушка (т. е. вы хотите сказать девица) не улыбается мне»...

Ведь вот есть, однакож, злые языки на свете!.. Недавно какой-то господин, разговорившись со мной о «Листке» (мы, как люди светские, то и дело говорим о нем), утверждал, что «Листок» похож на провинциального франта, который побывал в Петербурге, т. е. посещал Александрынский театр, Излера и прогуливался по Невскому шесть часов в сутки, и вот, вернувшись на родину, не столько «задает пыли» («Листок» придерживается нежности), сколько «пленяет». Подобный франт слова не скажет просто, без улыбки, особенно при барышнях; он называет женщин «прекрасным, прелестным полом», мужчин «кавалерами», лобит щегольнуть французскими словечками, носит вырезные жилеты, помадится жасминовой помадой и пописывает стишки... Су-

дите сами, читатель, какая клевета! Беру «Листок», развертываю и читаю: «А если модная картинка попадетя в руки кавалера? В таком случае она тотчас же перейдет в руки какой-нибудь «кузины доброй знакомой» и проч. и проч. В «Листке» попадаются также загадки, премилые загадки. Хороша, например, загадка, помещенная в 42-м № с обозначением имени автора, Терентья Терентьевича Терентьева: «Я в цепях, та в покое». Воображаю себе, говоря слогом капитана Копейкина в «Мертвых Душах», как какая-нибудь этакая, знаете ли, субдительный суперфлю, сидя в креслах работы какого-нибудь этакого Гамбса, знаете ли, этак пальчиком своим перебирает «Листок» и вдруг говорит с улыбочкой, знаете ли, своей этакой кузине: «Ах, посмотри, машер пренсес¹, какую милую загадку поместил мосье Тегенее в «Листке»... Я в цепях... та в покое! Ком-се² остроумно...» А стишки, помещаемые в «Листке!» А рисунки!.. Впрочем, в числе рисунков есть порядочные...

Светские люди, которые так жадно расхватили «Листок» в прошлом году, вероятно, с такой же поспешностью хватают его и в нынешнем... Что делать! Русский человек любит щегольнуть, этак, знаете ли, вроде какого-нибудь комплимента, что ли: посудите сами, как же ему обойтись без «Листка»?..

Больше нечего говорить о журналах. В заключение мне осталось только сообщить вам, что в прошлом году Петербург читал еще менее, чем в предыдущем, а «благородные иногородные», как называет их один книгопродавец, с каждым годом читают более. Еще за особенное счастье считаю объявить, что в прошлом году стихотворений вышло так мало, что пельзя не порадоваться за русскую литературу от души... А давно ли?.. помните ли вы время, когда не проходило дня, чтоб не явился новый поэт, новое стихотворение, — время, когда все, даже г. NN, даже г. MM, даже я, — увы! даже я! — писали стишки, время, погибшее безвозвратно и бесплодно и для литературы и для тех, которые приносили «на алтарь ее» свои жертвы, свои «стихотворения»... Помните ли вы его?.. Время было хорошее!.. Бездна шума, бездна литературного движения, тысячи поэтов «провозвестников» и «учителей» с вдохновенным челом, — а в результате...

¹ Мой дорогая княжна. (Ред.)

² Как это. (Ред.)

Стишки! стишки! давно ль и я был гений,
 Мечтал... не спал... пописывал стишки?..
 О вы, источник стольких наслаждений,
 Мои литературные грешки!
 Как дельно, как благоразумно-мило
 На вас я годы лучшие убил!..
 В моей душе не много силы было,
 А я и ту бесплодно расточил!
 Увы!.. стихов слагатели молодые,
 С кем я делил и труд мой и досуг,
 Вы, люди милые, поэты преплохие,
 Вам изменил ваш недостойный друг!..
 И вы... как много вас уж — слава небу! — сгублю.
 Тот умер, тот бьет уток — и жепу,
 Того хандра, другого хмель зашибла,
 Тот спину гнет в дугу... а встарину!
 Как гордо мы на будущность смотрели!
 Как ревностно бездействовали мы!
 «Избранники небес», мы пели, пели
 И песнями пересоздать умы,
 Перевернуть действительность хотели.
 И мнилось нам, что труд наш — не пустой,
 Не детский бред, что «с нами сам всевышний,
 И близок час блаженно-роковой,
 Когда наш труд благословит наш ближний!..
 А между тем действительность была
 Попрежнему безвыходно пошла,
 Не убыло ни горя, ни пороков,
 Смешон и дик был петушинный бой
 Толпе не внемлющих пророков
 С не внемлющей пророчествам толпой.
 И «ближний наш» все тем же глазом видел,
 Все так же близоруко понимал,
 Любил корыстно, пошло ненавидел,
 Бесславно и бессмысленно страдал.
 Пустых страстей пустой и праздный грохот
 Попрежнему движенье замепял,
 И не смолкал тот сатанинский хохот,
 Который в сень холодную могил
 Отцов и дедов проводил!..

Часть вторая

ТЕАТРА И ПУБЛИКА

Решившись быть великодушным, я не намерен исчислять здесь пьесы, явившиеся в прошлом году на Александрынском театре. Но не могу не обратить внимания читателей на переворот, случившийся с петербургскою публикою, — переворот, потому что он, по моему мнению, есть

замечательнейшее явление общественной жизни нашей в прошлом году...

Так как новости, и тем более новости замечательные, появляются у нас не часто, то можно сказать утвердительно, что петербургская публика со времен Тальони находилась в каком-то летаргическом усыплении. Может быть, долго продлилось бы это усыпление, если б вдруг не явился Рубини, а вслед за ним и спутники его: Виардо, Тамбурини, Каstellан и др. Искра, упавшая в порох, не так быстро воспламеняет его, как приезд итальянцев пробудил мирных петербургских жителей. Не только истинные любители, знатоки и дилетанты, составляющие ровно одну миллионную часть народонаселения нашей столицы, но даже особы и семейства самые антимузыкальные, хотя не менее того достойные уважения, увлеклись этой новостью. Не говорю о зале Большого театра, где прежде едва раздавалось хлопанье нескольких театралов (да и то более по причинам личным) и которая теперь ломится от тесноты и грохота рукоплесканий, — влияние, произведенное итальянскою оперою, отразилось и вне театра.

Где бы вы ни были, — всюду слышатся вам имена Рубини и Виардо; во всех концах города раздаются рулады и трели; словом, Петербург преобразовался в гигантский орган, исполняющий одни только итальянские мотивы.

Все запело!

Вздумается ли вам пройтись по Невскому проспекту — «Уу-на фор-тима лаг-рима, уу-на...» раздается позади вас; заглянете ли в кофейную, — рулада *à la Tamburini* встречает вас еще на лестнице; зайдете ли к знакомому семейству, хоть живи оно на Выборгской, уж непременно посадят там дочку за фортепьяно и заставят ее пропеть арию «Нормы» или какой-нибудь другой оперы. Завернете ли вы в самый отдаленный переулок, и тут не пройдете десяти шагов без того, чтоб не встретить шарманщика, который, завидя вас еще издали, не замедлит заиграть финал «Пирата» в полной уверенности получить щедрую дань.

Все это бы еще ничего; но какво столкнуться вдруг на улице с человеком весьма порядочно одетым, который вдруг ни с того, ни с сего поднимет руки к небу, согнет колени и завопит что есть мочи: «тра-ди-то-о-ре!» или, что еще хуже, встретить знакомого весьма серьезного, который на все вопросы ваши отвечает: «трёмба!» и потом, приложив

губы свои к вашему уху, присовокупляет хриплым голосом: «тра-та, тра-та, та-та, тара-тат-та, тат-тата!..»

Влияние итальянской оперы распространилось и на низшие классы... Вы, может быть, недоверчиво качаете головой; но смею уверить вас, что я не шучу и не преувеличиваю. Собственными ушами слышал я фонарщика, который, стоя на своей грязной лестнице и зажигая фонарь, затягивал дуэт из «Любовного напитка». Каково он затягивал — другой вопрос, но существование факта неоспоримо! Театральные кучера и гостинодворцы разлюбили знаменитый мотив: «Ну, Карлуша, не робей» и, с таинственным любопытством вопрошая друг друга при встрече в «заведениях» о господине «Рубинине», так поют... так поют... подобные звуки не излетали и не могли излетать ни из одного человеческого горла, кроме русского, потому что один только русский человек способен так глубоко вникнуть в смысл всякого бусурманского слова и так выразительно передать самое слово, что как будто оно вот-вот только из уст Рубини!.. Словарь итальянских слов, *перешедших через личность русского человека*, был бы теперь любопытнейшею книгою в Петербурге... Словом, во всех классах петербургских жителей пробудилась необыкновенная любовь к музыке.

Количество споров, толков, ссор, а главное, пикков, полученных лакеями у входа в кассу с тех пор, как начались итальянские представления, нет никакой возможности привести в известность...

Чтоб иметь полное и вместе с тем верное понятие об эффекте, производимом итальянскою оперою, перенесемся в залу Большого театра. Нет места, где бы яснее обнаруживались вкусы публики, все ее тонкости, характеры и, наконец, все мелочи житейские, как в театре. Тут каждое лицо является в рельефе; самолюбие, *общий двигатель мира*, высказывается более, чем где бы то ни было, да, наконец, самые ярусы и ряды кресел уже некоторым образом рассортировывают публику, смешанную в частной жизни.

Приступим к делу:

В бель-этаже, по обыкновению, сидит аристократия и составляет *point de mire*¹ остальных ярусов. Как нити паутины, бегущие к центру, направляются к нему завист-

¹ Точку прицела. (Ред.)

ливые взоры чиновниц четвертого и купчих третьего ярусов. Особы второго яруса почти без исключения негодуют на свое положение и сохраняют в лице такое выражение, в котором нельзя не принять, что они только так заняли это место и что при первой удобной оказии переменят его на бель-этаж или по крайней мере на бенуар.

Вообще ложи, кем бы они ни были заняты, представляют дивное зрелище: все, что только Париж изобрел в последнее время нового и изящного, выставляется здесь в лучшем виде: туалеты самые изысканные, цветы, вееры, токи, перья — чудно пестреют при ослепительном блеске большой люстры; когда смотришь на все это, стены зала кажутся оклеенными картинками модного журнала и освещенными волшебным огнем. Публика лож всех ярусов без исключения, опасаясь уронить свое достоинство, веер или лорнет, не изъявляет, за исключением редких случаев, удовольствия своего ни рукоплесканиями, ни стучением в пол каблукми, — и потому обратится лучше к партеру.

В первых трех рядах кресел помещаются особы, которые не увлекаются общим энтузиазмом, аплодируют редко, слушают рассеянно и, повидимому, находятся здесь потому, что нет им никакой возможности занять другое место. В антрактах три первые ряда внимательно лорнируют бель-этаж, с которым, по всей вероятности, находятся в довольно близких отношениях. В остальных рядах кресел, занятых истинными любителями и поклонниками Рубини, заметно более жизни, движения. Целые шеренги меломанов переминаются на своих местах, движимые сладостным нетерпением. Кроме меломанов, размещаются в них маленькими группами «исступленные». Вы тотчас узнаете их по сплюснутой шляпе подмышкою, сверкающему взору и необыкновенному беспокойствию рук и ног. Но надобно вам объяснить, что такое «исступленные». Нарождением *сих последних* Петербург обязан итальянской опере, которая имеет полное право гордиться ими, как своими кровными детищами. До Рубини «исступленные» были смиренные, кроткие и спокойные люди, служившие кто в статской, кто в военной службе. Жизнь их, вообще тихая, никогда не возмущалась художественными затеями; разве представление какой-нибудь новой оперы, как «Руслан и Людмила», или бенефис на Александрыньском театре, или, наконец, какое-нибудь достопримечательное нововведение в пре-

ферансе, — разве одно из таких чрезвычайных событий выгнал их из обычной колеи; но и это случалось довольно редко. С появлением итальянской оперы эти люди растерялись, совершенно сбились с толку, покинули прежние обычаи, вдруг ни с того, ни с сего запели, закричали, засуетились. Всего страннее, что между иступленными нередко встречаются люди, ни разу не слышавшие приезжих артистов и беснующиеся только понаслышке. Беснование же тех, которым случается попадать в театр, — неописанно. Горе несчастному, которому судьба приведет иметь соседями таких господ: он может вполне считать себя погибшим человеком. Во-первых, ему весьма легко оглохнуть от беспрерывных «бrrrrраво! брависсимо! бrrrrрави! бис, биссссс...». а во-вторых, при каждой руладе, то есть во все продолжение спектакля, бакенбарды его будут в опасности пострадать от неумеренного восторга соседей, выражаемого, между прочим, беспрестанным судорожным действием рук... Кроме *иступленных*, партер изобилует лицами, также достойными внимания. Уж непременно при каждом представлении в задних рядах пыхтит, закутавшись в енотовую шубу, недавно приехавший в Петербург помещик. Ему и душно, и тесно, но он твердо решил перенести все, только бы послушать Рубини, о котором наслышался столько чудес. Скромный *онагр* нетерпеливо ожидает поднятия занавесы, радуясь душевно, что мог, наконец, пробраться за последние деньги в обетованный этот край. Несколько женских головок мелькает в разных концах залы, и они кажутся совершенно довольными своим состоянием, тогда как в прежнее время крайне бы обиделись, если б кто-нибудь осмелился предложить им место, занимаемое ими теперь.

До начала оперы все эти лица, группы находятся в каком-то волнении, зала жужжит от толков, прений, рассуждений. Кто с жаром рассказывает анекдот о том, как однажды Рубини пропел на Парижском бульваре арию в пользу нищего; кто убеждает двух или трех слушателей, что Виардо питается одним только бульоном, и то в те дни, когда не занята на сцене. Одни толкуют о превосходстве грудных нот пред головными, другие уверяют, что Россини большой охотник до макарон; третьи, что более двух месяцев пользуются уроками и расположением Тамбурины, тогда как впервые пришли послушать его; наконец, чет-

вертые, кто в нос, кто сквозь зубы, издают по временам неопределенные звуки, чрезвычайно похожие на ветер, слышимый за кулисами...

Но вот поднимается занавес; шум мгновенно умолкает; во всей этой массе воцаряется молчание, которое, как и в природе, предвещает только бурю. Действительно, едва показался Рубини, как крики и взрывы аплодисманов потрясают залу до основания. Великий певец кланяется. «Брависсимо! браво! брррраво!» снова летят ему навстречу.

Так проходит полчаса, сначала, без всякого сомнения, к величайшему удовольствию артиста, потом к величайшему... Впрочем, трудно решить, приятны или неприятны артисту те рукоплескания, которые, по общему сознанию, переходят всякие пределы умеренности, задерживают ход пьесы и отнимают у артиста лишний час времени. Спросите о том у самого Рубини, да и от него едва ли узнаете!

Невозможно описать, что происходит в зале по мере того, как представление приближается к концу. Когда смотришь на львов-меломанов наших, кажется, как будто они решились принести в жертву Рубини, Виардо и Тамбурини свои ладони и негодуют на то только, что ничем не виноватые руки их не разлетаются в прах. *Иступленный* при каждой руладе потрясает головою... причем волосы его хлещут побагровелые щеки несчастного справа и слева; туловище его согнулось в три погибели; в порыве восторга он не замечает даже, что перчатки, добытые дорогою ценою, лопаются и готовы превратиться в клочки. У другого слезы умиления навернулись на глазах: он только пожимает плечами и возводит очи к небу, думая, не там ли происходит все слышанное... к несчастью, галлерей четвертого и пятого ярусов, куда упадет взор его, очень ясно убеждает его в противном...

Брависсимо! брррраво! бррррави! бис! подымаются со всех концов залы с возрастающей силою, часто даже невпопад, а именно в самой середине лучшей арии.

Глядя на всю эту кутерьму, хладнокровный оркестр, пользующийся в итальянских операх весьма продолжительными *rallentamento*¹, невольно припоминает пифию на треножнике и несчастную сцену пожара, внезапно охватившего во время представления берлинский театр.

¹ Замедление. (Ред.)

Три, а иногда и четыре часа, проведенные таким образом, должны были бы утомить публику, по крайней мере успокоить на некоторое время; но, покидая театр, она, напротив того, как бы обретает в нем новые силы и энергию.

При разъезде — те же восклицания, тот же восторг, и долго еще после представления гостиницы, уединенные комнаты и улицы оглашаются звонкими мотивами «Соннамбулы», «Лучии», «Любовного напитка», «Нормы» и «Дона Жуана»...

Переворот, почти равный произведенному итальянской оперой в Большом театре и его публике, произвел знаменитый московский артист Щепкин в Александрынском театре и его публике. Участие Щепкина в спектаклях Александрынского театра заставило перебивать в этом театре решительно всю петербургскую публику, без исключений и ограничений. Старожилы не запомнят, чтоб когда-нибудь был так принимаем у нас русский актер: можете судить об успехе Щепкина!.. Это было единственное, в течение не одного, но многих лет, обстоятельство, нарушившее однообразное течение дней Александрынского театра, неизменно верного своей специальной цели и столько же довольного своею публикою, сколько довольна им его публика...

Часть третья и последняя

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УВЕСЕЛЕНИЯ

Летом петербургские жители увеселялись на собственный счет: мерзли и мокли на дачах и с иронией рассказывали друг другу о каждой новопривывшей щели в их воздушных жилищах и о всех насморках, флюсах, ревматизмах и разных простудах, которым подвергали их причуды очаровательного, благословенного, восхитительного (петербургские жители очень щедры в таких случаях на эпитеты) лета. Даже и в Китае известно, что лето в 1844 г. в Петербурге было до того дурно, что его совестно было принять даже за осень; несмотря на то, следует однакож сказать, что петербургские жители находили средство задавать себе фейерверки, любоваться которыми выходили на улицу в калошах и под зонтиком. Пускались они также раз или два в Петербург посмотреть «конское ристалище» знаменитого турецкого шталмейстера Сульё, но ристалища,

как нарочно, приходились на такие дни, что, проехав половину дороги, никак нельзя было не увязнуть, а вытаскивать экипаж из грязи, никак нельзя было не послушаться здравого рассудка и не воротиться, отчего цирк г. Сульё был довольно пуст. Зато осень была суха, безветрена и ровна: петербургский житель, довольный и малым, когда нет чего получше, и за то возблагодарил судьбу. С октября месяца началась опера, и тут петербургский житель был таков, каким описывали мы его в предыдущей статье «Отчетов». Итальянская опера большую часть зимы составляла одно из капитальнейших его увеселений; но долг справедливости повелевает сказать, что в ту же зиму явился опасный соперник итальянской оперы... Этот соперник — полька!

Огромные успехи польки в Париже не могли не отозваться в Петербурге и не возбудить к ней энтузиазма нашей публики. Все способствовало к быстрому развитию польки в Петербурге. Пассажиры, приплывавшие нынешнею осенью из-за границы, вместо обычных рассказов, только и твердили о польке: с необыкновенным жаром говорили они о фуроре, производимом ею в парижском обществе; с невыразимым восторгом описывали балы, где танцуют польку и в которых сами участвовали, и, наконец, так много натолковали нам о польке, что возбудили в нас любопытство неограниченное. Французские журналы, эти европейские Бобчинские и Добчинские, еще более способствовали к усилению нашего любопытства; в каждом почти номере каждой газеты писали о польке, о владычестве ее в парижских гостиных, театрах, за заставами, à la chaumière и на балах так называемых «Мюзар»; не было фельетона, где бы не превозносили до небес модного танца, где не сооружали бы ему памятников при кликах народа. Любопытство наше возрастало с каждым днем и выражалось дикими прыжками и телодвижениями, в которых, впрочем, тщетно старались мы угадать польку, ибо выучиться танцевать польку понаслышке гораздо труднее, чем написать критику на китайскую книгу, не зная китайского языка.

Около того времени одному из артистов нашей французской труппы следовало дать бенефис: обладая необыкновенным даром пользоваться благоприятными обстоятельствами, он поспешил выписать из Парижа водевиль, написанный по случаю польки и имевший там огромный ус-

пех. Можете себе представить восторг некоторых охотников, когда афиша объявила им возможность увидеть, наконец, как танцуют польку; театр был полон; публика вся отборная; полька превзошла ожидания. Несмотря на то, в обществе еще не решались танцевать польку: *аллюры* молодой чужестранки были столько же вольны, сколько и очаровательны, и потому возбуждали нерешимость в самых страшных ее поклонниках.

Александринский театр, дагерротип французского, поспешил представить на суд публики свою польку. Полька Александринского театра, в которой откинуто было все, что могло вооружить против польки чью бы то ни было щепетильность, на сей раз заслужила единодушное одобрение и, разрешив недоразумение публики, вскоре сделалась общим достоянием. Теперь в каждом почти доме, в каждом семействе танцуют польку, в ущерб кадрилям, мазуркам и другим танцам, господствовавшим до польки. Самые заклятые антитанцоры не могли остаться равнодушными пред обольстительными аттитюдами польки и, хотя с горем пополам, но все-таки предаются капризным ее требованиям. Не станем говорить об известного сорта петербургской молодежи, теснящейся каждодневно в так называемых танц-классах; полька производит на них такое же действие, как тарантелла на итальянцев: они решительно готовы затанцеваться до смерти; полька успела расшевелить даже людей самых невозмутимых и оказавших во всех случаях жизни хладнокровие необыкновенное. Что касается до петербургских барышень, то они выбиваются из сил, чтобы превзойти одна другую в великом искусстве танцевать польку и блеснуть при первой оказии новым своим достоянием, потому что в глазах их, да и многих петербургских жителей, хорошо танцевать польку такое же достоинство, как прощать обиды врагам и уметь терпеливо и смиренномудро переносить удары рока, если еще не больше. Соберутся ли три-четыре человека, уж никак не обойдется без того, чтоб они не протанцевали польки; нередко даже случается, что в уединенной комнатке, где раздавались прежде скрип пера да хрипенье дворового человека, слышится теперь неистовое притопывание, припрыгивание, иногда и падение хозяина, что повергает привыкшего к спокойствию слугу в совершенное недоумение. Влияние польки распространилось даже на самые отдаленные части города; ни одни именины, рожденье, кре-

стины даже на Выборгской и Петербургской стороне не обходятся без польки; но, боже милостивый! какая это полька!.. Вы тут увидите и мазурку, и трепака, и даже кашкан, и, наконец, бог знает что такое. В каждый дом, где есть барышни, непременно ходит учитель польки, хотя, надобно заметить, учителей и учительниц польки до сей поры в Петербурге очень немного. Маменьки вообще находят, что полька необыкновенно способствует к развитию физических способностей дочерей, к усилению ловкости и грации и придает им в глазах молодых людей, годных в женихи, новые нравственные достоинства. Где бы вы ни были, куда бы вы ни пошли, всюду толкуют вам о польке, об очаровательной польке. Мотивы «Лучии» и «Соннамбулы» заменяются теперь мотивами польки; меломания заметно переходит в полькоманию. Действительно, полька достойна энтузиазма, с каким ее встретили. Для нас она имеет особенное значение, не уступающее в своем роде значению итальянской оперы. Публика наша, засидевшаяся на месте (что, по уверению врачей, чрезвычайно вредно при петербургском климате), по крайней мере нашла случай выйти из сидячего усыпления, нарушавшегося только восторженными разглагольствованиями об опере. Полька способствует к образованию балов, вечеров, пикников, которыми мы что-то год от года беднее; полька как-то оживила Петербург и уже по тому одному заслуживает признательного внимания... Если б полька успела завлечь наших любителей преферанса (а кто нынче не любит преферанса?) и отклонить их хоть несколько от сокрушительного картобесия, то вполне оправдала бы похвалы, которыми ее осыпают, и по всей справедливости удостоилась бы не только энтузиазма, но даже памятника!

В заключение скажем несколько слов собственно о польке. Полька — танец чрезвычайно грациозный и оригинальный. В ней есть нечто общее с некоторыми известнейшими танцами, но вместе с тем и так много своего, что ее решительно нельзя назвать похожею ни на какой из прежних танцев. Выучиться танцевать польку нетрудно тому, кто хорошо танцует известные танцы. Но, разумеется, на первый раз нужны указания опытного учителя или по крайней мере хорошее руководство. Руководства у нас донныне никакого не явилось; но на-днях мы узнали, что поступило уже в печать и явится в свет в конце нынешней недели сочинение

о польке гг. *Перро и Адриана Робера*, в русском переводе, с дополнениями переводчика, под заглавием: «Полька в Париже и в Петербурге», книга, заключающая в себе историю развития польки и средство выучиться без учителя танцевать польку, по методе *Евгения Корали*, балетмейстера Королевской музыкальной академии в Париже. Книга будет украшена *восемью* картинками, поясняющими правила разных фигур польки; картинки эти печатаются во французской литографии Поля Пети, учредившейся в Петербурге со времени издания «Эрмитажной галлерей». Когда выйдет эта книга, мы поспешим отдать об ней отчет...

ЗАПИСКИ ПРУЖИНИНА¹

Глава I

«Иван Александрыч! голубчик мой, Иван Александрыч! куда же ты, душка, запропастился? Покинул меня, словно вдову горемычную. Я без тебя сама не своя; как будто ты увез вместе с собой и глаза мои, и память, и душу, и позыв на еду. Ничего не вижу, не слышу, не могу есть, ни пить. Вот уж четвертый день зажарена четверть баранины с кашей: я, мухортик мой, даже и не дотронулась!.. Воротись поскорей, ангел мой Иван Александрыч! А замедлишь еще хоть недельку, не видать тебе Матрены Ивановны... умру я, сирота горемычная! и баранина пропадет ни за денежку, ей-богу, пропадет... А уже я о тебе, дружок мой, думаю, думаю... Как взгляну на банку с рыжиками, так ты сейчас передо мной как живой и стоишь. Съем рыжик, как будто и полегче станет... а ведь все потому, что ты любишь рыжики... Вот, думаю, и половины еще не съела я, сирота беспомощная; будь со мной Иван Александрыч, не стояло бы даром добро! Попадется рыжик хороший, тотчас и в банку назад... Куда мне такие рыжики есть!.. Вот придет Иван Александрыч... Голубчик мой! чем-то тебя там кормят? Некому тебе ни постельки постлать, ни хорошего куска приготовить! Изморили тебя! окормили на чужой дальней сторонешке, ненаглядный ты мой!..»

¹ Спешим поделиться с нашими читателями этою статьею, в которой почтенный литератор наш И. А. Пружинин после долгого молчания подает о себе весть публике. Гений его, как можно видеть из этой статьи, не только не истощился, но приобрел новые силы и высказывается здесь в полном блеске. *Ред.* <Примечание в «Литературной газете».>

— Куда запропастился наш почтеннейший Иван Александрович? Пора бы, пора ему воротиться! Его часть-таки запущена; да при его деятельности, при зорком и расторопном уме все тотчас бы пришло в прежний порядок. Отличный чиновник!

— Необыкновенный чиновник, ваше превосходительство. Как всегда рано приходит на службу!

— Как почтителен к старшим!

— Как деятелен!

— Как умен и проницателен! Как умел заслужить уважение подчиненных, любовь начальства.

— Ей-богу, так, ваше превосходительство!

— Куда девался Пружинин? Не слышали ли вы, что сделалось с Пружининым? — Какой Пружинин? — Вот, будто вы не знаете Пружинина! — Умер. — Застрелился! — Бросился с Поцалуева моста в канал! — В самом деле? Жаль, очень жаль, добродетельный был человек!.. — Невознаградимая потеря для литературы. — Для общества. — Для службы. — Что делать? Прекрасное недолговечно на земле! — Правда, горькая правда:

«Прекрасное погибло в полном цвете:
Таков удел прекрасного на свете!»

— Да кто вам сказал, что погибло? Я еще вчера видел Пружинина: он просто свихнул с ума и продает спички на Чернышевском мосту: «это, — говорит, — мое призвание». — Вздор! он сломал ногу и просто поехал в Берлин, хочет придумать искусственную. — Нет, руку; вот оттого-то он и не пишет! — Вздор, господа, я сам видел, как его несли на Смоленское кладбище; все сочинители шли за гробом, и когда стали опускать тело в землю, один литератор хотел произнести речь (я даже ее после читал, вот ей-богу!.. прекрасно написано, а слог такой — душа надрывается), да никак не мог удержаться от слез, как ни начинал говорить — только и выходило «mmm», а хорошая была речь... Так гроб и опустили... — Правда, совершенная правда, только когда стали засыпать гроб, крышка вдруг затрещала, Пружинин встал, как ни в чем не бывал, и говорит: «Ах, как я долго спал! уж я думаю пора и на службу» и, говорят, еще каламбур какой-то сказал... Вот тут был актер, он тоже и водевилист, уж

верно в пьесу вклеит... А потом оглянулся кругом. «Не стыдно так шутить!» — говорит, и даже прикрикнул: «И вы туда же! — говорит, — уж вам бы, кажется, неприлично!» Потолковали, потолковали и отправились к Пружинину на квартиру праздновать... Ха! ха! ха! вот мне еще попался Пичужчин на другой день... «Ну, моншер, — говорит, — мы в *середу* (накануне-то была среда) праздновали *воскресенье*». Ха! ха! ха!.. — Да что ж такое? — говорю. Тут он все мне и рассказал. Вот оно что, господа! — Скажите, какое удивительное происшествие! — Необычайное происшествие! Странно, очень странно! — Просто невероятно! Непостижимо!

Глава II

Так охали, ахали, выдумывали, предполагали и рассуждали — жена, товарищи, публика, когда я вдруг исчез из Петербурга и в литературе перестало появляться мое имя... А между тем, где же я был, что со мной делалось?..

Прежде всего, чтоб успокоить публику и всех истинных друзей литературы, скажу, что я не только не умер, но даже не случилось со мной никакого припадка, во время которого меня могли бы зарыть живого в землю... Ложь, сущая ложь! Враги мои, которых у меня завелось очень много с тех пор, как я имел счастье пообедать у доктора Пуфа, пожалуй, выдумают и не такую клевету; но, м. гг., кто же верит врагам?.. Пусть немногие строки, которые снова решаюсь принести на алтарь отечественной словесности, будут красноречивейшею уликою врагам моим, и да убедится из них всякий, что Пружинин не только не лишился жизни, но даже и не сошел с ума... Что же касается до Чернышева моста, то, хотя по делам службы мне и случается иногда проезжать через сей мост, но я никогда не только за тем, чтоб продавать спички, но даже и ни за чем на нем не останавливался... и что тут хорошего выдумывать такие пустяки? Сущий вздор и «нимало не остроумно!» Добро бы что-нибудь правдоподобное, а то виданное ли дело, чтоб титулярный советник, человек в мои лета, русский литератор торговал... чем же?.. Спичками!!! Ха! ха! ха! Да я хлеб с квасом буду есть, а уж не пойду торговать спичками!.. Есть у меня родственники и знакомые добрые люди: приди черный год — сегодня у того, завтра у другого, послезавтра у третьего, а уж ремеслом унизительным званию не зай-

муть... Что касается до чина, сделайте одолжение — не ударю лицом в грязь, прошу извинить! Вот и сын у меня есть; четырнадцатый год бестии, а посмотрите, какая амбиция — у!.. Вот я было нанял ему учителя: тот, знаете, рассердившись однажды, и бацни ему что-то неделикатно... Ну, дело известное, с ног до головы семинария, и сюртук до пят, и волосы на голове стоят кверху. «Как вы, — говорит, — смеете говорить мне *ты*: я дворянин; сами вы *ты*!» Каково-с?.. Я вам скажу, Матрена Ивановна как будто дурману обьяелась; бежит мимо меня со всех ног. «Куда ты, куда, Матрена Ивановна?» — кричу ей... И не оглядывается!.. Через минуту воротилась, гляжу: в руках банка варенья! То-то родительское сердце!.. Надобно вам сказать, что Матрена Ивановна сама не то, чтобы из благородных; впрочем, вот уж двадцать пять лет кушает французский хлеб, — моя но сказать, такая же, как и все, благородная! Так вот она особенно рада, если видит, что в дитяти выкажется вдруг невольное необыкновенное благородство... Уж она тут и ног под собою не слышит; побежит в чулан и сейчас банку с вареньем поставит перед ребенком, и ложку ему столовую: сколько хочешь ешь!.. Накормила Кондрашеньку, а Кондрашенька в слезы: «я, — говорит, — учиться у такого мужика не хочу; пусть, — говорит, — просит у меня прощения!» Каков мальчишка, с позволения сказать... А учитель свое: «Да вы, говорит, Иван Александрыч, так его избалуете, что он меня ни в чем слушаться не станет. Не хочу, — говорит, — я у него просить прощенья. Я постарше!..» Чуть было не разошлось; пришлось бы нового учителя нанимать. Да спасибо, Матрена Ивановна же и нашлась. «Вот, — говорит, — Иван Александрыч, носишь фрак, а ведь только слава, что фрак: узехонек, и фигуру в нем ты имеешь прескверную; пора тебе новый, а Панкратию Степанычу (так зовут учителя), выворотивши, он как раз впору; теперь же подходит дело к празднику...» Конечно, конечно! — говорю я, — а вы как думаете, Панкратий Степаныч? — Поцаловал руку у Матрены Ивановны, мне поклон отвесил и говорит мальчишке: «ну, Кондратий Иваныч, вперед уж я вам не буду говорить «ты», и теперь, ей-богу, без умысла сказал, из одной только привычки поганой!..» А все же потом отвел меня в сторону и говорит: «ох, Иван Александрыч! наживете вы себе хлопот: смотрите, он когда-нибудь верхом на вас поедет!» Ведь пред-

сказал!.. Не дальше, как на той же неделе, Кондрашенька мой такую штуку отколол и на Матрену Ивановну так раскричался... верите ли?.. мне самому страшно стало, ну нехорошо, — как бы то ни было, я ему отец, она ему мать: мы его родили и воспитали... Что ты будешь делать: такая упрямая голова! Ну, пускай бы еще с нами упрямылся: свои, перенесем! а то, пожалуй, привыкнет и с другими ту же песенку запоет: может натерпеться. Вот что опасно!.. Ах, дети, дети!.. Зато и потешил же он нас, и в какой торжественный день!.. Были именины Матрены Ивановны; гляжу, Кондрашенька мой подходит к ней, поцаловал ручку и поднес тетрадку. Сердце у меня ёкнуло от радости! не выдержал — подбежал и читал через плечо. На первой странице стихи:

Любезна маменька! примите
Сей слабый и ничтожный труд
И благосклонно рассмотрите,
Годится ль он куда-нибудь!

Перевертываю страницу: *«Воздухоплаватели и пешеходы или по усам стекло, а в рот не попало, водевиль в трех отделениях и пяти картинах, сочинение Кондратя Пружинина»*... Можете представить восторг родительский... Сочинение *Кондратя Пружинина!* «Да ведь это наш сын, Матрена Ивановна, наш родной сын!» — кричу я... Слезы навернулись у меня у старика, а Матрена Ивановна впала даже в истерику: «Видно, что благородных родителей сын, — говорит, — не выбрал какого-нибудь неприличного занятия; приходи на грудь мою, — говорит, — сын возлюбленный!..» Ей-богу! От восхищения даже таким слогом заговорила, что вот хоть сейчас в трагедию. Признался нам, плут, что он уже давно пописывает, да только все боялся, что мы ему запретим; уж и на театр и к журналистам ко всем разные драмы и комедии посылал, да только все назад... зависть!.. Ну, да при моем содействии все можно поправить!..

Одно жаль: учится плохо. Чуть настал день, пишет и пишет; а не пишет, так ходит, закинувши голову, и бормочет водевильные куплеты:

Вице веселье наше...

или:

С шампанским в дружбе вечной...

Надо отдать справедливость, вкус у мальчишки претонкий; кроме шампанского ничего! Правда, и шампанское бы

еще рано, ну да ведь что ж делать? все с такими людьми знаком... «Я, говорит, как прийду в театр, так уж лучше в бунфет и не заходи: все меня так любят, и всякий сейчас пристаёт: ну, Кондраша, бокальчик!» И то сказать: ему четырнадцать лет, а он смотрит, как будто ему двадцать по крайней мере, и занятия не четырнадцатилетнему возрасту чета; а в двадцать лет... что ж?.. отчего и не выпить бокал?.. Я вам скажу, я с десяти лет, да не шампанское, а просто сивуху пил, а ведь вот, слава богу, человек!.. Впрочем, в строгом смысле, нехорошо, и если б не такие способности... у!.. Способности удивительные: мир, говорит, театр, жизнь — комедия, люди, говорит, актеры — и пойдёт и пойдёт...и, знаете, сейчас в заключение куплет. На куплетах просто помешан; каждый бенефис в театр, и уж хлопает ногами, вызывает; один актер даже ему сказал: «ты, моншер, просто ракалия; от тебя ни одно место хорошее не уйдет!» Актеры все его ужасно любят; один даже взял пьесу; может быть, пойдёт в бенефис... Держит себя как следует благородному человеку, нечего сказать, большие успехи сделал в мое отсутствие...

Отсутствие!.. Вот наконец-то теперь я вам и скажу, отчего я так долго не писал, отчего обо мне столько времени не было ни слуху, ни духу... Путешествовал, милостивые государи! катался по России, не то чтобы от нечего делать, а как следует порядочному человеку, не теряя ничего по службе и даже с пользой для нее... Не хотелось, крепко не хотелось; да нечего делать, посылают! принужден был расстаться с семейством... В десяти губерниях был, много интересных видел вещей, да о них я издам скоро особую книгу, а теперь скажу так, что к слову придется...

Глава III

Дешева, да зато скучновата жизнь в провинции!.. Пожил два-три дня — глядь, уж все лица знакомые: городничий идет к судье водки выпить, калашник бьет мальчишку за то, что тот у него с прилавка калач стащил, а мужичина стоит со стаканом горячего сбитня и ухмыляется; рубашки на заборе, бурый уксус в зеленом штофе, два пучка мяты и бледная рябая рожа мещанина в нанковом сюртуке торчат из лавки; куры и утки подбирают с порога земского суда крупу и разную хлебную пыль, рассыпанную тут

«единственно от неосторожности просителей», как говорит Гоголь (не люблю этого сочинителя: он уж слишком того... как бы сказать? — несправедливо многое, ей-богу, совершенно несправедливо!.. а все же иногда захватишь словцо: метко умеет найтись!); колокольчик звенит, взглянешь: самовар в шинели с стоячим воротником сидит на переплете, ящик гонит во всю ивановскую: видно, исправник едет в уезд. Стряпчиха криворотая сидит у окна, глядит на пустую улицу и гладит серую кошку, а собака с улицы глядит на них и лаает; два прохожие канцелярские останавливаются и начинают спорить, на кого лаает собака: на кошку или на стряпчиху? я всегда думал, что на обеих, и проходил мимо. Пройдешь раз, другой по городу, и уж улицы все на перечеете; заглянешь даже в колодезь: ничего любопытного; преферанс без приглашений, играют по маленькой... ну что это за жизнь?.. невольно скажешь с Лермонтовым:

«Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог
Я променял бы, если б мог!»

То ли дело в Петербурге!

Ну, как бы то ни было, Нева обложена гранитом, и пироги с лососиной можно за дешевую цену иметь. Газ на улице горит, и бани всякие есть — пойдешь только в Галерную, тотчас по-турецки выпарят, даром что в русском городе! Потом и другие разные выгоды: живешь где и почище тебя люди живут, большой свет, знать всякая; извозчики на каждом шагу, омнибус, благотворительные и всякие заведения, машины для снабжения бедных водою, в преферанс играют по всем новейшим правилам, с приглашением, консоляция тебе за каждую взятку, можешь в образованном обществе быть, если не пьяница, имеешь приличный чин... Сочинителей видишь: манеры образованные перенимаешь, — ну и вообще хорошо: все ты ему не чужд... Иного и в глаза не видал, а только слышал, что у него глаза худо видят и в галстухе засаленном ходит, а заехал в провинцию, в Мологу в какую-нибудь, ты уж и рассказываешь про него анекдот: «вот, мол, обедали мы у такого-то (да имя погромче запустишь — пускай себе знают!), Абдул Авдеич сидит на конце стола, я на другом, держу вилку в руках и говорю: Абдул Авдеич, угадайте, какая рыба?.. — Корюшка! — говорит... Ха! ха! ха! Все так и

фыркнули, и сам он захохотал и кричит: «ну, Иван Александрыч! исполать тебе, собака»... Оно бы и ничего, так, пустяки, ничего даже в сущности и не случилось, а глядишь, уважения к тебе больше чувствуют, — а за что?.. Умный человек назвал собакой!.. Городничий какой-нибудь уж перед тобой и сесть не хочет, а если и сел, то как будто совсем не сидит, а чорт знает что... про мелюзгу рёзкую я уж и не говорю: вся у дверей и дрожит, а дамы-то, дамы... так глядят на тебя, как будто каждая хочет сказать: «с которой вам угодно, Иван Александрыч, поговорить?» Вот у меня чуть интрига не завелась с одной дамой: красавица! Глаза чудесные, брови черные, нос греческий, талия... талии нет, ну да ведь нельзя же, чтоб все решительно было: совершенства полного нет на земле! Притом же, что там про поджарых себе ни толкуй: и жирная, и такая и сякая, а толстота имеет также свою приятность. Согрешил на старости: мазурку с ней протанцовал... А она вся так вот и раскраснелась; кровь с молоком! грудь волнуется, глаза горят, дыханье точно из душника... Ну, как тут сохранить хладнокровие?.. Я хоть и Пружинин, но ведь все же я человек!.. не выдержал! — Нынче погода прекрасная, — говорю, — но что ее красота в сравнении, так сказать... — С чем-с? — Не скажу-с! — Скажите. — Осердитесь. — Не осержусь. — Нет, осердитесь. — Не осержусь. — Побожитесь! — Ей-богу. С чем же? — С вами... — сказал, да уж после боялся на нее взглянуть: вот, думаю, побежит к мужу, расскажет гостям, расплачется, будет тут история, уличат в дурном поведении, в безнравственности и напишут в Петербург... Ничего не бывало! Стоит себе и смотрит, так смотрит, как будто я сказал ей: «не прикажете ли стакан воды?»...плутовка! Недаром говорится: любовь хитра! Даже и виду не показала! На другой день письмо к ней любовное настрочил. «Ангел души моей, — говорю, — тобой дышу, тобой пылаю» ну там и прочее... «остановился в такой-то гостинице, номер такой-то»... Ай! ай! ай! что я делаю?.. Ужо меня Матрена Ивановна!.. Ну да, впрочем, Матрену Ивановну можно и принаудить: «Нельзя же, мол, маточка, правду одну говорить: уж коли я сочинитель, так должен для красы кой-где и приврать, — для красы, ей-богу, мол, для одной только красы!» Да, впрочем, ничего и в самом деле не вышло: прихожу в последний день перед отъездом к ним обе-

дать: ветчина, вареники... Пообедал; муж ушел спать, она села в уголок и вздыхает, так ужасно вздыхает, что мне даже жаль стало ее! «Вот, думаю, Иван Александрыч, заварил ты, братец, кашу; погубил невинное существо!» Собрался с силами, подхожу и говорю: — Вы изволите вздыхать? — Да-с, — говорит. — Могу ли я надеяться, что хоть один из вздохов, сударыня, посвящен разлуке со мною? — и так посмотрел на нее... Молчит, ничего не отвечает... Я опять: — Ужели ни один из ваших вздохов, — ну и прочее... Посмотрела на меня так как-то странно. — Могу ли надеяться, что хоть один из вздохов, вылетающих из вашей прекрасной груди, сударыня, посвящен, так сказать, разлуке, угрожающей нашим сердцам? И тут, знаете, посмотрел на нее, как следует в таких случаях. Молчит, ничего не отвечает; только еще глубже, продолжительнее вздохнула, так что даже окно, около которого сидела она, задребезжало. Я опять: «Ужели ни один из вздохов ваших, сударыня, — ну и прочее. Посмотрела на меня так как-то странно, выпучив глаза, и говорит: *«Та одчепытсь од мене; та я дуже наглась: мче важко дыхаты!»* Тем вся любовь и кончилась... Оно и зачастую так в свете. Иной и не нашему брату чета, вообразит, чорт знает что, ну там — и небесное существо, и душа возвышенная, и сердце необыкновенное, словом, таких фантазий себе насочинит, носится с ними, носится, как павлин с хвостом. Что ему ни скажи — о ней ли, вообще ли насчет женского пола, смотрит на тебя как на сумасшедшего с состраданием: «вот дескать несчастный; бог-то его как обдел: чего не может понять!» А посмотришь, дрянью такой все кончится, что, как увидишь его, так и бежишь в сторону, жаль беднягу сконфузить...

А притом и мои лета уж не такие, чтоб настоящие вздохи производить... Вот в старину... Молодость! молодость!.. В молодости со мной какое происшествие было... Муж человек отличнейший, душа добрейшая; только уж как заснет, хоть из пушки стреляй... Не могу вспомнить без сердечного ужаса! Ну, что, если б проснулся... если б проснулся!.. ха! ха! ха!.. А она, уж я вам скажу, не какой-нибудь Матрене Ивановне чета, и такие глазки и ручки... А он себе спит... Ха! ха! ха!..

Так вот, дай бог память, заговорил я о том, что уж, как бы тебя в провинции ни принимали, хоть бы сам губернатор играл с тобой в преферанс и в присутствии дворянства и чиновников обходился с тобой на «ты», как будто с своим братом, губернатором, — а в Петербурге житье все-таки лучше... И Матрена Ивановна то же говорит; а уж она не солжет, женщина добродетельная; даже когда в праздник ссора у нас зайдет, она тотчас уступит тебе: ангельское терпение!.. Ну, правда, на другой день возьмет свое, даже однажды и в праздник... Как теперь помню: было два праздника сряду; в первый день за что-то мы повздорили. Прикрикнула на меня, да вдруг спохватилась и с первых двух слов ничего. Так и молчала целый день; на другой день уж двенадцать часов: молчит. Сели обедать — молчит, только так странно на меня смотрит и почти ничего не ест. Смотрела, смотрела, да вдруг ни с того, ни с сего как пустит в меня огурцом — и пошла, и пошла... что делать?.. прорвало! не выдержала. Уж зато и досталось же мне... Верите ли? никогда в будни так не доставалось...

Слова нет, в провинции в какой-нибудь рыжики хорошие всегда можешь за дешевую цену иметь; даже, пожалуй, сам собирай и соли, так они и даром тебе обойдутся; а услышу ли я там итальянскую оперу, например?.. Вот уж пятьдесят лет с хвостиком прожил я на белом свете и думал, что если жена на тебя не сердита, желудок у тебя такой, что и рыжик лишний и горшок каши тебе ничего, водку перед обедом пьешь, имеешь чай, — так вот и все, что нужно человеку для счастья... а под старость пришлось узнать, что не все... недаром иногда чего-то недоставало! Хоть и обед вкусный, и дела у тебя идут хорошо, и с женой мир, а вдруг тоска на тебя такая нападет, бежал бы со свету... На все глядишь с отворачиванием, лень страшная: потягиваешься, выводешь себе зевоту на разные тоны, и хоть бы в могилу сейчас — так все равно, ей-богу! Разве мадеры стакана три выпьешь: ну и опять ничего... А все отчего выходило? оперы итальянской недоставало!.. Альбони! Рубини! Виардо! Унануе! Ниссен! Каstellан! Тамбурины! Ровере! У кого же голова кругом не пойдет от таких певцов!... Унануе, го-

ворят, даже дворянин, высокого испанского происхождения человек... Я всегда с особенным старанием хлопаю, и Матрене Ивановне говорю: «хлопай, Матрена Ивановна, наш брат дворянин поет!» Удивляюсь я нашей публике, как она этого не хочет понять. Иной раз, вот хоть бы в «Любовном напитке», туда и сюда: хлопает ему так, что даже душе легко; зато в «Севильском цирюльнике»... Господи ты боже мой! даже за нее стыдно... неприлично, как хотите, неприлично! Ну, возьмем, хоть бы я теперь голос имел, поехал бы в Испанию и начал бы там петь: хорошее ли бы дело, если б и со мной стали так отмалчиваться?.. Ведь я не актер какой-нибудь: мне не гроши их, мне честь дорога. Особенно люблю я Альбони... Воля ваша, что вы мне ни толкуйте, а уж я за Альбони готов спорить до слез... Что-то родное, что-то русское слышится... даже и глядишь на нее — не веришь, чтоб не русская была... любовь к отечеству пробуждает в душе... как будто слышал уж когда-то такую песню, — бог знает где; только готов побожиться, что слышал... Слезы навертываются на глазах, так что даже совестно!

А впрочем, об итальянской опере уже так много пишут всякие ученые люди, что мне не худо и помолчать... Прощайте. Кланяйтесь нашим, как увидите своих.

ПИСЬМО К ДОКТОРУ ПУФУ

Милостивый государь

Иван Иванович!¹.

По обыкновению всех людей, был я когда-то молод; жил в Петербурге; читывал книжки. Поселившись в деревне, не прекратил занятий моих литературою, но долгое время читал только «Конский лечебник», книгу, оставленную мне в наследство покойным моим родителем. Других книг не было, а выписывать через почту не находил я удобным, ибо при настоящем, известном вам, м. г., упадке нашей литературы легко мог выслать деньги за такую вещь, что и для обклейки комнат не годится, или, чего доброго, рассердишь книгопродавца каким-нибудь неприличным выражением, и вовсе потеряешь деньги. Но в начале 1844 года весть о славе вашей, милостивый государь, пронесшаяся из конца в конец обширного отечества нашего, достигла и до отдаленной деревеньки моей, где живу я. Не подумайте, милостивый государь, чтоб из пристрастия к глуши и безлюдью, или, чего боже сохрани! из вражды к просвещению, но единственно потому, что покойный родитель мой, имевший огромный конский за-

¹ Имени и отчества вашего не имею чести знать, но осмеливаюсь думать, что вас так зовут, впрочем, не из обидного предположения, существующего в простом народе, что «всякий немец Иван Иванович!» (сохрани меня бог! я очень хорошо знаю, что вы лекарь и дворянин, и притом уважение мое к вашей особе так велико, что если б я и знал про вас что-нибудь дурное, то никогда бы не осмелился так откровенно выразиться); но единственно потому, что сколько я ни встречал немцев — непременно Иван Иванович, так что в нашей стороне уж и привыкли: если немец, то и хочется сказать ему: «не хотите ли, Иван Иванович, картофелю?» Впрочем, в случае ошибки с моей стороны, надеюсь, что вы меня извините; человеку, м. г., свойственно ошибаться.

вод, оставил мне только средство лечить лошадей, а лошадей и деревни прокутил сам. Легки на ногу были — ускакали! Зачитался я проклятого «Лечебника» и начал уж воображать сам себя лошадей. Бросил книгу под стол. Бог с ней, думаю, и с литературой! Добро бы было кого лечить, а то вот сам чуть не наелся девисильного корня!.. Вот около того-то времени вдруг и прошли слухи об ваших лекциях. Соблазнился я — подписался на «Литературную газету». С той поры только и делаю, что читаю ваши лекции, ем по вашим лекциям. Но о лекциях ваших после, а теперь вот об чем речь.

Целый год вы, милостивый государь, учите нас, провинциалов, есть здорово и дешево, и учите так, что поди вы ко мне в повара за половину моего дохода, я бы вас с руками и с ногами взял... Но вот что до сей поры вы не сказали нам: как у вас в Петербурге едят? Умеют ли есть? Только ли и делают, что едят, вот хоть бы как у нас, или еда так, на придачу? Петербург для нас, провинциалов, город интересный; мы хотим все об нем знать, — с чего же нам и пример брать, как не с столичного города? мы вот только и толкуем о том, что в Петербурге делается, и, нечего скромничать, знаем кое-что получше вас, столичных. Раз приезжает к нам ваш брат столичный: вот мы ему о том, о другом. «Что вы, — говорит, — да я ничего такого и не слышал!..» Ха! ха! ха! Вот как наши-то! С удовольствием усмотрели мы из объявлений при «Литературной газете», что скоро должна выйти в свет книга под названием «Физиология Петербурга», в которой обещают нас познакомить с тем, как в Петербурге живут и бедные и богатые, чем занимаются, как наживаются, как проматываются, как веселятся, что любят, чего не любят. «Хорошо! хорошо! — думаем мы, — книга полезная: можно будет кое-чем и позаимствоваться нам, провинциалам»; да вдруг и приди мне в голову: *«а как в Петербурге едят?»* Неужели, милостивый государь, там не будет статьи о том, как едят в Петербурге, именно вашей статьи, потому что кроме вас во всем свете я не знаю человека, который мог бы написать такую статью?.. Да тогда куда же будет годиться «Физиология», на которую мы так надеемся?.. Нет, что вы там себе ни пишете, господа составители «Физиологии», а если вы не покажете нам, *что и как в Петербурге (ть) есть и что пить*, мы не узнаем Петербурга,

и ваша книга будет все равно, что человек без желудка!..
Просите же, просите доктора Пуфа, чтоб он сжалился над
вами и над вашей книгой!..

Итак, вот что побудило меня писать. Присоединяя, милостивый государь, и мою усерднейшую просьбу, прошу не оставить вашим уведомлением и перехожу к вашим лекциям. Но об них я не нахожу приличным говорить иначе, как стихами.

Почтеннейший Иван Иваныч!
Великодушный доктор наш!
Всегда зачитываюсь за ночь
Статеек ваших. Гений ваш
Благотворитель всей России!
Вы краше дня, вы ярче звезд,
И перед вами клонит выи
Весь Новолодожский уезд.
Действительно, вы благодетель
Желудков наших, — а от них
И гнев, и злость, и добродетель,
И множество страстей других.
У нас помещик был свирепой —
Неукротимая душа!
Он раз в жену тарелкой с репой
Пустил — зачем не хороша!!!
Ко всем сварливо придирался,
Худел, страдальчески хандрил,
И в доме всяк его боялся
И ни единый не любил!
Его сердитый, злобный говор
На миг в семействе не смолкал,
Неоднократно битый повар
Свое искусство проклинал.
Вдруг... (но какой, скажите, кистью
Здесь подвиг ваш изображу?
Поверьте, движим не корыстью,
Но благодарностью — пишу;
Хоть я учился у поэта,
Но не пошла наука впрок).
Вдруг... получается «Газета»
И в пей — ваш кухонный урок.
Прочел небрежно гордый барин
(То было в пятницу, при нас)
И, как на Пушкина Фиглярин,
Напал, о доктор мой, на вас.
Но не дремал и разум женский:
Прочла жена и — поняла.
И в сутки повар деревенский
Стал человеком из осла.
И что ж? (Я был всему свидетель —
Клянусь — не ложь мои слова!)

Нет, ты не знала, добродетель,
 Полней и краше торжества!
 И никогда с начала света
 Порок сильнее не страдал:
 Помещик наш из-за обеда
 И красношек и ясен встал.
 В слугу не бросил чашкой кофе;
 И — доктор мой! гордись! гордись! —
 Как из фонтана в Петергофе,
 Рекой из уст его лились
 Слова не бранные... Уроки
 Твои из грешной сей души
 Изгнали жесткость и пороки!..
 С тех пор, что ты ни напиши —
 Родным, друзьям, жене читает,
 Тебя отцом своим зовет,
 Весь от блаженства тает, тает
 И в умиленьи слезы льет.
 С тех пор он стал и добр и весел,
 Детей ласкал, жену любил.
 Злой управитель нос повесил,
 «Мужик судьбу благословил!»¹

Вот пример, который лучше всех похвал и восклицаний показывает великое значение ваших, милостивый государь, лекций. За сим мне более ничего не остается, как пожелать вам от искреннего моего сердца всех благ жизни.

И да не говорит, не ходит,
 Повержен в лютый паралич, —
 Кто на тебя хулу возводит
 И злонамеренную дичь.
 Ты Пуф, но ты не *пуф* пахальный —
 Досужий плод журнальных врак:
 Ты человек — и достохвальный,
 А не какой-нибудь дурак.
 Кормилец сорока губерний,
 Ты и умен и терпелив.
 Твоим врагам—венец из терний,
 Тебе—из лавров и олив!
 Трудись, трудись, не уставая!
 Будь вечно счастлив, здрав и свеж,
 И, есть Россю научая,
 Сам на земле не даром ешь!..

С глубочайшим высокопочитанием и пр.

Такой-то.

¹ Стих Пушкина из «Онегина».

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

1

ОТ ВЫШЕГО К НИЗШЕМУ

Милостивый государь мой

Непростительным с вашей, Милостивый Государь мой, стороны, упущением как долга подчиненности, так и правил благоприличия, а в особенности священной благодарности за оказанные вам милости, было то, что вы, Милостивый Государь мой, прибыв вчерашнего числа ко мне прямо от Его Превосходительства, куда посланы были с бумагами, не доложили мне о постигшей Его Превосходительство, к крайнему прискорбию и соболезнованию как его семейства, так и всех друзей и знакомых его, головной боли, чем вы, Милостивый Государь мой, в немалое поставив меня затруднение, могли бы навлечь на меня справедливый укор и негодование Его Превосходительства в невнимании, если бы, вслед за сим, предуведомленный сослуживцем вашим, я, нимаало не медля, не отправился бы лично в дом Его Превосходительства для осведомления о здоровье Его Превосходительства.

Поставляя сие вам, Милостивый Государь мой, на вид в предупреждение могущих на будущее время произойти подобного рода упущений, прошу вас принять уверение в почтении.

(Подпись.)

Примечание. Нет сомнения, что автор письма прилежно заглядывал в «Учебные книги русской словесности», где, между прочим, предложены правила, как сочиняются письма от равного к равному, от низшего к высшему, и наоборот. В приведенном нами письме все правила эти соблюдены очень строго. Говорите же после того, будто книги такие ни на что не пригодны!..

ПИСЬМО СТАЦИОННОГО ПИСАРЯ К ПОМЕЩИКУ-
ПОКРОВИТЕЛЮ¹

Ваше Высокоблагородие
Милостивый Государь!

Без придела милость ваша доброта и великодушие подала мне смелость повергая к стопам вашим и усерднейшую мою прозбу утруждать исполнением оной эта прозба плачущего сердца пронзенного стрелою амура состоит в следующем Однажды возрев оком страстным на находящуюся в доме вашем кормилицу Ану сущую венеру сердце мое воспламенилось огнем неугасаемой любви душа моя облилась неугасимым вулканом и стой несчастной минуты существо мое начало истлевать естли бы я взял сто перьев хорошо подчиненных естлиб сократ и байрон воскресили то 1-й силою своего Красноречия а 2-й великой философия и убеждения не всилах бы были выразить той адской муки которая обуяла мои чувства эти чувства не суть следствия холодного игоизма ни индустриальной расчетливости или филозических ощущений всегда милостивой и обычно усердный муж возрете оком сострадания на меня бедного амура и сотворете подвиг великодушной душе вашей свойствиной снизойдите на слезную мою прозбу и одайте прелесную Ану в супружество без куниц соболя то есть приличным награждением той которая так была довольно ревностна припадая к стопам вашего высокоблагородия покорный слуга:

ПИСЬМО ОТ КУПЦА К КУПЦУ

Примечание. Письмо, которое мы хотим теперь сообщить читателям, замечательно во многих отношениях, ибо рисует нравы целого сословия. Вот эти нравы:

«Милостивой государь
Иван Гарасимович!

Вы приказывали Сергею Васильевичю, чтоб поговорить мне, что вы хотите сватать мою сестру. Сергей Васильевич

¹ Невыдуманное и напечатанное здесь в том самом виде, как написано.

посылали миня к моим радителям сделать им придложенья что вы хотите сватать сестру и сказал им я на имя Аркадия Васильича и на Ольгу Васильевну и на Потугина, что будто они советуют за вас отдать, то родитель сказал — когда евти люди об нем заключають, что хорошего повиденья, то намерены будуть отдать; но только в том дело састаить, в каком вы смысле намеренны сватьбу играть. Есть ли вы думайте так сватьбу сделать как Сергей Васильевич сказали — можно говорить на триста рублей сыграть, — это значить по кузнецки — купить штоф вина притить распить его да прощай. Нету этким манером взять вам у нас не придется, да и батюшка отдать по кузнецки не согласится потому у нас врадне по кузнецки ни одной нивесты ниадавали и свадеб кузнецких ни бывала, а она у нас ни худава поведенья или ни дура, чтоб мы согласились ее так отдать и она у нас из кошнавых нивеста перва красавица; если нам ее такта атдать-та то нам ни то свои сродники в глаза наплюют, но даже весь город асмиеть потому у нас на зопои и на заговоре будить публика большая, люди будут хорошаи, одних баринов будить штук до девяти и угощать гостей нечем будить и обедов ни будить — это просто нам в глаза наплюють, и есть ли согласны вы будите свадьбу сыграть па купескому абряду, она вам станить не мене как тыщу рублей потому у нас гостей будить много, во время запою и заговору у нас займется половина хором, а у вас распаредится некому как только Васильевной и Ликсееву, а евтаю сволачь радители нидапустють, потому ани только умеют распарядитса около табатирак, а ни у етких делов, а радители приказали вам пагаварить есть ли надумайте больше тыщи станить, то они сагласны у вас взять на всю сватьбу тыщу рублей на свое распоряженья на разные вины и на разные закуски и на аеды и меду сварить и на чай и на сахар и засвадьбу священникам отдать; из пасуды совершенно до вас ничево никаснеца, а чаво сверж тыщи ни дастанить, то они с вас ни капейки непотребують, а ваша дело только приехать с Федарам Васильевичем и съ его женою сесть падле нивесты, а ни с евтими людьми с Васильевной и с Ликсеевым, тогда ни стыдно будить пожаловать и Сергею Васильевичю угостим хорошими напитками; и с платья свас нипатребуим снарядим сами; пастелю уберем в три пиремыны отличным манером; квартиру вам тоже ни нанимать, а пустим в ка-

минные комнаты, они у нас аделаны важно; пастелю вам ат нас примут наши сродники как должно по обряду и уберут вам ее. Вот если вы этким манером будите согласны, то приказана мне придить сваи пергаварить с радителями и посмотрите при наряде нивесту и так можем сделать на благовещенье запой, и вы ни биспакойтись сваху пасылать — вот вам мое письмо — если согласны будите, то я вашим буду сватом, а вы моим зятем, а пагавариваить Васильевна за вас у нас свататся, лучше ни пасылайте, потому как батюшка на ние пасмотрить на эткую ловость и спросить ее с какого она званья, а она скажит кухарка, то он евто выведить и выдить дичь палеваая; падильнее ее приходили и то носец заварачвал, этайли ходить свататца, и то евто батюшка согласится отдать собственно для миня, потому я желаю вас иметь сваим зятем и вы мне известны так как на руках мои пальцы. Когда евтого вы ни захотите и пажадите 1000 руб. то ищите себе нивесту подишевли, а у нас женихи будуть. И так честь имею астатца ваш доброжелатель

Милостивый государь
Фарафонт Андреев Кряжов».

Приписка сбоку: «Васильевна эта думайт так как уватали вы первую нивесту так и эта, нет эта совсем особинно, а на етой свадьбы если согласитца она гатовить кушанье, то мы ей отряжем платье».

Еще примечание. Не правда ли, замечательное письмо? Просим читателей вникнуть в него хорошенько. Оно ясно представляет обычаи, приемы, мнения и требования целого класса людей. Господин с бородкой, писавший письмо, предлагаемое здесь читателям, гнушается свадьбою, которая играется по *кузнецки*. Он хочет, чтобы свадьба была играна по *купецкому* обряду, иначе и сродники и город «наплюют им в глаза». Он гнушается Васильевной и не признает ее свахой потому, что она кухарка, а у них на свадьбе *одних баринов будет штук до девяти*. Видно, что почтенная бородка хочет быть на почетной ноге и питает глубокое уважение ко всяким формам и обрядам. Наконец мы просим читателей заметить, что во всем этом письме не говорится нигде о желании или воле невесты, по случаю ее свадьбы. Все дело только в том, *в каком смысле* намерен жених играть свадьбу: намерен ли он издержать 300 или 1000 руб-

лей. Если жених согласится издержать 1000 рублей, то для соблюдения обычая он посмотрит невесту *при наряде*, а там будет *запой* и *заговор*, — и все дело кончено. Еще... но мы пускаемся в объяснение того, что должно быть понятно без объяснений каждому читателю.

4

ПИСЬМО Г. МАНИЛОВА К ДАМЕ ПРИЯТНОЙ ВО ВСЕХ
ОТНОШЕНИЯХ

Милостивая государыня!

Кто всегда в мыслях из добрых моих знакомых, к тому не скоро напишешь, я забываю свои дела, так лишаю себя приятного, но человек несчастлив по собственной воле бывает... Тот трет паркет и говорит: — живу! другой, запивая все горькое и сладкое в жизни вином, тоже кричит: — живу! покой кому достался, или счастье в удел, непременно скажет: — живу! Сибарит, Филантроп, Мизантроп и даже сам Паразит все живут, но разные понятия о жизни имеют!!!..... Но я тогда бы не существовал, а жил, когда бы мог считаться полезным; но желая быть добродетельным не отстал от зла, каюсь! был рабом приличия, не пропустил ни одного собрания, в скромном нашем городке дающихся; но вам очень хорошо известно, почему оно для меня необходимо было..... Почему я бросаю себя в общество людей, есть еще и другие причины, — после всё узнаете. Есть люди, которых блеск не ослепит; шум столицы тише бунтующей крови, но меня и этот шум не оглушает. Видимое глазами предается сердцу, но мое сердце и теперь не решает ничего. Пускай виденное услышится и, передаваясь сердцу, оправдается рассудком, тогда только приму я его. Вы, милостивая государыня, обязали меня желанием встретить светлую душою праздник (давно прошедший), потому, что он называется светлым; конечно, но я желаю, чтобы всякое воспоминание о истине да освещало бы ваши мысли и чувства как некогда мои, увы! затменные пасмурною опытностью. Но есть солнце опыта, озаряющее росу надежд, которую я назову мечтою; «да просветится свет ваш перед человека и да видят ваши добрые дела!» Вот какая мысль может только примирить меня с миром, с самим собою и с будущестью моею..... Но я ос-

тавляю перо, воображая ваше прекрасное будущее и здесь и в небе, — да исполнится.....

С истинным почтением остаюсь *и пр.*

5

Ваше высокоблагородие

Ангел мой!

Через вас несчастною на свет произошла, пришлите мне из любви пятьдесят рублей, смерть как нужно, а я вас очень люблю.

Твоя по гроб жизни

Гангша.

6

Любезный мой предмет

Любовь Савельевна!

Неужели вы так жестоки и несострадательны к человечеству, особенно к почитателю и телохранителю вашему? Вы просили меня, чтобы вас проводить до пансиона, куда намерены были отправиться сего числа, не означив кому оный принадлежит, ни дороги, по коей отправитесь, показав только, что пойдете из своих ворот на правую сторону, и я как любящий вас до бесконечности, не мог почти дожидаться сего времени, потом увидевши, что вы собрались, пустился на правую сторону и, пробежав почти более полверсты, я не мог вас нигде видеть, и не знаю, что бы значило сие, наконец по долгом волнении от усталости и неудачи вас увидеть, возвратился я домой в сильном жару и расслаблении, и я не могу никак постичь, куда вы так скоро из глаз моих могли скрыться, что весьма огорчает, если точно любите несчастного, то помогите ему и утешьте в страданиях, происходивших от величайшей страсти любви, ощущаемых вернейшим вашим почитателем.

7

Ваше высокоблагородие

Милостивейший

Отец, кум и благодетель!

С тех пор как солнце вокруг земли обращается, не было на свете человека добродетельнейшего вас. Поверьте, милостивый благодетель, не подлость, какая свойственна

иным прочим подлейшим людям, и не ради лести, в ожидании наград, но единственно по непритворной любви и высокопочитанию как от себя лично, так и от всего моего семейства с деточками вашими, высокопочтеннейший кум, крестниками, приношу вам сие мое посильное приношение, слабый успех труженика для пользы общественной. Позвольте, благотворительный и чадолюбивый отец, украсить сие мое творение, под названием: «О легчайшем и безвреднейшем способе употребления горячительных напитков», всепочитаемым именем Вашим, коего ни одна в городе вдова и сирота, нищие и убогие, бесслезно не произносят. О, премилостивый благодетель!.. Да пребудут с Вами и со всем высокопочтенным и благонравным семейством Вашим щедроты Всемогущего, да от крупниц Ваших живут и благословляют имя Ваше страдающие.

Вашего Высокоблагородия милостивейшего отца, кума и благодетеля

с глубочайшим высокопочитанием и догробной преданностью, есмь и буду нижайший слуга

П. Филькин.

На конверте:

Его Высокоблагородию

Милостивейшему государю

Анике Силичу Севрюгину.

Господину Почетному Гражданину, Коммерции Советнику и Кавалеру.

8

Непобедимая в красоте предмет мой любезнеющая
флялка

Марья Васильевна!

Вы есть ужасающая критика моей к вам чувствительности и насмешка моего сердца. Я думаю и помышляю всеми средствами, что любовь моя не принесет вам никакого бесчестия и никакой морали, а потому в малой лишь изобильности дерзаю прибегнуть к великолепным стопам вашим, и издыхающий от страсти голос мой честь имеет вам донести о том моем горе и печали, которое вероятно и безошибочно происходит от моей к вам страстности. И вот уже седьмое на десять число появилось со дня нашей разлуки и скрытности, а вы все еще обо мне негижируете. Я часто нередко и поневоле иногда

хожу с меланхолией и зверским видом, но обязанность службы того от нас требует. Завтрашнего числа в шесть часов вечера я буду углубляться позади казармов самым умеренным шагом, и если у меня будет в руках беленькой платочек, так это буду я, а если у меня не будет в руках беленького платочка, то это буду не я, а мой неприятель, которого предлагаю я вам бояться как змия, ибо он может вам нанести бескуражность и причину неприятную. И так прощайте, остаюсь ваш почтеннейший и пр.

9

ПИСЬМО ДВОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА К СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Вселюбезная и милая моя утеха

Для сердца моего

Анна Кузминишна!

За обязанность я почитаю ныне, чтобы не уведомить вас о моем ныне с начала нашей разлуки положении; не буду описывать вам в каких я мечтах пропровождал путь свой ибо вы ежели издержите свое слово в точности то сами должны знать какие мечтание могут владеть Душой моею, но когда приехал на место то много раз во ображал те слаткие и приятные минуты в которые мы некогда с вами провожали. Ах и то полагаю я заистинное мое блаженство еще занеизлишние почту сообщить мое вам прискорбное беспокойство но Ах неимею Себе подобного развеять такового вы одне Владеите моею жизнью от вас одних зависит все блаженство мое я без сомнения верю славам вашим тем; в таком откровенном и горячем сердцем моим и надеюсь получить от вас заимною мою к вам любовь так же и в том сомнения не имею что вы небудите Довольны письмом моим и неполучите обলেখчение на сердце ваше которое прикаждом подвиге пера я всякое слово целую Ах милая Аннушка неприведите меня в забвении и храните Сие Милое письмо присердце вашем так же докажете вы в том что вы меня любите и удостоите меня вашим уведомлением Ах Милая Анюта я страдаю без вас в спомний мой Друг Абамене в одоленной старане итогда в нов щестлив буду еще остается вам сказать Смяхчите ваше Сердце Мне Еще Думается что вы будете приведены в изумление моим писмом то сее и думать за порок почитайте ибо одна любовная природа вилит всегда думать

обвас из пуцат в эдох за вздохом но Ах Милая Аннушка в точности в эдох неможет квам добежать написать Вам мое разлуки А Сие может увеселить доприезда моего но ежели Сие вам занятым nebude то я в Согласие Сердца пишу вам наобороте стихи которые могут за ступить мое место в вашем сердце ибо боюсь того чтобы не оболъстил кто вас инезанел бы в вашем сердце то место где я обитаю то я выдумал сретъство занять место хотя стихами моими А вот оне следующие.

Ах милая Анюта с нетерпением жду от вас ответа.....

Лети к моей любезной
Ты письмецо мое скажи ей рок мой
Слезнои Скажи как страстенъ я
Скажи что лутшей доли
Нестану я желать
Как сладкой лишь певолл
Ея закон внимать
Скажи что облехчение я
В том едином зрю
Когда в слезах мучение
Тебя сто раз чу.

Скажи что ожидаю ответа: надеюсь унываю смерть щастие мое а ты Аннушка причиной что теперь нещастен я с жался надмоей сутьбиной жизнь в руках твоих моя.

Остаюсь истинно вас любящий и желающий с вами видитца.

Трих твои *Ларион Ларионович Щербанов*

Адрес мой вам известен куды писать

Аньтик адно слова!!!...

ПИСЬМО УГНЕТЕННОЙ НЕВИННОСТИ

Ваше Высокоблагородие, Андрей Иваныч! — Любя Вас многие лета я не могу удержаться от слез от Вашей измены вы всегда говаривали мне, что так любите, что даже женитесь на мне и я несчастная поверила вам, и вы меня обманули, что же я вам такое сделала; меня любили всегда хорошие господа и не обманывали и я привыкла к хорошему обращению, вам грех будет Андрей Иваныч и вы ответите за это создателю. Бог с Вами — придите ко мне я буду очень рада — принесите мне два целковых — прощайте цалую вас друг мой...

Верушка

ПУШКИН И ЯЩЕРИЦЫ

В Германии какой-то профессор словесности, знающий русский язык, человек весьма ограниченный, презираемый своими слушателями, но очень много о себе думающий, однажды на лекции, разговорившись о богатстве и благозвучии русского языка, привел между прочим следующий пример:

«Когда я был в Риме, — сказал он пискливым, визгливо-пронзительным дискантом, — две знакомые дамы предложили мне отправиться с ними в Колизей. Торжественность места, освященного столькими воспоминаниями, так сказать, вдохновила меня, и я прочел моим спутницам одно из прекраснейших произведений Пушкина. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что несколько ящериц и жаба выползли из норок своих и, с видимым наслаждением слушая эту дивную гармонию, помавали головками!» Тем из наших соотечественников, которые подвизаются на одном поприще с почтенным иноземным профессором, не худо принять к сведению его замечательное открытие...

ПОЩЕЧИНА

Боже мой! какие есть счастливые люди на свете. У иного вдруг ни с того ни с сего обкушается богатый дядя и, хлопнутый параличом, протянется где-нибудь на тротуаре, не успев прокутить и половины огромного достояния, не успев даже отказать ничего кой-каким сиротам, которых столько любил, что даже — так единственно ради особенной нежности — называл иногда родными детьми. Другой идет задумавшись, свистит у него в кармане, ворчит в желудке, вдруг споткнулся... глядь — под ногами сверток, развернул — ассигнации!.. А иному просто какой-нибудь богатый человек даст пощечину — при двух, трех свидетелях... Боже мой! как мало нужно для счастья! Одна, только одна пощечина — и счастье сделано! И уже прежний бедняк нанимает великолепную квартиру, ездит четверкой, знается только с избранными людьми, и попробуй хоть словом, хоть взглядом затронуть его амбицию, оскорбить честь... у!.. Впрочем, нашелся какой-то сердитый и мрачный чудака, задумавший однажды уверять, что счастье, пришедшее к человеку в форме пощечины, — постыдное счастье... Слушающие пришли в неописанное волнение, и один господин очень почтенной и благонамеренной наружности, выступив вперед, поспешил предложить свое мнение. Мало-помалу он до того увлекся важностью вопроса и истинностью своего убеждения, что вдруг почувствовал прилив вдохновения и, несмотря на то, что прежде никогда не писал стихов, импровизировал следующие прекрасные стихи:

Пощечина людей позорит —
Так думал встарину народ;
А в наши дни — никто не спорит —
Бывает и наоборот.

Был у меня бедняк знакомый
С почтенным выпуклым лицом,
Питался редькой и соломой
И слыл в народе подлецом,
Да вдруг столкнулся с богачом:
Затеял ссору с ним пустую,
Пощечину изволил съесть,
Сто тысяч взял на мировую
И вдруг попал в почет и в честь.
Все — кто и ведал и не ведал —
К нему с почтением тотчас,
И даже там вчера обедал
Кой-кто, мне кажется, из вас.
И что ж? Ведь было б безрассудно
Сердиться, мщение замышлять,
Боль усмирить в щеке нетрудно,
Сто тысяч мудрено достать...
А с ними проживешь так чудно
И беззаботно целый век...
Не сто — пожалуйста пять тысяч, —
Я сам, как честный человек,
Себя сейчас позволю высесть!

Импровизатор был осыпан громкими, единодушными рукоплесканиями, которые вознаградили его за то, что на предложение его никто из присутствующих не согласился. Что ж касается до мрачного и желчного чудака, то по справке оказалось, что он уже три раза получал пощечины, но всегда так неудачно и от таких лиц, что не только не мог завести себе лошадей и прислуги, но даже не имел денег на стол и квартиру. Он жил у одной шестидесятилетней старушки, у которой не было зубов во рту, но зато в шкатулке хранилось порядочное количество ломбардных билетов...

ПРИЛОЖЕНИЯ

І. КОЛЛЕКТИВНОЕ

1 8 5 0

КАК ОПАСНО ПРЕДАВАТЬСЯ ЧЕСТОЛЮБИВЫМ СНАМ

*Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах, с примесью прозы.
Соч. гг. Пружинина, Зубоскалова, Беломяткина и К^о.*

Лет за пятьсот и поболее случилось...
Ж у к о в с к и й (Ундина).

І

Месяц бледный сквозь щели глядит
Непритворенных плотно ставней...
Петр Иваныч свирепо храпит
Подле верной супруги своей.
На его оглушительный храп
Женин нос деликатно свистит.
Снится ей черномазый арап,
И она от испуга кричит.
Но, не слыша, блаженствует муж,
И улыбкой сняет чело:
Он помещиком тысячи душ
В необъятное въехал село.
Шапки снявши, народ перед ним
Словно в бурю валы на реке...
И подходят один за другим
К благосклонной боярской руке.
Произносит он краткую речь,
За добро обещает добром,
А виновных грозит пересечь
И уходит в хрустальный свой дом.
Там шинель на бобровом меху
Он небрежно скидает с плеча...
«Заварить на шампанском уху
И зажарить в сметане леща!
Да живей!.. Я шутить не люблю!»
(И ногою значительно топ).

.

Всех величьем своим устрашив,
На минуту вздремнуть захотел

И у зеркала (был он плешив)
Снял парик и... как смерть побледнел!
Где была лунолицая плешь,
Там густые побеги волос,
Взгляд убийственно нежен и свеж
И короче значительно нос...
Постоял, постоял — и бежать
Прочь от зеркала, с бледным лицом...
Вот зажмурясь подкрался опять...
Посмотрел... и запел петухом!
Ухвативши себя за бока,
Чуть касаясь ногами земли,
Принялся отдирать трепака...
«Ай лю-ли! ай лю-ли! ай лю-ли!
Ну узнай-ка теперича нас!
Каково? Каково? каково?»

.
И грозя проходившей чрез двор
Чернобровке, лукаво мигнул
И подумал: «у! тонкий ты вор,
Петр Иваныч! Куда ты метнул!..»
Растворилася дверь, и вошла
Чернобровка, свежа и плотна,
И на стол накрывать начала,
Безотчетного страха полна...
Вот уж подан и лакомый лещ,
Но не ест он, не ест, трепеша...
Лещ, конечно, прекрасная вещь,
Но есть вещи и лучше леща...
«Как зовут тебя, милая?.. ась?»
— Палагеей. — «Зачем же, мой свет,
Босиком ты шатаешься в грязь?»
— Башмаков у меня, сударь, нет. —
«Завтра ж будут тебе башмаки...
Сядь... поешь-ка со мною леща...
Дай-ка муху сгошою со щеки!..
Как рука у тебя горяча!..
Вот на-днях я поеду в Москву
И гостинец тебе дорогой
Привезу...»

II

Между тем паяву
Все обычно шло чередой...

Но события таковы, что их решительно не видится необходимости воспевать стихами. В то время как в спальне не слышалось ничего, кроме носового деликатного свиста и не менее гармонического храпа, на кухне

заметно уже было движение: кухарка, она же и горничная супруги Петра Иваныча, проснулась, накинула на себя какую-то красноватую кофту и удостоверившись, через дверную скважину, что господа еще спят, поспешно вышла, затворив за собою дверь задвижкою. Всегда ли она так делала или только на сей раз позабыла прицепить к задвижке замок — неизвестно. Мрак неизвестности покрывает также причину и цель ее отлучки; известно только, что направилась она в который-то из верхних этажей того же дома. С достоверностью можно еще предположить, что отлучилась она искать соответствующей ее званию и наклонностям компании, потому что хотя был еще весьма ранний час утра, но по всей лестнице уже шныряли взад и вперед кухарки, лакеи и горничные, кто с кувшином воды, кто с коробкой угольев, и на всех этажах слышались громкие голоса, веселый визгливый смех и шарканье сапожных щеток. Черная лестница играет важную роль в жизни петербургского дворового человека: на ней проводит он лучшие часы жизни своей — часы, в которые пугливый слух его не напрягается беспрестанно: не звонит ли барин? а мысль, что барин может появиться нечаянно и схватить его за вихор прежде, чем успеет он подавить веселую улыбку и придать физиономии своей угрюмо-почтительное выражение, так далека, что он даже забывает, что у него есть барин. Здесь обсуживаются добродетели и недостатки господ; рассуждается о том, что такое барыня, и вольно льется песня про барыню, про которую так любит петь русский человек и про которую знает столько прекрасных песен; производится вслух чтение газетных объявлений. Объявления: «нужен человек, для комнат, красивой наружности, высокого роста и с хорошим аттестатом», и тому подобные, особенно интересуют слушателей и бывают поводом жарких продолжительных прений, иногда не лишенных интереса и для тех, кто не ищет места в лакеи. Наконец любезность дворового человека, столь ему свойственная, разыгрывается здесь во всем просторе своем.

Но будет об лестницах. Не прошло пяти минут по уходе кухарки, как дверь тихонько скрипнула и в кухню осторожными шагами вошел человек, несколько измятой, но благонамеренной наружности, вроде тех благородно-бедных существ, которые если и просят милостыню, то

не иначе, как по документу, напоминающему красноречием своим лучшие страницы тех произведений, которых расхотилось по обширному нашему государству по сороку изданий.

«Преданный Вам всеми силами души, благоговееющее перед Вами человеческое существо, которое в настоящее время от невыносимых страданий, от смерти политики, похоронив себя заживо, без средства удержать за собою бывшее доброе имя, и даже самое право на звание человека... Пав ниц, молит кровавою слезою из гроба отчаяния помочь плачь доле горького бедовика...»

Несомненные признаки их — семь человек детей (непреренно семь, ни больше, ни меньше), мать на одре страдания, язык несколько запинаящийся при извещении, что третьи сутки (тоже ни больше, ни меньше) не было уже маковой росинки во рту, и других уверениях, и чувство собственного достоинства, стоющее тридцать пять копеек, потому что они непременно обидятся подачей меньше гривенника, на что, впрочем, благородство происхождения дает им полное право. Они очень хорошо знают дорогу к кабаку и могут сказать о себе, что в кабаках их знают.

Впрочем, знают они много и других дорог. Если вздумается, входят в квартиру, и колокольчик у вашей двери, приведенный в движение их рукою, издает какой-то особенный, робкий и молящий звук, как будто у него тоже семь человек детей и мать на одре страдания. Входят иногда и не позвонив, а просто потрогав сначала ручку незапертой на замок двери, — и тогда входят с особенною осторожностью, и если не встретят никого в первой комнате — на цыпочках пробираются во вторую, там в третью — и вздрагивает и бледнеет какой-нибудь задумавшийся или заработавшийся господин, у которого человек ушел в лавочку купить четверку табаку, — увидев перед собою как будто с неба упавшую незнакомую и странную фигуру... Но особенно любят они навещать наезжающих в столицу художников, фокусников, всяких артистов и артисток — московских и заграничных, к которым являются обыкновенно с такими письмами:

«Милостивейший государь!

Есть несчастный сирота, обремененный малолетним многочисленным семейством, участь которого заслужи-

вает сострадание всякого, имеющего душу, способную понимать бедствия ближнего. На расцвете лет, он потерял добрую, кроткую мать и вслед за тем чадолюбивого отца — оставившего на его попечение семерых малюток. Перенося все страдания с христианским терпением, возвышающим душевное достоинство, он снискивает пропитание как помощью благотворительных лиц, так и самую работу, которая едва дает возможность поддерживать вверенное ему судьбою семейство. Несчастный этот — податель сего письма. Я же, не имея чести знать вас лично и потому лишаясь права удостоверять преждевременно в истине моего к вам уважения, надеюсь, что Вы, как артист, понимающий душу угнетенных судьбою людей, не рассердитесь на меня за то, что я решился доставить вам торжество истинно христианское (крупными буквами): *помочь несчастному!* Десять, пять или даже рубль серебром пожертвовать семерым для вас ничего не составит, сирот же заставит пролить слезы благодарности как пред образом Христа спасителя, так и перед общим покровом всех — пресвятой богородицей.

Я был постоянным свидетелем вашего торжества и, соглашаясь с единодушным отголоском просвещенной публики, повторяю еще раз — (крупнейшими буквами): *вы великий артист!* О, признаюсь откровенно, душевно благодарил публику за прием, коим она почтила нежданного дорогого гостя...

Христианское сострадание — не есть ли удел артистов? Помогите несчастному, и новый, спасительный подвиг увековечит ваше пребывание в Петербурге.

С душевным почтением и таковою же преданностью имею честь быть свидетелем вашего торжества»

и пр.

Кто им пишет такие письма — бог знает. Но под ними обыкновенно читаешь подпись: генерал такой-то, или генеральша такая-то, — каких, разумеется, сроду никто не слыхивал и каких не увидит и во сне даже благонамеренный человек, весь вечер, накануне Нового года, продумавший, как бы кого не забыть завтра поздравить?

Такой-то человек появился в кухне. Впрочем, может статься, что он был и не совсем такой человек, о каких мы говорили, а просто такой, каких в Москве назы-

вают: ширяло, а в Петербурге: мазурик; то есть малый, с детских лет пристрастившийся к легкому промыслу и голодающий по трое суток, чтоб пополам со страхом и трепетом пропить в каком-нибудь «Полуденном» украденную вещь на четвертые; а может быть, он просто был забулдыглакей, два дни пропадавший от барина и чувствующий необходимость пред возвращением к нему хватить для куражу и не имеющий на что хватить, — кто бы он ни был, мы просто будем называть его таинственным незнакомцем.

Итак, по мере того как таинственный незнакомец обозревал кухню и укреплялся в уверенности, что в ней никого нет, лицо его теряло неопределенный оттенок, движения становились резче и самоувереннее... Он смело подошел к двери, ведущей в спальню, и приложив ухо к скважине, долго и чутко прислушивался. Затем он снял с себя рыжие, подбитые вершковыми гвоздями сапоги и поотворил несколько дверь, причем она предательски скрипнула, что заставило его отшатнуться назад и простоять с минуту в неподвижном оцепенении. Но удостоверившись, что все спало попрежнему, он смело нагнулся вперед и, просунув голову в отверстие между дверными сторонками, начал обозревать спальню. Нужно полагать, что ему представилось здесь много привлекающих любопытство предметов, потому что, уже не колеблясь далее, он решительно двинул вперед правую сторонку дверей, переждал, пока скрип, произведенный этим движением, совершенно замолк — и смело вошел в спальню. Здесь он сел на покойные и мягкие кресла, потянулся и начал переодеваться... переодеваться из своего, как легко догадаться, не совсем покойного и красивого платья в платье Петра Ивановича. Нельзя не заметить, что переодевался он с достоинством и спокойствием человека, одевающегося в собственное платье и только несколько поспешающего, из опасения опоздать на службу. Петр Иванович обладал значительной полнотою, какой в известные лета достигает всякий благомыслящий человек: таинственный же незнакомец был очень тощ, — почему, поправив чуб перед зеркалом, он захватил кстати со стола два подсвечника из накладного серебра, которые для лучшего сбережения счел нужным завернуть в платье Федосьи Карповны, — после чего так их спрятал, что тотчас же стал походить на Петра Ивановича, ибо очу-

тился с презрительным солидным брюшком. На возвратном пути от кровати, с поручня которой сдернуто было платье, незнакомец захватил карманные часы (Петр Иванович был человек аккуратный и, опасаясь опоздать на службу, клал обыкновенно подле себя часы) с позолоченной цепочкой, надел их на себя и поспешил к другому зеркалу, где, полюбовавшись на себя, опять мимоходом захватил два подсвечника. Запрятав их в карманы, он начал шарить по всем углам и прибирать с неизмеримою быстротою все мелкие вещицы, какие попадались под руку...

III

Сон причудлив и странно жесток. Часто после великолепной перспективы всего, чем современем должна увенчаться благонамеренность, человеку, как бы он ни был добродетелен, вдруг, ни с того, ни с другого, что-нибудь такое приснится, чего он никак не может пропустить, не закричав тотчас же, что он в штрафах и под судом не бывал и никаких мыслей, противных правилам нравственности, в душе своей не питал...

Петру Ивановичу вдруг приснилась какая-то девушка в шапке, под которой (не под шанкой, а под девушкой) были подписаны два стиха:

А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет?..

которые он когда-то услышал, проходя мимо растворенного окна, — откуда валил густыми волнами табачный дым, летели на улицу слова и виднелись веселые и раскрасневшиеся лица каких-то молодых людей, — и которые у него потом целые три месяца не могли выбиться из головы: писал ли он, рассказывал ли, какую верную игру проиграл в преферанс или какую неверную выиграл, шел ли в департамент, из департамента, обедал ли — все они на уме — так вот и щемят, и вертятся, и егозят-егозят в голове, как будто кроме их уже и нечему прийти в голову. И чем больше старался он от них отделаться, тем упорнее они его преследовали. С ними засыпал он, с ними просыпался, нередко отвечал ими на вопрос совсем не об шапках и девушках, беспрестанно шептал их про себя, даже писал верхними зубами на нижних, даже

однажды испортил лист гербовой бумаги, рублевого достоинства, включив их совершенно некстати в прошение одной вдовы, приносившей жалобу на какого-то нахлебника-семинариста, похитившего у ней клубок ниток, которые будто бы намотаны были на сторублевую ассигнацию. Словом, от проклятых двух стихов (бывших, между прочим, причиною ненависти его к стихам вообще) ему уже приходилось тошно жить на свете. Но наконец он от них отделался же, и теперь ничего! — девушка в шапке, да притом и не дурная собою, — весьма и весьма ничего! Худо то, что вслед за нею приснился ему какой-то человек с огромными усищами, с решительным выражением в лице и в таком непостижимом костюме, какого он не только никогда не видал наяву, но даже потом весьма удивлялся, как подобные костюмы могут сниться порядочным людям во сне.

Испуганный, он поспешил залепетать, что он ничего, человек женатый и в правилах тверд, что впрочем он никаким оружием владеть не умеет, потому что французского блестящего образования с фехтованьями, тапцами и всякими модными пустыми затеями, развращающими, ко всеобщему прискорбию, нынешних молодых людей, не получил, и даже не жалел о том, ибо, благодаря бога, родился в такой стране, где и без шарканья по паркетам, одною благонамеренностью и честным трудом, даже при посредственном достатке, можно приобрести всеобщее уважение; а что, впрочем, он опять-таки ничего, идет своей дорогой, и просит только не мешать ему итти своей дорогой, так он и пройдет...

Но вышло, что и странный незнакомец — не беда; напротив, несмотря на невероятные сапоги, он оказался добрейшим малым, предложил сыграть в преферанс и проиграл в одну пулю по копейке восемь рублей серебром, так что Петру Ивановичу даже стало немножко совестно, и только тем мог он себя успокоить, что ведь на то игра, не умеешь играть, не садись, а взялся за гуж, так будь дюж...

Беда в том, что по уходе странного незнакомца, о котором Петр Иваныч остался такого мнения, что навещал его какой-нибудь путешествующий англичанин-чужак, которому некуда девать денег (об англичанах знал он вообще, что они большие чудаки), — беда в том, что по уходе странного незнакомца Петру Иванычу вдруг при-

снился весь департамент с шинелями, сторожами, половиками, столами, чернильницами, делами и начальником отделения. Вот начальник отделения приподнялся с каким-то делом, подходит к нему и говорит «перепишите» совершенно таким голосом, как говорится простому писцу. — Хорошо-с; я вот дам Ефимову, — отвечает немного изумившийся Петр Иваныч, почтительно нагибаясь. — «Какому Ефимову?» — говорит сурово начальник, — «разве вы забыли, что Ефимову отдано ваше место, а вы за неисполнительность и соблазнительный образ поведения переведены на место Ефимова?..»

В ужасе проснулся Петр Иваныч, открыл глаза и прямо наткнулся ими на таинственного незнакомца, который, нагнувшись, шарил в ящике комода. Приняв его за Ефимова, Петр Иванович, озадаченный, переполненный справедливым негодованием, — в первую минуту не вскрикнул, не кашлянул, даже не шелохнулся, но, по какой-то особенной остроте чутья, таинственный незнакомец тотчас понял, что время прекратить посещение, и со всех ног кинулся вон... Тут только догадался герой наш, в чем дело...

Пяткой в ногу супругу толкнул,
Закричал: «караул! караул!»
И вскочивши с постели, в чем был,
За мошенником вслед поспешил,
Пробежал через сени — и вот
Незнакомца настиг у ворот.
Но тот ловко в калитку шмыгнул, —
И опять: «караул! караул!»
Петр Иваныч свирепо кричит
И, в калитку ударившись лбом,
За злодеем в прискокку бежит,
Потирая ушиб кулаком.
И бежит он быстрее коня,
И босых его ног топотня
Отзывается резко кругом,
Словно брошенный вскользь по реке
Камешок...

IV

Петербургские летние ночи светлее петербургских зимних дней. Было еще очень рано, но уже совершенно светло; на улице пусто. Только по другую сторону тротуара шел какой-то парень в шинели, надетой в рукава, из-под

которой на целую четверть высывался пестрединный халат; парень раскачивался во всю ширину тротуара и увидев бегущих, радостно закричал: «держи! держи!», — после чего остановился и долго смотрел на них, произнося по временам ободрительные восклицания: «ишь как улепетьвается!», «молодца! молодца!», «вот люблю!» — очевидно относившиеся к таинственному незнакомцу, который, говоря охотничьим термином, ежеминутно отседал от преследователя своего дальше и дальше. Между тем крик Петра Ивановича был услышан еще двумя лицами, которых мы не хотим назвать. Первое, уже давно и таинственным незнакомцем и Петром Иванычем оставленное позади, отошло несколько вперед и, наблюдая за бегущими, говорило: «ишь шельма! ишь шельма! ишь шельма!» Второе флегматически вышло на середину улицы, постояло с минуту в нерешительности, задумчиво понюхало табак и с решимостью принялось переходить на другую половину улицы, торопясь поспеть на тротуар так, чтобы угодить прямо на переём таинственному незнакомцу. Второе лицо действительно поспело в пору, но бегущий решительно не обратил на него внимания и только, пробегая мимо с криком «ах-ма!», сильно толкнул его в плечо, отчего оно тотчас повалилось на тротуар, к немалому смеху веселого парня и первого лица, издали наблюдавшего сцену. Через минуту приспел и Петр Иваныч, запнулся за поверженного и тоже упал, но тотчас же вскочил, сгоряча не почувствовав ушиба, и побежал снова. Дважды пораженный приподнялся, взглянул за бегущими и сказав «есть сила», медленно отправился на старое место... Между тем таинственный незнакомец уже достиг конца улицы и повернул... куда? в которую сторону?.. Петр Иваныч не видал и потому, хотя и продолжал бежать, но уже медленно и нерешительно, как человек, потерявший путеводную звезду свою. Вдруг с конца улицы, до которого не достиг еще Петр Иваныч, показались дрожки, называемые пролетками, то есть такие дрожки, на которые садятся, когда желают сберечь ребра и спину. В дрожках сидел одетый в пальто господин, с веселым лицом, доказывавшим, что преферанс, с которого, очевидно, он возвращался, был для него счастлив: лицо просто сияло. Завидев бежавшую встречу ему странную фигуру, господин в пальто рассмеялся, а потом начал пристально взгляды-

ваться в нее, и вдруг на лице его выразилось глубокое изумление. Он как будто не верил глазам своим.

— Здравствуйте, Петр Иванович! — сказал он несколько иронически, когда дрожки подъехали на довольно близкое расстояние к нашему герюю.

Петр Иванович поднял голову, взглянул, и, побледнев как полотно, отвернулся в сторону и побежал шибче.

Но сидевший в дрожках снова повторил: «Здравствуйте, Петр Иванович!» и в голосе уже не было прежней благосклонной мягкой иронии; он звучал резко, в нем слышалось приказание, — так что Петр Иванович увидел себя в необходимости остановиться и поспешно понес руку к голове, но убедившись в невозможности снять с нее что-нибудь, ибо на ней не было даже парика, — принужден был ограничиться поклоном. Поклон был такой, какие свидетельствуются только начальникам, из чего и можно с достоверностью заключить, что господин в пальто был его начальник.

— Что это вы... в такую пору... в таком виде... танцуете?..

— Танцую, — мог только проговорить дрожащим голосом дрожащий Петр Иванович, не привыкший с детских лет противоречить старшим...

Опомнившись, он ничего не слышал уже, кроме стука удалявшихся дрожек и веселого заливного хохотанья, от которого мороз пробежал у него по жилам...

V

«Клянусь звездой полуночной
И генеральскою звездой,
Клянуся пряжкой беспорочной
И не безгрешною душой!
Клянусь изрядным капитальцем,
Который в службе я скопил,
И рук усталых каждым пальцем,
Клянуся бочкою чернил!
Клянуся счастьем скоротечным,
Несчастьем в деньгах и в чинах,
Клянусь ремизом бесконечным,
Клянуся десятью в червях, —
Отрекся я соблазнов света,
Отрекся я от дев и жец,
И в целом мире нет предмета,
Которым был бы я пленен!..

Давно душа моя спокойна
От страстных бурь, от бурных снов;
Лишь ты любви моей достойна —
И век любить тебя готов!..
Клянусь, любовию порочной
Давно, давно я не пылал,
И на свиданье в час полночной
В дезабилье не выбегал...
Кого еще с тобой мне надо?..
Тобой одной доволен я, —
Моя любовь! моя отрада!
Федосья Карповна моя!..»

Он умолк и «как юный дуб, низринутый грозой» пал к ногам супруги своей.

Но она была неумолима.

— Не поверю! Уж что ты мне ни толкуй, не поверю! Изменник! человеконенавистник! чудовище!

И она зарыдала, а потом впала в совершенное отчаяние и била себя в грудь, повторяя:

— Ах, я несчастная! несчастная! несчастная!.. До какого сраму дожила я, несчастная!..

— И ей-богу-с ни в чем не виноват, Федосья Карповна!

Он действительно был ни в чем не виноват, что могут подтвердить и читатели. Намерения его были чисты, даже похвальны: он хотел настичь похитителя и отнять у него свои вещи. Федосья Карповна перетолковала все совершенно иначе. Проснувшись от толчка в ногу и не найдя подле себя супруга, она прежде всего вскричала: «изменник!» Через минуту, удостоверившись, что и платья на обычном месте не было — обстоятельство, не оставлявшее ни малейшего сомнения, что изменник ушел на свидание, — с громким воплем упала она на подушку и воскликнула: «ах, я сирота горемычная!» Потом вскочила и бросилась туда, где вечером оставила платье, но его, как мы знаем, там не было; не долго думая, куда бы оно могло деваться, — ибо женщина в припадке ревности, по уверению опытных людей, лишается всякой способности рассуждать, — она с минуту металась по комнате, но не нашед ничего, во что бы можно одеться, кроме оставленной таинственным незнакомцем шинели, накинула ее на себя и бросилась вон. Руководимая все тем же инстинктом ревности, она пустилась по тому направлению, по которому таинственный незнакомец увлек за собою Петра

Ивановича. Петр Иванович в то время возвращался уже домой, перепуганный, убитый, весь с головы до ног синий от холода и разных ушибов. Встреча их была страшная, было немного сказано, но успела разыграться трагедия.

Они молчали оба... Грустно, грустно
Она смотрела. Взор ее глубокий
Был полон думы. Он моргал бровями
И что-то говорить хотел, казалось,
Она же покачала головой
И палец наложила в знак молчанья
На синие трепещущие губы...
Потом пошли домой все так же молча,
И было в их молчаньи больше муки
И страшного значенья, чем в рыданиях,
С которыми бросаем горсть земли
На гроб того, кто был нам дорог в жизни,
Кто нас любил, быть может. У ворот
Они кухарку встретили. Кухарка
Смутилась. В ней, быть может, сжалось сердце.
И долго изумленными глазами
Она на них смотрела, но ни слова
Они ей не сказали... Да! ни слова...
И молча продолжали путь... и скрылись...

Но как только переступили они порог спальни, Федосья Карповна тотчас повернула ключ в замке, и узнать, что тут происходило в первые минуты, авторы решительно не имели никакой возможности, ибо, к крайнему их сожалению, и самые ставни оставались попрежнему закрыты, так что нельзя было даже ничего подсмотреть. Впрочем, можно догадываться, что тут происходила драма в пяти или даже в шести актах, с эпилогом, — в какой не дай бог участвовать женатому читателю! Но достоверно известно только, что тщетно уверял Петр Иванович Федосью Карповну в своей невинности. Какие ни приводил он доказательства, все они обращались на его же голову. Федосья Карповна упорно стояла на том, что ее платье и прочие вещи стащил Петр Иваныч к мерзавке, своей любовнице, а сам очутился на улице без платья потому, что его раздели мазурики, когда он возвращался от мерзавки, своей любовницы, и что наконец лохмотья таинственного незнакомца сам же он, Петр Иваныч, подкинул, купив на рынке, чтоб отвлечь от себя всякое подозрение, в случае какой-нибудь неудачи. Как ни нелепо было такое предположение и как ни клялся Петр Иваныч (а он клялся всем дорогим для

него в жизни) — ничто не помогло. Не помогло даже и последнее очень сильное доказательство, что парик оставался дома, а невероятно и ни с чем несообразно, чтоб нуждающийся в парике человек позабыл надеть его, идучи на свидание с любовницей. Ничто не помогло! Таково уже было расположение мыслей Федосьи Карповны. Ревность рвала ее душу на части. К тому же и кухарка, обрадовавшись случаю, решительно утверждала, что ни на минуту не выходила и никто к ним не входил, и что хоть и слышались ей вприсонках из спальни какие-то шаги, но рассудив, что оттуда некому выходить, кроме барина или барыни, она не сочла нужным встать и посмотреть... Хоть герой наш звался совсем не Макаром, но мы не можем здесь не заметить, что на бедного Макара и шишки валяются!

VI

Вот уже и девять часов, время, в которое, бывало, Петр Иваныч, спокойный и счастливый, хлебнув два-три стакана чайку, поцеловав жену, поцеловав дочь, с портфелем подмышкой, отправлялся, несколько согнувшись, смиренным, никого не оскорбляющим, но и не вовсе чуждым самостоятельности шажком в свой департамент... Но не одевается, не пьет даже чайку, не целует жены и дочери и не идет в департамент растерявшийся Петр Иваныч. Мрачно у него на душе; при одной мысли, что надо идти на службу, мороз пробегает у него по коже, от макушки до пяток. Вся жизнь от сечения и греческих спрядений в детстве, голодания и переписывающья в юности до последнего недавнего распекания — проходит перед его глазами, — и ничего, кроме смиренномудрия и вечной беспредельной покорности — не видит он в ней; хоть бы слово когда грубое какое сказал, хоть бы недовольную мину выразил на лице — никогда! никогда! Даже покушения на что-нибудь подобное за собой не запомнит! Чист, чист! со всех сторон, как ни поверни, чист! И между тем сердце болезненно съеживается от страха, как будто преступление какое-нибудь совершил человек, как будто начальнику нагрубил! «Что скажет начальник отделения!» думает Петр Иваныч (несомненно, что господин, ехавший на дрожках, был его начальник

отделения). «Что скажет начальник отделения?..» думает он, большими шагами расхаживая по комнате, и никак не может решить, что скажет начальник отделения, хоть и предчувствует, что он скажет что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало посидеть в один час, отчего мало даже провалиться сквозь землю... И ни убеждение в своей невинности, никакие размышления, никакие доводы ума, ничто не утешает безутешного Петра Иваныча! «Да уж не подать ли мне просто в отставку», думает он: «так даже и не являться, а просто подать в отставку, и кончено, а куда выйдет отставка, тиснуть в «Полицейской газете», что вот так и так, дескать, чиновник с одобрительным аттестатом»... Тут он на минуту загнулся... «Ведь уж мне, верно, дадут аттестат одобрительный?» продолжал он с некоторым смущением: «что ж? служил я не хуже других, не хуже других, сударь ты мой, в штрафках и под судом не бывал, зложелателей, благодаря всевышнего, не имею... подал в отставку... ну, что же? Вышел случай такой, с кем не случается?.. просто случай вышел такой... Так вот оно хорошо было бы публиковать, что вот-де чиновник с одобрительными аттестатами, титулярный советник, — я думаю, даже не худо будет выставить: имеющий такие-то и такие-то знаки отличия... Так вот, мол, такой-то и такой-то чиновник, имеющий такие-то и такие-то знаки отличия, хороший чиновник, дескать, благонадежный чиновник, ищет места управляющего имением, преимущественно в малороссийских губерниях, на выгодных, дескать, для владельца условиях... Да! да! В малороссийских губерниях лучше — климат теплее, да и народ-то попроще... народ-то попроще, вот оно что, главное дело, сударь ты мой, народ-то попроще, вот она штука-то какая! А поди-ка сунься в Костромскую, в Ярославскую... ух! шельма на шельме! Всякий мужик туда же грамоте знает и на каждом синий армяк... на каждом на шельмце-то синий армяк, вот оно что, вот она штука-то какая, вот она какая штука-то! Избалованные губернии! Нет, вот бы где-нибудь в малороссийских, примерно в Полтавской; три-четыре тыщонки душ, с мельницами, с фруктовыми садами, со всеми угодьями, с господским строением; а барин-то себе где-нибудь за тридевять земель, в Москве, в Петербурге, в Париже... а барин-то себе в Москве, а барин-то в Петербурге, а барин-то себе в Париже,

барин-то себе за тридевять земель, как в сказке говорится, как в русской-то сказке сказывается... Ух! раздолье-то! раздолье...» Тут Петр Иванович потер руки от удовольствия, потому что уже, в самом деле, почувствовал себя управляющим такого имения, — на что русский человек очень скор... «Да только та беда», продолжал он, вдруг опомнившись и вновь совершенно опешив, как человек, съевший муху: «Да только та беда, что никто не возьмет, за фамилию никто не возьмет... Управляющий! уж в одном слове сейчас слышится немец, какой-нибудь Карл Иванович Бризенмейстер, или еще помудреней, так, чтоб мужик и подумать не смел выговорить как следует, чтобы у него язык поперек глотки стал. Ведь вот, будь немецкая фамилия, хоть подобие немецкой фамилии будь... а то — Блинов! на вот тебе в самый рот — блинов! горячих блинов! подавись!..» И здесь герой наш в первый раз в жизни пожалел, что у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад и даже благодарил бога, что и оканчивается она на *ов*, а не на *ский*. «Да опять и то», продолжал размышлять наш герой: «осанки такой не имею, осанки, соответствующей званию управителя, не имею, вот она какая беда, вот она беда-то какая надо мной, горемычным, осанки, соответствующей званию, не имею, — не имею осанки, званию управителя соответствующей, совсем осанки такой не имею. Наш брат и смотрит-то, как будто все чего-то боится, и идет-то, как будто просит прощения у половинок, которые недостойными ногами своими попирает, и в лице такое подобострашие, такое подобострашие, что и сказать нельзя, никак нельзя сказать, не достанет слов, как говорится в хорошем слоге, на языке человеческом... вот оно что! вот оно какое дельце-то! вот оно дельце-то казусное какое! Ну уж известно: по какой части пойдешь, с тою и степень значения в лице своем соразмеряешь... степень-то значения с положением своим в свете соразмеряешь... А тут надобно, чтобы орлом глядел человек, чтоб на лице было написано, что ему и чорт не брат, чтобы действовал смело, решительно, на открытую ногу действовал бы, и умел бы этак с откровенностью, не лишнюю благородства, и словцо-то крепкое кстати пригнуть, ну и там что другое... Вот оно что! Чтобы как выйдет да заговорит ломаным своим языком, так чтобы мужик на него и взглянуть не смел, а только бы

кланялся в пояс, да говорил: «Слушаю, батюшка Карл Иваныч!» Нет, где нашему брату!.. Разве уж заняться хождением по делам...» Но и хождение по делам оказалось неудобным. Думал, думал Петр Иваныч, и покончил тем, что как ни вертись, службу оставить невыгодно, разорительно, словом, неблагоприятно во всех отношениях. Итак, скрепя сердце решил он идти в департамент. Будь что будет! Может и никакой беды нет, может, ему только так показалось, а в сущности ничего! Наконец, он даже дошел до заключения, что, может быть, оно даже и хорошо, что начальник увидел его на улице, пожалуй, чем чорт не шутит, примут участие, вспомоществование единовременное дадут. «Да! да!» повторял Петр Иваныч: «оно в самом деле даже и хорошо», и между тем чувствовал, что мороз подирает по коже. Три дня употреблено было на залечивание разных ушибов и синих пятен и на утверждение себя в благородной решимости не унывать, помнить, что испытания ниспосылаются нам в плачевной юдоли сей для возвышения душевного мужества и что не нужна бы человеку и бессмертная душа, если б он уничтожился и падал перед несчастием. На четвертый день решено было идти на службу. Но здесь на Петра Иваныча напал такой страх, что он буквально не мог сдвинуться с места и несколько часов совсем готовый, умытый, выбритый, во фраке, с портфелем подмышкой, сидел как прикованный к стулу, бессмысленно смотря на три какие-то головы, державшие компанию у противоположных ворот.

Когда опомнился он, был уже двенадцатый час. «Поздно!» сказал он себе с тайной радостью. «Видно, уже завтра!» — и в ту же минуту схватил шапку, надел шинель, калоши и выбежал на улицу. Бежал он чрезвычайно скоро, ни на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно увидеть много хорошего.

Бежал он на службу...

VII

В десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описанное в четвертой главе, Степан Федорович Фарафонов пришел в должность, направился прямо к

столу, где обыкновенно сидел Петр Иваныч, чтоб расспросить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. Но Петра Иваныча, как мы знаем, там не было. Так как воспоминание вчерашнего выигрыша все еще держало его в веселом расположении духа, то подошед к эзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись насчет удивительного танца, в котором упражнялся Петр Иваныч, и насчет арии, кажется, из «Соннамбулы», которою сопровождал он свои живописные па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая плечами. Степан Федорыч рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слышать, кроме эзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тотчас известною и еще двум-трем чиновникам. Те в свою очередь передали ее с надлежащими дополнениями соседям своим и таким образом случилось, что историю Петра Иваныча в полчаса узнало все присутственное место, где служил наш герой... К вечеру узнал ее и весь город, и несколько дней сряду в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, с лошадиными копытами, вместо обыкновенных человеческих ступней. Нетрудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи, сколько произошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась самая история. Но прошел день, прошло два, прошло три, вот уже наступил и четвертый, а Петра Иваныча нет как нет. Любопытство возросло до высочайшей степени.

И вот на четвертый день часу в первом, в минуту всеобщего почтительного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Федоровичу, внимавшему начальническим речам с почтительным наклоном головы, — в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг отворилась, и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчиненных к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю комнату глухим сдержанным смехом, — как будто вдруг чихнул табун лошадей. Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого неуместного взрыва. Степан

Федорыч поднял голову, потому что и сам еще не знал, что бы значила подобная дерзость, но встретив жалкую фигуру Петра Иваныча, подобно подчиненным своим не мог удержаться от смеха.

Начальник повторил свой вопрос.

Перетрухнувший Степан Федорыч почувствовал необходимость оправдаться и оправдать своих подчиненных. Для такой цели он не нашел ничего лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, и тотчас рассказал ее, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической достоверности, сколько о том, чтоб от нее действительно нельзя было не захохотать, — в чем и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в котором упражнялся Петр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучии», слушатель уже решительно не нашел в себе сил сохранить строгое выражение почтенной своей наружности и сам засмеялся...

Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв строго решительное выражение, он подошел к Петру Иванычу, оцепеневшему у дверей, и сказал, медленно, важно, делая ударение на каждом слове:

— А что скажете вы?

Но Петр Иваныч не мог ничего сказать, хоть и заметно было, что он хотел что-то сказать...

Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол должно принимать меры при самом их зародыше, счел нужным распространиться и показать Петру Иванычу все неприличие его поступка. Он сказал ему, что звание и самые лета не давали ему права на такое дело; что танцовать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, может вообще почестся первою из всех пяти частей света. Он сказал ему (и по мере того, как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наружность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными листьями. Наконец он сказал ему, что подобный поступок срамит не только того,

жем сделан, но даже бросает нехорошую тень на все звание, что звание чиновника почтенно и не должно быть профанировано, —

Что чиновники то же, что воинство
Для отчины в гражданском кругу,
Посвягать на их честь и достоинство
Позволительно разве врагу,
Что у них все занятия важнейшие —
И торги, и финансы, и суд,
И что служат все люди умнейшие
И себя благородно ведут.
Что без них бы невинные плакали,
Наслаждался б свободой злодей,
Что подчас от единой караули
Участь сотни зависит людей,
Что чиновник плохой без амбиции,
Что чиновник — не шут, не паяц,
И не след ему без амуниции
Выбегать на какой-нибудь плац.
А уж если есть точно желание
Не служить, а плясать качучу,
Есть па то и приличное звание —
Я удерживать вас не хочу!

Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние сильное, но действие ее на Петра Иваныча было таково, что, может быть, ни в какие времена никакая речь не производила такого действия. Пораженный ею, из всех способностей, отпущенных ему богом, сохранил он только одну способность шевелить или точнее мямлить губами, да и то делалось с величайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил на умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже отнялся язык...

Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего воздуха, почувствовал он, что еще жив.

VIII

«Корабль, обуреваемый
Волнами — жизнь моя!
Судьбою угнетаемый,
В отставку подал я,
Не мало тут утрачено —
Убыток — и бльшой!

А впрочем, предназначено
Уж видно так судьбой.
И есть о чем печалиться,
Нашел чего жалеть!
Смерть ни над кем не сжалится —
Всем должно умереть!
Почетные регалии,
Доходные места,
Награды — и так далее,
Все прах и суета!
Мы все корпим, стараемся,
Вдаемся в плутовство,
Хлопочем, унижаемся,
А все ведь из чего?
Умрем, так все останется! —
На срок пришли мы в свет...
Чем дольше служба тянется,
Тем более сует.
Успел уж я умяться
В житейском мятеже,
Подумать приближается
Пора и о душе!
Уж лучше здесь быть пешкою,
Чем душу погубить...
А впрочем, что ж я мешкаю?
Уж десять хочет бить!
Есть случай к покровительству!
Тотчас же полечу
К его превосходительству
Ивану Кузьмичу —
Поздравлю с именинами...
Решится, может быть,
Под разными причинами
Блохова удалить
И мне с приличным жильством
Его местечко дать...
Не нужно покровительством
В наш век пренебрегать!..»

II. DUBIA

1 8 4 5

ОСТРОУМНЫЕ НАДПИСИ

Дух критиканства есть настоящий дух нашего времени. Каждый — входит ли он в кондитерскую, гуляет ли по Невскому проспекту — считает долгом своим смотреть сатирически на все и на всех. Каждая пошлая книга, автор которой отроду не читал ничего, кроме «Грязеславских ведомостей», с первой же страницы пускается в критиканство, хоть бы насчет близорукости тех людей, которые «учатся по иностранным книгам», не подозревая в простоте души, что на свете существуют «Грязеславские ведомости». Мы критикуем везде, где есть место и нет места, даже в станционном доме, пока нам перепрегают лошадей... Если же в этот короткий срок не придет нам в голову ничего сатирического, мы просто напишем на стене хоть свою фамилию, с узорочным росчерком, потому что любит русский человек совать свою фамилию везде, где только есть случай, хоть бы оно в сущности было тут и не нужно. Сколько придется в самую короткую дорогу прочитать таких надписей: *проезжал Митряшкин*; — *здесь был и мед пил купец Кожевников*; — *заели клопы!* — *Сеновалов*; *пил чай Клеев*; *курил Неклеев*; *дураки!* — *Заклейкин* и т. д. Но чаще случается, что остроуты или невинные заметки наших предшественников подают повод к собственному нашему остроумию. Вот, для образчика, надписи, описанные нами с дипломатическою точностию со стены одного станционного дома. Сначала написано:

Aimé, Sophie, Alexandrine.

Под этим какой-то господин, в припадке сатирического расположения, подписал:

*На сих стенах прочел
И с сердцем сокрушился
Зачем читать учился.*

Третий проезжающий счел нужным, с своей стороны, окритиковать безграмотность второй заметки в следующих стихах:

*Лучше бы было не сокрушаться и не читать
Чем самому неправильно писать.*

На это четвертый заметил таким образом:

*Зачем нам о других жалеть,
Взяться написать — и не уметь.*

Пятый выразился уже в прозе, так:

*Правильное заключение! Еще бы надо было добавить осмелиться
писать стихами и не уметь — русского правописания. Впрочем
такой век. Все судят и рядят, а едва читать умеют.*

Шестой заключил:

Сущая истина.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АФИШИ

Наши столичные афиши хороши, иногда бывают даже очень хороши, но что они в сравнении с афишами провинциальными! Вот две провинциальные афиши, которые еще не из самых лучших. Они списаны с дипломатического точностию.

1

С дозволения начальства Рабаиотти Манфредо Итальянской подданный, недавно приехавший из Моствы в Г. Тверь честь имеет известить Почтеннейшую Публику, что он будет показывать ученых обезьян, представление которых до сих пор здесь невиданное, иласкает себя надеждою, что публика останется довольна. Штуки их нижеследующие: 1. Обезьяна *Жуан*, будет ездить на собаке верхом по манежу и делать разные эволюции. 2. Вынет саблю из ножен, и после ее опять вложит. 3. Будет играть в тарелки. 4. Будет играть на барабане. 5. Будет играть на скрипке. 6. Зарядит ружье и опять разрядит. 7. Войдет в круг. 8. Будет играть натрехъугольник. 9. Слезет с собаки, протанцует и провальсирует. 10. Будет кланяться на сцене

и благодарить почтеннейшую публику, — Штуки обезьяны
Поеты: 1. Поета начнет свое представление на столе. 2. Будет танцовать один, потом с другими вместе. 3. Будет играть на бубне. 4. Будет играть в тарелки. 5. Будет играть на крышке. 6. Возмет саблю и будет сражаться с своим хозяином; после сражения будет бится новый Французский савата и раскланяется с почтеннейшей публикой. Гг. любители таковых представлений будут изумлены представлениями сих двух ученых животных, в котором даже самые робкие дамы могут без боязни подходить. *Представление в Вакзале 1 и 2 Мая с 5 до 9 часов по полудни. Цена первым местам 50 к. сер. 2-е место 30 к. сер. дети менее 10 лет платят половину. Билеты можно получать при входе.*

Надо заметить, что эта афиша напечатана на красной бумаге и что в начале ее нарисовано три обезьяны: одна едет на собаке необыкновенной длины, другие две дерутся на рапирах. Можете представить, какая восхитительная картинка!

2

С Дозволения Начальства ноября 24 дня то есть воскресенье во Второй Раз в проезде Своем чрез Город Копысь артист Дромматический Г. Родзевич будет иметь честь представить весьма увеселительный и пррятный Вид для почтеннейшей Публики Физико Механический оптический театр почерпнути из примеров Велико Ученных Людей Г. Робентсоном встающие из Гробов Духи Древних Греческих и Римских Народов которые постепенно приближаясь Составить в натуральном Костюм Вид Человека — в 2-х отделениях всякое отделение заключает из 10. штук. — *под Названием* Артифициональный Китайский Феерверк без пороху Окончить Спектакль тоже из 10 штук *под Названием* Таинства Египтян Явится из Гроба нимфа Богиня Цветов Клеопатра Королева Египская Донжуан унося Элеонору Доч Командора Кастилийского Филип 2-й Король Гишпанский известние Философии Цицерон Сенека Диген и прочие Монументи трояна и корона Кессарев римских 3-й мяган американская — наконец дух принося Благодарность почтеннейшей Публике за Ее личное посещение и прочие духи под Земного Света которая место офшски не позволяет описать будет представлено. — *На-*

чало в 6-ть часов. Билет 1-е место 1 р. и 20 к., ас. в 2 месте
О Место представления в Доме Каменном где и Белеты
Получать можно.

РОМАН В ПИСЬМАХ

*От губернского секретаря Махаева к губернскому
секретарю Прыжко.*

Милостивый государь
Михайло Иванович!

Имея крайнюю надобность в деньгах, обращаюсь к
Вам, м. г., со всепокорнейшею просьбою, в особенное для
меня одолжение, прислать с сим посланным десять руб-
лей ассигнациями на самый наикратчайший срок.

С совершенным почтением и таковою же преданностью
имею честь быть Вашим,

милостивый государь,
покорнейшим слугою,

Петр Махаев.

15 ноября.

*От губернского секретаря Прыжко к губернскому
секретарю Махаеву.*

Милостивый государь
Петр Петрович!

Не имея в наличности просимой Вами, взаймы, на са-
мый наикратчайший срок, суммы, но тем не менее желая
сделать угодное Вам, м. г., честь имею препроводить при
сем один рубль серебром, покорнейше прося Вас о полу-
чении оногo почтить меня Вашим, м. г., уведомлением.

Примите уверение в совершенном моем почтении и
преданности.

Михайло Прыжко.

15 ноября.

От того же к тому же.

Милостивый государь
Петр Петрович!

Не имея по сие время Вашего, м. г., уведомления о по-
лучении отправленных мною к Вам, сего ноября 15 дня, с
Вашим человеком деньгах, рубле серебром, кои Вы, м. г.,

просили у меня займы на самый наикратчайший срок, я вновь имею честь покорнейше просить почтить меня Вашим, м. г., о том извещением.

Примите, м. г., уверение в совершенном почтении и преданности.

Михайло Прижско.

15 ноября.

От г. с. Махаева к г. с. Прижско.

Милостивый государь
Михайло Иванович!

В ответ на почтеннейшее письмо Ваше от 15 сего ноября, при коем Вы, м. г., препроводили ко мне рубль серебром, честь имею уведомить, что оные деньги мною тогда же получены и на что следует употреблены.

Примите, м. г., уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Петр Махаев.

9 ноября.

От г. с. Прижско к г. с. Махаеву.

Милостивый государь
Петр Петрович!

Озабочиваясь своевременным сбором сумм, должных мне разными лицами, а также встречая в деньгах крайнюю потребность, я считаю долгом обратиться к Вам, м. г., со всепокорнейшею просьбою, не оставить, в возможно скорейшем времени, присылкою взятых Вами, 15 истекшего ноября, на самый наикратчайший срок, деньгах, всего один рубль серебром.

Примите, м. г., уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Михайло Прижско.

1 декабря.

От того же к тому же.

Милостивый государь
Петр Петрович!

Не получая никакого ответа на письмо мое от 1 декабря, коим просил я Вас, м. г., озаботиться скорейшею присылкою должных Вами мне денег один рубль серебром, я вновь имею честь отнестися к Вам о том же.

Примите, м. г., уверение в совершенном моем почтении.

Михайло Прыжко.

3 декабря.

От того же к тому же.

Милостивый государь
Петр Петрович!

Не получив от Вас ответа на два письма мои от 1 и 3 декабря, заключающие в себе требование о возврате мне должных Вами денег, рубль серебром, и сообщая вам о сем третично, долгом считаю присовокупить, что в случае неприсылки Вами означенных денег, по возможности, в наискорейшем времени, я найдусь вынужденным довести о сем до сведения начальства.

Примите уверение в почтении.

Михайло Прыжко.

7 декабря.

От г. с. Махаева к г. с. Прыжко.

Милостивый государь
Михайло Иванович!

Занятия по службе, накопляющиеся, как вам не безызвестно, к новому году в чрезмерном количестве, также домашние дела, а наиболее расстройство моего здоровья препятствовали мне по сие время ответствовать на почтеннейшее письмо ваше от первого декабря, а равно исполнить просьбу вашу о присылке вам, м. г., денег рубля серебром. Зная снисходительность сердца вашего, я льщу себя приятною надеждою, что сие, независящее от меня, столь маловажное обстоятельство не изменит отношений дружбы, каковую я по настоящее время имел честь разделять с вами.

Пользуюсь сим случаем, чтоб засвидетельствовать вам, м. г., чувства совершенного почтения и преданности, с коими имею честь быть вашим, м. г.,

покорнейшим слугою.

Петр Махаев.

7 декабря.

От г. с. Прыжко к г. с. Махаеву.

Милостивый государь
Петр Петрович!

Усматривая из письма вашего, от вчерашнего числа, преступные намерения, клонящиеся к ущербу имущества моего, в том предположении, милостивый государь, что, не упоминая нигде в своих письмах, что вы взятые у меня деньги рубль серебром действительно должны мне, и придавая сему займу подложный вид того, будто я сам прошу у вас займы сию сумму, спешу довести до вашего, м. г., сведения, что при получении первого вашего ко мне письма и при отправлении, вследствие оногo, к вам оных денег, рубля серебром, был у меня посторонний свидетель, И. С. Хрипушкин, который все сие на деле, хотя бы под клятвенною присягою, показать и засвидетельствовать может; а потому, если означенные деньги, рубль серебром, не будут присланы ко мне немедленно с получения сего, то я вынужденным найдусь тотчас донести об этом его высокоблагородию Ермслаю Григорьевичу.

Михайло Прыжко.

8 декабря.

Записка, присланная г. с. Махаевым к г. с. Прыжко, со вложением рубля серебром.

Подавись, жила!

(Надписи и числа не оказалось.)

ОБРАЗЧИКИ КИТАЙСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ

РАССУЖДЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ ¹

О добродетель! луч неба, сокровище души, украшение смертных! Тебя хочу воспеть в восторге трепетного сердца моего, о божественная! К тебе взываю в умилении, о несравненная!

¹ Эту любопытную статью получили мы от нашего корреспондента в Китае. Он заимствовал ее из китайского журнала, издающегося ныне в Пекине под следующим названием: «*Прожигатель Мозгов и Сердец*, журнал Учености, Мудрости и Премудрости; а также Забав и Увеселений». Мы приводим ее здесь, как образчик китайского ума и красноречия. Корреспондент наш уверяет, что в Китае она произвела фурор и что с тех пор китайцы сделались гораздо добродетельнее. *Ред.* <Примечание в «Литературной газете».>

Ты царствуешь повсюду; от пышных чертогов царей до убогой хижины простолюдина, от роскошных палат богача до смиренной кровли нищего: повсюду сияет лучезарный венец твой!

Добродетель не ищет почестей, ибо она есть наилучшая почесть для человека; добродетель не желает награды, ибо она сама себе награда¹. Добродетель не боится смерти, ибо смерть не может ее уничтожить.

Добродетель легка, ибо она не стремится к своей пользе; добродетель послушна, ибо она доступна каждому...

Человек добродетельный есть человек наилучший. Без добродетели все прочие достоинства наши суть то же, что тело без души. Добродетель украшает воина, на поле брани мужественно воздымающего грозный меч свой; она сплетает скромный венец гражданину, в поте лица трудящемуся на пользу общественную; она усыпает звездами мудрое чело ученого...

Человек добродетельный есть человек наиболее полезный. Он подобен дереву, приносящему сладкие плоды. Отец семейства, он посевает добро в чадах своих; член общества, он наставляет на путь истины ближних; гражданин мира, он разливает благо по всей вселенной.

Человек добродетельный есть человек наисчастливейший. Счастье его не подвержено изменениям, ибо добродетель неизменна; благополучию его не завидуют ближние, ибо добродетель есть достояние, достижимое для каждого. Добродетельный человек пробуждает в сердцах сограждан общую к себе любовь, ибо добродетель любезна; он окружен уважением, ибо добродетель почетна.

Человек добродетельный есть обладатель нетленного богатства. Он не боится ни огня, ни хлада, ибо добродетель сама есть неугасаемое небесное пламя; он не страшится глады, ибо добродетель питает; он не оскудеет разумом, ибо добродетель премудра.

Добродетель подобна океану, ибо она безгранична, как океан; неисчерпаема, как воды его.

Человек добродетельный подобен орлу, с величием парящему повсюду и смело взирающему на солнце, тогда как,

¹ Эта мысль, кажется, заимствована у европейцев. <Примечание в «Литературной газете».>

напротив, человек порочный подобен сове, проводящей жизнь свою во мраке.

Итак, будем добродетельны, и мы будем достойны самих себя, полезны ближним и счастливы в печальной доли сей.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

В новом журнале «Финский Вестник» прочли мы стихотворение г. Бенедиктова, которым торопимся поделиться с любителями отечественной словесности; стихотворение называется «Лестный отказ».

Как вы находите заглавие? Я нахожу его восхитительным. Известно, что отказы бывают двух сортов — простые и лестные. Если вы, например, попросите денег у знакомого, и он ответит вам: «не могу-с исполнить вашей просьбы, потому что сам только хотел обратиться к вам с такою же» — это будет *простой* отказ; но если он ответит вам таким образом: «за особенное счастье почел бы препроводить к вам, м. г., просимую вами сумму, но, не имея сам в наличности денег, с прискорбием, раздирающим мое сердце, нахожусь вынужденным отказать в вашей лестной для меня просьбе, надежсь с своей стороны, что это нисколько не изменит тех чувствований взаимной дружбы, которые доныне соединяли нас и с каковыми имею честь быть» — это будет *лестный* отказ. Так же точно, если вы предложите любовь свою какой-нибудь пленившей ваше сердце чиновнице, и она скажет вам, что она еще молода, что даже еще не чувствует желанья выйти замуж и, может быть, никогда не выйдет — это будет отказ *простой*; но когда она скажет вам, что за честь бы поставила себе быть вашею женою, если б чувствовала себя сколько-нибудь достойною такого счастья, то это будет — *лестный* отказ... В заключение вот самое стихотворение:

Пока я разумом страстей не ограничил,
Несчастную любовь изведаль я не раз;
Но кто ж, красавицы, из вас
Меня, отвергнув, возвеличил?
Она — единая. — Я душу ей открыл:
Любовь мечтателя для ней была не новость;
Но как ее отказ поэту сладок был!

Какую лестную суровость
Мне милый лик изобразил!
«Сносней один удар, чем долгое томленье, —
Она сказала мне, — оставь меня, уйди!
И не хочу напрасно длить волнение
В твоей пылающей груди;
Я не хочу, чтоб в чайни тревожном
Под тяжестью мной наложенных оков,
В толпе ненужных мне рабов
Стоял ты пленником ничтожным;
Другие — пусть! Довольно, коль порой,
Когда мне не на чем остановить вниманье,
Я им, как нищим подаянье,
Улыбку, взгляд кидаю свой —
Из милости, из состраданья!
Тебе ль равняться с их судьбой?
Рожденному с мечтой и думою свободной —
Тебе ли принимать горящею душой
Убогие дары от женщины холодной?
Я не хочу обманом искушать
Поэта жар и стих покорный
И полувежностью притворной
Тебя коварно вдохновлять,
Внушать страдальцу песнопенья,
И звукам, вызванным из жаркой глубины,
Рассеянно внимать с улыбкой одобренья,
И спрашивать, кому они посвящены?
Заветных для меня ты струн не потревожишь,
Нет! Для меня — к чему тайть? —
Необходим ты быть не можешь,
А лишний — ты не должен быть!»
И я внимал словам ласкательно-суровым;
Их ангел произнес — хранитель бытия;
Я им внимал, и с каждым словом
Я крепнул думою и мужеством я,
И видел я прозревшими очами,
Как пленников главы, покорности в залог,
У ног красавицы простертыми кудрями
Сметали пыль с ее прелестных пог.
Пустой надеждою питался каждый данник. —
А я стоял вдали — отвергнутый избранник!

У нас также есть «Отказ», сочиненный одним молодым человеком, подающим большие надежды, который мы скоро представим читателям.

ОДНО ИЗ ТЫСЯЧИ СРЕДСТВ НАЖИТЬ ОГРОМНОЕ СОСТОЯНИЕ

Один шулер, наедине с самим собою, аккуратно три часа каждый день упражнялся перед зеркалом в передергивании, и, как скоро замечал ошибку, малейшую неловкость, тотчас принимал строгую физиономию и голосом, полным благородного негодования, говорил: «Вы подлец, милостивый государь! Вы шулер! Что вы сделали? что вы сейчас сделали... а?.. Вы знаете, как за такие вещи?..» И вслед за тем он принимался нещадно бить себя по щекам... Таким способом, без всякой посторонней помощи и малейших издержек, он в короткое время достиг в передергивании искусства невероятного и, сохранив в совершенной целостности свои бакенбарды, нажил в несколько лет огромное состояние. Достигнув глубокой старости почтенно и счастливо. замечательный человек сей недавно сошел в могилу, напутствуемый искренним состраданием друзей и уважением сограждан. Признательные наследники воздвигли над прахом его великолепный памятник, с следующейю красноречивою эпитафиею:

Он был, и нет его!.. Увы!.. по что меж нами
Свершил он — будет то пощажено веками!
Примерный семьянин, радательный отец,
Несчастных счастья старательный содетель,
Он — века своего пример и образец —
Жить будет в глубине признательных сердец,
Доколе на земле почтенна добродетель...

КАК ОДИН ГОСПОДИН ПРИОБРЕЛ СЕБЕ ЗА БЕСЦЕНОК ДОМ В ПОЛТОРАСТА ТЫСЯЧ

Г-н Бедрин, столь прославившийся своими путевыми записками, нажил себе дом следующим остроумным и простым способом. Жил в Париже русский князь, который до самой смерти своей, последовавшей на 73 году, брал уроки танцованья и фектованья. Учитель танцованья и фектованья являлись к нему и тогда, когда он лежал уже на

смертном одре; к ним выходил камердинер князя и платил им за урок, говоря, что «князь занят». У этого князя был, между прочим, дом, находившийся в заведывании управляющего. Г-н Бедрин с свойственною ему любезностию предложил однажды этому управляющему пять тысяч с тем, чтобы тот написал князю, что дом его сиятельства пришел в ветхость и угрожает падением. Управляющий, взяв с г. Бедрина предложенную им сумму вперед (предосторожность, которую вообще советуют употреблять с г. Бедриным), поспешил исполнить невинную прихоть г. Бедрина. Сколь ни мало заботился князь о своих домах и поместьях, известие управляющего удивило его: он вспомнил, что четыре года тому назад, уезжая из Москвы, оставил дом свой в цветущем положении. Поэтому он написал письмо к одному своему приятелю-аристократу, в котором просил осмотреть его дом, и, если донесение управляющего справедливо, то велеть ему поскорей продать дом, покуда и совсем не развалился, хоть за что-нибудь, и деньги немедленно выслать в Париж. Приятель-аристократ дал знать управляющему, что в такой-то день, в такой-то час он придет осматривать дом князя и чтоб все было готово. Встревоженный управляющий поскакал к г-ну Бедрину. Г-н Бедрин, писавший в то время рассуждение о добродетели, выслушав рассказ управляющего, не прискочил к потолку единственно потому, что восторженное проявление радости не считал теперь для себя выгодным; он ограничился тем, что поспешил включить в свое рассуждение о добродетели несколько счастливых строк, блеснувших в уме его во время рассказа, и, как бы в свою очередь почерпнув из рассуждения своего вдохновение для настоящего случая, вскочил и с жаром сказал управляющему несколько слов, которые *сему последнему* возвратили всю бодрость. В назначенный день приятель князя в старой и дребезжавшей, но запряженной четверкой карете приехал осматривать дом. Здесь все было уже готово. Штукатурка обвалилась; в стенах были дыры чуть не насквозь; кругом мусор, щебень, обломки кирпича. Приятель князя поморщился. Идут внутрь. Приятель князя занес ногу на лестницу и остановился. Лестница вся на подпорках; иные ступени провалились, иных нет вовсе. «Пожалуйте, ваше сиятельство! (приятель князя был тоже сиятельный) — говорит управляющий... — Ничего... ей-богу ничего! подпорки, кажется, крепки; не

могу вам доложить, что теперь, а то я еще вчера ходил, к осмотру вашего сиятельства прибирал, — ничего, бог принес! Пожалуйте... вот что разве та подпорка... да ничего... ничего, бог милостив!» Приятель князя опрометью бросился вон и написал в Париж, что дом до того гнил, что в него и войти нет никакой возможности. Г-н Бедрин купил дом у управляющего, получившего приказание продать его хоть за что-нибудь, за 35 тысяч, употребил две тысячи на поправку лестницы и штукатурку стен, и теперь ему дают за него сто тысяч, но он не хочет взять и полутора. Он перебирается туда сам. Желающим нанять у него квартиры советуем торопиться, потому что, опоздав, легко не найти ни одной свободной: многие за честь почитают жить в доме г. Бедрина. Г. Бедрин пользуется блестящею репутацией, и в самом деле, рассуждение его о добродетели написано приятным слогом и прикинуто чистейшею нравственностью.

ДЯДЮШКА И ПЛЕМЯННИК

У одного петербургского молодого человека затеялось дело по имению. Сосед какой-то беспокойный стал оспаривать права его. Дело, как следует, началось и пошло своим порядком в той губернии, где находилось имение, а в губернском городе той губернии председателем того присутственного места, куда поступило дело, был родной дядя молодого человека. Молодой человек, разумеется, отложил всякое попечение о деле в твердой уверенности, что не продаст же дядя родного своего племянника чужому, тем более, что и дело-то почти правое. Однакож случилось иначе. Дядя продал или — что мы! — решил в пользу чужого. Молодой человек пришел в ужас, в ярость и с сердцем полным негодования полетел в губернский город, вымещая негодование свое, мимоездом, на ямщиках; однакож оно от того не уменьшилось. Осыпав дядю упреками в забвении святости родственных отношений, нарушении прав человечества и во всем, что пришло ему в голову, он воскликнул:

— Вы продали меня! продали! Я уверен, что вы продали своего племянника!

— Продал, — отвечал дядя, улыбаясь. — И хорошо взял.

— И вы не стыдитесь еще говорить!..

— Молокосос! молокосос! — отвечал дядя, качая головой; — да из чего ты горячишься-то! ну что было бы толку, если б я решил в твою пользу? Я бы только дал твоему противнику повод к апелляции. Он поехал бы в Петербург, начал бы хлопотать, и дело твое проиграно тогда, наверно проиграно! Он человек богатый. А ты — ну на что тебе вести дело?.. Ты и последние-то деньжонки, чай, на пирожных да на актрисах промотал...

— Вот оттого-то вы и продали меня, что знали, что с меня нечего взять!.. хорош дядя, нечего сказать!..

— Да постой, умная голова, сх-о-ох! Чему вас учат-то только! молодежь, молодежь! ты послушай меня. Я ведь знаю, что у тебя ничего нет, ну и ты дело бы свое проиграл, а теперь, пока он себе в деревне сидит да радуется, что дело-то его выиграно, ты поезжай в Петербург, подавай апелляцию, хлопочи... вот тебе на хлопоты... ровно половина (тут дядя вручил племяннику порядочный пук ассигнаций)... достанет! я-таки не похвастал, что порядочно с него взял... ну и понимаешь? с помощью божиею, все пойдет хорошо...

Племянник кинулся в объятия дяди, и... и слезы их смешались!

ДВА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКА

I

ВОДЕВИЛИСТ

Не всякого, кто написал или пишет водевили, можно назвать водевилистом. Есть водевилисты, которые ничего не пишут, хоть и говорят за десятерых. Под именем водевилиста должно разуметь существо особенного рода, появившееся в обществе с недавнего времени и распложающееся в нем как саранча. Что ж это за существо?

Если вы человек наблюдательный, вы его тотчас узнаете, входя в общество, на бал, в театр, на гулянье. Он всегда молод и юн; ему никогда не более 22-х лет, хотя бы

зубы его и держались на проволоке, хотя бы голову его и покрывал парик. Нужды нет: этот счастливый человек не чувствует полета времени. Лицо его также молодо, но довольно степенно, и главное — серьезно: как подобает мужу, а не мальчику. Если он говорит с вами в первый раз, в глазах его вы непременно читаете что-то непростое, что-то наполеоновское: так они смотрят с достоинством. В голосе спокойствие; в тоне уверенность опытного и сведущего человека. Главное его достоинство — всеобъемлемость, универсальность. О чем бы вы ни говорили, спросите: он не заикнется! Он даст вам короткий ответ, с совершенным спокойствием и уверенностью в его высокой истине, хотя бы он был нелеп, как дважды два пять. Не думайте возражать ему! Благоразумный, он никогда не перевершает своих приговоров и имеет похвальное обыкновение — свое говорить, а чужого не слушать. Все, что он ни скажет, скажет именно для того, чтобы вы слышали, *как* он говорит, а не *что* говорит; и потому-то везде пробивается в нем способность той двусмысленности, для него всегда такой острой, в которой часто нет никакого смысла! Но не думайте, чтоб он с первого же раза стал набиваться вам своими остротами, своими редкими талантами: никогда! Он очень хорошо понимает, что это не в тоне, что это не водится, что истинные заслуги молчат, что гений сам о себе говорить не должен. Поэтому водевилист всегда скромн, хоть по наружности; никогда не говорит вам прямо о себе, и только накануне представления нового своего водевиля он делается несносным надоедалой. Он забывает всякие приличия, всякую скромность, развозит афиши и билеты, просит, умоляет, то притворной шуткой, то серьезным намеком на достоинства новой пьесы, и так или иначе, а заставит вас взять хоть один билет, хоть в раек...

Если же ваше знакомство случается не в эту торжественную эпоху его славы, будьте уверены, что этот искусный человек, тем или другим путем, а уж непременно на другой же день заставит вас узнать все его заслуги: в такой-то столице (столице — непременно; водевилисты не терпят провинции) давали его такой-то водевиль и автора вызывали; в таком-то журнале напечатан отрывок из его драмы (водевилисты пишут всё, даже трагедии); там-то помещена статейка, и преострая, об игре такого-то актера, и вот по

рукам ходят едкие куплеты на известное лицо... Если вы при встрече намекнете ему об этом, он с небрежностью скажет: да, шалил! и тотчас переменит разговор, хотя через несколько времени опять искусно наведет вас на свои заслуги. О, в практике водевилисты такие искусники, такие хитрецы! Они умеют заискать везде; быть везде любимыми и принятыми с улыбкой. Да и как иначе? Водевилист лучший компаньон в обществе. Он так умеет услужить, насмешить! Затеите бал, танцы — вам больше всего нужны танцоры? — водевилист танцует свободно, легко, грациозно; и я клянусь честью, он там и там уж успел привлечь на себя кое-какие глазки; уж ему удалось кое-где пожать ручку, уж он и влюблен, в двух или трех, и сам же говорит об этом, и так мило!.. Вам нужен партнер к висту: а водевилист на что? Он играет превосходно, да в один ли вист! во что хотите! Здесь он часто художник!.. Затеете вы театр, музыкальный вечер, пение: он актер, какого свет не производил; и трагик, и комик, и пастушок, певец и музыкант! Рассказать ли смешной анекдот, представить ли в карикатуре общего знакомца: всё же он, везде он! В так называемой любезности он превзошел самого дьявола! Лицо его, показавшееся вам в первый раз серьезным, лощеным и гладким, как паркетный пол, теперь становится как на пружинах! В одну минуту он представит вам из себя и бюст Наполеона, и харю пьяного лакея; будет петь, как лучший певец, и щебетать, как сорока; покажет лучшее антраша Тальони, и вдруг изменится в неповоротливого Стецка (из малор<оссийской> оперы). И всё это на первый раз довольно забавно; во всем есть какое-то мастерство; всё выпукло и гладко; но присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что всё это как механика, всё лишено жизни и души. Впрочем, никто не имеет права требовать от водевилиста души. У него нет души, от самого рождения. Вместо души у него в теле только пар, который и делает его таким легким и подвижным. Вы, может быть, подумаете, что это сказано резко, и водевилист вправе оскорбиться. Ошибаетесь. Нет существа снисходительнее, мирнее и, как я уже сказал, любезнее водевилиста. Он никогда ничем серьезно не оскорбится, и если случится, что вы увидите на лице его выражение гнева, так это только в шутку, для вида, точно так, как бывает в водевилях, где все ссоры и дуэли кончаются полюбовно,

стаканом шампанского, с приправою куплетца или каламбура. О, куплет и каламбур — самые чувствительные струны водевилиста, его коньки. Попробуйте назвать водевилиста в лицо самым площадным именем, толкните его что есть мочи; он оглянется и если свидетелей нет — ничего: он отпустит вам каламбур, и дело с концом. Но если дело при свидетелях: беда! Лицо его, с удивительною быстротою, вызовет бурю, уста прогремят угрозы, и вы погибли! Завтра на вас написаны куплеты; они ходят по рукам, переписываются, читаются, поются; их заучивают пятилетним детям; их передают уличным мальчишкам! А если водевилист еще и *драматический* писатель — конечно! вы помещены в его первой пиесе, под вымышленным именем... Вот вам наказание — не правда ли, жестокое? Вот вам мщение, да какое!.. благородное мщение, мщение нынешнего образованного века, а не какое-нибудь варварское, вандальское! И это потому, что водевилисты суть лучшие поклонники и защитники образования и гонители невежества. Так по крайней мере думают они сами о себе. О, на этот раз они люди со вкусом и с разборчивостию. Они с аптекарскою точностию и честностию умеют взвешивать каждое достоинство свое, и отмечают его на полях своего журнала *son amore*¹, красными чернилами. Они не придут, подобно молиерову мещанину, в восторг, если вы скажете им, что они говорят *прозой*; напротив, они будут недовольны и удивлены, что вы этого давно не заметили и не поставили им в талант и достоинство. Каждое слово свое они готовы записывать, чтоб оставить его в поучение грядущим векам, и никакая кокетка не смотрится в зеркало прилежнее водевилиста. Да это и естественно. Водевилисты читают *так много, много* в своей физиономии, и ничто не приводит их в такое умиление, как созерцание ее! Вот отчего, по-моему, так дорога ныне портретная живопись и так редки *«вывесочные» живописцы...*

Но как ни мудры и возвышенны гг. водевилисты, а и они делают часто такие вещи, которых нет возможности понять или определить. Конечно, это происходит или оттого, что *errare humanum est*², или что гении всегда недоступны пониманию современников. Однакож

¹ С душой. (*Ред.*)

² Заблуждаться свойственно человеку. (*Ред.*)

для факта мы представим образцы этих темных сторон водевилиста. Как бы вы хорошо ни постигали его, как бы долго ни изучали, будьте уверены, что рано или поздно, и там, где вы меньше всего этого ожидаете, водевилист вдруг отольет такую штуку, которая поневоле поставит вас в тупик и разрушит все ваши о нем построения! Напр., если вы привыкли слышать из уст его довольно складные и всегда остроумно приправленные вещи, то вдруг придется вам из тех же уст внимать такому вздору, такой чистойшей галиматье, что вы, по выражению Гоголя, подумаете, будто то говорит не сам водевилист, а кто-нибудь другой, за ним спрятавшийся. Вы, например, знаете, что водевилист влюблен в такую-то идеальную женщину: и что ж? не успели вы задуматься о его глубокой, вулканической страсти, о которой он хоть и не говорит, но которая видна на лице его, как нельзя лучше, — как узнаете, что он влюблен еще в трех, а вдобавок на четвертой женится... Вам довелось играть с водевилистом; вы привыкли думать, что он всегда играет на чистые, потому что расплачивается довольно аккуратно; и что ж? — нечаянно вы узнаете, что в самой жаркой игре он играл без гроша, и пр. Здесь, я полагаю, нужно искать разрешения и тем непрерывным несообразностям, какие мы видим в большей части творений наших водевилистов. Творец проявляет себя в творении — известное дело: чем же нехороши наши водевили? Не сущие ли это портреты самих авторов? водевильные лица так уж устроены, что, рассматривая их все вместе и каждое порознь, ни за что на свете, никак не определите значение их! Не только нет характеров, нет никакого человеческого смысла, нет человеческого лица, простой формы. Это какие-то новые существа нового мира, нелепого и разве только потому нам не чуждого, что, к несчастью, мы непрерывно видим их на сцене и живем с великими творцами их. Вот уж подлинно:

С кого опи портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

Впрочем, надо и то сказать, что ведь, по выражению какого-то ритора, гении творят новые миры; а кто больше гений, как не водевилист? спросите об этом у него. Вот почему в их гениальных водевилях встречаются вещи, которых вы одну с другой никак не соедините, будь вы док-

тор философии или химии. Напр., вы видите молодого человека, страстно обожающего такую-то прекрасную деву, видите престарелого отца, имеющего дочь, им нежно любимую: хорошо. Что ж? Этот же самый молодой человек, страстный любовник, этот нежный, чадолюбивый отец отпускают насчет дочери и любовницы такие площадные вещи, такие вещи, которых мы не скажем презреннейшей из женщин. Вы думаете: это разрушает *такой-то* характер, это противоречит чистейшей связи между влюбленными, это, наконец, противно законам природы и связям родства: нимало! Разве вы забыли, что водевилист вклеил здесь, по поводу какого-нибудь слова, приличную остроу, и только! — в водевилях богатые, образованные и красивые девушки добровольно выходят замуж за отъявленных негодяев, нравственных и физических уродов, которых достоинство они знают лучше вас! В водевилях мужья никогда не обижаются за поругание своих прав, а если и делают это, так для шутки; жены никогда не узнают своих мужей; отцы весело, добродушно, а чаще сухо и вяло развращают своих детей; дяди (самый глупый народ) всё прощают своим племянникам; в водевилях, наконец, царствует такой же хаос и вавилонское столпотворение, как в головах их производителей! Возьмите любое водевильное лицо, поставьте его вниз головою, заставьте говорить ногами: лицо не переменится, только будет эффектнее, и для эффекта водевилисты готовы лезть в огонь и в воду! Они и лезут, да, жаль, не тонут, не горят. Они сотворены из такого материала, которого не переработает никакой огонь, не поглотит никакая вода; и потому они бессмертны! Смерть берет только тело; а водевилист, в сущности, ни тело, ни дух, а пар, испарение... Его постоянное жилище земля, в полном значении слова, земля — несчастнейшая из всех планет мира!

В заключение прошу тех, кто не найдет в моем очерке ни последовательности, ни полноты, вспомнить, что это совершенно зависит от предмета. Начинайте его рассматривать, с конца или с середины, или ни с конца, ни с начала, где попало, всё равно! Нигде вы не найдете ничего определительного. Всё слито, перепутано, перемешано.

Впрочем, некоторые дополнительные черты этого лица вы найдете в следующем очерке.

II

НЕПРИЗНАННЫЙ ПОЭТ

Musa et Apollo¹, и ты, о Феб, огневлас! Все трое, молю, подайте мне силы! Пою, пою...

Но прежде всего, где мое лучшее перо? где лучшие чернила? Увы! у нас нет хороших чернил; у нас все пишут квасом! Дайте ж мне краски и кисть. Кисть широкою, размашистую, краски яркие! Их нужно две: мрачно-темную и пламенно-красную, и я нарисую портрет великого мужа! Непризнанный поэт... Народ, на колени! Непризнанный поэт... Да, он весь состоит из пламени и мрака: буря и пожар! Это вулкан, которого жерло в отверстии завалено громадой облаков: пламени некуда деться, и оно пробивается в щель. Вот почему у всякого непризнанного поэта — на лбу вечные тучи, вечная буря, и на носу вечный пожар!..

Существо прошедшего века, историческая достопамятность, непризнанный поэт! Он вечный страдалец в нашем меркантильном обществе! Страдание назначено ему с самой колыбели! Как известное лицо, которого в детстве уронила мамка, с тех пор всё отдает водкой, — так и поэт наш еще на своих крестинах гремел уже людям проклятия! Тогда еще его не признали, и с тех пор он в мире, как в пустыне. Мало: все его гонят, все клянут; главное, все завидуют и потому не признают его поэтической души, и вот он в вечной вражде с людьми! Да как же иначе? На то он поэт! И какой же, в самом деле, порядочный поэт не в ссоре с веком, с обществом, с людьми? И если не так, то что тогда ему петь? над чем разыгрываться фантазии? Давно сказано, что страдание есть пламя, в котором очищается душа поэта от всех грязных житейских пятен.

Но позвольте, я боюсь, чтоб моя восторженность при созерцании этого великого предмета не испортила всего дела. Целое его так охватывает мое воображение, что я иначе не могу приступить к частностям, как только чрез сравнение. «Неужели с водевилистом?» — скажете вы. Что делать! Я знаю, что это крайне обидно для поэта, но переменить нечем. «Что есть меж ними общего?» Не многое,

¹ Муза и Аполлоц. (Ред.)

но есть: во-первых, внутренний хаос; во-вторых, отсутствие действительности и жизни; третье — великое понятие, высокое мнение о себе; в-четвертых... Но довольно пока. Впрочем, эти общие качества, сходствуя по роду, отличаются у них по видам. Если у водевилиста в голове хаос довольно мелкий и пошлый, — у поэта крупный и великолепный. У водевилиста всегда в голове представления довольно мирные, повседневные: холостая пирушка, ссора двух соседей, обманутый муж, смешное недоразумение, и всё это на улице, дома, в комнате, всё это с благополучным окончанием, — у поэта — всё резня! Кровь и месть! Отчаянная катастрофа, сумасшедший от любви, утопленница, гром, океан и разрушение вселенной! Водевилист думает только о невинных куплетцах, о какой-нибудь трудной рифме, к слову, напр., лошадь; поэт никогда такими пустяками не занимается! у него не в рифме дело, а в целом! Идея! Водевилист совершенно спокоен насчет окончания своей пьесы: за руки и куплетец к зрителям; поэту здесь-то и мучение! Как лучше: утопить, задушить, заколоть, отравить, зарезать, повесить, сжечь или уморить голодом своих героев? Зато водевилист иногда за острым словом, за проклятою рифмою ходит дня два, три, целую неделю, перемарает дести четыре: у поэта этого никогда не случается! Рифмы его не смутят! Он пишет без перемарок, набело, и это-то служит ему лучшим доказательством, что он великий гений. Водевилист хоть и любит славу, хоть и сладко облизывается, когда в райке смеются его остроумам; но иногда за неимением своего он готов похвалить и чужое, даже, из скромности, признает кого-нибудь и выше себя... поэт! гм! подите вы с ним! Нет человека, которого бы он поставил в уровень с самим собой! Пожалуй, когда вы станете перед ним восхищаться Пушкиным, Байроном, Гете, Шекспиром, он тоже будет прихваливать их, хоть и холодно; но зато загляните хорошенько в его душу: что там он думает! Смотрите и не удивляйтесь: это истина. «Пушкин! кричат: Пушкин! А что такое это в самом деле? Пушкин оттого только и велик, что начал писать прежде меня! Доказательство: Пушкин в своих стихах хоть мало, а всё-таки делал перемарки, а я ни одной. Да притом у Пушкина есть иногда какофония... Байрон! Байрон! Пожалуй, он путешествовал, был в Греции, видел море, — вот и всё. Впрочем, что написал Байрон, то, еще лучше и

еще глаже, могу написать и я, и все скажут: украл у Байрона, когда это всё мое собственное!.. Шекспир их хваленый!.. Ге, ге, ге... выдумали: велик! велик! А у Шекспира часто и смысла нет!..» Словом, наш поэт есть такой уж какой-то, которого еще и мир не создавал: но вся беда — не признан веком! Нет, водевилист на этот раз гораздо скромнее. Он думает: «Что ж? Ну так, Шекспир велик; не спорю; а впрочем, чем же дурна и моя сцена из новой драмы? Каков там монолог какого-нибудь художника? Игрушка!.. А водевиль? Ведь в Питере восхищались...» — Поэт Пушкина, Шиллера, Гете, Байрона и проч. считает личными своими врагами-соперниками; остальных поэтов он не удостоивает взглядом, и беда новому светилу, которое загорится на горизонте отечественной литературы! Он в каждой букве его стиха отыщет нелепицу и недостаток грамматического смысла; водевилист напротив: Пушкин, Шиллер, etc. — его друзья и приятели; он с ними запанибрата, их сверстник и ровесник. Поэт не может вынести ни одного стиха, кем бы то ни было помещенного в наших периодических изданиях; водевилист, напротив, отыскивает иногда в «Биб<лиотеке> д<ля> чт<ения>» и еще кое-где очень хорошенькие стишки и не стыдится восхищаться ими открыто. Переходя от литературы к практической жизни, находим одно и то же: у поэта все враги! Нет в мире человека, который бы, по словам его, не сделал или не хотел сделать ему зло: все гонят, все преследуют! Зависть, зависть, как я сказал, вот главный источник их вражды. У водевилиста, напротив, все приятели и друзья. — Если поэт с вами поссорился — кончено! Он говорит: «ссора моя вековая, вражда непримиримая!» Но не страшитесь этой мрачной грозы! Стоит только где-нибудь сказать: «вот истинный, великий поэт», тучи тотчас рассеются, и поэт самодовольно произнесет: «да, такой-то — нехороший человек, но я его уважаю за его ум». Так точно и водевилист, который, впрочем, гораздо умереннее в своих ссорах, всё вам простит, если вы скажете: «впрочем, он очень умный человек, и это видно по лицу».

Если во внутренней организации этих двух приятелей наших нашли мы некоторые сходства, то, рассматривая их внешность, найдем большие противоположности. Начнем с физиономии. Поэт, как уже известно, непременно должен смотреть бурею: лицо его всегда пасмурно, мрачно; следы

страстей самых пламенных, утрат самых горестных видны на нем. При этом во всем непременно должно быть нечто *рыдающее, вопиющее*, чтоб всякий видел, что наш поэт непростой, что он жил, страдал, дрался в кровопролитной битве с железным роком и потому носит на себе все следы этой несчастной битвы! Его юность была не нашей чета! Он *кутил* во всю мочь, но кутил не из простого, низкого желания только покутить: нет, чтоб этим заглушить боль глубоких ран, нанесенных ему людьми-крокодилами, и в особенности женщинами-сиренами! Женщина! любовь! Вот первоначальные темы его песней, его восторгов и проклятий! Известно, поэт — он любил, как в наше время уж не любят, глубоко, страстно, пламенно, мрачно, и она не поняла! Ад и проклятие! (Вино для смягчения злосчастий.) Итак, вы видите, какими путями поэт выслужил, выстрадал себе красный нос, впалые глаза, глубокие морщины, растрепанные, развеянные по ветру волосы! Ну не истинный ли он поэт? И можно ли сравнивать с ним какого-нибудь водевилиста?.. Да, с последним, правда, ничего подобного не может случиться. У него и лицо всегда молодо, гладко, спокойно, хоть это и не простое спокойствие, а *творческое!* Водевилист тоже кутит в своей вечной юности, но он кутит по простому и прямому влечению; его нельзя ничем спойть, и нос его так устроен, что никогда не делается красным! Притом, водевилист влюбляется в шестерых разом и ничуть не страдает от потерь и измен: он тотчас найдет новых утешительниц, тогда как, по уверению поэта — любить можно только однажды в жизни, одну, заветно и вечно. Водевилист всегда приглажен, чист и ловко одет, ходит стройно, смотрит браво; у поэта всё наоборот! Вечно растрепан, одет в какой-то хаос, ходит согнувшись, смотрит кисло! Водевилист умеет всем воспользоваться: нет у него жилета, он наглухо застегивает сюртук или фрак, и говорит: это последняя мода; все верят и восхищаются. Поэт не любит щеголять; но иногда вздумается ему шить редкий какой-нибудь жилет или фрак: и что ж? всё это пестро и красно; надето странно, смешно; шито косо, мешком. Заметьте ему об этом, он с презрением скажет: «Я не поклонник пошлых мод и модников не подражатель». На бале, напр., водевилист танцует себе, что есть мочи, с жаром, с упоением; поэт, если удостоит своим посещением это жалкое сборище людей, то останавливается где-нибудь на возвыше-

нии, складывает крестом руки и смотрит на танцующих с едкой насмешкой, бичуя их своими эпиграммами, которых, впрочем, никто не слышит! Если где затеется маскарад, водевиль в восторге! Тут-то случай показать свои дарования! Из тысячи водевилей выбирает он самое замысловатое лицо и является вдруг каким-нибудь студентом, артистом, хористом, оперистом, с прибавлением 30-ти других истов, до сапогочиста включительно. Поэт, напротив, выбирает самое злейшее лицо самой злейшей трагедии и является в общество — о, ужас! ужас! ужас! палачом или разбойником... Итак, один из них — смеша, казнит; другой — казня, смешит! Итог один...

Вот люди! Есть ли им подобные?

Эти небольшие аналогические сходства и различия двух наших гениев явно открывают нам их внутреннюю бедность, грубость, пошлость, самолюбие, восходящее до низости, тщеславие до глупости! Скажите им обоим какую угодно гиперболическую лесть, назовите их каким угодно славным именем, хоть явно в насмешку, они, право, оба примут это за чистую монету, только поэт будет так прост, что тотчас и покажет это, а водевильщик скроет. На этом силке может ловить их всякий. И знаете, кто больше всего и лучше пользуется такой оказией? Пожилые женщины, которым давно уж и очень крепко хочется замуж! Они расхваливают их необыкновенные дарования и показывают, что очарованы ими самими. Этого довольно. Наши герои тотчас делаются мужьями, это ведь так легко, и начинают хвалить встречному и поперечному редчайшие достоинства своих жен. Музы никогда не были ни умнее, ни милее, ни любезнее их жен. Мужья в восторге! Поэт говорит, что он нашел, наконец, женщину, которая постигла его, и вследствие этого, он уж примиряется с судьбою (которая, сказать правду, никогда и не думала удостоить его своею враждой); водевильщик не говорит таких вздоров, а просто: «Моя жена — объядень! Славно поет и играет: чудная могла бы быть актриса! Да мы с ней разыгрываем театр дома». (Тут непременно острота.) Оба гения наживают детей целую кучу и воспитывают их по-своему; но поэт недоволен плодородностью жены — большая обуза, большие издержки! Водевильщик об этом не заботится. Ему всё равно: чем больше, тем лучше: можно на домашнем спектакле своей семьей ра-

выгрывать даже трагедии... Поэт стареет, делается скуп, жаден, начинает барышничать всем, бросает, наконец, неблагоприятную поэзию, которая столько сделала ему зла, торжественно проклинает ее и впадает в мир самой гнусной прозы; водевилист до конца один и тот же; он никогда не стареет; поет, говорит и сочиняет куплеты и водевили; он не скуп, не жаден, но и не щедр; и не по благоразумию, а так, по беспечности. Несмотря на то, что поэт под конец жизни, повидимому, прощается с поэзией, — мысль, что он именно великий, но непризнанный поэт, не покидает его до могилы. Он уверен, что потомство воздвигнет на ней памятник с надписью: «Великий поэт — жил, как писал». Водевилист доволен уверенностью, что по нем никто не напишет лучшего водевиля...

Заклучим: оба эти лица жалки, пусты, никогда не могут они взглянуть прямо в свою сущность и никогда не думают об этом. А между тем они проживают много лет в свете, делают много зла, хоть потому, что распложают себе подобных. Одна только смерть, прикасаясь к ним своею величественною рукою, заставляет нас верить, что и они были люди... Но ни за что в мире не захотел бы я взглянуть на мертвые лица моих героев.

— *ин.*

СЛАВЯНОФИЛ

Один славянофил, то есть человек, видящий национальность в охабнях, мурмолках, лаптях и редьке и думающий, что, одеваясь в европейскую одежду, нельзя в то же время остаться русским, нарядился в красную шелковую рубаху с косым воротом, в сапоги с кисточками, в терлик и мурмолку и пошел в таком наряде показывать себя по городу. На повороте из одной улицы в другую обогнал он двух баб и услышал следующий разговор: «Вона! вона! гляди-ко, матка! — сказала одна из них, осмотрев его с диким любопытством, — глядь-ка, как нарядился! должно быть, иностранец какой-нибудь!»

КОММЕНТАРИИ

В настоящий том вошли повести, рассказы, фельетоны Некрасова, представляющие собой отдельные законченные и дошедшие до нас в целости произведения. Читатель не найдет в этом томе известных рассказов Некрасова «Необыкновенный завтрак» и «Петербургские углы», так как это главы из неоконченного романа «Жизнь и похождения Тихона Тросникова», опубликованного только в 1931 г. Роман этот входит в VI том настоящего издания.

Почти все произведения, вошедшие в состав тома, написаны в первой половине 40-х годов. Это было время, когда Некрасов бился в тисках нужды, за скудное вознаграждение писал пьесы, рецензии, обзоры, рассказы, фельетоны. Завязав сношения с журналом «Пантеон русского и всех европейских театров» и «Литературной газетой», он поставлял в эти издания обильный материал для непрехотливых любителей развлекательного чтения.

Впоследствии строгий к себе писатель никогда не перепечатывал произведений, входящих в настоящий том.

Эта «литературная поденщина», как назвал Некрасов впоследствии свою продукцию того времени, писалась на лету, без обдумывания и отделки.

Некоторые рассказы выполнены в духе романтических повестей 30-х годов, с графами и баронами, с балами и маскарадами, с пылкими страстями и ударами кинжалов на фоне итальянской роскошной природы. Другие рассказы изображают жизнь в тоне «нравоописательных» очерков 30-х годов, с нарочитым балагурством над обывателями. Но в части рассказов за сентиментальными, мелодраматическими приемами чувствуется горький жизненный опыт молодого писателя («Макар Осипович Случайный», «Без вести пропавший пиита», «Ростовщик», «Жизнь Александры Ивановны» и др.). Темы нарождающейся «натуральной школы» предвосхищаются рассказами о петербургской бедноте, ютящейся в сырых подвалах, о девушках, погубленных бездушными богачами — искателями развлечений, о молодых интеллигентах, таяжко

и неудачливо борющихся за жизнь в огромном городе, полном контрастов роскоши и нищеты.

Фельетоны Некрасова написаны на темы, рассчитанные на неприхотливых читателей: погода в Петербурге, мелкие городские новости, праздники, уличные развлечения и т. п. В то же время Некрасов осторожно вводит и темы совсем иного характера: он смеется над романтизмом, защищает Белинского и его литературные взгляды, пародирует мнения врагов нарождающейся «натуральной школы» и т. п.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

(1840—1850)

1 8 4 0

МАКАР ОСИПОВИЧ СЛУЧАЙНЫЙ

(Стр. 7)

Печатается по журналу «Пантеон русского и всех европейских театров», 1840, кн. 5, стр. 36—61, где было опубликовано впервые, с подписью: «Н. Перепельский» (обычный псевдоним Некрасова — беллетриста и драматурга). Перепечатано отдельной книжкой: Н. А. Некрасов, Макар Осипович Случайный. Рассказ. М., «Огонек», 1930 (Библиотека «Огонек», № 543).

В. Горленко передает со слов издателя «Пантеона» Ф. А. Кони историю написания этого рассказа:

«До того времени Некрасов ничего не писал в прозе, а на стихах, как известно, заработать много нельзя. На советы Кони писать прозой Некрасов отвечал, что он решительно не умеет и не знает, о чем писать. — Попробуйте на первый раз рассказать какой-нибудь известный вам из жизни случай, приключение, — советует ему Кони. Предложение принято, изобретается для прозы псевдоним Перепельский (им подписана большая часть повестей и рассказов Некрасова, но не все: другие, и не всегда лучшие, подписаны настоящим именем), и в № 5 «Пантеона» 1840 г. появляется первый прозаический опыт Некрасова, повесть «Макар Осипович Случайный», где, со всеми заурядными приемами того времени, рассказывается действительная история некоего чиновника Сл-ского, наделавшая в то время некоторого шума в Петербурге» (В. Горленко, Литературные дебюты Некрасова, «Отечественные записки», 1878, кн. 11, отд. II, стр. 151).

А. Зими́на усматривает в рассказе сюжетное сходство с рассказом Е. П. Гребенки «Маскарадный случай» («Творчество Некрасова», Сборник статей под ред. А. М. Еголина, «Труды Московского института истории, философии и литературы», т. 3, М. 1939, стр. 171).

Отметим небрежность, встречающуюся в ранней беллетристике Некрасова: в 1-й главе у жены Случайного «русые локоны» (стр. 9), в 3-й главе — «черные локоны» (стр. 30).

...*Играете ли из Фенеллы, из Цампы, из Роберта или Нормы?* — названия модных в то время опер: «Фенелла» Обера (1828), «Цампа» Герольда (1831), «Роберт-Дьявол» Мейербера (1831), «Норма» Беллини (1831).

Virtuti militari (за военные доблести) — польский военный орден, присоединенный в 1815 г. к русским орденам под названием «Орден военного креста». С 1831 по 1842 г. давался всем участникам подавления польского восстания.

Он в чине 9 класса — то есть в чине титулярного советника. Все гражданские, военные, морские и придворные чины были распределены, согласно «табели о рангах», по четырнадцати классам; высшим классом был первый.

...*со времен Грибоедова известно и ведомо всякому сочувствие московских барышень с гвардейским мундиром.* — Имеются в виду следующие реплики из «Горя от ума»:

Ч а ц к и й

Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали,
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали. (Д. II, явл. 5.)

С к а л о з у б

...Искусно как коснулись вы
Предубеждения Москвы
К любимцам, к гвардии, к гвардейским, к
гвардионцам. (Д. II, явл. 6.)

...*кричат четырнадцатые классы, прапорщики...* — то есть низшие гражданские и офицерские чины.

Справедливо кто-то сказал, что прямой талант везде найдет защитников. — «Прямой талант везде защитников найдет!» — стих из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811).

Барон Брамбеус — псевдоним беспринципного фельетониста и беллетриста О. И. Сенковского (1800—1859).

...*раздирали, говоря à la Марлинский, тимпан его слуха.* — Популя́рный в 30-е годы беллетрист романтического направления

А. А. Бестужев (1797—1837), писавший под псевдонимом А. Марлипский, славился вычурными, неожиданными метафорами.

Сердце девы — кладезь мрачный!.. — измененная цитата из стихотворения Батюшкова «Счастливец»:

Сердце наше — кладезь мрачный.

*Попробуйте, госпожа Дюдеван! вы представляли пропасть при-
меров невыгоды и несправедливости нынешнего порядка вещей.* — Аврора Дюдеван — знаменитая французская романистка, писавшая под псевдонимом Жорж Санд; в ряде романов подвергала современные ей социальные, в особенности семейные, отношения критике с позиций, близких утопическому социализму.

Ветер, срывая, как хромоногий бес, крыши ста́рых домов... — В романе Лесажа «Хромой бес» (1707) Хромой бес (Асмодей) снимает крыши домов в Мадриде, чтобы показать герою романа, студенту Замбулло, что делается внутри жилищ.

...с безумием граничит разумье — цитата из стихотворения Баратынского «Последняя смерть».

...молодой человек в прическе ионического ордена — то есть в прическе, напоминающей завитой орнамент капители на колонне ионического архитектурного ордена (стиля).

Тальони. — Мария Тальони (1804—1884) — танцовщица. В конце 30-х — начале 40-х годов с успехом гастролировала в Петербурге.

...как Нева во время наводнения, он метался на своей постеле — комическая реминисценция из «Медного всадника»:

Нева металась как больной
В своей постеле беспокойной.

*Не нужно быть Лафатером, чтоб, взглянув на него, понять
в эту минуту его душевные качества.* — И. К. Лафатер (1741—1801) — физиономист.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ ПИИТА

(Стр. 45)

Печатается по «Пантеону русского и всех европейских театров», 1840, кн. 9, стр. 66—84, где было опубликовано впервые, с подзаголовком: «Рассказ Н. Перепельского», со следующим примечанием к последним словам рассказа: «Мы благодарим автора за доставление нам этого интересного рассказа и с удовольствием и

впредь поместим в «Пантеоне» опыты Ивана Ивановича, если они все будут так удачны, как этот. *Ред.*». В кн. 10, на стр. 37—38 напечатано стихотворение Некрасова «К ней!!!!!» (см. т. I, стр. 292 наст. изд.) с подписью «Иван Грибовников» и примечанием: «Помещаем это оригинальное стихотворение для того только, чтоб утешить друга нашего Н. А. Перепельского: Грибовников — без вести пропавший пиита — отыскался. *Ред.*».

Рассказ перепечатан в «Собрании сочинений» Некрасова, т. III, М. — Л. 1930, стр. 24—50.

В. Горленко пишет об этом рассказе:

«Первый опыт был сделан и сошел благополучно. О чем писать теперь? «Опишите себя, свое недавнее положение», — советует тот же издатель, и Некрасов пишет рассказ «Без вести пропавший пиита», имеющий, по словам Кони, несомненное автобиографическое значение» («Литературные дебюты Некрасова», «Отечественные записки», 1878, кн. 11, отд. II, стр. 151). Один из мотивов рассказа соответствует, по свидетельству Н. Успенского, позднейшему воспоминанию Некрасова об этом периоде его жизни: «Так как хозяин отказал мне в чернилах, я соскоблил с своих сапогов ваксу и написал очерк и отнес его в ближайшую редакцию. Это спасло меня от голодной смерти» (Н. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 4—5).

Симбирской губернии, Самарского уезда. — Самара до 1851 г. была уездным городом Симбирской губернии.

...зачем-то прислал мне лаврового листу и писал, что меня должно венчать, как какого-то Тасса. — Итальянский поэт Торквато Тассо (1544—1595) должен был быть увенчан лавровым венком, но не дожил до этой церемонии, и венок был возложен на голову умершего поэта.

...стих из ямбической поэмы Разбойники — то есть из поэмы Пушкина «Братья-разбойники».

Это просто пандан-с. — Пандан (*франц.*) — соответствие.

Что бедный наш язык... и т. д. — неточно цитированные стихи Кукольника:

Что наш язык? — печальный отголосок
Торжественного грома, что в душе
Гремит святым, каким-то мощным звуком.

(«Торквато Тассо», акт I, явл. I.)

Артур Б., Мальфиатре во Франции; Генрих Виц в Германии; Камюэнс в Португалии; Ричард Саваж в Англии... — Жак-Шарль-

Луи Мальфилляр (1732—1767) — французский поэт. Луис-Вазде Камоэнс (1524—1580) — португальский поэт. Ричард Сэвдж (1697—1743) — английский поэт. Все эти поэты очень бедствовали. Кто такие Артур Б. и Генрих Виц — не выяснено.

Кормовых денег не пожалей. — Кредитор, по требованию которого должника сажали в долговую тюрьму, обязан был вносить на его содержание в тюрьме так называемые кормовые деньги.

ПЕВИЦА

(Стр. 74)

Печатается по «Пантеону русского и всех европейских театров», 1840, кн. 11, стр. 67—90, где было опубликовано впервые, с подзаголовком: «Повесть Н. Некрасова».

«По словам Кони, — пишет В. Горленко, — происхождение некоторых из этих повествований было следующее: «А вот что я сегодня прочитал», — говорил девятнадцатилетний писатель, входя к своему издателю и передавая ему содержание прочитанного в какой-нибудь забытой книжке. «Ну, вот вам и сюжет, садитесь и пишите», — говорил ему издатель, и в результате явились рассказы, вроде «Певницы», «В Сардинии» и др. Это было время, когда Некрасов оставил университет и перебивался исключительно литературной работой. Задача состояла в том, чтобы писать как можно больше, так как платили немного, а потому об отделке, о жизненности производимого некогда было и помышлять» («Литературные дебюты Некрасова», «Отечественные записки», 1878, кн. 11, отд. II, стр. 154—155).

А. Змища в статье «Некрасов-беллетрист» пишет по поводу рассказов «Певница» и «В Сардинии»: «Все эти Франчески, Ангелики, Джулио прямо пересажены из повести Тимофеева «Джулио», «Антонио» и «Максим Созонтович Березовский» Кукольника («Творчество Некрасова». Сборник статей под ред. А. М. Еголина, «Труды Московского института истории, философии и литературы», т. 3, М. 1939, стр. 168).

Давали новую оперу любимого Донизетти. — Донизетти (1797 — 1848), итальянский композитор, популярный в 40-е годы благодаря своим операм «Лючия», «Любовный напиток» и «Дон Пасквале».

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ

(Стр. 112)

Печатается по «Литературной газете», 1841, № 9 (от 21 января), стр. 33—36, и № 10 (от 23 января), стр. 37—40, где было опубликовано впервые, с подзаголовком «Рассказ Н. Некрасова». Перепечатано в книге: Н. А. Некрасов, Двадцать пять рублей (Неизданные рассказы), М.—Л. 1927 (Библиотека сатиры и юмора), стр. 5—24.

...а еще «Северную пчелу» читаете. — «Северная пчела» — реакционная официальная газета, выходившая под редакцией Ф. В. Булгарина — реакционного беллетриста и фельетониста, известного своей беспринципностью, продажностью и доносами, — и его единомышленника Н. И. Греча.

...вышел в отставку чем-то поменьше коллежского регистратора и побольше недоросля. — Коллежский регистратор — низший чин в гражданской службе, недоросль — дворянин, еще не поступивший на государственную службу.

Как гнусны, бесполезны, как ничтожны деянья человека на земле — «Гамлет» Шекспира в переводе Н. А. Полевого, д. I, явл. 2.

Я в пустыню удаляюсь... — романс, пользовавшийся широкой популярностью в XVIII и в начале XIX века.

...вот однажды у Казанского моста глядит он в окно второго этажа, видит даму, которая пристально на него смотрит... — ср. совершенно аналогичный эпизод с парикмахерской куклой в «Провинциальном подьячем в Петербурге», гл. 3 (см. т. I, стр. 369 наст. изд.).

...виртуозная, как пальцы Тальберга, как носок Тальйони, как голос Пасты. — С. Тальберг (1812—1871) — пианист, известный блестящей техникой, М. Тальйони (1804—1884) — знаменитая танцовщица, Ю. Паста (1798—1865) — певица. Все эти артисты давали концерты или выступали на сцене в России в 40-х годах.

«За чашу благ, в которой слито...» и т. д. — неточная автоцитата из стихотворения «Турчанка» в сборнике «Мечты и звуки» (см. т. I, стр. 243—244 наст. изд.).

...музыка Роберта-Дьявола. — «Роберт-Дьявол» — опера Мейербера (1831), чрезвычайно популярная в 30—40-е годы.

...играли в ланскнехт. — Ланскнехт — старинная карточная игра.

РОСТОВЩИК

(Стр. 133)

Печатается по «Литературной газете», 1841, № 25 (от 1 марта), стр. 97—100, и № 26 (от 4 марта), стр. 101—104, где было опубликовано впервые, с подзаголовком: «Рассказ Н. Перепельского».

Сюжетная ситуация рассказа в значительной мере повторена в романе «Три страны света» (см. т. VII настоящего издания), где также ростовщик ведет интригу, в результате которой надеется овладеть любимой женщиной: он прикидывается другом и берет в тиски, как должника, разорившегося человека, который оказывается его сыном — законным, но потерянным, вследствие бегства его матери, не вынесшей мучительной жизни с ростовщиком; тайна открывается слишком поздно для того, чтобы ростовщик мог спасти от гибели сына, вслед за которым гибнет и он сам.

Книга о переложении ассигнаций на серебро. — Ассигнации — бумажные деньги. В 40-е годы официальное соотношение, по которому бумажные деньги обменивались на звонкую монету: 3 руб. 50 коп. ассигнациями за 1 серебряный рубль.

...я буду платить кормовые деньги... — см. стр. 610.

...не делаю фальшивых депозитных билетов... — Депозитный билет — залоговая квитанция.

КАПИТАН КУК

(Стр. 153)

Печатается по «Литературной газете», 1841, № 42 (от 19 апреля), стр. 165—168, где было опубликовано впервые, с подписью: «Наум Перепельский». Перепечатано в книге: Н. А. Некрасов, Двадцать пять рублей (Неизданные рассказы), М.—Л. 1927 (Библиотека сатиры и юмора), стр. 25—38.

КАРЕТА

(Стр. 166)

Печатается по «Литературной газете», 1841, № 60 (от 3 июня), стр. 237—239, где было опубликовано впервые, с подписью: «Н. Перепельский».

Есть люди, которые завидуют Наполеону и Суворову, Шекспиру и Брамбеусу, Крезу и Синёброхову; есть другие, которые завидуют Палемону и Бавкиде, Петрарку и Лауре, Петру и Ивану, Стани-

славу и Анне; есть третьи, которые завидуют Манфреду и Фаусту.—Барон Брамбеус—см. стр. 607 настоящего тома. Синебрюхов—купеческая фамилия, здесь — нарицательно. Палемон — легендарный родоначальник литовской шляхты; здесь вместо Филемон. Филемон и Бавкида — мифологические персонажи, классический образец любящих супругов. Лаура — вдохновительница поэзии знаменитого итальянского поэта Петрарки. «Станислав» и «Анна» — русские ордена («орден св. Станислава» и «орден св. Анны»). Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона.

Вы встретите зависть... читающую «Русский инвалид...» — В газете «Русский инвалид» печатались все приказы о назначениях, повышениях и наградах по армии.

...страдал, как шильонский узник — то есть как герой переведенной Жуковским поэмы Байрона «Шильонский узник».

ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

(Стр. 172)

Печатается по «Литературной газете», 1841, № 84 (от 29 июля), стр. 333—335; № 85 (от 31 июля), стр. 337—340; № 86 (от 2 августа), стр. 341—344; № 87 (от 5 августа), стр. 345—348, где было впервые опубликовано, с подзаголовком: «Соч. Н. Перепельского».

Сатерлот — французское восклицание типа «чорт возьми!»

НЕСЧАСТЛИВЕЦ В ЛЮБВИ, ИЛИ ЧУДНЫЕ ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ РУССКОГО ГРАЦИОЗО

(Стр. 205)

Печатается по «Пантеону русского и всех европейских театров», 1841, кн. 5, стр. 69—82, где было опубликовано впервые, без подписи. Авторство Некрасова устанавливается его письмом от 18 июля 1841 г. к Ф. А. Кони — редактору и издателю «Пантеона», поручившему Некрасову на время своего отсутствия редакционную работу по «Пантсону». Некрасов пишет: «Оригинал для пятой книжки мною подобран и приготовлен. Сверх того, в нем пойдет моя повесть, которая будет более печатного листа...» Единственная повесть в пятой книжке «Пантеона» — «Несчастливец в любви». Размер ее вполне соответствует указанному Некрасовым.

Грациозо — роль в испанском народном театре, соответствующая Арлекину французского и итальянского театров.

Панар Шарль-Франсуа (1694—1765) — французский водевиллист.

ОПЫТНАЯ ЖЕНЩИНА

(Стр. 228)

Печатается по «Отечественным запискам», 1841, кн. 10, стр. 311—345, где было опубликовано впервые, с подписью: «Н. Некрасов». 25 ноября 1841 г. Некрасов писал Ф. А. Кони: «Я послал Краевскому *Опыт. женщ.*, а денег за нее просить совещусь, потому что предварительно об этом не говорил... Не знаю, как он об этом думает».

Герой повести Зеницын несколько раз назван «Зеницкий». В настоящем издании эта небрежность исправлена.

...попался мне в руки *«Месяцеслов»*. — Месяцеслов — календарь.

...«с ученым видом знатока» — строка из «Евгения Опегина» (гл. I, строфа V).

...только что вышедшая в переводе драма Шекспира *«Ромео и Юлия»*. — «Ромео и Джульетта» Шекспира в переводе М. Н. Каткова под заглавием «Ромео и Юлия» была напечатана в «Паптеоне русского и всех европейских театров», 1841, кн. 1.

Казимод, то есть Квазимодо, — персонаж «Собора парижской богоматери» Виктора Гюго. Имя его стало нарицательным обозначением уроды.

Да ты настоящий Тальма! — Франсуа-Жозеф Тальма (1763—1826) — актер-трагик.

— *Смотри, помни разборчивую невесту* — то есть басню Крылова «Разборчивая невеста».

1 8 4 2

В САРДИНИИ

(Стр. 269)

Печатается по «Литературной газете», 1842, № 10 (от 8 марта), стр. 193—208, где было опубликовано впервые, с подзаголовком: «Повесть Н. А. Перепельского».

...*нечто повыше Чимборазо и Давалагири*. — Чимборасо — одна из высочайших вершин южноамериканских Кордильеров; Давалагири — одна из высочайших вершин Гималаев.

мои кантилены, мои сегидильи... — Кантилена — короткая эпическая песня; сегидилья — испанская песня быстрого темпа.

ПОМЕЩИК ДВАДЦАТИ ТРЕХ ДУШ

(Стр. 306)

Печатается по «Литературной газете», 1843, № 12 (от 21 марта), стр. 227—234, где было опубликовано впервые, с подзаголовком: «Соч. Н. Перепельского».

...не любил так Тассо свою Элеонору, не любил так Петрарка Лауру свою... — Элеонора — сестра феррарского герцога Альфонса II, покровительница итальянского поэта Торквато Тассо. О Петрарке и Лауре см. стр. 613.

...ради Брегета. — А. Л. Бреге — парижский часовщик XVIII в., основатель крупной часовой фирмы.

«Маяк» — ультрареакционный журнал 1840—1845 гг.

...баранью кость он грыз и весело визжал... — измененная цитата из «Мцыри» Лермонтова (строфа 16):

То был пустыни вечный гость,
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал.

Г-жа Супонева сказала, что я «жантиль»... — Gentil (франц.) — милый.

...забуду тот нелепый восторг, который заставлял меня бегать высуня язык, когда я увидел в «Сыне отечества» первое мое стихотворение, с примечанием, которым я был очень доволен. — Первое напечатанное произведение Некрасова — стихотворение «Мысль» — помещено в «Сыне отечества», 1838, т. 5, стр. 100, со следующим примечанием редактора (Н. А. Полевого): «Первый опыт юного, 16-ти-летнего поэта».

И вас, красотки молодые... и т. д. — неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа XLIII).

Светило дневное вошло превыше ели, но мы еще досель ни крошечки не ели. — К. И. Чуковский высказал предположение, что это пародия на каламбуры Ф. А. Кони и что первый стих — отголосок пушкинского:

Погасло дневное светило.

(Н. А. Некрасов, Полное собрание стихотворений, т. I, М. — Л. 1934, стр. 601—602).

Я даже не хвастаю дружбою с великими людьми, которых уже нет на свете и которые при жизни называли меня негодлем. — Вероятно, намек на Булгарина (см. стр. 611), постоянно старавшегося убедить читателей в своей близкой дружбе с Грибоедовым.

1 8 4 9

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

(Стр. 324)

Печатается по «Современнику», 1849, кн. 11, отдел «Смесь», стр. 56—60, где было опубликовано впервые, с подписью: «Н. Н.». Эта подпись в «Современнике» вместе с указанием, что рассказ написан со слов М. С. Щепкина, с которым Некрасов в то время был в приятельских отношениях, доказывают принадлежность рассказа Некрасову. Перепечатано в газете «Советское искусство», 1938, № 111, стр. 3, под редакционным заглавием «Давняя быль. Из рассказов Щепкина», со вступительной заметкой И. Я. Айзенштока, в которой устанавливается принадлежность рассказа Некрасову.

1 8 5 0

НОВОИЗОБРЕТЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КРАСКА БРАТЬЕВ ДИРЛИНГ И К^о

(Стр. 330)

Печатается по «Современнику», 1850, кн. 4, стр. 167—222, где было опубликовано впервые, с подписью: «Н. Некрасов». Перепечатано в «Собрании сочинений» Некрасова, т. III, М.—Л. 1930, стр. 100—153, и в книге: Н. А. Некрасов, Сочинения, Ред. К. Чуковского, Л. 1937, стр. 417—443. Основная сюжетная линия несомненно восходит к «Невскому проспекту» Гоголя.

На заре ты ее не буди... — популярный романс А. Варламова на слова Фета. 4-й стих цитирован неверно; у Фета:

Ярко пышет на ямках ланит.

... рассказы о Фрецолини, о Борси (Гризи и Марио тогда еще не было в Петербурге), о Фанни Эльслер... — Фрецолини, Борси, Гризи, Марио — итальянские певцы, Фанни Эльслер — венская танцовщица. Все они гастролировали в Петербурге в 40-х годах.

Он говор древесных листов понимал и чувствовал трав прозябанье — из стихотворения Баратынского «На смерть Гете».

Герой наш подписывался на «Библиотеку для чтения». — «Библиотека для чтения» — журнал того времени, безидейного, развлекательного характера, рассчитанный, в основном, на читателя с обывательскими вкусами.

...ведь дам ей не двести ассигнациями, а шестьдесят пять тысяч серебром. — О двойном счете, на серебро и на ассигнации см. стр. 612.

ФЕЛЬЕТОНЫ

(1844—1846)

1 8 4 4

ХРОНИКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ЖИТЕЛЯ

(Стр. 385)

Печатается по «Литературной газете», 1844, где появилось впервые под псевдонимом: «И. Пружинин». Принадлежность Некрасову доказывается употреблением того же псевдонима под шуточной повестью «Как опасно предаваться честолюбивым снам», написанной Некрасовым совместно с Достоевским и Григоровичем, появлением в продолжающих данный цикл «Записках Пружинина» детского стихотворения Некрасова «Любезна маменька, примите» и автоцитатой из «Говоруна». В фельетоны «Литературной газеты» 1844 г. постоянно включаются отрывки из «Говоруна». Вероятно, это делалось для того, чтобы возбудить интерес к «Говоруну», который Некрасов в то время имел в виду продолжать (последняя глава «Говоруна» напечатана в «Литературной газете», 1845, № 2). Доказательством принадлежности хроники Некрасову являются и указываемые ниже тематические совпадения с другими его произведениями.

Письмо петербургского жителя в провинцию к приятелю. Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 9 (от 2 марта), стр. 171—172, без подписи. Это как бы вступление к «Хронике петербургского жителя», в которой сказано (см. стр. 391), что она пишется автором «Письма петербургского жителя».

— «Четвертак, ваше превосходительство!» — Цугривенный! — «Маловато, ваше высокоблагородие!» — Восемь гривен! — «Так и быть, для вашего сиятельства!..» — Здесь двойной счет (см. стр. 612): 25 коп. серебром были равны $87\frac{1}{2}$ коп. ассигнациям, а 20 коп. сер. — 70 коп. асс.

Дюмон-Дюрвиль объездил весь свет и погиб на незначительном переезде из Парижа в Версаль. — Мореплаватель Ж.-С. Дюмон-Дюрвиль, руководитель нескольких кругосветных плаваний и полярных экспедиций, погиб в 1843 г. во время железнодорожной катастрофы близ Версаля. В России пользовалась популярностью его книга «*Voyage autour du monde*», перевод которой был издан в Москве в 1835—1837 гг. под заглавием «Всеобщее путешествие вокруг света» и в Петербурге в 1836—1837 гг. под заглавием «Путешествие вокруг света».

...выше помещена уже статья о концертах... — Непосредственно перед комментируемым «Письмом» в «Литературной газете» помещен обзор «Концерты».

«Юродивый мальчик». — «Юродивый мальчик в железном зеленом клубке», Соч. ассессора и кавалера А. Ф. Анаевского», Спб. 1844. Рецензия Некрасова на эту книгу, напечатанная в том же № 9 «Литературной газеты» 1844 г., помещена в т. IX наст. изд.

«Воскресные посиделки. Книжка для доброго народа русского». I—X пяток. Спб. 1844—1845. — Книжки издавались В. П. Бурнашевым. Рецензии Некрасова на них см. в т. IX наст. изд. Ср. в настоящем томе «Письмо ***ского помещика».

Маршал Султ, Кюнен-Гридел, Дюшатель — французские министры начала 40-х годов.

...самый торжественный визит ее был в Тюльерийский замок — резиденцию французского короля.

Petites misères de la vie humaine (Мелкие невзгоды человеческой жизни)—видимо, перефразировка заглавия книги Бальзака «Мелкие невзгоды супружеской жизни» (1839—1840), входящей в «Человеческую комедию».

«Статья первая». — Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 13 (от 6 апреля), стр. 235—238, без подписи.

К последним словам фельетона сделана следующая сноска:

«Нет нужды замечать, что это личное мнение г. Пружинина. Что собственно сами мы думаем о новом произведении г. Кукольника — читатели узнают из следующего № «Литературной газеты», где будет помещен об этой драме подробный отчет».

Тремя звездочками от фельетона отделено следующее заключение:

«Этим оканчивается присланная к нам «Хроника». Здесь так подробно описано все, что занимало в последнее время петербургскую публику, что мы с своей стороны не находим нужным ничего прибавить. На сцене нашей готовится еще несколько новостей, но об них поговорим в следующем номере... Говорят, гг. Ободовский

и Полевой написали по новому «драматическому представлению». По старому обычаю мы сберегли эту десертную новость к концу и ею закончим нынешний фельетон...»

Случилось ужасное происшествие... «Ужасным» и «трагическим», как неоднократно с иронией повторяет Некрасов, является то, что в постной селянке оказалась «скоромная» гусиная шейка,—и, таким образом, обедающие оскоромились в великий пост.

Когда проходили мимо Палкина... Когда проходили мимо Излера... Против Доминика... — Палкин, Излер, Доминик — петербургские рестораны.

Я с час пред умывальником... и т. д. — автоцитата из «Говоруна» (гл. II, 4 — см. т. I наст. изд., стр. 183—184). Стих 12 изменен: в «Говоруна» — «И в брюхо и в плечо».

Сульё особенно хорошо представлял по вечерам... — Ср. описание «конского ристалища» Сульё в «Говоруна» (гл. II, 8 — см. т. I наст. изд., стр. 185—186).

Давали новое сочинение Кукольника «Боярин Федор Васильевич Басенок». — Рецензия Некрасова на эту пьесу, напечатанная в следующем, четырнадцатом номере «Литературной газеты», помещена в т. IX наст. изд.

Ст а т ь я в т о р а я. — Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 14 (от 13 апреля), стр. 254—256, с подписью: «И. Пружинин».

Кинул газету, встал и говорит: «гр-я-эно»... На кой чорт, говорит, описывать дворников, водовозов... — Отклик па первые выступления реакционной критики против так называемой «натуральной школы», литературного направления 40-х гг., осветившего жизнь маленького человека с демократических позиций; обвинения шли по линии пристрастия писателей «натуральной школы» к «грязному» быту низших слоев общества. Некрасов — один из основных деятелей «натуральной школы».

Братцы, пять рублей, два целковых! — О двойном счете денег см. стр. 612.

Дают «Русский моряк», «Русская боярыня», «Дочь русского актера»... — «Русский моряк» — драма Н. Полевого, «Русская боярыня» — комедия П. Ободовского, «Дочь русского актера» — водевиль П. Григорьева.

Зато уж терпеть не могу, где целкопер какой-нибудь вдруг выведет, так, плута какого-нибудь, взяточника... — Ср. конец стихотворения Некрасова того же, 1844 года «Чиновник», начиная от слов: «Зато, когда являлася сатира...» (см. т. I наст. изд., стр. 198).

Рубини Дживани-Баттиста (1795—1854) — итальянский тенор. В 1844 г. гастролировал в Петербурге вместе с Тамбурини и Вязардо-Гарсиа.

...как запоет: «Приди в чертог ко мне златой...» — так и беги вон из комнаты... — Реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. II, строфа XII):

И запищит она (бог мой!):
«Приди в чертог ко мне златой!..»

Это начало популярной в пушкинское время арии из оперы Кауэра и Давыдова «Днепровская Русалка» (1803).

«Ненависть к людям и раскаяние» — драма Коцебу, шла в переводе А. Малиновского.

«Параши-Сибирячка» — драма Н. Полевого.

«С т а т ь я т р е т ь я». — Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 16 (от 27 апреля), стр. 287—290, без подписи.

«Так, кажется, на словах все бы славно изъяснил...» и т. д. — не вполне точная цитата из Гоголя («Отрывок», явл. 2-е, монолог Собачкина).

Я люблю Пушкина, а Бенедиктов для меня лучше. — В 30-е годы в обывательских кругах Пушкину часто противопоставляли поэта-романтика Бенедиктова. В отсталых слоях читателей Бенедиктов был популярен еще и в 40-е годы. Бенедиктов был постоянной мишенью Белинского в его борьбе за реализм против романтизма.

...стоит только в 15 № «Литературной газеты» взглянуть. Я там напечатал его. — См. «Письмо ***ского помещика о пользе чтения книг, о вредоносности бараньих бурдюков с кашей и о русской литературе», стр. 432 настоящего тома.

...он тут рассказывает про доктора Пуфа... и т. д. — Под псевдонимом доктора Пуфа вел кулинарный фельетон «Кухня» в «Записках для хозяев» при «Литературной газете» 1844—1845 гг. известный писатель 30—40-х годов кн. В. Ф. Одоевский (1803 — 1869). Некрасов постоянно вводит в свои фельетоны тему «благодетельный доктор Пуфа». Это вызывается стремлением привлечь к «Литературной газете» возможно более широкие круги читателей и в то же время дает возможность под видом похвал проводить мысль, характерную для Некрасова, издевавшегося над обжорами, не видящими в жизни иной цели, кроме вкусной еды.

С т а т ь я ч е т в е р т а я. — Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 18 (от 11 мая), стр. 318—320, с подписью: «И. Пружинин».

Статья пятая. — Впервые напечатано в «Литературной газете» 1844, № 19 (от 18 мая), стр. 338, с подписью: «И. П-жи-н».

В 90 и 91 № одной газеты некто господин Немчинов объявил, что чай содержит в себе чистую кровь. — Статья Андрея Немчинова «Нечто о чае» помещена в №№ 90 и 91 «Ведомостей С.-Петербургской городской полиции» за 1844 г. и перепечатана в «Литературной газете», 1844, №№ 29 и 30, отд. «Записки для хозяев». Почему «кровь в чае» вызывает такой испуг, — это в фельетоне не сказано прямо; дело в том, что наличие крови в чае делает его «скромным» напитком, который нельзя употреблять в постные дни.

Это было в среду... — Среда — постный день.

КРАПИВА

(Стр. 430)

Печатается по «Литературной газете», 1844, № 14 (от 13 апреля), отдел «Записки для хозяев», стр. 110, где появилось впервые, с подписью: «К. Пуп-ин». Принадлежность Некрасову доказывается тесной связью с помещенным в следующем номере фельетоном «Письмо *** помещика», направленным, как и комментируемый фельетон, против В. П. Бурнашева и его издания «Воскресные посиделки» (см. комментарий к «Письму***помещика»). В частности, последний абзац «Крапивы» анонсирует включенное в «Письмо ***ского помещика» стихотворение «Крапива, драгоценная трава» (см. стр. 441—442), написанное как пародия на стихи из «Воскресных посиделок» «Картофель! харч благословенный!» и излагающее в стихах тему заметки «Крапива»; особенно существенно совпадение иронической похвалы крапиве за то, что старыми, жесткими ветками ее можно сечь крепостных крестьян. Уже в «Крапиве» реализована идея, развернутая в «Письме ***ского помещика», — обличь нападение на Бурнашева в форму письма провинциального помещика («скромного пахаря»). Характерна для фельетонов Некрасова и открывающая заметку тема «благодетельный доктора Пуфа», и словесная игра его фамилией (пуф — ложное известие, нелепая выдумка, вздорное, дутое дело).

...для трансцендентальных наслаждений эселудка. — «Трансцендентальных» — правильно, вместо «трансцендентальных», то есть сверхольтных. Это понятие идеалистической философии в применении к кулинарии намекает на парадоксальное соединение в лице В. Ф. Одоевского поклонника идеалистической философии — и кулинара-любителя (доктора Пуфа—см. комментарий на стр. 620).

Экзорцизм — вступление.

ПИСЬМО ***СКОГО ПОМЕЩИКА О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ КНИГ,
О ВРЕДНОСТИ БАРАНЬИХ БУРДЮКОВ С КАШЕЙ
И О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Стр. 432)

Печатается по «Литературной газете», 1844, № 15 (от 20 апреля), стр. 267—270, где появилось впервые, с подписью: «Александр Бухалов».

Авторство Некрасова очевидно из тесной связи, с одной стороны, с циклом «Хроника петербургского жителя», с другой — с рецензиями Некрасова на «Воскресные посиделки» и на другие издания В. П. Бурнашева (с. т. IX).

«Письмо ***ского помещика» полемически направлено против письма-рецензии на 1-й выпуск «Воскресных посиделок» Бурнашева, напечатанного в журнале «Эконом» (1844, т. VII, тетр. 165, стр. 104—105) от имени помещика «Тихвинянина». Некрасов заподозрел, что под маской помещика скрывается сам Бурнашев, рекламирующий свое издание, и придал своему возражению также форму письма помещика.

В этом письме Некрасов высмеивает попытки «Тихвинянина» следующим образом защитить стихи, помещенные в «Посиделках»: «Согласен, — пишет Тихвинянин, — что все эти стихи... довольно топорной работы, но они приходится по вкусу тому роду читателей, для которых книжка предназначена, и, заключая в себе нравственные истины, довольно легко заучиваются». В доказательство приводится такой случай: «19-го числа в субботу я зашел осмотреть мой картофельный подвал... и услышал, как парень, приставленный, между прочим, к этому подвалу, распевал:

Картофель, харч благословенный,
Во время скудости для всех бесценный...» и т. д.

«Листок для светских людей» — журнал, издававшийся с 1839 по 1845 г. в Петербурге. Характеристика его дана Некрасовым в «Отчетах по поводу Нового года» (см. стр. 513—515 этого тома).

...*вот такой-то очень хороши, да только, братец, он не выходит.* — «Сын отечества» в 1844 г. выходил лишь с марта по июнь. См. об этом в «Отчетах по поводу Нового года».

Молодой еще человек — завирается... и т. д. — Здесь Некрасов пародирует нападки на Белинского, — в ту пору ведущего критика «Отечественных записок», — которого консерваторы обвиняли в «разрушении авторитетов».

«Эконом. Хозяйственная общепонятная библиотека» — ультра-

реакционный журнал, издававшийся с 1841 по 1853 г. в Петербурге, под редакцией Булгарина и Бурнашева.

Доктор Пуф — см. стр. 620.

...и няни тарелку полную скушают... — Няня — старинное русское блюдо.

«Сельское чтение» — сборник рассказов и статей для крестьянского чтения, изданный кн. В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким в 1843 г., вызвал сочувственные отзывы Белинского.

...получаю осьмой номер «Литературной»... только ткнулся: «Воскресные посиделки»... — Рецензия, о которой идет речь, написана Некрасовым (см. т. IX наст. изд.).

В «Отечественные» гляжу — там подробный разбор. — Рецензия «Отечественных записок» на первый пяток «Воскресных посиделок» (1844 г., № 4, отд. VI, стр. 88—94) написана Белинским (см. «Полн. собр. соч.», т. XII, М.—Л. 1926, стр. 430—438). Белинский рецензировал и все дальнейшие выпуски «Воскресных посиделок» (см. в том же томе).

...не щепетильные франты, которые идеализируют везде и для русского простолюдья хотят жанполиться, как в каких-нибудь своих нелепых, впрочем разноцветных сказках. — Этот выпад «Тихвинянина» явно направлен против издателя «Сельского чтения» кн. В. Ф. Одоевского; «разноцветные сказки» — намек на его книгу «Пестрые сказки с красивым словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою» (1833). «Жанполиться» — от «Жан-Поль» (псевдоним романтического писателя Иоганна Пауля Рихтера).

...не употребляй, — говорят, — мужицких слов, выражайся по-барски, не подлаживайся под мужицкую речь. — Вопрос о языке книг для народного (крестьянского) чтения стоял в центре высказываний Бурнашева и поддерживавшей его «Северной пчелы» об изданиях Одоевского и Заблоцкого. «Простой человек, — писал Бурнашев в своей рецензии на «Сельское чтение», — не без неудовольствия прочтет эти превосходные статьи, замечая или смекая, что сочинитель барин или даже князь всячески старается подделаться под их способ выражений, под их оборот речи, под тон, имп принятый» («Эконом», 1844, т. VII, тетрадь 167, стр. 127).

О том же писала «Северная пчела» (1844, № 39 от 14 февраля, стр. 154; № 96 от 29 апреля, стр. 383; ср. также две рецензии «Тихвинянина» в «Экономе», 1844, т. VII, тетрадь 165, стр. 104—105, и тетрадь 170, стр. 162—163).

Под статьями все подписаны имена Трифон, да Пахом, да Феклист староста. — Как было впоследствии выяснено самим Некрасовым,

совым и Белинским, эти фиктивные имена не были псевдонимами «хороших хозяев», как объявляла «Северная пчела», а маскировали сплошную перепечатку статей — главным образом из сборника «Деревенское зеркало» 1798—1799 гг. (см. т. IX).

Крапива! драгоценная трава... и т. д. — Пародии на стихи «Картофель! харч благословенный» были даны Некрасовым еще дважды («Устрицы! харч благословенный» и «Артишоки, вот харч благословенный» — см. стр. 447 и 494 этого тома).

В руках деслтского <ты хлещешь мужика>. — В журнальном тексте три последние слова, заключенные нами в редакторские скобки, заменены точками. Они восстановлены К. Чуковским «по указанию В. Богучарского, у которого была копия этого текста» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. стих., т. I, М.—Л. 1934, стр. 605). Проницательная аналогия телесных наказаний, сопоставленная с пародируемыми стихами о картофеле, могла напоминать о недавних репрессиях по поводу «картофельного бунта» государственных крестьян в Пермской губернии в 1842 г. (ср. еще в рецензии Некрасова на первый пяток «Воскресных посиделок» в т. IX).

Получил я 170 тетрадь «Эконома»: там опять хвалят «Посиделки». — В «Экономе», тетрадь 170, стр. 162—163, помещена рецензия на «второй пяток» «Воскресных посиделок» за той же подписью «Тихвинянин».

Что же касается до разрешения вопроса о второй книжке «Посиделок», то разбор этой книжки будет помещен в следующем № «Лит. газеты». — Рецензия Некрасова на «второй пяток» «Воскресных посиделок» помещена в «Литературной газете» 1844 г., № 18 (см. т. IX наст. изд.).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДАЧИ И ОКРЕСТНОСТИ

(Стр. 444)

Печатается по «Литературной газете» 1844 г., где помещалось в отделе «Петербургская хроника». Возможно, что весь этот отдел составлен Некрасовым, но доказательств такого предположения мы не имеем и выделяем лишь цикл, объединенный в годовом оглавлении газеты под заглавием «Петербургские дачи и окрестности». В связи с этим 1-й и 5-й фельетоны перепечатаны нами не полностью, но лишь в той части, в которой они относятся к этому циклу. Принадлежность цикла Некрасову доказывается включением в первый фельетон отрывка, продолжающего «Хроника петербургского жителя» И. Пружинина, полемикой в последнем

фельетоне по поводу «Хроники» Пружинина, автоцитатой из «Говоруна» (ср. стр. 617), пародией на Бурнашева («Устрицы! харч благословенный!»), аналогичной другим пародиям Некрасова («Артишоки, вот харч благословенный», «Крапива! драгоценная трава!» Ср. примеч. к «Письму ***ского помещика» и «О лекциях доктора Пуфа»), преимущественным описанием дачных мест в районе жительства Некрасова («Я живу там, куда ходит спасский дилижанс, в самой деревне, близ Мурипской заставы» — письмо В. Р. Зотову от 19 июля 1844 г.), наконец, тематическими совпадениями с позднейшими произведениями Некрасова и характерными для него вставками стихотворных текстов.

⟨1.⟩ Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 17 (от 4 мая), стр. 303—305, без подписи.

...*хвалебный гимн на манер знаменитого защитительного стихотворения «Картошка, харч благословенный!»* — См. примеч. к фельетонам «Крапива» и «Письмо ***ского помещика».

Как все, страстей игралице... — автоцитата из «Говоруна» (гл. II, 8; см. т. I наст. изд., стр. 185—186).

Оговорка. Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 18 (от 11 мая), стр. 320.

... *в неофициальной части одной газеты...* — Имеется в виду фельетон «Петербургская хроника» в «Русском инвалиде», 1844, № 96 (30 апреля).

⟨2.⟩ П е т е р б у р г и п е т е р б у р г с к и е д а ч и. Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 23 (от 15 июля), стр. 399—401, с подписью: «Ваш покорнейший слуга Иван Бородавкин». Перепечатано в книге: Н. А. Некрасов, Сочинения, ред. К. Чуковского, Л. 1937, стр. 459—462.

...*Он видел... жизнь как она есть...* — «Вот, господа, жизнь как она есть!» — намек на романы Л. В. Бранта «Жизнь как она есть» (см. стр. 632).

... *дружисься за «алагером»...* — Алагер — род бильярдной игры.

...*вокзал, говорят, отличнейшим манером отдалали...* — О восстановлении Павловского вокзала после пожара см. стр. 627.

Не б<у>лгаринский комар. — Конъектура сделана К. И. Чуковским. «В «Литературной газете», — пишет К. И. Чуковский, — слово «булгаринский» заменено рядом точек, и я поставил это слово по догадке, правильность которой подтвердили А. Ф. Кони и П. А. Картавов» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. стих., т. I, М.—Л. 1934, стр. 606). «Булгаринский комар» — намек на издание Фаддея Булгарина «Комары. Всякая всячина. Рой 1-й». Спб. 1842.

И в «Пчелку» с довольною миной уставит глаза... — «Пчелка», т. е. «Северная пчела», — реакционная официозная газета, издававшаяся Булгариным и Гречем.

⟨3.⟩ Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 27 (от 13 июля), стр. 467—468, без подписи.

Бывали и настоящие бури: в одну из них... повредило Троицкий мост и потопило один из плашкоутов. — В то время все мосты через Неву были еще пловучими, сооруженными на плашкоутах.

...лошади, истощив последние силы, вдруг останавливались... — Ср. позднейшую сцену в «О погоде» Некрасова (ч. 1, гл. II, 3— см. т. II наст. изд., стр. 65—66), сходную даже в деталях.

Картина умиленная, достойная кисти Гогарта! — Вильям Гогарт (1697—1764) — английский художник, известный сатирическими изображениями английского быта XVIII века.

...Санктпетербург очень остроумно переименован был в С.-Петроград... — Слово «Петроград» употреблялось в то время лишь как поэтическое название Петербурга («Медный всадник» Пушкина и др.); употребление этого названия в объявлении с буквой «С.» (то есть «Санкт-Петроград») было, конечно, нелепым.

...скромного чиновника... живущего двутысячным жалованьем... — Жалованье обычно сбозначалось в годовом окладе.

⟨4.⟩ Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 28 (от 20 июля), стр. 481—482, без подписи.

...можете даже, если вы имеете вкус, подобный вкусу Ивана Никифоровича, приказать поставить перед собой стол с самоваром и наслаждаться в такой прохладе употреблением чая. — «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться, и когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе» (Н. В. Г о г о л ь, Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, гл. 1).

Есть упоение в бою... — цитата из «Пира во время чумы» Пушкина.

С Павловским вокзалом... и т. д. — Царскосельская железная дорога, соединившая Петербург с Павловском, была первой в России. Поэтому, когда она открылась в 1838 г., петербургские жители охотно ездили в Павловск в «карогах» (то есть вагонах) железной дороги, из одной «страсти прокатиться по железной дороге» (как говорит Некрасов). В выстроенном архитектором А. И. Штакеншнейдером Павловском вокзале имелся большой концертный зал, в котором играл постоянный оркестр; в период 1838—1844 гг. им управлял дирижер Герман. В январе 1843 г. зда-

ние вокзала почти целиком сгорело, но к маю того же года было возобновлено А. И. Штакеншнейдером.

... другою новостью, касающейся также железной дороги — петербурго-московской. — Железная дорога, соединившая Петербург с Москвой, строилась с 1843 по 1851 г.

⟨Б.⟩ Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 30 (от 3 августа), стр. 515—516, без подписи.

⟨Б.⟩ Впервые напечатано в «Литературной газете», 1844, № 33 (от 24 августа), стр. 563—564, без подписи.

В теплый край, за сине море... — цитата из «Цыган» Пушкина.

... можете вы по целым часам застаиваться перед «Последним днем Помпеи» Брюллова. — Знаменитая картина К. П. Брюллова, написанная в 1830—1833 гг., помещалась в 40-е годы в Академии художеств, которой она принадлежала, и была открыта для обозрения.

... благодаря предприимчивости г. Гойе-Дефонтена... — Имеется в виду альбом «Императорская Эрмитажная галлерей, литографированная французскими артистами гг. Дюпрессоаром, Э. Робильяром, И. Робильяром, Гюю и проч.», т. I, Спб., Гойе-Дефонтен и Поль Петти, 1845.

Рубини, Тамбурины, Виардо-Гарсия — певцы и певица, гастролировавшие с большим успехом в Петербурге в 1843 и 1844 гг.

... арии из «Лучии», «Соннамбулы» и «Пирата». «Лючия» (1835) — опера Доницетти, «Соннамбула» (1831) и «Пират» (1827) — оперы Беллини.

В скором времени, как слышно, прибудет сюда известный любимый московский комик г. Щепкин. — М. С. Щепкин с огромным успехом гастролировал в Петербурге осенью 1844 г. и в частности играл в упоминаемых Некрасовым пьесах Гоголя «Женитьба» и «Игроки».

«Наследство» — драма, переделанная Д. В. Григоровичем из французской драмы Фредерика Сулье «Эйлали Понтуа». Рецензию Некрасова на «Наследство» см. в т. IX наст. изд.

«Эспаньолетто» — драма Л. Ралянча.

«Ода премудрой царевне киргиз-кайсацкой Фелице» — исторические сцены Н. А. Полевого (1839).

«Елена Глинская» — драма Н. А. Полевого (1842).

«Павел и Виргиния» — драма Н. А. Полевого, по роману Бернарде де Сен-Пьера (1844).

«Тарантас. Путевые впечатления» В. А. Соллогуба, изд. в 1845 г. Ср. рецензию Некрасова (в т. IX наст. изд.).

... в фельетоне, подписанном г. Межевичем... — Фельетон под заглавием «Журнальная всякая всячина».

В № 19 «Литературной газеты» (на стр. 338)... — см. стр. 428—429 настоящего тома.

...статьи, напечатанной в №№ 29-м и 30-м «Литературной газеты» — т. е. статьи А. Немчинова «Нечто о чае» (ср. стр. 621).

«Литературная газета» ставит г. Бенедиктова выше Пушкина — ср. стр. 415 и 620.

ЧЕРТЫ ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕТЕРБУРГСКОГО НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

(Стр. 474)

Печатается по «Литературной газете», 1844, № 31 (от 10 августа), стр. 531—532 и № 32 (от 17 августа), стр. 545—547, где появилось впервые, без подписи. Принадлежность очерка Некрасову доказывается автоцитатой из «Говоруна» (ср. комментариев к «Хронике петербургского жителя» и «Петербуржским дачам и окрестностям») и тематическими совпадениями с его позднейшими произведениями. Весьма вероятно, что очерк написал как общее вступление к сборнику «Физиология Петербурга», который Некрасов в то время подготавливал к печати (цензурное разрешение 1-й части 2 ноября 1844 г.).

Можно думать, что такой вступительный очерк, предвосхищавший изображение отдельных слоев петербургского населения и притом чересчур обильно использовавший старую книгу Башуцкого «Папорама Петербурга», изданную в 1834—1835 гг., цитаты из которой проходят через весь фельетон, — был признан излишним для «Физиологии Петербурга» и поэтому был напечатан в «Литературной газете».

В конце фельетона упоминается о трех типах, заслуживающих, по мнению автора, специальной разработки: петербургский ростовщик, петербургский сочинитель, петербургский книгопродавец. Над первой темой Некрасов работал в то время, когда комментируемый фельетон явился в печати; в № 34 «Литературной газеты» (от 31 августа) он напечатал куплеты из водевиля «Ростовщик» или «Петербуржский ростовщик»; 7 декабря 1844 г. водевиль был разрешен к постановке (см. комментарий к фельетону «Нечто о дупелях» в этом томе и к водевилю в т. IV). Тему «петербургский сочинитель» Некрасов разработал в «Похождениях русского Жиль-Блаза» (см. т. VI), одна из глав которых, «Необыкновенный завтрак», описывающая петербургских литераторов, была напечатана в

«Отечественных записках» 1843 г., № 11. Тема «петербургский книгопродавец» разработана через несколько лет в романе «Три страны света» (т. VII).

...г. Каратыгин написал очень верный и забавный очерк этого любопытного типа. — Имеется в виду водевиль П. А. Каратыгина «Булочная, или петербургский немец» (1843).

...от жены до гезеля и от гезеля до кухарки. — Гезель (Geselle) — подмастерье.

...Ранехонько пробудишься, зевнешь... и т. д. — автоцитата из «Говоруна», гл. II, 3 (см. т. I наст. изд., стр. 182).

...приходит иной русский мужичок, в лаптях, с котомкою за плечью, заключающею в себе несколько рубаш да три медные гривны... в «Питер» попытать счастья... И — глядишь — через двадцать — тридцать лет... ворочает миллионами... — Эта тема разработана в стихотворении Некрасова «Секрет» (см. т. I наст. изд., стр. 152—154). «Секрет» датируется 1855 г., однако те строфы, из которых взяты упомянутые стихи, появились в печати в 1851 г. Возможно, что они написаны еще в 1846 г., так как именно эту дату поставил под «Секретом» сам Некрасов.

...Любовь к красивой и дорогой мебели, к эластическим диванам и креслам... в петербургских эстителях нередко доходит даже до слабости. Отказывают себе в лишнем кушанье на столе, в удовольствии посмотреть бенедикс Каратыгина... только бы заместить пустой простенок красным столом... — Ср. в «Недавнем времени» (см. т. II наст. изд., стр. 335) В. А. Каратыгин (1802—1853) — знаменитый трагический актер.

НЕЧТО О ДУПЕЛЯХ, О ДОКТОРЕ ПУФЕ И О ПСОВОЙ ОХОТЕ

(Стр. 487)

Печатается по «Литературной газете», 1844, № 34 (от 31 августа), стр. 577—579, где появилось впервые, без подписи. Перепечатано в книге: Н. А. Некрасов, Сочинения, ред. К. Чуковского, Л. 1937, стр. 462—465.

Принадлежность Некрасову доказывается вводом куплетов из его водевиля «Ростовщик», появившегося на сцене значительно позднее (1 июня 1845 г.). Стихи 3—4 и два последних стиха этих куплетов («Я люблю простор и барство») печатаются по «Полн. собр. стих. Н. А. Некрасова», т. I, М. — Л. 1934, стр. 439—440, где стихотворение напечатано «по вновь найденной копии с собственно-

ручными поправками поэта». В «Литературной газете» на месте этих стихов — строки точек, несомненно цензурного происхождения.

К. И. Чуковский указывает, что в фельетоне «намечены основные черты позднейшей сатиры Некрасова «Псовая охота» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. стих., т. I, М.—Л. 1934, стр. 608—609). Отметим одинаковость собачьих кличек в куплетах и в «Псовой охоте» (Змейка и Сокол), сходство в объяснении охотничьего термина «вар» (стр. 489, 490 и 491 настоящего тома и т. I, стр. 40).

В ответ на фельетон Некрасова доктор Пуф (В. Ф. Одоевский) поместил в отделе «Кухня» «Записок для хозяев» (приложение к «Литературной газете» № 35) лекцию «О бекасах вообще и о дупельшнепах в особенности».

Эпиграф — из «Евгения Онегина», гл. IV, строфа XXXVI, стихи 5, 7, 8, 9, 13.

Устрицы — устрицы.

О ЛЕКЦИЯХ ДОКТОРА ПУФА ВООБЩЕ И ОБ АРТИШОКАХ В ОСОБЕННОСТИ

(Стр. 493)

Печатается по «Литературной газете», 1844, № 38 (от 28 сентября), стр. 646, где появилось впервые, с подписью: «Афанасий Похоменко». В ответ на фельетон доктор Пуф (В. Ф. Одоевский) посвятил специальную лекцию артишокам (Кухня, Лекция XXXIX, «Записки для хозяев», № 39). Принадлежность фельетона Некрасову доказывается включением пародии на Бурнашева «Артишоки, вот харч благословенный», аналогичной другим его пародиям («Устрицы! харч благословенный!», «Крапива! драгоценная трава!» — ср. примеч. к «Письму ***ского помещика» и к «Петербургским дачам и окрестностям»), полемикой против книжек Бурнашева, аналогией с предыдущим фельетоном, которым Некрасов так же «вводил» лекцию доктора Пуфа о дупелях, как здесь он вводит лекцию об артишоках (название комментируемого фельетона перефразирует название лекции доктора Пуфа «О бекасах вообще и о дупельшнепах в особенности»), постоянной темой «благословенный доктор Пуфа», формой письма простодушного провинциального помещика, которою Некрасов постоянно пользуется в фельетонах, имеющих отношение к доктору Пуфу и к Бурнашеву.

...если бы Попе жила в наше время, то он не написал бы ни за что своей поэмы о человеке.— Имеется в виду дидактическая поэма английского поэта А. Попа «Опыт о человеке» (1733).

Ф. Кузмичев — бездарный и безграмотный автор лубочных книжек 30-х годов.

ПРЕФЕРАНС И СОЛНЦЕ

(Стр. 496)

Печатается по «Литературной газете», 1844, № 47 (от 30 ноября), стр. 807—808, где появилось впервые, без подписи.

Перепечатано в книге: Н. А. Некрасов, Сочинения, ред. К. Чуковского, Л. 1937, стр. 465—468. Принадлежность Некрасову доказывается включением стихотворения «И скучно, и грустно, и некому руку подать» (пародия на лермонтовское «И скучно, и грустно, и некому руку подать»), перепечатанного затем Некрасовым в сборнике «1-е апреля» с заменой 10-го стиха (см. т. I част. изд., стр. 377).

В оный таинственный свет... — часть стиха («Стремление в оный таинственный свет») из «Двенадцати спящих дев» Жуковского.

... и комедию сочинили.— Имеется в виду «комедия-водевиль» П. И. Григорьева «Герои преферанса, или Душа общества».

Грешник великий... и т. д. — После стиха 6 исключены, вероятно, два стиха, так как стихи 5-й и 6-й не имеют рифмы.

1 8 4 5

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА

(Стр. 503)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 1 (от 4 января), стр. 10—12, где появилось впервые (в отделе «Дагерротип»), с подписью: Ник.-Нек. Перепечатано в книге: Н. А. Некрасов, Сочинения, ред. К. Чуковского, Л. 1937, стр. 468—472. Принадлежность очерка Некрасову доказывается подписью, представляющей начало его имени и фамилии, а также частичным совпадением введенных в очерк куплетов («Ужели должен я страдать?») с

куплетами из написанных Некрасовым в 1843 г. и ненапечатанных при жизни «Похождений русского Жиль-Блаза»: «Беда! Последняя беда!», где последние строфы почти совпадают; в «Похождениях русского Жиль-Блаза»:

Я угождать старался ей,
Утех я доставлял ей много
И даже пред свиданьем с ней
Читал романы Поль-де-Кока!

(См. по настоящему изд. т. VI.)

Весьма возможно, что очерк был заготовлен для 2-й части сборника «Физиология Петербурга» (цензурное разрешение 2 января 1845 г.), но не напечатан в нем, так как на ту же тему написал статью Белинский («Александринский театр» — «Физиология Петербурга», ч. II, Спб. 1845, стр. 5—80).

... он представлял виновницею такого подвига простую русскую бабу... — По указанию К. И. Чуковского (Н. А. Некрасов, Сочинения, Л. 1937, стр. 596), имеется в виду пьеса Н. А. Полевого «Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами. Сибирская сказка, в двух действиях, с пением и танцами».

ОТЧЕТЫ ПО ПОВОДУ НОВОГО ГОДА

(Стр. 510)

Печатается по «Литературной газете», 1845 (в отделе «Дагер-протип»), где появилось впервые в № 2 (от 11 января 1845 г.), стр. 30—31, с подписью: Ник.-Нек., № 3 (от 18 января 1845 г.), стр. 49—51, и № 4 (от 25 января 1845 г.), стр. 72—73, без подписи. Принадлежность Некрасову доказывается подписью и включением стихотворения: «Стишки! стишки! давно ль и я был гений», перепечатанного Некрасовым в несколько измененном виде в издании своих стихотворений 1864 г. (см. по настоящему изд., т. I, стр. 200).

Эпиграфы взяты из поэтов-романтиков В. Г. Бенедиктова и А. В. Тимофеева, популярных в отсталых слоях тогдашних читателей, и из третьестепенных поэтов Н. Молчанова и Старожила, сборники стихов которых Некрасов рецензировал (см. т. IX).

«Иванушка-дурачок» — «Старинная сказка об Иванушке-дурачке, рассказанная московским купчиной Николаем Полевым», Спб. 1844.

«Год за границею» — «Год в чужих краях (1839), дорожный дневник» М. П. Погодина, 4 части, М. 1844. О нем см. стр. 643.

«Жизнь как она есть. Записки неизвестного», 3 ч., Спб. 1843. — Пасквильный роман сотрудника реакционной болгаринской «Север-

ной пчелы» Л. В. Бранта, в котором выведены Белинский, Панаев и др.

«История Наполеона»—Н. А. Полевого, 5 томов, Спб. 1844—1848.

«Опыт библиографического обозрения, или Очерк последнего полугодия русской литературы, с октября 1841 по апрель 1842»—Л. В. Бранта, Спб. 1842.

Б. М. Федоров в прошлом году написал литературную биографию С. Н. Глинки.—Б. М. Ф е д о р о в, Пятидесятилетие литературной жизни С. Н. Глинки, Спб. 1844.

...нам приятнее было бы известить, что он кончил «Историю русского народа».—«История русского народа» Н. А. Полевого оборвалась на шестом томе, вышедшем в 1833 г.

...потребовалось второе издание.—Имеется, повидимому, в виду выпуск вторым изданием 32-го тома «Отечественных записок».

...он имел несчастье поверить французской газете, начавшей печатать роман Сю «Вечный жид», и стал переводить этот роман, в полной уверенности достигнуть в конце концов благополучного окончания...—«Вечный жид» Сю печатался в виде отдельного приложения в «Библиотеке для чтения» 1844 г., начиная с 7-й книги. Незаконченный в 1844, он продолжал печататься и в 1845 году.

...двадцать четыре недоданные тетради против сорока, которые следовало выдать, — право, не вздор!—«Сын отечества» в 1844 г. выходил лишь с марта по июнь, после июня прекратился и стал вновь выходить уже в 1847 г., попрежнему под редакцией К. П. Масальского.

Выходил также в прошлом году «Листок для светских людей».—«Листок для светских людей» выходил в Петербурге с 1839 по 1845 г. См. его характеристику, данную Некрасовым, на стр. 513—515 наст. тома.

...прочтите небольшую статью г-на Е. А. «Улыбка».—«Листок для светских людей», 1844, № 40.

«А если модная картинка...» и т. д. — Из заметки «Моды» в «Листке для светских людей», 1844, № 43.

Хороша, например, загадка, помещенная в 42-м № ...—Имеется в виду ребус «Я в цепях, ты в покое».

...но ведь и Old Nick, и виконт Целонэ, наконец сам Жорж Занд — псевдонимы.—Old Nick — псевдоним Э. Д. Форга, французского переводчика английских романов; Виконт Ш. Делонэ — псевдоним, под которым писала фельетоны «Парижские письма» в газете «La Presse» французская поэтесса и романистка Дельфина Гэ; Жорж Занд — псевдоним знаменитой французской романистки Авроры Дюдеван.

...мы все «подражаем понемногу чему-нибудь и как-нибудь»... — перифраз пушкинских стихов: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» («Евгений Онегин», гл. I, строфа V).

...посещал... Излера. — И. И. Излер — хозяин загородного сада под Петербургом, где по праздникам устраивались большие гулянья.

Стишки! стишки! давно ль и я был гений?.. — Стихотворение в измененном виде перепечатано Некрасовым в изд. 1864 г. (см. по наст. изд. т. I, стр. 200). В последнем стихе, возможно, случайный пропуск; быть может, следует, как в позднейшем тексте, читать «Отцов и дедов наших проводил!»

У-у-на фор-тима лаг-рима, уу-на... (итал.) — одна, сильнейшая слеза.

...не замедлит заиграть финал «Пирата»... — «Пират» — опера Беллини (1827).

Ну, Карлуша, не робей — куплеты Карлуши из популярного водевиля П. А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» (1843).

...представление какой-нибудь новой оперы, как «Руслан и Людмила»... — Первое представление оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» состоялось 27 ноября 1842 г.

Онаер — франт средней руки, тянущийся за светскими «львами». Название взято из повести И. И. Панаева «Онагр» (1841).

...оглашается звонкими мотивами «Соннамбулы», «Лучи», «Любовного напитка», «Нормы» и «Дона-Жуана» — оперы Моцарта («Дон-Жуан»), Беллини («Соннамбула», «Норма»), Доппиетти («Лючия», «Любовный напиток»).

...знаменитый московский артист Щепкин... — О гастрольях Щепкина в Петербурге см. стр. 627.

Пускались они также раз или два в Петербурге посмотреть «конское ристалище» знаменитого турецкого шталмейстера Сулье. — О Сулье см. стр. 619.

Все способствовало к быстрому развитию польки в Петербурге... и т. д. — Об увлечении полькой в Петербурге в это время см. в стихотворном фельетоне Некрасова «Новости» (т. I наст. изд., стр. 205—206).

Chaumière — здание в Париже, в котором происходили публичные балы.

На балах так называемых «Мюзар» — публичные балы, называвшиеся по имени Мюзара, популярного в Париже дирижера и автора тапцовальной музыки.

...он поспешил выписать из Парижа водевиль, написанный по случаю польки и имевший там огромный успех. — В сезон 1844—1845 гг. на французской сцене в Петербурге шел восемь раз водевиль «Три польки» и четыре раза водевиль «Полька в провинции».

Александринский театр, дагерротип французского, поспешил представить на суд публики свою польку. — Имеется в виду водевиль П. Григорьева I «Полька в Петербурге», шедший в Александринском театре в 1844 г.

Когда выйдет эта книга, мы поспешим отдать об ней отчет... — См. рецензию Некрасова на книгу Перро и Робера «Полька в Париже и в Петербурге» в томе IX наст. изд.

ЗАПИСКИ ПРУЖИНИНА

(Стр. 527)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 5 (от 1 февраля), стр. 94—97 (в отделе «Дагерротип»), где появилось впервые, с подписью: «И. Пружинин». Авторство Некрасова доказывается этой подписью и несомненной связью с «Хроникой петербургского жителя». Включенные в фельетон стихи «Любезна маменька, примите» являются переделкой детского стихотворения Некрасова (ср. т. I наст. изд., стр. 403).

Прекрасное погибло в полном цвете: Таков удел прекрасного на свете! — цитата из элегии Жуковского «На копчину же величества королевы виртембергской» (у Жуковского: «в пышном цвете»).

...«единственно от неосторожности просителей» — цитата из 4-й главы «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Таких две эсианы за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог! — цитата из «Мцыри» Лермонтова, гл. 3, ст. 10—12.

Абдул Авдееч сидит на конце стола. — Под именем Абдула Авдеевича Задарина в водевиле Ф. А. Копи «Петербургские квартиры» (1840) весьма прозрачно выведен Фаддей Булгарин. Задарин упоминается как продажный клеветник и в водевильных сценах Некрасова «Утро в редакции» (1841; см т. IV наст. изд.).

Альбони! Рубини! Виардо! Упануе! Ниссен! Кастеллан! Тамбурини! Роверел! — певцы и певицы итальянской оперы, гастролировавшей в Петербурге в 1844 г.

ПИСЬМО К ДОКТОРУ ПУФУ

(Стр. 538)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 6 (от 8 февраля), отдел «Записки для хозяев», стр. 45—47, где появилось впервые, с подписью: «Такой-то».

Фельетон входит в цикл произведений Некрасова, связанных с темой «доктора Пуфа», и весьма характерен для этого цикла: он написан от лица простодушного провинциала-помещика, описывает «благодения», оказываемые доктором Пуфом обжорам-помещикам («Нечто о дупелях» и «О лекциях доктора Пуфа»), каламбурно обыгрывает имя Пуфа («Ты Пуф, по ты не пуф нахальный» — ср. комментарий к фельетону «Крапива»), написан частью стихами в характерной некрасовской манере стихового фельетона. Отметим употребление (на стр. 541) характерной для комических стихов Некрасова рифмы: «губернии» — «тернии» (ср. т. I наст. изд., стр. 175, 198, 210, 292, 408). Авторство Некрасова подтверждает также очевидная цель фельетона: рекламировать издаваемый им сборник «Физиология Петербурга», который вскоре должен был выйти в свет (цензурные разрешения 1-й части — 2 ноября 1844 г. и 11 февраля 1845 г., 2-й части — 2 января 1845 г.) и привлечь к участию в предполагавшемся продолжении этого издания В. Ф. Одоевского, от которого желательно было получить статью на тему: как едят в Петербурге.

Непосредственно вслед за «Письмом к доктору Пуфу» в «Литературной газете» напечатан «Ответ доктора Пуфа г. Такому-то».

И как на Пушкина Фиглярин... — Фиглярин — обычная в эпиграммах замена фамилии Булгарина.

Музык судьбу благословил. — Цитата неточна. В «Евгении Онегине» (гл. II, строфа IV, стр. 8):

И раб судьбу благословил.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА

(Стр. 542)

Впервые напечатаны: письма 1 и 2 — в «Литературной газете», 1845, № 1 (от 4 января), стр. 12—13 (в отделе «Дагерротип»); письмо 3 — в «Литературной газете», 1845, № 8 (от 1 марта), стр. 147 (в том же отделе); письма 4—10 — в изданном Некрасовым альманахе «Первое апреля. Комический иллюстрированный альманах,

составленный из рассказов в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий, анекдотов и пуфов», Спб. 1846, стр. 131—140. Все публикации без подписи. Принадлежность Некрасову доказывается тесной связью 3-го письма («Письмо от купца к купцу») со сценой «За стеной» и отрывком «Повесть о Суркове» (из повести Некрасова «Тонкий человек», см. т. VI наст. изд.). В сцене «За стеной» почти весь текст письма провозносится «гостем», прерываясь лишь короткими репликами «хозяина»; в «Повести о Суркове», которая обрывается на словах, текстуально совпадающих с началом письма, — последнее, возможно, должно было фигурировать как документ; на это как будто указывают слова в начале отрывка: «... я старался присматриваться к мельчайшим подробностям и даже приобрел покушкою драгоценный документ, за который — я уверен — не один из наших правоописателей дал бы мне порядочную сумму».

Нарочитые орфографические ошибки в «Достопримечательных письмах» сохранены, кроме тех, которые связаны с неправильным употреблением букв старой орфографии.

Письмо г. Манилова к даме приятной во всех отношениях. — Манилов и «дама приятная во всех отношениях» — персонажи «Мертвых душ» Гоголя.

1 8 4 6

ПУШКИН И ЯЩЕРИЦЫ

(Стр. 550)

Печатается по альманаху «Первое апреля», Спб. 1846, стр. 20—21, где появилось впервые, без подписи. Перепечатано в рецензии Белинского на «Первое апреля» в «Отечественных записках», 1846, № 3, «Библиографическая хроника», стр. 87—88. Принадлежность заметки Некрасову и направленность ее против славянофильствующего реакционера Шевырева доказывается письмом Ф. М. Достоевского к М. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г. Сообщая о готовящемся альманахе «Зубоскал» (впоследствии запрещенном цензурой), Достоевский пишет: «Главными его редакторами будем я, Григорович и Некрасов. ... Статьи для 1-го номера будут Некрасова: *о некоторых* (разумеется, недавних случившихся) *Петербуржских* подлостях. 2) Будущий роман *Евг. Сю: Семь смертных грехов* (на 3-х страничках весь роман). Обзорные всех журналов. Лекция *Шевырева* о том, как гармоничен стих Пушкина, до того, что когда он был в *Колизее* и прочел двум дамам с ним бывшим несколько стансов *Пушкина*, то все лягушки и яще-

рицы, бывшие в Колизее, сползлись его слушать. (Шевырев читал это в Московск. университете.) (Ф. М. Достоевский, Письма, т. I. М.—Л. 1928, стр. 81).

ПОЩЕЧИНА

(Стр. 552)

Печатается по альманаху «Первое апреля», Спб. 1846, стр. 34—37, где появилось впервые, без подписи. Авторство Некрасова доказывается включением куплетов «Пощечина людей позорит». Эти куплеты были написаны Некрасовым в 1844 г. для водевиля «Петербургский ростовщик», но на сцене не исполнялись, так как были исключены директором императорских театров Геденовым (см. т. IV наст. изд.). Некрасов извлек их из водевиля и поместил в «Первом апреля», приписав прозой предисловие и заключение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. КОЛЛЕКТИВНОЕ

1850

КАК ОПАСНО ПРЕДАВАТЬСЯ ЧЕСТОЛЮБИВЫМ СНАМ

(Стр. 557)

Печатается по альманаху «Первое апреля», Спб. 1846, стр. 81—128. Альманах этот, изданный Некрасовым, включил, как известно, материал неразрешенного цензурой сатирического альманаха «Зубоскал», составлявшегося Некрасовым, Достоевским и Григоровичем в 1845 г. Как установлено К. И. Чуковским, эти же писатели являются авторами комментируемого произведения. В статье «Неизвестное произведение Достоевского» («Жизнь искусства», 1922, № 2, стр. 5) К. И. Чуковский сообщил о существовании рукописного листка, на котором Некрасовым записаны две строчки из «Как опасно предаваться честолюбивым снам» («Лещ, конечно, прекрасная вещь. Но есть вещи получше леща»), внизу же сделана следующая запись:

За честол. сны.

Григор. 50

Дост. 25.

Участие Некрасова в коллективном произведении доказывается его псевдонимами «Пружинип» и «Белопяткин» в подзаголовке произведения. По мнению К. И. Чуковского, Некрасову принадлежат стихи, а Григоровичу проза, за исключением 6-й главы, написанной Достоевским, что легко установить по характерному для начальной поры творчества Достоевского стилю. Однако манера Достоевского чувствуется и в 3-й главе: некоторые абзацы ее кажутся словно взятыми из «Двойника», над которым Достоевский работал в ту пору, напр.:

«Испуганный, он поспешил залепетать, что... так он и пройдет...» (стр. 564).

Представляется поэтому вероятным, что Достоевскому принадлежат главы III и VI, а Григоровичу главы II, IV, V и VII. Это соответствует и сумме гонорара, полученного каждым из них. Стихотворные главы I и VIII и стихи в остальных главах принадлежат Некрасову. Впрочем, нет прямых оснований отрицать возможность участия Некрасова и в прозаических частях «фарса».

По предположению К. И. Чуковского (Н. А. Некрасов, Полн. собр. стих., т. I, М.—Л. 1934, стр. 627), две строки точек в двух местах первой главы отмечают стихи, выброшенные цензурой, причем в первом случае, по мнению К. И. Чуковского, несомненно «была изображена расправа барина с крепостным холопом».

А девушке в семнадцать лет какая шапка не пристанет?.. — цитата из «Руслана и Людмилы» Пушкина (песнь 3-я).

... лицами, которых мы не хотим назвать. — Речь идет о полицейских, не названных прямо из цензурных соображений.

Клянусь звездою полноюночной... и т. д. — пародия на монолог Демона: «Клянусь я первым днем творенья...» (М. Ю. Лермонтов, «Демон», ч. II, гл. X).

Они молчали оба... и т. д. — Это стихотворение включено в «Собрание стихотворений Нового поэта» (Спб. 1855), с заменой точками слов «Кухарка смутилась. В ней, быть может, сжалось сердце». По предположению К. И. Чуковского (Н. А. Некрасов, Полн. собр. стих., т. I, М.—Л. 1934, стр. 627), стихотворение является пародией на стихотворение Я. П. Полонского «Встреча».

II. DUBIA

Отдел «Dubia» состоит из мелких юмористических заметок, печатавшихся в отделе «Дагерротип» «Литературной газеты» 1845 г. и в изданном Некрасовым альманахе «Первое апреля» (Спб. 1846).

О своем участии в «Дагерротипе» Некрасов писал впоследствии: «Издавал Краевский «Литературную газету» — прибавление к «Инвалиду». Издателем был Иванов — книгопродавец. Сюда я писал очень много. Краевский по контракту взял на себя всю работу за 18 000 р. ассигнациями, а сдал мне всю ее за 6 000 р. в год. В газете был отдел дагерротип. Весь он исписывался мною и в стихах и в прозе» (Н. А. Некрасов, Автобиографии, «Литературное наследство», № 49—50, М. 1946, стр. 164).

«Дагерротип» в «Литературной газете» появился в 1845 г., а по указанию Некрасова в письме в редакцию «Отечественных записок» («Отечественные записки», 1846, т. XLIV, отд. VIII, стр. 128 — см. т. XII наст. изд.) с апреля 1845 г. он уже не принимал участия в «Литературной газете». Этому вполне соответствует и то, что «Дагерротип», появившийся с начала 1845 г. в каждом номере «Литературной газеты», прекратился на № 11 (от 22 марта) и возобновился лишь в № 16 (от 3 мая). Но не все то, что напечатано и в первых одиннадцати номерах «Дагерротипа», принадлежит Некрасову. Так, в № 6 помещен рассказ «Собачка» за полной подписью Д. Григоровича. Сцены «Петербургские разговоры» (за подписью: «Г-ха») в №№ 3 и 8, неподписанные очерки в №№ 7, 10, 11 не напоминают манеры Некрасова. Мы включаем в отдел, как вероятно принадлежащие Некрасову, мелкие юмористические статейки из «Дагерротипа», примыкающие по жанру к бесспорно некрасовским «Достопримечательным письмам».

Из «Первого апреля» включаются четыре анекдота. Поскольку анекдот «Пушкин и ящерицы» несомненно принадлежит Некрасову, естественно думать, что и два других анекдота о славянофилах написаны им; к заведомо некрасовской «Пощечине» примыкают такие нравоописательные анекдоты, как «Одно из тысячи средств нажать огромное состояние» и «Дядюшка и племянник».

Кроме того, из «Первого апреля» вводятся в отдел «Dubia» «Два физиологические очерка». На очерк «Водевилист», как на безусловно некрасовский, ссылаются Н. А. Пыпин в предисловии к «Драматическим произведениям» Некрасова (т. I, Л.—М. 1937, стр. 17) и М. Белкина в статье «Водевили Некрасова» (в сборнике «Творчество Некрасова» под ред. А. М. Еголина, «Труды Московского института истории, философии и литературы», т. 3, М. 1939, стр. 238—239). М. Белкина указывает на близость характеристики водевиля в этом очерке, в фельетоне Некрасова «Выдержка из записок старого театрала» и в статье Некрасова «Летопись русского театра» в «Пантеоне русского и всех европейских театров», 1841, № 3, стр. 13. Отметим еще, что характеристика водевилиста

близка к изображению водевиллистов в «Похождениях русского Жиль-Блаза» (см. т. VI наст. изд.).

«Два физиологические очерка», несомненно принадлежащие одному автору, подписаны криптонимом: -ин; на «-ин» оканчиваются две из имеющихся в «Первом апрели» подписей, и обе принадлежат Некрасову (Пружинин и Белопяткин). Но эти аргументы не решают безусловно вопроса авторства Некрасова. Прямых текстовых совпадений между «Водевиллистом» и другими упоминаемыми произведениями Некрасова нет; поэтому мы включаем «Два физиологические очерка» в «Dubia».

В «Литературной газете» имеется ряд фельетонов, которые также могут принадлежать Некрасову и частично приписывались ему, но не включаются нами в отдел «Dubia». Так, в списке статей, рецензий и фельетонов Некрасова, напечатанном в III томе «Собрания сочинений» Некрасова (М. 1930, стр. 369—372), указаны фельетоны «Петербургская хроника», напечатанные в №№ 35, 41, 42, 43 и 44 «Литературной газеты» за 1844 г. На чем основано это утверждение — неясно. Быть может, Некрасов вообще вел отдел «Петербургская хроника» в 1844 и начале 1845 г. (в настоящее издание включены лишь два цикла этой хроники: «Хроника петербургского жителя» и «Петербургские дачи и окрестности»), но тогда надо включать все номера хроники, а не только эти.

То же относится к предположениям Н. С. Ашукина, приписывающего Некрасову «Петербургскую хронику» в № 5 «Литературной газеты» 1845 г. (Н. С. Ашук и н, Летопись жизни и творчества Некрасова, М.—Л. 1935, стр. 8). В той же книге Некрасову приписаны:

1) Письмо «Об отчете одного журнала», напечатанное за подписью: «Ф-й» в № 38 «Литературной газеты» 1844 г. — на том основании, что оно объединено под общим подзаголовком «Два письма из провинции» с заведомо некрасовским фельетоном «О лекциях доктора Пуфа». Мы не считаем это достаточным основанием для атрибуции.

2) Фельетон «Новости с литературной биржи», напечатанный в № 5 «Литературной газеты» 1845 г. (отдел «Дагерротип»), с подписью «Литературной биржи маклер Назар Вымочкин». Но этот фельетон является слегка дополненной перепечаткой фельетона под тем же заглавием и с той же подписью, напечатанного в «Литературной газете» в 1840 г. (№ 86, стлб. 1960—1962), т. е. в то время, когда Некрасов не был сотрудником «Литературной газеты» и не писал в подобном роде.

К. И. Чуковский приписывает Некрасову «Петербургскую

хронику» в № 38 «Литературной газеты» 1845 г. (от 4 октября) и перепечатывает оттуда в «Полном собрании стихотворений» Некрасова (т. I, М.—Л. 1934, стр. 493) стихи «Пою, пою я подвиг оный». Эта атрибуция, видимо, неверна, так как, согласно сказанному выше, Некрасов в это время уже не сотрудничал в «Литературной газете».

1 8 4 5

ОСТРОУМНЫЕ НАДПИСИ

(Стр. 578)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 1 (от 4 января), стр. 13 (в отделе «Дагерротип»).

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АФИШИ

(Стр. 579)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 2 (от 11 января), стр. 31—32 (в отделе «Дагерротип»).

РОМАН В ПИСЬМАХ

(Стр. 581)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 4 (от 25 января), стр. 71 (в отделе «Дагерротип»).

ОБРАЗЧИКИ КИТАЙСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ

(Стр. 584)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 8 (от 1 марта), стр. 147—148 (в отделе «Дагерротип»), где было напечатано за подписью: «Чин-Чин».

Направлено против реакционного журнала «Маяк» (1840—1845). Название «китайского журнала» — «Прожигатель Мозгов и Сердец...» — пародирует полное название «Маяка» («Маяк современного просвещения и образованности»). Здесь автор следует за Белинским, который в рецензии на роман Д. Н. Бегичева «Ольга» (1840) говорит о новом журнале как о распространителе «китайского духа» и дает ему название «Плошка Всемирного Просвещения, Вежливости и Учтивства» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, Спб. 1901, стр. 395).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

(Стр. 586)

Печатается по «Литературной газете», 1845, № 8 (от 1 марта), стр. 148 (в отделе «Дагерротип»).

1 8 4 6

ОДНО ИЗ ТЫСЯЧИ СРЕДСТВ НАЖИТЬ ОГРОМНОЕ СОСТОЯНИЕ

(Стр. 588)

Печатается по «Первому апреля», Спб. 1846, стр. 19—20.

КАК ОДИН ГОСПОДИН ПРИОБРЕЛ СЕБЕ ЗА БЕСЦЕНОК ДОМ В ПОЛТОРАСТА ТЫСЯЧ

(Стр. 588)

Печатается по «Первому апреля», стр. 23—26. Перепечатано в рецензии Белинского на «Первое апреля» в «Отечественных записках», 1846, № 3, отдел «Библиографическая хроника», стр. 87—88. Анекдот направлен против М. П. Погодина.

Г-н Бедрин, столь прославившийся своими путевыми записками... — Книга М. П. Погодина «Год в чужих краях» (4 части, М. 1844) в то время часто упоминалась как пример бессодержательных путевых записок; по отзыву «Библиотеки для чтения» (1844, т. 65), автор «беспреданно спешил, всюду опаздывал, ничего не успевал осмотреть, везде уставал... в только на всяком шагу сердился, бесился, завтракал, перекусил, закусил, насытился, недоел, переел, ел хорошо, ел худо, ел посредственно и так далее».

Отрывки из дневника Погодина, печатавшиеся в журнале «Москвитянин», вызвали едкую пародию Герцена: «Путевые записки г-на Вёдрина», напечатанную в «Отечественных записках» 1843 г. и имевшую громкий успех. Намекающее на фамилию Погодина наименование «Вёдрин» (погода-вёдро) в комментируемом произведении слегка изменено.

ДЯДЮШКА И ПЛЕМЯННИК

(Стр. 590)

Печатается по «Первому апреля», стр. 31—33.

ДВА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКА

(Стр. 591)

Печатается по «Первому апреля», стр. 55—80, где было напечатано за подписью: «-ин».

С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат? — цитата из «Журналиста, читателя и писателя» Лермонтова.

Как известное лицо, которого в детстве уронила мамка, с тех пор все отдает водкой... — Имеется в виду отзыв Ляпкина-Тяпкина о заседателе суда: «Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою» («Ревизор», д. 1, явл. 1).

... он любил, как в наше время уж не любят... — измененная цитата из «Евгения Онегина»:

Ах, он любил, как в наши лета

Уже не любят...

(Гл. II, строфа XX.)

СЛАВЯНОФИЛ

(Стр. 602)

Печатается по «Первому апреля», стр. 141—142. Перепечатано в рецензии Белинского на «Первое апреля» в «Отечественных записках», 1846, № 3, отдел «Библиографическая хроника», стр. 87—88.

Ср. тот же анекдот в «Былом и думах» Герцена (гл. XXX): «Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок, а К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев».

Охабень, терлик — боярская верхняя одежда, *мурмолка* — старинная меховая или бархатная шапка.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ (1840—1850)

1840

Макар Осипович Случайный	7
Без вести пропавший пиита	45
Певица	74

1841

Двадцать пять рублей	112
Ростовщик	133
Капитан Кук	153
Карета	166
Жизнь Александры Ивановны	172
Несчастливец в любви или Чудные любовные похождения русского Грациозо	205
Опытная женщина	228

1842

В Сардинии	269
----------------------	-----

1843

Помещик двадцати трех душ	306
-------------------------------------	-----

1849

Психологическая задача	324
----------------------------------	-----

1850

Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дир- ливг и Ко	330
---	-----

ФЕЛЬЕТОНЫ (1844—1846)

1844

Хроника петербургского жителя	385
Крапива	430
Письмо ***ского помещика о пользе чтения книг, о вредно- ности бараньих бурдюков с кашей и о русской лите- ратуре	432
Петербургские дачи и окрестности	444
Черты из характеристики петербургского народонаселения .	474
Нечто о дупелях, о докторе Пуфе и о псовой охоте	487
О лекциях доктора Пуфа вообще и об артишоках в особенности	493
Преферанс и солнце	496

1845

Выдержка из записок старого театрала	503
Отчеты по поводу Нового года	510
Записки Пружинина	527
Письмо к доктору Пуфу	538
Достопримечательные письма	542

1846

Пушкин и ящерицы	551
Пощечина	552

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Коллективное

1850

Как опасно предаваться честолюбивым снам	557
--	-----

II. Dubia

1845

Остроумные надписи	578
Провинциальные афиши	579

Роман в письмах	581
Образчики китайского красноречия	584
Замечательное стихотворение	586

1 8 4 6

Одно из тысячи средств нажить огромное состояние	588
Как один господин приобрел себе за бесценок дом в полтораста тысяч	588
Дядюшка и племянник	590
Два физиологические очерка	591
Славянофил	602
Комментарии	603

Редактор М. Блинчевская
Художник Н. Ильин
Технич. редактор Д. Ермоленко
Корректор Р. Н. Гольденберг

*

Сдано в набор 5 VIII—48 г. Подпи-
сано к печати 11/VII—49 г. А10409
40¹/₂ печ. л.+1 вкл. 0,094 авт. л.
Форм. бум. 82×108¹/₂ см. Тираж 50 000
Заказ № 8296.

*

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Главполи-
графиздата при Совете Министров
СССР. Москва, Ваволая, 28.



